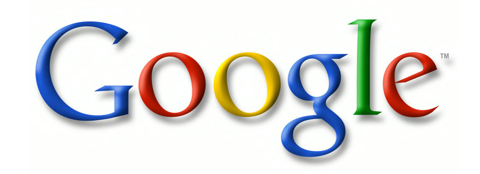


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

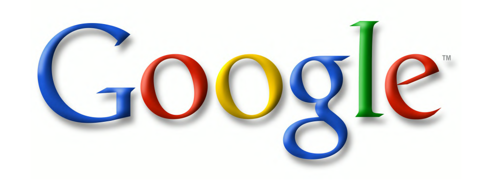
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

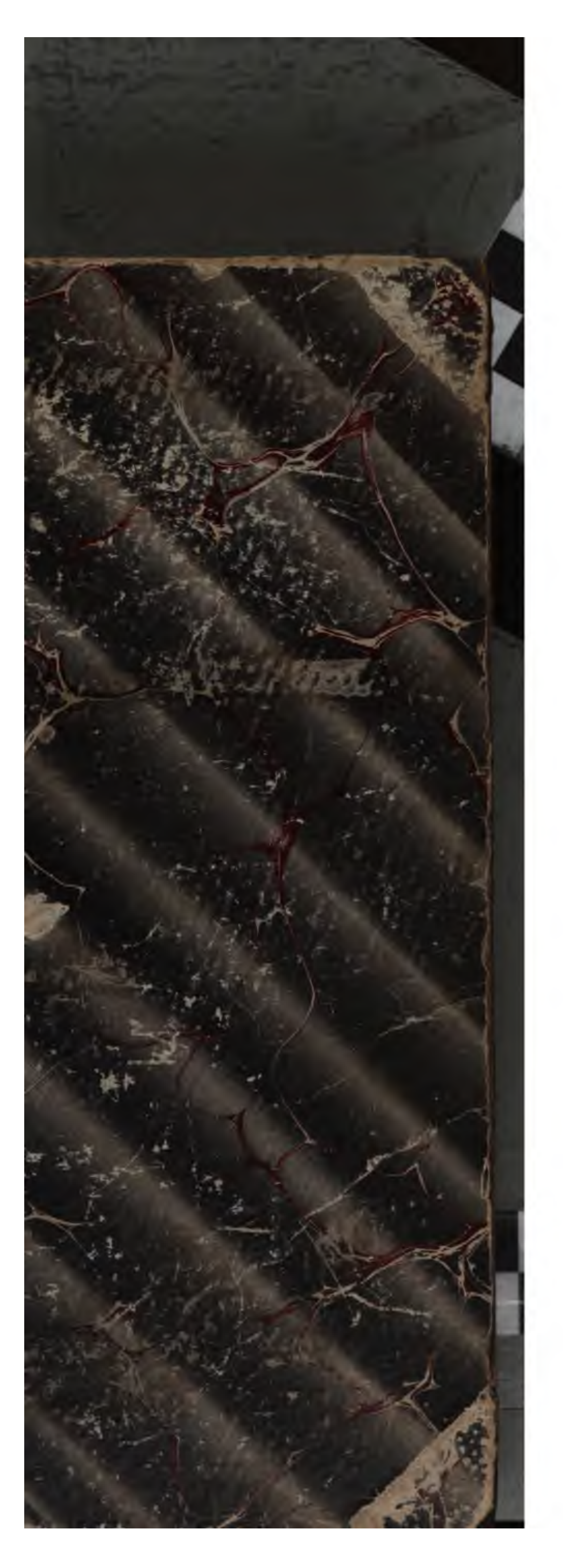
Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, ирииадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

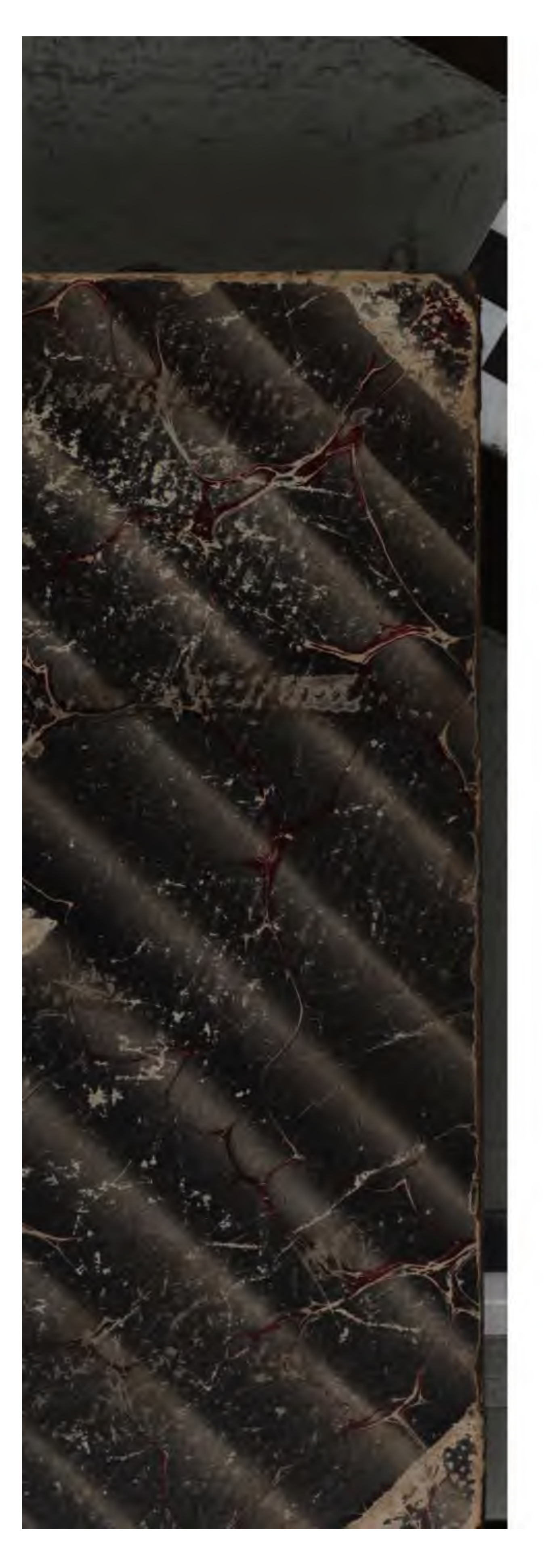
Мы также иросим Вас о следующем.

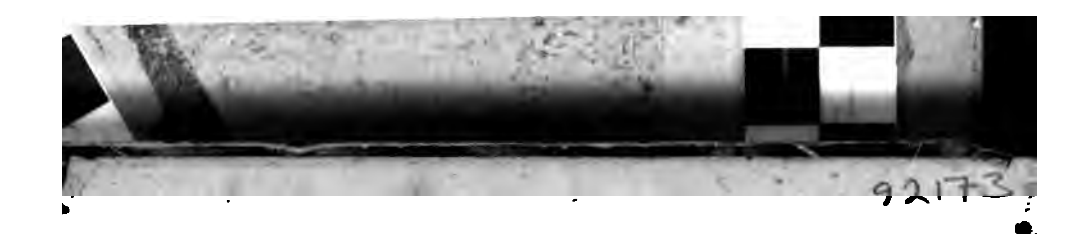
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

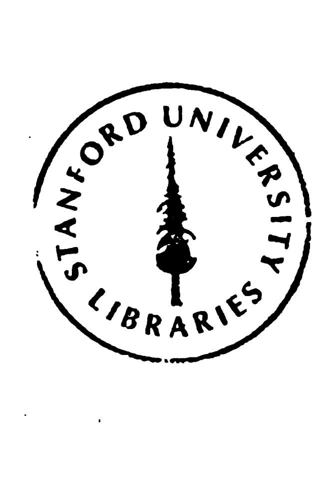
О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

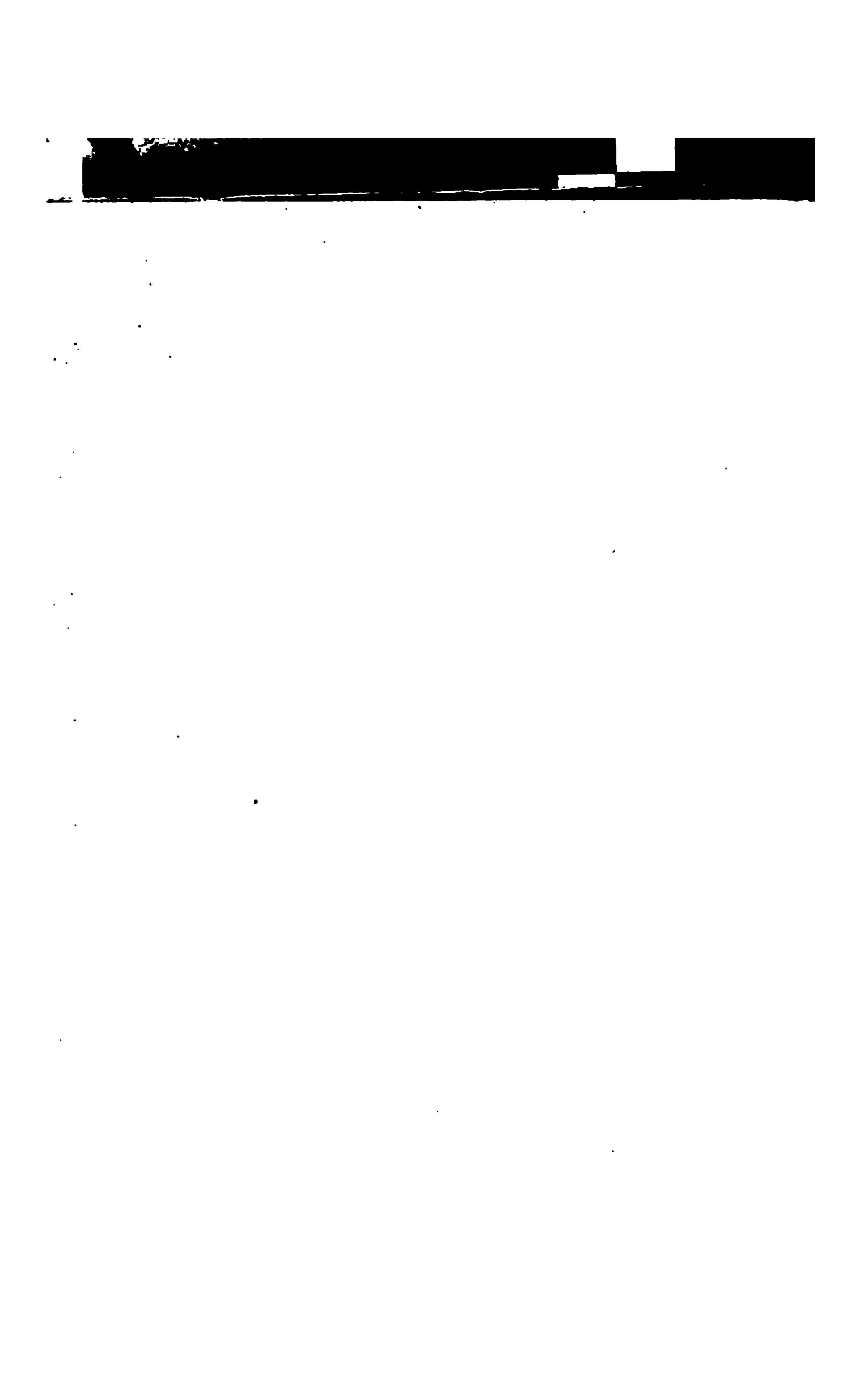





92173



215 | 15



[redacted]

Ivanov, I.I.

Ив. Ивановъ.

ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

ЖИЗНЬ.—ЛИЧНОСТЬ.—ТВОРЧЕСТВО.

Изданіе журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1896.

27-го марта 1846 г.

„Забудешь обо мнѣ въ вихрѣ свѣта,
„А я душой останусь вѣчно твой...“

[illegible]

Бирючъ, Ворон. губ.

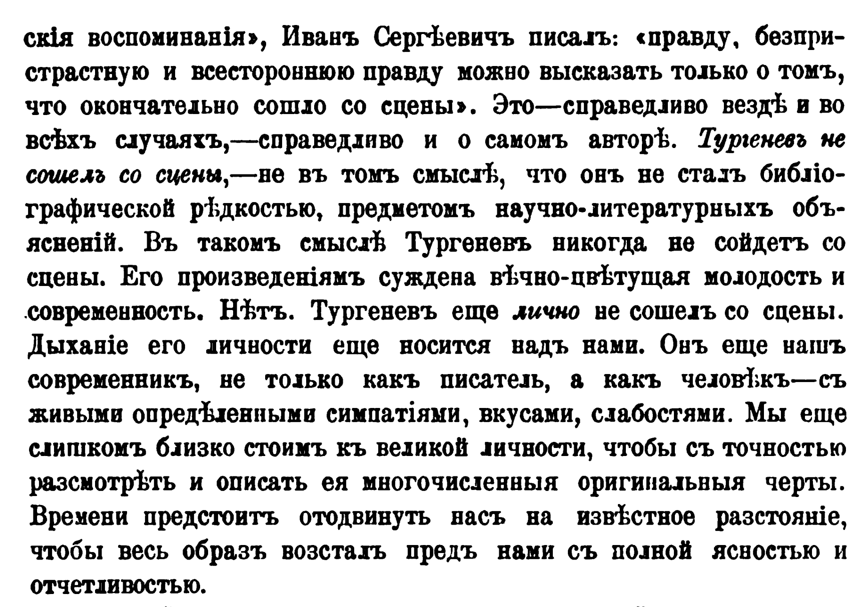


PG3435
I5

Мы намѣрены представить исторію жизни и творческой дѣятельности Тургенева. Мы сознаемъ всю трудность и отвѣтственность этой задачи. Со дня смерти великаго писателя протекло болѣе десяти лѣтъ. Въ русской и заграничной литературѣ успѣло накопиться множество біографическаго и критическаго матеріала,— но это изобиліе отнюдь не оберегаетъ насъ отъ недоразумѣній, пробѣловъ, темныхъ и неразрѣшимыхъ задачъ.

Дѣятельность Тургенева въ теченіи десятковъ лѣтъ волновала весь культурный міръ, возбуждала разнообразнѣйшія идеи и чувства. Для родины писателя она неизмѣнно исполнена была жгучихъ интересовъ современности, стремилась дать отвѣты на возникающіе вопросы, внести посильный свѣтъ въ смуту переживаемой дѣйствительности. Сколько страстей, сколько личныхъ, себялюбивыхъ, партійныхъ стремленій долженъ былъ затронуть такой писатель! Сколько разъ въ глазахъ его ближайшихъ современниковъ должны были меркнуть его истинныя заслуги, являться въ извращенномъ видѣ его истинныя намѣренія,—благодаря мимолетнымъ, частнымъ пристрастіямъ, даже, настроеніямъ! Сколько разъ и съ какою силой эти *привходящія условія* врывались въ личную жизнь и творчество романиста и налагали свою окраску на цѣлые годы!

Эти вліянія были могущественны при жизни писателя, но они не исчезли и послѣ его смерти и еще долго не исчезнутъ. Здѣсь заключается, можетъ быть, краснорѣчивѣйшее свидѣтельство, насколько дѣло Тургенева отличается высокообщественнымъ, захватывающимъ характеромъ,—но здѣсь также лежитъ главнѣйшій источникъ всѣхъ затрудненій будущихъ біографовъ писателя и критиковъ его произведеній. Начиная «Литературныя и житей-



скія воспоминанія», Иванъ Сергѣевичъ писалъ: «правду, безпристрастную и всестороннюю правду можно высказать только о томъ, что окончательно сошло со сцены». Это—справедливо вездѣ и во всѣхъ случаяхъ,—справедливо и о самомъ авторѣ. *Тургеневъ не сошелъ со сцены*,—не въ томъ смыслѣ, что онъ не сталъ библіографической рѣдкостью, предметомъ научно-литературныхъ объясненій. Въ такомъ смыслѣ Тургеневъ никогда не сойдетъ со сцены. Его произведеніямъ суждена вѣчно-цвѣтущая молодость и современность. Нѣтъ. Тургеневъ еще *лично* не сошелъ со сцены. Дыханіе его личности еще носится надъ нами. Онъ еще нашъ современникъ, не только какъ писатель, а какъ человѣкъ—съ живыми опредѣленными симпатіями, вкусами, слабостями. Мы еще слишкомъ близко стоимъ къ великой личности, чтобы съ точностью разсмотрѣть и описать ея многочисленныя оригинальныя черты. Времени предстоитъ отодвинуть насъ на извѣстное разстояніе, чтобы весь образъ возсталъ предъ нами съ полной ясностью и отчетливостью.

Мы, слѣдовательно, въ настоящее время менѣе всего можемъ разсчитывать на безупречное изображеніе одного изъ замѣчательнѣйшихъ труженическихъ путей, когда-либо пройденныхъ труженикомъ идеи и просвѣщенія. Мы будемъ считать свою цѣль достигнутой, если съумѣемъ освѣтить вѣрнымъ свѣтомъ важнѣйшіе моменты въ личномъ и творческомъ развитіи нашего писателя, опредѣлить существенныя житейскія отношенія, вліявшія на это развитіе, и въ результатѣ по всѣмъ доступнымъ для насъ даннымъ возстановить предъ читателемъ личность художника и человѣка въ ея гармоническомъ цѣломъ.

Ив. Ивановъ.

ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

(жизнь, личность, творчество).

I.

Для біографіи какого бы то ни было дѣятеля важнѣе всего, конечно, свѣдѣнія, сообщенныя лично имъ самимъ. Біографъ Тургенева съ этой стороны долженъ испытывать немалыя затрудненія. Намъ представится множество случаевъ убѣдиться въ исключительной, едва вѣроятной авторской скромности Ивана Сергѣевича. Онъ крайне неохотно допускалъ разговоры о себѣ, о своей литературной дѣятельности, самыя искреннія похвалы, по словамъ Мопассана, «уязвляли его, какъ оскорбленія». Менѣе всего такой человѣкъ самъ могъ распространяться о своей жизни и о своей личности. Онъ неоднократно получалъ запросы на счетъ біографическихъ свѣдѣній. Каждый такой запросъ не возбуждалъ въ немъ пріятныхъ чувствъ. Въ началѣ марта 1869 года, въ отвѣтъ на одну изъ такихъ просьбъ Тургеневъ писалъ: «Откровенно говоря, всякая біографическая публикація мнѣ всегда казалась великой претензіей; но и отказывать въ ней, придавать вообще ей важность—еще большая претензія». И Тургеневъ рѣшается дать только самыя общія, почти исключительно хронологическія данныя о своей жизни [1]).

«Я родился 28 октября 1818 года въ Орлѣ отъ Сергѣя Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Лутовиновой, получилъ

---

[1]) *Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева.* Спб. 1883, 155.

первое воспитаніе въ Москвѣ, слушалъ лекціи въ Московскомъ, послѣ въ Петербургскомъ университетѣ. Въ 1838 году поѣхалъ за границу, чуть не погибъ во время пожара парохода «Николай I-й». Слушалъ лекціи въ Берлинѣ, послѣ вернулся, состоялъ около года при канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ. Въ 1842 г. сталъ заниматься литературой. Въ 1852 г. за напечатаніе статьи о Гоголѣ (въ сущности за «Записки Охотника») отправленъ на жительство въ деревню, гдѣ прожилъ два года, и съ тѣхъ поръ живу то заграницей, то въ Россіи. Вы видите, что моя біографія напоминаетъ біографію Э. Ожіэ, который на подобный запросъ отвѣчалъ слѣдующими словами: je suis né, j'ai été vacciné, puis quand je suis devenu grand j'ai écrit des comédies»...

Незадолго до смерти Тургеневъ отвѣтилъ еще лаконичнѣе итальянскому писателю, составлявшему статью объ его жизни и дѣятельности. «Вся моя біографія—въ моихъ сочиненіяхъ», писалъ Тургеневъ и прибавилъ, что въ его жизни ничего нѣтъ выдающагося и для иностранныхъ читателей занимательнаго [2]).

Ивану Сергѣевичу, какъ и всякому другому, случалось бесѣдовать въ дружескомъ кружкѣ. Разговоры легко и естественно переходили на воспоминанія, и въ такія минуты отъ Тургенева слышали иногда любопытнѣйшія подробности относительно его семьи, дѣтства, молодости. Не мало такихъ воспоминаній записано другомъ Ивана Сергѣевича—Я. П. Полонскимъ, и любопытнѣйшая бесѣда такого же содержанія записана въ мартѣ 1880 года во время пребыванія Тургенева въ Петербургѣ. Разговоръ воспроизведенъ однимъ изъ очевидцевъ на слѣдующій день и сообщаетъ, повидимому, вполнѣ точныя данныя для біографіи знаменитаго романиста [3]). Приходилось Ивану Сергѣевичу изрѣдка касаться своихъ житейскихъ подробностей въ письмахъ. Такъ, въ письмѣ отъ 19 іюня 1874 года онъ изобразилъ свои отношенія къ матери по смерти отца, свои отношенія къ крестьянамъ послѣ кончины матери [4]). Это въ высшей степени драгоцѣнный документъ, но на

---

[2]) *Историческій Вѣстникъ*, XIV, 446.

[3]) *Русская Старина* XL, 202.

[4]) *Письма*, 233—4.

такіе документы Тургеневъ былъ весьма нещедръ. Громадные пробѣлы, оставленные личными сообщеніями Ивана Сергѣевича, мы должны заполнять свѣдѣніями изъ чужихъ рукъ.

Тургеневъ, при всей своей несловоохотливости на счетъ личныхъ отношеній, любилъ останавливаться на преданіяхъ своей семьи. Эти преданія дѣйствительно весьма характерны и любопытны. Ими не разъ пользовался Тургеневъ и въ своихъ произведеніяхъ. Пальма первенства по части оригинальности и исключительно сильныхъ характеровъ принадлежитъ предкамъ Тургенева по матери—Лутовиновымъ. Это—одна изъ старѣйшихъ помѣщичьихъ семей. Предки ея служили еще при литовскихъ князьяхъ, владѣвшихъ Бѣлоруссіей, и жили настоящими магнатами. Богатство ихъ переходило изъ рода въ родъ и досталось, наконецъ, двумъ братьямъ—Петру Ивановичу и Ивану Ивановичу. У старшаго Петра была дочь Варвара, впослѣдствіи мать знаменитаго писателя. Младшій Иванъ оказался типичнѣйшимъ героемъ всей фамиліи. Иванъ Сергѣевичъ обезсмертилъ его образъ въ двухъ разсказахъ—«Три портрета» и «Однодворецъ Овсянниковъ». Разсказъ однодворца—сплошная исторія обидъ, перенесенныхъ отъ дикаго самодура крестьянами и людьми беззащитными. Лутовиновъ не только отбиралъ чужую землю, но еще жестоко и позорно наказывалъ законныхъ владѣльцевъ. Бывали у него и подручные исполнители, вродѣ опричниковъ. Потомку насильника приходилось выслушивать горькія рѣчи отъ очевидцевъ всѣхъ этихъ подвиговъ... Отвратительнѣйшій порокъ Лутовинова изображенъ въ «Трехъ портретахъ». Старикъ-скупецъ, пересчитывающій палочкой кульки съ деньгами—это тотъ же Иванъ Ивановичъ. Онъ умеръ скоропостижной смертью, отъ разрыва сердца, по другимъ извѣстіямъ—подавился косточкой плода. Напуганные крестьяне долго еще грезили страшнымъ призракомъ. Они показывали плотину, гдѣ по ночамъ прогуливается и охаетъ тѣнь покойнаго помѣщика...

Иванъ Лутовиновъ былъ не единственной фигурой въ своей семьѣ. Въ томъ же разсказѣ «Три портрета» дѣйствуетъ Василій Ивановичъ Лучиновъ. Это—подлинное лицо, также одинъ изъ Лутовиновыхъ. Его портретъ до послѣдняго времени существовалъ въ тургеневскомъ домѣ въ селѣ Спасскомъ. Иванъ Сергѣевичъ съ

большой точностью изобразилъ внѣшнія черты этого портрета, но, очевидно, отступилъ предъ подробнымъ воспроизведеніемъ характера и біографіи своего предка. Въ разсказѣ Василій Ивановичъ играетъ страшную роль,—безсердечнаго, кровожаднаго эгоиста. Подлинный прототипъ былъ еще отвратительнѣе. Его подвиги не поддаются пересказу...

Женская линія также представила достойныхъ экземпляровъ. Одинъ изъ иностранцевъ передаетъ разсказъ Ивана Сергѣевича объ его бабкѣ. Старая, вспыльчивая барыня, пораженная параличемъ и почти неподвижно сидѣвшая въ креслѣ, разсердилась однажды на казачка, который ей прислуживалъ, за какой-то недосмотръ, и— въ порывѣ гнѣва—схватила полѣно и ударила мальчика по головѣ такъ сильно, что онъ упалъ безъ чувствъ. Это зрѣлище произвело на нее непріятное впечатлѣніе. Она нагнулась, приподняла его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову, и, сѣвши на нее, задушила несчастнаго...

Таковы болѣе или менѣе отдаленныя преданія тургеневской семьи. Ближайшее прошлое было окрашено такими же мрачными красками. Это прошлое—жизнь и характеръ матери Ивана Сергѣевича, Варвары Петровны.

Сынъ выражался о ней довольно неопредѣленно. Ему, очевидно, тяжело было рисовать другимъ этотъ образъ, способный вызвать дрожь ужаса. «Мать моя», разсказывалъ Иванъ Сергѣевичъ, «была женщиною, вполнѣ вливавшеюся въ форму XVIII и первыхъ десятилѣтій XIX вѣка. Пушкина она едва-едва признавала за замѣчательнаго писателя, но литературу русскую дальше Пушкина положительно не признавала. Поэтому хотя она умерла въ 1850 году, т. е. когда я уже лѣтъ семь, какъ дѣятельно участвовалъ въ журналахъ, она не признавала во мнѣ писателя, да и ни одной статьи моей, ни даже *Записокъ охотника* совершенно не читала [5])».

---

[5]) *Русская Старина*, XL, 202. Этимъ заявленіемъ уничтожается сообщеніе автора *Воспоминанія о селѣ Спасскомъ*—В. Колонтаевой, разсказывающей слѣдующее: «Ясно помню, какъ онъ (Тургеневъ) однажды, войдя въ кабинетъ матери, подалъ ей въ розовой обертке очень плохо и неряшливо изданную поэму *Параша*, посмотрѣвъ которую, Варвара Петровна залилась слезами радости и обняла сына. Хотя въ концѣ поэмы стояли буквы Т. Л., но сердце

Пренебреженіе къ русской литературѣ и къ писательской дѣятельности сына было едва ли не самой незначительной обидой среди жесточайшихъ издѣвательствъ, которымъ въ теченіи цѣлыхъ лѣтъ подвергались всѣ окружающіе, и въ томъ числѣ Иванъ Сергѣевичъ. Только исторія Варвары Петровны можетъ объяснить отчасти ея отношенія къ дѣтямъ и вообще къ людямъ.

Это исторія въ полномъ смыслѣ драматическая. Выше мы видѣли рядъ героевъ изъ фамиліи Лутовиновыхъ,—Варвара Петровна въ первую половину жизни представляла типичную жертву этого героизма.

Варвара Петровна рано осталась сиротой. Мать ея—Екатерина Ивановна Лутовинова—не любила дочери, скоро во второй разъ вышла замужъ за вдовца, имѣвшаго двухъ взрослыхъ дочерей, и совершенно отдалась вліянію мужа. Положеніе ребенка оказалось отчаяннымъ. Вотчимъ невозбранно преслѣдовавъ его, не отступалъ даже передъ побоями, на немъ срывалъ свой пьяный буйный гнѣвъ. Когда Варварѣ Петровнѣ минуло шестнадцать лѣтъ, преслѣдованія приняли другой видъ. Дѣвушка не знала, какъ спастись отъ развратнаго старика. Ей грозило унизительное наказаніе. Оставалось бѣжать,—и несчастная бѣжала съ помощью няни: полуодѣтая пѣшкомъ прошла около шестидесяти верстъ и нашла пріютъ у дяди Ивана Ивановича Лутовинова, жившаго въ сельцѣ Спасскомъ.

Лутовиновъ принялъ племянницу подъ свою защиту, и Варвара Петровна осталась жить въ Спасскомъ. Мы знаемъ, какова была эта жизнь. Дядя, конечно, не думалъ мѣнять своего нрава ради племянницы; напротивъ, она же стала одною изъ жертвъ его са-

---

матери подсказало ей имя настоящаго автора, который стоялъ тутъ же, съ лицомъ, сіяющимъ отъ счастія». *Ист. Вѣстн.* XXII, 63. Ниже, со словъ гораздо болѣе достовѣрнаго свѣдѣнія, мы убѣдимся въ совершенно противоположномъ отношеніи Варвары Петровны къ литературной дѣятельности сына. Такія же фантастическія свѣдѣнія о матери Тургенева сообщаетъ О. Аргамакова въ ст. *Семейство Тургенева*, *Ист. Вѣстн.* XV, 324. Нѣкоторыя извѣстія этихъ воспоминаній, напримѣръ, о существованіи въ домѣ Варвары Петровны «придворныхъ должностей» и слугъ, носившихъ даже фамиліи министровъ,—прямо опровергаются В. Н. Житовой, воспитанницей Варвары Петровны и надежнѣйшей свидѣтельницей всего, что касается матери Ивана Сергѣевича и его первой молодости. См. *Вѣстн. Евр.*, 1884, н. 85.

модурства. Онъ держалъ ее почти взаперти, совершенно подавилъ и обезличилъ. Такъ прошла вся молодость вплоть до тридцати лѣтъ, когда, наконецъ, тюремщикъ умеръ [6]).

Варвара Петровна стала единственною наслѣдницей многочисленныхъ имѣній матери и дяди и въ первый разъ въ жизни почувствовала себя не только свободной, но полновластной госпожей нѣсколькихъ тысячъ крѣпостныхъ рабовъ. Легко представить, какимъ жгучимъ дыханьемъ повѣяла эта свобода на измученную годами порабощенную дѣвушку! Въ жилахъ Варвары Петровны текла таже горячая, бурная лутовиновская кровь. Жить хотѣлось, неудержимо хотѣлось, и теперь на тридцатилѣтнемъ возрастѣ эта женщина возьметъ отъ жизни все, въ чемъ раньше судьба ей отказывала. Она прежде всего воспользуется той стороной жизни, какая болѣе всего причинила ей обидъ и огорченій, — властью. Варвара Петровна будетъ не просто повелѣвать и властвовать,— нѣтъ это будетъ настоящая оргія самовластья, упоеніе своей силой, какое-то самозабвеніе среди трепета и ужаса подвластныхъ. Вторая половина жизни будетъ местью за загубленную молодость, за пережитое рабство. Месть будетъ тѣмъ безпощаднѣе, что и на свободѣ Варвара Петровна не найдетъ личнаго счастья.

Сергѣй Николаевичъ Тургеневъ служилъ въ Елизаветградскомъ гусарскомъ полку и по имѣніямъ былъ сосѣдомъ Варвары Петровны. Она познакомилась съ Тургеневымъ въ Орлѣ, и, по нѣкоторымъ разсказамъ, Варвара Петровна сама вызвала предложеніе со стороны красиваго офицера, врядъ ли разсчитывавшаго на такую завидную партію [7]). Внѣшность юнаго гусара, дѣйствительно, была обаятельна, но этимъ и ограничивались достоинства избранника Варвары Петровны. Однажды заграницей она встрѣтилась съ владѣтельной нѣмецкой принцессой. Оказалось, этой принцессѣ когда-то былъ представленъ Сергѣй Николаевичъ. Теперь принцесса случайно увидѣла на рукѣ Тургеневой браслетъ съ портретомъ красиваго гусара и обратилась къ ней съ такими

---

[6]) *Воспоминаніе о семьѣ И. С. Тургенева.* В. Н. Житовой. *Вѣстн. Евр.* 1884, ноябрь, 73.

[7]) *Воспоминанія о селѣ Спасскомъ. Ист. Вѣстн.* XXII, 43: авторъ ссылается на разсказы «людей, помнившихъ о началѣ этого сватовства».

словами: «Вы—жена Тургенева, я его помню; послѣ императора Александра I я не видала никого, красивѣе вашего мужа».

Въ этой красотѣ было нѣчто, не особенно лестное для мужчины. Другъ Тургенева, видѣвшій портретъ его отца, излагаетъ свои впечатлѣнія въ слѣдующей формѣ: «Онъ глядитъ еще юношей лѣтъ 26, хорошъ собой, и—странно—не смотря на удивительные темные глаза, смѣлые и мужественные, такъ и кажется, что это не мужчина, а дама или даже камелія, наряженная въ бѣлый конно-гвардейскій мундиръ и въ галстухѣ, который безъ всякаго узелка или бантика обматываетъ ея бѣлую лебединую шею, и такъ высоко, что слегка подпираетъ ей подбородокъ. Взглядъ какой-то русалочный—свѣтлый и загадочный; чувственныя губы и едва замѣтная усмѣшка».

Иванъ Сергѣевичъ, повидимому, неохотно вспоминалъ о своемъ отцѣ, но когда это случалось, онъ съ полной искренностью опредѣлялъ преобладавшую черту его характера: «Отецъ мой былъ великій ловецъ передъ Господомъ», и въ доказательство разсказывалъ одинъ изъ подвиговъ: «ловца». Разсказъ *Первая любовь*, какъ извѣстно, вдохновленъ автору семейными преданіями...

Тургеневъ-отецъ своимъ общественнымъ положеніемъ былъ обязанъ исключительно выгодной женитьбѣ. Послѣ него, по словамъ сына, осталось всего 130 душъ разстроенныхъ и не дававшихъ дохода. Блестящая барская жизнь, послѣдовавшая послѣ свадьбы, доставляла гораздо болѣе удовольствій мужу, чѣмъ женѣ. Наклонности Сергѣя Николаевича не ослабѣвали съ годами; врядъ ли въ этой семьѣ царствовало счастье. Варвара Петровна никогда не отличалась красотой, скорѣе противоположнымъ качествомъ, и ко времени замужества молодость уже давно отошла въ область тяжелыхъ воспоминаній.

У Тургеневыхъ было трое сыновей—Николай, Иванъ и Сергѣй. Послѣдній умеръ восемнадцати лѣтъ отъ эпилепсіи. Любимымъ ребенкомъ считался Иванъ, но въ дѣйствительности такое привиллегированное положеніе являлось злѣйшей ироніей.

Громадный старинный домъ Тургеневыхъ въ сорокъ комнатъ представлялъ изъ себя гнѣздо всевозможныхъ нравственныхъ пытокъ и физическихъ мученій. Мы не станемъ пересказывать

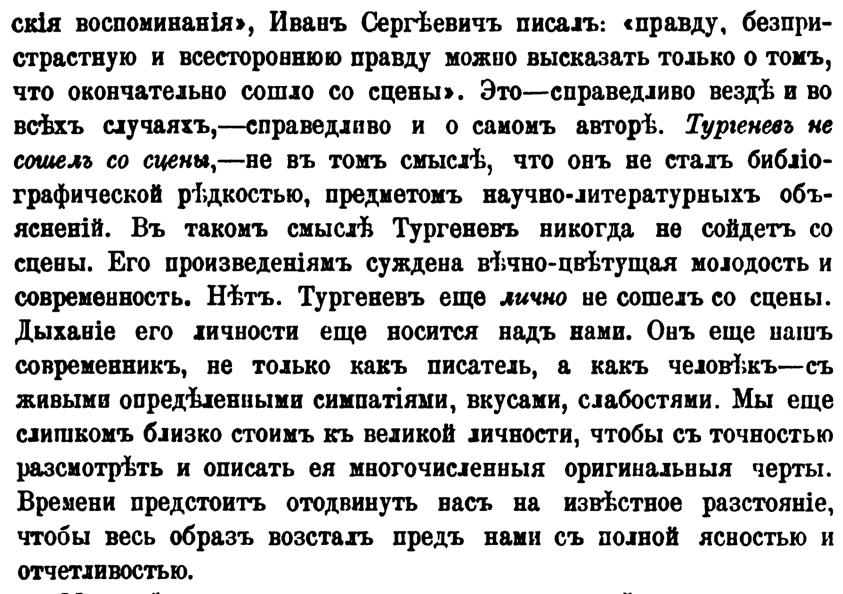
модурства. Онъ держалъ ее почти взаперти, совершенно подавилъ и обезличилъ. Такъ прошла вся молодость вплоть до тридцати лѣтъ, когда, наконецъ, тюремщикъ умеръ [6]).

Варвара Петровна стала единственною наслѣдницей многочисленныхъ имѣній матери и дяди и въ первый разъ въ жизни почувствовала себя не только свободной, но полновластной госпожей нѣсколькихъ тысячъ крѣпостныхъ рабовъ. Легко представить, какимъ жгучимъ дыханьемъ повѣяла эта свобода на измученную годами порабощенную дѣвушку! Въ жилахъ Варвары Петровны текла таже горячая, бурная лутовиновская кровь. Жить хотѣлось, неудержимо хотѣлось, и теперь на тридцатилѣтнемъ возрастѣ эта женщина возьметъ отъ жизни все, въ чемъ раньше судьба ей отказывала. Она прежде всего воспользуется той стороной жизни, какая болѣе всего причинила ей обидъ и огорченій, — властью. Варвара Петровна будетъ не просто повелѣвать и властвовать,— нѣтъ это будетъ настоящая оргія самовластья, упоеніе своей силой, какое-то самозабвеніе среди трепета и ужаса подвластныхъ. Вторая половина жизни будетъ местью за загубленную молодость, за пережитое рабство. Месть будетъ тѣмъ безпощаднѣе, что и на свободѣ Варвара Петровна не найдетъ личнаго счастья.

Сергѣй Николаевичъ Тургеневъ служилъ въ Елизаветградскомъ гусарскомъ полку и по имѣніямъ былъ сосѣдомъ Варвары Петровны. Она познакомилась съ Тургеневымъ въ Орлѣ, и, по нѣкоторымъ разсказамъ, Варвара Петровна сама вызвала предложеніе со стороны красиваго офицера, врядъ ли разсчитывавшаго на такую завидную партію [7]). Внѣшность юнаго гусара, дѣйствительно, была обаятельна, но этимъ и ограничивались достоинства избранника Варвары Петровны. Однажды заграницей она встрѣтилась съ владѣтельной нѣмецкой принцессой. Оказалось, этой принцессѣ когда-то былъ представленъ Сергѣй Николаевичъ. Теперь принцесса случайно увидѣла на рукѣ Тургеневой браслетъ съ портретомъ красиваго гусара и обратилась къ ней съ такими

[6]) *Воспоминаніе о семьѣ И. С. Тургенева.* В. Н. Житовой. *Вѣстн. Евр.* 1884, ноябрь, 73.

[7]) *Воспоминанія о селѣ Спасскомъ. Ист. Вѣстн.* XXII, 43: авторъ ссылается на разсказы «людей, помнившихъ о началѣ этого сватовства».



скія воспоминанія», Иванъ Сергѣевичъ писалъ: «правду, безпристрастную и всестороннюю правду можно высказать только о томъ, что окончательно сошло со сцены». Это—справедливо вездѣ и во всѣхъ случаяхъ,—справедливо и о самомъ авторѣ. *Тургеневъ не сошелъ со сцены*,—не въ томъ смыслѣ, что онъ не сталъ библіографической рѣдкостью, предметомъ научно-литературныхъ объясненій. Въ такомъ смыслѣ Тургеневъ никогда не сойдетъ со сцены. Его произведеніямъ суждена вѣчно-цвѣтущая молодость и современность. Нѣтъ. Тургеневъ еще *лично* не сошелъ со сцены. Дыханіе его личности еще носится надъ нами. Онъ еще нашъ современникъ, не только какъ писатель, а какъ человѣкъ—съ живыми опредѣленными симпатіями, вкусами, слабостями. Мы еще слишкомъ близко стоимъ къ великой личности, чтобы съ точностью разсмотрѣть и описать ея многочисленныя оригинальныя черты. Времени предстоитъ отодвинуть насъ на извѣстное разстояніе, чтобы весь образъ возсталъ предъ нами съ полной ясностью и отчетливостью.

Мы, слѣдовательно, въ настоящее время менѣе всего можемъ разсчитывать на безупречное изображеніе одного изъ замѣчательнѣйшихъ труженическихъ путей, когда-либо пройденныхъ труженикомъ идеи и просвѣщенія. Мы будемъ считать свою цѣль достигнутой, если съумѣемъ освѣтить вѣрнымъ свѣтомъ важнѣйшіе моменты въ личномъ и творческомъ развитіи нашего писателя, опредѣлить существенныя житейскія отношенія, вліявшія на это развитіе, и въ результатѣ по всѣмъ доступнымъ для насъ даннымъ возстановить предъ читателемъ личность художника и человѣка въ ея гармоническомъ цѣломъ.

Ив. Ивановъ.

ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

(жизнь, личность, творчество).

I.

Для біографіи какого бы то ни было дѣятеля важнѣе всего, конечно, свѣдѣнія, сообщенныя лично имъ самимъ. Біографъ Тургенева съ этой стороны долженъ испытывать немалыя затрудненія. Намъ представится множество случаевъ убѣдиться въ исключительной, едва вѣроятной авторской скромности Ивана Сергѣевича. Онъ крайне неохотно допускалъ разговоры о себѣ, о своей литературной дѣятельности, самыя искреннія похвалы, по словамъ Мопассана, «уязвляли его, какъ оскорбленія». Менѣе всего такой человѣкъ самъ могъ распространяться о своей жизни и о своей личности. Онъ неоднократно получалъ запросы на счетъ біографическихъ свѣдѣній. Каждый такой запросъ не возбуждалъ въ немъ пріятныхъ чувствъ. Въ началѣ марта 1869 года, въ отвѣтъ на одну изъ такихъ просьбъ Тургеневъ писалъ: «Откровенно говоря, всякая біографическая публикація мнѣ всегда казалась великой претензіей; но и отказывать въ ней, придавать вообще ей важность—еще большая претензія». И Тургеневъ рѣшается дать только самыя общія, почти исключительно хронологическія данныя о своей жизни [1]).

«Я родился 28 октября 1818 года въ Орлѣ отъ Сергѣя Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Лутовиновой, получилъ

---

[1]) *Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева.* Спб. 1883, 155.

*

первое воспитаніе въ Москвѣ, слушалъ лекціи въ Московскомъ, послѣ въ Петербургскомъ университетѣ. Въ 1838 году поѣхалъ за границу, чуть не погибъ во время пожара парохода «Николай I-й». Слушалъ лекціи въ Берлинѣ, послѣ вернулся, состоялъ около года при канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ. Въ 1842 г. сталъ заниматься литературой. Въ 1852 г. за напечатаніе статьи о Гоголѣ (въ сущности за «Записки Охотника») отправленъ на жительство въ деревню, гдѣ прожилъ два года, и съ тѣхъ поръ живу то заграницей, то въ Россіи. Вы видите, что моя біографія напоминаетъ біографію Э. Ожіэ, который на подобный запросъ отвѣчалъ слѣдующими словами: je suis né, j'ai été vacciné, puis quand je suis devenu grand j'ai écrit des comédies»...

Незадолго до смерти Тургеневъ отвѣтилъ еще лаконичнѣе итальянскому писателю, составлявшему статью объ его жизни и дѣятельности. «Вся моя біографія—въ моихъ сочиненіяхъ», писалъ Тургеневъ и прибавилъ, что въ его жизни ничего нѣтъ выдающагося и для иностранныхъ читателей занимательнаго [2].

Ивану Сергѣевичу, какъ и всякому другому, случалось бесѣдовать въ дружескомъ кружкѣ. Разговоры легко и естественно переходили на воспоминанія, и въ такія минуты отъ Тургенева слышали иногда любопытнѣйшія подробности относительно его семьи, дѣтства, молодости. Не мало такихъ воспоминаній записано другомъ Ивана Сергѣевича—Я. П. Полонскимъ, и любопытнѣйшая бесѣда такого же содержанія записана въ мартѣ 1880 года во время пребыванія Тургенева въ Петербургѣ. Разговоръ воспроизведенъ однимъ изъ очевидцевъ на слѣдующій день и сообщаетъ, повидимому, вполнѣ точныя данныя для біографіи знаменитаго романиста [3]. Приходилось Ивану Сергѣевичу изрѣдка касаться своихъ житейскихъ подробностей въ письмахъ. Такъ, въ письмѣ отъ 19 іюня 1874 года онъ изобразилъ свои отношенія къ матери по смерти отца, свои отношенія къ крестьянамъ послѣ кончины матери [4]. Это въ высшей степени драгоцѣнный документъ, но на

---

[2]) *Историческій Вѣстникъ*, XIV, 446.

[3]) *Русская Старина* XL, 202.

[4]) *Письма*, 233—4.

такіе документы Тургеневъ былъ весьма нещедръ. Громадные пробѣлы, оставленные личными сообщеніями Ивана Сергѣевича, мы должны заполнять свѣдѣніями изъ чужихъ рукъ.

Тургеневъ, при всей своей несловоохотливости на счетъ личныхъ отношеній, любилъ останавливаться на преданіяхъ своей семьи. Эти преданія дѣйствительно весьма характерны и любопытны. Ими не разъ пользовался Тургеневъ и въ своихъ произведеніяхъ. Пальма первенства по части оригинальности и исключительно сильныхъ характеровъ принадлежитъ предкамъ Тургенева по матери—Лутовиновымъ. Это—одна изъ старѣйшихъ помѣщичьихъ семей. Предки ея служили еще при литовскихъ князьяхъ, владѣвшихъ Бѣлоруссіей, и жили настоящими магнатами. Богатство ихъ переходило изъ рода въ родъ и досталось, наконецъ, двумъ братьямъ—Петру Ивановичу и Ивану Ивановичу. У старшаго Петра была дочь Варвара, впослѣдствіи мать знаменитаго писателя. Младшій Иванъ оказался типичнѣйшимъ героемъ всей фамиліи. Иванъ Сергѣевичъ обезсмертилъ его образъ въ двухъ разсказахъ—«Три портрета» и «Однодворецъ Овсянниковъ». Разсказъ однодворца—сплошная исторія обидъ, перенесенныхъ отъ дикаго самодура крестьянами и людьми беззащитными. Лутовиновъ не только отбиралъ чужую землю, но еще жестоко и позорно наказывалъ законныхъ владѣльцевъ. Бывали у него и подручные исполнители, вродѣ опричниковъ. Потомку насильника приходилось выслушивать горькія рѣчи отъ очевидцевъ всѣхъ этихъ подвиговъ... Отвратительнѣйшій порокъ Лутовинова изображенъ въ «Трехъ портретахъ». Старикъ-скупецъ, пересчитывающій палочкой кульки съ деньгами—это тотъ же Иванъ Ивановичъ. Онъ умеръ скоропостижной смертью, отъ разрыва сердца, по другимъ извѣстіямъ—подавился косточкой плода. Напуганные крестьяне долго еще грезили страшнымъ призракомъ. Они показывали плотину, гдѣ по ночамъ прогуливается и охаетъ тѣнь покойнаго помѣщика...

Иванъ Лутовиновъ былъ не единственной фигурой въ своей семьѣ. Въ томъ же разсказѣ «Три портрета» дѣйствуетъ Василій Ивановичъ Лучиновъ. Это—подлинное лицо, также одинъ изъ Лутовиновыхъ. Его портретъ до послѣдняго времени существовалъ въ тургеневскомъ домѣ въ селѣ Спасскомъ. Иванъ Сергѣевичъ съ

большой точностью изобразилъ внѣшнія черты этого портрета, но, очевидно, отступилъ предъ подробнымъ воспроизведеніемъ характера и біографіи своего предка. Въ разсказѣ Василій Ивановичъ играетъ страшную роль,—безсердечнаго, кровожаднаго эгоиста. Подлинный прототипъ былъ еще отвратительнѣе. Его подвиги не поддаются пересказу...

Женская линія также представила достойныхъ экземпляровъ. Одинъ изъ иностранцевъ передаетъ разсказъ Ивана Сергѣевича объ его бабкѣ. Старая, вспыльчивая барыня, пораженная параличемъ и почти неподвижно сидѣвшая въ креслѣ, разсердилась однажды на казачка, который ей прислуживалъ, за какой-то недосмотръ, и—въ порывѣ гнѣва—схватила полѣно и ударила мальчика по головѣ такъ сильно, что онъ упалъ безъ чувствъ. Это зрѣлище произвело на нее непріятное впечатлѣніе. Она нагнулась, приподняла его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову, и, сѣвши на нее, задушила несчастнаго...

Таковы болѣе или менѣе отдаленныя преданія тургеневской семьи. Ближайшее прошлое было окрашено такими же мрачными красками. Это прошлое—жизнь и характеръ матери Ивана Сергѣевича, Варвары Петровны.

Сынъ выражался о ней довольно неопредѣленно. Ему, очевидно, тяжело было рисовать другимъ этотъ образъ, способный вызвать дрожь ужаса. «Мать моя», разсказывалъ Иванъ Сергѣевичъ, «была женщиною, вполнѣ вливавшеюся въ форму XVIII и первыхъ десятилѣтій XIX вѣка. Пушкина она едва-едва признавала за замѣчательнаго писателя, но литературу русскую дальше Пушкина положительно не признавала. Поэтому хотя она умерла въ 1850 году, т. е. когда я уже лѣтъ семь, какъ дѣятельно участвовалъ въ журналахъ, она не признавала во мнѣ писателя, да и ни одной статьи моей, ни даже *Записокъ охотника* совершенно не читала [5])».

---

[5]) *Русская Старина*, XL, 202. Этимъ заявленіемъ уничтожается сообщеніе автора *Воспоминанія о селѣ Спасскомъ*—В. Колонтаевой, разсказывающей слѣдующее: «Ясно помню, какъ онъ (Тургеневъ) однажды, войдя въ кабинетъ матери, подалъ ей въ розовой обертκѣ очень плохо и неряшливо изданную поэму *Параша*, посмотрѣвъ которую, Варвара Петровна залилась слезами радости и обняла сына. Хотя въ концѣ поэмы стояли буквы Т. Л., но сердце

Пренебреженіе къ русской литературѣ и къ писательской дѣятельности сына было едва ли не самой незначительной обидой среди жесточайшихъ издѣвательствъ, которымъ въ теченіи цѣлыхъ лѣтъ подвергались всѣ окружающіе, и въ томъ числѣ Иванъ Сергѣевичъ. Только исторія Варвары Петровны можетъ объяснить отчасти ея отношенія къ дѣтямъ и вообще къ людямъ.

Это исторія въ полномъ смыслѣ драматическая. Выше мы видѣли рядъ героевъ изъ фамиліи Лутовиновыхъ,—Варвара Петровна въ первую половину жизни представляла типичную жертву этого героизма.

Варвара Петровна рано осталась сиротой. Мать ея—Екатерина Ивановна Лутовинова—не любила дочери, скоро во второй разъ вышла замужъ за вдовца, имѣвшаго двухъ взрослыхъ дочерей, и совершенно отдалась вліянію мужа. Положеніе ребенка оказалось отчаяннымъ. Вотчимъ невозбранно преслѣдовавъ его, не отступалъ даже передъ побоями, на немъ срывалъ свой пьяный буйный гнѣвъ. Когда Варварѣ Петровнѣ минуло шестнадцать лѣтъ, преслѣдованія приняли другой видъ. Дѣвушка не знала, какъ спастись отъ развратнаго старика. Ей грозило унизительное наказаніе. Оставалось бѣжать,—и несчастная бѣжала съ помощью няни: полуодѣтая пѣшкомъ прошла около шестидесяти верстъ и нашла пріютъ у дяди Ивана Ивановича Лутовинова, жившаго въ сельцѣ Спасскомъ.

Лутовиновъ принялъ племянницу подъ свою защиту, и Варвара Петровна осталась жить въ Спасскомъ. Мы знаемъ, какова была эта жизнь. Дядя, конечно, не думалъ мѣнять своего нрава ради племянницы; напротивъ, она же стала одною изъ жертвъ его са-

---

матери подсказало ей имя настоящаго автора, который стоялъ тутъ же, съ лицомъ, сіяющимъ отъ счастія». *Ист. Вѣстн.* XXII, 63. Ниже, со словъ гораздо болѣе достовѣрнаго свѣдѣнія, мы убѣдимся въ совершенно противоположномъ отношеніи Варвары Петровны къ литературной дѣятельности сына. Такія же фантастическія свѣдѣнія о матери Тургенева сообщаетъ О. Аргамакова въ ст. *Семейство Тургенева*, *Ист. Вѣстн.* XV, 324. Нѣкоторыя извѣстія этихъ воспоминаній, напримѣръ, о существованіи въ домѣ Варвары Петровны «придворныхъ должностей» и слугъ, носившихъ даже фамиліи министровъ,—прямо опровергаются В. Н. Житовой, воспитанницей Варвары Петровны и надежнѣйшей свидѣтельницей всего, что касается матери Ивана Сергѣевича и его первой молодости. См. *Вѣстн. Евр.*, 1884, н. 85.

модурства. Онъ держалъ ее почти взаперти, совершенно подавилъ и обезличилъ. Такъ прошла вся молодость вплоть до тридцати лѣтъ, когда, наконецъ, тюремщикъ умеръ [6]).

Варвара Петровна стала единственною наслѣдницей многочисленныхъ имѣній матери и дяди и въ первый разъ въ жизни почувствовала себя не только свободной, но полновластной госпожей нѣсколькихъ тысячъ крѣпостныхъ рабовъ. Легко представить, какимъ жгучимъ дыханьемъ повѣяла эта свобода на измученную годами порабощенную дѣвушку! Въ жилахъ Варвары Петровны текла таже горячая, бурная лутовиновская кровь. Жить хотѣлось, неудержимо хотѣлось, и теперь на тридцатилѣтнемъ возрастѣ эта женщина возьметъ отъ жизни все, въ чемъ раньше судьба ей отказывала. Она прежде всего воспользуется той стороной жизни, какая болѣе всего причинила ей обидъ и огорченій, — властью. Варвара Петровна будетъ не просто повелѣвать и властвовать,— нѣтъ это будетъ настоящая оргія самовластья, упоеніе своей силой, какое-то самозабвеніе среди трепета и ужаса подвластныхъ. Вторая половина жизни будетъ местью за загубленную молодость, за пережитое рабство. Месть будетъ тѣмъ безпощаднѣе, что и на свободѣ Варвара Петровна не найдетъ личнаго счастья.

Сергѣй Николаевичъ Тургеневъ служилъ въ Елизаветградскомъ гусарскомъ полку и по имѣніямъ былъ сосѣдомъ Варвары Петровны. Она познакомилась съ Тургеневымъ въ Орлѣ, и, по нѣкоторымъ разсказамъ, Варвара Петровна сама вызвала предложеніе со стороны красиваго офицера, врядъ ли разсчитывавшаго на такую завидную партію [7]). Внѣшность юнаго гусара, дѣйствительно, была обаятельна, но этимъ и ограничивались достоинства избранника Варвары Петровны. Однажды заграницей она встрѣтилась съ владѣтельной нѣмецкой принцессой. Оказалось, этой принцессѣ когда-то былъ представленъ Сергѣй Николаевичъ. Теперь принцесса случайно увидѣла на рукѣ Тургеневой браслетъ съ портретомъ красиваго гусара и обратилась къ ней съ такими

---

[6]) *Воспоминаніе о семьѣ И. С. Тургенева.* В. Н. Житовой. *Вѣстн. Евр.* 1884, ноябрь, 73.

[7]) *Воспоминанія о селѣ Спасскомъ. Ист. Вѣстн.* XXII, 43: авторъ ссылается на разсказы «людей, помнившихъ о началѣ этого сватовства».

словами: «Вы—жена Тургенева, я его помню; послѣ императора Александра I я не видала никого, красивѣе вашего мужа».

Въ этой красотѣ было нѣчто, не особенно лестное для мужчины. Другъ Тургенева, видѣвшій портретъ его отца, излагаетъ свои впечатлѣнія въ слѣдующей формѣ: «Онъ глядитъ еще юношей лѣтъ 26, хорошъ собой, и—странно—не смотря на удивительные темные глаза, смѣлые и мужественные, такъ и кажется, что это не мужчина, а дама или даже камелія, наряженная въ бѣлый конно-гвардейскій мундиръ и въ галстухѣ, который безъ всякаго узелка или бантика обматываетъ ея бѣлую лебединую шею, и такъ высоко, что слегка подпираетъ ей подбородокъ. Взглядъ какой-то русалочный—свѣтлый и загадочный; чувственныя губы и едва замѣтная усмѣшка».

Иванъ Сергѣевичъ, повидимому, неохотно вспоминалъ о своемъ отцѣ, но когда это случалось, онъ съ полной искренностью опредѣлялъ преобладавшую черту его характера: «Отецъ мой былъ великій ловецъ передъ Господомъ», и въ доказательство разсказывалъ одинъ изъ подвиговъ: «ловца». Разсказъ *Первая любовь*, какъ извѣстно, вдохновленъ автору семейными преданіями...

Тургеневъ-отецъ своимъ общественнымъ положеніемъ былъ обязанъ исключительно выгодной женитьбѣ. Послѣ него, по словамъ сына, осталось всего 130 душъ разстроенныхъ и не дававшихъ дохода. Блестящая барская жизнь, послѣдовавшая послѣ свадьбы, доставляла гораздо болѣе удовольствій мужу, чѣмъ женѣ. Наклонности Сергѣя Николаевича не ослабѣвали съ годами; врядъ ли въ этой семьѣ царствовало счастье. Варвара Петровна никогда не отличалась красотой, скорѣе противоположнымъ качествомъ, и ко времени замужества молодость уже давно отошла въ область тяжелыхъ воспоминаній.

У Тургеневыхъ было трое сыновей—Николай, Иванъ и Сергѣй. Послѣдній умеръ восемнадцати лѣтъ отъ эпилепсіи. Любимымъ ребенкомъ считался Иванъ, но въ дѣйствительности такое привиллегированное положеніе являлось злѣйшей ироніей.

Громадный старинный домъ Тургеневыхъ въ сорокъ комнатъ представлялъ изъ себя гнѣздо всевозможныхъ нравственныхъ пытокъ и физическихъ мученій. Мы не станемъ пересказывать

всѣхъ часто весьма хитрыхъ и тонкихъ способовъ мучительства, какіе изобрѣтались госпожей. Память иныхъ очевидцевъ, можетъ быть, здѣсь и прикрасила дѣйствительность, но основа разсказовъ остается неизмѣнно правдивой [8]). Преданнѣйшіе слуги не были ограждены отъ страшныхъ обидъ и огорченій. У Варвары Петровны былъ старый дворецкій Поляковъ, вмѣстѣ съ женой служившій ей всю жизнь съ безпримѣрнымъ усердіемъ. Въ награду его едва не убили наслѣдственнымъ костылемъ Лутовиновыхъ, и все-таки разжаловали и сослали въ дальнюю деревню. Жену того же Полякова измучили злѣйщей мукой, запрещая держать при себѣ и кормить своихъ дѣтей. Барыня старалась мучить именно того, кто ближе всего стоялъ къ ней, и въ случаѣ защиты съ чьей-либо стороны, грозная опала распространялась на виноватыхъ и на защитниковъ. Особенное негодованіе госпожи возбуждалъ тотъ, кто начиналъ пользоваться любовью, расположеніемъ другихъ. Тогда придиркамъ, утонченнымъ издѣвательствамъ не было конца. Здѣсь ни во что ставили человѣческія слезы и человѣческое счастье. Разбить дорогое чувство, однимъ жестомъ разрушить надежду всей жизни, однимъ капризомъ обездолить цѣлую семью казалось своего рода праздникомъ, торжествомъ власти... Сколько совершалось здѣсь драмъ день за днемъ, никѣмъ незримыхъ, никому невѣдомыхъ!.. Незримыхъ и невѣдомыхъ многіе годы, но настало время, явился и въ этомъ мірѣ человѣкъ, собравшій и взвѣсившій капли непризнанныхъ слезъ...

Тяжело было дѣтство Ивана Сергѣевича. Въ груди ребенка билось чуткое впечатлительное сердце, жаждавшее тепла и ласки, а кругомъ ужасный домъ, наполненный грозными призраками и, кажется, еще болѣе грозными или равнодушными и забитыми живыми людьми. Здѣсь не понимаютъ стремленій, сродныхъ дѣтской душѣ. Мать не знала дѣтства. Она едва ли не стала помнить себя сиротой, прошла жизнь въ школѣ одиночества и гнета. Трудно было снизойдти послѣ такого пути до пристальнаго наблюденія

[8]) Такими прикрасами, несомнѣнно, полны воспоминанія О. В. Аргамаковой. Нѣкоторые эпизоды, сообщаемые ею, носятъ вполнѣ сказочный характеръ, если даже о характерѣ Варвары Петровны судить съ самой суровой точки зрѣнія. Особенно, напр., эпизодъ съ сыномъ Николаемъ, *Ib.* 332.

надъ міромъ ребенка, повидимому, малымъ и ограниченнымъ, но для любящаго взора исполненнымъ чарующихъ тайнъ и чудесъ... А между тѣмъ, здѣсь развивался и міръ исключительный, міръ будущаго великаго художника, безконечно богатый своеобразными ощущеніями, темными, едва уловимыми намеками, нѣжнѣйшими побѣгами, — всѣмъ, чему суждено впослѣдствіи именоваться геніемъ и творчествомъ. Но здѣсь никого нѣтъ, кто бы даже въ лучшія минуты неясныхъ предчувствій почуялъ грядущую силу. Напротивъ. Здѣсь все сдѣлаютъ, чтобы заглушить и искоренить божественную искру... Только чудная сила, породившая величайшаго проповѣдника гуманности и мысли въ царствѣ насилія и мрака, выведетъ къ свѣту свое избранное дѣтище...

Варвара Петровна знала одно педагогическое средство—розгу. «Драли меня», разсказываетъ Иванъ Сергѣевичъ, «за всякіе пустяки чуть не каждый день... Разъ одна приживалка, уже старая, Богъ ее знаетъ, что она за мной подглядѣла, донесла на меня моей матери. Мать безъ всякаго суда и расправы тотчасъ же начала меня сѣчь, — сѣкла собственными руками, и на всѣ мои мольбы, сказать, за что меня наказываютъ, приговаривала: самъ знаешь, самъ долженъ знать, самъ догадайся, самъ догадайся, за что я сѣку тебя».

На другой день ребенокъ окончательно отказался угадать свою вину. Тогда наказаніе повторили и обѣщали повторять его до тѣхъ поръ, пока онъ не сознается въ своемъ преступленіи. Мнимый преступникъ пришелъ въ смертный ужасъ. Ему представился единственный путь спасенья—бѣгство изъ родного дома. И вотъ какъ онъ самъ впослѣдствіи описывалъ свое настроеніе. Планъ бѣгства, конечно, приводился въ исполненіе ночью...

«Я уже всталъ. Потихоньку одѣлся и въ потемкахъ пробирался корридоромъ въ сѣни. Не знаю самъ, куда я хотѣлъ бѣжать,—только чувствовалъ, что надо убѣжать и убѣжать такъ, чтобы не нашли и что это единственное мое спасеніе. Я крался, какъ воръ, тяжело дыша и вздрагивая. Какъ вдругъ въ корридорѣ появилась зажженная свѣчка, и я къ ужасу моему увидѣлъ, что ко мнѣ кто-то приближается—это былъ нѣмецъ, учитель мой. Онъ поймалъ меня за руку, очень удивился и сталъ меня допра-

шивать.—Я хочу бѣжать, сказалъ я и залился слезами.—Какъ, куда бѣжать?—Куда глаза глядятъ.—Зачѣмъ?—А за тѣмъ, что меня сѣкутъ, и я не знаю, за что сѣкутъ.—Не знаете?—Клянусь Богомъ, не знаю.

«Тутъ добрый старикъ обласкалъ меня, обнялъ и далъ мнѣ слово, что уже больше наказывать меня не будутъ.

«На другой день, утромъ, онъ постучался въ комнату моей матери и о чемъ-то долго съ ней наединѣ бесѣдовалъ. Меня оставили въ покоѣ».

Интересна роль отца въ подобныхъ исторіяхъ. Отецъ съ такою же легкостью, какъ и мать, повѣрилъ наговору приживалки и не подумалъ разслѣдовать дѣло,—напротивъ, къ горькимъ чувствамъ ребенка прибавилъ еще свои укоризны въ столь ранней испорченности. Съ этой стороны было полное равнодушіе къ духовному развитію сына, и всякая карающая мѣра, къ чему бы она ни примѣнялась, встрѣчала, очевидно, полное сочувствіе...

Въ дѣтствѣ Иванъ Сергѣевичъ отличался одной способностью, въ высшей степени симпатичной и отрадной, но въ Спасскомъ домѣ производившей впечатлѣніе какого-то злого духа. Ребенокъ былъ крайне искрененъ и экспансивенъ. Врожденная впечатлительность на каждомъ шагу подвергала его жестокой опасности—обмолвиться некстати преступнымъ замѣчаніемъ. Тургеневъ передаетъ на этотъ счетъ нѣсколько далеко не всегда забавныхъ приключеній. Всѣ они относятся къ шести-семилѣтнему возрасту.

Разъ его представили весьма почтенному старцу и предупредили, что это сочинитель Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ. Ребенокъ прочелъ передъ авторомъ одну изъ его басенъ, но не удовлетворился одной декламаціей,—ему захотѣлось высказать свой критическій взглядъ, и онъ прямо въ глаза достопочтенному старцу брякнулъ:

«Твои басни хороши, а Ивана Андреевича Крылова — гораздо лучше». Легко представить ужасъ матери юнаго критика. Она «такъ разсердилась», разсказывалъ Иванъ Сергѣевичъ, «что высѣкла меня и этимъ закрѣпила во мнѣ воспоминаніе о свиданіи и знакомствѣ, первомъ по времени.—съ русскимъ писателемъ».

Другой случай еще драматичнѣе, и на этотъ разъ бѣда про-

изошла все отъ той же наклонности мальчика—высказывать свои личные взгляды. Его представили важной старухѣ, свѣтлѣйшей княгинѣ Голенищевой-Кутузовой-Смоленской. Ребенка поразила оригинальная внѣшность княгини. Ему вдругъ представилась икона какой-либо святой самаго дурного письма, почернѣвшая отъ времени. Онъ оказался не въ силахъ проникнуться благоговѣйнымъ почтеніемъ, какое выказывали къ старухѣ его мать и всѣ окружающіе, и откровенно заявилъ знатной барынѣ: «ты совсѣмъ похожа на обезьяну»...

Въ результатѣ послѣдовало, конечно, новое возмездіе...

Всѣ эти эпизоды изъ дѣтской жизни Тургенева и отношенія къ ребенку родителей близко напоминаютъ дѣтство другого великаго русскаго писателя. Иванъ Сергѣевичъ до самой смерти хранилъ глубочайшее благоговѣніе предъ памятью Пушкина. Онъ считалъ его своимъ учителемъ, хотѣлъ завѣщать—похоронить себя у ногъ великаго поэта, и не сдѣлалъ этого только потому, что считалъ это мѣсто вѣчнаго упокоенія для себя слишкомъ почетнымъ, незаслуженнымъ... Ивана Сергѣевича ни на минуту не покидала его обычная скромность... Но вопросъ не въ этомъ. Восторженное сочувствіе къ Пушкину любопытно во многихъ отношеніяхъ. Независимо отъ геніальнаго творчества, Пушкинъ производилъ могучее впечатлѣніе на своего ученика—личностью и личной судьбой. Недаромъ Иванъ Сергѣевичъ взялъ на себя крайне рискованный трудъ—внести свѣтъ въ послѣдній актъ пушкинской драмы, издалъ его письма къ женѣ, — и достигъ цѣли. Русская публика впервые воочію съ совершенной ясностью увидѣла страдальческій образъ своего поэта-борца, лишеннаго отрады, счастья, даже признанія тамъ, гдѣ были сосредоточены его задушевнѣйшія мечты о мирѣ и любви,—у семейнаго очага. Страданія, пережитыя великимъ человѣкомъ, стали достояніемъ общественнаго мнѣнія. Самъ издатель писемъ могъ почувствовать въ этой исторіи нѣчто, гораздо болѣе близкое, для себя родное, чѣмъ всѣ другіе читатели. Мы увидимъ, — жесточайшая изъ драмъ, — драма одиночества—съ одинаковой силой тяготѣла надъ жизнью и Тургенева, и Пушкина. Для того и другого поэта драма началась съ самаго дѣтства. Эта общая участь могла только сообщить исключительную

горячность и глубину восторгамъ ученика предъ талантомъ и личностью учителя.

Дѣтство Пушкина такое же безпріютное, заброшенное, какъ и дѣтство Тургенева. Пушкинъ, четырехлѣтнимъ ребенкомъ, живетъ одинъ съ своими думами, впечатлѣніями, къ нему не только не идутъ на встрѣчу съ привѣтомъ, съ искреннимъ желаніемъ понять запросы его просыпающагося сознанія; напротивъ, надъ нимъ издѣваются, укоряютъ его за некрасивую внѣшность, неизящныя манеры, неповоротливость. Ребенокъ во мнѣніи родителей вдругъ попадаетъ въ разрядъ дѣтей съ извращенной натурой. Уѣзжая изъ родного дома на двѣнадцатомъ году жизни, Пушкинъ увозитъ самое дорогое воспоминаніе не о людяхъ, ближайшихъ ему по природѣ, а о простой безграмотной крѣпостной слугѣ, нянѣ Аринѣ Родіоновнѣ...

Вотъ кто лелѣялъ первые проблески нравственнаго развитія будущаго великаго поэта! Историку русской литературы придется признать великую роль въ жизни не одного русскаго писателя — за крѣпостными рабами. Только изъ этой среды до барскихъ дѣтей долетало вѣяніе *русской* жизни, только отъ этихъ людей они слышали родныя преданія, родную рѣчь, только въ ихъ обществѣ научались любить родной языкъ, нравы, вѣрованія, радости и горе своего народа. Въ безсмертной поэтической дѣятельности Пушкина посѣяно неизмѣримо больше плодотворныхъ сѣмянъ няней ребенка, чѣмъ его отцомъ и матерью, больше чѣмъ призванными руководителями его дѣтства. Сколько сердечныхъ привѣтствій высказано великимъ поэтомъ этой «подругѣ юности»!.. Какія искреннія сожалѣнія были вызваны ея кончиной и какимъ отраднымъ умиротворяющимъ свѣтомъ сіяла память чудной старушки для ея питомца до послѣднихъ его дней! Это одна изъ трогательнѣйшихъ исторій, но за ней таится невольный упрекъ—равнодушію, эгоизму и легкомыслію другихъ людей...

Подобную участь испыталъ Тургеневъ. У него, какъ и у Пушкина, въ теченіи раннихъ лѣтъ ученья, смѣнилось множество гувернеровъ и учителей, конечно, иностранцевъ. Все это были наемники, одной ступенью только стоявшіе выше обыкновенной прислуги. Такъ на нихъ и смотрѣли господа, такъ къ нимъ относи-

лась даже дворня. Иванъ Сергѣевичъ разсказываетъ о пріѣздѣ одного изъ такихъ учителей въ Спасское. На этотъ разъ учитель былъ нѣмецъ и съ перваго же шага зарекомендовалъ себя большимъ чудакомъ. Съ нѣмцемъ пріѣхала самая простая, обыкновенная, даже неученая ворона. Многочисленная дворня сбѣжалась взглянуть на диковиннаго гостя и недоумѣвала, зачѣмъ нѣмецъ привезъ ворону, когда этого добра сколько угодно было на господскомъ дворѣ. Но самъ хозяинъ усердно суетился съ своей птицей.

«Старикъ дворовый, глядя на его суетню, флегматически замѣтилъ: «ахъ ты, фуфлыга», обращая эпитетъ, конечно, къ нѣмцу. Нѣмецъ обидѣлся, задумался, и на другой день за завтракомъ или обѣдомъ неожиданно обратился къ отцу моему и, весьма плохо объясняясь по-русски, заявилъ ему, что онъ имѣетъ спросить его по одному предмету:

«— Позвольте у васъ узнать, что значитъ слово *фуфлыга*? Меня вчера назвалъ вашъ человѣкъ этимъ словомъ?

«Отецъ взглянулъ на тутъ же бывшаго двороваго и на меня съ братомъ, догадался въ чемъ дѣло, улыбнулся и сказалъ:

«— Это значитъ живой и любезный господинъ.

«Видимо, что нѣмецъ не очень-то повѣрилъ этому объясненію.

«— А еслибъ вамъ сказали, — продолжалъ онъ, — обращаясь къ отцу моему: ахъ, какой вы фуфлыга! вы не обидѣлись бы?

«— Напротивъ, я принялъ бы это за комплиментъ».

Нѣмецъ оказался однимъ изъ самыхъ щепетильныхъ педагоговъ. Другимъ его качествомъ была крайняя чувствительность. Онъ не могъ читать безъ слезъ произведеній Шиллера. И все-таки этотъ чувствительный, самолюбивый наставникъ русскаго юношества обнаружилъ совершенное отсутствіе какой бы то ни было педагогической подготовки. Ее и трудно было пріобрѣсти: до вступленія на педагогическое поприще—нѣмецъ былъ сѣдельникомъ. Его скоро уволили.

Увольненіе гувернеровъ и наставниковъ въ спасскомъ домѣ происходило не всегда мирнымъ путемъ. Съ однимъ нѣмцемъ произошла трагическая исторія. Однажды Сергѣй Николаевичъ вздумалъ взглянуть на классныя занятія дѣтей и поднялся въ ихъ

комнату. Какъ разъ въ эту минуту наставникъ, выведенный изъ терпѣнія старшимъ ученикомъ, схватилъ его за волосы. Тургеневъ засталъ сцену въ самомъ разгарѣ, бросился на педагога, приподнялъ его за воротъ на воздухъ и сбросилъ съ лѣстницы второго этажа. Несчастный немедленно былъ выселенъ изъ господскаго дома.

При такихъ условіяхъ происходило просвѣщеніе молодыхъ барчуковъ. Иванъ Сергѣевичъ все-таки успѣлъ познакомиться на урокахъ чувствительнаго нѣмца съ нѣмецкой литературой. Врядъ ли это знакомство могло быть особенно глубокимъ, тѣмъ болѣе, что частая смѣна учителей, несомнѣнно, мѣшала прочной системѣ преподаванія.

Главнѣйшимъ учителемъ Ивана Сергѣевича оказался дворовый человѣкъ.

Русскій языкъ былъ почти изгнанъ изъ обихода въ господскомъ домѣ Тургеневыхъ. Варвара Петровна по русски говорила только съ прислугой, но и среди прислуги было не мало «образованныхъ людей», т. е. говорившихъ на одномъ и даже двухъ иностранныхъ языкахъ. Крѣпостной фельдшеръ, исполнявшій обязанности домашняго врача, прекрасно говорилъ по нѣмецки, дворецкій Поляковъ говорилъ и писалъ по французски. Все молодое поколѣніе господъ обязано было думать и молиться на французскомъ языкѣ, даже молитва предъ причастіемъ во время говѣнья произносилась на томъ же языкѣ. Эта культура иноземнаго языка должна была уживаться рядомъ съ первобытными личными и общественными отношеніями. Питомцы крѣпостныхъ порядковъ не находили здѣсь ни малѣйшаго противорѣчія; напротивъ, въ унизительномъ положеніи народа видѣли даже оправданіе для своего презрѣнія къ народному языку и народной жизни. На такой сценѣ приходилось дѣйствовать русской литературѣ. Мало того. Именно здѣсь, въ экзотической, полудикой атмосферѣ должны были развернуться силы великихъ дѣятелей *народнаго* слова. Пушкинъ русскую рѣчь услышалъ отъ няни, Тургеневъ—отъ двороваго слуги.

Ѳедоръ Ивановичъ Лобановъ навсегда остался близкимъ довѣреннымъ человѣкомъ Ивана Сергѣевича и завѣдывалъ многими его дѣлами, напримѣръ, такимъ интимнымъ вопросомъ, какъ дѣловыя

отношенія Тургенева къ матери его дочери. У Варвары Петровны онъ исполнялъ должность домашняго секретаря,—и совершенно независимо отъ своихъ прямыхъ обязанностей принялся обучать Ивана Сергѣевича русской грамотѣ. Это была неоцѣненная услуга, и Тургеневъ не забывалъ ея до конца своей жизни. Обученіе происходило довольно оригинальнымъ путемъ. Лобановъ уводилъ барчука въ садъ, и начиналъ читать ему *Россіаду*, поэму Хераскова. «Каждый стихъ этой поэмы», разсказывалъ Тургеневъ, «онъ читалъ сначала, такъ сказать, *начерно*, скороговоркою, а затѣмъ тотъ же стихъ читалъ *набѣло*, громогласно съ необыкновенною восторженностью. Меня чрезвычайно занималъ вопросъ и вызывалъ на размышленія, что значитъ прочитать сначала *начерно* и каково отлично чтеніе *набѣло*, велегласное. Любилъ я слушать *Россіаду*, и для меня было большимъ наслажденіемъ, когда нашъ доморощенный чтецъ-декламаторъ позоветъ меня, бывало, въ садъ въ сотый разъ вслушиваться въ чтеніе его отрывковъ изъ тяжеловѣснаго произведенія Хераскова».

Воспоминаніями объ этомъ оригинальномъ любителѣ отечественной литературы Тургеневъ воспользовался въ своемъ разсказѣ *Пунинъ и Бабуринъ*. Здѣсь впечатлѣнія передаются съ такой искренностью, съ такой сердечностью, что не остается ни малѣйшаго сомнѣнія въ ихъ смыслѣ для самого автора. Здѣсь даже повторяются тѣ самыя черты, какія Тургеневъ приписывалъ своему подлинному учителю. Страница изъ разсказа—одинъ изъ достовѣрнѣйшихъ біографическихъ документовъ. Мы напомнимъ ее читателямъ. Весь разсказъ ведется отъ лица самого героя.

«Разсказы Пунина занимали меня чрезвычайно, но больше даже его разсказовъ любилъ я чтенія, которыя онъ производилъ со мной. Невозможно передать чувство, которое я испытывалъ, когда, улучивъ удобную минуту, онъ внезапно, словно сказочный пустынникъ или добрый духъ, появлялся передо мною съ извѣстной книгой подъ мышкой, и украдкой кивая длиннымъ кривымъ пальцемъ и таинственно подмигивая, указывалъ головой, бровями, плечами, всѣмъ тѣломъ на глубь и глушь сада, откуда никто не могъ проникнуть за нами и гдѣ невозможно было насъ отыскать! И вотъ, удалось намъ уйти незамѣченными; вотъ мы благополучно достигли одного изъ

нашихъ тайныхъ мѣстечекъ; вотъ мы сидимъ уже рядкомъ, вотъ уже и книга медленно раскрывается, издавая рѣзкій, для меня тогда неизъяснимо-пріятный запахъ плѣсени и старья! съ какимъ трепетомъ, съ какимъ волненіемъ нѣмотствующаго ожиданія гляжу я въ лицо, въ губы Пунина—въ эти губы, изъ которыхъ вотъ-вотъ польется сладостная рѣчь! Раздаются, наконецъ, первые звуки чтенія! Все вокругъ исчезаетъ... нѣтъ, не исчезаетъ, а становится далекимъ, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатлѣніе чего-то дружелюбнаго и покровительственнаго? Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокія травы заслоняютъ, укрываютъ насъ отъ всего остальнаго міра; никто не знаетъ, гдѣ мы, что̀ мы—а съ нами поэзія, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у насъ происходитъ важное великое, тайное дѣло... Пунинъ преимущественно придерживался стиховъ—звонкихъ, многошумныхъ стиховъ; душу свою онъ готовъ былъ положить за нихъ! Онъ не читалъ, онъ выкрикивалъ ихъ торжественно, заливчато, закатисто, въ носъ, какъ опьянѣлый, какъ изступленный, какъ Пиѳія! И еще вотъ какая за нимъ водилась привычка: сперва прожужжитъ стихъ тихо, вполголоса, какъ бы бормоча... Это онъ называлъ читать начерно; потомъ уже грянетъ тотъ же самый стихъ набѣло и вдругъ вскочитъ, подниметъ руки, не то̀ молитвенно, не то̀ повелительно... Такимъ образомъ мы прошли съ нимъ не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чѣмъ старѣе были стихи, тѣмъ больше они приходились Пунину по вкусу)—но даже *Россіаду* Хераскова! И правду говоря, она-то, эта самая *Россіада* меня въ особенности восхитила. Тамъ, между прочимъ, дѣйствуетъ одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ея позабылъ, а тогда у меня и руки и ноги холодѣли, какъ только она упоминалась. «Да», говаривалъ, бывало, Пунинъ, значительно кивая головою: «Херасковъ—тотъ спуску не дастъ. Иной разъ такой выдвинетъ стишокъ—просто, зашибетъ... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а ужъ онъ вонъ гдѣ! и трубитъ, трубитъ, аки кимвалонъ! Зато ужъ и имя ему дано одно слово: Херрасковъ!!» Ломоносова Пунинъ упрекалъ въ слишкомъ простомъ и вольномъ слогѣ, а къ Державину относился почти враждебно, говоря, что онъ болѣе царедворецъ, нежели піита. Въ нашемъ домѣ не

только не обращали никакого вниманія на литературу, на поэзію но даже считали стихи, особенно русскіе стихи, за нѣчто совсѣмъ непристойное и пошлое; бабушка ихъ даже не называла стихами, а «кантами»; всякій сочинитель кантовъ былъ, по ея мнѣнію, либо пьяница горькій, либо круглый дуракъ. Воспитанный въ подобныхъ понятіяхъ, я неминуемо долженъ былъ либо съ гадливостью отвергнуться отъ Пунина—онъ же къ тому былъ неопрятенъ и неряшливъ, что̀ тоже оскорбляло мои барскія привычки,—либо увлеченный и побѣжденный имъ, послѣдовать его примѣру, заразиться его стихобѣсіемъ... Оно такъ и случилось. Я тоже началъ читать стихи, или, какъ выражалась бабушка, воспѣвать канты... даже попытался самъ нѣчто сочинить, а именно описаніе шарманки, въ которомъ находились слѣдующіе два стишка:

Вотъ вертится толстый валъ
И зубцами защелкалъ...

Пунинъ одобрилъ въ этомъ описаніи нѣкоторую звукоподражательность, но самый сюжетъ осудилъ, какъ низкій и недостойный лирнаго бряцанья».

Помѣщица, играющая роль бабушки въ разсказѣ, списана съ Варвары Петровны; разсказывается даже эпизодъ, совершенно тождественный съ драматическимъ приключеніемъ крестьянскихъ парней, сосланныхъ на поселеніе за невниманіе къ госпожѣ. И убѣжденія бабушки одинаковы съ принципами Варвары Петровны.

Мы, къ сожалѣнію, не можемъ съ точностью опредѣлить прототипъ Пунина. По однимъ свѣдѣніямъ, это можетъ быть Лобановъ, по другимъ, камердинеръ Варвары Петровны, Михайла Филипповичъ. По крайней мѣрѣ послѣдній постоянно обращался къ воспитанницѣ Варвары Петровны съ упрекомъ, что она читаетъ французскія книжки и рекомендовалъ почитать Хераскова. Михайло Филипповичъ отличался многими странностями, но ни одна изъ нихъ не напоминаетъ Пунина. Это, впрочемъ, частный вопросъ. Для насъ важенъ фактъ перваго знакомства будущаго геніальнаго писателя съ русскимъ словомъ при посредствѣ крѣпостного слуги...[9]).

[9]) Свѣдѣнія, касающіяся этого вопроса, даются В. Н. Житовой (*Вѣстн. Евр.* 1*b*., 103—107) и статьей, напечатанной въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. *Изъ воспоминаній о селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ*, О. Б—ъ. 1885 г., I, 339.

Такой симпатичный образъ сопровождалъ дѣтство будущаго писателя! Есть что-то невыразимо трогательное въ этомъ раннемъ союзѣ простодушія взрослаго грамотника, дѣтски-наивныхъ восторговъ предъ стариннымъ произведеніемъ родной литературы, и просыпающейся страстной любви ребенка къ родному слову. Тургеневъ не находилъ словъ выразить своего восторга предъ силой и блескомъ русскаго языка. Ему казалось, что въ этомъ сокровищѣ заключены для русскаго народа неисчерпаемыя надежды—на высокое развитіе его силъ. Такъ думалъ великій романистъ въ концѣ своего славнаго писательскаго поприща. Начало этого пути въ высшей степени скромно: искусственная, напыщенная рѣчь стараго піиты въ устахъ полуграмотнаго крестьянина. Такова сущность дѣла, но безъ этой рѣчи, и, главное, безъ этого крестьянина чужой языкъ, чужіе звуки безраздѣльно владѣли бы мыслью и впечатлѣніями ребенка...

Такъ прошли первые годы дѣтства. Эту пору привыкли рисовать въ свѣтлыхъ краскахъ, и она дѣйствительно должна бы для всѣхъ быть самой свѣтлой и радостной порой жизни. Но не всѣмъ выпадаетъ такое счастье. Иванъ Сергѣевичъ не попалъ въ число счастливыхъ. Его дѣтскія впечатлѣнія безотрадны, часто драматичны. Уже на склонѣ лѣтъ онъ шага не могъ сдѣлать въ своемъ спасскомъ домѣ, чтобы не вспомнить какой-либо подвигъ своей матери. Всѣ подвиги были въ одномъ направленіи. Достаточно вспомнить одинъ.

Варвара Петровна гуляла въ саду. Въ это время здѣсь работало двое крестьянскихъ парней. Они не поклонились госпожѣ, когда она проходила мимо ихъ. Въ результатѣ—послѣдовало распоряженіе сослать преступниковъ въ Сибирь. Иванъ Сергѣевичъ ребенкомъ былъ свидѣтелемъ заключительной сцены.

«Вотъ у этого окна», разсказывалъ онъ, «сидѣла моя мать; было лѣто, и окно было отворено, и я былъ свидѣтелемъ, какъ эти ссылаемые въ Сибирь, наканунѣ ссылки подходили къ окну съ обнаженными понурыми головами, для того, чтобы ей откланяться и проститься съ ней».

Впечатлѣній другого сорта было немного. Тургеневъ припоминалъ кое-что изъ роскошной шумной жизни своихъ родителей. Осо-

бенно обширный спасскій садъ пробуждалъ въ немъ былыя сцены и образы. Иванъ Сергѣевичъ даже въ старости могъ припомнить театральныя представленія, дававшіяся въ этомъ саду, конечно, на французскомъ языкѣ, толпу гостей, разноцвѣтную иллюминацію, музыку доморощеннаго оркестра. Но пѣсни крестьянскихъ хороводовъ доставляли ему едва ли не больше удовольствія: по крайней мѣрѣ, до послѣдняго времени онѣ «радовали его до глубины души». Во время предсмертнаго пребыванія въ Спасскомъ эти пѣсни оставались для него все тѣмъ же роднымъ истинно-поэтическимъ наслажденіемъ. Заграницей онъ не мало труда потратилъ, чтобы познакомить иностранцевъ съ мелодіей русской пѣсни. Начало всему этому положили дѣтскія впечатлѣнія. Ребенокъ горячо стремился войти въ жизнь далекаго крестьянскаго міра, и чуткая художественная организація подсказывала ему множество идей, недоступныхъ другимъ. Съумѣлъ же онъ впослѣдствіи воспроизвести драму нѣмаго Герасима. Это—подлинная исторія; случилась она съ *Андреемъ*, дворовымъ человѣкомъ Варвары Петровны. Иванъ Сергѣевичъ удержалъ почти всѣ дѣйствительныя подробности, и внѣшніе факты были всѣмъ извѣстны. Но только онъ съумѣлъ проникнуть въ душу бѣднаго существа, только онъ въ груди нѣмого съумѣлъ прочесть драму, только онъ понялъ и воплотилъ въ чудныхъ образахъ для всѣхъ скрытыя, ни для кого не интересныя страданія... Такая способность не рождается внезапно. Она воспитывается годами, растетъ вмѣстѣ съ опытомъ человѣка, живетъ въ немъ съ первой минуты сознанія. И мы ясно представляемъ, съ какимъ жаднымъ трепетомъ ребенокъ присматривается ко всему окружающему, какая энергическая работа разнообразнѣйшихъ ощущеній происходитъ въ немъ по поводу подмѣченныхъ явленій, сколько боли испытываетъ это еще дѣтское сердце, сколько здѣсь затаеннаго страха за другихъ, сколько нѣжнаго состраданія къ гонимымъ и невольнаго благороднаго негодованія на гонителей!..

Мысль работаетъ неустанно, лихорадочно и непремѣнно требуетъ отвѣта на всякій фактъ, на всякій запросъ. Одинъ мелкій примѣръ можетъ засвидѣтельствовать, какую напряженную работу выноситъ мозгъ ребенка и въ какомъ безнадежно одинокомъ положеніи томится пытливая мысль, загорѣвшаяся въ этой эгоистической жестокой средѣ.

Ребенокъ страшно боится матери, «боится, какъ огня», но онъ преодолѣваетъ даже этотъ страхъ, когда дѣло касается его «вопросовъ», его внутренней жизни, которой онъ невольно придаетъ значенiе и серьезный смыслъ.

Разъ за обѣдомъ кто-то завелъ рѣчь о томъ, какъ зовутъ дьявола. Никто не могъ сказать, зовутъ ли его Вельзевуломъ или Сатаною, или еще какъ-нибудь иначе. Присутствовавшiй при разговорѣ Иванъ Сергѣевичъ, воскликнулъ, ощущая въ то же время невольный испугъ.

— Я знаю, какъ зовутъ.

— Ну, если знаешь, говори,—отозвалась мать.

— Его зовутъ «Мемъ»

— Какъ! повтори, повтори!

— Мемъ.

— Это кто тебѣ сказалъ? откуда ты это выдумалъ?

— Я не выдумалъ, я это слышу каждое воскресенье у обѣдни.

— Какъ такъ у обѣдни?

— А во время обѣдни выходитъ дьяконъ и говоритъ: вонъ, Мемъ! Я такъ и понялъ, что онъ изъ церкви выгоняетъ дьявола и что зовутъ его Мемъ. «Удивляюсь», прибавлялъ Иванъ Сергѣевичъ, «какъ меня за это не высѣкли»... Оригинальное толкованiе славянскаго слова, напротивъ, вызвало смѣхъ взрослыхъ, и на этотъ разъ разсужденiя ребенка прошли безнаказанно.

Далеко не всегда такъ благосклонно и снисходительно относились взрослые къ безправному члену своей семьи. Ребенокъ, несомнѣнно, предпочиталъ про себя хранить свои сомнѣнiя или, можетъ быть, велъ съ Лобановымъ такого рода бесѣды, какiя описываются въ разсказѣ *Пунинъ и Бабуринъ.* Если литературный образъ вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительному оригиналу, если восторги Пунина предъ красотами природы были доступны и учителю Ивана Сергѣевича — у слуги и молодого господина было много общихъ вкусовъ.

Иванъ Сергѣевичъ до послѣднихъ дней питалъ страстную любовь къ Спасскому. Его лирическiя излiянiя напоминаютъ строфы, посвященныя Пушкинымъ Михайловскому. Для Пушкина воспоминанiя о Михайловскихъ рощахъ были цѣлой авто-бiографiей—по-

этической, прочувствованной, неизмѣнно дорогой. Здѣсь и безпечная первая молодость, и первые жадные запросы къ жизни, и смѣнившая ихъ усталость и горечь... Тоска Тургенева на смертномъ одрѣ по незамѣнимой родной деревнѣ исполнена такого же глубокаго чувства. Онъ помнитъ всѣ подробности, часовню, дубъ, радуется, когда ему посылаютъ вмѣстѣ съ письмомъ листья и цвѣты изъ Спасскаго села. О продажѣ Спасскаго онъ и слышать не хочетъ. «Продать Спасское значитъ для меня лечь въ гробъ»... Онъ убѣжденъ, что даже такой ключевой воды во всемъ мірѣ нѣтъ, какъ въ Спасскомъ. Это—безотчетная, годами укоренившаяся привязанность къ родному мѣсту, гдѣ одинаково памятна и дорога каждая подробность...

Такое чувство воспитывается дѣтствомъ. Эта часовня, этотъ садъ не разъ были свидѣтелями одинокихъ огорченій ребенка, не разъ въ ихъ сумракѣ онъ таилъ свои думы и свое горе, не разъ—среди простора равнодушной, но неотразимо влекущей природы — искалъ радостей своему художественному чувству и забывалъ подъ вліяніемъ ихъ свои раннія невзгоды. Позже онъ разсказывалъ, какъ часто, подвергнутый жестокому наказанію, высѣченный или лишенный обѣда, онъ уходилъ въ садъ, долго бродилъ, обливаясь безмолвными слезами, глотая ихъ съ какимъ-то «горькимъ наслажденьемъ». Тургеневъ съ любовью будетъ описывать окрестности своего Спасскаго, одинъ изъ чудныхъ разсказовъ *Бѣжинъ лугъ* воспроизведётъ со всевозможными подробностями извѣстную мѣстность; въ романѣ *Рудинъ* авторъ повторитъ то же самое, и—повсюду—въ *Запискахъ охотника* разсѣетъ художественныя черты, списанныя съ родной природы... Надо было наблюдать эту природу годами, съ терпѣливой любовью, съ врожденнымъ пониманіемъ ея мѣстныхъ красотъ надо чувствовать исконныя связи съ ней, чтобы воспроизводить ея жизнь такой увѣренной, такой мощной, неистощимой кистью.

Здѣсь каждая подробность историческая. Ни одной выдумки, ничего, созданнаго потугами воображенія. Какъ понималъ и какъ описывалъ Тургеневъ свою природу—покажетъ одинъ, на первый взглядъ незначительный примѣръ. Мы увидимъ, изъ какихъ простыхъ данныхъ слагались художественныя впечатлѣнія будущаго писателя.

«Я... быстрыми шагами сталъ спускаться съ холма, на которомъ лежитъ Колотовка. У подошвы этого холма растилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечерняго тумана; она казалась еще необъятнѣй и какъ будто сливалась съ потемнѣвшимъ небомъ. Я сходилъ большими шагами по дорогѣ вдоль оврага, какъ вдругъ, гдѣ-то далеко въ равнинѣ, раздался звонкій голосъ мальчика. «Антропка! Антропа-а-а!..» кричалъ онъ съ упорнымъ и слезливымъ отчаяніемъ, долго, долго вытягивая послѣдніе слоги.

«Онъ умолкалъ на нѣсколько мгновеній и снова принимался кричать. Голосъ его звонко разносился въ неподвижномъ, чуткодремлющемъ воздухѣ. Тридцать разъ, по крайней мѣрѣ, прокричалъ онъ имя Антропки, какъ вдругъ, съ противоположнаго конца поляны, словно съ другого свѣта пронесся едва слышный отвѣтъ:

«— Чего-о-о-о?

«Голосъ мальчика тотчасъ съ радостнымъ озлобленіемъ закричалъ:

«— Иди сюда, чортъ, лѣші-і-ій!

«— Зачѣ-ѣ-ѣмъ?—отвѣтилъ тотъ, спустя долгое время.

«— А затѣмъ, что тебя тетя высѣчь хочи-и-и-тъ,—поспѣшно прокричалъ первый голосъ.

«Второй голосъ больше не откликнулся, и мальчикъ снова принялся взывать къ Антропкѣ. Возгласы его, болѣе и болѣе рѣдкіе и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсѣмъ темно, и я огибалъ край лѣса, окружающаго мою деревеньку и лежащаго въ четырехъ верстахъ отъ Колотовки.

«Антропка-а-а!» все еще чудилось въ воздухѣ, наполненномъ тѣнями ночи».

Это превосходная картина по своей несравненно-простой художественной красотѣ. А между тѣмъ, сколько спокойствія, непосредственной, жизненной правды въ краскахъ! Какъ мало словъ и какъ мало предметовъ! Въ результатѣ—въ нѣсколькихъ строкахъ обаятельнѣйшій міръ жизни, захватывающей насъ полнотой чувствъ и богатствомъ содержанія. Самый незамысловатый фонъ: волны вечерняго тумана, до комизма будничный герой—крестьянскій мальчикъ,—и страницы великолѣпнѣйшихъ лирическихъ *изліяній* не вытѣснятъ изъ вашей памяти этого *Антропки*...

Не вызываетъ ли невольно въ вашемъ представленіи эта картина другой картины, такой же простой, но такой же жизненной, такой же душистой, столь же исполненной чувства и смысла? Этотъ лѣтній вечеръ, мирно покоющаяся поляна, два крестьянскихъ мальчика,—все это наполняло лучшія минуты, пережитыя Тургеневымъ въ дѣтствѣ. Природа и народная жизнь—не блестящая, не эффектная, но приковывающая дѣтское сердце задушевностью и оригинальной красотой,—единственные источники первыхъ дѣтскихъ радостей, единственное облегченіе среди людскихъ неправдъ и насилій. Впослѣдствіи, когда разовьются силы, Тургеневъ почувствуетъ настоятельную необходимость покинуть домъ матери, уйти, чтобы не видѣть чужихъ страданій. Эти страданія преслѣдуютъ его съ самаго начала, съ первой минуты сознанія. Куда же онъ спасается ребенкомъ, гдѣ перемогаетъ онъ въ своемъ сердцѣ жестокія сцены, проходящія предъ его глазами? Предотвратить ихъ онъ не въ силахъ, борьба, какъ сейчасъ увидимъ, остается для него чаще всего безплодной, приноситъ даже лишнія огорченія тѣмъ, кого онъ стремится защитить... И вотъ, безпомощный, лично оскорбляемый, одинокій, онъ уходитъ въ тотъ самый садъ, къ той самой часовнѣ, къ тому самому дубу, которымъ незадолго передъ смертью онъ шлетъ поклоны изъ своего далека... Сколько отрады приносятъ художественной натурѣ въ такія минуты мирныя картины природы, сцены простого народнаго быта!.. Впослѣдствіи, вспоминая раннюю молодость,—онъ будетъ называть «вкусными часами» часы, проведенныя въ мечтательномъ созерцаніи природы, когда малѣйшій «шумъ земли» достигалъ напряженнаго поэтическаго слуха и когда не хватило бы словъ пробудить всю полноту ощущеній...

И мы не должны психологическій и художественный талантъ писателя ограничивать опредѣленнымъ періодомъ жизни, начинать его исторію съ болѣе или менѣе зрѣлаго возраста. Напротивъ. Именно для художественнаго дарованія богатѣйшій источникъ— самыя раннія впечатлѣнія, капиталъ, пріобрѣтенный безсознательно, непроизвольно въ годы наивысшей отзывчивости на каждую мелочь окружающей дѣйствительности. Диккенсъ придаетъ значеніе впечатлѣніямъ, оставшимся въ его памяти съ *двухлѣтняго*

возраста. Но Диккенсъ самъ подробно разсказалъ свою жизнь. Мы не знаемъ въ точности, какія именно раннія дѣтскія впечатлѣнія вошли въ творчество Тургенева—во всякомъ случаѣ такихъ впечатлѣній множество. *Записки охотника*—непосредственный результатъ личнаго опыта, личныхъ воспоминаній, идущихъ съ самаго ранняго возраста. Они въ полномъ смыслѣ—крикъ облегченія послѣ длиннаго ряда лѣтъ духоты и вынужденнаго терпѣнія...

Одиночество Тургенева въ родной семьѣ особенно должно было помогать развитію наблюдательности, анализа, гуманнаго настроенія—и все это должно было сказаться въ первомъ произведеніи Тургенева, направленномъ на защиту жертвъ крѣпостного права. Другіе поэты, напримѣръ изъ русскихъ—Лермонтовъ оставилъ намъ исторію чувствъ, пережитыхъ имъ въ самые ранніе періоды. Тургеневъ этого не сдѣлалъ, и мы можемъ только угадывать о направленіи и богатствѣ его нравственной жизни въ дѣтствѣ. Въ основныхъ чертахъ здѣсь недоразумѣнія невозможны: позднѣйшіе документы слишкомъ краснорѣчивы и опредѣленны. Мы намѣрены были намѣтить пути, какими направлялась внутренняя работа ребенка, предоставленнаго почти исключительно собственнымъ силамъ, и опредѣлить въ общихъ чертахъ мотивы, пробуждавшіе юную мысль.

Намъ предстоитъ теперь разсказать о «годахъ ученичества». Здѣсь на каждомъ шагу мы будемъ чувствовать великія затрудненія при отсутствіи фактическаго матеріала. Но, къ счастью, для нѣкоторыхъ моментовъ у насъ будутъ яркіе показатели нравственнаго развитія будущаго писателя. Они дадутъ нѣсколько драгоцѣннѣйшихъ чертъ, освѣщающихъ личность человѣка и художника.

II.

Тургеневъ, мы видѣли, очень кратко отзывался о своихъ ученическихъ годахъ: «получилъ первое воспитаніе въ Москвѣ, слушалъ лекціи въ Московскомъ, потомъ въ Петербургскомъ университетахъ... Слушалъ лекціи въ Берлинѣ». За этими лаконическими строками скрываются важныя подробности, особенно за сухимъ,

ничего не говорящимъ выраженіемъ: «слушалъ лекціи въ Берлинѣ». Но годы ученія, проведенныя въ Москвѣ и Петербургѣ, имѣютъ, конечно, свое значеніе. Оцѣнить его во всей полнотѣ въ настоящее время невозможно. Самъ Иванъ Сергѣевичъ оставилъ слишкомъ мало указаній, другихъ источниковъ почти не существуетъ.

До поступленія въ Московскій университетъ Иванъ Сергѣевичъ учился еще въ двухъ московскихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ нѣмецкомъ пансіонѣ Вейденгаммера и въ Лазаревскомъ институтѣ. Тургеневъ переѣхалъ въ Москву въ 1827 году,—и, вѣроятно, въ этомъ же году Иванъ Сергѣевичъ поступилъ въ пансіонъ.

Не привыкшій дома къ обществу сверстниковъ, онъ много терпѣлъ отъ товарищей. У него отъ природы былъ странный недостатокъ — на темени черепъ былъ гораздо тоньше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ головы, и до такой степени чувствителенъ, что при одномъ прикосновеніи къ темени Тургеневъ въ дѣтствѣ едва не падалъ въ обморокъ. Школьники подмѣтили это свойство и съ дѣтскимъ безсердечіемъ—нарочно надавливали новичку темя, причиняя ему жестокія страданья. Тургеневъ приписывалъ большое значеніе этому недостатку, приводилъ его въ связь съ своимъ слабоволіемъ. Въ минуты тяжелаго раздумья онъ обращался къ пріятелю:

— Какой ждать отъ меня силы воли, когда до сихъ поръ даже черепъ мой сростись не могъ. Не мѣшало бы мнѣ завѣщать его въ музей академіи... Чего тутъ ждать, когда на самомъ темени провалъ. Приложи ладонь—и ты самъ увидишь. Охъ, плохо, плохо... [10]).

Во время пребыванія въ пансіонѣ, Тургеневъ впервые познакомился съ романомъ Загоскина *Юрій Милославскій*. По словамъ Ивана Сергѣевича, это знакомство было «первымъ сильнымъ литературнымъ впечатлѣніемъ» его жизни. Романъ только-что появился въ свѣтъ и сталъ моднымъ вопросомъ дня. Учитель русскаго языка при пансіонѣ въ часы рекреаціи разсказалъ пансіонерамъ содержаніе новой книги. Изъ этихъ разсказовъ и Турге-

---

[10]) *И. С. Тургеневъ у себя*, Я. Полонскаго. *На высотахъ спиритизма*. Спб. 1889, 477.

невъ познакомился съ романомъ. Такъ передаетъ онъ въ своихъ «Литературныхъ и житейскихъ воспоминаніяхъ. Въ другомъ разсказѣ, записанномъ съ его словъ, исторія излагается нѣсколько иначе. О романѣ Загоскина Тургеневъ, будто бы, узналъ отъ одного изъ своихъ гувернеровъ. Онъ бралъ ребенка на колѣни и юный любитель литературы «съ необыкновеннымъ увлеченіемъ вслушивался въ разсказъ и почти отъ слова до слова въ состояніи былъ потомъ его повторить» [11]). Герои романа производили чарующее впечатлѣніе на пансіонеровъ, имена Кирши, Алексѣя, Омляша пріобрѣли громкую популярность.

Тургеневъ зналъ и часто видалъ самого автора интереснаго романа. Но авторъ не производилъ на него никакого впечатлѣнія. Иванъ Сергѣевичъ относился совершенно равнодушно къ появленіямъ Загоскина въ ихъ домѣ. Внѣшность писателя, очевидно, была слишкомъ прозаична, чтобы заинтересовать дѣтское воображеніе. Эта внѣшность даже могла ослабить чувство восторга, возбужденное романомъ. «Въ Загоскинѣ», разсказываетъ Тургеневъ, «не проявлялось ничего величественнаго, ничего фатальнаго, ничего такого, что дѣйствуетъ на юное воображеніе. Говоря правду, онъ былъ даже комиченъ, а рѣдкое его добродушіе не могло быть надлежащимъ образомъ оцѣнено мною: это качество не имѣетъ значенія въ глазахъ легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза подъ вѣчными очками, близорукій и тупой взглядъ, необычайныя движенія бровей, губъ, носа, когда онъ удивлялся или даже просто говорилъ, внезапныя восклицанія, взмахи рукъ, глубокая впадина, раздѣлявшая надвое его короткій подбородокъ—все въ немъ казалось чудоковатымъ, неуклюжимъ, забавнымъ. Къ тому же, за нимъ водились три тоже довольно комическія слабости: онъ воображалъ себя необыкновеннымъ силачомъ, онъ былъ увѣренъ, что никакая женщина не въ состояніи устоять передъ нимъ, и, наконецъ (и это въ такомъ рьяномъ патріотѣ было особенно удивительно)—онъ питалъ несчастную слабость къ французскому языку, который коверкалъ безъ милости,

---

[11]) *Русск. Стар.* XL, 204.

безпрестанно смѣшивая числа и роды, такъ что даже получилъ въ нашемъ домѣ прозвище: «Monsieur l'article». Со всѣмъ тѣмъ нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безъискусственную откровенность нрава, которая поражаетъ въ его сочиненіяхъ».

Таковы единственныя впечатлѣнія пансіонскаго періода въ жизни Тургенева, о которыхъ у насъ есть достовѣрныя свѣдѣнія. На основаніи ихъ можно предугадать будущаго романтика, идеалиста, мечтателя, восторженнаго поклонника нѣмецкой поэзіи и философіи, преданнаго почитателя такихъ людей, какъ Станкевичъ и Бѣлинскій. Тургеневъ будетъ увлекаться исключительными, *энтузіастическими* натурами, и охотно подчиняться ихъ вліянію. Все обыкновенное, прозаическое, смѣшное будетъ встрѣчать или равнодушіе, или снисходительную улыбку лирически-настроеннаго юноши. Такимъ онъ является и въ своихъ дѣтскихъ отношеніяхъ къ Загоскину, лишенному величественности и фатальнаго интереса—и къ его роману, переполненному необыкновенными героями...

Эти данныя невольно приводятъ на память одинъ изъ задушевнѣйшихъ разсказовъ Тургенева «Яковъ Пасынковъ». У насъ нѣтъ фактическихъ основаній отыскивать въ разсказѣ автобіографическія черты, но аналогія между впечатлѣніями Тургенева въ пансіонѣ Вейденгаммера, описанными въ его воспоминаніяхъ и нѣкоторыми эпизодами изъ ученической жизни двухъ друзей въ московскомъ пансіонѣ Винтеркеллера возникаетъ сама собой.

Яковъ Пасынковъ—мечтатель, идеалистъ, поклонникъ шиллеровской поэзіи, вообще романтическаго, возвышеннаго творчества... Его другъ, авторъ разсказа—раздѣляетъ его пристрастія, питаетъ къ нему восторженное чувство дружбы, вмѣстѣ съ нимъ мечтаетъ, по ночамъ любуется звѣздами, упивается Шиллеромъ... Вотъ отрывокъ изъ этого оригинальнаго романа двухъ юныхъ пріятелей.

«Особенно отрадно было мнѣ гулять съ нимъ вдвоемъ или ходить возлѣ него взадъ и впередъ по комнатѣ и слушать, какъ онъ, не глядя на меня, читаетъ стихи своимъ тихимъ и сосредоточеннымъ голосомъ. Право, мнѣ тогда казалось, что мы съ нимъ медленно, понемногу отдѣлялись отъ земли и неслись куда-то въ какой-то лучезарный, таинственно-прекрасный край... Помню я

одну ночь. Мы сидѣли съ нимъ подъ тѣмъ же кустомъ сирени: мы полюбили это мѣсто. Всѣ наши товарищи уже спали; но мы тихонько встали, ощупью одѣлись впотьмахъ и украдкой вышли «помечтать». На дворѣ было довольно тепло, но свѣжій вѣтеръ дулъ по временамъ и заставлялъ насъ еще ближе прижиматься другъ къ дружкѣ. Мы говорили, мы говорили много и съ жаромъ, такъ что даже перебивали другъ друга, хотя и не спорили. На небѣ сіяли безчисленныя звѣзды. Яковъ поднялъ глаза и, стиснувъ мнѣ руку, тихо воскликнулъ:

Надъ нами
Небо съ вѣчными звѣздами...
А надъ звѣздами ихъ Творецъ...

Благоговѣйный трепетъ пробѣжалъ по мнѣ; я весь похолодѣлъ и припалъ къ его плечу... Сердце переполнилось...»

Болѣе типичную *романтическую* страницу въ лучшемъ смыслѣ слова трудно было написать. Только пережившій такія ощущенія въ самомъ себѣ, могъ рискнуть рисовать подобную идиллію и не впасть въ мелодраматическій фальшивый тонъ.

Мы не знаемъ, черпалъ ли Тургеневъ эти рѣчи изъ подлинныхъ своихъ воспоминаній, мы убѣждены въ одномъ—въ пансіонѣ онъ переживалъ такія же минуты, о какихъ разсказываетъ другъ Пасынкова. Пристрастіе къ нѣмецкой идеалистической поэзіи не покидало Тургенева всю жизнь, и важнѣйшій періодъ его молодости запечатлѣнъ глубокими вліяніями германской мысли и германскаго творчества. Кто знаетъ! Безгранично скромный въ личныхъ воспоминаніяхъ, неохотно дававшій прямыя свѣдѣнія о личной жизни и личномъ развитіи, Тургеневъ, можетъ быть, путемъ художественныхъ произведеній хотѣлъ восполнить пробѣлы въ своей автобіографіи. Высказывалъ же онъ подчасъ совершенно открыто свои общественные взгляды, устами своихъ героевъ: отчего ему было не посвятить одинъ изъ разсказовъ лучшимъ настроеніямъ, когда-то пережитымъ въ первой молодости?

Изъ московскихъ учителей Тургеневъ вспоминалъ впослѣдствіи Дубенскаго, преподавателя русскаго языка, и Клюшникова, учителя русской исторіи. Дубенскій былъ въ свое время довольно извѣстный ученый, издалъ изслѣдованіе о «Словѣ о полку Игоревѣ»,

но въ литературномъ направленіи придерживался старыхъ школъ, Пушкина не любилъ и не признавалъ его достойнымъ изученія. Питомцы Дубенскаго принуждены были развиваться на произведеніяхъ Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова. То же направленіе Тургеневъ встрѣтилъ потомъ и въ Московскомъ университетѣ.

Консервативный характеръ преподаванія Дубенскаго вполнѣ соотвѣтствовалъ простотѣ его отношеній къ ученикамъ. Тургеневъ разсказывавъ о немъ такой эпизодъ.

Однажды Дубенскій, преподававшій словесность братьямъ Тургеневымъ на дому, пропустилъ нѣсколько уроковъ, и пріѣхалъ сильно навеселѣ.

— Господа,—обратился онъ къ своимъ слушателямъ,—я пропустилъ эти уроки потому, что женился, а такъ какъ жениться въ жизни приходится почти всегда только одинъ разъ, то я долгомъ счелъ сильно загулять по этому случаю...

Лучшія воспоминанія, повидимому, сохранились у Ивана Сергѣевича о Клюшниковѣ. Много лѣтъ спустя послѣ московскаго ученія, въ 1856 году, Тургеневъ узналъ, что Клюшниковъ еще живъ, обрадовался, немедленно потребовалъ у знакомыхъ адресъ своего бывшаго наставника, намѣреваясь написать старику. Клюшниковъ несомнѣнно являлся одной изъ симпатичнѣйшихъ личностей среди московской интеллигенціи тридцатыхъ годовъ. Позже онъ вошелъ въ кружокъ Станкевича, пріобрѣлъ довольно популярное имя поэта... Онъ и Дубенскій, независимо отъ пансіонскаго курса, готовили Ивана Сергѣевича къ университетскому экзамену.

Что это былъ за экзаменъ, какія требованія онъ предъявлялъ и на какую духовную зрѣлость испытуемыхъ разсчитывалъ, уже показываетъ самый возрастъ студентовъ и путь, какимъ они достигали университетскихъ аудиторій. Лермонтовъ поступаетъ въ Московскій университетъ на шестнадцатомъ году, послѣ двухлѣтняго пребыванія въ дворянскомъ пансіонѣ, преобразованномъ впослѣдствіи въ гимназію. Тургеневъ также пятнадцати лѣтъ является въ университетъ послѣ обученія въ нѣмецкомъ пансіонѣ и домашняго приготовленія, и весьма удачно выдерживаетъ испытаніе. Это происходитъ въ 1833 году, всего на три года позже вступленія Лермонтова въ университетъ. Впечатлѣнія поэта остаются

вѣрными для той и другой эпохи, тѣмъ болѣе, что составъ профессоровъ не могъ значительно измѣниться.

Оба будущіе писателя числились на «словесномъ» факультетѣ. Первые курсы, въ сущности, ничѣмъ не напоминали университета, развѣ только свободой поведенія въ аудиторіяхъ. Первый курсъ даже оффиціально числился чѣмъ-то въ родѣ университетскаго приготовительнаго класса. Составъ слушателей вполнѣ соотвѣтствовалъ этому уровню. Лермонтовъ въ картинныхъ стихахъ описалъ университетскую аудиторію передъ началомъ и во время лекцій:

Пришли, шумятъ... Профессоръ длинный
Напрасно входитъ, кланяяся чинно.
Онъ книгу взялъ, раскрылъ, прочелъ—шумятъ;
Уходитъ,—втрое хуже. Сущій адъ!..

Большинство профессоровъ не пользовалось никакимъ авторитетомъ среди слушателей; напротивъ, съ именемъ Малова, Брянцева, Сандунова неизмѣнно связывалось множество смѣхотворныхъ анекдотовъ.

Русская литература, представлявшая, конечно, наибольшій интересъ для Тургенева, преподавалась по схоластическимъ учебникамъ. Современныя явленія въ области русскаго слова не касались профессорскаго горизонта. Пушкинъ былъ запрещенное, преступное имя въ университетской авдиторіи. Всѣ, жаждавшіе живого знанія, группировались въ кружки и общества—внѣ университета.

Возникаютъ товарищескіе кружки Бѣлинскаго, Станкевича, Герцена. Здѣсь пробиваются на свѣтъ новыя теченія,—имъ суждено впослѣдствіи смыть схоластическій хламъ. Но пока они должны тайкомъ, въ темнотѣ воспитывать юныя сѣмена. Университетъ оказываетъ этимъ людямъ единственную услугу: авдиторія помогаетъ молодежи знакомиться, жить общими интересами. Лекціи профессоровъ часто возбуждаютъ общее неудовольствіе, и это уже поводъ сообща попытаться найти путь къ другой мысли, къ другому знанію. Въ кружкахъ растутъ и развиваются смѣлыя, восторженныя идеи. Онѣ впослѣдствіи во всеоружіи юношескаго жара перейдутъ на поприще общественной литературы. Бѣлинскій первый развернетъ неслыханную мощь таланта и убѣжденія: это—плоды дружескихъ бесѣдъ внѣ стѣнъ университета...

Пребываніе Тургенева въ Московскомъ университетѣ было слишкомъ кратковременно, чтобы онъ могъ принять участіе въ кружковой жизни студентовъ. Годъ спустя, онъ перешелъ въ Петербургскій университетъ, такъ какъ его старшій братъ поступилъ въ военную службу въ Петербургѣ. Что далъ Тургеневу Московскій университетъ—трудно сказать. Всѣ наши соображенія были бы слишкомъ произвольны. Одно только можно съ увѣренностью сказать: двѣ каѳедры, особенно важныя для молодого студента по свойству его вкусовъ и стремленій,—каѳедры философіи и русской литературы—не могли вліять на его развитіе. Каѳедра философіи уже семь лѣтъ была упразднена, когда Тургеневъ поступилъ въ университетъ, а преподаваніе русской литературы не шло дальше схоластики и ложноклассицизма. Во всякомъ случаѣ, самъ Тургеневъ впослѣдствіи не находилъ, чѣмъ вспомнить Московскій университетъ [12]).

[12]) Въ послѣднее время этой эпохѣ посвящено было самое тщательное изслѣдованіе покойнаго академика Н. С. Тихонравова (*Вѣстн. Евр.*, 1894, февр.). Тургеневъ былъ въ Московскомъ университетѣ одновременно съ Станкевичемъ,—любопытнѣйшій вопросъ: были-ли товарищи знакомы—Тихонравовъ оставляетъ открытымъ. Наиболѣе интересное хотя и не новое, указаніе касается повѣсти Тургенева *Несчастная*. Тихонравовъ говоритъ: «Въ одной изъ своихъ повѣстей (*Несчастная*) Тургеневъ вывелъ Станкевича въ лицѣ «студента-поэта».—«Во время моего пребыванія въ Москвѣ, въ одномъ обществѣ при мнѣ упомянули о Сусаннѣ и самымъ невыгоднымъ, самымъ оскорбительнымъ образомъ. Я всячески постарался заступиться за память несчастной дѣвушки; но мои доводы не произвели большого впечатлѣнія на моихъ слушателей. Одного изъ нихъ, молодого студента-поэта, я, однако, поколебалъ. Онъ прислалъ мнѣ на другой день стихотвореніе, которое я позабылъ, но которое оканчивалось слѣдующими четырьмя стихами:

Но и надъ брошенной могилой
Не смолкнулъ голосъ клеветы...
Она тревожитъ призракъ милый
И жжетъ нагробные цвѣты.

Эти четыре строки представляютъ буквальную выписку изъ написаннаго въ 1833 стихотворенія Станкевича «на могилѣ Эмиліи», стихотворенія, въ которомъ студентъ-поэтъ оплакалъ «кроткій геній», смущенный земными тревогами и отлетѣвшій отъ людей». (*Н. В. Станкевичъ. Стихотворенія и пр.* М. 1890. 41). Анненковъ въ біографіи Станкевича приводитъ тоже стихотвореніе и на основаніи писемъ Станкевича говоритъ о героинѣ, вызвавшей

Немногимъ лучше оказались условія и въ Петербургскомъ университетѣ. Много позже Тургеневъ былъ жестоко оскорбленъ «презрительнымъ», отзывомъ о немъ въ исторіи Петербургскаго университета изданной по поводу пятидесятилѣтняго существованія учрежденія. Тургеневъ горько жаловался на этотъ отзывъ [13]), и, дѣйствительно, совершенно неизвѣстно, за что онъ могъ подвергнуться упреку. Относительно университета онъ выполнилъ свои обязанности блистательно. Нельзя того же сказать о самомъ университетѣ.

Мы знаемъ объ этомъ періодѣ со словъ самого Ивана Сергѣевича. Онъ прекрасно охарактеризовалъ нѣкоторыхъ университетскихъ преподавателей, и—что еще важнѣе—общественно-литературную жизнь петербургскихъ ученыхъ и писательскихъ кружковъ. И въ университетскихъ аудиторіяхъ, и въ этихъ кружкахъ пища для юнаго ума представлялась въ высшей степени скудная.

На первомъ планѣ и здѣсь, конечно, стоитъ вопросъ о пред-

элегію—«чудной дѣвушкѣ, владѣвшей, по смыслу повѣствованія, чуть ли недарилъ прозрѣнія и участей въ семействѣ, гдѣ произвѣденіе ея было источникомъ грубой, тяжелой драмы». *Воспом. и критич. очерки.* Спб. 1881 г., III, 293. Но независимо отъ многихъ знакомствъ на Тургенева не могла не вліять идеалистическая атмосфера, владѣвшая московскою молодежью 30-хъ годовъ и въ этомъ отношеніи налагавшая на древнюю столицу совершенно другой отпечатокъ, чѣмъ носилъ Петербургъ. Станкевичъ называлъ Москву мечтательной, а Петербургъ практическимъ, и Тихонравовъ, между прочимъ, ссылается, на характерное замѣчаніе Гоголя о печати обѣихъ столицъ: «московскіе журналы говорятъ о Кантѣ, Шеллингѣ и пр.; въ петербургскихъ журналахъ говорятъ только о публикѣ и благонамѣренности». Выводъ автора такой: «пусть въ Московскомъ университетѣ Тургеневъ могъ набраться только приготовленныхъ свѣдѣній для знакомства съ наукой; но здѣсь, въ этой средѣ, сердце Тургенева впервые подвержено было радостью великихъ ощущеній. «Въ Москвѣ мнѣ отраднѣе, нежели гдѣ-нибудь,—писалъ Станкевичъ Невѣрову,—здѣсь стѣны, въ которыхъ я въ первый разъ сталъ дышать новою жизнью, здѣсь люди, съ которыми подѣлился первый разъ идеями». И то же можно сказать о Тургеневѣ». Напомнимъ, что и Лермонтовъ не переставалъ хранить самыя любовныя воспоминанія о годахъ, проведенныхъ въ Москвѣ, и объ университетѣ—«святомъ мѣстѣ». Для него это были годы нравственнаго роста и творческаго развитія.

[13]) *Письма*, 300.

метахъ, болѣе всего близкихъ вкусамъ молодого студента. Каѳедру русской литературы въ университетѣ занималъ Петръ Александровичъ Плетневъ. Это былъ одинъ изъ лучшихъ преподавателей и симпатичнѣйшихъ людей своего времени, но оказать замѣтное вліяніе на духовное развитіе юноши онъ не могъ. «Ученый багажъ его былъ весьма легокъ», говоритъ Тургеневъ. Свои свѣдѣнія онъ умѣлъ сообщать просто и ясно, умѣлъ даже возбудить у слушателей интересъ къ предмету, но увлечь, расширить умственный кругозоръ студента—было не въ его силахъ. Это былъ, прежде всего, отличный человѣкъ, и весьма обыкновенный профессоръ. Главнѣйшія права Плетнева на уваженіе слушателей заключались не въ его познаніяхъ и талантахъ, а въ близкихъ личныхъ отношеніяхъ къ славнѣйшимъ представителямъ литературы,—Пушкину, Жуковскому, Баратынскому, Гоголю. Онъ любилъ разсказывать объ этихъ людяхъ, но для ихъ произведеній у него не хватало критическаго таланта. Притомъ онъ, по природѣ, не любилъ спора, критики, полемики. Провести жизнь мирно, не переходя предѣловъ золотой середины, *умиляясь* простотой, лелѣя дорогія воспоминанія—таковъ былъ идеалъ Плетнева.

Иванъ Сергѣевичъ бывалъ въ семьѣ Плетнева, на его вечерахъ. Юный студентъ съ романтическими задатками мало любопытнаго и увлекательнаго могъ встрѣтить на этихъ скромныхъ собраніяхъ. Вообще, кругомъ — среди интеллигенціи — все было необыкновенно скромно и смирно. Появлялись величайшія произведенія русскаго искусства, но общество относилось къ нимъ какъ-то апатично, точнѣе—не понимало ихъ, пропускало мимо себя, какъ нѣчто чуждое, или слишкомъ безпокойное. Пушкинъ былъ еще живъ, ходили слухи о превосходныхъ произведеніяхъ, готовыхъ уже къ выпуску въ свѣтъ, но только крайне немногіе занимались этими слухами. Большинство относилось къ великому поэту равнодушно, въ иныхъ сферахъ даже враждебно. Величіе таланта и заслугъ Пушкина оставалось загадкой для столичнаго общества, дававшаго тонъ культурной жизни тридцатыхъ годовъ. Оффиціальные интересы стояли на первомъ планѣ. Появился *Ревизоръ*, — но отнюдь не уравнялъ для автора путей къ славѣ. Журналы по прежнему продолжали нападать на грубость и легкомысліе его

Немногимъ лучше оказались условія и въ Петербургскомъ университетѣ. Много позже Тургеневъ былъ жестоко оскорбленъ «презрительнымъ», отзывомъ о немъ въ исторіи Петербургскаго университета изданной по поводу пятидесятилѣтняго существованія учрежденія. Тургеневъ горько жаловался на этотъ отзывъ [13]), и, дѣйствительно, совершенно неизвѣстно, за что онъ могъ подвергнуться упреку. Относительно университета онъ выполнилъ свои обязанности блистательно. Нельзя того же сказать о самомъ университетѣ.

Мы знаемъ объ этомъ періодѣ со словъ самого Ивана Сергѣевича. Онъ прекрасно охарактеризовалъ нѣкоторыхъ университетскихъ преподавателей, и—что еще важнѣе—общественно-литературную жизнь петербургскихъ ученыхъ и писательскихъ кружковъ. И въ университетскихъ аудиторіяхъ, и въ этихъ кружкахъ пища для юнаго ума представлялась въ высшей степени скудная.

На первомъ планѣ и здѣсь, конечно, стоитъ вопросъ о пред-

элегію—«чудной дѣвушкѣ, владѣвшей, по смыслу повѣствованія, чуть ли не дарилъ прозрѣнія и участей въ семействѣ, гдѣ произвѣденіе ея было источникомъ грубой, тяжелой драмы». *Воспом. и критич. очерки.* Спб. 1881 г., III, 293. Но независимо отъ многихъ знакомствъ на Тургенева не могла не влiять идеалистическая атмосфера, владѣвшая московскою молодежью 30-хъ годовъ и въ этомъ отношеніи налагавшая на древнюю столицу совершенно другой отпечатокъ, чѣмъ носилъ Петербургъ. Станкевичъ называлъ Москву мечтательной, а Петербургъ практическимъ, и Тихонравовъ, между прочимъ, ссылается, на характерное замѣчаніе Гоголя о печати обѣихъ столицъ: «московскіе журналы говорятъ о Кантѣ, Шеллингѣ и пр.; въ петербургскихъ журналахъ говорятъ только о публикѣ и благонамѣренности». Выводъ автора такой: «пусть въ Московскомъ университетѣ Тургеневъ могъ набраться только приготовленныхъ свѣдѣній для знакомства съ наукой; но здѣсь, въ этой средѣ, сердце Тургенева впервые подвержено было радостью великихъ ощущеній. «Въ Москвѣ мнѣ отраднѣе, нежели гдѣ-нибудь,—писалъ Станкевичъ Невѣрову,—здѣсь стѣны, въ которыхъ я въ первый разъ сталъ дышать новою жизнью, здѣсь люди, съ которыми подѣлился первый разъ идеями». И то же можно сказать о Тургеневѣ». Напомнимъ, что и Лермонтовъ не переставалъ хранить самыя любовныя воспоминанія о годахъ, проведенныхъ въ Москвѣ, и объ университетѣ—«святомъ мѣстѣ». Для него это были годы нравственнаго роста и творческаго развитія.

[13]) *Письма,* 300.

метахъ, болѣе всего близкихъ вкусамъ молодого студента. Каѳедру русской литературы въ университетѣ занималъ Петръ Александровичъ Плетневъ. Это былъ одинъ изъ лучшихъ преподавателей и симпатичнѣйшихъ людей своего времени, но оказать замѣтное вліяніе на духовное развитіе юноши онъ не могъ. «Ученый багажъ его былъ весьма легокъ», говоритъ Тургеневъ. Свои свѣдѣнія онъ умѣлъ сообщать просто и ясно, умѣлъ даже возбудить у слушателей интересъ къ предмету, но увлечь, расширить умственный кругозоръ студента—было не въ его силахъ. Это былъ, прежде всего, отличный человѣкъ, и весьма обыкновенный профессоръ. Главнѣйшія права Плетнева на уваженіе слушателей заключались не въ его познаніяхъ и талантахъ, а въ близкихъ личныхъ отношеніяхъ къ славнѣйшимъ представителямъ литературы,—Пушкину, Жуковскому, Баратынскому, Гоголю. Онъ любилъ разсказывать объ этихъ людяхъ, но для ихъ произведеній у него не хватало критическаго таланта. Притомъ онъ, по природѣ, не любилъ спора, критики, полемики. Провести жизнь мирно, не переходя предѣловъ золотой середины, *умиляясь* простотой, лелѣя дорогія воспоминанія—таковъ былъ идеалъ Плетнева.

Иванъ Сергѣевичъ бывалъ въ семьѣ Плетнева, на его вечерахъ. Юный студентъ съ романтическими задатками мало любопытнаго и увлекательнаго могъ встрѣтить на этихъ скромныхъ собраніяхъ. Вообще, кругомъ — среди интеллигенціи — все было необыкновенно скромно и смирно. Появлялись величайшія произведенія русскаго искусства, но общество относилось къ нимъ какъ-то апатично, точнѣе—не понимало ихъ, пропускало мимо себя, какъ нѣчто чуждое, или слишкомъ безпокойное. Пушкинъ былъ еще живъ, ходили слухи о превосходныхъ произведеніяхъ, готовыхъ уже къ выпуску въ свѣтъ, но только крайне немногіе занимались этими слухами. Большинство относилось къ великому поэту равнодушно, въ иныхъ сферахъ даже враждебно. Величіе таланта и заслугъ Пушкина оставалось загадкой для столичнаго общества, дававшаго тонъ культурной жизни тридцатыхъ годовъ. Оффиціальные интересы стояли на первомъ планѣ. Появился *Ревизоръ*, — но отнюдь не уравнялъ для автора путей къ славѣ. Журналы по прежнему продолжали нападать на грубость и легкомысліе его

возраста. Но Диккенсъ самъ подробно разсказалъ свою жизнь. Мы не знаемъ въ точности, какія именно ранія дѣтскія впечатлѣнія вошли въ творчество Тургенева—во всякомъ случаѣ такихъ впечатлѣній множество. *Записки охотника*—непосредственный результатъ личнаго опыта, личныхъ воспоминаній, идущихъ съ самаго ранняго возраста. Они въ полномъ смыслѣ—крикъ облегченія послѣ длиннаго ряда лѣтъ духоты и вынужденнаго терпѣнія...

Одиночество Тургенева въ родной семьѣ особенно должно было помогать развитію наблюдательности, анализа, гуманнаго настроенія—и все это должно было сказаться въ первомъ произведеніи Тургенева, направленномъ на защиту жертвъ крѣпостного права. Другіе поэты, напримѣръ изъ русскихъ—Лермонтовъ оставилъ намъ исторію чувствъ, пережитыхъ имъ въ самые ранніе періоды. Тургеневъ этого не сдѣлалъ, и мы можемъ только угадывать о направленіи и богатствѣ его нравственной жизни въ дѣтствѣ. Въ основныхъ чертахъ здѣсь недоразумѣнія невозможны: позднѣйшіе документы слишкомъ краснорѣчивы и опредѣленны. Мы намѣрены были намѣтить пути, какими направлялась внутренняя работа ребенка, предоставленнаго почти исключительно собственнымъ силамъ, и опредѣлить въ общихъ чертахъ мотивы, пробуждавшіе юную мысль.

Намъ предстоитъ теперь разсказать о «годахъ ученичества». Здѣсь на каждомъ шагу мы будемъ чувствовать великія затрудненія при отсутствіи фактическаго матеріала. Но, къ счастью, для нѣкоторыхъ моментовъ у насъ будутъ яркіе показатели нравственнаго развитія будущаго писателя. Они дадутъ нѣсколько драгоцѣннѣйшихъ чертъ, освѣщающихъ личность человѣка и художника.

II.

Тургеневъ, мы видѣли, очень кратко отзывался о своихъ ученическихъ годахъ: «получилъ первое воспитаніе въ Москвѣ, слушалъ лекціи въ Московскомъ, потомъ въ Петербургскомъ университетахъ... Слушалъ лекціи въ Берлинѣ». За этими лаконическими строками скрываются важныя подробности, особенно за сухимъ,

ничего не говорящимъ выраженіемъ: «слушалъ лекціи въ Берлинѣ». Но годы ученія, проведенныя въ Москвѣ и Петербургѣ, имѣютъ, конечно, свое значеніе. Оцѣнить его во всей полнотѣ въ настоящее время невозможно. Самъ Иванъ Сергѣевичъ оставилъ слишкомъ мало указаній, другихъ источниковъ почти не существуетъ.

До поступленія въ Московскій университетъ Иванъ Сергѣевичъ учился еще въ двухъ московскихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ нѣмецкомъ пансіонѣ Вейденгаммера и въ Лазаревскомъ институтѣ. Тургеневъ переѣхалъ въ Москву въ 1827 году,—и, вѣроятно, въ этомъ же году Иванъ Сергѣевичъ поступилъ въ пансіонъ.

Не привыкшій дома къ обществу сверстниковъ, онъ много терпѣлъ отъ товарищей. У него отъ природы былъ странный недостатокъ — на темени черепъ былъ гораздо тоньше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ головы, и до такой степени чувствителенъ, что при одномъ прикосновеніи къ темени Тургеневъ въ дѣтствѣ едва не падалъ въ обморокъ. Школьники подмѣтили это свойство и съ дѣтскимъ безсердечіемъ—нарочно надавливали новичку темя, причиняя ему жестокія страданья. Тургеневъ приписывалъ большое значеніе этому недостатку, приводилъ его въ связь съ своимъ слабоволіемъ. Въ минуты тяжелаго раздумья онъ обращался къ пріятелю:

— Какой ждать отъ меня силы воли, когда до сихъ поръ даже черепъ мой сростись не могъ. Не мѣшало бы мнѣ завѣщать его въ музей академіи... Чего тутъ ждать, когда на самомъ темени провалъ. Приложи ладонь—и ты самъ увидишь. Охъ, плохо, плохо... [10]).

Во время пребыванія въ пансіонѣ, Тургеневъ впервые познакомился съ романомъ Загоскина *Юрій Милославскій.* По словамъ Ивана Сергѣевича, это знакомство было «первымъ сильнымъ литературнымъ впечатлѣніемъ» его жизни. Романъ только-что появился въ свѣтъ и сталъ моднымъ вопросомъ дня. Учитель русскаго языка при пансіонѣ въ часы рекреаціи разсказалъ пансіонерамъ содержаніе новой книги. Изъ этихъ разсказовъ и Турге-

---

[10]) *И. С. Тургеневъ у себя*, Я. Полонскаго. *На высотахъ спиритизма.* Спб. 1889, 477.

невъ познакомился съ романомъ. Такъ передаетъ онъ въ своихъ «Литературныхъ и житейскихъ воспоминаніяхъ. Въ другомъ разсказѣ, записанномъ съ его словъ, исторія излагается нѣсколько иначе. О романѣ Загоскина Тургеневъ, будто бы, узналъ отъ одного изъ своихъ гувернеровъ. Онъ бралъ ребенка на колѣни и юный любитель литературы «съ необыкновеннымъ увлеченіемъ вслушивался въ разсказъ и почти отъ слова до слова въ состояніи былъ потомъ его повторить» [11]). Герои романа производили чарующее впечатлѣніе на пансіонеровъ, имена Кирши, Алексѣя, Омляша пріобрѣли громкую популярность.

Тургеневъ зналъ и часто видалъ самого автора интереснаго романа. Но авторъ не производилъ на него никакого впечатлѣнія. Иванъ Сергѣевичъ относился совершенно равнодушно къ появленіямъ Загоскина въ ихъ домѣ. Внѣшность писателя, очевидно, была слишкомъ прозаична, чтобы заинтересовать дѣтское воображеніе. Эта внѣшность даже могла ослабить чувство восторга, возбужденное романомъ. «Въ Загоскинѣ», разсказываетъ Тургеневъ, «не проявлялось ничего величественнаго, ничего фатальнаго, ничего такого, что дѣйствуетъ на юное воображеніе. Говоря правду, онъ былъ даже комиченъ, а рѣдкое его добродушіе не могло быть надлежащимъ образомъ оцѣнено мною: это качество не имѣетъ значенія въ глазахъ легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза подъ вѣчными очками, близорукій и тупой взглядъ, необычайныя движенія бровей, губъ, носа, когда онъ удивлялся или даже просто говорилъ, внезапныя восклицанія, взмахи рукъ, глубокая впадина, раздѣлявшая надвое его короткій подбородокъ—все въ немъ казалось чудоковатымъ, неуклюжимъ, забавнымъ. Къ тому же, за нимъ водились три тоже довольно комическія слабости: онъ воображалъ себя необыкновеннымъ силачомъ, онъ былъ увѣренъ, что никакая женщина не въ состояніи устоять передъ нимъ, и, наконецъ (и это въ такомъ рьяномъ патріотѣ было особенно удивительно)—онъ питалъ несчастную слабость къ французскому языку, который коверкалъ безъ милости,

---

[11]) *Русск. Стар.* XL, 204.

безпрестанно смѣшивая числа и роды, такъ что даже получилъ въ нашемъ домѣ прозвище: «Monsieur l'article». Со всѣмъ тѣмъ нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безъискусственную откровенность нрава, которая поражаетъ въ его сочиненіяхъ».

Таковы единственныя впечатлѣнія пансіонскаго періода въ жизни Тургенева, о которыхъ у насъ есть достовѣрныя свѣдѣнія. На основаніи ихъ можно предугадать будущаго романтика, идеалиста, мечтателя, восторженнаго поклонника нѣмецкой поэзіи и философіи, преданнаго почитателя такихъ людей, какъ Станкевичъ и Бѣлинскій. Тургеневъ будетъ увлекаться исключительными, *энтузіастическими* натурами, и охотно подчиняться ихъ вліянію. Все обыкновенное, прозаическое, смѣшное будетъ встрѣчать или равнодушіе, или снисходительную улыбку лирически-настроеннаго юноши. Такимъ онъ является и въ своихъ дѣтскихъ отношеніяхъ къ Загоскину, лишенному величественности и фатальнаго интереса—и къ его роману, переполненному необыкновенными героями...

Эти данныя невольно приводятъ на память одинъ изъ задушевнѣйшихъ разсказовъ Тургенева «Яковъ Пасынковъ». У насъ нѣтъ фактическихъ основаній отыскивать въ разсказѣ автобіографическія черты, но аналогія между впечатлѣніями Тургенева въ пансіонѣ Вейденгаммера, описанными въ его воспоминаніяхъ и нѣкоторыми эпизодами изъ ученической жизни двухъ друзей въ московскомъ пансіонѣ Винтеркеллера возникаетъ сама собой.

Яковъ Пасынковъ—мечтатель, идеалистъ, поклонникъ шиллеровской поэзіи, вообще романтическаго, возвышеннаго творчества... Его другъ, авторъ разсказа—раздѣляетъ его пристрастія, питаетъ къ нему восторженное чувство дружбы, вмѣстѣ съ нимъ мечтаетъ, по ночамъ любуется звѣздами, упивается Шиллеромъ... Вотъ отрывокъ изъ этого оригинальнаго романа двухъ юныхъ пріятелей.

«Особенно отрадно было мнѣ гулять съ нимъ вдвоемъ или ходить возлѣ него взадъ и впередъ по комнатѣ и слушать, какъ онъ, не глядя на меня, читаетъ стихи своимъ тихимъ и сосредоточеннымъ голосомъ. Право, мнѣ тогда казалось, что мы съ нимъ медленно, понемногу отдѣлялись отъ земли и неслись куда-то въ какой-то лучезарный, таинственно-прекрасный край... Помню я

одну ночь. Мы сидѣли съ нимъ подъ тѣмъ же кустомъ сирени: мы полюбили это мѣсто. Всѣ наши товарищи уже спали; но мы тихонько встали, ощупью одѣлись впотьмахъ и украдкой вышли «помечтать». На дворѣ было довольно тепло, но свѣжій вѣтеръ дулъ по временамъ и заставлялъ насъ еще ближе прижиматься другъ къ дружкѣ. Мы говорили, мы говорили много и съ жаромъ, такъ что даже перебивали другъ друга, хотя и не спорили. На небѣ сіяли безчисленныя звѣзды. Яковъ поднялъ глаза и, стиснувъ мнѣ руку, тихо воскликнулъ:

Надъ нами
Небо съ вѣчными звѣздами...
А надъ звѣздами ихъ Творецъ...

Благоговѣйный трепетъ пробѣжалъ по мнѣ; я весь похолодѣлъ и припалъ къ его плечу... Сердце переполнилось...»

Болѣе типичную *романтическую* страницу въ лучшемъ смыслѣ слова трудно было написать. Только пережившій такія ощущенія въ самомъ себѣ, могъ рискнуть рисовать подобную идиллію и не впасть въ мелодраматическій фальшивый тонъ.

Мы не знаемъ, черпалъ ли Тургеневъ эти рѣчи изъ подлинныхъ своихъ воспоминаній, мы убѣждены въ одномъ—въ пансіонѣ онъ переживалъ такія же минуты, о какихъ разсказываетъ другъ Пасынкова. Пристрастіе къ нѣмецкой идеалистической поэзіи не покидало Тургенева всю жизнь, и важнѣйшій періодъ его молодости запечатлѣнъ глубокими вліяніями германской мысли и германскаго творчества. Кто знаетъ! Безгранично скромный въ личныхъ воспоминаніяхъ, неохотно дававшій прямыя свѣдѣнія о личной жизни и личномъ развитіи, Тургеневъ, можетъ быть, путемъ художественныхъ произведеній хотѣлъ восполнить пробѣлы въ своей автобіографіи. Высказывалъ же онъ подчасъ совершенно открыто свои общественные взгляды, устами своихъ героевъ: отчего ему было не посвятить одинъ изъ разсказовъ лучшимъ настроеніямъ, когда-то пережитымъ въ первой молодости?

Изъ московскихъ учителей Тургеневъ вспоминалъ впослѣдствіи Дубенскаго, преподавателя русскаго языка, и Клюшникова, учителя русской исторіи. Дубенскій былъ въ свое время довольно извѣстный ученый, издалъ изслѣдованіе о «Словѣ о полку Игоревѣ»,

но въ литературномъ направленіи придерживался старыхъ школъ, Пушкина не любилъ и не признавалъ его достойнымъ изученія. Питомцы Дубенскаго принуждены были развиваться на произведеніяхъ Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова. То же направленіе Тургеневъ встрѣтилъ потомъ и въ Московскомъ университетѣ.

Консервативный характеръ преподаванія Дубенскаго вполнѣ соотвѣтствовалъ простотѣ его отношеній къ ученикамъ. Тургеневъ разсказывавъ о немъ такой эпизодъ.

Однажды Дубенскій, преподававшій словесность братьямъ Тургеневымъ на дому, пропустилъ нѣсколько уроковъ, и пріѣхалъ сильно навеселѣ.

— Господа,—обратился онъ къ своимъ слушателямъ,—я пропустилъ эти уроки потому, что женился, а такъ какъ жениться въ жизни приходится почти всегда только одинъ разъ, то я долгомъ счелъ сильно загулять по этому случаю...

Лучшія воспоминанія, повидимому, сохранились у Ивана Сергѣевича о Клюшниковѣ. Много лѣтъ спустя послѣ московскаго ученія, въ 1856 году, Тургеневъ узналъ, что Клюшниковъ еще живъ, обрадовался, немедленно потребовалъ у знакомыхъ адресъ своего бывшаго наставника, намѣреваясь написать старику. Клюшниковъ несомнѣнно являлся одной изъ симпатичнѣйшихъ личностей среди московской ителлигенціи тридцатыхъ годовъ. Позже онъ вошелъ въ кружокъ Станкевича, пріобрѣлъ довольно популярное имя поэта... Онъ и Дубенскій, независимо отъ пансіонскаго курса, готовили Ивана Сергѣевича къ университетскому экзамену.

Что это былъ за экзаменъ, какія требованія онъ предъявлялъ и на какую духовную зрѣлость испытуемыхъ разсчитывалъ, уже показываетъ самый возрастъ студентовъ и путь, какимъ они достигали университетскихъ аудиторій. Лермонтовъ поступаетъ въ Московскій университетъ на шестнадцатомъ году, послѣ двухлѣтняго пребыванія въ дворянскомъ пансіонѣ, преобразованномъ впослѣдствіи въ гимназію. Тургеневъ также пятнадцати лѣтъ является въ университетъ послѣ обученія въ нѣмецкомъ пансіонѣ и домашняго приготовленія, и весьма удачно выдерживаетъ испытаніе. Это происходитъ въ 1833 году, всего на три года позже вступленія Лермонтова въ университетъ. Впечатлѣнія поэта остаются

вѣрными для той и другой эпохи, тѣмъ болѣе, что составъ профессоровъ не могъ значительно измѣниться.

Оба будущіе писателя числились на «словесномъ» факультетѣ. Первые курсы, въ сущности, ничѣмъ не напоминали университета, развѣ только свободой поведенія въ аудиторіяхъ. Первый курсъ даже оффиціально числился чѣмъ-то въ родѣ университетскаго приготовительнаго класса. Составъ слушателей вполнѣ соотвѣтствовалъ этому уровню. Лермонтовъ въ картинныхъ стихахъ описалъ университетскую аудиторію передъ началомъ и во время лекцій:

Пришли, шумятъ... Профессоръ длинный
Напрасно входитъ, кланяяся чинно.
Онъ книгу взялъ, раскрылъ, прочелъ—шумятъ;
Уходитъ,—втрое хуже. Сущій адъ!..

Большинство профессоровъ не пользовалось никакимъ авторитетомъ среди слушателей; напротивъ, съ именемъ Малова, Брянцева, Сандунова неизмѣнно связывалось множество смѣхотворныхъ анекдотовъ.

Русская литература, представлявшая, конечно, наибольшій интересъ для Тургенева, преподавалась по схоластическимъ учебникамъ. Современныя явленія въ области русскаго слова не касались профессорскаго горизонта. Пушкинъ былъ запрещенное, преступное имя въ университетской авдиторіи. Всѣ, жаждавшіе живого знанія, группировались въ кружки и общества—внѣ университета.

Возникаютъ товарищескіе кружки Бѣлинскаго, Станкевича, Герцена. Здѣсь пробиваются на свѣтъ новыя теченія,—имъ суждено впослѣдствіи смыть схоластическій хламъ. Но пока они должны тайкомъ, въ темнотѣ воспитывать юныя сѣмена. Университетъ оказываетъ этимъ людямъ единственную услугу: авдиторія помогаетъ молодежи знакомиться, жить общими интересами. Лекціи профессоровъ часто возбуждаютъ общее неудовольствіе, и это уже поводъ сообща попытаться найти путь къ другой мысли, къ другому знанію. Въ кружкахъ растутъ и развиваются смѣлыя, восторженныя идеи. Онѣ впослѣдствіи во всеоружіи юношескаго жара перейдутъ на поприще общественной литературы. Бѣлинскій первый развернетъ неслыханную мощь таланта и убѣжденія: это—плоды дружескихъ бесѣдъ внѣ стѣнъ университета...

Пребываніе Тургенева въ Московскомъ университетѣ было слишкомъ кратковременно, чтобы онъ могъ принять участіе въ кружковой жизни студентовъ. Годъ спустя, онъ перешелъ въ Петербургскій университетъ, такъ какъ его старшій братъ поступилъ въ военную службу въ Петербургѣ. Что далъ Тургеневу Московскій университетъ—трудно сказать. Всѣ наши соображенія были бы слишкомъ произвольны. Одно только можно съ увѣренностью сказать: двѣ каѳедры, особенно важныя для молодого студента по свойству его вкусовъ и стремленій,—каѳедры философіи и русской литературы—не могли вліять на его развитіе. Каѳедра философіи уже семь лѣтъ была упразднена, когда Тургеневъ поступилъ въ университетъ, а преподаваніе русской литературы не шло дальше схоластики и ложноклассицизма. Во всякомъ случаѣ, самъ Тургеневъ впослѣдствіи не находилъ, чѣмъ вспомнить Московскій университетъ [12]).

---

[12]) Въ послѣднее время этой эпохѣ посвящено было самое тщательное изслѣдованіе покойнаго академика Н. С. Тихонравова (*Вѣстн. Евр.*, 1894, февр.). Тургеневъ былъ въ Московскомъ университетѣ одновременно съ Станкевичемъ,—любопытнѣйшій вопросъ: были-ли товарищи знакомы—Тихонравовъ оставляетъ открытымъ. Наиболѣе интересное хотя и не новое, указаніе касается повѣсти Тургенева *Несчастная*. Тихонравовъ говоритъ: «Въ одной изъ своихъ повѣстей (*Несчастная*) Тургеневъ вывелъ Станкевича въ лицѣ «студента-поэта».—«Во время моего пребыванія въ Москвѣ, въ одномъ обществѣ при мнѣ упомянули о Сусаннѣ и самымъ невыгоднымъ, самымъ оскорбительнымъ образомъ. Я всячески постарался заступиться за память несчастной дѣвушки; но мои доводы не произвели большого впечатлѣнія на моихъ слушателей. Одного изъ нихъ, молодого студента-поэта, я, однако, поколебалъ. Онъ прислалъ мнѣ на другой день стихотвореніе, которое я позабылъ, но которое оканчивалось слѣдующими четырьмя стихами:

Но и надъ брошенной могилой
Не смолкнулъ голосъ клеветы...
Она тревожитъ призракъ милый
И жжетъ нагробные цвѣты.

Эти четыре строки представляютъ буквальную выписку изъ написаннаго въ 1833 стихотворенія Станкевича «на могилѣ Эмиліи», стихотворенія, въ которомъ студентъ-поэтъ оплакалъ «кроткій геній», смущенный земными тревогами и отлетѣвшій отъ людей». (*Н. В. Станкевичъ. Стихотворенія и пр.* М. 1890. 41). Анненковъ въ біографіи Станкевича приводитъ тоже стихотвореніе и на основаніи писемъ Станкевича говоритъ о героинѣ, вызвавшей

Немногимъ лучше оказались условія и въ Петербургскомъ университетѣ. Много позже Тургеневъ былъ жестоко оскорбленъ «презрительнымъ», отзывомъ о немъ въ исторіи Петербургскаго университета изданной по поводу пятидесятилѣтняго существованія учрежденія. Тургеневъ горько жаловался на этотъ отзывъ [13]), и, дѣйствительно, совершенно неизвѣстно, за что онъ могъ подвергнуться упреку. Относительно университета онъ выполнилъ свои обязанности блистательно. Нельзя того же сказать о самомъ университетѣ.

Мы знаемъ объ этомъ періодѣ со словъ самого Ивана Сергѣевича. Онъ прекрасно охарактеризовалъ нѣкоторыхъ университетскихъ преподавателей, и—что еще важнѣе—общественно-литературную жизнь петербургскихъ ученыхъ и писательскихъ кружковъ. И въ университетскихъ аудиторіяхъ, и въ этихъ кружкахъ пища для юнаго ума представлялась въ высшей степени скудная.

На первомъ планѣ и здѣсь, конечно, стоитъ вопросъ о пред-

элегію—«чудной дѣвушкѣ, владѣвшей, по смыслу повѣствованія, чуть ли не даромъ прозрѣнія и участей въ семействѣ, гдѣ произведеніе ея было источникомъ грубой, тяжелой драмы». *Воспом. и критич. очерки.* Спб. 1881 г., III, 293. Но независимо отъ многихъ знакомствъ на Тургенева не могла не вліять идеалистическая атмосфера, владѣвшая московскою молодежью 30-хъ годовъ и въ этомъ отношеніи налагавшая на древнюю столицу совершенно другой отпечатокъ, чѣмъ носилъ Петербургъ. Станкевичъ называлъ Москву мечтательной, а Петербургъ практическимъ, и Тихонравовъ, между прочимъ, ссылается, на характерное замѣчаніе Гоголя о печати обѣихъ столицъ: «московскіе журналы говорятъ о Кантѣ, Шеллингѣ и пр.; въ петербургскихъ журналахъ говорятъ только о публикѣ и благонамѣренности». Выводъ автора такой: «пусть въ Московскомъ университетѣ Тургеневъ могъ набраться только приготовленныхъ свѣдѣній для знакомства съ наукой; но здѣсь, въ этой средѣ, сердце Тургенева впервые подвержено было радостью великихъ ощущеній. «Въ Москвѣ мнѣ отраднѣе, нежели гдѣ-нибудь,—писалъ Станкевичъ Невѣрову,—здѣсь стѣны, въ которыхъ я въ первый разъ сталъ дышать новою жизнью, здѣсь люди, съ которыми подѣлился первый разъ идеями». И то же можно сказать о Тургеневѣ». Напомнимъ, что и Лермонтовъ не переставалъ хранить самыя любовныя воспоминанія о годахъ, проведенныхъ въ Москвѣ, и объ университетѣ—«святомъ мѣстѣ». Для него это были годы нравственнаго роста и творческаго развитія.

[13]) *Письма*, 300.

метахъ, болѣе всего близкихъ вкусамъ молодого студента. Каѳедру русской литературы въ университетѣ занималъ Петръ Александровичъ Плетневъ. Это былъ одинъ изъ лучшихъ преподавателей и симпатичнѣйшихъ людей своего времени, но оказать замѣтное вліяніе на духовное развитіе юноши онъ не могъ. «Ученый багажъ его былъ весьма легокъ», говоритъ Тургеневъ. Свои свѣдѣнія онъ умѣлъ сообщать просто и ясно, умѣлъ даже возбудить у слушателей интересъ къ предмету, но увлечь, расширить умственный кругозоръ студента—было не въ его силахъ. Это былъ, прежде всего, отличный человѣкъ, и весьма обыкновенный профессоръ. Главнѣйшія права Плетнева на уваженіе слушателей заключались не въ его познаніяхъ и талантахъ, а въ близкихъ личныхъ отношеніяхъ къ славнѣйшимъ представителямъ литературы,—Пушкину, Жуковскому, Баратынскому, Гоголю. Онъ любилъ разсказывать объ этихъ людяхъ, но для ихъ произведеній у него не хватало критическаго таланта. Притомъ онъ, по природѣ, не любилъ спора, критики, полемики. Провести жизнь мирно, не переходя предѣловъ золотой середины, *умиляясь* простотой, лелѣя дорогія воспоминанія—таковъ былъ идеалъ Плетнева.

Иванъ Сергѣевичъ бывалъ въ семьѣ Плетнева, на его вечерахъ. Юный студентъ съ романтическими задатками мало любопытнаго и увлекательнаго могъ встрѣтить на этихъ скромныхъ собраніяхъ. Вообще, кругомъ — среди интеллигенціи — все было необыкновенно скромно и смирно. Появлялись величайшія произведенія русскаго искусства, но общество относилось къ нимъ какъ-то апатично, точнѣе—не понимало ихъ, пропускало мимо себя, какъ нѣчто чуждое, или слишкомъ безпокойное. Пушкинъ былъ еще живъ, ходили слухи о превосходныхъ произведеніяхъ, готовыхъ уже къ выпуску въ свѣтъ, но только крайне немногіе занимались этими слухами. Большинство относилось къ великому поэту равнодушно, въ иныхъ сферахъ даже враждебно. Величіе таланта и заслугъ Пушкина оставалось загадкой для столичнаго общества, дававшаго тонъ культурной жизни тридцатыхъ годовъ. Оффиціальные интересы стояли на первомъ планѣ. Появился *Ревизоръ*, — но отнюдь не уравнялъ для автора путей къ славѣ. Журналы по прежнему продолжали нападать на грубость и легкомысліе его

дѣятельности. По прежнему, у Гоголя былъ единственный вѣрный и сильный другъ, защитникъ и читатель—его вдохновитель Пушкинъ. Страшная драма вскорѣ должна была засвидѣтельствовать, въ какой варварской средѣ поэтъ совершалъ путь своего служенія родинѣ... И недаромъ Гоголь почувствовалъ себя, послѣ кончины Пушкина, глубоко несчастнымъ и одинокимъ...

Дѣятельность Бѣлинскаго еще не начиналась, и мысль русскаго читателя еще не была призвана къ вдумчивой, разносторонней оцѣнкѣ литературныхъ явленій. Пока «Библіотека для Чтенія» безнаказанно могла обзывать произведенія Гоголя грязнымъ малороссійскимъ жартомъ, и даже сочувствующіе журналисты умѣли только пройтись на счетъ нѣкоторыхъ остроумныхъ пассажей въ безсмертной комедіи, не отдавая себѣ отчета о смыслѣ цѣлаго.

Таланты и великія созданія застали это общество будто врасплохъ. Оно казалось не въ силахъ справиться съ нахлынувшими на него идеями и образами, кое-какъ уловляло мелочи, частности или просто открещивалось отъ досадныхъ новшествъ, клеймя и проклиная ихъ. На встрѣчу такому отношенію шла цензура.

Цензурѣ тридцатые годы обязаны своей репутаціей допотопныхъ. Ея исторія за это время—сплошной рядъ едва вѣроятныхъ анекдотовъ, но отъ этого литературѣ было не легче. Обычной темой въ собраніяхъ литераторовъ являлись жалобы на цензуру, разсказы о той или другой курьезной выходкѣ цензоровъ. «Литераторъ», говоритъ Тургеневъ, «кто бы онъ ни былъ, не могъ не чувствовать себя чѣмъ-то въ родѣ контрабандиста». Даже въ частныхъ собраніяхъ литераторовъ чувствовалась какая-то запуганность, приниженность. Правда, еще Пушкинъ гордо заявилъ о высокомъ общественномъ значеніи писателя, но даже великому поэту, удостоенному личнаго покровительства государя, по временамъ жутко приходилось въ средѣ Булгариныхъ и ихъ оффиціальныхъ патроновъ. Естественно болѣе слабые литераторы занимались личными дрязгами, преслѣдовали другъ друга всевозможными мелочами... Даже теперь нельзя безъ чувства обиды, болѣзненнаго состраданія читать объ этихъ временахъ и нравахъ.

Тургеневъ разсказываетъ объ одномъ изъ вечеровъ у Плет-

нева. Только-что во вступленіи къ разсказу онъ говорилъ о томъ, что ему въ молодости и его сверстникамъ «нуженъ былъ вождь». Они жили страстнымъ желаніемъ соединиться подъ знаменемъ великаго имени, преклониться предъ великимъ человѣкомъ и учителемъ. Жажда могучаго нравственнаго авторитета была непреодолима, являлась своего рода романтической мечтой молодости, любовнымъ восторгомъ. И такъ понятна, такъ благородна такая жажда! Тургеневу она была особенно близка. Одинокій въ дѣтствѣ, одинокій въ родномъ домѣ, онъ инстинктивно стремился воплотить весь неисчерпаемый запасъ природной любви въ какой-либо чужой для него, но непремѣнно выдающейся личности. Посмотрите, съ какою точностью онъ запоминаетъ нѣсколько случайно услышанныхъ словъ Пушкина, отмѣчаетъ встрѣчу съ нимъ въ концертѣ, хотя поэтъ и не подозрѣваетъ о существованіи восторженнаго поклонника и только съ досадой поводитъ плечомъ и отходитъ въ сторону, замѣтивъ слишкомъ пристальный взоръ юноши, погруженнаго въ созерцаніе его особы... Вспомните, съ какой страстной стремительностью онъ привязывается къ Бѣлинскому и до конца жизни хранитъ сердечнѣйшія воспоминанія о каждомъ часѣ, проведенномъ съ великимъ критикомъ!..

Съ такими запросами молодой Тургеневъ попалъ въ общество петербургскихъ литераторовъ, посѣщалъ лекціи петербургскихъ профессоровъ. Ни здѣсь, ни тамъ онъ не могъ встрѣтить и намека на то, къ чему стремился. Въ Петербургскомъ университетѣ не было Грановскаго, а только такой человѣкъ могъ пойти на встрѣчу юношескимъ мечтамъ объ авторитетномъ духовномъ руководителѣ, объ учителѣ — вдохновляющемъ, исполненномъ лично такихъ же широкихъ идеальныхъ стремленій, какъ и сама молодежь.

Ко времени пребыванія Тургенева въ Петербургскомъ университетѣ относится и профессорская дѣятельность Гоголя. Профессура, какъ извѣстно, была однимъ изъ самыхъ неудачныхъ предпріятій знаменитаго автора. Гоголь оказался дурно подготовленнымъ, мало свѣдущимъ преподавателемъ, плохимъ лекторомъ. Онъ всѣ свои познанія по всеобщей исторіи истощилъ въ нѣсколькихъ вступительныхъ лекціяхъ, и дальнѣйшій курсъ представлялъ жалкую картину. «Гоголь изъ трехъ лекцій непремѣнно пропускалъ

двѣ», разсказываетъ Тургеневъ, а «когда онъ появлялся на каѳедрѣ—онъ не говорилъ, а шепталъ что-то весьма несвязное, показывалъ намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ и все время ужасно конфузился». Студенты скоро убѣдились, что ихъ профессоръ обладаетъ крайне ограниченными свѣдѣніями. Самъ Гоголь поддержалъ это убѣжденіе. На экзаменъ онъ явился повязанный платкомъ будто отъ зубной боли, просидѣлъ во все время съ совершенно убитой физіономіей, предоставилъ экзаменовать студентовъ ассистенту. Студенты и на этотъ разъ были убѣждены, что Гоголь хранитъ молчаніе изъ страха попасть въ просакъ въ присутствіи своихъ товарищей.

Комедія скоро прекратилась: Гоголь вышелъ изъ университета.

О другихъ профессорахъ Тургеневъ не счелъ нужнымъ вспомнить, очевидно, не нашелъ въ своей памяти достаточно матеріала, который бы свидѣтельствовалъ о прочномъ и цѣнномъ вліяніи наставниковъ на ученика.

Литературныя увлеченія Ивана Сергѣевича во время студенчества стояли на уровнѣ эстетическаго развитія вообще всей молодежи того времени. Романтизмъ—въ грубыхъ, менѣе всего художественныхъ и поэтическихъ формахъ, плѣнялъ публику, и не только юную. Литературная дѣятельность Пушкина, исполненная красоты, гармоніи, идеи, проходила сравнительно въ тѣни. Имя геніальнаго поэта меркло предъ такими именами, какъ Марлинскій и Бенедиктовъ. Марлинскій сводилъ съ ума романтически настроенныхъ читательницъ, а стихотворенія Бенедиктова заучивались наизусть. Еще сокрушающее перо Бѣлинскаго не касалось этихъ боговъ.

Стихотворенія Бенедиктова вышли въ 1836 году, и привели въ восхищеніе всю публику,—литераторовъ, критиковъ и болѣе всего молодежь. Тургеневъ не отставалъ отъ другихъ въ своемъ преклоненіи предъ такими картинами, какъ «Матильда» на жеребцѣ, гордившаяся «усѣстомъ красивымъ и плотнымъ»... Какъ разъ въ эту эпоху появилась статья Бѣлинскаго въ «Телескопѣ», разрушавшая славу Бенедиктова. Юныхъ романтиковъ охватило чувство негодованія. Тургеневъ также негодовалъ, но, говоритъ онъ,

«къ собственному моему изумленію и даже досадѣ, что-то во мнѣ невольно соглашалось съ «критикомъ», находило его доводы убѣдительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренній голосъ; въ кругу пріятелей я съ большей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьѣ... но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать мнѣ, что *онъ былъ правъ*... Прошло нѣсколько времени—и я уже не читалъ Бенедиктова».

Такъ произошло съ теченіемъ времени, но пока Иванъ Сергѣевичъ писалъ стихи и сочинилъ фантастическую драму въ духѣ моднаго романтизма. На третьемъ курсѣ онъ представилъ на судъ Плетнева драму въ пятистопныхъ ямбахъ подъ заглавіемъ «Стеніо». На одной изъ лекцій Плетневъ, не называя имени автора, разобралъ съ обычнымъ своимъ благодушіемъ «это», по выраженію Тургенева, «совершенно нелѣпое произведеніе, въ которомъ съ бѣшеной неумѣлостью выражалось рабское подражаніе байроновскому Манфреду». Плетневъ все-таки нашелъ возможнымъ ободрить юнаго автора, заявилъ ему, что въ немъ «что-то есть». Это заявленіе возбудило въ юношѣ смѣлость и на усмотрѣніе профессора было представлено нѣсколько стихотвореній. Изъ нихъ Плетневъ выбралъ два и напечаталъ въ «Современникѣ». Въ одномъ изъ нихъ воспѣвался «Старый дубъ» и начиналось оно такъ:

Маститый царь лѣсовъ, кудрявой головою
Склонялся старый дубъ надъ сонной гладью водъ...

«Это первая моя вещь», говоритъ Тургеневъ, «явившаяся въ печати, конечно безъ подписи».

«Старый дубъ» былъ напечатанъ въ *Современникѣ* въ 1838 г., почти двумя годами раньше—въ другомъ періодическомъ изданіи *Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія* появилось первое прозаическое произведеніе Ивана Сергѣевича, критическая статья о книгѣ: «Путешествіе ко святымъ мѣстамъ русскимъ», изданной А. И. Муравьевымъ. Тургеневъ впослѣдствіи съ одинаковымъ пренебреженіемъ относился и къ своимъ юношескимъ стихотвореніямъ и поэмамъ и къ этой статьѣ. Всѣ эти произведенія, конечно, не идутъ въ сравненіе съ великими художественными созданіями Тургенева, но они далеко не лишены интереса для

исторіи развитія таланта, а поэмы, даже по мнѣнію Бѣлинскаго, представляли самостоятельныя достоинства, хотя и не особенно большія.

Статья о книгѣ Муравьева довольно обширна. Авторъ обнаруживаетъ горячее религіозное чувство, умиляется предъ чудомъ распространенія христіанства, въ восторженномъ тонѣ излагаетъ древнюю исторію христіанской церкви въ Россіи, преклоняется предъ нравственнымъ и патріотическимъ значеніемъ древнихъ русскихъ монастырей. Авторъ даетъ нѣсколько довольно искусныхъ характеристикъ духовныхъ дѣятелей, напримѣръ, патріарха Никона.

Статья заканчивается слѣдующей лирической рѣчью: «Пустыня, уединеніе, гдѣ, казалось бы, должно увянуть воображеніе, возбуждаютъ его въ высокой степени, и мы съ живымъ удовольствіемъ внимаемъ автору, когда онъ плыветъ черезъ Ладожское озеро, ночью, при духовномъ пѣніи кормчаго—инока, или когда слушаетъ трогательный разсказъ игумена о св. Царевичѣ Іоасафѣ, оставившемъ царство земное для небеснаго, и умиляясь мысленнымъ зрѣлищемъ смиреннаго пріюта отшельниковъ, невольно повторяемъ съ авторомъ стихи, которые желаетъ онъ вложить въ ихъ уста:

Моря житейскаго шумныя волны
Мы протекли;
Пристань надежную утлые челны
Здѣсь обрѣли.
Здѣсь невечернею радостью полны,
Слышимъ вдали—
Моря житейскаго шумныя волны!

По этому отрывку можно судить о прекрасномъ слогѣ статьи, о живомъ поэтическомъ чувствѣ автора. Во всякомъ случаѣ, этотъ первый опытъ будущаго писателя—трудъ въ полномъ смыслѣ литературный и мѣстами даже художественный [14]).

Тургеневъ окончилъ университетскій курсъ сначала со степенью дѣйствительнаго студента, немного спустя сдалъ кандидат-

[14]) *Журналъ Мин. Нар. Просв.* XI, 1836 г., Новости и смѣсь. 391—410. Подъ статьей полная подпись автора.

скій экзаменъ. Это происходило въ 1837 году. Помимо университетскихъ занятій, Тургеневъ много времени отдавалъ древнимъ языкамъ, усиленно изучалъ греческій языкъ. Отечественной наукой Иванъ Сергѣевичъ не думалъ удовлетвориться и готовился къ другому, болѣе высокому образованію. Эти серьезныя и вполнѣ опредѣленныя цѣли уживались вмѣстѣ съ изумительнымъ юношескимъ легкомысліемъ, почти дѣтской наивностью.

Въ эпоху окончанія университетскаго курса Иванъ Сергѣевичъ былъ самымъ беззаботнымъ, жизнерадостнымъ юношей. Его раскатистый, заразительный смѣхъ счастливаго человѣка, постоянно раздавался въ домѣ. Онъ не прочь былъ принять участіе въ дѣтскихъ шалостяхъ и первый чувствовалъ громадное удовольствіе. Его хохотъ иногда даже навлекалъ выговоры матери. Ей казалось неприличнымъ для молодого аристократа хохотать «такъ по мѣщански».

— Mais cessez donc, Jean, — говорила Варвара Петровна, — c'est même mauvais genre de rire ainsi. Qu'est-ce que ce rire bourgeois! (Перестань же, Иванъ, даже неприлично такъ хохотать! Что за мѣщанскій смѣхъ!).

Въ этотъ періодъ отношенія Ивана Сергѣевича съ матерью были еще довольно ровны. Сынъ, не смотря на жестокія дѣтскія воспоминанія, чувствовалъ искреннюю и глубокую привязанность къ матери. Онъ проявлялъ это во всемъ—въ мелочахъ и въ серьезныхъ случаяхъ. Варварѣ Петровнѣ сдѣлали операцію, она нѣкоторое время оставалась въ постели, Иванъ Сергѣевичъ окружилъ ее нѣжнѣйшими заботами, просиживая съ нею цѣлыя ночи. Такая любовь оказывала благотворное дѣйствіе даже на деспотическій характеръ самовластной барыни. Она, конечно, по прежнему управляла домомъ и имѣніями, но присутствіе Ивана Сергѣевича смягчало ея власть. Очевидецъ разсказываетъ, какъ тяжело было сыну присутствовать при подвигахъ своей матери и чувствовать въ то же время свое безсиліе помочь ея жертвамъ. Но, прибавляетъ разсказчикъ, «доброта его иногда и безъ всякой борьбы подчиняла волю даже и Варвары Петровны. При немъ она была совсѣмъ иная и потому въ его присутствіи все отдыхало, все жило. Его рѣдкихъ посѣщеній ждали, какъ блага. При немъ мать не

только не измышляла какой-нибудь вины за кѣмъ-либо, но даже и къ настоящей винѣ относилась снисходительнѣе; она добродушествовала какъ бы ради того, чтобы замѣтить выраженіе удовольствія на лицѣ сына...»

Такъ было до заграничнаго путешествія Ивана Сергѣевича. Въ это время онъ, вѣроятно, и самъ не особенно пристально всматривался въ окружающую жизнь. Его интересы сосредоточены были на наукѣ, на личномъ развитіи. Можетъ быть, и быстро смѣняющіяся юношескія настроенія мѣшали ему вникнуть въ бездну золъ, переполнявшую его родной домъ. Но главнѣйшій мотивъ, сдерживавшій, вѣроятно, не разъ негодованіе и критику пылкаго юноши — была нѣжная привязанность къ матери, стремленіе щадить ея спокойствіе, добрыя отношенія къ ней во что бы то ни стало. Все это будетъ продолжаться не долго. Взгляды и дѣятельность матери слишкомъ противорѣчатъ простѣйшимъ основамъ гуманности и справедливости, а сынъ одаренъ исключительной чувствительностью именно въ этомъ направленіи: разрывъ произойдетъ неминуемо. Онъ только вопросъ времени. Но пока царствуютъ миръ и согласіе: Варвара Петровна безпрекословно уміраетъ задушевному желанію сына—поѣхать учиться заграницей.

Иванъ Сергѣевичъ самъ объяснилъ мотивы своего путешествія. «Объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно», пишетъ онъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ*. «Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится заграницей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго университета не было ни одного, который бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ, они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ, посылавшее на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты».

Тургеневу предстояло много труда. Кандидатъ русскаго университета оказался дурно подготовленнымъ къ слушанію лекцій въ нѣмецкомъ университетѣ. Ему предстояло на первыхъ порахъ снова приняться за зубреніе латинской и греческой грамматики. Но Тургенева это не пугало: онъ смѣло отправился въ чужіе края, первый разъ въ жизни—одинъ, безъ материнскаго надзора.

«Матушка въ первый разъ отпустила меня ѣхать одного», разсказываетъ Иванъ Сергѣевичъ, «и я долженъ былъ обѣщать ей вести себя благоразумно, а главное, не дотрогиваться до картъ...»

Въ день отъѣзда въ Казанскомъ соборѣ отслужили напутственный молебенъ. Варвара Петровна все время горько плакала. Она провожала сына на пароходъ; на возвратномъ пути съ ней сдѣлался обморокъ. Суевѣрный могъ это принять за дурное предчувствіе...

Путешествіе Ивана Сергѣевича оказалось неблагополучнымъ. На пароходѣ, на которомъ онъ ѣхалъ,—«Николай I»,—произошелъ пожаръ. Впослѣдствіи, много лѣтъ спустя, Тургеневъ разсказалъ объ этомъ происшествіи въ художественномъ очеркѣ «Пожаръ на морѣ». Этотъ очеркъ мы и должны принять за единственную достовѣрную исторію событія. Здѣсь, между прочимъ, авторъ вспоминаетъ, какъ онъ схватилъ за руку матроса и обѣщалъ ему десять тысячъ рублей отъ имени матушки, если матросъ спасетъ его... Девятнадцатилѣтнему юношѣ было совершенно естественно потерять голову въ виду страшной катастрофы. Но въ Петербургъ пришли нѣсколько другія вѣсти, не лестныя для самолюбія юноши. Разсказывали со словъ свидѣтелей, что Иванъ Сергѣевичъ волновался черезъ мѣру на пароходѣ, взывалъ къ любимой матери и извѣщалъ товарищей несчастья, что онъ богатый сынъ вдовы, хотя сыновей было двое у нея, и долженъ быть для нея сохраненъ. Этимъ слухамъ вѣрили [15])...

Сплетня много лѣтъ спустя принесла Тургеневу не мало тяжелыхъ минутъ. Лѣтомъ въ 1868 г., въ письмѣ къ редактору *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*, Тургеневъ долженъ былъ опровергать разсказъ о томъ, будто онъ, тридцать лѣтъ тому назадъ, во время пожара на пароходѣ кричалъ: «спасите меня, я единственный сынъ у матери [16])...»

Въ качествѣ дядьки Ивана Сергѣевича сопровождалъ заграницу крѣпостной докторъ Варвары Петровны—Порфирій Тимоѳеевичъ Кудряшевъ. Порфирій пользовался привилегированнымъ

---

[15]) Анненковъ. *Молодость И. С. Тургенева. Вѣстникъ Европы*, 1884 г., февраль, 452.

[16]) *Письма*, 138.

положеніемъ въ домѣ барыни. Правда, она не затруднилась пригрозить ему ссылкой въ Сибирь, если онъ не вылѣчитъ ея воспитанницы, но та же воспитанница утверждаетъ, что это былъ единственный человѣкъ, кого Варвара Петровна не оскорбила ни словомъ, ни дѣломъ, и кому довѣряла даже больше, чѣмъ всѣмъ другимъ докторамъ [17]). Уже командировка Порфирія дядькой при мододомъ баринѣ свидѣтельствовала о необыкновенномъ довѣріи Варвары Петровны къ этому крѣпостному человѣку.

Иванъ Сергѣевичъ быстро сблизился съ своимъ дядькой и между ними установились товарищескія отношенія. Свободныя минуты баринъ и слуга проводили въ такомъ невинномъ занятіи, какъ игра въ картонные солдатики: за этой забавой Тургенева неоднократно заставалъ Грановскій [18]). Самъ Иванъ Сергѣевичъ разсказываетъ о другомъ удовольствіи, въ которомъ также участвовалъ и дядька. Тургеневу случайно досталась собака, — и баринъ съ дядькой съ величайшимъ усердіемъ принялись воспитывать ее, учить ее охотиться за крысами. «Какъ только, бывало, скажутъ намъ, что достали крысу», разсказывалъ Тургеневъ, «я сію же минуту бросаю и Гегеля, и всю философію въ сторону и бѣгу съ дядькой и съ своимъ псомъ на охоту за крысами» [19]).

У Порфирія былъ, впрочемъ, несравненно болѣе пріятный способъ проводить время и на этотъ разъ уже онъ пользовался услугами барина. Онъ быстро освоился съ заграничной жизнью, съ нѣмецкимъ языкомъ и завелъ даже романъ съ нѣмкой. Ивану Сергѣевичу приходилось писать любовныя письма для своего дядьки. Дѣло едва не дошло до брака, но Порфирій испугался вѣчныхъ узъ на чужбинѣ...

Эти пріятныя занятія далеко не поглощали всего времени ни у барина, ни у слуги. Напротивъ, оба они серьезнѣйшимъ образомъ отнеслись къ цѣли путешествія, — и въ результатѣ дядька вернулся на родину вполнѣ образованнымъ человѣкомъ,

---

[17]) В. Н. Житова. *Вѣстн. Евр.* 1884, 108. Фамилія Порфирія ошибочно названа *Карташевъ*.

[18]) Анненковъ. *Вѣстн. Евр.* 1884, февр. 452.

[19]) *Русская Старина*, XL, 205.

Иванъ Сергѣевичъ всю жизнь не забывалъ берлинскаго періода своей жизни.

Тургеневъ такъ выражается о своихъ занятіяхъ въ Берлинѣ: «я занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля, подъ руководствомъ профессора Вердера». Изъ этихъ словъ видно, что философія Гегеля составляла главный предметъ изученія русскаго студента. Тургеневъ не былъ исключительнымъ явленіемъ. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ гегельянство было главной притягательной силой нѣмецкихъ университетовъ, и преимущественно берлинскаго. Восторженныхъ поклонниковъ германскаго мыслителя встрѣчалось одинаково много среди всѣхъ націй, даже среди французовъ одно время Гегель игралъ роль высшаго авторитета. Тургеневъ въ Берлинѣ нашелъ множество молодыхъ людей, раздѣлявшихъ его энтузіазмъ. Въ числѣ ихъ были: Н. Станкевичъ, Грановскій, М. Бакунинъ. Одинъ изъ бывшихъ поклонниковъ Гегеля, не принадлежавшій къ берлинскому кружку студентовъ въ періодъ Тургенева, въ немногихъ словахъ выразилъ отношеніе—свое и другихъ—къ Гегелю: «мы да и всѣ его послѣдователи изучали его, какъ новаго Мессію, и кланялись ему, какъ буряты своимъ фетишамъ [20].

Привлекательность изученія для Тургенева и его товарищей въ сильнѣйшей степени увеличивалась еще благодаря такому толкователю тайнъ гегельянства, какимъ былъ молодой профессоръ Вердеръ. Достаточно сказать, что Вердеръ особенно близокъ былъ съ Станкевичемъ, прямо влюбился въ своего ученика, въ его восторженный идеализмъ, въ его самоотверженныя героическія усилія— во что̀ бы то ни стало завоевать истину. Вердера будто самого поражала его привязанность къ иноземному студенту и онъ успокаивался на объясненіи, что у этого русскаго несомнѣнно душа нѣмецкая и поэтому онъ такъ могущественно овладѣлъ сердцемъ берлинскаго профессора ..

Станкевичъ весьма цѣнилъ дружбу Вердера и такъ характеризировалъ его: «профессоръ Вердеръ рѣдкій молодой человѣкъ, наивный, какъ ребенокъ. Кажется, на цѣлый міръ смотритъ онъ,

---

[20]) *Анненковъ и его друзья.* Спб. 1892, 527, Боткинъ.

какъ на свое помѣстье, въ которомъ добрые люди безпрестанно готовятъ ему сюрпризы. Его бесѣды имѣютъ спасительное вліяніе, всѣ предметы невольно принимаютъ тотъ свѣтъ, въ которомъ онъ ихъ видитъ, и становится самому лучше и самъ становишься лучше».

Много ли наставниковъ способны возбуждать подобныя чувства и питать подобныя настроенія! А здѣсь еще система, обѣщающая въ прекрасной гармонической формѣ разрѣшить всѣ запросы человѣческой мысли, осмыслитъ прошлое, настоящее и даже построить изящный планъ будущаго человѣческой культуры. *Идея*—всемогущая, всеобъемлющая, возвышенная—является этимъ юнымъ, восторженнымъ умамъ въ чарующей обаятельной красотѣ. Имъ кажется,—они въ своихъ запискахъ, бесѣдахъ охватываютъ весь міръ и подъ руководствомъ обожаемаго учителя несомнѣнно овладѣютъ путями человѣческаго счастья и просвѣщенія...

Станкевичъ идетъ во главѣ этихъ энтузіастовъ. Онъ работаетъ неустанно, фанатически и толкаетъ другихъ на такую же работу. Тургеневъ поддается этому благородному вліянію. И не одинъ Тургеневъ. Я. М. Невѣровъ, въ это же самое время слушавшій лекціи въ Берлинскомъ университетѣ, разсказываетъ такой эпизодъ.

«Однажды на вечерѣ у одной весьма образованной русской дамы, оставившей отечество и постоянно жившей заграницей, шла рѣчь о преимуществахъ народнаго представительства въ государствѣ, о всесословномъ участіи народа въ несеніи государственныхъ повинностей и о доступѣ ко всякой государственной дѣятельности. Когда, по окончаніи этого вечера, мы возвратились домой и, естественно, оставаясь подъ впечатлѣніемъ вечерней бесѣды, обсуждали поднятый на ней вопросъ—Станкевичъ обратился къ намъ съ такимъ замѣчаніемъ:

— «Предсѣдательница бесѣды забываетъ, что масса русскаго народа остается въ крѣпостной зависимости и потому не можетъ пользоваться не только государственными, но и общечеловѣческими правами. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно правительство сниметъ съ народа это ярмо, но и тогда народъ не можетъ принять участія въ управленіи общественными дѣлами, потому что для этого требуется извѣстная степень умственнаго

развитія, и потому прежде всего надлежитъ желать избавленія народа отъ крѣпостной зависимости и распространенія въ средѣ его умственнаго развитія. Послѣдняя мѣра сама себою вызоветъ и первую, а потому, кто любитъ Россію, тотъ прежде всего долженъ желать распространенія въ ней образованія», и при этомъ Станкевичъ взялъ съ насъ торжественное обѣщаніе, что мы всѣ наши силы и всю нашу дѣятельность посвятимъ этой высокой цѣли.

«И мы сдержали наше слово: самъ Станкевичъ черезъ два года умеръ въ званіи почетнаго смотрителя Острогожскаго уѣзднаго училища, слѣдовательно, если не лично, что было невозможно при его болѣзненномъ состояніи, то косвенно взносомъ на училище, содѣйствовалъ образованію народа; Грановскій окончилъ жизнь профессоромъ университета, а я, возвратившись изъ-за границы, вмѣсто литературнаго поприща, какъ предполагалось прежде, поступилъ на учебное, и, конечно, на немъ и окончу мое земное поприще [21]).

Такіе вопросы поднимались и такъ энергично и безповоротно приходили къ рѣшенію въ этомъ кружкѣ юныхъ гегельянцевъ! Очевидно, отвлеченности не поглощали ихъ мысли безраздѣльно, и *идея* для нихъ не была только теоретическимъ орудіемъ, въ молодыхъ сердцахъ жило пламенное чувство любви къ родинѣ и стремленіе отдать на служеніе ей свои силы, свою жизнь. А между тѣмъ, какъ часто посылаются неразумные упреки памяти людей сороковыхъ годовъ, упреки въ безплодной мечтательности, въ безцѣльной тратѣ силъ на теоріи и абстракціи... Честное горячее увлеченіе благородной культурной идеей всегда жизненно, всегда уже въ самомъ себѣ несетъ могучія побужденія къ плодотворной дѣятельности на пользу родины.

Намъ теперь будутъ понятны лихорадочныя заботы о распространеніи просвѣщенія въ народѣ, охватившія Тургенева еще раньше, чѣмъ народъ сталъ свободнымъ, понятны будутъ эти разнообразные планы придти на помощь народной темнотѣ. Это все отголоски берлинскаго студенчества, отголоски клятвы, потребованной Станкевичемъ у своихъ земляковъ... Тургеневъ много лѣтъ

---

[21]) *Русская Старина,* XL, 419.

спустя называлъ этотъ кратковременный періодъ «свѣтлымъ прошлымъ» [22]).

Этотъ свѣтъ былъ омраченъ страшнымъ ударомъ, постигшимъ берлинскій кружокъ и прежде всего Тургенева. 24 іюня 1840 года въ Нови скончался Станкевичъ. Тургеневъ передавалъ это извѣстіе Грановскому въ такихъ выраженіяхъ; «Насъ постигло великое несчастье, Грановскій. Едва могу я собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашею гордостью и надеждою».

Дальше Тургеневъ говоритъ о своихъ отношеніяхъ къ покойному, о томъ, какъ онъ цѣнилъ «его свѣтлый умъ, теплое сердце, всю прелесть его души». Съ трогательнымъ чувствомъ Тургеневъ приводитъ письма Станкевича къ нему, излагающія обширные планы умирающаго на счетъ литературныхъ работъ, письма, исполненныя горячаго любовнаго чувства все къ тому же Вердеру: «его дружба будетъ мнѣ вѣчно свята и дорога», писалъ Станкевичъ, «и все, что во мнѣ есть порядочнаго, неразрывно съ нею связано».

Эти увѣренія Станкевичъ просилъ Тургенева передать Вердеру... Подъ конецъ письма Тургеневъ не выдерживаетъ тона историка, лирическое чувство прорывается мощной волной. «Я оглядываюсь, ищу—напрасно. Кто изъ нашего поколѣнія можетъ замѣнить нашу потерю? кто достойный приметъ отъ умершаго завѣщаніе его великихъ мыслей и не дастъ погибнуть его вліянію, будетъ идти по его дорогѣ, въ его духѣ, съ его силой?..

«О, если что-нибудь могло бы заставить меня сомнѣваться въ будущности, я бы теперь, переживъ Станкевича, простился съ послѣдней надеждой. Отчего не умереть другому, тысячѣ другимъ, мнѣ напр.? Когда же придетъ то время, что болѣе развитый духъ будетъ непремѣннымъ условіемъ высшаго развитія тѣла и сама наша жизнь условіе и плодъ наслажденій—Творца, зачѣмъ на землѣ можетъ гибнуть или страдать прекрасное?..»

Такъ у этого гегельянца отвлеченные вопросы идутъ рядомъ съ самымъ реальнымъ страстнымъ чувствомъ. Заключеніе достойно юнаго идеалиста, исполненнаго непоколебимой вѣры, сознанія собственной силы...

[22]) *Русская Старина*, XLII, 392.

«Но нѣтъ, мы не должны унывать и преклоняться.

«Сойдемся, дадимъ другъ другу руки, станемъ тѣснѣе: одинъ изъ нашихъ упалъ, быть можетъ, лучшій. Но возникаютъ, возникнутъ другіе; рука Бога не перестаетъ сѣять въ души зародыши великихъ стремленій и—рано-ли поздно—свѣтъ побѣдитъ тьму».

Съ такимъ убѣжденіемъ Тургеневъ заканчивалъ свое пребываніе при Берлинскомъ университетѣ. Оно продолжалось два года, съ небольшимъ перерывомъ, занятымъ поѣздкой въ Россію, путешествіемъ въ Италію. Именно здѣсь, въ Римѣ, онъ и сблизился съ Станкевичемъ.

Эти два года, какъ мы могли убѣдиться, прошли далеко не безслѣдно для Ивана Сергѣевича. О вліяніи ихъ онъ самъ выражался съ полной опредѣленностью: «Я бросился внизъ головою въ Нѣмецкое море, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ—я все-таки очутился «западникомъ», и остался имъ навсегда».

Такой результатъ установился, конечно, постепенно, съ теченіемъ времени, когда идеи и впечатлѣнія осѣли, пришли въ стройный порядокъ, выяснились благодаря дальнѣйшимъ знакомствамъ съ Нѣмецкимъ моремъ. Но основа, матеріалъ западничества были готовы уже послѣ занятій въ Берлинскомъ университетѣ. Всѣ метафизическія увлеченія, чистая теорія позже исчезли совершено, Тургеневъ въ зрѣлые годы относился ко всякимъ отвлеченностямъ равнодушно, иногда даже съ явнымъ презрѣніемъ, и мы вѣримъ сообщенію одного изъ его знакомыхъ, что берлинскія студенческія записки по философіи казались ему чѣмъ-то чуждымъ и безусловно ненужнымъ [23]). Время и жизнь превратили Тургенева въ художника-реалиста и положительнаго мыслителя. То же самое произошло и съ другими русскими гегельянцами. Боткинъ, напримѣръ, поклонявшійся Гегелю, какъ фетишу, позже требовалъ отъ литературы живой реальной правды, насущнаго жизненнаго содержанія, и не выносилъ больше толковъ о діалектическомъ развитіи идеи. Но у этихъ людей существенное западническое осталось на всю жизнь: глубокое убѣжденное пристрастіе къ куль-

---

[23]) Фетъ. *Мои воспоминанія.* М. 1890, I, 270.

турѣ, къ просвѣщенію, непреодолимое отвращеніе къ варварству, насиліямъ и прежде всего къ крѣпостному праву. Все это они ненавидѣли во имя европейской цивилизаціи, во имя европейскаго прогресса. Свободное развитіе личности и общества—эта идея была усвоена ими на Западѣ, у западной науки и у западной дѣйствительности. И они были убѣждены, что пути, ведущіе къ этимъ благамъ цивилизаціи, общіе для всего человѣчества, и, слѣдовательно, европейская культура полна для насъ поучительныхъ явленій...

Въ такомъ смыслѣ Тургеневъ сталъ западникомъ и остался имъ навсегда. И начало этого западничества положено Берлинскимъ университетомъ.

Результатъ сказался совершенно ясно немедленно по возвращеніи Тургенева на родину. Теперь онъ уже не могъ съ прежнимъ благодушіемъ относиться къ порядкамъ, царствовавшимъ въ родительскомъ домѣ. Въ борьбу съ чувствомъ сыновней любви и почтительности вступила мысль—окрѣпшая, твердая и энергическая. Студенту Берлинскаго университета, успѣвшему, кромѣ того, ознакомиться съ порядками западноевропейской культурной жизни, должно было казаться нестерпимымъ мельчайшее проявленіе отечественнаго рабства. Теперь каждый фактъ, каждая сцена врѣзывались въ памяти юнаго наблюдателя, и общее бѣдствіе невольно становилось личнымъ несчастьемъ благороднаго юноши.

Кромѣ того, Тургеневъ стоялъ въ исключительномъ положеніи. Природная доброта, теперь одушевленная опредѣленнымъ міросозерцаніемъ, осуждена была ежедневно сталкиваться съ вопіющими нарушеніями тѣхъ самыхъ идей и взглядовъ, какими Иванъ Сергѣевичъ жилъ и дышалъ въ обществѣ Станкевича и его друзей. Дома, рядомъ съ матерью каждый часъ, проведенный спокойно и въ довольствѣ, могъ казаться измѣной дорогой священной памяти учителя и друга. Въ двадцать два года не выносятъ такихъ непримиримыхъ противорѣчій. Исходъ долженъ быть завоеванъ во что бы то ни стало и цѣною какихъ угодно жертвъ.

Такъ и случится. Прямымъ результатомъ новаго настроенія Ивана Сергѣевича будетъ разрывъ съ матерью.



И. С. Тургеневъ. Въ Берлинѣ въ 1838—39 г.г.
(*«Вѣстникъ Европы»*, Январь, 1884 г.).

[redacted]

III.

По возвращеніи изъ заграницы Тургеневъ прежде всего думалъ продолжать научную дѣятельность. Въ началѣ 1842 года онъ обратился въ Московскій университетъ съ просьбой—допустить его къ испытанію на степень магистра философіи. Просьба кандидата Тургенева повергла университетскую администрацію въ безвыходное затрудненіе. Каѳедра философіи и въ Московскомъ университетѣ не существовала съ 1826 года. Въ этомъ году преподаватель философіи И. И. Давыдовъ прочелъ вступительную лекцію, составленную по Шеллингу *О возможности философіи, какъ науки*. Лекція и конспектъ предположеннаго курса не понравились высшему начальству. Давыдову было поручено сначала преподаваніе чистой математики, а потомъ, по смерти Мерзлякова — русской словесности. Каѳедра философіи оставалась незанятой, хотя по временамъ читалась логика для студентовъ перваго курса. По поводу прошенія Тургенева возникла переписка между университетомъ и попечителемъ, такъ какъ факультетъ затруднялся экзаменовать кандидата на магистерскую степень по каѳедрѣ, остающейся незанятой въ теченіе пятнадцати лѣтъ вслѣдствіе усмотрѣнія высшаго начальства. Переписка не привела ни къ какому результату, прошеніе Тургенева осталось безъ послѣдствій [24]).

Эта попытка Ивана Сергѣевича превратиться въ ученаго возбудила немалое удивленіе въ обществѣ, близко его знавшемъ. Тургеневъ производилъ впечатлѣніе, совершенно противорѣчившее его замысламъ.

Въ одномъ изъ писемъ Тургеневъ говоритъ: «Какой я былъ бы художникъ (не говоря уже—человѣкъ), если бы не понималъ, что самоувѣренность, преувеличеніе, извѣстнаго рода фраза и поза, даже нѣкоторый цинизмъ составляютъ неизбѣжную принадлежность молодости? [25]).

Этими словами Тургеневъ характеризовалъ извѣстный періодъ въ жизни своей и громаднаго большинства своихъ сверстниковъ.

---

24) *Р. Ст.* XXVIII, 146—7.
25) *Р. Ст.* XL, 222.

Романтическіе, туманные порывы молодости часто складываются въ весьма причудливыя формы. Юноша не въ силахъ справиться съ дѣйствительностью, просто отнестись къ окружающей жизни, трезвыми глазами взглянуть на происходящія кругомъ явленія. Все это будто закутано въ какую-то поэтическую дымку—грезъ, странныхъ образовъ, восторженныхъ чувствъ. Юноша гораздо больше мечтаетъ, воображаетъ, чѣмъ мыслитъ и судитъ съ точки зрѣнія холоднаго разсудка. И картины личной фантазіи кажутся ему несравненно болѣе реальными данными, чѣмъ сама дѣйствительная жизнь. Этими годами управляетъ поэзія, а не правда.

Такой романтическій періодъ переживаетъ всякій, кто одаренъ обильнымъ запасомъ нравственныхъ силъ. Только духовнохудосочные, бѣдняки душою и сердцемъ не знаютъ этого ранняго тумана молодости. Для нихъ жизнь съ самаго начала тянется скучной, прозаической, будничной полосой. Но чѣмъ богаче организмъ, чѣмъ больше задатковъ таится въ немъ, тѣмъ явственнѣе сказывается романтическое настроеніе, юношеская игра въ поэтическіе призраки и вымыслы.

Тогда является обыкновенно излюбленный герой: ему поклоняются, ему подражаютъ, стремятся слить свою личность съ идеаломъ. Такимъ героемъ въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія для молодежи всего культурнаго міра былъ байроновскій герой разочарованія, презрѣнія къ людямъ, герой необъятныхъ силъ и мощныхъ замысловъ. Сколько жертвъ принесено этому кумиру! Вспомните біографію Пушкина, Лермонтова... Вспомните это юношеское пламенное желаніе во что бы то ни стало щеголять въ чайльдъ-гарольдовомъ плащѣ, клеймить окружающихъ пигмеевъ презрѣньемъ, вести себя на манеръ высшаго избраннаго существа. Вспомните эти бурныя выходки юнаго Пушкина въ обществѣ солидныхъ людей, его начальниковъ. Чѣмъ это общество солиднѣе, тѣмъ выходки байронствующаго героя будутъ смѣлѣе, отчаяннѣе, эксцентричнѣе. Молодой поэтъ будетъ поражать собесѣдниковъ вольнодумными идеями, пылкими проявленіями своей личной оригинальности, своего исключительнаго образа мыслей. И его будетъ тѣшить всеобщее изумленіе, негодованіе. Въ его глазахъ это будетъ борьба, вызовъ пошлому, погрязшему въ традиціяхъ, обществу...

То же самое съ Лермонтовымъ,—и на этотъ разъ припадки оригинальности еще рѣзче, еще стремительнѣе. Гарольдовъ плащъ гораздо больше подходилъ къ натурѣ автора *Героя нашего времени*, чѣмъ творца *Евгенія Онѣгина*. Но сущность одна и та же: игра въ маскарадъ, въ преувеличенныя чувства, въ парадоксальныя идеи... Много надо проницательности, знанія человѣческаго сердца и еще больше высокаго гуманнаго чувства, чтобы за маскарадной внѣшностью распознать броженіе великихъ силъ и чтобы ради этихъ силъ простить юношескія увлеченія и крайности.

Тургеневъ не могъ миновать этого періода. Не даромъ онъ написалъ драму въ подражаніе «Манфреду» Байрона. Въ немъ самомъ жили элементы подражанія, той самой театральной игры, какая неизбѣжно увлекала молодежь. Игра въ натурѣ Тургенева должна была найти особенно благодарную почву. Онъ былъ одаренъ громадной силой воображенія, художественные образы, красивые, эффектные вымыслы складывались у него безъ всякихъ личныхъ усилій,—и развѣ можно было противостать обаянію этихъ золотыхъ сновъ! Онъ, кромѣ того, и въ самомъ дѣлѣ зналъ много, о многомъ думалъ, являлся въ полномъ смыслѣ выдающимся молодымъ человѣкомъ. Это чувствовалось всѣми, не могъ этого не чувствовать и самъ Иванъ Сергѣевичъ.

И вотъ всюду, куда бы ни являлся молодой питомецъ западнаго университета, неизбѣжно происходятъ однѣ и тѣ же сцены. Какой бы вопросъ ни подняли, какую бы тему ни затронули, Тургеневъ непремѣнно завладѣетъ и. вопросомъ, и темой единолично и начнетъ развивать свои воззрѣнія съ поразительнымъ, врядъ ли еще кому доступнымъ искусствомъ. Вереница блестящихъ идей, разнообразнѣйшихъ свѣдѣній и прежде всего художественнѣйшихъ образовъ подавляетъ слушателей. Самъ ораторъ испытываетъ неописанное наслажденіе, пока создаетъ волшебную ткань, — и всѣ слушаютъ его будто очарованные. Но въ результатѣ оказывается,— блестящаго юношу интересовалъ не самый предметъ разговора, а процессъ собственныхъ разсужденій и болѣе всего впечатлѣнія слушателей. Онъ стремится скорѣе поразить ихъ новизной, оригинальностью, полнѣйшей неожиданностью взглядовъ и выводовъ, чѣмъ дѣйствительно убѣдить ихъ въ чемъ бы то ни было. Его

преслѣдуетъ одна мысль—во что бы то ни стало не походить на другихъ, выдѣлиться изъ общаго круга парадоксомъ, исключительной выходкой, эффектомъ бесѣды. И онъ достигаетъ этой цѣли, но цѣною серьезной жертвы: на него начинаютъ смотрѣть, какъ на легкомысленнаго краснобая, ни въ чемъ не убѣжденнаго, ни о чемъ серьезно не размышляющаго, а занятаго исключительно разыгрываніемъ ослѣпительнаго спектакля. Тургеневъ будто преднамѣренно поддерживаетъ эту репутацію. Онъ усваиваетъ спеціальныя манеры, даже особенное выраженіе лица, совершенно не соотвѣтствующее его мягкой сердечной натурѣ, высказываетъ замѣчанія, невѣроятныя съ точки зрѣнія обычнаго здраваго смысла, напримѣръ, передъ великими произведеніями искусства—живописи, скульптуры, музыки—онъ чувствуетъ, по его словамъ, зудъ подъ колѣнами... Однимъ словомъ, юноша *геніальничаетъ* и возбуждаетъ у людей серьезныхъ и уравновѣшенныхъ чувство пренебреженія и даже негодованія. Многимъ ли приходитъ па умъ разобраться во внѣшнихъ впечатлѣніяхъ и посмотрѣть безпристрастными глазами на сущность дѣла? Напротивъ, большинство старается подхватить промахи «героя», запоминаетъ ихъ, сообщаетъ имъ злостное распространеніе среди знакомыхъ и незнакомыхъ.

А между тѣмъ, помимо всѣхъ общихъ основаній, у молодого Тургенева была еще своя личная причина—играть роль, и причина не только совершенно уважительная, но въ полномъ смыслѣ драматическая.

Недоразумѣнія съ матерью у Ивана Сергѣевича начались немедленно по возвращеніи его изъ заграницы. Варвара Петровна подъ старость, повидимому, все болѣе изощрялась въ крѣпостническихъ причудахъ. Деспотизмъ ея пріобрѣталъ все болѣе мрачный характеръ, близкимъ людямъ жизнь часто становилась невыносимой пыткой. Иванъ Сергѣевичъ бо́льшую часть времени жилъ въ Петербургѣ и только лѣтомъ пріѣзжалъ въ Спасское. Эти пріѣзды были настоящими праздниками для подневольнаго деревенскаго міра, хотя положительной пользы выходило мало. Очевидецъ разсказываетъ: «Всѣ его любили, всякій въ немъ чуялъ *своего* и душой былъ преданъ ему, вѣруя въ его доброту, которая въ домѣ матери не смѣла, однако, проявляться открыто въ защиту кого-

либо. Но, тѣмъ не менѣе, когда онъ пріѣзжалъ, говорили: «Нашъ ангелъ, нашъ заступникъ ѣдетъ».

Иванъ Сергѣевичъ до послѣдней степени щадилъ свою мать и никогда не высказывалъ ей рѣзко своихъ поученій. По возвращеніи изъ заграницы онъ осыпалъ ее нѣжнѣйшими ласками, каждое приключеніе съ ней, малѣйшее подозрѣніе, что съ ней можетъ случиться какая-либо непріятность, повергали его въ настоящее отчаяніе. Но мать дурно поддерживала эти чувства. Иванъ Сергѣевичъ, напримѣръ, умолялъ ее отпустить на волю Кудряшева. Кудряшевъ успѣлъ пріобрѣсти заграницей основательныя медицинскія познанія и по возвращеніи на родину усердно продолжалъ заниматься любимымъ предметомъ. Тургеневъ не могъ выносить крѣпостнаго положенія этого способнаго и во всѣхъ отношеніяхъ достойнаго человѣка.

— Сними ты съ него это ярмо!—умолялъ онъ мать.—Клянусь тебѣ, что онъ тебя не броситъ, пока ты жива. Дай ты ему только сознаніе того, что онъ человѣкъ, не рабъ, не вещь, которую ты можешь по своему произволу, по одному капризу упечь куда и когда захочешь!

Варвара Петровна оставалась непреклонна. Не мало происходило разговоровъ у сына съ матерью и вообще о крѣпостномъ правѣ. Сынъ изъ силъ выбивался доказать матери всю унизительность рабскаго положенія человѣка, подавленнаго однимъ чувствомъ—страхомъ. Варвара Петровна рѣшительно отказывалась понять эти разсужденія. Тогда Иванъ Сергѣевичъ начиналъ грозить ей близкимъ концомъ позорныхъ порядковъ. Это совершенно выводило помѣщицу изъ границъ терпѣнія,—и она осыпала жестокой бранью и упреками сына и его пророчества.

Разговоры эти, конечно, нисколько не измѣняли къ лучшему положенія подданныхъ Варвары Петровны. Напротивъ, она недовольство сына старалась объяснить наговорами дворовыхъ и усердно искала, кто изъ прислуги могъ нажаловаться на нее сыну. При такихъ условіяхъ, очевидно, были безполезны всякія убѣжденія. Потерпѣвшимъ лицомъ оказывался самъ Иванъ Сергѣевичъ. Мать постепенно сократила ему содержаніе и въ результатѣ предоставила его почти исключительно собственнымъ силамъ.

Ея гнѣвъ былъ въ сильной степени подогрѣтъ старшимъ сыномъ, Николаемъ Сергѣевичемъ. Вскорѣ послѣ возвращенія Ивана Сергѣевича изъ заграницы—зимой въ 1841 году—его братъ женился на Аннѣ Яковлевнѣ Шварцъ, бѣдной дѣвушкѣ, проживавшей въ тургеневскомъ домѣ. Этотъ бракъ страшно поразилъ Варвару Петровну, она окончательно перестала высылать деньги Николаю Сергѣевичу; тотъ принужденъ былъ выйти изъ военной службы и поступилъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Семья увеличивалась — и онъ впослѣдствіи принужденъ былъ давать уроки французскаго языка. Варвара Петровна оставалась совершенно равнодушной къ участи своего сына и его семьи.

Иванъ Сергѣевичъ также нанесъ ей чувствительную обиду. Около Пасхи 1843 г. въ Петербургѣ появилась поэма *Параша*[26]). Авторъ скрылъ свое имя за иниціалами Т. Л.: это означало Тургеневъ-Лутовиновъ. Сначала Варвара Петровна не обратила особеннаго вниманія, когда сынъ представилъ ей свое произведеніе, хотя и не могла не выразить своего неудовольствія. Въ ея планы совершенно не входили литературныя занятія сына. Эти занятія она считала прямо предосудительными для молодого человѣка благороднаго происхожденія. Жуковскаго она уважала только потому, что онъ былъ близокъ ко двору. «По моему», говорила она сыну, «écrivain ou gratte-papier est tout un» (писатель и писецъ одно и тоже). И тотъ и другой за деньги бумагу мараютъ... Дворянинъ долженъ служить и составить себѣ карьеру и имя службой, а не бумагомараніемъ... Опредѣлился бы ты на настоящую службу, получалъ бы чины, а потомъ и женился бы; вѣдь ты теперь одинъ можешь поддержать родъ Тургеневыхъ!..»

---

[26]) Житова говоритъ, будто И. С. привезъ въ Спасское *Парашу* лѣтомъ въ 1841 году. Это—ошибка. Но дальнѣйшія сообщенія о томъ, какъ было принято сочиненіе И. С—ча въ Спасскомъ, несомнѣнно достовѣрны... «Впечатлѣнія особеннаго оно не произвело. Маленькая книга въ голубой оберткѣ валялась на одномъ изъ столиковъ кабинета его матери, и, сколько мнѣ помнится, толковъ мало было о ней. Единственное, что изъ нея было извлечено и повторялось, это гдѣ-то сказанныя слова: «въ порядочныхъ домахъ квасу не пьютъ». На основаніи этихъ словъ квасъ былъ изгнанъ со стола»... *В. Е. Ib.*, 100.

Въ страшный гнѣвъ пришла Варвара Петровна, когда сынъ сообщилъ ей, что на одно изъ его сочиненій написана критика. Она не могла допустить, чтобы «дворянина» судилъ «какой-нибудь поповичъ», и при этомъ литературную дѣятельность Ивана Сергѣевича объявила такимъ же преступленіемъ, какъ и самовольный бракъ старшаго сына.

А между тѣмъ Тургеневу предстояло разрѣшить дилемму: или угодить матери и совершенно оставить литературу, или остаться почти безъ всякихъ средствъ. Варвара Петровна крайне скупо помогала сыну, вѣроятно, вынуждая его поступить на службу и жениться. О женитьбѣ Иванъ Сергѣевичъ и слышать не хотѣлъ, но служить попытался.

Въ 1842 году онъ является чиновникомъ особыхъ порученій въ канцеляріи министерства внутреннихъ дѣлъ. Ближайшимъ начальникомъ его былъ извѣстный писатель В. Даль, директоръ канцеляріи министра Перовскаго. По нѣкоторымъ извѣстіямъ, именно Даль и уговорилъ Тургенева поступить къ нему на службу [27]). Опытъ продолжался не долго. Даль—прямолинейный, строгій служака не давалъ покою Ивану Сергѣевичу начальническими выговорами за неаккуратность по службѣ. Тургеневъ принужденъ былъ выйти въ отставку, и уже больше не возобновлялъ служебной карьеры.

Все это должно было крайне огорчать Варвару Петровну, и она по своему мстила сыну. Матеріальное положеніе Тургенева бывало часто безнадежнымъ. Онъ жилъ въ четвертомъ этажѣ громаднаго дома на Стремянной улицѣ. Хозяйство его шло крайне плохо. Комната оставалась нетопленной, для гостей не оказывалось чая: прислуга пользовалась крайнимъ добродушіемъ Ивана Сергѣевича и его непрактичностью. Онъ часто нуждался буквально въ копѣйкахъ, чтобы заплатить извозчику, не имѣлъ возможности угостить пріятелей бутылкой вина. Легко представить, съ какой горечью чувствовалъ Тургеневъ свою нужду! Всѣмъ было извѣстно, что онъ сынъ богатой семьи, и онъ больше всего боялся, чтобы не раскрыли тайны его бѣдности и не оскорбили нареканіями

---

[27]) Д. В. Григоровичъ. *Р. Мысль*, янв. 1893.

матери. Сколько усилій приходилось тратить, чтобы ловко ускользнуть отъ подозрѣній товарищей, искусно разыгрывать роль богатаго барина, не имѣя въ карманѣ ни копѣйки денегъ! Здѣсь призывалось на помощь множество уловокъ: развязность рѣчей, стремленіе играть первенствующую роль въ пріятельскихъ компаніяхъ, фальшивая расточительность, побуждавшая Тургенева не отставать отъ затѣйливыхъ похожденій и удовольствій и уклоняться незамѣтно отъ расплаты... Такими средствами удавалось отводить глаза, но все это должно было оставлять въ душѣ юноши невыразимо тяжелыя и горькія впечатлѣнія...

Вотъ настоятельный мотивъ, заставлявшій Ивана Сергѣевича во что бы то ни стало разыгрывать всевозможныя роли байроническаго пошиба. Для игры требовалось тѣмъ больше притворства и ухищреній, что отъ природы Тургеневъ одаренъ былъ неисчерпаемымъ благодушіемъ, искренностью, простотой. Ему ли было притворяться Манфредомъ, Донъ-Жуаномъ, Чайльдъ-Гарольдомъ! А между тѣмъ притворяться было необходимо, и напускная злость и свобода языка выражались въ безобидной формѣ, но для обидчивыхъ людей крайне непріятной. Иванъ Сергѣевичъ обнаруживалъ въ молодости большую наклонность къ эпиграммамъ.

Это—общій вкусъ у многихъ нашихъ поэтовъ—у Лермонтова, Пушкина,—вкусъ, совершенно естественный, въ сущности не имѣющій ничего общаго съ какими бы то ни было злыми чувствами. Эпиграммы направлялись на людей близкихъ и искренно любимыхъ самимъ авторомъ эпиграммъ. Это было просто взрывомъ юношескаго шаловливаго остроумія, отчасти, конечно, тѣшило юношеское пристрастіе къ своевольному, иногда рѣзкому выраженію настроеній.

Эпиграммы сочиняли всѣ, кто умѣлъ, у кого была наклонность къ ѣдкому сатирическому остроумію. Самъ Тургеневъ былъ предметомъ такого рода упражненій со стороны пріятелей и ни на минуту не думалъ обижаться и мстить. Много лѣтъ спустя Тургеневъ припоминалъ эпиграммы, ходившія въ его пріятельскомъ кружкѣ, въ томъ числѣ эпиграмму, сочиненную на кн. Влад. Ѳед. Одоевскаго — личность, въ высшей степени симпатичную, всѣми любимую и уважаемую. Кн. Одоевскій отличался невѣроятной

разсѣянностью — отсюда насмѣшки и остроты. Тургеневъ вспоминалъ и свои эпиграммы—на Дружинина, на Кетчера, на нѣкоторыхъ петербургскихъ и московскихъ ученыхъ. Никто не думалъ сердиться на эти блестки остроумія, Дружининъ, напримѣръ, первый смѣялся эпиграммѣ, написанной на его европейскія замашки. Одинъ только Достоевскій былъ жестоко уязвленъ стихами Тургенева, приписалъ ихъ литературной зависти, — и не преминулъ затаить злобное чувство... [28]).

Намъ представится не одинъ случай убѣдиться, что именно чувство писательской зависти менѣе всего было свойственно Ивану Сергѣевичу; напротивъ, онъ искренне искалъ литературныхъ связей и если находилъ сердечный отвѣтъ на свои поиски—привязывался къ человѣку со всею горячностью молодого идеализма. Таковы отношенія Тургенева къ Бѣлинскому.

Имя Бѣлинскаго стало извѣстно Тургеневу весьма рано, со времени критики въ *Молвѣ* и *Телескопѣ*. Мы видѣли, какое впечатлѣніе произвела на юнаго студента статья Бѣлинскаго о Бенедиктовѣ. Слухи о Бѣлинскомъ въ Петербургѣ носили сплетническій характеръ. Были недовольны рѣзкими пріемами критика, ставили ему въ укоръ даже его плебейское происхожденіе, говорили, что онъ недоучившійся казенный студентъ, выгнанный изъ университета за развратное поведеніе, увѣряли, будто и наружность его самая ужасная: это какой-то циникъ, бульдогъ, пригрѣтый Надеждинымъ съ цѣлью травить имъ своихъ враговъ, упорно и какъ бы въ укоризну называли его «Бѣлынскимъ»!.. Голоса въ пользу Бѣлинскаго представляли исключительное явленіе... При такихъ условіяхъ со стороны Тургенева требовалась большая доля самостоятельности, чтобы обратиться къ Бѣлинскому по поводу своего только-что вышедшаго произведенія—поэмы *Параши*.

Бѣлинскій переѣхалъ въ Петербургъ въ октябрѣ 1839 года и вскорѣ его статьи появились въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Тургеневъ отнесъ ему свою поэму и уѣхалъ въ деревню. Это происходило весной въ 1843 году. Въ майской книжкѣ журнала вышла

[28]) Нѣсколько эпиграммъ приведено у г. Полонскаго, *о. с.*, 526—9; здѣсь же и эпиграмма на Достоевскаго.

статья Бѣлинскаго. «Онъ такъ благосклонно отозвался обо мнѣ» пишетъ Тургеневъ, «такъ чудно хвалилъ меня, что, помнится, я почувствовалъ больше смущенія, чѣмъ радости. Я не могъ повѣрить, и когда въ Москвѣ покойный Кирѣевскій (И. В.) подошелъ ко мнѣ съ поздравленіями, я поспѣшилъ отказаться отъ своего дѣтища, утверждая, что сочинитель *Параши* не я».

Бѣлинскій не только признавалъ литературныя достоинства юношескаго произведенія Тургенева, но находилъ возможнымъ на основаніи поэмы дѣлать выводы относителвно характера и духовнаго развитія автора. «Что мнѣ за дѣло до промаховъ и излишества Тургенева»,—говорилъ онъ,—«Тургеневъ написалъ Парашу: пустые люди такихъ вещей не пишутъ». Нѣкоторыми мѣстами поэмы Бѣлинскій восторгался и въ частныхъ бесѣдахъ рекомендовалъ автора знакомымъ, какъ несомнѣнно талантливаго юношу. Скоро между авторомъ поэмы и критикомъ завязалась тѣсная дружба [29]).

Тургеневъ, по возвращеніи въ Петербургъ, отправился къ Бѣлинскому, и знакомство началось. Бѣлинскій поселился на дачѣ въ Лѣсномъ, Тургеневъ нанялъ дачу въ Первомъ Парголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣщалъ Бѣлинскаго. «Я полюбилъ его искренно и глубоко», пишетъ Иванъ Сергѣевичъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ*, «онъ благоволилъ ко мнѣ». Тургеневъ нѣсколько не точно помнитъ о началѣ своего знакомства съ Бѣлинскимъ. Знакомство началось *раньше* лѣта 1843 года,—въ концѣ 1842 года или въ началѣ слѣдующаго. Уже 31 марта 1843 года Бѣлинскій пишетъ Боткину слѣдующее объ этомъ знакомствѣ:

«Т—въ очень хорошій человѣкъ, и я легко сближаюсь съ нимъ. Въ немъ есть злость, желчь, и юморъ, онъ глубоко понимаетъ Москву и такъ воспроизводитъ ее, что я пьянѣю отъ удовольствія... Т. немного нѣмецъ...» [30]).

Дальше характеристика еще опредѣленнѣе:

«Я нѣсколько сблизился съ Т—вымъ. Это человѣкъ необыкновенно умный, да и вообще хорошій человѣкъ. Бесѣда и споры съ

---

[29]) Анненковъ. *Молодость И. С. Тургенева. Вѣстникъ Европы*, 1894 г., февр., 455.

[30]) Пыпинъ. *Бѣлинскій, его жизнь и переписка*. Спб. 1876, II, 129.

нимъ отводили мнѣ душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всемъ соглашаются съ тобою, или если противорѣчатъ, то не доказательствами, а чувствомъ и инстинктомъ,—и отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры. У Тургенева много юмору. Я, кажется, уже писалъ тебѣ, что разъ въ спорѣ противъ меня за нѣмцевъ, онъ сказалъ мнѣ: да что вашъ русскій человѣкъ, который не только шапку, да и мозгъ-то свой носитъ на бекрень! Вообще, Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ видѣнъ характеръ и дѣйствительность. Онъ врагъ всего неопредѣленнаго, къ чему я, по слабости характера и неопредѣленности натуры и дурного развитія, довольно падокъ».

Этотъ отзывъ въ высшей степени важенъ для насъ. Очевидно, никакія юношескія причуды Тургенева, ни даже его погоня за оригинальностью не помѣшали Бѣлинскому составить ясное и справедливое представленіе объ его несомнѣнныхъ достоинствахъ. Даже качество, о которомъ Бѣлинскій говоритъ, повидимому, съ нѣкоторой ироніей, пристрастіе Тургенева къ нѣмецкому,—оказалось очень цѣннымъ и любопытнымъ для критика. На этотъ разъ Бѣлинскій могъ черпать идеи нѣмецкой философіи изъ достовѣрнаго и чистаго источника.

Бѣлинскій на первыхъ же порахъ почтилъ Тургенева своей откровенностью, бесѣдовалъ съ нимъ о своихъ литературныхъ трудахъ, подвергалъ безжалостной критикѣ свои раннія увлеченія, открыто сознавался въ своихъ ошибкахъ. Тургенева не могла не поразить въ Бѣлинскомъ такая честность отношенія къ самому себѣ, своимъ дѣйствіямъ и убѣжденіямъ. Иванъ Сергѣевичъ съ первыхъ встрѣчъ долженъ былъ почувствовать восторженное удивленіе къ этому благороднѣйшему рыцарю мысли и общественной дѣятельности.

Встрѣчи Тургенева съ Бѣлинскимъ происходили въ теченіи четырехъ зимъ, съ 1843 по 1846 годъ, и особенно часто предъ началомъ 1847 года, когда Тургеневъ отправился надолго заграницу. Кромѣ этихъ зимъ, Тургеневъ провелъ съ Бѣлинскимъ еще лѣто, вѣроятно, въ 1844 году, такъ какъ лѣтомъ въ 1843 году Бѣлинскій жилъ въ Москвѣ. Въ 1844 году Бѣлинскій былъ уже семьяниномъ и жилъ на дачѣ въ Лѣсномъ.

Вышеприведенный разсказъ Ивана Сергѣевича относится, по всей вѣроятности, именно къ лѣту 1844 года. Друзья много гуляли по сосновымъ рощицамъ, окружающимъ Лѣсной Институтъ. Во время этихъ прогулокъ происходили длинныя и оживленныя бесѣды. Предметъ этихъ бесѣдъ легко угадать. Для Бѣлинскаго общество Тургенева было драгоцѣннѣйшимъ пріобрѣтеніемъ. Въ *Воспоминаніяхъ* Тургеневъ пишетъ: «Со мной онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался гегелевской философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы. Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя ни онъ, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на нѣмецкій манеръ... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія».

Они искали разрѣшенія величайшихъ вопросовъ, искони преслѣдующихъ человѣка, особенно въ молодости. Они разсуждали о значеніи жизни, о происхожденіи міра, о безсмертіи души. Извѣстенъ разсказъ Тургенева объ одной изъ такихъ бесѣдъ. Друзья увлеклись слишкомъ продолжительной бесѣдой. Жена умоляла мужа и его друга—хотя на время прервать пренія. Тургеневъ готовъ былъ уступить, тогда Бѣлинскій въ негодованіи воскликнулъ: «Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, а вы хотите ѣсть»...

И въ этомъ восклицаніи звучало глубочайшее чувство, истинно идеальное увлеченіе вопросомъ,—увлеченіе, граничащее съ болью, мукой...

На Тургенева личность Бѣлинскаго производила чарующее впечатлѣніе. «На меня дѣйствовали только энтузіастическія натуры», писалъ тридцативосьмилѣтній Тургеневъ про свою молодость [31]). Бѣлинскій былъ именно такой натурой. «Искренность его дѣйствовала на меня», разсказываетъ Тургеневъ «его огонь сообщался и мнѣ»...

Этому огню не суждено было погаснуть. Тургеневу и послѣ

[31]) *Письма*, 33.

смерти Бѣлинскаго казалось, что одно имя великаго критика должно зажигать сердца. Онъ недоволенъ, встрѣтивъ въ журналѣ дѣльную, очень умную, безпристрастную, но *холодную* статью о Бѣлинскомъ. Онъ не можетъ допустить мысли, чтобъ объ этомъ человѣкѣ можно было писать съ «тусклымъ безпристрастіемъ». По его мнѣнію, это искусно испеченные пироги съ «нѣтомъ»... [32]). Такая оцѣнка ниже Бѣлинскаго,—этой пламенной благородной натуры, вѣчно возбужденной, проникнутой неуклонным мужествомъ и энергіей. Для самаго Тургенева было высшимъ счастьемъ вызвать дорогую тѣнь, побыть съ ней въ своихъ *Воспоминаніяхъ*, обратиться къ ней съ восторженнымъ привѣтствіемъ:

Человѣкъ онъ былъ!..

Бѣлинскій оставилъ глубокое впечатлѣніе въ памяти Тургенева не только своею личностью. Критика Бѣлинскаго осталась руководящей для Тургенева на всю жизнь. Послѣ благосклоннаго отзыва о *Парашѣ* Бѣлинскій будто охладѣлъ къ литературной дѣятельности своего друга. А Тургеневъ между тѣмъ написалъ довольно много стихотвореній и поэмъ. Бѣлинскій, повидимому, не поощрялъ этого творчества и, по словамъ Тургенева, не могъ этого дѣлать. «Впрочемъ», прибавляетъ Иванъ Сергѣевичъ, «я скоро догадался самъ, что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія—и возымѣлъ твердое намѣреніе вовсе оставить литературу».

Это намѣреніе возникло до перваго разсказа изъ *Записокъ Охотника*. Тургеневымъ были напечатаны въ *Отечественныхъ Запискахъ*: *Неосторожность*, драматическій очеркъ въ одномъ дѣйствіи, разсказъ *Андрей Колосовъ*, *Безденежье*, сцены изъ петербургской жизни молодого дворянина, и въ *Петербургскомъ Сборникѣ*—очеркъ *Три портрета*. Кромѣ того, въ печати появились критическія статьи о *Фаустѣ* въ переводѣ Вронченко и о драмѣ Гедеонова—*Смерть Ляпунова*. Публика отнеслась ко всѣмъ этимъ произведеніямъ довольно равнодушно. О разсказѣ *Андрей Колосовъ* Тургеневъ писалъ много лѣтъ спустя: «*Андрей Колосовъ* явился въ *Отечественныхъ Запискахъ* въ 1844 году и прошелъ, разумѣется,

---

[32]) *Письма*, 37, 43.

совершенно безслѣдно. Молодой человѣкъ, который въ то время обратилъ бы вниманіе на эту повѣсть—былъ бы въ своемъ родѣ феноменъ» [33]). Бѣлинскій, въ одномъ изъ писемъ къ Тургеневу, давая краткіе отзывы объ его юношескихъ произведеніяхъ, проходитъ молчаніемъ и *Три портрета*, и *Андрея Колосова*. Вотъ это письмо. Оно любопытно тѣмъ, что отмѣчаетъ произведенія Тургенева, открывшія его популярную художественную дѣятельность, и, кромѣ того, опредѣляетъ основныя черты его таланта. Впослѣдствіи Тургеневъ, какъ увидимъ, вполнѣ оправдалъ это опредѣленіе.

«Мнѣ кажется», писалъ Бѣлинскій, «у васъ чисто-творческаго таланта или нѣтъ, или очень мало, и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы *Ермолай и Мельничиха*—не Богъ знаетъ что̀, бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслью. А въ *Бреттёрѣ*—я увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто—въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше призваніе—наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ, пропуская черезъ фантазію, но не опираться только на фантазію... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что̀ ни то ни сё, не то, чтобъ нехорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе—лучшаго не придумалось). А *Хорь* обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ».

Этотъ разсказъ *Хорь и Калинычъ*, стоявшій во мнѣніи Бѣлинскаго выше всѣхъ другихъ произведеній автора, открылъ собой *Записки Охотника*. Произошло это случайно.

Профессоръ словесности Плетневъ стоялъ во главѣ журнала *Современникъ*. Журналъ былъ основанъ Пушкинымъ, но постепенно утратилъ живую окраску, выходилъ тоненькими книжками, старался держаться внѣ литературныхъ партій и вообще едва влачилъ свое безцвѣтное существованіе. Наконецъ, въ 1846 году Плетневъ согласился передать его другой редакціи, имѣвшей въ виду преобразовать изданіе въ толстый журналъ. Въ сущности

[33]) *Письма*, 245.

журналъ основывался вновь, и главнымъ дѣятелемъ былъ Тургеневъ. Онъ хлопоталъ едва ли не больше всѣхъ, помогалъ новому предпріятію совѣтомъ и дѣломъ, для первыхъ же книжекъ журнала далъ множество матеріала и хотѣлъ только одного, чтобы Бѣлинскому было отведено въ редакціи одно изъ первыхъ мѣстъ. Бѣлинскій только что порвалъ съ *Отечественными Записками* и намѣревался издавать сборникъ *Левіаѳанъ*. Матеріала для этого изданія у него успѣло накопиться множество,—и теперь онъ весь отдалъ его для будущаго журнала. Такимъ путемъ будущность *Современника* была обезпечена. Въ первой же книжкѣ, въ отдѣлѣ смѣси, появился разсказъ *Хорь и Калинычъ*...

Авторъ и редакція предлагали публикѣ это произведеніе съ крайней скромностью: помѣстили его въ третьестепенномъ отдѣлѣ прибавили слова *изъ записокъ охотника* — съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію. Успѣхъ разсказа совершенно не соотвѣтствовалъ этимъ предосторожностямъ. Онъ былъ на столько великъ, что даже Тургеневъ, при всей своей скромности, повѣрилъ въ свой талантъ и рѣшилъ вернуться къ литературѣ. Очевидно, недаромъ Бѣлинскій подмѣтилъ въ своемъ другѣ глубокое знаніе людей, серьезную житейскую опытность, зрѣлое пониманіе дѣйствительности: теперь пришло время всему этому сказаться въ художественной дѣятельности.

Слѣдующіе разсказы явились во время пребыванія Тургенева заграницей.

Тургеневъ оставилъ Россію въ самомъ началѣ 1847 года [34]). Семь лѣтъ онъ не покидалъ родины,—теперь непреодолимыя причины вызвали путешествіе. Главнѣйшія изъ нихъ — отношенія Ивана Сергѣевича къ матери и знакомство его съ французской пѣвицей Віардо.

До сихъ поръ мы могли убѣдиться, какъ тяжело было Тургеневу выносить крѣпостническіе нравы, царившіе въ его родномъ домѣ. Столкновенія съ матерью происходили безпрестанно. Сынъ

[34]) Такъ утверждаетъ Тургеневъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ*, Житова — называетъ 1846 годъ. *В. Е.*, 1884, дек. 5, 80. Анненковъ даетъ показаніе, согласное съ тургеневскимъ, *В. Е.*, 1884, февр. 4, 66.

тщетно пытался съ общей и частныхъ точекъ зрѣнія доказать варварство, безчеловѣчіе власти, столь дорогой и естественной для его матери. Крѣпостное право, ненавистное Тургеневу само по себѣ, било ему въ глаза на каждомъ шагу отвратительнѣйшими фактами. Бороться съ этими фактами не было возможности. Иванъ Сергѣевичъ былъ любящимъ и преданнымъ сыномъ, самостоятельной властью онъ не пользовался, а всѣ разсужденія не достигали цѣли. Окончательный разрывъ съ матерью и ея міромъ, слѣдовательно, являлся лишь вопросомъ времени.

Варвара Петровна по своему любила младшаго сына и въ его присутствіи ей случалось быть доброй и снисходительной. Но очевидецъ, заслуживающій довѣрія, замѣчаетъ по этому поводу: «И она, и всѣ мы вполнѣ сознавали, что временная доброта и снисходительность Варвары Петровны поддерживались только рѣдкостью и краткостью свиданій съ сыномъ».

«Останься онъ при ней,—она бы не выдержала долго, и онъ только былъ бы безмолвнымъ и безсильнымъ свидѣтелемъ того, что выносить онъ не могъ и чему помочь былъ не въ силахъ. Легче отъ этого никому бы не было... и онъ уѣхалъ» [35]).

Такъ объясняется отъѣздъ Тургенева для людей, близко наблюдавшихъ его жизнь въ родительскомъ домѣ. Это объясненіе совпадаетъ съ разсказомъ самого Тургенева о разлукѣ съ родиной.

Разлука была вынужденная, неизбѣжная при всей доброй волѣ Ивана Сергѣевича. Въ *Воспоминаніяхъ* онъ пишетъ: «Тотъ бытъ, та среда и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ—полоса помѣщичья, крѣпостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротивъ, почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія—отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести, общей колеей, по избитой дорогѣ: либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ»...

---

[35]) Житова, *Ib.* 584.

Дальше объясненія еще опредѣленнѣе, указываютъ общій источникъ нравственныхъ страданій, терзавшихъ Тургенева.

Въ дѣтствѣ онъ хотѣлъ бѣжать отъ своей семьи, преслѣдовавшей его самого. Теперь онъ не въ силахъ жить въ средѣ, переполненной слезами и муками другихъ. Бѣгство изъ этого царства пытокъ по прежнему остается единственнымъ спасеніемъ.

«Я другого пути передъ собой не видѣлъ», продолжаетъ Тургеневъ. «Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва, и не я одинъ далъ ее себѣ тогда. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить... «Записки Охотника»—эти въ свое время новые, впослѣдствіи далеко опереженные этюды были написаны мною заграницей; нѣкоторые изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ: вернуться ли мнѣ на родину или нѣтъ?»

Это раздумье явилось совершенно естественнымъ слѣдствіемъ невольной разлуки съ горячо любимой родиной. Иванъ Сергѣевичъ уѣзжалъ въ «свою даль» съ тяжелымъ чувствомъ. Жилось ему дома крайне тяжело, но едва ли легче было покидать этотъ домъ...

Очевидецъ разсказываетъ: «Послѣдніе дни передъ отъѣздомъ своимъ онъ былъ особенно грустенъ, и въ памяти моей, во всѣ послѣдующіе за этимъ годы образъ его представляется мнѣ не иначе, какъ задумчивымъ и печальнымъ».

Варвара Петровна не хотѣла и врядъ ли могла понять настроеніе сына. Его отъѣздъ заграницу она склонна была объяснять сердечнымъ увлеченіемъ, и питала злобное чувство къ виновницѣ этого увлеченія. Она скоро узнала о знакомствѣ Ивана Сергѣевича съ семействомъ Віардо, посѣтила однажды концертъ пѣвицы и при всемъ своемъ негодованіи на отношенія сына къ артисткѣ, не могла

не высказать: «А надо признаться, хорошо, проклятая цыганка, поетъ!» [36]).

Эти *подлинныя* слова Варвары Петровны должны занимать свое мѣсто въ исторіи, захватившей всю жизнь Тургенева съ двадцати восьми лѣтъ.

Мы не можемъ пройти мимо факта, несмотря на весь рискъ рѣшать подобнаго рода вопросы. Мы, конечно, сознаемъ всю недостаточность данныхъ, какими мы можемъ и имѣемъ право располагать,—недостаточность, обусловленную въ сильной степени характеромъ самого предмета. Но мы останемся исключительно на почвѣ фактовъ, засвидѣтельствованныхъ самимъ Тургеневымъ, и только въ рѣдкихъ случаяхъ будемъ пользоваться свѣдѣніями, идущими изъ другого источника. При такихъ условіяхъ нашъ разсказъ можетъ оказаться неполнымъ, но зато мы имѣемъ право разсчитывать, что каждая черта въ этомъ разсказѣ—достовѣрна и правдива, насколько можетъ быть правдивъ человѣкъ, говорящій о своихъ настроеніяхъ, о своей нравственной и внѣшней жизни.

Знакомство Тургенева съ г-жей Віардо относится къ 1845 году [37]). Полная фамилія пѣвицы—Віардо-Гарсія; она родомъ испанка, дочь и ученица знаменитаго тенора Гарсія. По словамъ очевидцевъ, современниковъ Тургенева, г-жа Віардо не отличалась особенной красотой, но обладала множествомъ достоинствъ, рѣдко встрѣчающихся вмѣстѣ. Превосходная артистка на сценѣ, исполненная страсти и силы, г-жа Віардо являлась увлекательнѣйшей собесѣдницей въ салонѣ. Она владѣла нѣсколькими языками, получила разностороннее образованіе, умѣла говорить и совершенно затмѣвала дамъ изъ русскаго общества того времени. Иванъ Сергѣевичъ рѣдко бывалъ въ этомъ обществѣ, не находя

---

[36]) Житова, *Ib.* 115.

[37]) Таково показаніе Анненкова, *Ib.* 456. Въ *Воспоминаніяхъ о Тургеневѣ* — Н. Берга всѣ факты и вся хронологія перепутаны. Авторъ сначала разсказываетъ о драматическомъ приключеніи съ гоголевской статьей Тургенева, а потомъ о знакомствѣ съ Віардо, т.-е. дѣлаетъ ошибку, по крайней мѣрѣ, на *семь* лѣтъ. Въ тѣхъ же воспоминаніяхъ сообщаются совершенно фантастическія извѣстія о романическихъ эпизодахъ въ жизни Тургенева. *И. В.* XIV, 367.

здѣсь отвѣта на запросы своего ума и сердца. Г-жа Віардо должна была заинтересовать его съ первой встрѣчи.

Предъ нами множество восторженныхъ отзывовъ современниковъ объ артистическомъ талантѣ г-жи Віардо. Блестящіе успѣхи ея начались въ Петербургѣ. До тѣхъ поръ она не была знаменитостью даже въ Парижѣ. Первый сезонъ итальянской оперы въ русской столицѣ 1843 года положилъ начало ея славѣ. Пѣвица явилась въ русскую столицу совершенной незнакомкой, но первый же вечеръ рѣшилъ ея судьбу. Ея выхода ждали только съ любопытствомъ,—дѣйствительность совершенно поразила публику и безповоротно отдала ее во власть артисткѣ. Современникъ такъ описываетъ первый спектакль съ участіемъ г-жи Віардо—представленіе *Севильскаго цирульника*: г-жа Віардо исполняла роль Розины.

Началась вторая картина перваго акта: «Комната въ домѣ Бартоло. Входитъ Розина: небольшаго роста, съ довольно крупными чертами лица и большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанскій костюмъ, высокій андалузскій гребень торчитъ на головѣ немного вкось. «Некрасива!», повторилъ мой сосѣдъ сзади. «Въ самомъ дѣлѣ», подумалъ я.

«Вдругъ совершилось что-то необыкновенное!

«Раздались такія восхитительныя бархатныя ноты, какихъ, казалось, никто никогда не слыхивалъ.. прелестныя уста произносили: una voce poco fa!

«По залѣ мгновенно пробѣжала электрическая искра... Въ первую минуту—мертвая тишина, какое-то блаженное оцѣпенѣніе... но молча прослушать до конца—нѣтъ, это было свыше силъ! Порывистыя bravo! bravo! прерывали пѣвицу на каждомъ шагу, заглушали ее... Сдержанность, соблюденіе театральныхъ условій были невозможны; никто не владѣлъ собою. Восторгъ уже не могъ вмѣститься въ огромной массѣ людей, жадно ловившихъ каждый звукъ, каждое дыханіе этой волшебницы, завладѣвшей такъ внезапно и всецѣло всѣми чувствами и мыслями, воображеніемъ молодыхъ и старыхъ, пылкихъ и холодныхъ, музыкантовъ и профановъ, мужчинъ и женщинъ... Да! это была волшебница! И уста ея были *прелестны!* кто это сказалъ «некрасива?»—Нелѣпость!

«Не успѣла еще Віардо-Гарсія кончить свою арію, какъ плотина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилась такая буря, какихъ я не видывалъ и не слыхивалъ. Я не могъ дать себѣ отчета: гдѣ я? что̀ со мною дѣлается? Помню только, что и самъ я, и все кругомъ меня кричало, хлопало, стучало ногами и стульями, неистовствовало... Это было какое-то опьянѣніе, какая-то зараза энтузіазма, мгновенно охватившая всѣхъ съ низу до верху, неудержимая потребность высказаться какъ можно громче и энергичнѣе.

«Это было великое торжество искусства! Не бывшіе въ тотъ вечеръ въ оперной залѣ не въ состояніи представить себѣ, до какой степени можетъ быть наэлектризована масса слушателей, за пять минутъ не ожидавшая ничего подобнаго.

«При повтореніи аріи для всѣхъ стало очевидно, что Віардо не только великая исполнительница, но и геніальная артистка... Каждое почти украшеніе, которыми такъ богаты мотивы Россини, являлось теперь въ новомъ видѣ: новыя, неслыханно-изящныя фіоритуры сыпались какъ блистательный фейерверкъ, изумляли и очаровывали, никогда не повторяясь, порожденныя минутою вдохновенія. Діапазонъ ея голоса отъ сопрано доходилъ до глубокихъ ласкающихъ сердце, нотъ контральто, съ неимовѣрною легкостью и силою. Обаяніе пѣвицы и женщины возрастало crescendo въ продолженіе всего перваго акта, такъ что подъ конецъ каждый съ нетерпѣніемъ, казалось (я сужу по себѣ), ожидалъ возможности подѣлиться съ кѣмъ-нибудь изъ близко знакомыхъ переполнившими душу впечатлѣніями.

«И дѣйствительно, послѣдовавшій затѣмъ антрактъ не походилъ на обыкновенные: началось сильное передвиженіе, но довольно долго никто почти не выходилъ изъ партера: отовсюду слышались горячія восклицанія восторга и удивленія. Вызовамъ, казалось, не будетъ конца...»

Эти тріумфы, продолжаетъ разсказчикъ, впервые вызвали «цвѣтобѣсіе» среди петербургской публики и г-жа Віардо получала самые щедрые дары. Восторженная толпа окружала пѣвицу при выходѣ изъ театра, ожидая счастья—овладѣть цвѣткомъ изъ ея букетовъ, цѣлуя ей руки, провожала карету до ея квартиры. Ав-



Полина Віардо-Гарсія.

(Въ сороковые годы)

«Не успѣла еще Віардо-Гарсія кончить свою арію, как
тина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилас
кая буря, какихъ я не видывалъ и не слыхивалъ. Я н
дать себѣ отчета: гдѣ я? что со мною дѣлается? Помню
что и самъ я, и все кругомъ меня кричало, хлопало, стуч
гами и стульями, неистовствовало... Это было какое-то опь
какая-то зараза энтузіазма, мгновенно охватившая всѣхъ
до верху, неудержимая потребность высказаться какъ можн
и энергичнѣе.

«Это было великое торжество искусства! Не бывшіе
вечеръ въ оперной залѣ не въ состояніи представить
какой степени можетъ быть наэлектризована масса слуш
за пять минутъ не ожидавшая ничего подобнаго.

«При повтореніи аріи для всѣхъ стало очевидно, что
не только великая исполнительница, но и геніальная ар
Каждое почти украшеніе, которыми такъ богаты мотивы
являлось теперь въ новомъ видѣ: новыя, неслыханно-
фіоритуры сыпались какъ блистательный фейерверкъ,
и очаровывали, никогда не повторяясь, порожденныя
вдохновенія. Діапазонъ ея голоса отъ сопрано доходилъ
бокихъ ласкающихъ сердце, нотъ контральто, съ нев
легкостью и силою. Обаяніе пѣвицы и женщины возрас
cendo въ продолженіе всего перваго акта, такъ что под
каждый съ нетерпѣніемъ, казалось (я сужу по себѣ),
возможности подѣлиться съ кѣмъ-нибудь изъ близко зн
переполнившими душу впечатлѣніями.

«И дѣйствительно, послѣдовавшій затѣмъ антрактъ не
на обыкновенные: началось сильное передвиженіе, но
долго никто почти не выходилъ изъ партера: отовсюд
лись горячія восклицанія восторга и удивленія. Вызов
лось, не будетъ конца...»

Эти тріумфы, продолжаетъ разсказчикъ, впервые вызв
„nobѣcie» среди петербургской публики и г-жа Віардо
самые щедрые дары. Восторженная толпа окружала
выходѣ изъ театра, ожидая счастья—овладѣть цвѣтко
букетовъ, цѣлуя ей руки, провожала карету до ея ква

ѣствительно,
кой, можетъ
Віардо: «Она
. разбудила
ожественныя
рясала наши

нѣнно, искре-
й жизни въ
рдо во главѣ
и отзывчи-
чъ. Разсказъ
ди правильной
чаднаго впеча-
скую публику,
говорилъ ей не
-умрешь на сце-
игрѣ. Очевидецъ
намбулъ одновре-
. Среди криковъ и
ь знаменитымъ те-



чно, и въ Москвѣ и,
-жѣ Віардо пришлось
ми вкусами восхищенной
артистка исполняла рус-
этому желанію и произвела
омансa «Соловей». Иванъ Сер-
имъ, пришелъ въ исключительный
церта [38]). Восторгъ былъ нетолько

ли Спасскомъ. И. В. XXII, 58. Мятлевъ из-
Курдюковой данъ л'етранжэ, сочинилъ лири-
точно выражающее восторги зрителей пѣніемъ
чатано—*Русск. Ст.* XLII, 404. Изъ всѣхъ произ-
мое интересное, несомнѣнно, то, изъ котораго Турге-
строчку. У него есть стихотвореніе въ прозѣ на тему:
хороши, какъ свѣжи были розы

совершенно безслѣдно. Молодой человѣкъ, который въ то время обратилъ бы вниманіе на эту повѣсть—былъ бы въ своемъ родѣ феноменъ» [33]). Бѣлинскій, въ одномъ изъ писемъ къ Тургеневу, давая краткіе отзывы объ его юношескихъ произведеніяхъ, проходитъ молчаніемъ и *Три портрета*, и *Андрея Колосова*. Вотъ это письмо. Оно любопытно тѣмъ, что отмѣчаетъ произведенія Тургенева, открывшія его популярную художественную дѣятельность, и, кромѣ того, опредѣляетъ основныя черты его таланта. Впослѣдствіи Тургеневъ, какъ увидимъ, вполнѣ оправдалъ это опредѣленіе.

«Мнѣ кажется», писалъ Бѣлинскій, «у васъ чисто-творческаго таланта или нѣтъ, или очень мало, и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы *Ермолай и Мельничиха*—не Богъ знаетъ что̀, бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслью. А въ *Бреттёрѣ*—я увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто—въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше призваніе—наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ, пропуская черезъ фантазію, но не опираться только на фантазію... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что̀ ни то ни сё, не то, чтобъ нехорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе—лучшаго не придумалось). А *Хорь* обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ».

Этотъ разсказъ *Хорь и Калинычъ*, стоявшій во мнѣніи Бѣлинскаго выше всѣхъ другихъ произведеній автора, открылъ собой *Записки Охотника*. Произошло это случайно.

Профессоръ словесности Плетневъ стоялъ во главѣ журнала *Современникъ*. Журналъ былъ основанъ Пушкинымъ, но постепенно утратилъ живую окраску, выходилъ тоненькими книжками, старался держаться внѣ литературныхъ партій и вообще едва влачилъ свое безцвѣтное существованіе. Наконецъ, въ 1846 году Плетневъ согласился передать его другой редакціи, имѣвшей въ виду преобразовать изданіе въ толстый журналъ. Въ сущности

[33]) *Письма*, 245.

журналъ основывался вновь, и главнымъ дѣятелемъ былъ Тургеневъ. Онъ хлопоталъ едва ли не больше всѣхъ, помогалъ новому предпріятію совѣтомъ и дѣломъ, для первыхъ же книжекъ журнала далъ множество матеріала и хотѣлъ только одного, чтобы Бѣлинскому было отведено въ редакціи одно изъ первыхъ мѣстъ. Бѣлинскій только что порвалъ съ *Отечественными Записками* и намѣревался издавать сборникъ *Левіаѳанъ*. Матеріала для этого изданія у него успѣло накопиться множество,—и теперь онъ весь отдалъ его для будущаго журнала. Такимъ путемъ будущность *Современника* была обезпечена. Въ первой же книжкѣ, въ отдѣлѣ смѣси, появился разсказъ *Хорь и Калинычъ*...

Авторъ и редакція предлагали публикѣ это произведеніе съ крайней скромностью: помѣстили его въ третьестепенномъ отдѣлѣ прибавили слова *изъ записокъ охотника* — съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію. Успѣхъ разсказа совершенно не соотвѣтствовалъ этимъ предосторожностямъ. Онъ былъ на столько великъ, что даже Тургеневъ, при всей своей скромности, повѣрилъ въ свой талантъ и рѣшилъ вернуться къ литературѣ. Очевидно, недаромъ Бѣлинскій подмѣтилъ въ своемъ другѣ глубокое знаніе людей, серьезную житейскую опытность, зрѣлое пониманіе дѣйствительности: теперь пришло время всему этому сказаться въ художественной дѣятельности.

Слѣдующіе разсказы явились во время пребыванія Тургенева заграницей.

Тургеневъ оставилъ Россію въ самомъ началѣ 1847 года [34]). Семь лѣтъ онъ не покидалъ родины,—теперь непреодолимыя причины вызвали путешествіе. Главнѣйшія изъ нихъ — отношенія Ивана Сергѣевича къ матери и знакомство его съ французской пѣвицей Віардо.

До сихъ поръ мы могли убѣдиться, какъ тяжело было Тургеневу выносить крѣпостническіе нравы, царившіе въ его родномъ домѣ. Столкновенія съ матерью происходили безпрестанно. Сынъ

[34]) Такъ утверждаетъ Тургеневъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ*, Житова — называетъ 1846 годъ. *В. Е.*, 1884, дек. 5, 80. Анненковъ даетъ показаніе, согласное съ тургеневскимъ, *В. Е.*, 1884, февр. 4, 66.

тщетно пытался съ общей и частныхъ точекъ зрѣнія доказать варварство, безчеловѣчіе власти, столь дорогой и естественной для его матери. Крѣпостное право, ненавистное Тургеневу само по себѣ, било ему въ глаза на каждомъ шагу отвратительнѣйшими фактами. Бороться съ этими фактами не было возможности. Иванъ Сергѣевичъ былъ любящимъ и преданнымъ сыномъ, самостоятельной властью онъ не пользовался, а всѣ разсужденія не достигали цѣли. Окончательный разрывъ съ матерью и ея міромъ, слѣдовательно, являлся лишь вопросомъ времени.

Варвара Петровна по своему любила младшаго сына и въ его присутствіи ей случалось быть доброй и снисходительной. Но очевидецъ, заслуживающій довѣрія, замѣчаетъ по этому поводу: «И она, и всѣ мы вполнѣ сознавали, что временная доброта и снисходительность Варвары Петровны поддерживались только рѣдкостью и краткостью свиданій съ сыномъ».

«Останься онъ при ней,—она бы не выдержала долго, и онъ только былъ бы безмолвнымъ и безсильнымъ свидѣтелемъ того, что выносить онъ не могъ и чему помочь былъ не въ силахъ. Легче отъ этого никому бы не было... и онъ уѣхалъ» [35]).

Такъ объясняется отъѣздъ Тургенева для людей, близко наблюдавшихъ его жизнь въ родительскомъ домѣ. Это объясненіе совпадаетъ съ разсказомъ самого Тургенева о разлукѣ съ родиной.

Разлука была вынужденная, неизбѣжная при всей доброй волѣ Ивана Сергѣевича. Въ *Воспоминаніяхъ* онъ пишетъ: «Тотъ бытъ, та среда и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ—полоса помѣщичья, крѣпостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротивъ, почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія—отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести, общей колеей, по избитой дорогѣ: либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ»...

[35]) Житова, *Ib.* 584.

Дальше объясненія еще опредѣленнѣе, указываютъ общій источникъ нравственныхъ страданій, терзавшихъ Тургенева.

Въ дѣтствѣ онъ хотѣлъ бѣжать отъ своей семьи, преслѣдовавшей его самого. Теперь онъ не въ силахъ жить въ средѣ, переполненной слезами и муками другихъ. Бѣгство изъ этого царства пытокъ по прежнему остается единственнымъ спасеніемъ.

«Я другого пути передъ собой не видѣлъ», продолжаетъ Тургеневъ. «Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва, и не я одинъ далъ ее себѣ тогда. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить... «Записки Охотника»—эти въ свое время новые, впослѣдствіи далеко опереженные этюды были написаны мною заграницей; нѣкоторые изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ: вернуться ли мнѣ на родину или нѣтъ?»

Это раздумье явилось совершенно естественнымъ слѣдствіемъ невольной разлуки съ горячо любимой родиной. Иванъ Сергѣевичъ уѣзжалъ въ «свою даль» съ тяжелымъ чувствомъ. Жилось ему дома крайне тяжело, но едва ли легче было покидать этотъ домъ...

Очевидецъ разсказываетъ: «Послѣдніе дни передъ отъѣздомъ своимъ онъ былъ особенно грустенъ, и въ памяти моей, во всѣ послѣдующіе за этимъ годы образъ его представляется мнѣ не иначе, какъ задумчивымъ и печальнымъ».

Варвара Петровна не хотѣла и врядъ ли могла понять настроеніе сына. Его отъѣздъ заграницу она склонна была объяснять сердечнымъ увлеченіемъ, и питала злобное чувство къ виновницѣ этого увлеченія. Она скоро узнала о знакомствѣ Ивана Сергѣевича съ семействомъ Віардо, посѣтила однажды концертъ пѣвицы и при всемъ своемъ негодованіи на отношенія сына къ артисткѣ, не могла

не высказать: «А надо признаться, хорошо, проклятая цыганка, поетъ!» [36]).

Эти *подлинныя* слова Варвары Петровны должны занимать свое мѣсто въ исторіи, захватившей всю жизнь Тургенева съ двадцати восьми лѣтъ.

Мы не можемъ пройти мимо факта, несмотря на весь рискъ рѣшать подобнаго рода вопросы. Мы, конечно, сознаемъ всю недостаточность данныхъ, какими мы можемъ и имѣемъ право располагать,—недостаточность, обусловленную въ сильной степени характеромъ самого предмета. Но мы останемся исключительно на почвѣ фактовъ, засвидѣтельствованныхъ самимъ Тургеневымъ, и только въ рѣдкихъ случаяхъ будемъ пользоваться свѣдѣніями, идущими изъ другого источника. При такихъ условіяхъ нашъ разсказъ можетъ оказаться неполнымъ, но зато мы имѣемъ право разсчитывать, что каждая черта въ этомъ разсказѣ—достовѣрна и правдива, насколько можетъ быть правдивъ человѣкъ, говорящій о своихъ настроеніяхъ, о своей нравственной и внѣшней жизни.

Знакомство Тургенева съ г-жей Віардо относится къ 1845 году [37]). Полная фамилія пѣвицы—Віардо-Гарсія; она родомъ испанка, дочь и ученица знаменитаго тенора Гарсія. По словамъ очевидцевъ, современниковъ Тургенева, г-жа Віардо не отличалась особенной красотой, но обладала множествомъ достоинствъ, рѣдко встрѣчающихся вмѣстѣ. Превосходная артистка на сценѣ, исполненная страсти и силы, г-жа Віардо являлась увлекательнѣйшей собесѣдницей въ салонѣ. Она владѣла нѣсколькими языками, получила разностороннее образованіе, умѣла говорить и совершенно затмѣвала дамъ изъ русскаго общества того времени. Иванъ Сергѣевичъ рѣдко бывалъ въ этомъ обществѣ, не находя

---

[36]) Житова, *Ib.* 115.

[37]) Таково показаніе Анненкова, *Ib.* 456. Въ *Воспоминаніяхъ о Тургеневѣ* — Н. Берга всѣ факты и вся хронологія перепутаны. Авторъ сначала разсказываетъ о драматическомъ приключеніи съ гоголевской статьей Тургенева, а потомъ о знакомствѣ съ Віардо, т.-е. дѣлаетъ ошибку, по крайней мѣрѣ, на *семь* лѣтъ. Въ тѣхъ же воспоминаніяхъ сообщаются совершенно фантастическія извѣстія о романическихъ эпизодахъ въ жизни Тургенева. *И. В.* XIV, 367.

здѣсь отвѣта на запросы своего ума и сердца. Г-жа Віардо должна была заинтересовать его съ первой встрѣчи.

Предъ нами множество восторженныхъ отзывовъ современниковъ объ артистическомъ талантѣ г-жи Віардо. Блестящіе успѣхи ея начались въ Петербургѣ. До тѣхъ поръ она не была знаменитостью даже въ Парижѣ. Первый сезонъ итальянской оперы въ русской столицѣ 1843 года положилъ начало ея славѣ. Пѣвица явилась въ русскую столицу совершенной незнакомкой, но первый же вечеръ рѣшилъ ея судьбу. Ея выхода ждали только съ любопытствомъ,—дѣйствительность совершенно поразила публику и безповоротно отдала ее во власть артисткѣ. Современникъ такъ описываетъ первый спектакль съ участіемъ г-жи Віардо—представленіе *Севильскаго цирульника*: г-жа Віардо исполняла роль Розины.

Началась вторая картина перваго акта: «Комната въ домѣ Бартоло. Входитъ Розина: небольшаго роста, съ довольно крупными чертами лица и большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанскій костюмъ, высокій андалузскій гребень торчитъ на головѣ немного вкось. «Некрасива!», повторилъ мой сосѣдъ сзади. «Въ самомъ дѣлѣ», подумалъ я.

«Вдругъ совершилось что-то необыкновенное!

«Раздались такія восхитительныя бархатныя ноты, какихъ, казалось, никто никогда не слыхивалъ.. прелестныя уста произносили: una voce poco fa!

«По залѣ мгновенно пробѣжала электрическая искра... Въ первую минуту—мертвая тишина, какое-то блаженное оцѣпенѣніе... но молча прослушать до конца—нѣтъ, это было свыше силъ! Порывистыя bravo! bravo! прерывали пѣвицу на каждомъ шагу, заглушали ее... Сдержанность, соблюденіе театральныхъ условій были невозможны; никто не владѣлъ собою. Восторгъ уже не могъ вмѣститься въ огромной массѣ людей, жадно ловившихъ каждый звукъ, каждое дыханіе этой волшебницы, завладѣвшей такъ внезапно и всецѣло всѣми чувствами и мыслями, воображеніемъ молодыхъ и старыхъ, пылкихъ и холодныхъ, музыкантовъ и профановъ, мужчинъ и женщинъ... Да! это была волшебница! И уста ея были *прелестны!* кто это сказалъ «некрасива?»—Нелѣпость!

«Не успѣла еще Віардо-Гарсія кончить свою арію, какъ плотина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилась такая буря, какихъ я не видывалъ и не слыхивалъ. Я не могъ дать себѣ отчета: гдѣ я? что̀ со мною дѣлается? Помню только, что и самъ я, и все кругомъ меня кричало, хлопало, стучало ногами и стульями, неистовствовало... Это было какое-то опьянѣніе, какая-то зараза энтузіазма, мгновенно охватившая всѣхъ съ низу до верху, неудержимая потребность высказаться какъ можно громче и энергичнѣе.

«Это было великое торжество искусства! Не бывшіе въ тотъ вечеръ въ оперной залѣ не въ состояніи представить себѣ, до какой степени можетъ быть наэлектризована масса слушателей, за пять минутъ не ожидавшая ничего подобнаго.

«При повтореніи аріи для всѣхъ стало очевидно, что Віардо не только великая исполнительница, но и геніальная артистка... Каждое почти украшеніе, которыми такъ богаты мотивы Россини, являлось теперь въ новомъ видѣ: новыя, неслыханно-изящныя фіоритуры сыпались какъ блистательный фейерверкъ, изумляли и очаровывали, никогда не повторяясь, порожденныя минутою вдохновенія. Діапазонъ ея голоса отъ сопрано доходилъ до глубокихъ ласкающихъ сердце, нотъ контральто, съ неимовѣрною легкостью и силою. Обаяніе пѣвицы и женщины возрастало crescendo въ продолженіе всего перваго акта, такъ что подъ конецъ каждый съ нетерпѣніемъ, казалось (я сужу по себѣ), ожидалъ возможности подѣлиться съ кѣмъ-нибудь изъ близко знакомыхъ переполнившими душу впечатлѣніями.

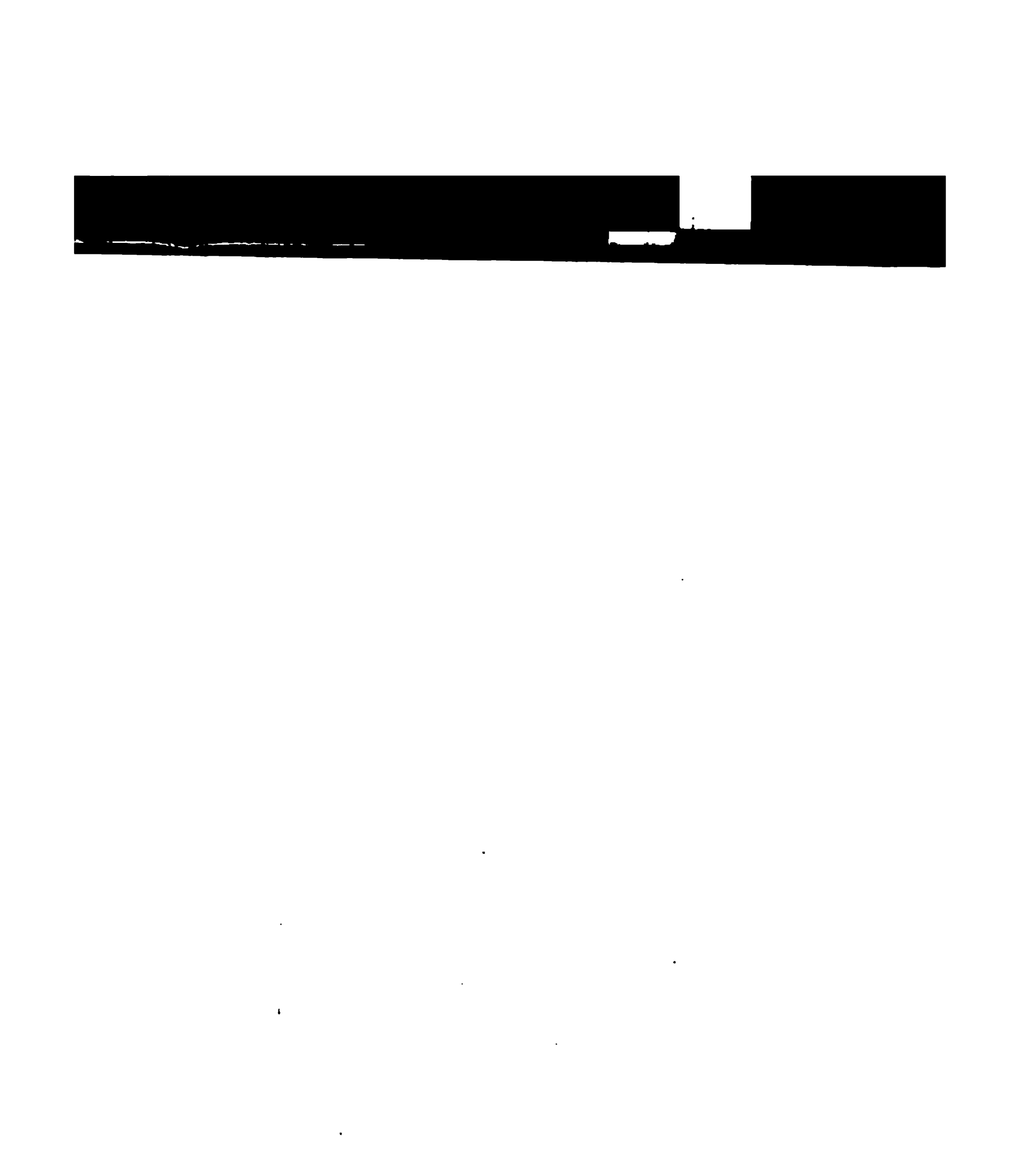
«И дѣйствительно, послѣдовавшій затѣмъ антрактъ не походилъ на обыкновенные: началось сильное передвиженіе, но довольно долго никто почти не выходилъ изъ партера: отовсюду слышались горячія восклицанія восторга и удивленія. Вызовамъ, казалось, не будетъ конца...»

Эти тріумфы, продолжаетъ разсказчикъ, впервые вызвали «цвѣтобѣсіе» среди петербургской публики и г-жа Віардо получала самые щедрые дары. Восторженная толпа окружала пѣвицу при выходѣ изъ театра, ожидая счастья—овладѣть цвѣткомъ изъ ея букетовъ, цѣлуя ей руки, провожала карету до ея квартиры. Ав-



Полина Віардо-Гарсія.

(Въ сороковые годы)



торъ воспоминаній въ этихъ восторгахъ видитъ дѣйствительно художественное чувство, вызванное геніальной артисткой, можетъ быть, даже преувеличиваетъ значеніе успѣховъ г-жи Віардо: «Она была необыкновеннымъ явленіемъ на нашей сценѣ, разбудила насъ отъ спячки, внесла въ нашу жизнь новыя художественныя ощущенія, настроила насъ на возвышенный ладъ, потрясала наши нервы»...

Это крайне восторженныя рѣчи, но авторъ, несомнѣнно, искреченъ: при жалкихъ условіяхъ русской общественной жизни въ сороковыхъ годахъ, итальянская опера съ г-жей Віардо во главѣ могла казаться всѣмъ сколько-нибудь культурнымъ и отзывчивымъ людямъ — истиннымъ счастьемъ и свѣтомъ. Разсказъ петербуржца для насъ, конечно, важнѣе всего ради правильной оцѣнки эпизода тургеневской біографіи. Тайна громаднаго впечатлѣнія, которое г-жа Віардо производила на русскую публику, заключалась въ бурной страстности игры. Рубини говорилъ ей не разъ послѣ спектакля: «не играй такъ страстно—умрешь на сценѣ». Эта страстность сказывалась не только въ игрѣ. Очевидецъ разсказываетъ такой эпизодъ. Однажды въ *Сомнамбулѣ* одновременно были вызваны Рубини и г-жа Віардо. Среди криковъ и рукоплесканій пѣвица стала на колѣни передъ знаменитымъ теноромъ и поцѣловала ему руку...

Тріумфы г-жи Віардо продолжались, конечно, и въ Москвѣ и, вѣроятно, еще въ сильнѣйшей степени. Г-жѣ Віардо пришлось на этотъ разъ считаться съ національными вкусами восхищенной публики. Москвичи требовали, чтобы артистка исполняла русскіе романсы. Гжа Віардо уступила этому желанію и произвела фуроръ исполненіемъ извѣстнаго романса «Соловей». Иванъ Сергѣевичъ, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, пришелъ въ исключительный восторгъ именно отъ этого концерта [38]). Восторгъ былъ нетолько

---

[38]) В. Колонтаева. *Восп. о селѣ Спасскомъ.* И. В. XXII, 58. Мятлевъ извѣстный авторъ *Сенсацій г-жи Курдюковой данъ л'етранжэ*, сочинилъ лирическое стихотвореніе, довольно точно выражающее восторги зрителей пѣніемъ и игрой г-жи Віардо. Напечатано—*Русск. Ст.* XLII, 404. Изъ всѣхъ произведеній Ивана Мятлева самое интересное, несомнѣнно, то, изъ котораго Тургеневъ запомнилъ первую строчку. У него есть стихотвореніе въ прозѣ на тему:

Какъ хороши, какъ свѣжи были розы

художественнымъ: Тургеневъ училъ г-жу Віардо русскому языку и въ качествѣ учителя долженъ былъ близко принимать къ сердцу ея успѣхи въ русскомъ пѣніи.

Увлеченіе въ сильной степени подогрѣвалось соперничествомъ. Поклонниковъ у г-жи Віардо было множество, среди нихъ особенной благосклонностью пѣвицы пользовался Гедеоновъ, сынъ директора театровъ. Бывали, повидимому, минуты, когда Тургенева мучило чувство ревности. По крайней мѣрѣ, одинъ изъ близкихъ друзей именно этому чувству приписываетъ слишкомъ рѣзкій тонъ статьи, написанной Тургеневымъ о драмѣ Гедеонова «Смерть Ляпунова» [39]). Въ результатѣ Иванъ Сергѣевичъ оказался самымъ горячимъ и постояннымъ цѣнителемъ талантовъ г-жи Віардо. Эти таланты въ области искусства были многочисленны: г-жа Віардо отлично рисовала, играла на фортепіано, являлась композиторомъ. Оба эти искусства—живопись и музыка—возбуждали глубокій интересъ Тургенева въ теченіе всей его жизни.

Тургеневъ испытывалъ высшее наслажденіе, слушая музыку, и умѣлъ цѣнить ее. Слухъ его обладалъ необыкновенной музыкальной чуткостью, малѣйшая фальшь причиняла ему настоящія страданія. О лучшихъ роляхъ г-жи Віардо онъ вспоминалъ съ неизмѣннымъ восторгомъ, помнилъ здѣсь каждый моментъ, иногда до такой степени увлекался своими воспоминаніями, что, вставая съ мѣста начиналъ жестикулировать и пѣть аріи [40]). Это извѣстіе

Именно этимъ стихомъ начиналось одно изъ стихотвореній Мятлева. Первая строфа:

Какъ хороши, какъ свѣжи были розы
Въ моемъ саду! какъ взоръ прельщали мой!
Какъ я молилъ весенніе морозы
Не трогать ихъ холодною рукой

(Русск. Ст. Ib., 403).

О г-жѣ Віардо въ Петербургѣ—*Петербургская итальянская опера*, А. Яхонтова. *Русск. Ст.* LII, 735. Ср. ст. М. Иванова: *Первое десятилѣтіе постояннаго итальянскаго театра въ Петербургѣ въ XIX в.* (1843—1853). *Ежегодникъ Императорскихъ театровъ.* Сезонъ 1893 — 1894 гг. Приложенія, книга 2 я стр. 55.

[39]) Анненковъ *Молодость И. С. Т—ва. В. Е.* февр. 456. Статья была напечатана въ *Отеч. Зап.*, 1846, кн. VIII.

[40]) *Полонскій. Ib.*, 587.

относится уже къ преклонному возрасту Тургенева. Легко представить, какой высоты достигали его восторги въ молодости!

Не менѣе любилъ Тургеневъ и произведенія живописи. Заграницей, въ Парижѣ, онъ будетъ постояннымъ посѣтителемъ художественныхъ выставокъ, будетъ покупать картины, изучать ихъ съ пристальной, чуткой любовью, превосходно освоится съ теоріей этого искусства. Г-жа Віардо могла пойти на встрѣчу и этой страсти, могла «окружить Тургенева», по выраженію одного иностранца, его «любимыми искусствами».

Была еще другая причина, болѣе сильная, почему Тургеневъ долженъ былъ постепенно привязаться къ чужимъ людямъ.

Онъ, пережившій такое печальное дѣтство и одинокую молодость, высшимъ счастьемъ человѣка считалъ семью, семейное счастье. Мечты объ этомъ счастьѣ не покидаютъ Тургенева въ теченіе всей его жизни, но дѣйствительность шла наперекоръ. Иванъ Сергѣевичъ обнаруживалъ самую нѣжную и преданную любовь къ матери, — это чувство осталось неоцѣненнымъ. Онъ страстно любилъ дѣтей, всюду являлся ихъ неизмѣннымъ другомъ и забавникомъ. Въ домѣ матери онъ — единственный человѣкъ, вызывающій откровенность со стороны маленькой воспитанницы-сироты. Она разсказываетъ ему свои огорченія, вмѣстѣ съ нимъ сѣтуетъ на тяжелую участь людей, близкихъ къ Варварѣ Петровнѣ, осмѣливается передавать ему о жестокихъ выходкахъ грозной госпожи.

Вниманіе Ивана Сергѣевича къ ребенку доходитъ до мелочей. Ребенокъ боится грозы—онъ беретъ его къ себѣ на колѣни, садится съ нимъ у окна и принимается описывать красоту облаковъ и всей природы во время грозы. Иванъ Сергѣевичъ подмѣчаетъ, что его любимицѣ нравится особенно одна сказка — о голубомъ фазанѣ и онъ безпрестанно проситъ ребенка разсказывать любимую исторію и слушаетъ разсказъ съ самымъ благодушнымъ вниманіемъ.

Эта любовь къ дѣтямъ останется у Тургенева на всю жизнь. Часто въ гостяхъ онъ оставляетъ взрослыхъ, идетъ въ дѣтскую и очаровываетъ маленькихъ слушателей своими чудными разсказами. Этого мало. Онъ умѣетъ подмѣчать тонкія черты разви-

вающейся духовной жизни ребенка, угадать его характеръ и склонности. Для родителей все это драгоцѣнныя наблюденія и ихъ сообщаетъ человѣкъ, посторонній ихъ семьѣ, самъ лично одинокій.

Въ старости Иванъ Сергѣевичъ тотъ же другъ дѣтей. Онъ приходитъ въ дѣтскую, убираетъ дѣтскія вещи безъ всякой воркотни, съ любовью и терпѣніемъ настоящей няньки, отправляется гулять съ дѣтьми и раздѣляетъ ихъ восторги. Дѣти по прежнему относятся къ нему съ полнѣйшей откровенностью. Они смѣлы съ этимъ добродушнымъ великаномъ, потому что знаютъ, сколько любви таится въ его сердцѣ. Они не стѣсняются съ чисто дѣтскимъ деспотизмомъ распоряжаться желаніями и временемъ Ивана Сергѣевича.

И для него все это остается свѣтлымъ воспоминаніемъ. Терзаемый смертельнымъ недугомъ, онъ помнитъ о своихъ прогулкахъ въ обществѣ дѣтей и мечтаетъ со временемъ испытать то же удовольствіе.

Вотъ два письма, адресованныя Тургеневымъ его маленькой спутницѣ:

«Лѣтомъ мы будемъ опять въ Спасскомъ и будемъ опять ходить въ лѣсъ и кричать. Что я вижу! Какой прелестный подберезникъ!»

За годъ до смерти Тургеневъ писалъ въ другой разъ, обнаруживая неисчерпаемую глубину нѣжности и заботливости о своемъ юномъ другѣ:

«Какъ бы я былъ радъ ходить съ тобой, какъ въ прошломъ году, по рощѣ и отыскивать *прелестные* подберезники! Съ большимъ удовольствіемъ разсказалъ бы тебѣ сказку и послалъ бы тебѣ одну главу; но голова моя—настоящій пустой боченокъ, изъ котораго вылито все вино, и стоитъ онъ кверху дномъ, такъ что и новое вино въ него набраться не можетъ... Если же поправлюсь, то напишу тебѣ сказку—именно о *пустомъ боченкѣ*» [41]).

Сказокъ этихъ Иванъ Сергѣевичъ разсказалъ не мало. Къ сожалѣнію, имъ самимъ лично написанъ только одинъ разсказъ для дѣтей *Перепелка*, другіе два—*Капля жизни* и *Самознайка* пере-

[41]) *Ib.* 579—80. Галаховъ *Сороковые годы. Ист. В.* XLVII, 139.

сказаны его другомъ, отцомъ дѣтей, съ которыми Тургеневъ дѣлилъ свое деревенское уединеніе. Любимыя темы Тургенева въ сказкахъ—любовь дѣтей къ родителямъ и родителей къ дѣтямъ.

Въ сказкѣ *Капля жизни* разсказывается о мальчикѣ, доставившемъ чудодѣйственную каплю съ величайшими препятствіями и опасностями, чтобы спасти своихъ родителей отъ смертельнаго недуга. Въ разсказѣ *Перепелка* изображены двѣ исторіи изумительной любви птицъ къ своимъ дѣтямъ. Разсказчикъ еще былъ ребенкомъ, когда, сопровождая отца на охотѣ, онъ пережилъ такихъ два приключенія.

Однажды охотникъ приблизился къ гнѣзду перепела. Внезапно изъ подъ самаго носа собаки вскочила перепелка и полетѣла. Только полетѣла она очень странно: кувыркалась, вертѣлась, падала на землю—точно она была ранена или крыло у ней надломилось. Собака немедленно поймала птицу и прикусила ее. Оказалось, перепелка не была раненой, а притворилась, чтобы отвести собаку отъ гнѣзда, рискнула, слѣдовательно, пожертвовать собой ради дѣтей.

Другой случай произошелъ съ маткой-тетеревомъ. Охотники нашли выводокъ; матка вскочила, и ее тотчасъ же ранили. Но она не упала, а полетѣла дальше вмѣстѣ съ тетеревятами. Тогда одинъ изъ охотниковъ притаился и началъ свистать, какъ свищутъ тетерева. На свистъ сперва откликнулся одинъ молодой, потомъ другой и — «вотъ слышимъ мы», продолжаетъ разсказчикъ, «сама матка квохчетъ да нѣжно такъ и близко. Я приподнялъ голову и вижу: сквозь спутанныя травяныя былинки идетъ она къ намъ, спѣшитъ, спѣшитъ, а у самой вся грудь въ крови! Знать, не вытерпѣло материнское сердце!»...

Напомнимъ, наконецъ, одно изъ трогательнѣйшихъ стихотвореній въ прозѣ—*Воробей*. Здѣсь разсказывается, какъ старый воробей бросился защищать своего дѣтеныша, упавшаго съ гнѣзда. Старикъ сидѣлъ высоко, на безопасной вѣткѣ, но непреодолимая сила сбросила его — къ самой пасти собаки, приблизившейся къ птенцу. Что могла сдѣлать птичка съ такимъ чудовищемъ, но она жертвовала собой. Собака остановилась, попятилась...

«Я поспѣшилъ отозвать смущеннаго пса — и удалился благоговѣя».

«Да, не смѣйтесь. Я благоговѣлъ передъ той маленькой, героической птицей, передъ любовнымъ ея порывомъ.

«Любовь, думалъ я, сильнѣе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь».

Съ такой задушевностью умѣлъ рисовать геніальный художникъ чудную силу родительскаго чувства. Естественно, семья составляла предметъ его вѣчныхъ желаній. Письма Тургенева переполнены тоской о семьѣ, о родномъ гнѣздѣ, о тихомъ счастьѣ у *своего* очага.

Иностранецъ, близко знавшій Ивана Сергѣевича, пишетъ: «Однажды онъ высказалъ мнѣ, что, по природѣ своей, онъ созданъ для тихой семейной жизни, оживленной семейными радостями. Но это счастье не было дано ему, и жизнь его была омрачена отсутствіемъ семьи. Какая-то туча заслоняла его отъ солнечнаго свѣта и бросала на его жизненный путь тѣнь, которая замѣтна и на его твореніяхъ» [42]). Эта тѣнь, прибавимъ мы, особенно замѣтна въ письмахъ Тургенева, часто производящихъ впечатлѣніе искренней личной исповѣди.

Въ одномъ изъ нихъ онъ совѣтуетъ своему другу: «женитесь непремѣнно. Это вамъ совѣтуетъ старый холостякъ, который знаетъ, какъ горько быть холостякомъ». «Непремѣнно *женитесь*», повторяется немного спустя. Этотъ совѣтъ идетъ рядомъ съ жалобой на личное одиночество. «Не знаю,—пишетъ Тургеневъ,—что предстоитъ мнѣ въ будущемъ, но столько предстоитъ затрудненій и внутреннихъ, и внѣшнихъ! Осужденъ я на цыганскую жизнь—и не свить мнѣ, видно, гнѣзда нигдѣ и никогда».

Тургеневъ сѣтуетъ, что въ Россіи «товарищество слабо», «особенно литературное товарищество». Единственное утѣшеніе—семья. По поводу намѣреній друга жениться Тургеневъ пишетъ слѣдующія трогательныя слова: «Это событіе—столь неожиданное съ перваго разу, кажется мнѣ совершенно естественнымъ и необходимымъ, и чѣмъ больше я о немъ думаю, тѣмъ отраднѣе и прекраснѣе представляется мнѣ ваша будущая жизнь. Слава Богу! Свилъ себѣ человѣкъ гнѣздо, вошелъ въ пристань — не всѣ мы,

---

[42]) *Иностранная критика о Тургеневѣ.* Спб. 1884, Рольстонъ, 192.

стало быть, еще пропали! То, о чемъ я иногда мечталъ для самаго себя, что носилось передо мною, когда я рисовалъ образъ Лаврецкаго—совершилось надъ вами, и я могу признать все, что дружба имѣетъ благороднаго и чистаго въ томъ свѣтломъ чувствѣ, съ которымъ я благословлю васъ на долгое и полное счастье. Это чувство тѣмъ свѣтлѣе, чѣмъ гуще ложатся тѣни на собственное мое будущее; я это сознаю и радуюсь безкорыстію своего сердца» [43]).

Безкорыстіе это внѣ сомнѣнія. Тургеневъ способенъ любоваться чужою жизнью, чужимъ семейнымъ счастьемъ обманывать свое одинокое тоскующее сердце. Судьбѣ не угодно было подарить великаго человѣка любовью женщины. Ни одинъ изъ русскихъ писателей не возлагалъ такихъ идеальныхъ надеждъ на силу женскаго чувства, никто не поднималъ на такую высоту личности и назначенія женщины. И это касалось одинаково общественной и частной жизни. «Общество мужчинъ», говаривалъ Тургеневъ, «безъ присутствія доброй и умной женщины, походитъ на тяжелый обозъ съ немазанными колесами, который раздираетъ уши нестерпимымъ, однообразнымъ своимъ скрипомъ» [44]). Читателямъ извѣстно, какіе образы героинь создавалъ Тургеневъ, какія исторіи женскихъ увлеченій разсказывалъ онъ. Это—разсказы истиннаго, вѣрнаго рыцаря русской женщины и врядъ ли былъ и будетъ у нея болѣе мужественный и болѣе сильный защитникъ.

И въ жизни Тургеневъ оставался такимъ же рыцаремъ. «Онъ оживалъ въ обществѣ женщинъ», пишетъ его другъ. Тургеневъ не разъ сознается, какъ много онъ думалъ о прошломъ и настоящемъ русской женщины. Онъ преклоняется передъ ея нравственнымъ и художественнымъ чувствомъ. Позже мы увидимъ, какое значеніе онъ придаетъ приговорамъ женщины надъ его лучшими произведеніями. На вершинѣ славы и всемірнаго авторитета Тургеневъ покорно внимаетъ этимъ приговорамъ и готовъ подчиняться имъ до конца, не прочь сжечь свой романъ только потому, что онъ вызвалъ насмѣшливый отзывъ женщины.

---

[43]) *Письма*, 31—4; 85—9, 223. Анненковъ. *Шесть лѣтъ переписки съ И. С. Т—вымъ. В. Евр.* 1885, апр. 485.

[44]) Анненковъ. *Молодость И. С. Т—ва. Ib.*, 462.

Этихъ чертъ достаточно, чтобы оцѣнить весь смыслъ тоски Ивана Сергѣевича, всю горечь неудовлетвореннаго чувства.

Тургеневъ съ первыхъ же шаговъ своей литературной дѣятельности увлекъ прекрасный полъ своей родины, увлеченіе сопровождало его до могилы,—но это было платоническое увлеченіе. Писатель, хорошо знавшій Тургенева, лучше всего объяснитъ намъ этотъ вопросъ. Тургеневъ, по словамъ его друга, «страдалъ сознаніемъ, что не можетъ побѣдить женской души и управлять ею: онъ могъ только измучить ее. Для торжества, при столкновеніяхъ страсти, ему не доставало наглости, безумства, ослѣпленія. Въ одной изъ чудныхъ повѣстей своихъ—*Первая любовь*, онъ разсказываетъ ужасъ, наведенный на него ударомъ хлыста, которымъ раздраженный любовникъ отвѣчалъ своей возлюбленной, побѣждая ея волю и своенравіе. Съ тѣхъ поръ ужасъ отъ дикаго поступка, казалось, и не проходилъ у Тургенева и одолѣвалъ его, когда требовалась рѣшимость выбора. Онъ не отвѣчалъ ни на одну изъ симпатій, которыя шли ему на встрѣчу, за исключеніемъ развѣ трогательныхъ связей съ О. А. Т. въ 1854 году, но и она длилась не долго и кончилась, какъ кончаются минутныя вспышки, капризы и причуды, на которыя онъ размѣнялъ свирѣпое одушевленіе истинной страсти, т.-е. мирнымъ разрывомъ и поэтическимъ воспоминаніемъ о прожитомъ времени» [45]).

Такія вспышки бывали и помимо эпизода, только-что упомянутаго. Иванъ Сергѣевичъ объ одной своей любовной идилліи разсказывалъ Альфонсу Додэ. Героиня идилліи—крестьянка-мельничиха. Съ ней Тургеневъ всрѣтился на охотѣ и влюбился въ нее на три дня. Прощаясь, онъ спросилъ у нея, чего бы она желала? Красавица отвѣтила:

— Привези мнѣ, баринъ, изъ городу кусокъ мыла; я хочу, чтобы руки мои пахли хорошо и чтобы ты могъ цѣловать ихъ, какъ у барынь.

Въ одномъ изъ писемъ, Тургеневъ упоминалъ о дамѣ изъ об-

---

[45]) *Пб.* 469. *Письма* 353. Въ письмѣ къ *А. П. Ф—вой*: «Я много думалъ о васъ, о томъ трагическомъ положеніи многихъ русскихъ женщинъ, которому онѣ подвергаются въ силу нашего тяжелаго, часто нестерпимаго историческаго развитія». Ср. Полонскій, стр. 573.

щества, какъ своей бывшей «пассіи» [46]). Вѣроятно, этими увлеченіями не ограничились сердечныя испытанія молодого Тургенева, но нравственное значеніе ихъ—совершенно ничтожно. Можно, конечно, во всѣхъ романическихъ неудачахъ видѣть недостатокъ рѣшительности и смѣлости со стороны Тургенева. Но самый этотъ недостатокъ, несомнѣнно, основанъ на глубокихъ внутреннихъ мотивахъ. Тургеневъ умѣлъ быть смѣлымъ и твердымъ въ двухъ отношеніяхъ, касающихся идей и чувства: онъ не отступалъ отъ своихъ убѣжденій ни въ какомъ случаѣ и всю жизнь оставался вѣренъ дружескимъ связямъ.

Тургеневу пришлось пережить не мало тяжелыхъ лѣтъ: на него сыпались нападки въ русской литературѣ и въ публикѣ. Позже мы подробно разберемъ смыслъ этого явленія. Теперь достаточно указать на отношеніе Тургенева къ оскорбительнымъ выходкамъ публики. «Старушка», писалъ онъ, разумѣя публику, «также упрекаетъ меня въ недостаткѣ убѣжденій. На это можетъ послужить отвѣтомъ вся моя 30 ти-лѣтняя литературная дѣятельность. Ни за одну строчку, написанную мною, не приходилось краснѣть—ни отъ одной отказаться. Пусть кто другой скажетъ то же самое!» [47]).

Эти мужественныя слова, какъ мы убѣдимся, вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣйствительности.

Не менѣе твердъ и надеженъ былъ Тургеневъ въ дружбѣ. Одинъ изъ его товарищей по Берлинскому университету пишетъ: «Характеръ Тургенева былъ рѣдкой чистоты. Онъ всегда высказывалъ большое политическое мужество, никогда не измѣнялъ своимъ друзьямъ, не отказывался отъ своего мнѣнія» И въ доказательство приводится исторія Тургенева съ однимъ изъ его друзей, попавшимъ въ крайне опасное положеніе,—исторія, дѣйствительно свидѣтельствующая одновременно о политическомъ мужествѣ Ивана Сергѣевича, и объ его глубокомъ непоколебимомъ чувствѣ—дружбы и гуманности [48]).

Подобныхъ фактовъ можно было бы привести не одинъ. Турге-

---

46) *Письма*, 82. Письмо отъ 7 н. 1860.
47) *Р. Ст.* XL, 224.
48) *Р. Ст.* XLII, 396.

невъ обобщилъ ихъ въ прекрасномъ обращеніи къ своему другу: «Въ твоей искренней дружбѣ я не сомнѣваюсь, какъ и ты не долженъ сомнѣваться въ моей. Вѣдь мы чуть не полжизни прожили съ тобою вмѣстѣ. Сама жизнь стала тусклой и тяжелой, но чувство наше не измѣнилось и не измѣнится» [49]).

Мы неоднократно будемъ имѣть случай убѣдиться, какія испытанія могло выносить расположеніе Тургенева къ кому бы то ни было. Въ этомъ сердцѣ жило много энергіи и органической силы. Надо было только вызвать ее.

Взглядъ Тургенева на любовь къ женщинѣ, на страсть вполнѣ соотвѣтствуетъ только-что указаннымъ чертамъ. Здѣсь то же благородное стремленіе поступаться своей личностью, въ основѣ то же самоотверженіе и готовность на жертвы.

Одинъ изъ друзей передаетъ въ высшей степени любопытный отзывъ Тургенева о Левинѣ, героѣ романа «Война и миръ». Тургеневъ возмущался этой личностью и пристрастіемъ къ ней автора романа.

«Неужели же», говорилъ онъ, «ты хоть одну минуту могъ думать, что Левинъ влюбленъ или любитъ Кити, или что Левинъ можетъ любить кого-нибудь? Нѣтъ, любовь есть одна изъ тѣхъ страстей, которая подламываетъ наше *я*, заставляетъ какъ бы забывать о себѣ и о своихъ интересахъ. Левинъ же, узнавши, что онъ любимъ и счастливъ, не перестаетъ носиться съ своимъ собственнымъ *я*, ухаживаетъ за собой. Ему кажется, что даже извозчики, и тѣ какъ-то особенно, съ особеннымъ уваженіемъ и охотой, предлагаютъ ему свои услуги. Онъ злится, когда его поздравляютъ люди, близкіе къ Кити. Онъ ни на минуту не перестаетъ быть эгоистомъ и носится съ собой до того, что воображаетъ себя чѣмъ-то особеннымъ,.. Всѣ эти подробности доказываютъ, что Левинъ эгоистъ до мозга костей, и, понятно, почему на женщинъ онъ смотритъ, какъ на существъ, созданныхъ только для художественныхъ и семейныхъ дрязгъ».

Тургеневу ненавистны узко-личныя стремленія, пристрастіе къ своему *я* — въ какомъ бы то ни было жизненномъ положеніи.

---

[49]) *Письма*, 494.

«Не одна любовь», продолжаетъ онъ, «всякая сильная страсть религіозная, политическая, общественная, даже страсть къ наукѣ, надламываетъ нашъ эгоизмъ. Фанатики идеи, часто нелѣпой и безразсудной, тоже не жалѣютъ головы своей. Такова и любовь»...[50]).

Отзывъ Варвары Петровны о своемъ сынѣ дополняетъ характеристику: она жалѣла о своихъ дѣтяхъ, считая ихъ *однолюбцами*, т. е. способными только разъ любить во всю жизнь. Но старшій братъ—Николай Сергѣевичъ устроилъ свой семейный очагъ, младшему это счастье не было суждено...

Здѣсь мы должны коснуться еще одного факта: съ нимъ намъ придется встрѣтиться впослѣдствіи. Одно изъ увлеченій Ивана Сергѣевича окончилось иначе, чѣмъ всѣ другія. Предметомъ этого увлеченія была—Авдотья Ермолаевна Иванова, московская мѣщанка, бывшая сначала бѣлошвейкой въ домѣ Варвары Петровны. Это было крайне обыкновенное созданіе, блондинка, небольшого роста, со свѣтло-карими глазами, отличалось скромностью и молчаливостью и въ общемъ возбуждало симпатію. Одинъ изъ тургеневскихъ крѣпостныхъ, написавшій воспоминанія о селѣ Спасскомъ, разсказываетъ романъ съ примѣсью несомнѣнно фантастическихъ подробностей, сообщаетъ съ чужихъ словъ, будто Варвара Петровна даже «собственноручно посѣкла» сына за его *первую любовь* [51]). Мы не знаемъ, къ какому времени относится начало романа, но рожденіе дочери точно указано самимъ Тургеневымъ: оно произошло въ маѣ 1842 года, въ Москвѣ, куда переселилась изъ Спасскаго Авдотья Ермолаевна [52]). Тургеневу шелъ уже двадцать пятый годъ, и врядъ ли у Варвары Петровны существовала какая-либо возможность вліять на его поведеніе.

Страсть Тургенева была чисто юношескимъ случайнымъ порывомъ. Ничего общаго между нимъ и скромной, но совершенно необразованной московской мѣщанкой, не могло быть. Дочь—Пелагею—Тургеневъ взялъ къ себѣ, помѣстилъ ее въ семьѣ г-жи Віардо и тщательно занялся ея образованіемъ. Авдотьѣ Ермолаевнѣ

---

[50]) Полонскій. 575—6.
[51]) *Изъ воспоминаній о селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ*. *Р. Вѣстн.* 1885, I, 355.
[52]) *Письма*, 117.

выдавалась ежегодная пенсія черезъ Өедора Лобанова. Тургеневъ даже не зналъ адреса своей бывшей возлюбленной, когда ему пришлось хлопотать о метрическомъ свидѣтельствѣ дочери по случаю ея помолвки.

Другія сообщенія лицъ, знавшихъ Тургенева,—не заслуживаютъ вниманія и, повидимому, почерпнуты изъ весьма мутныхъ источниковъ, хотя и сопровождаются большими подробностями [53]). Невѣрно, между прочимъ, отождествленіе дочери Ивана Сергѣевича съ Асей, извѣстной героиней одного изъ разсказовъ Тургенева. Ася—лицо, несомнѣнно реальное, взятое изъ дѣйствительности. О немъ упоминается въ одномъ изъ писемъ Тургенева. Здѣсь Тургеневъ сообщаетъ, что его поваръ Степанъ намѣренъ жениться на *Асѣ* и пользуется ея расположеніемъ. Иванъ Сергѣевичъ ничего не имѣетъ противъ этого брака, хотя находитъ его «немножко страннымъ» [54]). Это—единственное достовѣрное извѣстіе объ этомъ лицѣ. Можно прибавить еще, что Тургеневъ былъ крайне заинтересованъ судьбой своего разсказа *Ася*, его не удовлетворилъ сравнительно большой успѣхъ разсказа: очевидно, онъ возлагалъ на него особенныя надежды [55]).

Дочь не принесла Тургеневу семейнаго счастья. Совѣтуя другимъ жениться, жить у семейнаго очага, Тургеневъ оговаривался, что онъ живетъ съ дочерью,—«но», восклицаетъ онъ, «какая разница!» [56]). Въ одномъ изъ раннихъ писемъ отзывъ о дочери довольно симпатичный. О своей жизни въ Парижѣ Тургеневъ пишетъ: «меня удерживаетъ здѣсь старинная, неразрывная связь съ однимъ семействомъ и моя дочка, которая мнѣ очень нравится: милая и умная дѣвушка» [57]). Воспитаніемъ и образованіемъ ея онъ занимался съ большимъ вниманіемъ. Этотъ вопросъ даже былъ ближайшимъ поводомъ ссоры Тургенева съ гр. Толстымъ, усмотрѣвшимъ лицемѣріе и ложь въ педагогическихъ пріемахъ Тургенева [58]). Но впослѣдствіи Тургеневу пришлось испытать не мало

[53]) Напр. въ *Восп. о Т—вѣ*. Н. Берга. *Ист. В.* XIV, 373.

[54]) *Письма*, 62.

[55]) *Письма*, 56. Анненковъ. *Шесть лѣтъ переписки*. *В. Е.*, 1885, мартъ, 69.

[56]) *Письма*, 85.

[57]) *Ib.*, 28.

[58]) Анненковъ. *Молодость И. С. Т—ва*. *В. Е.* 1884, февр. 471. Мотивъ и сцена ссоры изложены у Фета. I, 370.

огорченій по поводу семейныхъ раздоровъ его дочери съ мужемъ. Эти раздоры и безконечные хлопоты вызвали у Тургенева совершенно другое признаніе, чѣмъ мы читали раньше.

Разсказавъ о хлопотахъ, причиняемыхъ дочерью, Тургеневъ продолжаетъ: «точно колесо меня схватило и начинаетъ втягивать въ машину. Это тѣмъ тяжеле, что, какъ вамъ извѣстно, особенной привязанности я къ ней никогда не чувствовалъ, и все, что я сдѣлалъ для нея до сихъ поръ и буду впередъ дѣлать, внушено мнѣ единственно чувствомъ долга» [59]).

Это признаніе поражаетъ искренностью, хотя, можетъ быть, оно отчасти вызвано временнымъ недовольствомъ на крайне тяжелое положеніе, созданное близкимъ человѣкомъ. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно одно: родная дочь не принесла Тургеневу семейнаго мира и покоя, не удовлетворила его исконныхъ стремленій. Почему это такъ произошло—не намъ судить и врядъ ли здѣсь какой-либо судъ возможенъ. Мы видимъ,—Тургеневъ принужденъ искать другого спасенья отъ невыносимаго одиночества. И такимъ спасеньемъ ему казалась жизнь въ семьѣ Віардо.

Послѣ всѣхъ разобранныхъ чертъ въ характерѣ Тургенева намъ будутъ совершенно понятны его отношенія къ чужимъ людямъ. Онъ воображалъ, что именно въ этомъ домѣ онъ нашелъ *свою* семью, родныхъ себѣ людей. Это съ полной опредѣленностью объяснялъ самъ Тургеневъ:

«Я люблю семейство, семейную жизнь, но судьба не послала мнѣ собственнаго моего семейства и я прикрѣпился, вошелъ въ составъ чуждой семьи, и случайно выпало, что это семья французская. Съ давнихъ поръ моя жизнь переплелась съ жизнью этой семьи. Тамъ на меня смотрятъ не какъ на литератора, а какъ на человѣка, и среди ея мнѣ спокойно и тепло. Перемѣняетъ она мѣсто жительства—и я съ нею; отправляется она въ Лондонъ, Баденъ, Парижъ—и я переношу свое мѣстопребываніе вмѣстѣ съ нею» [60]).

Это—слова Тургенева, записанныя другимъ лицомъ. Но у насъ

---

[59]) *Письма*, 410.

[60]) *Русск. Ст.* XL, 208.

не мало и подлинныхъ выраженій въ такомъ же смыслѣ. «Мое семейство»—обычный отзывъ Тургенева о семействѣ Віардо и о событіяхъ въ этой средѣ онъ пишетъ: «у насъ въ домѣ» [61]).

Отношенія его ко всѣмъ членамъ семьи въ высшей степени сердечны, дышатъ болѣе чѣмъ родственной преданностью.

О семьѣ Віардо мы слышимъ вѣчно одно и то же: «для меня ея воля законъ», пишетъ Тургеневъ въ одномъ письмѣ [62]). Онъ горячо интересуется ея артистическими успѣхами, становится ея сотрудникомъ. Г-жѣ Віардо вздумалось написать оперетку *Послѣдній колдунъ* (Le dernier des sorciers), Тургеневъ сочинилъ текстъ, опереткѣ предстояло появиться на сценѣ въ Веймарѣ. По этому поводу Тургеневъ писалъ: «Я непремѣнно туда поѣду и буду трепетать, хотя успѣхъ вѣроятенъ: музыка прелестная. Если оперетка понравится, то это можетъ имѣть важное вліяніе на будущую карьеру Віардо: она займется композиціей» [63]).

Спектакль, по словамъ Тургенева, имѣлъ успѣхъ и онъ написалъ корреспонденцію въ газету *С.-Петербургскія Вѣдомости*. Корреспонденція была очень благосклонная, и на Тургенева посыпались обвиненія въ рекламѣ. Это былъ конецъ шестидесятыхъ годовъ, принесшихъ нашему писателю, какъ увидимъ ниже, не мало вражды и оскорбленій. Тургеневъ писалъ: «Я теперь въ такой немилости у публики, чтó что бы я ни сдѣлалъ, все не такъ. Вотъ ужъ точно: «недовернулся, бьютъ; перевернулся бьютъ». Письмо мое о Веймарѣ, конечно, реклама; но реклама о вещи, которую я считаю прекрасной. Но находить *безтактнымъ*, что послѣ 25-лѣтняго знакомства я *въ первый разъ* произнесъ имя г-жи Віардо въ такомъ дѣлѣ, которое совершилось воочію всѣхъ—это превосходитъ даже мои ожиданія» [64]).

Сотрудничество Тургенева не ограничилось одной опереткой. Онъ написалъ текстъ еще къ двумъ *L'ogre* и *Trop de femmes*. Иностранецъ, другъ Тургенева, разсказываетъ, что Иванъ Сергѣевичъ въ случаѣ, если не доставало баритона, не считалъ для себя уни-

[61]) *Письма*, 503, 348.
[62]) Анненковъ. *В. Евр.* 1885, апр. 469.
[63]) Фетъ. II, 193.
[64]) *Письма*, 159. Ср. *Русск. Ст.* XLI, 181.

зительнымъ играть роль стараго колдуна, паши или людоѣда; такого героя дразнили и мучили или прелестные эльфы, или слишкомъ многочисленныя жены его гарема и, не смотря на его величину и силу, побѣждали [65]).

Мужъ г-жи Віардо также являлся для Тургенева во всѣхъ отношеніяхъ симпатичной личностью. Тургеневъ называетъ его своимъ старымъ другомъ, г. Віардо,—его казначей [66]), съ нимъ Тургеневъ дѣлитъ одно изъ величайшихъ своихъ удовольствій—охоту. Віардо не менѣе страстный охотникъ, чѣмъ его русскій другъ. Віардо, кромѣ того, художественно-развитой цѣнитель искусства и прекрасный собесѣдникъ.

Г-жа Віардо переводитъ произведенія Тургенева на французскій языкъ, конечно, съ помощью автора, изрекаетъ о нихъ приговоры, которые Тургеневъ считаетъ окончательными, перелагаетъ на музыку русскія пѣсни и произведенія русскихъ поэтовъ. Вообще, Тургеневъ находитъ въ этой семьѣ полное удовлетвореніе своимъ художественнымъ вкусамъ.

Едва ли не важнѣе было удовлетвореніе другихъ чувствъ. Тургеневъ питаетъ нѣжнѣйшую любовь къ дѣтямъ г-жи Віардо. Онъ любитъ ихъ, какъ родныхъ, говоритъ Додэ, и доказываетъ это на каждомъ шагу. Онъ не находитъ словъ выразить свой восторгъ предъ дочерью г-жи Віардо. Онъ посылаетъ знакомымъ ея фотографію, какъ идеалъ изящнаго: «вотъ на кого нужно стихи писать», прибавляетъ онъ. Это — «существо удивительное», и талантъ къ живописи «необычайный» [67]). Вопросъ о замужествѣ Диди глубоко волнуетъ его. Онъ даетъ ей богатое приданое, сообщаетъ друзьямъ подробныя извѣстія объ ея будущемъ мужѣ, объ ея настроеніяхъ. Свадьба, наконецъ, совершилась. «Ты можешь себѣ представить,— пишетъ Тургеневъ пріятелю,—въ какихъ хлопотахъ и въ какомъ радостномъ волненіи я былъ все это время. Теперь оба молодые такъ счастливы, что даже смѣшно и трогательно глядѣть на нихъ» [68]).

Спустя семь лѣтъ повторяются тѣ же волненія и хлопоты по по-

[65]) *Иностранная критика.* Пичъ, 167.
[66]) *Письма*, 63.
[67]) Фетъ, II, 190, 193.
[68]) *Письма*, 176, 220, 226—7—8.

воду брака другой дочери г-жи Віардо. И на этотъ разъ Тургеневъ слѣдитъ за каждымъ днемъ молодой женщины, сообщаетъ друзьямъ ея радости и горе, во время ея болѣзни не спитъ шесть ночей сряду. Это происходитъ какъ разъ въ то время, когда собственная дочь Тургенева принуждена бѣжать отъ мужа и отецъ долженъ ее укрывать. Столько передрягъ для старика, уже страдающаго всевозможными недугами! И сколько любви, интереса къ чужой жизни, терпимости къ чужимъ ошибкамъ въ то время, когда смерть грозила съ часу на часъ! Онъ нѣсколько разъ принимается увѣрять друзей, что «здоровье его не пошатнулось». Но смерть уже сторожила его, и онъ даже предчувствуетъ ея появленіе [69]).

Сынъ г-жи Віардо пользуется также исключительнымъ вниманіемъ Тургенева. Иванъ Сергѣевичъ восхищается музыкальными успѣхами юноши, занимается съ нимъ науками, репетируетъ его...

Все это свидѣтельствуетъ о необычайной способности Тургенева любить и привязываться къ людямъ. Но, здѣсь толька одна сторона вопроса. Другая—еще важнѣе, это нравственный результатъ только-что разсказанныхъ отношеній для самого Тургенева. Нашелъ ли онъ дѣйствительно удовлетвореніе своей жаждѣ—семейнаго счастья? Подарила ли ему чужая страна то, чего онъ тщетно ждалъ на родинѣ? Можетъ быть, здѣсь сумѣли оцѣнить благороднѣйшіе запросы человѣка и отвѣтить на идеальную тоску великаго художника?..

Отвѣтъ мы уже знаемъ, онъ подсказанъ намъ самимъ Тургеневымъ. Его жалобы на одиночество, неутолимая тоска о семьѣ, о счастьѣ у семейнаго очага, его горячіе совѣты другу жениться, совѣты, сопровождаемые мучительнымъ сѣтованіемъ о своей холостой жизни,—все это наполняетъ именно тѣ годы, какіе Тургеневъ проводилъ въ семьѣ Віардо, осыпая ее благодѣяніями, свидѣтельствуя безпрестанно чувство нѣжной привязанности къ дѣтямъ. Онъ отождествляетъ себя съ этой семьей. Въ одномъ письмѣ читаемъ: «Я говорю «мы», т.-е. семейство Віардо и я; я съ ними не разстанусь» [70]).

---

[69]) *Письма*, 377—8, 380, 398, 390—3, 402, 407—8.

[70]) *Р. Ст.* XLI, 184.

И онъ, дѣйствительно, съ ними не разстается. Что это за жизнь въ нравственномъ отношеніи — Тургеневъ, по словамъ его друга, никогда никому не объяснялъ. Но онъ не разсказывалъ *фактовъ*, *настроеній* своихъ онъ не скрывалъ. Никто изъ друзей не осмѣливался разспрашивать Тургенева, какъ ему живется въ Парижѣ и какъ относится къ нему французская семья. Разспрашивать не было необходимости, стоило только внимательнѣе читать письма Тургенева, чтобы разгадать тайну.

Только-что приведенныя слова Тургенева относятся къ 1870 году, и именно семидесятые годы богаче какой-либо другой эпохи подобными признаніями. На эти годы падаютъ восторги Тургенева дѣтьми Віардо, одновременно онъ осыпаетъ милостями дочерей г-жи Віардо, живетъ часто ихъ жизнью день за днемъ. Казалось бы, здѣсь истинное счастье. На самомъ дѣлѣ мрачное настроеніе Тургенева растетъ съ каждымъ годомъ и какъ ночь за днемъ крикъ отчаянія и пессимизма сопровождаетъ чувствительныя извѣстія.

Одинъ отрывокъ изъ дневника краснорѣчивѣе всякихъ разсужденій.

«Полночь. Сижу я опять за своимъ столомъ... а у меня на душѣ темнѣе темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; какъ мигъ какой пролетаетъ день, пустой, безцѣльный, безцвѣтный. Смотришь: опять вались въ постель. Ни права жить, ни охоты нѣтъ; дѣлать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать» [71]).

Этотъ мотивъ повторяется безпрестанно.

Одному изъ знакомыхъ онъ пишетъ: «Когда вамъ приходится думать обо мнѣ, не забывайте пожалуйста, что я сталъ теперь существомъ, постоянно, какъ часовой маятникъ, колеблющимся между двумя, одинаково безобразными чувствами: отвращеніемъ къ жизни и страхомъ смерти, а потому и не взыскивайте съ меня» [72]).

Тургеневъ считаетъ высшимъ блаженствомъ «однообразіе», «сходство нынѣшняго дня со вчерашнимъ» [73]). Реальный міръ по

---

[71]) *Письма*, 316.
[72]) Фетъ, II, 250.
[73]) *Письма*, 253.

временамъ утрачиваетъ для него всякій интересъ. Великій писатель напоминаетъ нерѣдко одну изъ своихъ героинь, недужную дѣвушку изъ разсказа *Живыя мощи*. Для него также сны являются источникомъ жизни, возбуждаютъ его творческія силы, а дѣйствительная жизнь исполнена мрака, тоски, безъисходной грусти... Тургеневу постоянно приходитъ на память его любимый герой Гамлетъ. Онъ пишетъ въ 1873 году: «Холодъ старости съ каждымъ днемъ глубже проникаетъ въ мою душу—сильнѣе охватываетъ ее; равнодушіе ко всему, которое я въ себѣ замѣчаю, меня самого пугаетъ! Вотъ ужъ точно могу сказать съ Гамлетомъ:

How stale, flat and inprofitable
Seems me that life!.. [74]).

Эта «старческая тоска», по выраженію одного иностранца, неотступно преслѣдуетъ Тургенева. Самъ онъ отлично понимаетъ ея смыслъ: это — холодъ одиночества, безпріютности, сердечной неудовлетворенности. Онъ часто встрѣчается съ людьми, ему симпатичными. Онъ въ восторгѣ отъ Жоржъ Зандъ, съ большимъ удовольствіемъ гоститъ у нея или у Флобера, но не можетъ написать другу, что онъ былъ «веселъ»: «перо не поворачивается» [75]).

Очевидно, этихъ хорошихъ людей было мало, чтобы наполнить пустоту, томившую Тургенева съ каждымъ годомъ все сильнѣй. И онъ не скрывалъ своего настроенія, говорилъ о немъ въ обществѣ своихъ друзей иностранцевъ [76]).

Мы взяли только одну эпоху въ жизни Тургенева, всего нѣсколько лѣтъ — именно тѣ, когда онъ особенно много занимался семьей и семейными дѣлами гг. Віардо, мы видимъ, какъ мало нравственнаго удовлетворенія принесли Тургеневу всѣ эти заботы: вѣчно болѣла неизлечимая рана и въ ближайшей средѣ не было для нея цѣлительной силы.

Эта эпоха не представляетъ исключенія. Тѣ же рѣчи мы слышимъ съ самаго начала заграничной жизни Тургенева. Онъ, по словамъ очевидца, покидаетъ родину грустный, задумчивый и печальный. Въ первый же годъ въ Парижѣ его охватываетъ

---

[74]) *Письма*, 213.
[75]) *Ib.*, 219.
[76]) *Ист. В.*, XIV, 450.

такая тоска, что онъ не знаетъ, куда дѣваться [77]). Тоска — безпредметная, необъяснимая, знакомая молодости, одинокой, ни съ кѣмъ нераздѣленной. И здѣсь — вопросъ не въ недостаткѣ хорошихъ людей. Напротивъ, Тургеневъ съ перваго же появленія заграницей привлекаетъ общее вниманіе, вызываетъ даже восторженныя чувства.

Иностранецъ разсказываетъ о случайной встрѣчѣ съ Иваномъ Сергѣевичемъ, котораго онъ еще не зналъ. Встрѣча произошла въ читальнѣ. «Спускаясь по лѣстницѣ», пишетъ этотъ другъ и горячій поклонникъ Тургенева, «я остановился, какъ бы очарованный видомъ могучей фигуры и лица молодого иностранца, закутаннаго въ шубу и подымавшагося мнѣ на встрѣчу. Никогда я не испытывалъ подобнаго впечатлѣнія отъ одной наружности человѣка; никогда мое чувство не подсказывало мнѣ такъ непосредственно и инстинктивно: «это—необыкновенный человѣкъ!» [78])

Фактъ относится къ первымъ днямъ пребыванія Тургенева заграницей. Спустя нѣсколько времени разсказчикъ познакомился съ Иваномъ Сергѣевичемъ, и на этотъ разъ пришелъ въ совершенный восторгъ, и такое впечатлѣніе Тургеневъ произвелъ на всѣхъ своихъ новыхъ знакомыхъ. «Русскій гость», продолжаетъ разсказчикъ, «съ перваго же вечера сталъ центромъ нашего кружка: всѣ его слушали съ благоговѣніемъ, какъ очарованные»

Тургеневъ провожалъ семейство Віардо изъ Россіи. По пути въ Парижъ г-жа Віардо осталась въ Берлинѣ и съ 1 января 1847 года на пять мѣсяцевъ слишкомъ вступила въ берлинскую королевскую оперу. Тургеневъ также былъ въ Берлинѣ. Объ этой порѣ у насъ есть воспоминанія того же друга Тургенева,—воспоминанія неизмѣнно восторженныя.

Нѣмецъ долго спустя такъ писалъ о прошломъ: «Счастливое и незабвенное для насъ время, проведенное съ Тургеневымъ и съ знаменитой артисткой въ теченіе зимнихъ и весеннихъ мѣся-

---

[77]) Полонскій, 516.

[78]) *Иностр. критика.* Пичъ, 142. У автора говорится о встрѣчѣ съ Тургеневымъ въ Берлинѣ въ «ноябрьскій вечеръ 1846 г.». Мы уже видѣли, что эта хронологія первой поѣздки Тургенева заграницу неточна.

цевъ этого года! Удивительнѣе всего, что Тургеневъ, противъ обыкновенія всѣхъ поэтовъ, ни однимъ словомъ не обмолвился тогда о томъ, что въ его отечествѣ онъ былъ уже извѣстенъ за выдающагося писателя. Очень часто, подъ впечатлѣніемъ его художественнаго разсказа и всего его существа, я говорилъ ему: «Вы истинный поэтъ! вы—великій, единственный въ мірѣ разсказчикъ! Какъ вы говорите, такъ вы должны бы и писать. Тогда вашъ народъ и весь свѣтъ узнаютъ васъ и будутъ удивляться вамъ». Улыбаясь, онъ отклонялъ эти похвалы и увѣрялъ,—о, лицемѣръ!— что въ немъ «нѣтъ ничего поэтическаго».

Такой пріемъ встрѣтилъ Тургеневъ заграницей. Это было предзнаменованіемъ для всей послѣдующей жизни Тургенева. Его личность неизмѣнно была окружена обаяніемъ въ глазахъ иностранцевъ, его талантъ признавался критиками всѣхъ странъ Западной Европы и Америки. Но для счастья человѣка, — не писателя,—требуется нѣчто другое,—не шумъ славы, не восторги чужихъ людей, даже не дружба. Это «нѣчто» не выпало на долю Тургенева до самой смерти. Напротивъ, его встрѣчалъ холодъ и равнодушіе тамъ, гдѣ онъ полагалъ свое истинное счастіе.

Мы позволимъ себѣ привести разсказъ поэта Фета, посѣтившаго Тургенева, когда тотъ жилъ у гг. Віардо. Мы ссылаемся на этотъ разсказъ, потому что онъ подтверждается свѣдѣніями изъ другого источника и отчасти письмами самого Ивана Сергѣевича.

Фетъ прогостилъ у Тургенева нѣсколько дней. Взаимныя отношенія Тургенева и г-на Віардо казались ему отношеніями полноправнаго хозяина къ своему гостю, это были привѣтливость и гостепріимство, и не равноправное чувство дружбы. По поводу г-жи Віардо Фетъ приводитъ свой разговоръ съ Тургеневымъ, крайне любопытный, можетъ быть, не вполнѣ достовѣрный во всѣхъ подробностяхъ, но врядъ ли искажающій общій смыслъ выраженій Тургенева.

Тургеневъ разсказалъ Фету, какъ онъ, по совѣту г-жи Віардо, рѣшилъ воспитывать свою дочь заграницей. «И не въ одномъ этомъ отношеніи,—прибавилъ Тургеневъ, воодушевляясь,—я подчиненъ волѣ этой женщины. Нѣтъ! Она давно и навсегда заслонила отъ

меня все остальное, и такъ мнѣ и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблукомъ наступитъ мнѣ на шею и вдавитъ мое лицо носомъ въ грязь. Боже мой!—воскликнулъ онъ, заламывая руки надъ головою и шагая по комнатѣ,—какое счастье для женщины быть безобразной!» [79]).

Въ этихъ словахъ, можетъ быть, и не совсѣмъ точныхъ, могло сказаться минутное настроеніе. Но характерна самая возможность такихъ настроеній. Не на одного Фета внѣшняя жизнь Тургенева у гг. Віардо производила тяжелое впечатлѣніе. Много лѣтъ спустя ему приходилось разубѣждать своихъ друзей, представлявшихъ его парижскую жизнь въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ.

Друзьямъ казалось, что Тургеневъ больной останется одинъ, въ душной и тѣсной комнатѣ. Опасенія, очевидно, вызывались дѣйствительностью. Тургеневу приходилось подробно описывать свою квартиру, ссылаться на обычай французовъ—устраивать комнаты небольшія, низкія, распространяться на счетъ своихъ будней. Не знаемъ, удавалось ли Тургеневу убѣдить своихъ друзей, что ему живется отлично. Мы впослѣдствіи должны будемъ разсказать о послѣднемъ, предсмертномъ періодѣ жизни Ивана Сергѣевича. Тогда мы увидимъ, что друзья, на основаніи собственныхъ писемъ Тургенева, имѣли полное основаніе безпокоиться объ его существованіи, даже стремиться пріѣхать къ нему, чтобы ухаживать за нимъ во время болѣзни. Безпокойство и стремленія—мы убѣдимся въ этомъ—вполнѣ основательны. Изображеніе послѣднихъ дней нашего писателя дополнитъ картину его личной жизни въ чужой семьѣ. Здѣсь не будетъ ни одной черты противорѣчивой или даже сомнительной: семья Віардо какъ была, такъ и оставалась для Тургенева нравственно-чуждой, не смотря на всѣ его усилія сродниться съ ней сердцемъ. Одиночество сопутствовало Тургенева съ первой минуты сознанія до могилы. Поѣздка заграницу не принесла Ивану Сергѣевичу нравственнаго удовлетворенія со стороны чужихъ, а свои отдалялись отъ него все больше съ каждымъ годомъ.

---

[79]) Фетъ, I, 157—9.

IV.

Мы видѣли, Тургеневъ покинулъ родной домъ противъ воли матери. Она, конечно, не сочла нужнымъ помочь ему,—онъ уѣхалъ, по словамъ вполнѣ достовѣрнаго свидѣтеля, «получивъ отъ матери весьма скромную сумму денегъ». Дальше тотъ же свидѣтель разсказываетъ, какъ Варвара Петровна почти каждый день говорила: «надо Ваничкѣ денегъ послать», и откладывала посылку день за день; случалось, и совсѣмъ забывала о ней [80]).

Для Тургенева начались годы въ полномъ смыслѣ бѣдственнаго существованія въ чужомъ краю. Одну зиму онъ живетъ на дачѣ Віардо въ полномъ одиночествѣ, питается супомъ изъ полукурицы и яичницей, вся прислуга его состоитъ изъ старухи-ключницы. Въ эти трудные дни возникаютъ *Записки охотника:* нужда вызываетъ дѣятельное творчество [81]).

Это собственный разсказъ Тургенева Фету. Другой очевидецъ передаетъ, что Тургеневъ въ теченіи цѣлыхъ лѣтъ жилъ «займами въ счетъ будущихъ благъ, забираніемъ денегъ у редакторовъ подъ ненаписанныя его произведенія—словомъ, велъ жизнь богемы знатнаго происхожденія, аристократическаго нищенства» [82]).

Всѣ эти свѣдѣнія подтверждаются письмами Тургенева. «Я прожилъ три года заграницей, не получая отъ нея ни копѣйки», пишетъ Тургеневъ о своей матери [83]). Письма Тургенева къ Краевскому, издателю *Отечественныхъ Записокъ*, даютъ подробныя свѣдѣнія по затронутому вопросу. Письма чаще всего заключаются въ просьбахъ о присылкѣ авансовъ или простой ссудѣ денегъ. Осенью 1849 года Тургеневъ сидитъ безъ копѣйки и не можетъ разсчитывать вообще «на подмогу изъ родительскаго дома». Въ концѣ года читаемъ: «Я нахожусь въ совершенной крайности». Триста рублей ему необходимы, чтобы спастись «отъ голодной смерти». Въ слѣдующемъ году та же исторія: «голодъ не тетка и я имѣю свирѣпыя намѣренія на вашъ карманъ», пишетъ Тур-

[80]) Житова, *Ib*, 580, 603.
[81]) Фетъ, I, 158.
[82]) Анненковъ, *Молодость*, *Ib.*, 466.
[83]) *Письма*, 233.

геневъ въ одномъ письмѣ; изъ другого узнаемъ о желаніи автора возвратиться въ Россію, но нѣтъ денегъ. Незадолго до этого извѣстія Тургеневъ сообщаетъ объ окончательномъ разрывѣ съ матерью и прибавляетъ: «*мнѣ приходится зарабатывать свой насущный хлѣбъ*». Слова эти подчеркиваются, очевидно, въ разсчетѣ сильнѣе подѣйствовать на тугого издателя.

Изъ этихъ же писемъ мы узнаемъ размѣръ гонорара, получаемаго Тургеневымъ въ началѣ литературной дѣятельности. «*Современникъ*» платитъ ему 50 р. за листъ, съ Краевскаго Тургеневъ требуетъ сначала 200 р. ассигнаціями, потомъ 75 р. сер., такъ какъ листъ *Отечественныхъ Записокъ* больше листа *Современника* [84]). И это—единственный источникъ: весной 1850 года узнаемъ, что мать уже полтора года не высылаетъ сыну «ни гроша»...

У Тургенева нѣтъ средствъ жить въ Парижѣ. Одну зиму онъ проводитъ въ деревнѣ Віардо, потомъ поселяется въ замкѣ Жоржъ Зандъ, на югѣ, почти на самой границѣ Испаніи, и здѣсь живетъ въ полномъ одиночествѣ, изрѣдка наѣзжаетъ въ Парижъ, старается не встрѣчаться съ своими знакомыми и снова исчезаетъ [85]). Это была жизнь, исполненная мелкихъ заботъ, жестокихъ страданій самолюбія по самымъ ничтожнымъ причинамъ, жизнь бѣдности, едва прикрытой и тѣмъ болѣе тяжелой и мучительной. Тургеневъ, не смотря ни на какія огорченія, дѣятельно продолжаетъ *Записки охотника: Ермолай и мельничиха*, *Мой сосѣдъ Радиловъ*, *Однодворецъ Овсянниковъ*, *Льговъ*, *Бурмистръ*, *Контора*—всѣ быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, всѣ они появляются въ теченіи одного 1847 года въ *Современникѣ*. Легко представить, какой богатый запасъ наблюденій, какое жгучее стремленіе поразить своего исконнаго врага—крѣпостное право—привезъ Тургеневъ заграницу! И мы не должны забывать, что эти удары во имя свободы наносятся въ то время, когда самъ авторъ томится подъ гнетомъ жесточайшаго рабства—бѣдности. Естественно, въ личной жизни Тургенева подчасъ невольно являются необъяснимые

---

[84]) *Отчетъ Императорской публичной библіотеки за 1890 годъ*. Спб. 1893 7, 8, 10, 11, 12, 15, 30.

[85]) Анненковъ, *Молодость*. Ib., 468. Ср. *Ист. В.* XIV, 370.

лихорадочные порывы. Никто не могъ догадаться, чѣмъ они вызывались, самъ Тургеневъ отказывался объяснить тотъ или другой свой поступокъ: жизнь его бѣжала слишкомъ нервно, безпокойно, лишенная твердой внѣшней опоры и спасительной увѣренности въ завтрашнемъ днѣ...

Въ маѣ 1847 года заграницу отправился Бѣлинскій, страдавшій уже смертельнымъ недугомъ. Геніальный критикъ чувствовалъ себя совершенно безпомощнымъ на чужой сторонѣ, съ нимъ на каждомъ шагу, по его словамъ, совершались «комическія несчастія». Но въ Берлинѣ ему удалось отыскать Тургенева и—пишетъ Бѣлинскій—«я почувствовалъ себя у пристани; со мною была моя нянька».

Тургеневъ повезъ своего друга сначала въ Дрезденъ, потомъ въ Зальцбруннъ. Отсюда Бѣлинскій послалъ знаменитое письмо Гоголю по поводу его *Переписки*. Тургеневъ писалъ *Бурмистра*, почти не покидая Бѣлинскаго. Былые жаркіе споры возобновились. Критикъ часто обращался къ молодому писателю: «Мальчикъ—берегитесь—я васъ въ уголъ поставлю». Это была добродушная, отеческая шутка. Бѣлинскій по прежнему глубоко уважалъ Тургенева и возлагалъ на него большія надежды. Онъ одобрилъ *Бурмистра*, замѣтивъ съ обычнымъ страстнымъ негодованіемъ по поводу Пѣночкина: «что за мерзавецъ—съ тонкими вкусами!..» Въ общемъ, жизнь въ Зальцбруннѣ была все-таки слишкомъ однообразна. Тургеневъ не выдержалъ и покинулъ друзей, обѣщая скоро вернуться.

Этого возвращенія не послѣдовало, и самъ Тургеневъ не могъ понять, какъ это произошло. Хитрость, конечно, была безцѣльна, и для всѣхъ ея мотивы остались тайной. Тургеневъ, повидимому, успѣваетъ въ короткое время побывать въ Берлинѣ, въ Лондонѣ, въ Парижѣ. Онъ будто гоняется за жизнью: съ такимъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ онъ переживаетъ каждый день и впослѣдствіи все еще жалѣетъ о дурно растраченной молодости.

Событія 1848 года застаютъ Тургенева въ Парижѣ. Онъ наблюдаетъ великій переворотъ, пишетъ потомъ рядъ воспоминаній изъ эпохи февральскихъ и іюньскихъ дней; *Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ*, *Наши послали*, съ изумительной проницательностью угадывая смыслъ событій и характеры дѣйствующихъ лицъ. Въ томъ

же году и, по всей вѣроятности, въ Парижѣ, возникаетъ рядъ новыхъ разсказовъ изъ *Записокъ охотника*; онѣ продолжаются и въ слѣдующіе три года: послѣдніе разсказы—*Бѣжинъ лугъ* и *Касьянъ съ Красивой Мечи*; всѣ они печатаются въ *Современникѣ*. Двадцать лѣтъ спустя, Тургеневъ возобновляетъ свои записки—пишетъ *Конецъ Чертопханова*. Разсказъ не нравится его друзьямъ и одинъ изъ нихъ беретъ съ автора слово—«никогда впредь никакихъ прибавленій и продолженій къ *Запискамъ охотника* не дѣлать» [86]).

Разсказы, въ сущности, личныя воспоминанія автора, большинство героевъ—его знакомые, охотничьи происшествія, описанныя въ *Запискахъ*, были извѣстны не одному Тургеневу, знали о нихъ его друзья, принимавшіе участіе въ его охотахъ. Исторіи излагались съ необыкновенной простотой, оказывались доступными пониманію всякаго грамотнаго человѣка. Это—великое достоинство художественнаго произведенія.

Есть извѣстіе, будто императоръ Александръ II выразилъ свое сочувствіе *Запискамъ охотника*, даже лично заявилъ автору, что «съ тѣхъ поръ, какъ онъ, государь, прочелъ *Записки охотника*, его ни на минуту не оставляла мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости» [87]).

Это извѣстіе приписывается самому Тургеневу. Оно проникло и въ западную печать: Додэ даже сообщаетъ, что Александръ II о произведеніяхъ Тургенева выражался: это мои настольныя книги [88]).

Въ такого рода сообщеніяхъ могутъ быть неточности; но для насъ важно вліяніе *Записокъ охотника* въ эпоху, когда поднимался вопросъ о великой реформѣ. Вліяніе это внѣ всякаго сомнѣнія.

Его во всей полнотѣ признавалъ самъ авторъ. «Если бы я гордился подобными вещами», говорилъ онъ, «я попросилъ бы только объ одномъ, чтобы на моей могилѣ изобразили что̀ сдѣлала моя

---

[86]) *Письма*, 209. Анненковъ.

[87]) *Ист. В.* XIV, 457. Въ *Journal des Goncourt* Тургеневу приписываются слѣдующія слова: «L'Empereur Alexandre m'a fait dire que la lecture de mon livre a été un des grands motifs de sa détermination». V, 24.

[88]) *Иностр. крит.*, 197.

книга для освобожденія рабовъ. Да, я попросилъ бы только объ этомъ...»

Записки Охотника—въ полномъ смыслѣ классическая книга нашей народнической литературы. И здѣсь не столько важна талантливость разсказчика, сколько его отношеніе къ предмету. Въ разсказѣ можно отыскать сколько угодно неловкихъ и неудачныхъ выраженій, лишнихъ или явно искусственныхъ и вымышленныхъ подробностей—все это въ свое время было сдѣлано, между прочимъ, семьей Аксаковыхъ, но подобные розыски въ сущности безцѣльная работа: они ни на минуту не поколеблютъ высокаго историческаго значенія книги. И это значеніе можетъ быть выражено просто и точно: Тургеневъ показалъ, что крѣпостные мужики не только люди, но что имъ доступны такіе же сложные душевные процессы, такая же многосторонняя нравственная жизнь, какъ и всѣмъ лучшимъ представителямъ культурнаго общества.

Раньше еще въ XVIII вѣкѣ, Радищевъ и Новиковъ, не мало говорили о простой и доброй душѣ русскаго человѣка, о его природномъ умѣ, объ его терпимости и гуманности, но никто не умѣлъ ввести своихъ читателей и слушателей въ самыя нѣдра этой души, поставить невѣрующихъ лицомъ къ лицу съ мужицкимъ духовнымъ міромъ и заставить увидѣть здѣсь всѣ признаки истинно-человѣческой и притомъ богато одаренной натуры.

Тургеневъ это сдѣлалъ безъ всякаго партійнаго задора, безъ чувствительныхъ изліяній, безъ преднамѣреннаго подбора фактовъ и лицъ. Читая его книгу, вы невольно чувствуете, что иначе и быть не можетъ, что иныхъ типовъ народная русская жизнь не могла и создать. Предъ вами больше чѣмъ фактическая исторія: предъ вами совершенно естественное, неизбѣжное развитіе психологическихъ законовъ.

А между тѣмъ, сколько новаго узнавала публика изъ этихъ, столь, повидимому, обыкновенныхъ повѣствованій! И узнавала именно то, чего менѣе всего могла ожидать.

Писатель съ особенною любовью останавливается на одной чертѣ русскаго мужика. Съ теченіемъ времени эта черта вошла въ большую моду, въ ней стали видѣть спеціальный признакъ славянской природы, а французскіе критики отыскали здѣсь даже родство русскаго народа съ буддистами.

Тургеневъ, вѣроятно, и не подозрѣвалъ такихъ выводовъ. Онъ просто показалъ рядъ личностей, одаренныхъ изумительнымъ поэтическимъ чувствомъ природы, безгранично гуманныхъ, соединяющихъ глубокую вдумчивость съ младенческимъ незлобіемъ. Это одинъ типъ.

Другой не имѣетъ ничего общаго ни съ поэзіей, ни съ ясной наивностью души,—но для высшей публики долженъ былъ казаться столь же неожиданнымъ среди деревенской дикости и глупости. Одного изъ этихъ героевъ авторъ сравниваетъ съ Сократомъ. Предъ нами дѣйствительно самоувѣренная житейская мудрость, воспитанная многолѣтними тяжелыми опытами, мудрость—холодная, отчасти скептическая, но спокойная, добродушная, совершенно чуждая хищническихъ инстинктовъ.

Эти два типа занимаютъ первое мѣсто въ *Запискахъ*. Авторъ каждый изъ нихъ иллюстрируетъ нѣсколькими фигурами: Калинычъ, Касьянъ, отчасти Ермолай, и Хорь, Моргачъ, Овсянниковъ, мечтательные созерцатели и практическіе мудрецы. И всѣ они при всемъ своемъ несродствѣ, — русскіе до послѣдняго нерва, русскіе—въ каждомъ словѣ, въ каждомъ ощущеніи. Вы видите, эти своеобразные поэты и философы могли возникнуть только на русской почвѣ и притомъ—крѣпостнической.

Крѣпостная зависимость отдѣляла крестьянъ непроходимой пропастью отъ остальнаго человѣческаго общества, вообще отъ умственной культуры. Мужику приходилось собственными силами и въ своей собственной средѣ искать удовлетворенія насущнымъ запросамъ человѣческой души. Кругомъ—люди или равнодушные или враждебные ему. Рядомъ съ нимъ—такіе же «униженные и оскорбленные», какъ и онъ самъ. Всякій, кто сколько-нибудь по своимъ способностямъ и природнымъ наклонностямъ выдавался надъ темной средой, долженъ былъ чувствовать глубокое, мучительное одиночество. Не съ кѣмъ отвести душу, некому повѣрить глубокія движенія сочувствія, вложенныя такъ некстати въ сердце раба.

Отсюда—меланхолическая мечтательность, необыкновенно чуткое участіе въ явленіяхъ природы, почти болѣзненная симпатія ко всему слабому, беззащитному. Крѣпостной мужикъ, имѣвшій несчастіе родиться впечатлительнымъ и любящимъ, неминуемо пре-

вращался въ юродивца—вродѣ Калиныча и Касьяна. Они живутъ въ мiру, но отличаются всѣми свойствами пустынниковъ и отшельниковъ. Они совершенно неприспособлены къ практической подневольной дѣятельности — единственной, какая только и доступна крестьянину. Это и есть ихъ неразумiе: такъ судятъ о нихъ заурядные наблюдатели, такъ думаютъ и они сами.

Касьянъ на вопросъ, чѣмъ онъ промышляетъ, отвѣчаетъ:

«Живу, какъ Господь велитъ,—а чтобы то есть промышлять— нѣтъ, ничѣмъ не промышляю. Неразуменъ я больно, съ мальства; работаю, пока мочно,—работникъ-то я плохой... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ, и руки глупы...»

Но это не тунеядство, всегда идущее рядомъ съ нравственнымъ и умственнымъ отупѣнiемъ. Напротивъ, въ душѣ Касьяна совершаются въ высшей степени сложные процессы, у него сложилось цѣлое мiросозерцанiе,—настолько жизненное и для него осмысленное, что Касьянъ подчиняется извѣстнымъ теорiямъ въ своихъ отношенiяхъ къ внѣшнему мiру.

Предъ нами типичное «существо не отъ мiра сего», на этотъ разъ только не въ высоко-развитой средѣ интеллигентнаго общества, а въ деревенскомъ, темномъ углу. И духовное содержанiе этого существа едва ли не возвышеннѣе и идеальнѣе, чѣмъ поэтическая, безпредметная мечтательность—такъ называемыхъ исключительныхъ, ангелоподобныхъ натуръ, выростающихъ на почвѣ удручающей праздности и мучительныхъ эгоистическихъ поисковъ за личнымъ счастьемъ, за удовлствоpенiемъ фантастическихъ прихотей...

Касьянъ при всемъ своемъ «неразумiи» находитъ возможнымъ приносить нравственную и даже практическую пользу людямъ. Онъ дѣйствительно живетъ одною жизнью съ природой,—не въ минуты поэтическаго вдохновенiя и восторженныхъ созерцанiй, а потому, что иной жизни у него и нѣтъ. Онъ знаетъ голосъ каждой птицы, умѣетъ перекликнуться съ ней, подхватить ея пѣсню. Каждая травка и цвѣтокъ возбуждаютъ у него тѣ самыя чувства, какими у другихъ людей сопровождаются воспоминанiя о старыхъ друзьяхъ. И эти его друзья оказываютъ ему великiя услуги, какихъ никогда никому не дождаться отъ людей. Даже ключевая вода настраиваетъ его на ре-

лигіозныя мысли, а степи охватываютъ его душу трепетнымъ восторгомъ.

И опять это не самоусладительная мечтательность культурнаго «ангела». Касьяна болѣзненно поражаетъ всякое страданіе не только среди людей, даже у птицъ, а дѣвочка Аннушка въ самомъ звукѣ его голоса вызываетъ неизъяснимую страстную нѣжность.

Очевидно, это великій родникъ міровой и человѣческой любви, заброшенной въ рабскую жестокую среду... Кто могъ подозрѣвать существованіе такихъ тайнъ подъ сѣрымъ мужицкимъ армякомъ? Кто умѣлъ на уродливомъ, смѣшномъ лицѣ убогаго карлика прочесть отраженіе благородной поэтической души?

Единственный писатель, еще въ дѣтствѣ умѣвшій подмѣтить и понять драму нѣмого мужика Андрея и разсказать ее въ трогательной повѣсти о Герасимѣ и его собачкѣ Муму,—въ повѣсти, вызывавшей слезы у такихъ людей, какъ Карлейль.

И для Тургенева, очевидно, являлось особенно симпатичнымъ, дорогимъ дѣломъ—открывать публикѣ идеальныя и поэтическія стороны народной души и жизни. Для автора нѣтъ настолько ничтожныхъ, задавленныхъ жертвъ невыносимыхъ бытовыхъ условій, чтобы онѣ не представляли никакого интереса для нашего просвѣщеннаго вниманія. Даже Степушка, совершенно, повидимому, жалкое, безличное созданіе, все поглощенное заботой о кормѣ, ни для кого незамѣтное и рѣшительно никому ненужное, — даже эта инфузорія житейскаго моря оказывается чуткой и отзывчивой на чужое горе. И какъ тонко, до умилительности просто авторъ даетъ это понять читателямъ!

Мужикъ только-что разсказалъ о своемъ горѣ, разсказалъ, какъ только можетъ разсказывать мужикъ—безъ фразъ, безъ вздоховъ и жалобъ. И словъ въ его рѣчи несравненно меньше, чѣмъ фактовъ, и ни малѣйшаго разсчета на сочувствіе слушателя.

Степа слушалъ молча, можетъ быть онъ и передъ этимъ молчалъ цѣлые дни, такъ какъ врядъ ли кто интересовался поговорить съ нимъ.

И вдругъ на лаконическую, повидимому, совершенно равнодушную рѣчь мужика, у Степы невольно, безъ его вѣдома, срывается нѣсколько словъ:

— Да ты бы... того...

И только. Степа смѣшался, замолчалъ, онъ не знаетъ куда глаза дѣвать—отъ конфуза. Такъ для него необыкновенна даже такая рѣчь.

Но для васъ достаточно и этихъ звуковъ. Вы почувствовали трепетъ живой человѣческой души, на васъ повѣяло дыханіе неумирающаго гуманнаго чувства, этого, по представленію автора, исконнаго свойства русской натуры.

То же самое и въ другомъ господствующемъ типѣ мужика, мыслителя, Сократа, энергичнаго дѣятеля и устроителя своего мужицкаго благосостоянія.

Хорь и Овсянниковъ—оба обязаны только себѣ. Овсянниковъ живетъ уже въ эпоху свободы и ему, конечно, несравненно легче оберегать свою независимость и личное достоинство. Но Хорь—крѣпостной. Замѣчательно,—онъ также, какъ и мужики-мечтатели и поэты, постарался выдѣлиться изъ общаго мужицкаго круга, даже поселился въ сторонѣ отъ деревни, зажилъ одинъ съ семьей на болотѣ и быстро показалъ, чего можетъ достигнуть даже сравнительно независимый и въ конецъ неподавленный лично мужикъ. Авторъ отнюдь не идеализируетъ своего героя. Хорь, умѣвшій разбогатѣть, насквозь понимающій и своего барина, и вообще жизнь всякихъ господъ и ихъ подданныхъ, относится къ своей дѣятельности и чужимъ взглядамъ крайне осторожно. Это громадная нравственная сила, по существу скептическая, тяжелая на подъемъ, осмотрительная, даже боязливая. Вѣка подневольнаго существованія воспитали въ мужикѣ глубокое сознаніе, чего иной разъ стоитъ одинъ опрометчивый шагъ, воспитали такое представленіе о личной отвѣтственности за каждое слово и дѣйствіе, какое было совершенно недоступно господину.

Нуженъ длинный рядъ опытовъ, чтобы Хорь призналъ пользу такого, повидимому, безусловно-полезнаго пріобрѣтенія, какъ грамота. Но разъ онъ убѣдился въ этой пользѣ,—его уже не остановятъ никакія препятствія, и именно Хорь даетъ автору поводъ для оригинальнаго заключенія: «Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ». Какая смѣлость, на основаніи наблюденій надъ крѣпостнымъ оброчнымъ мужикомъ составлять характеристику величайшаго изъ государственныхъ реформаторовъ!

Неужели, въ самомъ дѣлѣ, натура мужика до такой степени типична, поучительна, что можетъ навести даже на самыя широкія философскія и политическія соображенія?

Господину Полутыкину, барину Хоря, этого и во снѣ не грезится. Онъ просто видитъ въ своемъ данникѣ ловкаго, оборотливаго дѣльца, по просту кулака. До міросозерцанія Хоря барину нѣтъ никакого дѣла, онъ и не подозрѣваетъ, насколько этотъ смиренный подданный умственно стоитъ выше его и какъ ясно видитъ всю мелкоту его души. Является писатель, и въ болотномъ отшельникѣ открываетъ настоящаго русскаго философа, со многими традиціонными и наслѣдственными странностями въ родѣ глубокаго презрѣнія къ бабамъ, но съ необыкновенно твердыми и вполнѣ опредѣленными принципіальными воззрѣніями.

Таковы главнѣйшіе мотивы тургеневской народной поэзіи и таковы результаты его наблюденій надъ народомъ. Мы взяли только самыя существенныя данныя, мы опустили множество общихъ чертъ, по мнѣнію автора, присущихъ едва ли не каждому русскому мужику. Припомните, напримѣръ, съ какой настойчивостью Тургеневъ подчеркиваетъ изумительную способность не только взрослыхъ мужиковъ, а даже подростковъ-парней—дѣйствовать просто, находчиво, съ полнымъ самообладаніемъ въ самыхъ критическихъ положеніяхъ?

Помните, какъ Ермолай, внезапно затонувъ въ пруду, въ тотъ же моментъ опредѣляетъ, что надо дѣлать, не умѣя плавать, отправляется искать бродъ, долго ищетъ и возвращается къ товарищамъ, такъ основательно изучивъ дно пруда въ теченіе какого-нибудь часа, будто это была открытая дорога.

И все это дѣлается молча, безъ всякой похвальбы, будто иначе и быть не можетъ. И авторъ не подчеркиваетъ фактовъ, для насъ достаточно именно только факта: они, при всей своей будничности, краснорѣчивѣе всякихъ тирадъ.

То же самое съ мальчикомъ Павлушей.

На ночномъ встревожились собаки. Павлушѣ вспала мысль, что это волки, и онъ, ни минуты не раздумывая, «безъ хворостинки въ рукѣ», скачетъ одинъ и совершенно равнодушно сообщаетъ потомъ своимъ пріятелямъ: «Ничего... Я думалъ волкъ».

Пусть послѣ того стали бы говорить о врожденномъ рыцарствѣ благородныхъ господъ, объ ихъ привилегированной доблести. Здѣсь мужики, даже мальчикъ идетъ на вѣрную опасность, не справляясь ни съ какимъ «долгомъ чести», а просто по внушенію своей великодушной, инстинктивно-отважной натуры.

И авторъ не скрываетъ своего глубокаго уваженія къ этой натурѣ. Чтобы выразить восторгъ предъ пѣньемъ парня и представить всю мощь прочувствованныхъ звуковъ неотразимо-чарующаго голоса, онъ говоритъ:

«Русская правдивая горячая душа звучала и дышала въ немъ и такъ и хватала всѣхъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны...»

И слезы закипали у слушателя...

Часто ли доступна такая глубина ощущеній въ роскошныхъ салонахъ, переполненныхъ всевозможными произведеніями культурнаго искусства? Часто ли здѣсь проливаютъ такія искреннія, такія осмысленныя слезы, когда модный пѣвецъ услаждаетъ слухъ млѣющихъ красавицъ самыми модными аріями?

Пусть даже и часто,—но слезы, оказывается, могутъ быть вызваны у господина пѣніемъ какого-то черпальщика на бумажной фабрикѣ. И авторъ вложилъ въ свой разсказъ столько искренняго чувства, что ему нельзя не вѣрить, нельзя даже не позавидовать его впечатлѣніямъ.

Въ мужикѣ открыты и сердце, и умъ, и даже высшій цвѣтъ человѣческой жизни—поэзія. И все это—безъ всякихъ украшеній, цвѣтистыхъ рекомендацій со стороны обладателей этихъ сокровищъ и чувствительныхъ томленій и восторговъ автора. Простая, но геніальная исторія о простыхъ, но великихъ предметахъ!

Первое изданіе вышло въ 1852 году, въ двухъ томахъ, въ Москвѣ. Цензоръ, пропустившій книгу, немедленно былъ уволенъ, возбудили вопросъ о конфискаціи, но было уже поздно; сочиненіе успѣло разойтись по всей Россіи. Автору этого не простили, и ждали только случая наказать его. Случай не замедлилъ представиться...

Тургеневъ пріѣхалъ въ Россію весной 1850 года, вызванный вѣстями о болѣзни матери. Варвара Петровна съ нетерпѣніемъ

ждала сына, радостно его встрѣтила, но, въ сущности, отношенія ея къ нему и къ старшему сыну не измѣнились. Они по прежнему должны были жить въ крайней нуждѣ. Иванъ Сергѣевичъ сталъ извѣстностью, приглашенія въ Петербургѣ и въ Москвѣ сыпались на него со всѣхъ сторонъ, а у него часто не бывало нѣсколькихъ копѣекъ—заплатить извощику. Еще тяжелѣе было положеніе Николая Сергѣевича, обремененнаго семьей. Братья рѣшились, наконецъ, заговорить, «въ самыхъ нѣжныхъ и почтительныхъ выраженіяхъ просили они мать опредѣлить имъ хотя небольшой доходъ, чтобы знать, сколько они могутъ тратить, а не безпокоить ее изъ-за каждой необходимой бездѣлицы» [89]).

Варвара Петровна въ отвѣтъ жестоко посмѣялась надъ сыновьями, обѣщала все сдѣлать и ничего не сдѣлала: это былъ какой-то злорадный опытъ надъ покорностью сыновей. Иванъ Сергѣевичъ не вытерпѣлъ,—не за себя, а за брата. Онъ искренно заявилъ матери, какъ жестоко играть комедію съ человѣкомъ, обреченнымъ на всевозможныя лишенія вмѣстѣ со своей семьей. Разговоръ скоро перешелъ на болѣе широкую почву, сынъ сталъ укорять мать вообще за ея отношенія къ людямъ. Варвара Петровна прогнала его съ глазъ долой. Это было страшнымъ горемъ для сына, неизмѣнно-любящаго и преданнаго. Онъ не могъ удержаться отъ слезъ. Братья уѣхали въ отцовскую деревню, Тургенево.

Разрывъ подѣйствовалъ и на Варвару Петровну. Ея здоровье давно надломилось, теперь оно быстро разрушалось. Сыновья писали ей письма, но отвѣта не получали. Иванъ Сергѣевичъ тайно пріѣзжалъ освѣдомляться о здоровьѣ матери и глубоко раскаявался въ своемъ разговорѣ съ ней. Въ ноябрѣ Варвара Петровна скончалась. Ивану Сергѣевичу почему-то не успѣли сообщить о наступающемъ концѣ, онъ не засталъ мать въ живыхъ, о чемъ не переставалъ сѣтовать до конца своей жизни.

Послѣдовалъ раздѣлъ наслѣдства между братьями. Иванъ Сергѣевичъ выказалъ необыкновенную уступчивость, пожелалъ удержать за собой Спасское, а большую часть лучшихъ имѣній усту-

---

[89]) Житова, *Ib.*, 611.

пилъ брату, не протестовалъ, когда жена брата забрала все движимое имущество Варвары Петровны, серебро, драгоцѣнности, не оставила въ Спасскомъ ни одной ложки. Иванъ Сергѣевичъ долженъ былъ всѣмъ снова обзаводиться" [90]).

Относительно крестьянъ и дворовыхъ онъ поспѣшилъ загладить вины матери: дворовыхъ немедленно отпустилъ на волю, многихъ крестьянъ, изъявившихъ желаніе, перевелъ на оброкъ, ближайшихъ слугъ матери осыпалъ наградами. Дворовымъ были розданы десятки десятинъ земли и лѣсу. Раздача производилась крайне неосторожно. Иванъ Сергѣевичъ дарилъ бывшимъ дворовымъ землю у самой усадьбы, и съ теченіемъ времени новые владѣльцы стали тѣснить своего барина. Въ Спасскомъ, былъ колодецъ съ превосходной ключевой водой. Иванъ Сергѣевичъ былъ убѣжденъ, что такой воды нѣтъ во всемъ мірѣ, но облагодѣтельствованные имъ новые владѣльцы загородили всѣ пути къ колодцу,—Ивану Сергѣевичу стоило не малаго труда пробираться къ нему [91]).

Этотъ мелкій фактъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о терпимости и благодушіи Тургенева. Взаимныя отношенія барина и его крѣпостныхъ характеризуются однимъ изъ бывшихъ тургеневскихъ крестьянъ въ такихъ словахъ:

«Иванъ Сергѣевичъ былъ человѣкъ мягкій, добрый, въ высшей степени благородный. Крестьяне называли его «хорошимъ бариномъ», «добрымъ бояриномъ», «батюшкой», выражали иногда: «гуторятъ люди, что нашъ-то слѣпой («слѣпымъ» называли Ивана Сергѣевича потому, что онъ никогда не разставался съ pince-nez), пріѣхалъ и ужъ ушелъ съ Дьянкою на позаранкѣ... «Что вы довольны моимъ управляющимъ?» обыкновенно спрашивалъ Иванъ Сергѣевичъ своихъ крестьянъ, когда пріѣзжалъ въ Спасское и созывалъ «сходку», «міръ» крестьянъ.—«Очень довольны, батюшка ты нашъ, Иванъ Сергѣевичъ», отвѣчали каждый разъ мужики» [92]).

Эти отношенія, какъ увидимъ, не измѣнились и послѣ реформы. Иванъ Сергѣевичъ неизмѣнно—до послѣднихъ дней своей

---

[90]) Полонскій, 499. Григоровичъ, *Воспоминанія*, гл. XIII, *Русск. М. Ib.*

[91]) Полонскій, 500. *Письма*, 234.

[92]) *Русск. Вѣстн.*, 361—2. *Воспомин. о селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ.*

жизни—оставался благодѣтелемъ своихъ крестьянъ и, что̀ особенно рѣдко и удивительно, близкимъ для нихъ человѣкомъ.

Тургеневъ не покидалъ Россіи до 1856 года, проживая въ Петербургѣ или въ Спасскомъ. Въ Петербургѣ онъ быстро занялъ въ обществѣ то самое положеніе, какимъ пользовался въ кругу берлинскихъ писателей. Съ перваго же года его пребыванія на родинѣ его гостиная сдѣлалась сборнымъ мѣстомъ для людей изъ всѣхъ классовъ общества.

Тургеневъ сталъ *любимымъ* писателемъ. Его знакомствомъ одинаково дорожили и герои свѣтскихъ салоновъ, и представители литературы и искусства, и ученые. Иванъ Сергѣевичъ, обладая блестящимъ образованіемъ, громадной начитанностью и рѣдкимъ знаніемъ заграничной жизни, могъ удовлетворить интересамъ всѣхъ своихъ гостей. Красавецъ, всегда изящный, остроумный, исполненный чисто-русскаго благодушія и по русски гостепріимный, онъ возбуждалъ всеобщее вниманіе какъ писатель и какъ личность. Тургеневъ съ одинаковымъ радушіемъ принималъ и знаменитостей, и людей неизвѣстныхъ, безъ имени.

Личное благородство Ивана Сергѣевича не отрицалось даже его врагами. Современникъ, превосходно его знавшій, пишетъ объ этомъ періодѣ его жизни: «Онъ обладалъ однимъ замѣчательнымъ качествомъ: за нимъ ничего не пропадало. Онъ никогда не оставался въ долгу ни за какое дѣло, ни за оказанное расположеніе, ни за наслажденіе, доставленное ему произведеніемъ, ни за простую потѣху, почерпнутую въ той или другой формѣ. Все это онъ помнилъ хорошо, и такъ или иначе, рано или поздно находилъ случай отыскать и отблагодарить по-своему человѣка за интеллектуальную услугу, полученную отъ него когда-то» [93]).

Тургеневъ отличался одной страстью, не особенно распространенной среди литераторовъ,—страстью открывать новые таланты и создавать имъ успѣхъ и славу. Нерѣдко ему приходилось раскаяваться въ своихъ слишкомъ благосклонныхъ и нерѣдко поспѣшныхъ приговорахъ. Тургеневъ попадалъ въ комическія положенія съ своими «геніями». Друзьямъ часто не представляло боль-

---

[93]) Анненковъ.

шого труда развѣнчать того или другого изъ нихъ. Тургеневъ негодовалъ на придирчивыхъ критиковъ и иногда наказывалъ ихъ самихъ старымъ своимъ оружіемъ—эпиграммой.

Но ничто не могло помѣшать Тургеневу осыпать нуждающихся денежными подарками. Очевидецъ считаетъ невозможнымъ пересчитать всѣхъ, обязанныхъ Тургеневу матеріально, другой свидѣтель приводитъ цифру пенсій, которыя ежегодно раздавалъ Тургеневъ, до 8.000 рублей [94]).

Естественно, при такихъ условіяхъ, домъ Тургенева былъ всегда переполненъ гостями и просителями. Гостей, даже если бы они и не чувствовали особеннаго интереса къ литературѣ, должна была привлекать бесѣда Тургенева. По словамъ очевидца, невозможно было найти болѣе веселаго, остроумнаго собесѣдника [95]).

Это въ полномъ смыслѣ исключительное соединеніе качествъ писателя, человѣка, товарища, представителя салоннаго общества.

Мы неоднократно будемъ имѣть случай убѣдиться, какою скромностью отличался Тургеневъ въ оцѣнкѣ *своего* таланта и *своихъ* заслугъ. Онъ поощрялъ таланты другихъ писателей, искренно убѣжденный, что онъ такимъ путемъ приноситъ пользу обществу. Извѣстенъ характерный фактъ. Тургеневъ умолялъ извѣстнаго историка Забѣлина—дать согласіе на напечатаніе какого-либо изъ его трудовъ. «Нельзя же мнѣ», говорилъ геніальный художникъ, уже авторъ *Записокъ Охотника*, «тяготить весь вѣкъ мой землю безъ пользы для другихъ: дайте мнѣ возможность сдѣлать что-либо для общества».

Не прошло двухъ лѣтъ по возвращеніи Тургенева на родину,—надъ нимъ разразилась давно собиравшаяся гроза. Вызвана она была, сравнительно, второстепеннымъ фактомъ.

Тургеневъ такъ разсказываетъ о немъ. Въ началѣ февраля онъ узналъ въ Петербургѣ о кончинѣ Гоголя. Тургеневъ благоговѣлъ предъ его великимъ талантомъ, зналъ, кромѣ того, что Гоголь не оставался въ долгу за это благоговѣніе. Авторъ *Ревизора* заявлялъ: «во всей теперешней литературѣ больше всѣхъ та-

---

[94]) Анненковъ. *Молодость*, *Ib.*, 464. Полонскій, 500.

[95]) Григоровичъ, *Ib.*, 39.

ланта у Тургенева» [96]). Многіе взгляды писателей были различны, нѣкоторые совершенно противоположны, но Тургенева не могла не поразить смерть геніальнаго художника. Подъ первымъ впечатлѣніемъ извѣстія онъ написалъ статью. Въ Петербургѣ напечатать статью оказалось невозможнымъ: имя Гоголя вообще было запрещено упоминать въ печати, были крайне недовольны торжественнымъ характеромъ похоронъ писателя. Благодаря этому, ни одинъ петербургскій журналъ не отозвался на смерть одного изъ величайшихъ русскихъ писателей. Повторялась исторія, происходившая во время смерти Пушкина. Объ этомъ событіи нѣсколько строкъ было напечатано въ единственномъ періодическомъ изданіи, въ *Литературныхъ прибавленіяхъ* къ *Русскому Инвалиду*, и за этотъ поступокъ редакторъ прибавленій А. Краевскій немедленно поплатился жестокимъ выговоромъ.

Теперь въ положеніе Краевскаго попалъ Тургеневъ, но расплата была несравненно тяжелѣе.

Тургеневъ препроводилъ свою статью въ Москву и статья появилась въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* въ половинѣ марта, а 16 апрѣля авторъ, по высочайшему повелѣнію, былъ посаженъ на мѣсяцъ подъ арестъ въ части, и по истеченіи этого срока долженъ былъ отправиться въ деревню на жительство. Первые двадцать четыре часа Иванъ Сергѣевичъ провелъ въ сибиркѣ въ обществѣ «изысканно-вѣжливаго и образованнаго полицейскаго унтеръ-офицера», который разсказывалъ ему о своей прогулкѣ въ Лѣтнемъ саду и объ «ароматѣ птицъ».

Въ высшемъ петербургскомъ обществѣ нашлись лица, сочувствовавшія этой мѣрѣ.

Здѣсь были возмущены особенно тѣмъ, что Тургеневъ въ статьѣ называлъ Гоголя «великимъ человѣкомъ». Совершенно такое же возмущеніе было вызвано подобнымъ выраженіемъ въ замѣткѣ по поводу смерти Пушкина: тамъ говорилось о «великомъ поприщѣ» покойнаго.—«Какое такое поприще?»—укоряли автора этого выраженія,—«развѣ Пушкинъ былъ полководецъ, военачальникъ, министръ, государственный мужъ?!. Писать стишки не значитъ еще проходить великое поприще».

[96]) *Письма*, 19. Письмо Боткина къ Тургеневу, прим. 2.

Тургеневъ рѣшилъ обратиться съ ходатайствомъ къ цесаревичу Александру Николаевичу, и въ письмѣ отъ 27 апрѣля искренно объяснялъ свой поступокъ горестью объ умершемъ писателѣ. Въ результатѣ письма Тургенева изъ части перевели въ квартиру частнаго пристава. Здѣсь онъ могъ заниматься, хотя предъ его глазами постоянно проходили картины полицейскихъ расправъ. При такихъ условіяхъ возникъ разсказъ *Муму*. Эту исторію Карлейль считалъ самой трогательной, какую только ему случалось читать...

Исторія была личнымъ воспоминаніемъ Тургенева и припомнились ему имена и факты именно въ полицейскомъ домѣ, можетъ быть, подъ вліяніемъ ежедневныхъ сценъ дѣйствительности. Герой разсказа—нѣмой Герасимъ—типичная жертва крѣпостнической прихоти.

Нѣмого въ самомъ дѣлѣ звали Андреемъ, драма его разсказана почти съ исторической точностью,—только на самомъ дѣлѣ драма едва ли не трогательнѣе, и нѣмой едва ли не симпатичнѣе, чѣмъ въ разсказѣ. Онъ и послѣ того, какъ, по волѣ помѣщицы, лишился своей Муму, сохранилъ къ госпожѣ прежнюю преданность, до самой ея смерти служилъ ей. Мы знаемъ всю эту исторію со словъ вполнѣ достовѣрнаго свидѣтеля и этотъ свидѣтель впослѣдствіи изумлялся, какъ Иванъ Сергѣевичъ—одинъ изъ всѣхъ—съумѣлъ такъ глубоко проникнуть въ душу нѣмого крестьянина, такъ пристально заинтересовался его тоской и страданіями. Никому ничего подобнаго и въ голову не приходило [97]). Свидѣтель правъ: нужно было питать исключительную любовь къ крѣпостному, чтобы такъ изучить и такъ воспроизвести его душевную жизнь...

Изъ подъ ареста Тургеневъ былъ отправленъ въ Спасское—и лишенъ права выѣзда изъ деревни. Это было страшнымъ лишеніемъ для него. Онъ не могъ похоронить себя въ деревенскомъ уединеніи,—онъ, всю жизнь стремившійся къ культурнымъ живымъ центрамъ, считавшій уединеніе даже вреднымъ для художественнаго творчества. Однажды онъ привелъ въ ужасъ своихъ московскихъ друзей, явившись въ Москву съ подложнымъ паспортомъ на имя какого-то мѣщанина. Его навѣщали знакомые, но замѣнить

---

[97]) В. Н. Житова. *В. Е.* 1884, ноябрь, 120.

ему столицы не могли. Онъ старался наполнить время усиленной работой и даже писалъ, что не чувствуетъ скуки и будто его пребываніе въ деревнѣ зимой полезно для приведенія въ порядокъ разстроенныхъ дѣлъ [98]).

Письмо это относится къ половинѣ ноября 1852 года. Ровно черезъ годъ ссылка должна была окончиться. Тургеневъ жаловался на свое положеніе въ Петербургъ, ему посовѣтовали написать просьбу о помилованіи. Тургеневъ исполнилъ совѣтъ и 23 ноября 1853 года получилъ позволеніе выѣзжать въ столицы [99]).

Всѣ были убѣждены, что кара постигла Тургенева не столько за его статью о Гоголѣ, сколько за *Записки Охотника*. Это вполнѣ вѣроятно въ виду обстоятельствъ, сопровождавшихъ появленіе этихъ произведеній отдѣльнымъ изданіемъ.

Арестъ и ссылка увеличили популярность Тургенева. Кругъ его знакомствъ еще болѣе расширился, на него невольно стали смотрѣть, какъ на первенствующаго выразителя лучшихъ стремленій современнаго общества. Только что перенесенная кара и общественное мнѣніе возлагали на писателя новую отвѣтственность, и Тургеневъ скоро вступаетъ въ новый періодъ художественнаго развитія.

Высокая общественная роль Тургенева имѣла случай обнаружиться практически на второй годъ его освобожденія. Мусинъ-Пушкинъ, попечитель Петербургскаго учебнаго округа, главный виновникъ ареста и ссылки Тургенева, распорядился, чтобы всѣ вольнослушатели университета не были допускаемы къ окончательнымъ экзаменамъ. Это распоряженіе поразило громовымъ ударомъ множество молодыхъ людей. По совѣту профессора Неволина,

---

[98]) *Отчетъ Императ. публ. библ.* стр. 20.

[99]) *Письма*, 7. Оффиціальные документы, относящіеся къ этому эпизоду, напечатаны въ нынѣшнемъ году въ журналѣ *Русскій Архивъ*. Въ одномъ— шефъ жандармовъ гр. Орловъ доноситъ министру народнаго просвѣщенія Ширинскому-Шихматову о томъ, какъ «жительствующій въ Петербургѣ помѣщикъ Орловской губерніи Иванъ Тургеневъ написалъ статью объ умершемъ въ Москвѣ литераторѣ Гоголѣ», въ другомъ—дѣло идетъ о разрѣшеніи Тургеневу возвратиться въ Петербургъ, но съ тѣмъ, чтобы «за коллежскимъ секретаремъ Тургеневымъ продолжаемъ былъ здѣсь строжайшій надзоръ».

вольнослушатели обратились съ жалобой къ министру народнаго просвѣщенія А. С. Норову. Министръ отмѣнилъ распоряженіе попечителя. Тургеневъ принималъ живое участіе въ этомъ дѣлѣ. Онъ всю жизнь выказывалъ искреннее сочувствіе молодежи, и на этотъ разъ не поколебался обнаружить его, хотя въ дѣлѣ былъ заинтересованъ его завѣдомый врагъ и самъ онъ только-что избавился отъ опалы.

Лѣто слѣдующаго 1855 года Тургеневъ, по обыкновенію, провелъ въ Спасскомъ. Весной у него гостили г. Григоровичъ, Дружининъ и Боткинъ. Въ *Воспоминаніяхъ* г. Григоровича подробно описано времяпрепровожденіе друзей. Имъ пришла мысль сочинить общими силами пьесу и разыграть ее. Главнымъ героемъ пьесы выбрали самого хозяина, воспользовались его свойствомъ—приходить въ восторгъ отъ предметовъ, не заслуживающихъ такого отношенія. Произведеніе носило названіе *Школа гостепріимства* и было разыграно 26 мая въ Спасскомъ домѣ. Сюжетъ фарса весьма простой: добрякъ-помѣщикъ, не бывавшій съ дѣтства въ деревнѣ и получившій ее въ наслѣдство, на радостяхъ зоветъ къ себѣ всякаго встрѣчнаго, въ яркихъ краскахъ описываетъ невиданную прелесть сельской жизни, обстановку своего дома. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго не оказывается: все запущено, въ крайнемъ безпорядкѣ, всюду почти однѣ развалины. Помѣщикъ въ ужасѣ, гости должны пріѣхать съ часу на часъ. Начинается мучительная пытка: гости являются, возникаетъ брань, ссоры, жена помѣщика съ дѣтьми уѣзжаетъ, но гости все прибываютъ, тогда герой бросается, наконецъ, къ кухаркѣ и говоритъ ей изнемогающимъ голосомъ: «Аксинья поди скажи имъ, что мы всѣ умерли!..»

Тургеневъ игралъ роль помѣщика, согласился даже внести въ роль фразу, будто бы произнесенную имъ на пароходѣ во время пожара: «Спасите, спасите меня, я единственный сынъ у матери!»

Тургеневъ совершенно увлекся и сочинилъ еще пародію на сцену Эдипа и Антигоны въ трагедіи Озерова: Эдипа изображалъ самъ авторъ, Антигону—г. Григоровичъ.

Слухъ о спектаклѣ быстро распространился среди окрестныхъ помѣщиковъ. Оказалось множество желающихъ присутствовать на спектаклѣ. Тургеневъ, несмотря на протесты друзей, удовлетворилъ

эти желанія,—и публика едва нашла мѣсто. Фарсъ былъ разыгранъ съ успѣхомъ, роль Тургенева, и особенно знаменитая фраза произвели фуроръ. Тургеневъ, уже послѣ отъѣзда друзей, писалъ, что ихъ артистическіе подвиги вызвали въ уѣздѣ цѣлыя легенды [100]).

Въ половинѣ іюня мы узнаемъ изъ писемъ Тургенева, что онъ остался одинъ и принялся за работу. Работа началась въ началѣ мѣсяца, это былъ первый романъ Тургенева—*Рудинъ*.

Въ черновой тетради стоитъ другое заглавіе *Геніальная натура* и такое примѣчаніе: «начатъ 5 іюня 1855 г. въ воскресенье, въ Спасскомъ; конченъ 24 іюля 1855 въ воскресенье, тамъ же, въ 7 недѣль. Напечатанъ съ большими прибавленіями въ январ. и февр. книжкахъ *Современника* 1856 г.»

Тургеневъ приступилъ къ этому труду съ большой осмотрительностью, не хотѣлъ, «чтобы первый блинъ вышелъ комомъ», придавалъ, очевидно, исключительное значеніе этому произведенію. И это было совершенно естественно. Во-первыхъ, «блинъ» на самомъ дѣлѣ уже не былъ *первымъ*, а потомъ осмотрительность, помимо обычной авторской добросовѣстности Тургенева, вызывалась недавнимъ печальнымъ опытомъ, именно тѣмъ, что дѣйствительно *первый блинъ* вышелъ комомъ. *Рудину* предшествовалъ другой романъ, настоящій первенецъ писателя въ этомъ жанрѣ. Романъ остался неоконченнымъ и исчезъ безслѣдно, за исключеніемъ одного отрывка, напечатаннаго въ *Московскомъ Вѣстникѣ* за 1859 годъ подъ заглавіемъ: *Собственная господская контора.* Несомнѣнно существовала вся первая часть романа. По обыкновенію, Иванъ Сергѣевичъ послалъ для прочтенія и критики друзьямъ и ближайшимъ знакомымъ — Анненкову, Боткину и Аксаковымъ — Сергѣю Тимофеевичу и Константину Сергѣевичу. Романъ писался въ теченіе зимы 1852 — 1853 годовъ, въ апрѣлѣ первая часть была готова и къ 29 іюня Тургеневъ уже зналъ впечатлѣнія Анненкова и ждалъ «приговора» Сергѣя Аксакова. Письмо Анненкова съ отзывомъ о романѣ помѣчено 1-мъ іюня и даетъ намъ нѣкоторыя указанія на сущность романа и характеры его героевъ [101]).

---

[100]) *Письма*, 13, Полонскій 523; Григоровичъ, *Р. М.*, l. cit. 61.

[101]) *Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ къ И. С. Тургеневу*, акад. Л. Н. Майкова. *Русское Обозр.* 1894, окт. стр. 487 etc. О колебаніяхъ

Существенный недостатокъ романа, по мнѣнію Анненкова, заключался въ обиліи біографическихъ повѣствованій, и именно относительно главной героини. Другія погрѣшности автора казались критику мелочами и должны были исчезнуть при дальнѣйшей обработкѣ.

Но прочіе судьи далеко не были такъ снисходительны, какъ Анненковъ. Прежде всего Кетчеръ подвергъ романъ жестокому порицанію, а Боткинъ въ этомъ направленіи даже превзошелъ горячаго и откровеннаго доктора-литератора. На Тургенева и тотъ и другой отзывы подѣйствовали удручающе. Анненкову стóило немалаго труда утѣшить мнительнаго романиста.

Боткинъ видѣлъ «блѣдность и неопредѣленность» личности героя — Дмитрія Петровича и героини — Елизаветы Михайловны, отсутствіе интереса въ самомъ разсказѣ и указывалъ на недостатокъ, уже извѣстный Тургеневу изъ письма Анненкова, — «монотонность» непрерывнаго біографическаго повѣствованія. Анненковъ попытался опровергнуть рѣзкій приговоръ Боткина и совѣтовалъ автору не обращать вниманія на судъ пріятелей. «Публичный оборотъ», писалъ онъ, «важнѣе ареопага изъ пятнадцати Гёте, изъ дюжины критиковъ. Для кого вы пишете? Для меня, для А, для В? Да вы знаете хорошо, что вы хоть лопните отъ усердія, а я и А и В всегда найдемъ, чѣмъ васъ отравить на пріятельскомъ ужинѣ. Вы сами точно также устроены и знаете, какъ только въ рукахъ книга, и пошли вставать образы, лица, вопросы, допросы и проч. Ни себя, ни насъ вы никогда не удовлетворите. Зачѣмъ же добиваться этого съ такою горячностью? Это ли послѣднее слово сознанія? Эта ли цѣль его? Цѣль есть публичный оборотъ мысли, которая и растетъ, и крѣпнетъ вмѣстѣ съ расширеніемъ оборота» [102]).

Изъ этого письма мы можемъ заключить, какія мучительныя сомнѣнія переживалъ Тургеневъ по поводу своего перваго романа. Доводы Анненкова были горячи и казались Ивану Сергѣевичу,

Тургенева во время писанія Рудина сообщаетъ письмо къ Краевскому, напечатанное въ *Отчетѣ публ. библ.*, стр. 32. Письмо отнесено къ 1856 году: это очевидная ошибка. *Рудинъ* уже былъ напечатанъ въ началѣ этого года.

[102]) *Ib.* 497.

несомнѣнно, убѣдительными. Онъ и самъ позже ставилъ сочувствіе публики выше похвалъ или порицаній профессіональныхъ литературныхъ судей. Но такое представленіе могло укрѣпиться только послѣ многочисленныхъ горькихъ испытаній, въ результатѣ долголѣтней и безплодной борьбы съ недоразумѣніями, а часто и совершенно сознательными навѣтами критиковъ... Теперь романистъ еще переживалъ первый періодъ своей боевой дѣятельности,—и пріятельская отрава дѣйствовала губительно.

Сначала Тургеневъ будто поддался убѣжденіямъ Анненкова, но въ его письмахъ звучитъ уже ясная нота разочарованія въ своемъ дѣтищѣ и какое-то запуганное чувство надежды. Въ октябрѣ онъ писалъ Аксакову: «Стану передѣлывать, а потомъ, если Богъ дастъ, и продолжать свой романъ. Въ моемъ послѣднемъ письмѣ было сказано нѣсколько словъ на счетъ вашихъ замѣчаній,—теперь же не хочется больше говорить, а дѣлать; письма ваши прочтены мною не разъ,—и многое принято къ свѣдѣнію» [103]).

Но едва прошла недѣля — отъ 6-го до 14-го октября, Тургеневъ уже сознается, что онъ «немного охладѣлъ» къ роману. Правда, здѣсь же слѣдуетъ оговорка, что онъ намѣренъ все-таки «его кончить»,—но замыселъ былъ, очевидно, парализованъ въ самомъ корнѣ. Возникли новые планы и успѣли созрѣть въ болѣе совершенныя созданія. Еще 2-го іюня 1855 года Тургеневъ продолжаетъ увѣрять Аксакова, что онъ думаетъ передѣлать романъ. Ровно годъ спустя Аксакову пришлось высказаться уже о новомъ произведеніи Ивана Сергѣевича, — и этимъ произведеніемъ былъ *Рудинъ*. Мы точно знаемъ, когда оно начато: оказывается—три дня спустя послѣ того, какъ Тургеневъ все еще писалъ Аксакову о старомъ романѣ. Очевидно, множество художественныхъ плановъ роилось въ головѣ писателя одновременно, и этотъ фактъ долженъ былъ отразиться на романѣ, который, наконецъ, авторъ, рѣшился выпустить въ свѣтъ. Тургеневъ нетерпѣливо ждалъ впечатлѣній публики и отзывовъ критики. И ожиданія были ненапрасны. По поводу *Рудина* опредѣлилось на цѣлые годы отношеніе читателей и журналистовъ къ художнику.

103) *Ib.* 498.

Публика привѣтствовала романъ, критика причинила Тургеневу не мало огорченій.

Прежде всего любопытны впечатлѣнія тѣхъ же друзей Тургенева, тѣмъ болѣе, что здѣсь мы находимъ цѣнныя *историческія* указанія относительно происхожденія романа. Письмо Сергѣя Аксакова слѣдуетъ поставить на первомъ мѣстѣ. Немедленно по прочтеніи романа онъ писалъ автору:

«Рудинъ похожъ очень на общаго нашего знакомаго, хотя, какъ сходство, онъ не очень удовлетворителенъ. Кой-гдѣ встрѣчаются неуясненности, характеръ Рудина не широко развитъ; но, тѣмъ не менѣе, повѣсть имѣетъ большое достоинство, и такое лицо, какъ Рудинъ, замѣчательно и глубоко. Лѣтъ десять тому назадъ, вы бы изобразили Рудина совершеннымъ героемъ. Нужна была зрѣлость созерцанія для того, чтобы видѣть пошлость рядомъ съ необыкновенностью, дрянность рядомъ съ достоинствомъ, какъ въ Рудинѣ. Вывести Рудина было очень трудно, и вы эту трудность побѣдили, хотя и можно кой-чего еще бы прибавить. Теперь вы Печорина, конечно, выставили бы не героемъ. А замѣчательное лицо—нашъ знакомый» [104]).

Дѣло идетъ объ извѣстномъ діалектикѣ-гегельянцѣ, блиставшемъ въ московскомъ университетскомъ кружкѣ,—Бакунинѣ. Но рядомъ съ портретомъ опредѣленной личности Аксаковъ видѣлъ въ Рудинѣ нѣчто типичное. Рудинъ напомнилъ Аксакову университетъ, «кругъ нашъ студентскій и Станкевича», и въ этомъ воспоминаніи ему почуялось родственное чувство, связывавшее его съ авторомъ романа.

Впечатлѣнія съ этой стороны были, слѣдовательно, благопріятны. Пріятели пока не угощали романиста «отравой», но въ журналахъ онъ могъ прочесть мало для себя утѣшительнаго.

Прежде всего, Рудинъ засталъ критиковъ будто врасплохъ. Естественнѣе всего приходила на умъ догадка, что предъ читателями представитель юношества сороковыхъ годовъ, россійскаго гегельянства, блестящаго на словахъ и жалкаго въ житейской

---

[104]) *Русск. Обозр.* 1894, дек. 587. Объ оригиналѣ для Рудина говоритъ также Шмидтъ. *Иностр. критика*, стр. 24.

практикѣ. Писаревъ именно въ такомъ смыслѣ и разбиралъ тургеневскій романъ. «Поколѣніе Рудиныхъ—гегельянцы, заботившіеся только о томъ, чтобы въ ихъ идеяхъ господствовала систематичность, а въ ихъ фразахъ—замысловатая таинственность, мирили насъ съ нелѣпостями жизни, оправдывая ихъ разными высшими взглядами и всю жизнь свою толкуя о стремленіяхъ, не трогались съ мѣста и не умѣли измѣнить къ лучшему даже особенности своего домашняго быта» [105]).

Дальше критикъ видитъ заслугу со стороны Тургенева въ томъ, что онъ «совершенно развѣнчалъ Рудиныхъ, поступилъ съ ними такъ же, какъ Сервантесъ съ героями рыцарскихъ романовъ. Представленіе критика о тургеневскомъ героѣ необыкновенно просто: красивый фразеръ и въ то же время безполезный прозябатель.

«Рудинъ», по мнѣнію Писарева, «умираетъ великолѣпно, но вся жизнь его ничто иное, какъ длинный рядъ самообольщеній, разочарованій, мыльныхъ пузырей и миражей». Наконецъ, оказывается—у Тургенева была уже совершенно опредѣленная тенденція, направленная противъ Рудиныхъ. «Чтобы оттѣнить своихъ героевъ, принадлежащихъ къ рудинскому типу, чтобы рельефнѣе выставить безпощадность своихъ отношеній къ ихъ чахлымъ личностямъ и смѣшнымъ претензіямъ, Тургеневъ ставитъ ихъ съ простыми, очень неразвитыми смертными; и эти простые смертные оказываются выше, крѣпче и честнѣе полированныхъ и фразерствующихъ умниковъ».

Ясно, Рудинъ полное ничтожество, разъ навсегда заклейменное авторомъ. Правда, критику слѣдовало бы оговориться, что разочарованіе, далеко не всегда исключительная вина самихъ разочарованныхъ, и весьма часто несравненно достойнѣе испытывать разочарованіе чѣмъ пройти жизнь торной и безопасной дорожкой, во всеоружіи «практической мудрости» и «мудрой опытности». Но вопросъ не въ этомъ. Важно, что Рудинъ для Писарева только отрицательная личность, и самъ авторъ преднамѣренно хотѣлъ его изобразить въ крайне нелестномъ свѣтѣ.

Другой критикъ—Шелгуновъ—посмотрѣлъ на вопросъ совер-

---

[105]) *Русское Слово*, 1861, XI.

шенно иначе. Рудинъ и для него несомнѣнное уродство и жалкій продуктъ барской теплицы, хотя Рудинъ отнюдь не аристократъ и искренне пришелъ бы въ изумленіе отъ всякаго намека на его барственность, и *обезпеченное* тунеядство. Но если у Шелгунова виноватъ герой, не менѣе виноватъ и авторъ, именно за свое сочувствіе Рудину. Тургеневъ, по воззрѣніямъ критика, лично «остался всю свою жизнь вѣренъ сферѣ, воспитавшей его, и не былъ въ состояніи понять новой жизни и новыхъ людей, созданныхъ поворотомъ прогрессивнаго общественнаго мнѣнія. Вина его въ сочувствіи только къ Рудинымъ и въ недоумѣніи понять новыхъ людей, смѣнившихъ ихъ» [106]).

Въ глазахъ Шелгунова, слѣдовательно, совершенно исчезла замѣченная Писаревымъ тенденція—развѣнчать Рудиныхъ. Напротивъ, Тургеневъ только и былъ способенъ увѣнчивать подобныхъ господъ, спеціально «тургеневскихъ героевъ», какъ выражается критикъ.

Наконецъ, третій судья, имѣвшій право разсчитывать на вниманіе читателей, Аполлонъ Григорьевъ, попытался, повидимому, слить и то и другое настроеніе своихъ соратниковъ. «Въ этой повѣсти,—писалъ онъ,—совершается передъ глазами читателей явленіе совершенно особенное. Художникъ, начавши критическимъ отношеніемъ къ создаваемому имъ лицу, видимо путается въ этомъ критическомъ отношеніи, самъ не знаетъ, что́ ему дѣлать съ своимъ анатомическимъ ножомъ, и, наконецъ, увлеченный порывомъ искренняго стараго сочувствія, снова возводитъ въ апоѳеозу въ эпилогѣ то, къ чему онъ пытался отнестить критически въ разсказѣ» [107]).

Но и критическое отношеніе Тургенева къ своему герою, по мнѣнію критика, отнюдь не развѣнчиваетъ Рудина. Это не фразеръ, еще менѣе человѣкъ слабый и безхарактерный, «куцый», по выраженію Пигасова. При подобныхъ недостаткахъ онъ не производилъ бы такого дѣйствія на «чистую, юношески-благородную натуру Басистова» и Пигасовъ не приходилъ бы въ такой во-

---

[106]) *Русскіе идеалы, герои и типы. Дѣло*, 1868, VII.

[107]) *Сочиненія*, I.

сторгъ, подмѣтивъ его *куцымъ*, и Лежневъ не *боялся* бы его вліянія на другихъ. Очевидно, и до эпилога у Рудина много весьма существенныхъ положительныхъ сторонъ, и именно эти стороны объясняютъ перемѣну въ тонѣ автора.

Отзывы Писарева, Шелгунова и Григорьева сравнительно терпимы и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже благосклонны къ Тургеневу. Критики обнаружили несомнѣнную односторонность взглядовъ, пристрастное чувство, заставившее отождествить личность автора съ его отнюдь не возвышеннымъ героемъ, закрывшее у цѣнителей глаза на разнородный составъ рудинскаго характера. Но критики, по крайней мѣрѣ, не выходили за предѣлы литературнаго суда. Нашлись читатели, несравненно болѣе усердные и, вмѣсто разбора произведенія, увлеклись слѣдствіемъ надъ совѣстью автора.

Нѣкоторые находили, что Рудинъ униженъ въ романѣ; этимъ униженіемъ авторъ, будто бы, излилъ свое негодованіе на одно дѣйствительное лицо, занимавшее деньги и не платившее долговъ [108]). Другіе были увѣрены, что Тургеневъ преднамѣренно сдѣлалъ изъ своего героя каррикатуру, чтобы угодить богатымъ литературнымъ друзьямъ, считающимъ всякаго бѣдняка за мерзавца [109]). Въ результатѣ оказывалесь,—Тургеневу слѣдовало вовсе перестать заниматься литературой. На это онъ отвѣчалъ: «при всемъ моемъ невысокомъ мнѣніи о моемъ талантѣ, мнѣ все-таки не хочется согласиться, что лучше было бы мнѣ вовсе не писать» [110]).

Такіе отзывы не мѣшали Тургеневу интересоваться русской критикой. Онъ «очень» проситъ своихъ друзей прислать ему въ вырѣзкахъ или въ спискахъ всѣ критики, которыя появятся на его произведенія, самъ тщательно перечитываетъ журналы и пристально слѣдитъ за развитіемъ новыхъ талантовъ [111]).

Рядомъ съ совершенно неосновательными обвиненіями были, конечно, и восторженные отзывы. Одинъ изъ нихъ принадлежалъ извѣстному журналисту Сенковскому.

---

[108]) *Молодость, И. С. Тургенева*, Анненкова. *В. Е.* 1884, февр. 472.

[109]) *Шесть лѣтъ переписки съ И. С. Тургеневымъ. В. Е.* 1885, мартъ, 36.

[110]) *Письма*, 45.

[111]) *Письма*, 36—7.

Мы не станемъ изслѣдовать мутныхъ источниковъ личныхъ нападокъ. Публикѣ достаточно было совершенно серьезныхъ и литературныхъ сужденій о Рудинѣ, чтобы попасть въ безысходное положеніе, придти къ неразрѣшимому вопросу: кто же въ самомъ дѣлѣ Рудинъ и какъ самъ авторъ смотритъ на него?

А между тѣмъ, та же публика не допускаетъ неясностей и тонкихъ оттѣнковъ въ литературно-общественныхъ сужденіяхъ. Ей требуется опредѣленный отвѣтъ, яркая характеристика,—пусть даже она будетъ односторонней. Въ результатѣ—популярнѣйшее представленіе о Рудинѣ, какъ о самомъ подлинномъ продуктѣ сороковыхъ годовъ, русскомъ гегельянцѣ—геніальномъ мечтателѣ и безнадежно-неудачливомъ дѣятелѣ. Все отрицательное съ годами улетучилось изъ этого представленія. Рудинъ стоитъ въ ряду симпатичнѣйшихъ фигуръ русскаго романа. Можно сказать, читатели на него смотрятъ глазами Наташи, еще не испытавшей жестокаго разочарованія.

Но вглядимся внимательнѣе въ эту безусловно интересную личность, попытаемся отрѣшиться отъ какихъ бы то ни было предвзятыхъ осужденій и увлеченій: въ настоящее время это не трудно. Три поколѣнія отдѣляютъ насъ отъ рудинской полосы. Будемъ считать единственно достовѣрными руководствами—романъ и біографію автора.

V.

Рудинъ—воспитанникъ германскихъ университетовъ. Онъ «весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ». Такъ сообщаетъ намъ авторъ,—и Рудинъ при первомъ же случаѣ готовъ предаться студенческимъ воспоминаніямъ, принять на себя защиту великаго пророка и учителя—Гегеля. Все это, несомнѣнно, отголоски сороковыхъ годовъ.

Тѣ же отголоски слышатся и въ идеяхъ Рудина, въ его блестящихъ проповѣдяхъ. Припомните основныя положенія героя, какими онъ увлекаетъ Наташу и Басистова. Вы всѣ ихъ цѣликомъ отыщете въ литературныхъ произведеніяхъ и личныхъ признаніяхъ молодежи гегельянской эпохи.

«Людямъ нужна вѣра: имъ нельзя жить одними впечатлѣніями,

имъ грѣшно бояться мысли и не довѣрять ей. Скептицизмъ всегда отличался безплодностью и безсиліемъ».

Такъ говоритъ Рудинъ. То же самое Бѣлинскій писалъ матери, когда будущій геніальный критикъ былъ исключенъ изъ московскаго университета «по неспособности» и влачилъ самое жалкое голодное и холодное существованіе. То же самое писалъ сестрѣ его товарищъ, Герценъ, заброшенный въ дикій край, въ варварскую среду, впервые почувствовавшій себя и изгнанникомъ, и жертвой предразсудковъ, какъ незаконный сынъ. Имъ, было, овладѣла жгучая иронія, и «я думалъ», признается онъ, «затушить всѣ чувства этимъ смѣхомъ. Но чувства взяли свое и выразились любовью къ идеѣ, къ высокой мысли и славѣ».

Третій юноша Огаревъ, сынъ старозавѣтной домостроевской семьи, окруженный пошлымъ провинціальнымъ міромъ, не позволяетъ мизантропіи овладѣть душой, потому что мизантропія—отчаяніе, безнадежность, а онъ «полонъ вѣры въ человѣчество, въ самого себя въ свое призваніе».

И поэтому-то такъ безпощадно поражаетъ Рудинъ иронію и мизантропію въ лицѣ Пигасова.

Дальше Рудинъ доказываетъ:

«Если у человѣка нѣтъ крѣпкаго начала, въ которое онъ вѣритъ, нѣтъ почвы, на которой онъ стоитъ твердо, какъ можетъ онъ дать себѣ отчетъ въ потребностяхъ, въ значеніи, въ будущности своего народа? Какъ можетъ онъ знать, что онъ долженъ самъ дѣлать...»

Насмѣшникъ Пигасовъ окончательно раздраженъ, не даетъ даже кончить вопроса,—но это опять идеи и даже форма рѣчи сороковыхъ годовъ. Неуклонное, хотя и мечтательное стремленіе къ народному благу было общей страстью молодежи. Врядъ ли какой русскій гегельянецъ не страдалъ страданіями народа. Бѣлинскій—студентъ сочиняетъ пламенную драму, клеймящую крѣпостное право монологами въ духѣ шиллеровскаго Карла Мора. Въ заграничномъ кружкѣ Станкевича, мы видѣли, главнѣйшимъ вопросомъ считалось просвѣщеніе народа. И эти мечты были, очевидно, атмосферой времени. Лермонтовъ не дружилъ съ Бѣлинскимъ, не бывалъ у Станкевича, но и онъ не преминулъ первые шаги своей поэти-

ческой дѣятельности отмѣтить драмой, направленной на то же зло родного народа... Не даромъ, слѣдовательно, у Рудина представленіе о народѣ является въ неразрывной связи съ самыми выспренними идеями иноземной философіи.

Да, Рудинъ гегельянецъ, студентъ, выросшій среди молодыхъ идеалистовъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. И къ числу ихъ принадлежалъ самъ авторъ. Вѣдь это онъ оплакалъ такими горькими слезами благороднѣйшаго питомца германской мысли и поэзіи. Все его сочувствіе было на сторонѣ безвременно погибшаго учителя, друга, вождя. И если Рудинъ изъ той же среды, у Тургенева не только въ эпоху возникновенія романа, а до конца дней, не должно развиваться иного настроенія, кромѣ восторга и благодарной любви.

А между тѣмъ, въ романѣ этого нѣтъ. Развѣ вамъ не бросилось въ глаза, при первомъ же знакомствѣ съ Рудинымъ, странное отношеніе автора къ своему герою? Рудинъ, появляясь на сцену, покоряетъ всѣ сердца, озлобляетъ завистниковъ, пугаетъ людей добродѣтельныхъ, но ограниченныхъ. Онъ настоящій герой, и притомъ стяжавшій власть неотразимой силой слова и мысли. Остается одинъ только человѣкъ, не поддавшійся очарованію,—и этотъ человѣкъ—самъ авторъ.

На его взглядъ, герой комиченъ съ самаго начала. «Я вижу фортепіано», началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ...» и вы чувствуете,—такое заключеніе можно сдѣлать объ артистѣ, только что вызвавшемъ эффектъ, для него вполнѣ привычный и интересный лишь по чужимъ впечатлѣніямъ. Онъ блистательно исполнилъ свою роль и хочетъ отдохнуть на игрѣ другихъ. Подобное настроеніе врядъ ли доступно человѣку, минутой раньше съ такой горячностью разрѣшавшему міровые вопросы,—врядъ ли доступно при одномъ условіи, если самые вопросы хватаютъ его за сердце, тѣсно срослись съ его нравственной природой. И какъ естественнымъ является замѣчаніе—также авторское—о впечатлѣніи m-lle Boncourt: Рудинъ «въ ея глазахъ былъ чѣмъ-то въ родѣ виртуоза или артиста...» Невольно спрашиваешь: зачѣмъ авторъ счелъ необходимымъ сообщить намъ, что̀ думаетъ объ его героѣ существо совершенно безличное и не играющее въ *романѣ* никакой роли?

Дальше еще болѣе краснорѣчивый моментъ. Рудинъ произвелъ потрясающее впечатлѣніе на Басистова. Юный слушатель сталъ его боготворить. Но Рудинъ остался совершенно равнодушенъ къ благородному чувству юноши, какъ-то поговорилъ съ нимъ разъ «о самыхъ важныхъ міровыхъ вопросахъ и задачахъ», «возбудилъ въ немъ живѣйшій восторгъ, но потомъ онъ его бросилъ». Авторъ не оставляетъ безъ своей оцѣнки такого поведенія Рудина: «видно», читаемъ дальше, «онъ только на словахъ, искалъ чистыхъ и преданныхъ душъ»...

То же самое и относительно Наташи. Она, конечно, гораздо интереснѣе для Рудина, чѣмъ Басистовъ, онъ безпрестанно бесѣдуетъ съ ней, но именно какъ виртуозъ: ему важенъ эффектъ, а не идейный результатъ рѣчей. «Рудинъ, казалось», снова замѣчаетъ авторъ, «не очень заботился о томъ, чтобы она его понимала—лишь бы слушала его»...

Это въ высшей степени любопытное явленіе. Авторъ будто не можетъ сдержать своего отрицательнаго или ироническаго настроенія относительно своего побѣдоноснаго героя и заранѣе спѣшитъ уронить его въ нашихъ глазахъ, раньше, чѣмъ самые факты сорвутъ съ него пышное убранство. Въ чемъ таится мотивъ подобнаго чувства, столь субъективнаго, даже слишкомъ горячаго? Отнюдь, конечно, не въ рудинскихъ идеяхъ, насколько онѣ связаны съ преданіями «германскаго романтическаго и философскаго міра». Рудинъ, очевидно, не изъ вѣрныхъ и безукоризненныхъ друзей Станкевича. Въ этой натурѣ есть нѣчто, отдѣляющее ее глубокой пропастью отъ истинныхъ представителей русскаго гегельянства, отъ подлинныхъ русскихъ мечтателей философской эпохи.

Это нѣчто ясно указано и многократно подчеркнуто авторомъ. Это—не фразерство въ томъ смыслѣ, какъ его поняли критики романа, т. е. увлеченіе словеснымъ блескомъ при полной практической бездарности. Подобная черта еще не является настолько порочной, чтобы вызвать у автора такое энергическое негодованіе и даже презрѣніе. Вѣдь и Гамлетъ—философъ того же типа, и никому никогда и на умъ не приходило бросать камнемъ въ датскаго принца. Герои чистой отвлеченной мысли заслуживаютъ скорѣе состраданія и благосклоннаго внимательнаго изученія,

чѣмъ «страсти и гнѣва». Это печальное явленіе, но *непроизвольное*; оно всегда источникъ страданій для человѣка, часто основа удручающей душевной драмы. Недостатокъ воли при разностороннемъ развитіи мысли—страшное бремя, принижающее личность въ ея собственныхъ глазахъ, исключающее всякую возможность героическаго эффекта.

Не то съ Рудинымъ.

Его роль вполнѣ сознательная. Онъ можетъ оставаться такимъ, какимъ мы видимъ его въ гостяхъ у Дарьи Михайловны, но можетъ говорить и поступать иначе. Онъ *выбираетъ* образъ дѣйствій, наиболѣе для него выгодный въ данную минуту, не въ прямомъ матеріальномъ смыслѣ слова, а въ цѣляхъ артистическаго, художественнаго успѣха. Рудинъ, дѣйствительно, виртуозъ, артистъ, совершенно разсчетливо ведущій опредѣленную политику,—безкорыстную относительно житейскихъ благъ, но весьма цѣлесообразную для роли «путешествующаго принца», пророка, прорицателя, гипнотизирующаго юныя сердца.

И предъ нами всѣ признаки лицедѣя волшебника. Артисту нужна самая впечатлительная и благодарная публика. А таковой публикой искони являются женщины,—и Рудинъ ораторствуетъ, «вдохновленный близостью молодыхъ женщинъ», «увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній». Дальнѣйшіе его подвиги въ томъ же направленіи. Онъ безпрестанно бесѣдуетъ съ Натальей и едва удѣляетъ одно утро Басистову. Публика подсказываетъ и извѣстную манеру игры. Для русскаго героя манера давно испытанная, хотя и много разъ осмѣянная. Опустошенія, произведенныя въ женскихъ сердцахъ Онѣгиными, Печориными и ихъ маленькими двойниками и подражателями—Тамариными и Агариными—будутъ вѣчно удручать сердца романическихъ героевъ—чувствами зависти и соревнованія. Рудинъ одинъ изъ нихъ. Аксаковъ бросилъ будто случайно намекъ на Печорина по поводу тургеневскаго героя; на самомъ дѣлѣ—воспоминанія о печоринскомъ типѣ преслѣдуютъ насъ на каждой страницѣ рудинской исторіи.

Припомните, напримѣръ, одинъ изъ многочисленныхъ разговоровъ Рудина съ Натальей — на тему о любви. Рудинъ говоритъ особенно часто объ этомъ предметѣ, онъ намѣренъ даже писать

трактатъ о трагическомъ значенiи любви. Почему именно о трагическомъ? Отнюдь не потому, что самъ авторъ испыталъ или вообще способенъ испытать любовную трагедiю, а потому, что *трагедiя* несравненно эффектнѣе, романтичнѣе, чѣмъ обыкновенная, общечеловѣческая психологiя даннаго чувства. Рудинъ немедленно представляетъ и картинную иллюстрацiю своихъ идей.

— Замѣтили ли вы,—заговорилъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ:—что на дубѣ—а дубъ крѣпкое дерево—старые листья только тогда отпадаютъ, когда молодые начнутъ пробиваться?

— Да,—медленно возразила Наталья,—замѣтила.

— Такъ тоже случается и съ старой любовью въ сильномъ сердцѣ: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь можетъ ее выжить.

Что значитъ эта аллегорiя—Наталья не понимаетъ. Но этого и не требуется Рудину. Ему необходимо произвести эффектъ, подавить воображенiе, заинтриговать чувство. А этого можно достигнуть, напуская, по возможности, больше театральнаго тумана.

Конецъ сцены превосходенъ.

«Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами и удалился».

Картина—прямо изъ опернаго либретто. И картина весьма старая, но неотразимо захватывающая сердца Татьянъ, Марiй, Наталiй. Нужна тайна—и сердце дѣвушки неизбѣжно запутается въ сѣтяхъ. Такъ ведетъ себя Онѣгинъ среди деревенскихъ мечтательницъ, Печоринъ съ княжной Мери, «принявъ глубоко тронутый видъ», разсказываетъ аллегорическую темную исторiю о томъ, какъ онъ отрѣзалъ одну мертвую половину своей души и бросилъ, «тогда какъ другая шевелилась»... Результаты всюду тождественные. Татьяна не спитъ ночей въ смутной мучительной тоскѣ, княжна Мери окончательно подавлена сладкимъ ужасомъ загорающейся страсти, Наталья «долго размышляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала»...

Въ основѣ столь могущественной таинственности лежитъ капля все того же яду—*разочарованiе*. Рудинъ щеголяетъ въ старомъ плащѣ россiйскихъ чайльдъ-гарольдовъ. Костюмъ въ сильной степени потертъ, утратилъ много мишурныхъ, блестящихъ украшенiй,—но Рудинъ успѣшно обновляетъ маскарадъ прiемами, неиз-

вѣстными его предшественникамъ. Тѣ черпали репертуаръ загубленныхъ чувствъ и жестокихъ рѣчей въ поэзіи англійскаго поэта и разныхъ dii minores того же направленія. Рудинъ пользуется германской философіей и поэзіей — совершенно противоположнаго духа, чѣмъ байронизмъ. Чайльдъ-Гарольды усиливались все отрицать и надо всѣмъ смѣяться: Рудинъ, напротивъ, зоветъ своихъ слушателей въ царство восторженной вѣры, вдохновенной мысли, всеобъемлющихъ идей. Но вѣдь нашъ бѣдный міръ такъ мало отвѣчаетъ поэтическимъ призывамъ и идеальнымъ стремленіямъ. Краснорѣчивымъ гегельянцамъ далеко не всегда приходится встрѣчать радостно-трепетную публику, вродѣ Натальи и Басистова, рѣдко рѣчи ихъ льются среди молчанія роскошной ночи, подъ акомпаниментъ шубертовской музыки,—и гегельянство, слѣдовательно, прямымъ путемъ можетъ привести къ тоскѣ и «холоду сердечному».

Правда, настоящіе подвижники идеи минуютъ этотъ путь. У нихъ могутъ быть минуты тяжелаго раздумья, томительныхъ сомнѣній, но вѣра въ *человѣческое призваніе* восторжествуетъ. Самая мысль о разочарованіи, какъ бы красиво оно ни было, покажется имъ позорнымъ малодушіемъ, а игра въ разбитыя мечты и безнадежное будущее напомнитъ имъ жалкихъ, нравственно-немощныхъ комедіантовъ печальнаго прошлаго...

Послушайте, какъ истинный русскій гегельянецъ ободряетъ себя и друзей на неустанный общественный подвигъ.

«Иногда ночью, когда потушена свѣча, когда воетъ вѣтеръ, чортъ знаетъ, чего не лѣзетъ въ голову: міръ кажется скучною церемоніею, будущность безотрадна; вспоминаешь ничтожныя слова, сны; начинаешь хоронить друзей, чувствуешь тяжесть въ груди и засыпаешь безпокойно... Разсвѣтаетъ, и вся тоска прошла и первое движеніе—молитва»...

О чемъ же молитва? Можетъ быть, это жалоба безпомощнаго, мятущагося страдальца, заблудившагося путника, ищущаго тихаго пристанища? Нѣтъ,—это молитва воина, идущаго въ бой съ какими угодно препятствіями, стоящими на пути къ дорогимъ идеямъ.

«Я не молюсь о своемъ счастіи; съ меня довольно быть человѣкомъ. Я говорю: Господи! буди въ сердцѣ моемъ и дай мнѣ *совершить* подвигъ на землѣ».

Такъ разсказываетъ Станкевичъ о своихъ думахъ. То же самое онъ пишетъ Грановскому, когда тотъ, было, согнулся подъ тяжестью научной работы, не всегда живой и увлекательной.

«Мужество, твердость, Грановскій! Не бойся этихъ формулъ, этихъ костей, которыя облекутся плотью и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметъ — жизнь человѣчества: ищи же въ этомъ человѣчествѣ образа Божія; но прежде приготовься трудными испытаніями,—займись философіею! Занимайся тѣмъ и другимъ: эти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя—наслажденіе! Тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но вѣрь, вѣрь—и иди путемъ своимъ».

Въ этихъ словахъ весь юноша идеалистической эпохи,—мужественный, неустанно мыслящій, убѣжденный, что человѣческая мысль—сильнѣйшее орудіе человѣческой природы, и вѣра въ призваніе—непреодолимая защита противъ всѣхъ искушеній, противъ малодушія и отчаянія.

Могло ли этому человѣку придти на умъ—устраивать театральное зрѣлище изъ своихъ идей и настроеній, драпироваться въ плащъ непонятаго и неоцѣненнаго героя великихъ таинственныхъ замысловъ? Тотъ же Станкевичъ признается: «Моя голова получила такое несчастное устройство, что ее опасно оставлять безъ занятія..: Одна мысль объ односторонности, связанная съ мыслью о нравственномъ усыпленіи, въ состояніи все отравить для меня».

Очевидно, здѣсь немыслима игра въ эффекты, невозможно спокойное самоуслажденіе при видѣ чужихъ, безмолвныхъ восторговъ. При такой напряженной умственной работѣ человѣкъ неизбѣжно отъ начала до конца остается строжайшимъ судьей самого себя. До болѣзненности чуткое и придирчивое сознаніе неотступно слѣдитъ за всякимъ впечатлѣніемъ и поступкомъ. Русскіе гегельянцы особенно любили исповѣдываться въ своихъ вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеніяхъ,—и нерѣдко подвергали себя столь немилосердному суду, что біографамъ приходилось впослѣдствіи защищать мнимыхъ преступниковъ отъ ихъ же самихъ. Таковы самообличенія Бѣлинскаго въ такого рода «паденіяхъ», какія могли бы смущать развѣ душу идеально-чистой дѣвушки...

Рудинъ также склоненъ жестоко нападать на собственную личность, но и эти нападки носятъ характеръ такого же ораторскаго турнира, какъ и всѣ другія разсужденія краснорѣчиваго виртуоза. Для Рудина развѣнчивать себя—не глубокая нравственная мука, какъ это было для Бѣлинскаго, а тоже самое наслажденіе, какое испытываетъ Печоринъ, разсказывая княжнѣ Мери всевозможные ужасы про свою жизнь и личность. Это обычная уловка байронствующихъ комедіантовъ,—окружить себя мрачнымъ, даже безнадежнымъ ореоломъ самоотрицанія, чтобы вызвать сочувствіе въ отзывчивомъ отуманенномъ сердцѣ женщины. Эта психологія до тонкости была извѣстна Печорину.

Лермонтовскій герой, прочитавши предъ княжной Мери «эпитафію» самому себѣ, замѣчаетъ: «Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали, ей было жаль меня! Сострадäніе — чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце»...

Буквально, на этотъ результатъ разсчитываетъ Рудинъ, и — не ошибается.

Вы съ перваго же появленія героя на сцену увѣрены, что Наталья полюбитъ Рудина,—а онъ? Обратимся опять къ *исторіи*.

Для юныхъ русскихъ гегельянцевъ завѣтнымъ стремленіемъ было—всѣ чувства, всѣ настроенія подчинить *идеѣ*, «утвердить на *мысли* и *разумѣ*» всѣ движенія сердца и души, всю нравственную и практическую жизнь. Весь міръ представляетъ гармоническое развитіе одной *идеи*, — человѣческое существованіе должно быть также воплощеніемъ этой идеи, осуществленіемъ благороднѣйшаго *призванія*, какое только доступно совершеннѣйшему созданію вселенной. Чувство любви прежде всего должно подчиниться этому закону, потому что оно представляетъ болѣе всего опасностей для увлеченнаго страстью — нарушить гармонію личныхъ нравственныхъ силъ, принести ихъ въ жертву эгоистическому стремленію къ счастью.

Такъ, можетъ быть, на иной взглядъ наивно, но глубоко убѣжденно и честно разсуждали *подлинные* люди тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Станкевичъ, переживая искреннее увлеченіе, пи-

салъ: «Потребность любви должна быть вызвана не бѣдностью души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищетъ кругомъ себя помощи; нѣтъ, — любовь должна выходить изъ богатства нашего духа, исполненнаго силы и дѣятельности и отыскивающаго въ самой любви только новую, высшую, полнѣйшую жизнь».

Это, пожалуй, можетъ показаться праздной метафизикой и резонерствомъ. Но здѣсь слово не расходится съ дѣломъ. Мы должны ожидать, что влюбленный останется вѣренъ *идейному* представленію о любви и въ своей жизни. И Станкевичъ именно такъ и поступилъ. Самоотверженная мысль, непреклонная совѣсть всегда готовы стать на пути къ личному счастью, а молодость отличается еще своимъ особеннымъ фанатизмомъ, и въ результатѣ предъ нами своего рода аскетъ на почвѣ высокоразвитаго гуманнаго чувства и безграничныхъ общественныхъ стремленій.

У Рудина и на этотъ разъ мы встрѣчаемъ яркіе отголоски только-что описаннаго явленія. Лежневъ разсказываетъ, какъ онъ влюбился въ «предобренькую» дѣвушку, открылъ свое чувство Рудину,—и тотъ отнесся къ факту на первый взглядъ въ духѣ своихъ современниковъ-философовъ: «поздравилъ, обнявъ меня», говоритъ Лежневъ, «и тотчасъ же пустился вразумлять меня», толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія».

Рудинъ, слѣдовательно, взглянулъ на чувство Лежнева съ точки зрѣнія извѣстныхъ идей и, вѣроятно, въ его рѣчахъ было не мало мотивовъ, знакомыхъ намъ по признаніямъ Станкевича, Бѣлинскаго и Герцена, писавшаго къ невѣстѣ письма изъ далекой провинціи. Но сущность не въ словахъ, даже не въ идеяхъ, а въ нравственномъ результатѣ, вытекающемъ изъ словъ и идей. У Рудина онъ совершенно другой, чѣмъ у его *историческихъ* сверстниковъ. У тѣхъ анализъ чувства любви усиливалъ сознаніе нравственной отвѣтственности, заставляя ихъ переживать настоящую гамлетовскую драму и, наконецъ, приводилъ къ самопожертвованію во имя *человѣческаго достоинства*. Совершенно иначе отзываются рѣчи Рудина на Лежневѣ.

«Я уши развѣсилъ», повѣствуетъ бывшій влюбленный... «Слова его подѣйствовали на меня необыкновенно. Уваженіе я къ себѣ

вдругъ возымѣлъ удивительное, видъ принялъ серьезный и смѣяться пересталъ. Помнится, я даже ходить началъ тогда осторожнѣе, точно у меня въ груди находился сосудъ, полный драгоцѣнной влаги, которую я боялся расплескать... Я былъ очень счастливъ, тѣмъ болѣе, что ко мнѣ благоволили явно»...

Таковы послѣдствія рудинскаго краснорѣчія, и намъ невольно припоминается фигура также изъ породы байронствующихъ, но уже вовсе каррикатурная и мелодраматическая—Грушницкій. Несомнѣнно, у Лежнева также «какой-то смѣшной восторгъ блисталъ въ глазахъ», онъ также говорилъ «очень важно», полунамеками, съ сожалѣніемъ ко всѣмъ, неосчастливленнымъ и непосвященнымъ въ великія таинства его любви... Если Рудинъ могъ внушить такія настроенія своему другу, что же могъ испытывать онъ самъ? Отнюдь не болѣе возвышенныя чувства, чѣмъ Печоринъ рядомъ съ княжной Мери.

Послушайте, какъ Рудинъ объясняетъ Натальѣ свое будущее.

«Любовь» (при этомъ словѣ онъ пожалъ плечомъ)... Любовь—не для меня, я... ея не стою; женщина, которая любитъ, въ правѣ требовать всего человѣка, а я ужъ весь отдаться не могу. Притомъ, нравиться—это дѣло юношей: я слишкомъ старъ. Куда мнѣ кружить чужія головы? Дай Богъ свою сносить на плечахъ!»

Иллюзія полная: стоитъ фамилію Рудинъ подмѣнить какой-нибудь демонической кличкой и предъ нами самый настоящій «герой нашего времени» или просто «современный герой». Разница только въ исходной точкѣ: тамъ—«наука любви», здѣсь нѣмецкая философія, безпрестанно переходящая къ той же наукѣ. На байроническомъ плащѣ прибавилось нѣсколько новыхъ галуновъ и лентъ: это ходячія идеи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Но плащъ остался тотъ же, и въ лицѣ Рудина мы видимъ только новую варіацію на старую тему, новое изданіе, дополненное и исправленное, уже давно всѣми прочитанной книги.

Рудинъ—московскій чайльдъ-гарольдъ сороковыхъ годовъ, другими словами: такое же каррикатурное отраженіе гегельянства, какимъ наши демоны были для байронизма. И тогда, и теперь рядомъ шли два теченія. Одно преисполнено великаго историческаго и общественнаго значенія, другое—подражательное, модное, разсчи-

танное на внѣшній эффектъ и эгоистическое самоуслажденіе. Байронизмъ въ его истинно-культурномъ значеніи—благородный протестъ личности противъ обветшалыхъ основъ общества, протестъ свободной личной совѣсти противъ стадныхъ инстинктовъ толпы, борьба за человѣческое достоинство и права разума. И эти силы байронизма сыграли великую роль на Западѣ и у насъ,—въ лицѣ нашихъ геніальныхъ поэтовъ. Пушкинъ, среди повальнаго аристократическаго и чиновнаго презрѣнія къ литературѣ, нашелъ въ себѣ мужество—открыто заявить о значеніи поэта, какъ серьезнаго дѣятеля, поэзіи,—какъ общественнаго служенія. Лермонтовъ, проникнутый тѣмъ же сознаніемъ личной мощи, сумѣлъ спасти яркій огонь вдохновенія отъ свѣтской пошлости и леденящаго равнодушія и неразумія ближайшихъ друзей и родственниковъ. Но Пушкинъ въ то же время облекался въ мантію человѣконенавистничества, Лермонтовъ хотѣлъ казаться Мефистофелемъ и смертоноснымъ демономъ. И оба поэта воплотили въ своихъ произведеніяхъ этотъ *низменный* сортъ байронизма, сами наказали себя—одинъ въ лицѣ Онѣгина, другой—Печорина и отчасти Грушницкаго. Пушкинъ успѣлъ окончательно сбросить съ себя театральные уборы и произнесъ достойный приговоръ даже надъ своимъ учителемъ. Лермонтовъ несомнѣнно шелъ къ тому же результату,—смерть захватила его на пути, и онъ унесъ въ могилу еще нѣкоторые отзвуки юношескаго демонизма.

Гегельянство вызвало аналогичныя явленія. Рядомъ съ людьми глубокой вѣры и восторженнаго идеализма шумѣли мелкіе эксплуататоры великихъ идей и благороднѣйшихъ стремленій. Бѣлинскій могъ все забыть, разрѣшая вопросъ о существованіи Бога, Станкевичъ могъ негодовать на свои физическія немощи изъ страха не выполнить начертанной программы. Но здѣсь же выростали живыя каррикатуры на увлеченіе Бѣлинскаго и гнѣвъ Станкевича, и въ то время, когда для однихъ въ неустанной мысли заключались и мука, и счастье, для другихъ—и философія, и поэзія служили только бутафорскими средствами для новаго спектакля на тему демонизма.

Рудинъ идетъ по этому пути до конца своего романа съ Натальей. Любитъ онъ ее или нѣтъ? Отъ рѣшенія этого вопроса

зависитъ нравственная оцѣнка его поведенія въ послѣднемъ свиданіи. Если любитъ, тогда его колебанія—трусость, боязнь нравственной и практической отвѣтственности. Если нѣтъ—его резонерство въ критическій моментъ, ни болѣе, ни менѣе, какъ желаніе обычнымъ словоизверженіемъ прикрыть отсутствіе настоящаго чувства. Критики обыкновенно рѣшали вопросъ въ первомъ смыслѣ: діалектикъ и мыслитель оказывался несостоятельнымъ въ практическомъ отношеніи. Объясненіе весьма простое, давно уже установившееся для всѣхъ гамлетовъ, но только къ Рудину оно непримѣнимо. Онъ *не любитъ* Натальи на столько, чтобы связать съ ней свою жизнь. И это общее свойство демоновъ мелкаго разбора. Они *pousseuses de grands sentiments*, какъ выражались въ XVII вѣкѣ, и на самомъ дѣлѣ такъ же мало способны къ сильнымъ органическимъ увлеченіямъ, какъ и ихъ первообразы. Грушницкій безъ всякихъ стѣсненій изображаетъ «большія чувства»,— Рудинъ несравненно умнѣе, и поэтому его заявленія скромнѣе, но смыслъ тотъ же.

Наталья только-что призналась ему въ любви. Рудинъ остается одинъ при лунномъ свѣтѣ, произноситъ всего нѣсколько словъ, но какъ краснорѣчивы эти слова!

— Я счастливъ,—произнесъ онъ вполголоса.—Да, я счастливъ,— повторилъ онъ, какъ бы желая убѣдить самого себя.

«Онъ выпрямилъ свой станъ, встряхнулъ кудрями и пошелъ проворно въ садъ, весело размахивая руками».

Дальше мы узнаемъ о свиданіи Рудина съ Волынцевымъ: осчастливленный герой вздумалъ подѣлиться своимъ счастіемъ съ завѣдомымъ соперникомъ... Точь-въ-точь, какъ Грушницкій приходитъ къ Печорину изливать свои восторги... Поступаетъ ли такъ влюбленный, умѣющій беречь свое чувство и цѣнить любимую дѣвушку? Очевидно, и здѣсь для Рудина весь вопросъ въ интересномъ зрѣлищѣ, въ настроеніи, увлекающемъ его самого съ художественной, артистической точки зрѣнія? Пятый актъ всей этой трагикомедіи вполнѣ достоинъ начала. Мы говоримъ о письмѣ Рудина къ Натальѣ.

Онъ въ послѣдній разъ обращается къ ней, послѣ разлуки, повергшей ее въ отчаяніе. И неужели у него не нашлось бы про-

[redacted]

стыхъ сердечныхъ словъ даже въ эту минуту, если бы для него разлука являлась дѣйствительно лишеніемъ, разрывомъ съ единственно-дорогимъ человѣкомъ? У Рудина совершенно не оказывается такихъ словъ, онъ письмо сочиняетъ, какъ нѣкую адвокатскую рѣчь, по всѣмъ правиламъ реторики, съ умными разсужденіями, съ чувствительными изліяніями, съ лирическимъ безпорядкомъ и безчисленными многоточіями. Вотъ разсказъ объ этихъ странныхъ минутахъ «несчастнаго любовника».

«Онъ очень долго сидѣлъ надъ этимъ письмомъ, многое въ немъ перемарывалъ и передѣлывалъ и, тщательно списавъ его на тонкомъ листѣ почтовой бумаги, сложилъ его какъ можно мельче и положилъ въ карманъ. Съ грустью на лицѣ прошелся онъ нѣсколько разъ взадъ и впередъ по комнатѣ, сѣлъ на кресло передъ окномъ, подперся рукою; слеза тихо выступила на его рѣсницы... Онъ всталъ, застегнулся на всѣ пуговицы, позвалъ человѣка и велѣлъ спросить у Дарьи Михайловны, можетъ ли онъ ее видѣть».

Вы чувствуете ироническій тонъ разсказчика, и это вполнѣ естественно. Вся сцена искусственна, театральна, Рудинъ не забываетъ играть роль во всякомъ положеніи, «льются ли рѣкой» его слова или тихая слеза выступаетъ на его рѣсницы... Самое письмо лишено цѣльнаго чувства, лишено даже открытой объединяющей идеи. Сначала Рудинъ изображаетъ себя осужденнымъ на вѣчное одиночество: это величественная картина, намекъ на демоническую карьеру. Въ концѣ письма другой мотивъ нераздѣленныхъ страданій: самобичеваніе. Онъ «неоконченное существо», онъ «весь разсыпался при первомъ препятствіи», «испугался отвѣтственности», и поэтому «недостоинъ» Натальи.

Очевидно, одно представленіе уничтожаетъ другое. То герой вообще врядъ ли способенъ «любить любовью сердца», то, полюбивъ, онъ бѣжитъ отъ отвѣтственности... Письмо, такимъ образомъ, въ послѣднихъ аккордахъ воспроизводитъ излюбленныя темы байроническихъ рѣчей Рудина: геніальничанье рядомъ съ самоуниженіемъ, разсчитаннымъ на созвучныя волненія женскаго сердца.

И Рудинъ пока сходитъ со сцены, не сказавъ намъ о себѣ ни одного яснаго, прочнаго, правдиваго слова, устроивъ рядъ инте-

*

ресныхъ спектаклей для героини, а въ сущности повторивъ старый репертуаръ при новомъ освѣщеніи,—репертуаръ байронизма съ гегельянскими декораціями.

Но пусть Рудинъ сколько угодно притворяется таинственнымъ незнакомцемъ, авторъ все время на сторожѣ, не пропускаетъ ни одного его фальшиваго слова, ни одного поддѣльнаго настроенія. Часто получается впечатлѣніе, будто авторъ преднамѣренно выводитъ своего героя на всеобщее посмѣшище. Таково столкновеніе Рудина съ Волынцевымъ за обѣдомъ, таково свиданіе его съ тѣмъ же Волынцевымъ—факты едва вѣроятной трусости и наивности, такова сцена, сопровождающая письмо къ Натальѣ. Наконецъ, въ романѣ существуетъ особое лицо, неистощимое на критику и жестокія насмѣшки надъ Рудинымъ—его старый товарищъ Лежневъ. Мы знаемъ, — Лежневъ ревнуетъ Александру Павловну къ Рудину, но авторъ стремится изобразить его безукоризненнымъ джентльмэномъ, умнымъ, положительнымъ человѣкомъ, неизмѣнно держитъ его на приличной высотѣ сравнительно съ байронствующимъ и въ то же время трусливымъ Рудинымъ: въ результатѣ чувство ревности затушевывается, и предъ нами строгій, но справедливый судья.

Положеніе автора, слѣдовательно, вполнѣ очевидно. Онъ необыкновенно сурово относится къ своему герою и даже не хочетъ скрывать этого чувства. Смыслъ такого отношенія, послѣ извѣстнаго намъ личнаго нравственнаго развитія автора, вполнѣ понятенъ. Тургеневъ въ лицѣ Рудина совершаетъ надъ собой тотъ самый судъ художника, какой искони совершали великіе писатели: Гете въ *Вертерѣ* и отчасти въ *Фаустѣ*, Шекспиръ въ трагедіяхъ *Ромео и Джульетта* и въ *Гамлетѣ*, Пушкинъ въ *Евгеніи Онѣгинѣ*. Это — вдохновенныя автобіографіи, это, по выраженію Лермонтова, муки, оторванныя отъ сердца и воплощенныя въ образы. Гете на самомъ себѣ объяснилъ психологію этого явленія. Поэта, постигнутаго невзгодой, страстью или тоской, неотступно преслѣдовало стремленіе—возсоздать въ художественномъ произведеніи лично пережитое. И разъ произведеніе возникало, — исчезала и сердечная боль, и душевная истома. Такимъ путемъ созданъ *Вертеръ* въ молодые годы и *Маріенбадская элегія* въ преклонной старости. И писатель долженъ испытывать истинное

нравственное удовлетвореніе, развѣнчивая въ своемъ созданіи собственныя ошибки и неразумныя увлеченія.

У Тургенева, мы знаемъ, лежали на совѣсти подобныя увлеченія. Онъ не хуже Рудина устраивалъ словесные турниры ради эффекта, поражалъ слушателей ослѣпительной вереницей идей, образовъ, и вдохновленный «общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ», «увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній»,—еще легче, чѣмъ Рудинъ, «возвышался до краснорѣчія, до поэзіи». У Ивана Сергѣевича, несомнѣнно, была также своя восторженная публика, но были и Лежневы. Именно они видѣли въ немъ легкомысленнаго краснобая, артиста и виртуоза, не имѣющаго за душой никакихъ прочныхъ, продуманныхъ убѣжденій. «Фраза и поза» характеризовали цѣлый періодъ въ личной жизни геніальнаго художника, и ему ли было не «оторвать», наконецъ, отъ своей личности эти крикливые уборы? И онъ оторвалъ и заклеймилъ ихъ безпощаднымъ смѣхомъ и даже гнѣвомъ въ лицѣ Рудина.

Таковъ, по нашему мнѣнію, смыслъ перваго тургеневскаго романа,—несравненно болѣе автобіографическій, чѣмъ историко-общественный. И именно этотъ смыслъ возвышаетъ значеніе романа и бросаетъ вѣрный свѣтъ на нравственную природу художника и его дальнѣйшій путь развитія. Рудинъ послужилъ духовнымъ самоочищеніемъ для автора. Тургеневу необходимо было освободиться отъ юношескихъ ослѣпленій, отъ праздной игры тщеславнаго воображенія, чтобы вполнѣ сознательно отнестись къ окружающей дѣйствительности и сказать «прочное слово», столь для него желанное и жадно искомое.

Но молодой авторъ не могъ остановиться на одномъ отрицаніи, не могъ оставить себя и читателей среди поля, покрытаго осмѣянными фразами и позами, оборванной, потускнѣвшей мишурой. Воспоминанія молодости вообще дороги и близки сердцу, но они еще дороже, когда съ ними соединяется представленіе о былыхъ успѣхахъ, о быломъ блескѣ, безотчетномъ героизмѣ—все равно—дѣйствительномъ или театральномъ. Всѣ поэты, развѣнчивая молодыя заблужденія, хранятъ въ сердцѣ какое-то нѣжное чувство къ своимъ героямъ, похожее на чувство отца къ легкомысленному сыну. Гете сознавался, что даже въ старости не могъ безъ глубокаго

волненія читать исторію страданій Вертера, Тургеневъ и Лермонтовъ будто невольно отождествляютъ себя со своими героями: такимъ лизирмомъ звучитъ подчасъ ихъ рѣчь непосредственно послѣ уничтожающей ироніи. Молодость незабвенна потому, что невозвратна, и нѣтъ такихъ радостей въ зрѣломъ возрастѣ, чтобы заставить замолчать гдѣ-то далеко едва слышное эхо...

Тургеневъ написалъ въ высшей степени суровую исторію рудинскаго романа, кончилъ ее полнымъ разгромомъ героя, но «минуло около двухъ лѣтъ», — и начинается эпилогъ. Аполлонъ Григорьевъ, единственный изъ видныхъ критиковъ, подмѣтилъ разноголосицу въ романѣ и эпилогѣ, но объяснилъ ее просто непослѣдовательностью автора, въ высшей степени странной и совершенно неожиданной. На самомъ дѣлѣ авторъ какъ нельзя болѣе послѣдователенъ—съ *психологической* точки зрѣнія—такъ же послѣдователенъ, какъ и Пушкинъ, заявляющій одновременно о своихъ добрыхъ чувствахъ къ Онѣгину и выставляющій его въ комическомъ свѣтѣ. Тургеневъ идетъ тѣмъ же путемъ, только болѣе откровеннымъ и рѣзкимъ. Его романъ прямо дѣлится на двѣ части: въ одной байронствующій гегельянецъ, боящійся даже «касаться нѣкоторыхъ струнъ» въ своемъ сердцѣ, въ другой — честный, мужественный мечтатель и даже *дѣятель* сороковыхъ годовъ. Какъ это могло произойти въ теченіи двухъ лѣтъ?

Отвѣта логическаго, убѣдительнаго объективно, нѣтъ и не можетъ быть. Надо стать на мѣсто автора, пишущаго свою исповѣдь, чтобы понять переворотъ, полную реабилитацію Рудина.

Сначала его «возстанавливаютъ» на словахъ: Лежневъ теперь его искреній другъ и даже поклонникъ наравнѣ съ Басистовымъ. Теперь онъ все оправдываетъ и все объясняетъ. Но какъ же, спросите вы, можно оправдать факты, разсказанные раньше тѣмъ же Лежневымъ и ясно доказывавшіе, что Рудинъ, *тридцатипятилѣтній* Рудинъ—почти невѣжда, недобросовѣстный фразеръ, сомнительный въ своихъ поступкахъ—съ друзьями и женщинами? Ни одинъ изъ этихъ фактовъ теперь не опровергается, а другихъ Лежневъ не знаетъ: онъ не видѣлъ Рудина послѣ романа съ Натальей. Неужели только чувство ревности, притомъ далеко неясное и въ глазахъ самого Лежнева врядъ ли основательное, можетъ до

такой степени сбить съ толку необыкновенно уравновѣшеннаго и разсудительнаго человѣка? Кромѣ того, надо помнить, Лежневъ порвалъ съ Рудинымъ задолго до романа, и встрѣчается съ нимъ крайне непривѣтливо: очевидно, мотивы разрыва были весьма внушительные и вполнѣ соотвѣтствовали разсказамъ Лежнева о Рудинѣ у Волынцевыхъ. Куда же все это исчезло безъ всякаго участія со стороны Рудина, напротивъ, послѣ его далеко нелестныхъ приключеній у Ласунской? Только-что мы слышали смертный приговоръ герою и видѣли на дѣлѣ, насколько этотъ приговоръ справедливъ,—и вдругъ оправданіе по всѣмъ статьямъ и даже признаніе великой пользы отъ его краснорѣчія, хотя именно оно и заставило Лежнева презирать Рудина задолго до побѣдъ оратора надъ Натальей и Басистовымъ!..

Очевидно, *логическое* объясненіе здѣсь непримѣнимо. Автору нужно во что бы то ни стало создать у читателей новое впечатлѣніе относительно своего героя, и сначала тостъ Лежнева, его жесточайшаго критика, а потомъ—въ видѣ иллюстраціи—появленіе самого Рудина. Въ первой части Рудинъ дѣйствовалъ въ полномъ согласіи съ отзывами Лежнева,—являлся комедіантомъ, горе-богатыремъ, безъ любящаго, отзывчиваго сердца, даже трусомъ. Во второй части его дѣйствія другія, потому что и рѣчи Лежнева не тѣ.

«Прошло еще нѣсколько лѣтъ», такъ начинается эпилогъ, и Рудинъ выступаетъ на сцену, чтобы окончательно закрѣпить въ нашемъ представленіи новый образъ. Средство очень простое. Рудинъ разсказываетъ Лежневу о томъ, что произошло съ нимъ за эти «два года» и «еще нѣсколько лѣтъ». И намъ нечего объяснять смыслъ этого разсказа. Гегельянецъ дѣйствовалъ, какъ истинный достойный представитель идеалистической эпохи.

Всѣ его предпріятія и стремленія озарены безсмертнымъ пламенемъ вѣры въ человѣческія силы и человѣческій прогрессъ. Рудину ничто не удается, онъ всюду терпитъ неудачи и пораженія, но Лежневъ и всякій другой слушатель безусловно на сторонѣ побѣжденнаго. И иначе быть не можетъ. Рудина угнетаютъ чужой эгоизмъ, чужая алчность, недобросовѣстность, онъ настоящій мученикъ идеи, жертва своего внутренняго прометеева огня,—

жертва, все болѣе прекрасная, чѣмъ больше терновыхъ вѣнковъ на ея челѣ.. Послѣдній «нумеръ» рудинскихъ «похожденій»—священнѣйшая мечта юношества тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ· Рудинъ сталъ учителемъ, преподавателемъ русской словесности, и онъ описываетъ свои надежды и первыя впечатлѣнія совершенно въ томъ жо духѣ, какъ говорили объ этомъ предметѣ Станкевичъ и его друзья. И на этомъ поприщѣ Рудинъ терпитъ пораженіе, но такого сорта, что имъ—пораженіемъ—покрываются всѣ опрометчивыя увлеченія, всѣ слишкомъ громкія рѣчи благороднаго неудачника. И Лежневъ спѣшитъ подтвердить именно этотъ результатъ.

«Ты уваженіе внушаешь мнѣ,—говоритъ онъ,—вотъ чтò» И у Лежнева есть совершенно убѣдительныя основанія питать такое чувство къ Рудину.—«Отчего ты, странный человѣкъ, съ какими бы помыслами ни начиналъ дѣло, всякій разъ непремѣнно кончалъ его тѣмъ, чтó жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ недобрую почву, какъ она жирна ни была?»...

И Лежневъ необыкновенно лестно для Рудина объясняетъ его вѣчныя неудачи, не признаетъ, чтобы это метанье было плодомъ празднаго безпокойства. «Огонь къ истинѣ въ тебѣ горитъ и, видно, не смотря на всѣ твои дрязги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ. Да я первый на твоемъ мѣстѣ давно бы заставилъ замолчать въ себѣ этого червя и примирился бы со всѣмъ; а въ тебѣ даже желчи не прибавилось».

Естественно, такіе люди возбуждаютъ энтузіазмъ молодежи и Басистовъ уже давно подготовилъ насъ къ разсужденіямъ Лежнева, восторженно провозгласивъ Рудина «геніальной натурой». Онъ по личному опыту знаетъ великое нравственное вліяніе неудачника: «клянусь вамъ, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя двигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя».

И такимъ былъ Рудинъ съ самаго начала... Теперь этотъ талантъ выступаетъ на первый планъ, а раньше онъ пропадалъ въ безднѣ праздныхъ искуственныхъ рѣчей, эффектныхъ жестовъ, размалеванныхъ демоническихъ страданій... И соображенія о воз-

растѣ, болѣе зрѣломъ, здѣсь безусловно неумѣстны. Рудинъ не былъ юношей въ минуту перваго появленія на сцену: Лежневъ совершенно справедливо находилъ, что «въ года Рудина стыдно тѣшиться шумомъ собственныхъ рѣчей, стыдно рисоваться»... И вдругъ, уѣхавъ отъ Ласунской, Рудинъ вступилъ на совершенно другую дорогу, прощеголявъ въ пестромъ плащѣ новаго чайльдъ-гарольда почти до сорока лѣтъ... Нѣтъ, фактическая исторія и общая психологія приведутъ насъ къ неразрѣшимой загадкѣ. Объясненія слѣдуетъ искать въ нравственномъ и творческомъ мірѣ самаго автора. Второй Рудинъ—дѣйствительно типъ идеалиста, стоящаго слишкомъ высоко надъ современной дѣйствительностью, предъявляющаго людямъ и жизни непосильныя и мало доступныя для нихъ требованія. Онъ—жертва великихъ задачъ, проникающихъ все его существо и не приспособленныхъ къ общественнымъ и историческимъ условіямъ извѣстной среды.

Гдѣ-нибудь, среди другихъ людей Рудинъ, можетъ быть, и нашелъ бы исходъ своей жаждѣ—героическаго поприща. Авторъ заставляетъ своего героя умереть на парижскихъ баррикадахъ въ 1848 г., въ іюньскіе дни, умереть, слѣдовательно,—за рабочихъ. Смерть сѣдовласаго русскаго гегельянца въ междоусобицахъ чужого народа производитъ на насъ сложное впечатлѣніе, не комическое, не театральное, а какое-то гнетущее, болѣзненное. Французъ, умирающій на тѣхъ же баррикадахъ,—герой, но участь Рудина, не смотря на весь драматизмъ, вызываетъ еще другое чувство,—то самое, какимъ авторъ кончаетъ разсказъ о встрѣчѣ Рудина съ Лежневымъ.

«Лежневъ долго ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, остановился передъ окномъ, подумалъ, промолвилъ вполголоса: «бѣднякъ!» и, сѣвъ за столъ, началъ писать письмо къ своей женѣ.

«А на дворѣ поднялся вѣтеръ и завылъ зловѣщимъ завываньемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звенящія стекла. Наступила долгая, осенняя ночь. Хорошо тому, кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теперь уголокъ... И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!»

И мы знаемъ, у кого этотъ уголокъ и кто безпріютный скиталецъ, и не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ нашего равнодушія и сочувствія.

Еще раньше послѣдняго появленія Рудина у автора будто невольно сорвалось замѣчаніе о бывшемъ товарищѣ и грозномъ судьѣ нашего героя. Собственно рѣчь идетъ о сынѣ Лежнева, но ея смыслъ необыкновенно краснорѣчивъ и для отца.

«Ребенокъ не пищалъ, съ важностью сосалъ свой палецъ и спокойно посматривалъ кругомъ. Достойный сынъ Михайла Михайлыча уже сказывался въ немъ».

Объясненія излишни. Рудинъ—«безпріютный скиталецъ», вызывающій молитву, Лежневъ—достойный отецъ сына, сосущаго свой палецъ и спокойно посматривающаго на весь міръ... Такъ перемѣнились роли героевъ! И—что еще важнѣе—до неузнаваемости преобразовалось настроеніе автора.

Его чувства и мысли до такой степени различны, что въ сущности передъ нами два героя и два романа: одинъ герой—незаконное дѣтище философской эпохи, другой—ея истинный сынъ. Въ лицѣ одного писатель подвергъ безпощадному униженію все фальшивое, все актерское и виртуозное въ русскихъ гегельянцахъ, въ лицѣ другого—вспомнилъ завѣты и жизнь благороднѣйшихъ учениковъ германской мысли. Такое совмѣщеніе въ одномъ лицѣ двухъ разнородныхъ общественныхъ теченій наноситъ жестокій ударъ психологической правдѣ и художественной гармоніи романа. Но это совмѣщеніе *личный опытъ* самого автора и, вѣроятно, не одного его въ ту же эпоху.

Ошибка заключается не въ самомъ типѣ, а въ произведеніи. Вмѣсто того, чтобы постепенно вводить читателя въ развивающійся духовный міръ героя, авторъ предпочитаетъ отрывочныя сообщенія о *результатахъ*. Мы читаемъ: «минуло около двухъ лѣтъ», «прошло еще нѣсколько лѣтъ«,—и занавѣсъ поднимается, а именно въ антрактахъ произошло все самое существенное, что намъ надо было *видѣть*. Цѣльность дѣйствующаго лица исчезаетъ и ее можно возстановить только путемъ разсужденій—біографическаго и психологическаго характера.

Въ моментъ возникновенія романа его герой, можетъ быть, самому автору являлся чѣмъ-то смутнымъ и двусмысленнымъ. И это вполнѣ естественно. Понять Рудина для Тургенева въ сильной степени значило понять самого себя. А такая «зрѣлость созерца-

нія» дается лишь годами вдумчивости, безпристрастнаго и спокойнаго самонаблюденія. Врядъ ли это было доступно писателю, едва покончившему съ «бурнымъ періодомъ» своей жизни и, вѣроятно, носившему въ себѣ еще не мало рудинскихъ элементовъ.

Одинъ изъ этихъ элементовъ, только уже послѣдующаго развитія, элементъ *эпилога*, принадлежалъ самой натурѣ писателя. Это—мужество и послѣдовательность на почвѣ общихъ вопросовъ, безсиліе и колебанія въ будничныхъ положеніяхъ жизни. Тургеневъ не скрывалъ своего слабоволія и обнаруживалъ этотъ недостатокъ на каждомъ шагу въ практическихъ вопросахъ, отступалъ при первомъ натискѣ энергичнаго или просто ловкаго человѣка. Особенно сказывалось это свойство, когда дѣло шло о деньгахъ. Здѣсь достаточно было нахальной выходки, чтобы Тургеневъ прекратилъ всякій протестъ.

Такихъ случаевъ безчисленное множество, мы знаемъ, какъ велъ себя Тургеневъ при раздѣлѣ наслѣдства: по смерти брата, онъ уступилъ мужу его дочери, когда тотъ отказался выдать завѣщанные Николаемъ Сергѣевичемъ 100.000 р. и даже заявилъ Тургеневу, что, по его мнѣнію, для Ивана Сергѣевича и 20.000 слишкомъ достаточно. Тургеневъ ограничился замѣчаніемъ: «Ну, на этотъ счетъ позвольте мнѣ думать иначе» [112]).

Такіе факты повторялись безпрестанно. Характерна исторія съ книгопродавцемъ Основскимъ. Книгопродавецъ взялся издать сочиненія Тургенева: происходило это въ 1861 году. Банкротство застигло Основскаго въ самый разгаръ предпріятія. Тургеневъ жестоко сердился на значительныя потери, причиненныя ему банкротомъ, но отъ какого-либо иска отказался. На этотъ отказъ негодовали даже остальные кредиторы Основскаго. Тургеневъ оправдывалъ себя такимъ соображеніемъ: «Я не могъ не усомниться въ немъ, вслѣдствіе писемъ отъ его же пріятелей, но я не позволилъ бы себѣ осудить окончательно человѣка бездоказательно» [113]).

Мы дальше познакомимся съ отношеніями Тургенева къ литераторамъ и журналистамъ и увидимъ то же нежеланіе вступать

[112]) Григоровичъ. *Русск. М.*, l. cit. 72.

[113]) Анненковъ. *Шесть лѣтъ переписки. В. Е.* 1885, апр. 486.

въ препирательство и въ борьбу, хотя бы право находилось безусловно на сторонѣ Ивана Сергѣевича. Мы, кромѣ того, убѣдимся въ необыкновенной терпимости Тургенева къ чужимъ мнѣніямъ и взглядамъ, въ его уваженіи къ чужимъ идеямъ, какъ бы сильно онѣ не противорѣчили его собственному міросозерцанію. Все это— качества, безусловно культурныя, благородныя, но на практикѣ они вызываютъ нерѣдко тяжелыя огорченія. Для житейской борьбы подчасъ необходима извѣстная односторонность, рѣшительность, независимая отъ логическихъ процессовъ и даже общихъ нравственныхъ соображеній. Въ иныхъ положеніяхъ отъ дѣятеля, во что бы то ни стало преслѣдующаго личный успѣхъ, требуется извѣстный компромиссъ съ совѣстью и убѣжденіями. Такого рода побѣды предосудительны съ нравственной и идейной точекъ зрѣнія, но часто только онѣ и возможны на аренѣ будничныхъ столкновеній. Тургеневъ не былъ способенъ идти такимъ путемъ, даже больше— отступалъ отъ *личной* борьбы, если вопросъ шелъ объ удовлетвореніи его *личныхъ* интересовъ. Это—несомнѣнно одна изъ чертъ, входящихъ въ сложный характеръ Рудина. Не даромъ герой умираетъ за идею, за вопросъ, для него практически безразличный, но въ своей личной жизни, въ практическихъ интересахъ онъ терпитъ одну неудачу за другой.

Самъ авторъ въ этомъ отношеніи напоминаетъ своего героя. Въ общихъ вопросахъ, въ идеяхъ Тургеневъ не дѣлалъ ни одного шага въ сторону въ теченіи всей жизни; здѣсь онъ, какъ увидимъ, боролся мужественно, энергично, не покидая оружія. Во всѣхъ другихъ случаяхъ онъ способенъ былъ замолчать и отступить.

Въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать его отзывъ о самомъ себѣ, высказанный именно вскорѣ послѣ созданія Рудина.

Вопросъ идетъ о спорахъ, какіе Тургеневъ велъ съ Аксаковыми въ пятидесятыхъ годахъ — и въ устной бесѣдѣ, и въ письмахъ. Споры касались основныхъ явленій русской исторіи и русскаго быта. Предметъ разногласій и положеніе Тургенева ясно изъ слѣдущаго письма къ С. Аксакову, отъ 25 мая 1856 года.

«Съ Константиномъ Сергѣевичемъ, я боюсь, мы никогда не сойдемся. Онъ въ мірѣ видитъ какое-то всеобщее лекарство, панацею, альфу и омегу русской жизни; а я, признавая его особен-

ность и собственность—если такъ можно выразиться—Россіи, все-таки вижу въ немъ одну лишь первоначальную основную почву, но не болѣе, какъ почву—форму, *на* которой строится, а не *въ* которую выливается государство. Дерево безъ корней быть не можетъ; но Константинъ Сергѣевичъ мнѣ кажется, желалъ бы видѣть корни на вѣтвяхъ. Право личности имъ, что ни говори, уничтожается, а я за это право сражаюсь до сихъ поръ и буду сражаться до конца. Обо всемъ этомъ мы еще поговоримъ въ дѣлѣ; но пословица гласитъ: «горбатаго исправитъ могила», а мы съ нимъ чуть ли не оба горбаты, только въ разныя стороны. Хотя я принадлежу болѣе къ «тряпкамъ», но вѣдь и у тряпки есть свое упорство: разорвать ее легко, а молотомъ сколько угодно бей по ней,—ничего не сдѣлаешь«... [114]).

Въ такихъ же словахъ можно бы изобразить смыслъ «похожденій» Рудина—вплоть до трагедіи на баррикадахъ...

Письмо къ Аксакову было написано изъ Спасскаго, куда Иванъ Сергѣевичъ уѣхалъ пожить на покоѣ послѣ шумнаго появленія въ свѣтъ *Рудина*.

VI.

Лѣто 1856 года Тургеневъ, по обыкновенію, прожилъ въ своихъ имѣніяхъ и велъ, по его словамъ, «жизнь самую праздную»: ѣлъ «все, даже салатъ», спалъ «какъ Моська», читалъ, впрочемъ, «съ большимъ удовольствіемъ» *Исторію Греціи* Грота, восхищался «милыми и счастливыми аѳинянами», и ходилъ на охоту [115]). Въ письмѣ отъ 20 іюля онъ пишетъ о предстоящей поѣздкѣ заграницу, и въ августѣ уѣзжаетъ. Съ конца октября Тургеневъ живетъ въ Парижѣ, собирается приняться за работу «довольно серьезно». Въ эти періоды заграничной жизни Тургеневъ не питаетъ добрыхъ чувствъ ни къ французамъ, ни къ Парижу. Аксакову онъ пишетъ: «пребываніе во Франціи произвело на меня обычное свое дѣйствіе: все, что я вижу и слышу, какъ-то тѣснѣе и ближе прижимаетъ меня къ Россіи; все родное становится мнѣ вдвойнѣ дорого» [116]).

---

[114]) *Р. Обозр.* 1894, дек. 585.

[115]) *Письма*, 24.

[116]) *Р. Обозр. Ib.*, 589.

«Французская фраза» ему противна, довольство, какое онъ замѣчаетъ въ Парижѣ, дѣлаетъ этотъ городъ «прозаически плоскимъ». Здѣсь его удерживаетъ «старинная неразрывная связь съ однимъ семействомъ» и его дочь.

Все это читаемъ въ письмѣ къ гр. Толстому отъ 16 ноября 1856 года. Письмо въ высшей степени интересно, какъ самый ранній подлинный отзывъ Тургенева о личности, талантѣ и литературной дѣятельности гр. Толстого.

Тургеневъ познакомился съ гр. Толстымъ по собственному почину. Графъ былъ его сосѣдомъ по имѣнію. Вѣчно всѣмъ заинтересованный, ко всѣмъ участливый, Тургеневъ пригласилъ сосѣда къ себѣ. Знакомство состоялось, но, по словамъ Тургенева, «въ неладную минуту». Писатели, которымъ было суждено первенствующее значеніе въ новой русской литературѣ, рѣзко отличались другъ отъ друга характерами и взглядами. Это различіе еще не могло превратиться въ неисчерпаемый источникъ ссоръ и крайне враждебныхъ столкновеній. Требовался воинствующій элементъ, требовалась нетерпимость къ чужимъ мнѣніямъ, къ чужой личности. Все это обнаружилось съ самого начала знакомства на сторонѣ гр. Толстого.

Мы видѣли, у Тургенева въ молодости были извѣстныя странности, наклонность къ геніальничанью, къ эффекту, можетъ быть, нѣкоторое пристрастіе къ фразѣ. Все это съ теченіемъ времени исчезло и авторъ геніальныхъ романовъ уже не могъ страдать этими недостатками. Знакомство съ гр. Толстымъ произошло раньше, и у графа оказалось множество мотивовъ громить своего друга проповѣдями на темы о простотѣ, здравомъ смыслѣ и прочихъ добродѣтеляхъ. Эти проповѣди были часто безпощадны: гр. Толстой, подвергая жестокой критикѣ даже внѣшность Тургенева, будто бы обличающую его нравственныя несовершенства, находилъ его ляжки «фразистыми», «демократическими». Очевидцы свидѣтельствуютъ о «вызывающемъ тонѣ и злобномъ презрѣніи», которые выказывалъ гр. Толстой къ Тургеневу, когда Тургеневъ успѣлъ уже отдѣлаться отъ многихъ увлеченій молодости. Это извѣстіе идетъ отъ друга Тургенева [117]).

---

[117]) Анненковъ. *Молодость И. С. Т—ва. В. Е.*, 1884, февр. 471.



ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ. Д. В. ГРИГОРОВИЧЪ.

И. А. ГОНЧАРОВЪ. И. С. ТУРГЕНЕВЪ. А. Н. ОСТРОВСКІЙ. А. В. ДРУЖИНИНЪ

ВЪ МАРТѢ 1856 Г. ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ

[redacted]

Другой современникъ, безусловный сторонникъ гр. Толстого, передаетъ, съ какимъ упорствомъ гр. Толстой длилъ распри: на него нисколько не дѣйствовали убѣжденія другихъ, ставившихъ на видъ любовь и уваженіе къ нему Тургенева [118]).

Мы приводимъ только свидѣтельства очевидцевъ и не признаемъ за собой права высказывать окончательные приговоры въ чью бы то ни было пользу. Одно несомнѣнно: любовь и уваженіе Тургенева къ гр. Толстому,—чувства, граничившія съ сердечной нѣжностью и пылкимъ восторгомъ.

Письма Тургенева переполнены доказательствами. На этотъ разъ мы укажемъ только на ранніе отзывы Тургенева, высказанные до разрыва съ гр. Толстымъ.

Осенью 1854 года онъ пишетъ: «Очень радъ я успѣху *Отрочества*. Дай только Богъ Толстому пожить, а онъ, я твердо надѣюсь, еще удивить насъ всѣхъ—это талантъ первостепенный».

Слѣдуетъ помнить, что этотъ взглядъ высказанъ при самомъ началѣ литературной дѣятельности гр. Толстого, когда еще его талантомъ не интересовались даже литераторы, нѣкоторые не знали его произведеній, а издатели журналовъ смѣшивали его съ другими современными писателями [119]). Тургеневъ еще въ 1852 году, не зная лично Толстого, умѣлъ оцѣнить его талантъ и собрать свѣдѣнія объ его личности.

Онъ не пропускаетъ ни одного произведенія графа безъ горячихъ похвалъ. Самъ Тургеневъ въ это время уже пользовался обширной популярностью и для начинающаго писателя, какимъ являлся гр. Толстой, отзывы Тургенева были драгоцѣнны. Наконецъ, письмо отъ 16 ноября—настоящая исповѣдь.

Тургеневъ пишетъ:

«Я чувствую, что люблю васъ, какъ человѣка (объ авторѣ и говорить нечего); но многое меня въ васъ коробитъ; и я нашелъ подъ конецъ удобнѣе держаться отъ васъ подальше. При свиданіи, попытаемся опять пойти рука объ руку—авось, удастся лучше, а въ отдаленіи (хотя это звучитъ довольно странно)—сердце мое

---

[118]) Фетъ. *Мои воспоминанія*. I, 107.

[119]) *Отчетъ* Публ. библ., 20—1.

къ вамъ лежитъ, какъ къ брату, и я даже чувствую нѣжность къ вамъ. Однимъ словомъ, я васъ люблю—это несомнѣнно; авось, изъ этого современемъ выйдетъ все хорошее».

Тургеневъ переходитъ къ литературнымъ вопросамъ и здѣсь та же искренность, та же задушевность,—на этотъ разъ вмѣстѣ съ безкорыстнѣйшимъ уваженіемъ къ таланту своего соперника.

«Если вы не свихнетесь съ дороги (и кажется, нѣтъ причинъ предполагать это) вы очень далеко уйдете. Желаю вамъ здоровья, дѣятельности—и свободы, свободы духовной».

Тургеневъ оканчиваетъ письмо сравненіемъ своей литературной дѣятельности съ дѣятельностью гр. Толстого и высказываетъ взглядъ, свидѣтельствующій объ исключительномъ самоотверженіи уже прославленнаго писателя: этотъ взглядъ останется неизмѣннымъ до послѣднихъ дней Тургенева и будетъ высказанъ въ предсмертномъ письмѣ къ автору *Войны и мира.*

«Мои вещи могли вамъ нравиться—и, можетъ быть, имѣли нѣкоторое вліяніе на васъ—только до тѣхъ поръ, пока вы сами сдѣлались самостоятельны. Теперь вамъ меня изучать нечего, вы видите только разность манеры, видите промахи и недомолвки; вамъ остается изучать человѣка, свое сердце—и дѣйствительно великихъ писателей. А я писатель переходнаго времени и гожусь только для людей, находящихся въ переходномъ состояніи».

Иванъ Сергѣевичъ пристально слѣдитъ за нравственнымъ и художественнымъ развитіемъ гр. Толстого и привѣтствуетъ «какъ нянька старая» каждый поворотъ къ лучшему—на его взглядъ. Рядомъ съ этими привѣтствіями Тургеневу приходится выносить не мало испытаній. Онъ въ восторгѣ отъ разсказа гр. Толстого: «*Утро помѣщика*». «Нравственное впечатлѣніе» разсказа состоитъ въ томъ, «что пока будетъ существовать крѣпостное право нѣтъ возможности сближенія и пониманія обѣихъ сторонъ, не смотря на самую безкорыстную и честную готовность сближенія». Обѣ стороны—это помѣщики и ихъ крѣпостные. Выводъ кажется Тургеневу хорошимъ и вѣрнымъ. Но у гр. Толстого есть еще и другой: «просвѣщать мужика, улучшать его бытъ—ни къ чему не ведетъ». Съ этимъ Тургеневъ не можетъ согласиться. Естественно, спустя нѣсколько времени онъ принужденъ сознаться: «съ Тол-

стымъ я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишкомъ мы врозь глядимъ» [120]).

Таковы отношенія и нѣкоторые *разные* взгляды двухъ писателей во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ. Разногласія и глубокая противоположность натуръ скоро должны были разрѣшиться разрывомъ...

Въ то самое время, когда Тургеневъ съ такой искренностью заботился о сближеніи съ своимъ собратомъ, ему пришлось перенести первое оскорбленіе отъ журнальнаго издателя. Въ началѣ 1857 года Тургеневъ заключилъ съ редакціей «Современника» условіе—помѣщать свои произведенія исключительно въ этомъ журналѣ. Но еще до условія Тургеневъ обѣщалъ редакціи «Русскаго Вѣстника» повѣсть, и, давая обязательство «Современнику», выговорилъ право—исполнить свое обѣщаніе другому журналу. Въ девятой книгѣ «Современника» появилась повѣсть «Фаустъ». Катковъ печатно заявилъ, что это та самая повѣсть, которую Тургеневъ обѣщалъ доставить въ «Русскій Вѣстникъ», хотя обѣщанное произведеніе авторъ называлъ «Призраками». Тургеневъ счелъ нужнымъ, въ письмѣ къ редактору «Московскихъ Вѣдомостей», разъяснить вопросъ, такъ какъ онъ могъ принять въ глазахъ публики форму, весьма неблагопріятную для его имени, какъ писателя [121]).

Въ теченіи этихъ лѣтъ Тургеневу жилось заграницей далеко не весело. Его письма переполнены тоской о родинѣ, о друзьяхъ, оставшихся въ далекомъ Петербургѣ. Особенно зима 1856 года оказалась для Тургенева «ужасной». Къ этому времени относятся его жалобы на «цыганскую жизнь»; «не свить мнѣ, видно, гнѣзда нигдѣ и никогда!» восклицаетъ онъ въ одномъ письмѣ. Въ другомъ настроеніе еще мрачнѣе: «что ни говори, на чужбинѣ точно вывихнутый. Никому не нуженъ—и тебѣ никто не нуженъ. Надо пріѣзжать сюда молодымъ, когда еще собираешься только жить—или же старымъ, когда покончилъ жизнь». Дальше читаемъ: «я въ этомъ чужомъ воздухѣ разлагаюсь, какъ мерзлая рыба при

[120]) *Письма*, 44, 51.
[121]) *Письма*, 40—1, 31.

оттепели». Парижъ ему «солонъ пришелся» и онъ во что бы то ни стало хочетъ разстаться съ нимъ. Онъ даже клянется, что съ будущей зимы «всѣ зимы своей жизни» будетъ проводить въ Петербургѣ. Пока онъ разъѣзжаетъ изъ Парижа по Франціи «для перемѣны воздуха», но пользы отъ этого никакой не видитъ[122]). Работа идетъ крайне медленно и, по мнѣнію Тургенева, неудачно. Онъ посылаетъ въ «Библіотеку для Чтенія» разсказъ «Поѣздка въ Полѣсье» и пишетъ редакторамъ журнала: «Мнѣ онъ показался такъ слабъ, что я рѣшился прибѣгнуть къ третейскому суду. Если вы сообща найдете, что это печатать не стоитъ, то бросьте его и извините меня» [123]). Онъ даже намѣренъ совершенно отказаться отъ писательства. Въ одинъ изъ приступовъ мрачнаго настроенія онъ изорвалъ всѣ свои «начинанія и планы». Извѣщая объ этомъ Боткина, онъ пишетъ: «Скажу тебѣ на ухо съ просьбой не пробалтываться. Ни одной моей строчки никогда напечатано (да и писано) не будетъ до окончанія вѣка... Таланта съ особенной физіономіею и цѣлостью нѣтъ; были поэтическія струнки, да онѣ прозвучали и отзвучали—повторяться не хочется. Въ отставку! Это не вспышка досады, повѣрь мнѣ; это выраженіе или плодъ медленно созрѣвшаго убѣжденія. Неуспѣхъ моихъ повѣстей ничего мнѣ не сказалъ новаго... Ты, вѣроятно, подумаешь, что все это преувеличеніе, и ты мнѣ не повѣришь. Ты увидишь, я надѣюсь, что я никогда не говорилъ серьезнѣе и искреннѣе. Ты знаешь, что я хотѣлъ бросить стихи писать, какъ только убѣдился, что я не поэтъ, а по теперешнему моему убѣжденію, я такой же повѣствователь, какой былъ поэтъ» [124]). Мы не разъ и впослѣдствіи встрѣтимся съ подобнымъ отчаяніемъ и такими же завѣреніями. Къ великому счастью русскаго общества, отчаяніе оказывалось мимолетнымъ и завѣренія не выполнялись. Но все это далеко не свидѣтельствовало о счастьѣ самого писателя, — и кто знаетъ, сколько стоило ему мужества и энергіи—среди полнаго нравствен-

---

[122]) *Письма*, 32, 34, 47, 44, 48. Анненковъ. *Шесть лѣтъ переписки*. *В. Е.* 1885, март. 9.

[123]) *Письма*, 48.

[124]) *XXV лѣтъ*. 1859—1884, стр. 500—501.

наго одиночества—личныя неудовлетворенныя стремленія забывать ради творческаго подвига!..

Осенью 1857 года Тургеневъ уѣзжаетъ въ Римъ, разсчитывая спокойно работать.

Надежды сбылись не вполнѣ. Тяжелое настроеніе не покидаетъ Тургенева. Въ концѣ октября онъ пишетъ: «какъ мнѣ тяжело и горько бываетъ, этого я вамъ передать не могу. Работа можетъ одна спасти меня, но если она не дастся, худо будетъ. Прошутилъ я жизнь—а теперь локтя не укусишь» [125]).

Никто не посмѣлъ бы высказать такой упрекъ геніальному художнику. Но ему самому казалось, что къ сорока годамъ мало создать «Записки охотника», «Рудина» и множество другихъ произведеній, мало возбудить энергическую работу общественной мысли, сосредоточить на себѣ взоры всей просвѣщенной Россіи, исполненныя трепетныхъ ожиданій... Когда мы читаемъ эти упреки писателя самому себѣ, свидѣтельствующіе о неудержимомъ стремленіи наполнить дѣломъ каждый часъ жизни, намъ припоминается юношеская рѣчь другого поэта, горящая тѣмъ же благороднымъ нетерпѣніемъ.

Лермонтовъ на порогѣ своей поэтической дѣятельности писалъ:

Мнѣ нужно дѣйствовать; я каждый день
Безсмертнымъ сдѣлать бы желалъ, какъ тѣнь
Великаго героя, и понять
Я не могу, что значитъ отдыхать.
Всегда кипитъ и зрѣетъ что-нибудь
Въ моемъ умѣ. Желанье и тоска
Тревожатъ безпрестанно эту грудь.
Но что жъ? Мнѣ жизнь все какъ-то коротка,
И все боюсь, что не успѣю я
Свершить чего-то...

Несомнѣнно, такое же безпокойство, такая же боязнь — прожить безплодно драгоцѣнные годы—омрачала мысль Тургенева, и вмѣстѣ съ тоской одиночества не переставала терзать его сердце, исполненное любви и необъятныхъ порывовъ. Онъ ведетъ мужественную борьбу съ своимъ настроеніемъ, старается устранить его изъ сво-

---

[125]) *Шесть лѣтъ переписки. В. Е.* 1885, мрт. 10.

*

ихъ произведеній: «Темный покровъ упалъ на меня и обвилъ меня», пишетъ онъ, «не стряхнуть мнѣ его съ плечъ долой. Стараюсь, однако, не пускать эту копоть въ то, что я дѣлаю; а то кому оно будетъ нужно? Да и самому мнѣ оно будетъ противно» [126]).

Тургеневъ часто жалуется на болѣзни, называетъ себя «развалиной», постоянно вспоминаетъ о смерти... Это была истинная мука, но духовная жизнь шла своимъ путемъ. Тургеневъ не перестаетъ горячо интересоваться русской литературой, восхищается римской природой, «упивается» римской исторіей Моммзена, заводитъ знакомство съ художниковъ Ивановымъ, подробно разбираетъ его знаменитую картину, ведетъ жестокую войну съ другими русскими художниками, проживающими въ Римѣ и предающими поношенію Рафаэля и все, кромѣ своего невѣжества,—наконецъ, пишетъ одно изъ прелестнѣйшихъ своихъ произведеній, — повѣсть «Ася».

Но это не все. Тургенева задерживаетъ въ Римѣ еще одна работа. Ее онъ считаетъ «довольно серьезной» и не совсѣмъ для себя привычной [127]). Работа была вызвана освободительными планами правительства. Въ ней принимали участіе еще нѣсколько русскихъ—кн. Черкасскій, В. П. Боткинъ, гр. Ростовцевъ. Тургеневъ много лѣтъ спустя писалъ: «Первыя вѣсти о намѣреніи правительства освободить крестьянъ застали насъ въ Римѣ, и мы подъ вліяніемъ этихъ вѣстей устроили сходки, на которыхъ обсуждались всѣ стороны этого жизненнаго вопроса, произносились рѣчи (особеннымъ краснорѣчіемъ отличался кн. Черкасскій)». Въ результатѣ явилась мысль основать журналъ—«Хозяйственный указатель» [128]). Въ программѣ говорилось: «Хозяйственный указатель» посвящается спеціальной и подробной разработкѣ всѣхъ вопросовъ, касающихся до устройства крестьянскаго быта въ Россіи, и до опредѣленія правильныхъ и постоянныхъ отношеній между землевладѣльцами». Объяснялось, что онъ вызванъ появленіемъ Высочайшихъ рескриптовъ, и «будетъ дѣйствовать въ ихъ духѣ».

---

[126]) *Ib.*, 11.

[127]) *Ib.*, 18.

[128]) *Письмо къ А. В. Г.* 31 (19) янв. 1881. *Русск. Ст.* т. XL.: *И. С. Т—въ въ эпоху трудовъ по крестьянскому вопросу.*

Тургеневъ составилъ записку. Она была представлена на разсмотрѣніе властей; проектъ нашли рановременнымъ», изданіе не осуществилось [129]).

Записка подробно объясняетъ цѣль будущаго журнала. Авторъ начинаетъ заявленіемъ, что дворянское сословіе сопротивляется благимъ намѣреніямъ правительства. Это сопротивленіе вызвано страхомъ и невѣжествомъ. По мнѣнію Тургенева, изъ двадцати помѣщиковъ едва ли пять знакомы--не говоря уже о теоріи— просто «съ нѣсколько разумной практикой земледѣлія, которое ихъ питаетъ». Свѣдѣнія дворянства по части финансовой или административной,—совершенно ничтожны. При такихъ условіяхъ комитеты, учреждаемые правительствомъ, не могутъ помочь дѣлу освобожденія. «Дворянство понесетъ свои предубѣжденія, свой страхъ въ самые комитеты; оно воспользуется всѣми средствами, которыя найдетъ подъ рукою для того, чтобы затруднить или замедлить дѣло».

Необходимо, слѣдовательно, разсѣять недоразумѣнія. Къ этой цѣли ведетъ единственный путь—гласность. «Необходимо нужно придти на помощь общественному мнѣнію, дать возможность наукѣ, опытности, знанію возвысить свой независимый и добросовѣстный голосъ, собрать воедино ихъ разрозненныя силы, создать арену, на которой они могли бы сходиться—словомъ, основать журналъ (или газету), исключительно и спеціально посвященный разработкѣ всѣхъ вопросовъ, касающихся собственно до устройства крестьянскаго быта, и вытекающихъ изъ того послѣдствій».

Журналъ долженъ былъ носить оффиціальный характеръ, являться «какъ бы адвокатомъ роспоряженій правительства», «пояснять его намѣренія». Авторъ записки такъ и называетъ его «правительственнымъ журналомъ» разсчитывая при этомъ на свободу и независимость его сужденій.

Авторъ часто впадаетъ въ восторженный тонъ: очевидно, слухи

---

[129]) *Записка* напечатана въ *Р. Ст.* XL, въ приложеніи къ октябр. книгѣ. Анненковъ ошибочно полагаетъ, что Тургеневъ съ друзьями занимался въ Римѣ *проектомъ народнаго образованія. (Шесть лѣтъ переписки. В. Е.* 1885, март. 18, прим. 1). Этотъ проектъ, какъ увидимъ, возникъ позже и при другихъ обстоятельствахъ.

о реформѣ, взлелѣянной имъ съ первой молодости, произвели на него сильное впечатлѣніе. Вѣрный своему исконному представленію о высокой общественной роли литературы, Тургеневъ обращается къ власти съ такою смѣлою, искреннею рѣчью: «Одинокій мой голосъ былъ бы ничтоженъ, но я увѣренъ, что выражаю единодушное мнѣніе моихъ собратій, когда утверждаю, что всѣ мы готовы идти на встрѣчу правительству, которому покорялись всегда, но кототорое полюбили только недавно. Мы не желаемъ преувеличивать наше значеніе; но мы чувствуемъ, что мы можемъ быть полезны власти—и мы всѣ проникнуты готовностью быть ей полезными, сослужить ей въ настоящемъ случаѣ полезную службу».

Намъ не трудно оцѣнить эту записку во всѣхъ отношеніяхъ: въ ней ярко выразились общественные идеалы Тургенева, его личное настроеніе въ концѣ пятидесятыхъ годовъ—въ эпоху его первыхъ романовъ, его характеръ, открытый, мужественный, когда вопросъ шелъ объ убѣжденіяхъ объ общемъ благѣ. Любопытна одна черта. Тургеневъ, предлагая свои литературныя силы на службу правительству, дѣлалъ то же самое, что было сдѣлано его любимѣйшимъ поэтомъ и наставникомъ двадцать шесть лѣтъ тому назадъ. Не только сходились стремленія обоихъ писателей, даже подробности ихъ проектовъ можно принять за части одного и того же плана. Въ просьбѣ Пушкина, поданной графу Бенкендорфу въ іюнѣ 1831 года, встрѣчаемъ поразительное сходство въ идеяхъ и выраженіяхъ съ запиской Тургенева.

Пушкинъ также говорилъ не только о самомъ себѣ. Онъ хотѣлъ, чтобы русскимъ писателямъ было позволено руководить общественнымъ мнѣніемъ въ интересахъ просвѣщенной дѣятельности правительства. Онъ надѣялся соединить въ своемъ политическомъ и литературномъ журналѣ людей полезныхъ и талантливыхъ, «приблизить ихъ къ правительству», управлять взглядами русской публики въ запутанныхъ вопросахъ внѣшней и внутренней политики.

Такую дѣятельность поэтъ считалъ истинно-общественной и государственной службой. Проектъ Пушкина потерпѣлъ ту же участь, какъ и записка Тургенева.

Говоря объ этомъ фактѣ, не можемъ не обратить вниманія на

широкіе общественные политическіе замыслы предшественника Тургенева. Этими замыслами жилъ и вдохновлялся поэтъ въ теченіи зрѣлаго періода своей дѣятельности. Сколько же послѣ этого правды въ ходячихъ обвиненіяхъ, направленныхъ противъ Пушкина, какъ противъ жреца чистаго искусства, пѣвца сладкихъ звуковъ и молитвъ! Пусть обвинители и жрецы помнятъ, что достойный учитель Тургенева еще въ ранней молодости выражалъ сожалѣніе о трудѣ цензора, обязаннаго

> посвятить безплодное вниманье
> На бредни новыя какого-то враля,
> Которому досугъ пѣть рощи да поля...

Тургеневъ въ вопросахъ искусства считая себя «недостойнымъ» ученикомъ Пушкина, въ вопросахъ общественной мысли онъ могъ смѣло идти по слѣдамъ своего учителя, не въ отдѣльныхъ взглядахъ они должны были измѣниться сообразно съ самымъ строемъ жизни, а въ глубокомъ интересѣ къ общественному благу и просвѣщенію своей родины.

Изъ Италіи весной Тургеневъ проѣхалъ въ Вѣну, посовѣтоваться съ знаменитымъ врачемъ на счетъ своихъ недуговъ, побывалъ въ Парижѣ, въ Лондонѣ, а въ августѣ пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ привезъ съ собой новый романъ *Дворянское гнѣздо*. Романъ былъ начатъ заграницей и оконченъ весною въ Россіи.

Новый романъ написанъ подъ вліяніемъ настроеній, съ полной ясностью отразившихся въ письмахъ Тургенева. Въ воздухѣ носились вѣянія новаго грядущаго общественнаго строя. Старому крѣпостническому порядку грозила смерть. На арену должны были выступить новые дѣятели, новые интересы, новыя условія личнаго развитія русскаго человѣка. Преемственная связь преданій и основъ жизни порывалась. Новая эпоха открыто несла войну своей предшественницѣ. Только-что процвѣтавшія поколѣнія должны были или войти въ новое теченіе, или посторониться, уступить мѣсто другимъ.

Тургеневъ понималъ этотъ переломъ, видѣлъ тѣни, исчезавшія предъ лучами вновь возстающаго свѣта, захотѣлъ воплотить эти тѣни въ художественныхъ образахъ и создалъ глубоко-трогательную поэму о томъ, чему суждено было навсегда потонуть въ дали

минувшаго. Предъ нами люди отживающаго помѣщичьяго строя. Въ нихъ много душевныхъ свойствъ, достойныхъ гуманной кисти художника, глубокая любовь къ тихой семейной жизни, рыцарское благородство, наивная мечтательность, простодушная лѣнь, весьма поверхностное знаніе дѣйствительной прозы, извѣстная рѣзкость характера, не мѣшающая сердечному отношенію къ людямъ и ихъ горю... Это все воплощается въ симпатичныхъ, часто поэтическихъ образахъ. Лаврецкій — истинный герой русскаго *захолустнаго* идиллическаго романа, выросшій на старой почвѣ, еще незнакомой съ другими, трудно разрѣшимыми вопросами, не видавшей жестокаго столкновенія безчисленныхъ личныхъ и общественныхъ стремленій и интересовъ, не знавшей всего, что должна была внести великая реформа въ патріархальную жизнь дворянства...

Идилліи теперь перейдутъ въ область воспоминаній. Лаврецкаго смѣнятъ другіе герои. Объ этихъ *новыхъ* людяхъ разскажетъ тотъ же художникъ, а пока онъ проводитъ въ вѣчность доброе старое глубоко прочувствованной элегіей.

Естественно, не мало личныхъ чувствъ автора будетъ мелькать на страницахъ романа. Онъ самъ признается, что образъ Лаврецкаго жилъ въ его душѣ одновременно съ личной тоской одиночества, съ мечтами о семьѣ.

Въ романѣ описано свиданіе Лаврецкаго съ старымъ товарищемъ. Товарищъ укоряетъ Лаврецкаго въ лѣни, въ томъ, что онъ байбакъ, проводитъ жизнь въ какомъ-то млѣніи скуки, не умѣетъ найти плодотворной дѣятельности Лаврецкій защищается слабо, отдѣлывается острословіемъ отъ самыхъ рѣзкихъ упрековъ Михалевича. Одинъ изъ этихъ упрековъ особенно любопытенъ. Онъ живо напоминаетъ основной мотивъ *Записки*.

«И когда же, гдѣ же вздумали люди обайбачиться?—кричалъ «полтавскій Демосѳенъ»: — у насъ! теперь! въ Россіи! когда на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собою! Мы спимъ, а время уходитъ; мы спимъ...»

Не слышится ли въ этой страстной рѣчи мучительное сознаніе автора, что первое сословіе государства вяло или прямо враждебно отзывается на благородныя намѣренія власти? Можетъ

быть, здѣсь звучитъ также отголосокъ жалобы автора на то, что онъ самъ не умѣетъ наполнить свою жизнь значительной дѣятельностью. Жалобы—мы видѣли—несправедливыя, но естественныя въ устахъ Тургенева. Можетъ быть, все это объясняетъ намъ изумительную энергію творческой работы въ эту эпоху. Едва вышло *Дворянское гнѣздо*, въ умѣ автора готовъ уже слѣдующій романъ и ровно черезъ годъ было окончено *Наканунѣ*.

Дворянское гнѣздо появилось въ первой книгѣ *Современника* за 1859 годъ. Впечатлѣнія публики на этотъ разъ превзошли ожиданія автора и его друзей, хотя они единодушно одобряли романъ.

Анненковъ, ближайшій свидѣтель событій и признанный самимъ Тургеневымъ цѣнитель его произведеній, сообщаетъ объ единогласномъ сочувствіи, восторгѣ и увлеченіи, которые вызваны были появленіемъ *Дворянскаго гнѣзда*. «На новомъ романѣ автора,—продолжаетъ критикъ,—сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ; представители разнородныхъ системъ и воззрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе. Романъ былъ сигналомъ повсемѣстнаго примиренія и образовалъ родъ какого-то литературнаго *trève de Dieu*, гдѣ каждый позабылъ на время свои любимыя мнѣнія, чтобы вмѣстѣ съ другими насладиться произведеніемъ и присоединить голосъ свой къ общей и единодушной похвалѣ» [130]).

Съ этого времени за Тургеневымъ окончательно установилась слава первенствующаго и любимаго писателя. Такъ думала публика. Тургеневъ сдѣлался популярнѣйшей личностью въ петербургскихъ салонахъ. Молодые писатели признавали его своимъ руководителемъ и наставникомъ. Женщины не щадили словъ—выражать свой восторгъ новымъ романомъ.

И читательницы дѣйствительно имѣли свой весьма основательный поводъ — привѣтствовать романъ. Мы убѣдимся въ этомъ, когда подробно разберемъ нравственную личность Лизы, оцѣнимъ общественный смыслъ новой героини и опредѣлимъ ея мѣсто среди

---

130) *Наше общество въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» Тургенева. Воспоминанія и критическіе очерки.* С.-Петербургъ. 1879. II, 194. Ср. *Шесть лѣтъ переписки. В. Е.*, 1885, мрт. 24—5.

тургеневскихъ типовъ. Мы увидимъ, что именно Лизой авторъ ознаменовалъ новую полосу въ своемъ творчествѣ, открылъ фалангу людей, долженствовавшихъ смѣнить отжившія поколѣнія.

Героиню, стоявшую на первомъ планѣ въ этомъ ряду, органически отрицавшую старый порядокъ жизни, — авторъ озарилъ всѣмъ блескомъ своего проникновеннаго таланта,—и Лизу привѣтствовали одинаково и *Отцы и Дѣти*. Восторги охватили даже среду, въ то время въ лучшихъ случаяхъ равнодушную къ явленіямъ литературы.

Высокопоставленныя лица считали счастьемъ попасть въ знакомство съ Тургеневымъ. Это—была слава несомнѣнная и прочная, потому что она распространялась на всѣ слои общества.

Иной результатъ вызвалъ романъ въ средѣ литераторовъ съ именемъ, имѣвшихъ основаніе считать себя соперниками Тургенева или разсчитывать на такое же общественное вліяніе. Критикъ Григорьевъ обращался къ Тургеневу съ такимъ заявленіемъ: «Вы не нужный болѣе продолжатель традицій Пушкина въ нашемъ обществѣ» [131]). Жесточайшее огорченіе ждало Тургенева съ другой стороны, отъ автора-романиста.

Гончаровъ до появленія въ свѣтъ романа Тургенева прочелъ въ обществѣ, въ присутствіи Тургенева, часть своего романа *Обрывъ* и разсказалъ его содержаніе. Когда было написано *Дворянское гнѣздо* авторъ *Обрыва* нашелъ поразительное сходство сюжетовъ въ томъ и другомъ романѣ. Тургеневъ крайне удивился этому открытію, но, согласно указанію Гончарова, выключилъ изъ своего романа одно мѣсто, напоминавшее какую-то подробность изъ *Обрыва*. Гончаровъ успокоился, но ненадолго. *Наканунѣ* снова возбудило его авторское самолюбіе и на этотъ разъ вызвало разрывъ съ Тургеневымъ.

О происхожденіи новаго романа одинъ изъ друзей Тургенева разсказываетъ слѣдующее:

Зимой въ 1858—1859 году Тургеневъ въ кругу близкихъ людей не разъ читалъ отрывки изъ плохой рукописной повѣсти никому неизвѣстнаго автора. Повѣсть не возбуждала у слушателей

[131]) *Молодость И. С. Т—ва. В. Е.*, 1884, февр. 464.

никакого интереса, но Тургеневъ ею увлекся и, наконецъ, воспользовался ея сюжетомъ для романа. Повѣсть носила названіе *Московское семейство*, изображала событія, дѣйствительно происшедшія въ Москвѣ. Героиня — красивая барышня, по имени Катерина, незаконная дочь старика-нѣмца—встрѣтилась случайно въ окрестностяхъ Москвы съ молодымъ болгариномъ, студентомъ университета. Болгаринъ оказался—юношей честнымъ, серьезнымъ, энергическимъ. Катерина его полюбила, но онъ сторонился ея по врожденной дикости. Героиня, прекрасная музыкантша и пѣвица, съ помощью своихъ талантовъ постепенно приручила болгарина. Но любовь не привела къ счастью. Болгаринъ заболѣлъ чахоткой, принужденъ былъ уѣхать въ Италію и здѣсь умеръ. Предъ смертью онъ написалъ Катеринѣ письмо. Катерина въ это время находилась уже въ Парижѣ, куда выпросилась у отца для окончанія своего музыкальнаго образованіи, намѣрена была отправиться въ Италію къ болгарину. Но всѣ планы ея рушились двумя извѣстіями о смерти матери и любимаго человѣка [132]).

Никакого художественнаго таланта въ этой «правдивой исторіи» не было и слѣда. *Московское семейство* нельзя и сравнивать съ романомъ Тургенева; изъ повѣсти въ романъ перенесено нѣсколько общихъ чертъ плана.

Весной 1859 года Тургеневъ былъ уже заграницей и на черновой рукописи *Наканунѣ* стоитъ слѣдующая надпись: «Начата въ Виши, во вторникъ 28 (16-го іюня) 1859 г.; кончена въ Спасскомъ въ воскресенье, 25-го октября (6-го ноября) 1859 г.; напечатана во 2-й книжкѣ *Русскаго Вѣстника* за 1860 г.»

Работа заграницей происходила при довольно неблагопріятныхъ условіяхъ. Сначала Тургеневъ проѣхалъ въ Парижъ и засталъ здѣсь празднества по случаю окончанія итальянской войны. Наполеонъ III готовилъ колоссальный смотръ--une révue monstre. Всюду гремѣло оружіе и раздавались побѣдные клики. Тургеневъ не могъ переносить патріотическаго шума французовъ. Все его сочувствіе на сторонѣ итальянцевъ, французы—своимъ національнымъ самообожаніемъ—вызываютъ у него жестокія насмѣшки и

---

[132]) *Шесть лѣтъ переписки. Ib.*, 23—4.

негодованіе. Наконецъ, онъ рѣшилъ бѣжать изъ французской столицы, поѣхалъ сначала въ Виши, потомъ въ Куртавнель—дачу Віардо, прожилъ здѣсь лѣто и осенью пріѣхалъ въ Россію.

Любопытны письма Тургенева изъ Парижа и Куртавнеля. Они переполнены насмѣшками надъ французами и ихъ цезаремъ, русскій текстъ чередуется съ латинскими фразами, болѣе умѣстными въ разсказѣ о «преторіанско-цезарскомъ празднествѣ». Одна изъ нихъ гласитъ: «maxima similitudo invenire debet между Galliam hujusce temporis et Romam Trajani necnon Caracallae et aliorum Heliogabalorum» (разительное сходство должно возникнуть между Франціей нынѣшняго времени и Римомъ Траяна, а также Каракаллы и разныхъ другихъ геліогабаловъ).

Наканунѣ принесло Тургеневу въ отечествѣ не мало непріятностей. Романъ, какъ мы уже знаемъ, былъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Это не могло понравиться Некрасову, редактору *Современника*, тѣмъ болѣе, что онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы романъ появился въ его журналѣ. Тургеневъ остался твердъ и даже рѣшилъ—ничего больше не печатать въ *Современникѣ* и потребовалъ отъ редакціи окончательнаго разсчета. Послѣднимъ его вкладомъ въ *Современникъ* была рѣчь *Гамлетъ и Донъ-Кихотъ*, напечатанная въ первой книгѣ за 1860 г. Разрывъ былъ неизбѣженъ. Со стороны журнала началось систематическое преслѣдованіе произведеній Тургенева. Цѣль была—убѣдить публику въ томъ, что разрывъ послѣдовалъ изъ-за убѣжденій, совершился на идейной почвѣ.

Первая вылазка была сдѣлана противъ романа *Рудинъ*: авторъ обвинялся въ угодливости литературнымъ друзьямъ [133]). Тургеневъ немедленно написалъ письмо съ просьбой не помѣщать его имени въ числѣ сотрудниковъ *Современника*. Письмо пересылалось черезъ руки одного изъ друзей и не попало въ редакцію: другъ Тургенева боялся «раздувать пламя». Но редакція рѣшила дѣйствовать. Она сообщала читателямъ, что принуждена отказаться отъ сотрудничества Тургенева «по разности взглядовъ и убѣжденій» и «уволила его».

---

133) *Письма*, 84. *Шесть лѣтъ переписки. В. Е.* 1885, март., 36.

Это было вопіющее извращеніе фактовъ. У Тургенева находилось письмо отъ Некрасова съ самыми блестящими предложеніями. «Я ему отвѣчалъ,—пишетъ Тургеневъ Достоевскому,—что сотрудникомъ *Современника* болѣе не буду, ну и выходитъ, что надо сказать публикѣ, что меня прогнали» [134]). *Свистокъ*, издававшійся при *Современникѣ*, въ свою очередь, громилъ Тургенева въ куплетахъ: изображался модный писатель, слѣдующій въ хвостѣ странствующей пѣвицы и устраивающій ей оваціи на подмосткахъ провинціальныхъ театровъ заграницей. Тургеневъ не стерпѣлъ, вздумалъ публично отвѣчать *Современнику*. Но борьба на этотъ разъ оказалась неравной: журналъ пользовался слишкомъ внушительной популярностью среди молодежи.

Впослѣдствіи Тургеневъ вспомнилъ объ этой борьбѣ въ статьѣ *По поводу «Отцовъ и дѣтей»*. Заканчивая статью, онъ пишетъ: «Еще одинъ послѣдній совѣтъ молодымъ литераторамъ и одна послѣдняя просьба. Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на васъ клевету: не старайтесь разъяснить недоразумѣнія, не желайте—ни сами сказать, ни услышать «послѣднее слово». Дѣлайте свое дѣло, а то все перемелется. Во всякомъ случаѣ пропустите сперва порядочный срокъ времени—и взгляните тогда на всѣ прошедшія дрязги съ исторической точки зрѣнія, какъ я попытался сдѣлать теперь. Пусть слѣдующій примѣръ послужитъ вамъ въ назиданіе: въ теченіе моей литературной карьеры я только однажды попробовалъ «возстановить факты». А именно: когда редакція *Современника* стала въ объявленіяхъ своихъ увѣрять подписчиковъ, что она отказала мнѣ по негодности моихъ убѣжденій (между тѣмъ какъ отказалъ ей *я*, несмотря на ея просьбы, на что̀ у меня существуютъ письменныя доказательства). я не выдержалъ характера, я заявилъ публично въ чемъ было дѣло—и, конечно, потерпѣлъ полное фіаско. Молодежь еще болѣе вознегодовала на меня... «Какъ смѣлъ я поднимать руку на ея идола! Что̀ за нужда, что я былъ правъ! Я долженъ быть молчать! Этотъ урокъ пошелъ мнѣ въ прокъ; желаю, чтобы и вы воспользовались имъ».

---

[134]) *Письма*, 96.

Одновременно съ этой исторіей произошло крайне мучительное для Тургенева недоразумѣніе съ Гончаровымъ.

Прочитавъ нѣсколько страницъ новаго романа, Гончаровъ снова вообразилъ, что Тургеневъ воспользовался его матеріаломъ и написалъ ему слѣдующее письмо: «Мнѣ очень весело признать въ васъ смѣлаго и колоссальнаго артиста». Эта похвала сопровождалась ядовитымъ тоже хвалебнымъ замѣчаніемъ: «Какъ въ человѣкѣ цѣню въ васъ одну благородную черту—это радушіе и снисходительность, пристальное вниманіе, съ которымъ вы выслушиваете сочиненія другихъ, и, между прочимъ, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывокъ все изъ того же романа, который былъ вамъ разсказанъ уже давно въ программѣ».

Одновременно съ письмомъ распространились слухи, что *Наканунѣ* заимствовано изъ неизданнаго романа Гончарова *Обрывъ*. Тургеневъ потребовалъ третейскаго суда. Въ судьи были выбраны Дудышкинъ, Дружининъ и Анненковъ. Всѣ они единогласно рѣшили: «произведенія Тургенева и Гончарова, какъ возникшія на одной и той же русской почвѣ—должны были тѣмъ самымъ имѣть нѣсколько схожихъ положеній, случайно совпадать въ нѣкоторыхъ мысляхъ и выраженіяхъ, что оправдываетъ и извиняетъ обѣ стороны».

Гончаровъ, по словамъ одного изъ судей, остался доволенъ этимъ рѣшеніемъ. Но на Тургенева весь этотъ процессъ произвелъ потрясающее впечатлѣніе. Очевидецъ описываетъ такую сцену:

«Лицо его покрылось болѣзненной блѣдностью; онъ пересѣлъ на кресло и дрожащимъ отъ волненія голосомъ произнесъ слѣдующее. Я помню каждое его слово, какъ и выраженіе его физіономіи, ибо никогда не видѣлъ его въ такомъ возбужденномъ состояніи. «Дѣло наше съ вами, Иванъ Александровичъ, теперь кончено; но я позволю себѣ прибавить къ нему одно послѣднее слово. Дружескія наши отношенія съ этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мнѣ ясно, какія опасныя послѣдствія могутъ являться отъ пріятельскаго обмѣна мыслей, изъ простыхъ довѣрчивыхъ связей. Я остаюсь поклонникомъ вашего таланта и, вѣроятно, еще не разъ мнѣ придется восхищаться имъ, вмѣстѣ съ другими, но сердечнаго благорасположеніи, какъ

прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не можетъ съ этого дня» [135]).

Примиреніе состоялось въ 1864 году на похоронахъ Дружинина, но прежнія добрыя отношенія возстановиться не могли. Это не мѣшало Тургеневу приходить въ восторгъ отъ произведеній Гончарова,—даже вскорѣ послѣ ссоры онъ «умилился» отрывкомъ, напечатаннымъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* [136]). *Обрывъ* не вызвалъ у Тургенева такого впечатлѣнія: Тургеневъ не могъ помириться съ длиннотами, съ малосодержательными разговорами и разсужденіями. Но въ то же время Тургеневъ не могъ подвергать порицанію личныя странности Гончарова, объяснялъ ихъ «нездоровьемъ и слишкомъ исключительно-литературной жизнью». Когда вопросъ зашелъ о сборникѣ, Тургеневъ съ обычной своей скромностью писалъ: «Прекрасно дѣлаютъ издатели *Складчины*, что начинаютъ съ Гончарова, если это ему можетъ доставить удовольствіе. Меня могутъ помѣстить гдѣ угодно» [137]).

Публика встрѣтила *Наканунѣ* съ живѣйшимъ интересомъ, но этотъ интересъ далеко не всегда оказывался въ пользу автора. Тургеневъ впервые вывелъ на сцену новыхъ людей, прежде всего новую женщину, исполненную смѣлыхъ общественныхъ стремленій, горящую энтузіазмомъ предъ идеями свободы и борьбы за угнетенныхъ, умѣющую слить самоотверженное чувство любви съ жаждой обширной дѣятельности. Елена совершенно другого нравственнаго склада, чѣмъ обычныя героини русскихъ романовъ

---

[135]) *Шесть лѣтъ переписки*. Ib. 39.—Письмо Гончарова о *Наканунѣ* написано 3 марта 1860 г., а 13 марта Тургеневъ сообщилъ Фету, что онъ читалъ свою повѣсть *Первая любовь*—«ареопагу, состоявшему изъ Островскаго, Писемскаго, Анненкова, Дружинина и Майкова», и что «приглашенный Гончаровъ пришелъ пять минутъ по окончаніи чтенія». Повѣсть была окончена въ теченіи недѣли, предшествовавшей 13-му марта, т.-е. приблизительно считая съ 6-го марта. Слѣдовательно, Тургеневъ даже послѣ письма Гончарова не думалъ вступать съ нимъ въ пререканія и только слухи, въ которыхъ несомнѣнно долженъ былъ принимать участіе авторъ *Обрыва*, вызвали въ немъ рѣшимость покончить вопросъ третейскимъ судомъ. Письмо къ Фету. *Мои воспоминанія*. I, 321.

[136]) *Шесть лѣтъ переписки*. *В. Е.* 1885, апр., 479.

[137]) *Письма*, 151, 145, 227. *Русск. Ст.* XL, 212.

того времени. Естественно, она должна была вызвать недоумѣніе у неподготовленныхъ читателей. Не могла всѣмъ нравиться также героическая роль болгарина, исключительное вниманіе, какое авторъ удѣляетъ далекой чужой націи. Особенно много укоровъ Тургеневъ слышалъ отъ лицъ высшаго общества, менѣе всего способныхъ примириться съ основными мотивами романа.

Одна изъ читательницъ повергла Тургенева въ безъисходное недоумѣніе. Она, по его словамъ, «неопровержимо доказала», что романъ «никуда не годится, фальшивъ и ложенъ отъ А до Z». Тургеневъ серьезно сталъ думать—не бросить ли его въ огонь. Онъ призываетъ къ себѣ друга, чьимъ мнѣніемъ привыкъ дорожить, и предлагаетъ вмѣстѣ съ нимъ разобрать замѣчанія читательницы. «Она,—пишетъ Тургеневъ,—безъ всякаго преувеличенія поселила во мнѣ отвращеніе къ моему продукту—и я, безъ всякихъ шутокъ, только изъ уваженія къ вамъ и вѣря въ вашъ вкусъ, не тотъ же часъ уничтожилъ мою работу. Приходите-ка, мы потолкуемъ—и, можетъ быть, и вы убѣдитесь въ справедливости ея словъ. Лучше теперь уничтожить, чѣмъ впослѣдствіи бранить себя. Я все это кончу не безъ досады, но безъ всякой желчи, ей-Богу. Жду васъ и буду держать огонь въ каминѣ» [138]).

Романъ все-таки былъ спасенъ. Автору не трудно было убѣдиться, что отрицательные приговоры вызваны необычной темой романа, его общественнымъ и политическимъ содержаніемъ. Для читателей и особенно читательницъ сліяніе поэзіи съ такими задачами казалось еще слишкомъ страннымъ, неестественнымъ. Тургеневъ переживалъ настроеніе публики, напоминавшее зрѣлый періодъ литературной дѣятельности его учителя.

Пушкину стоило великихъ усилій—пріучить читателей къ реализму и простотѣ въ искусствѣ. Читатели встрѣчали съ восторгомъ романтическія поэмы въ родѣ *Бахчисарайскаго фонтана*, *Кавказскаго плѣнника*: все здѣсь было такъ живописно и эффектно. Но *Евгеній Онѣгинъ* вызвалъ разочарованіе: образованнѣйшіе представители современной публики заговорили объ упадкѣ таланта Пушкина и онъ долженъ былъ доказывать, что въ будничной

---

[138]) *Шесть лѣтъ переписки. Ib.* мрт., 31.

жизни есть своя поэзія, долженъ былъ не только творить, но и поднимать читателей до уровня своего творчества. Съ такимъ трудомъ достается борцамъ идеи каждый новый шагъ!..

Но у Тургенева нашлись также и горячіе защитники. Однимъ изъ первыхъ высказался едва ли не самый суровый судья автора, его пріятель Боткинъ. На этотъ разъ онъ былъ совершенно удовлетворенъ. Преимущественно его восхищали поэтическія достоинства романа. «Какіе озаряющіе предметы эпитеты!»—восклицалъ Боткинъ,—да, солнечные эпитеты, неожиданные, вдругъ раскрывающіе внутреннія перспективы предметовъ». Въ заключеніе критикъ находитъ, что повѣсть на читателей «повѣетъ ароматомъ лучшихъ цвѣтовъ жизни» [139]).

Добролюбовъ написалъ также восторженную статью: самъ авторъ признавалъ похвалы критика «самыми горячими», но и «самыми незаслуженными». Этотъ фактъ имѣлъ особенное значеніе: критикъ *Современника* оказывался на сторонѣ поклонниковъ романа. На этого же самаго критика Тургеневъ жаловался по поводу отзыва о *Рудинѣ*. И здѣсь, какъ и всегда самый неблагопріятный отзывъ не могъ вызвать у Тургенева злобы и ненависти. Тургеневъ продолжалъ «высоко цѣнить Добролюбова, какъ человѣка и какъ талантливаго писателя». Онъ горько сѣтуетъ о болѣзни критика и по смерти его пишетъ: «огорчила меня смерть Добролюбова, хотя онъ собирался меня съѣсть живьемъ» [140]). Эта способность личныя отношенія отдѣлять отъ вопроса о талантѣ и значеніи писателя—неотъемлемая заслуга Тургенева,—заслуга, столь рѣдкая у людей на какомъ бы то ни было поприщѣ дѣятельности.

Большинство публики, несомнѣнно, понимало намѣренія Тургенева и оцѣнило его дѣятельность. Имя Ивана Сергѣевича успѣло возбудить сильнѣйшій интересъ русскихъ читателей къ дѣлу, совершенно новому и неожиданному. Этотъ интересъ—превосходный показатель популярности Тургенева въ эпоху его двухъ первыхъ романовъ. Такъ думали и современники.

Въ 1859 году, по мысли Дружинина, былъ основанъ литератур-

---

[139]) Фетъ. *Мои воспом.* I, 323.
[140]) *Шесть лѣтъ переписки.* Ib. апр., 502.

ный фондъ. «Тургеневъ,—говоритъ ближайшій свидѣтель,—вложилъ всю свою душу для доставленія ему успѣха; онъ устраивалъ блестящіе литературные вечера, ѣздилъ за тѣмъ же въ Москву, и всякій разъ появленіе его на эстрадѣ сопровождалось громаднымъ стеченіемъ публики и энтузіастическимъ пріемомъ чтеца».

Матеріальная помощь, доставленная фонду Тургеневымъ, была «чрезвычайно значительна». Ему молодое учрежденіе въ высшей степени обязано своимъ развитіемъ. Для доказательства достаточно одного факта.

Въ январѣ 1860 года на вечерѣ литературнаго фонда Тургеневъ произнесъ свою знаменитую рѣчь *Гамлетъ и Донъ-Кихотъ*. Немного спустя поѣхалъ въ Москву, устроилъ здѣсь литературный вечеръ, выхлопоталъ позволеніе для Островскаго—прочесть отрывки изъ комедіи *Свои люди—сочтемся*, запрещенной петербургскою цензурой, самъ Иванъ Сергѣевичъ, восторженно принятый публикой, повторилъ свою рѣчь. Въ результатѣ въ комитетъ литературнаго фонда было выслано 1.220 р. 50 к., и Тургеневъ писалъ: «Комитетъ долженъ быть доволенъ мною» [141]).

Тургеневъ не ограничился денежной поддержкой фонду. Ему пришлось вести продолжительную полемику съ писателемъ, нападавшимъ на литераторовъ вообще и питавшимъ «презрѣніе» къ литературному фонду. Такимъ писателемъ оказался Фетъ. На его выходки противъ литераторовъ Тургеневъ отвѣчалъ: «Что вамъ не нравится званіе «литераторъ», — это вашъ конекъ, а жизнь научила меня обходиться съ чужими коньками почтительно; но моему, «литераторъ» такое же званіе или опредѣленіе рода занятій, какъ «сапожникъ» или «пирожникъ». Но есть пирожники хорошіе и дурные, и литераторы тоже».

Въ другой разъ Тургеневъ, невольно теряя терпѣніе, выражается гораздо энергичнѣе: нападки Фета на литераторовъ и фондъ онъ называетъ прямо «возмутительными». Фетъ, дѣйствительно,

---

[141]) О московскомъ вечерѣ сообщаетъ Галаховъ (*Сороковые годы, Ист. В.* XLVII, 140—141) и Анненковъ (*Шесть лѣтъ переписки, ib.*, мрт., 34—5). Галаховъ вечеръ относитъ къ 10-му января *1861* г., Анненковъ—говоритъ о январѣ *1860*. Сообщеніе Анненкова слѣдуетъ считать болѣе достовѣрнымъ, потому что рѣчь появилась въ январьской книгѣ *Современника* за *1860* годъ.

писалъ странныя вещи. Объ его историческихъ свѣдѣніяхъ на счетъ литераторовъ можно судить по слѣдующему письму Ивана Сергѣевича:

«Вы пишете, что «не шутя не знаете ни одного бѣднаго литератора»! Это происходитъ оттого, что вы ихъ вообще мало знаете. Укажу вамъ на одинъ примѣръ. Недавно А. Н. Аѳанасьевъ умеръ буквально отъ голода, а его литературныя заслуги будутъ помниться тогда, когда наши съ вами, любезный другъ, давно уже пожрутся мракомъ забвенія. Вотъ на такіе-то случаи и полезенъ намъ бѣдный, вами столь презираемый фондъ». Естественно со стороны Тургенева обратиться къ своему противнику съ такимъ пожеланіемъ: «Было бы великимъ счастьемъ, если бы дѣйствительно *вы* были самымъ бѣднымъ русскимъ литераторомъ» [142]).

У Тургенева въ это время было не мало заботъ, несравненно болѣе серьезныхъ, чѣмъ споръ съ Фетомъ. Время крестьянской реформы приближалось. Настроеніе русскаго общества становилось съ каждымъ днемъ безпокойнѣе, ожиданія мучительнѣе. Всевозможныя догадки на счетъ будущаго, проекты важныхъ новыхъ мѣръ и преобразованій возникали безпрестанно. Просвѣщенными классами овладѣла жажда общественной и политической дѣятельности. Еще въ концѣ сороковыхъ годовъ Бѣлинскій писалъ объ оживленіи, проникшемъ въ литературу, о статьяхъ и статейкахъ на новыя темы, о терпимости администраціи къ этимъ темамъ. «Видно по всему», прибавилъ Бѣлинскій, «что патріархально сонный бытъ визжитъ и надо взять иную дорогу» [143]).

За послѣдніе годы это движеніе успѣло разростись и окрѣпнуть. Цензура оказывалась безсильной сдерживать его и у нея не было опредѣленнаго пути—воздѣйствовать на литературу и общественное мнѣніе. Кромѣ того, возникали опасенія — крутыми мѣрами повредить дѣлу освобожденія крестьянъ. При такихъ условіяхъ неминуемо должно было явиться множество частныхъ добровольныхъ проектовъ, свидѣтельствовавшихъ о крайнемъ возбужденіи общественной мысли.

---

142) Фетъ. *Мои восп.* II, 212, 246, 255.

143) *Анненковъ и его друзья,* 603.

Тургеневъ не могъ не идти во главѣ этого теченія. Мы знакомы съ его проектомъ—создать журналъ или газету для выясненія вопросовъ, вызванныхъ предстоящей реформой. Этотъ органъ предназначался для просвѣщенія дворянства, вообще дѣйствующихъ классовъ общества. Теперь вниманіе Тургенева обращено въ другую сторону, на крестьянъ.

Лѣто наканунѣ реформы Тургеневъ жилъ заграницей, сначала въ Парижѣ, потомъ въ Соденѣ, въ августѣ переѣхалъ въ Англію и поселился на островѣ Уайтѣ на весь сезонъ морскихъ купаній. Въ его умѣ зрѣли планы новаго романа, но пока онъ ничего не предпринималъ. Въ Германіи онъ встрѣтился съ малорусской писательницей—Марко-Вовчокъ. Ея разсказы изъ крѣпостнаго быта пользовались большимъ сочувствіемъ публики, Тургеневъ перевелъ ихъ на русскій языкъ и былъ въ восторгѣ отъ самого автора: «это—прекрасное, умное, честное и поэтическое существо», писалъ онъ подъ первымъ впечатлѣніемъ. Интересъ Тургенева распространялся на весь кружокъ малорусскихъ писателей, на ихъ органъ *Основу*, на ихъ стремленія—поднять языкъ родины, развить ея культуру и поставить ее въ дружескія, а не подчиненныя только отношенія къ Великоруссіи. Тургеневъ искалъ знакомства съ поэтомъ Шевченко, высказывалъ искреннее сочувствіе къ его прошлымъ страданіямъ и его таланту,—но увлеченія малорусскаго поэта Запорожьемъ, гайдамачиной, казацкимъ удальствомъ были совершенно чужды Тургеневу, возбуждали у него добродушныя насмѣшки.

Тургеневъ, принявъ горячее участіе въ семьѣ г-жи Маркович (настоящая фамилія Марко-Вовчокъ), едва-ли не съ первой встрѣчи открылъ, что «ей не совсѣмъ легко жить на свѣтѣ». Почти въ каждомъ письмѣ онъ говоритъ объ ея дѣлахъ, заботится о службѣ ея мужа, помѣщаетъ ея сына въ одинъ изъ парижскихъ пансіоновъ. Но г-жа Марковичъ всѣ услуги Тургенева принимала какъ нѣчто должное и отличалась изумительной способностью—сорить деньгами. Тургеневъ сначала только удивлялся, но потомъ его готовность оказывать совершенно безполезныя благодѣянія—охладѣла.

На Уайтѣ собралось довольно многочисленное общество рус-

скихъ. Тургеневъ за романъ не принимался, время проходило въ бесѣдахъ,—и здѣсь возникла мысль основать «Общество для распространенія грамотности и первоначальнаго обученія». Тургеневъ составилъ программу просвѣщенія народа съ помощью имущихъ и развитыхъ классовъ всего государства. Программа обсуждалась по вечерамъ выборными лицами отъ русской колоніи, передѣлывалась, исправлялась и послѣ многихъ преній была принята. Потомъ былъ составленъ циркуляръ, при немъ «проектъ» предполагалось выслать всѣмъ выдающимся лицамъ обѣихъ столицъ—художникамъ, литераторамъ, ревнителямъ просвѣщенія и вліятельнымъ особамъ.

Проектъ не касался подробностей, не разбиралъ, какими путями можно было создать множество учебныхъ заведеній, учителей, не указывалъ, откуда должны были исходить распоряженія, кому предстояло покрыть Россію народными училищами. Вообще практическіе вопросы оставались въ сторонѣ. Это было одной изъ основныхъ чертъ всевозможныхъ преобразовательныхъ плановъ, возникавшихъ въ русскомъ обществѣ наканунѣ крестьянской реформы. Проекты неизмѣнно свидѣтельствовали о добрыхъ, патріотическихъ стремленіяхъ авторовъ, о великихъ ожиданіяхъ въ виду новаго грядущаго строя, о восторженной вѣрѣ въ свои идеи, но опредѣлить подробности практическаго примѣненія этихъ идей предоставлялось всякому желающему, или случайному стеченію обстоятельствъ.

Тургеневъ дѣятельно принялся за распространеніе своего проекта. Циркуляры разсылались, въ нихъ выражалась надежда, что всѣ образованные русскіе сочтутъ долгомъ вступить въ Общество, или, по крайней мѣрѣ, сообщать свои соображенія на счетъ проекта—и не откажутся придать ему возможно широкую гласность. Авторъ проекта настоятельно желалъ знать «мнѣніе всей Россіи» о столь важномъ предпріятіи.

Большинство получившихъ циркуляръ изъявило желаніе вступить въ члены Общества, но нѣкоторые требовали большей ясности въ подробностяхъ, большаго вниманія къ особымъ условіямъ русской жизни.

Проекту не суждено было дожить до практическаго осущест-

вленія. Вскорѣ наступившія событія устранили со сцены всякія частныя предпріятія. Идея тургеневскаго Общества перешла въ область воспоминаній, осталась одной изъ историческихъ чертъ, характеризующихъ великаго писателя и все русское общество наканунѣ шестидесятыхъ годовъ [144]).

Эти годы потомъ до самыхъ основъ всколыхнули русскую дѣйствительность и въ жизни нашего писателя отразились событіями первостепенной важности.

VII.

Конецъ 1860 года и начало слѣдующаго Тургеневъ проводитъ въ Парижѣ. Жить въ этомъ городѣ для него тягостная необходимость. Онъ попрежнему не любитъ французской столицы. Вторая имперія возмущала его не только своей политической стороной. Въ общественной жизни и даже въ литературѣ обнаружились явленія, свидѣтельствовавшія о крайнемъ упадкѣ всякихъ нравственныхъ принциповъ. Тургенева преимущественно интересовало дорогое для него художественное творчество,—и здѣсь на каждомъ шагу русскій писатель идеалистъ приходилъ въ отчаяніе.

Предъ нимъ совершалась безудержная оргія низменныхъ инстинктовъ, въ конецъ убивавшихъ элементарное чувство благородства и чести. И что особенно казалось прискорбнымъ «старому словеснику»—все идейное подвергалось отрицанію со стороны людей, повидимому, нравственно-призванныхъ бороться съ грубымъ матеріализмомъ человѣческой жизни,—со стороны писателей, художниковъ, публицистовъ.

Тургенева поражало равнодушіе знаменитѣйшихъ французскихъ литераторовъ къ литературѣ, ея просвѣтительному назначенію. Они ничего не желали знать, кромѣ господствующей парижской моды, весь смыслъ писательской дѣятельности полагали въ искусствѣ «ловить моменты», изъ каждаго своего произведенія создавать крикливую, часто даже просто скандалезную выставку.

Тогда-то разцвѣлъ пресловутый натурализмъ.

---

144) *Шесть лѣтъ переписки. Ib.* апр. 473. Фетъ. *Мои восп.* I, 348.

Основатель его объявилъ смерть *идеалу*, обозвалъ идеи реторикой, словесной музыкой, «кимваломъ звучащимъ», или, по натуральной терминологіи—*tapage de la forme*, а идеалиста еще хуже, просто *флейтистомъ*, *joueur de flûte*. Рядомъ шла исконная французская національная гордость, самоуслажденіе и полнѣйшее презрѣніе къ духовной жизни другихъ народовъ, непоколебимая увѣренность, что умственный свѣтъ свѣтитъ только во французскомъ окошкѣ.

Тургеневъ все это видѣлъ и воспринималъ съ живою чуткостью художника и мыслителя. Въ слѣдующихъ нервныхъ словахъ онъ излагаетъ свои впечатлѣнія Сергѣю Аксакову: «Я познакомился со многими здѣшними литераторами—не съ старыми славами, бывшими коноводами—отъ нихъ, какъ отъ козла, ни шерсти, ни молока—а съ молодыми, передовыми. Я долженъ сознаться, что все это крайне мелко и прозаично, пусто и безталанно. Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость безсилія, крайнее непониманіе всего нефранцузскаго, отсутствіе всякой мѣры, всякаго убѣжденія, даже художническаго убѣжденія—вотъ что встрѣчается вамъ, куда ни оглянитесь. Лучшіе изъ нихъ это чувствуютъ сами—и только охаютъ и кряхтятъ. Критики ихъ—дрянное потаканіе всему и всѣмъ; каждый сидитъ на своемъ конькѣ, на своей манерѣ и кадитъ другому, чтобы и ему кадили—вотъ и все. Одинъ стихотворецъ, вообразивъ, что нужно «проводить» реализмъ—и съ усиліемъ, съ натянутой простотой воспѣваетъ «паръ» и «машины»; другой кричитъ, что должно возвратиться къ Зевсу, Эроту и Палладѣ—и воспѣваетъ ихъ, съ удовольствіемъ помѣщая греческія имена въ свои французскіе стишки; и въ обоихъ капли нѣтъ поэзіи. Сквозь этотъ мелкій гвалтъ и шумъ пробиваются, какъ голоса устарѣлыхъ пѣвцовъ, дребезжащіе звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня заратортовавшейся Зандъ; Бальзакъ воздвигается идоломъ и новая школа реалистовъ падаетъ въ прахѣ передъ нимъ, рабски благоговѣя предъ Случайностью, которую величаютъ Дѣйствительностью и Правдой; а общій уровень нравственности понижается съ каждымъ днемъ и жажда золота томитъ всѣхъ и каждаго—вотъ вамъ Франція! Если я живу здѣсь, то вовсе не для

нея и не для Парижа, а въ силу обстоятельствъ, не зависящихъ отъ моей воли» [145]).

Такъ писалъ Тургеневъ въ началѣ 1857 года и единственной его отрадой было —съ наступленіемъ весны уѣхать въ Россію, въ деревню. То же самое настроеніе владѣетъ Тургеневымъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Въ теченіе осени 1860 года онъ мало работаетъ,—и у него одно объясненіе: «мысль, что я въ Парижѣ, мнѣ очень мѣшаетъ: эта столица міра весьма мнѣ противна». Только съ ноября онъ «понемногу и очень вяло» принимается за работу. Въ декабрѣ онъ сообщаетъ даже слѣдующее предположеніе: «Въ апрѣлѣ думаю побывать въ Россіи, и если Богъ дастъ, я выдамъ замужъ свою дочь, то я совсѣмъ и навсегда вернусь на родину». Въ этомъ же письмѣ отъ 13-го декабря 1860 года читаемъ: «Я принялся за работу серьезно—и сижу теперь надъ большой повѣстью (разумѣется, еще больше «Дворянскаго гнѣзда»); надѣюсь одолѣть ее къ марту и тиснуть ее въ «Русскомъ Вѣстникѣ» [146]).

Эта повѣсть—*Отцы и Дѣти*, не имѣвшая еще заглавія: Тургеневъ только въ концѣ работы давалъ заглавія своимъ произведеніямъ. Романъ дописывался въ Россіи, въ Спасскомъ, въ теченіе лѣта [147]). Ему суждено было поднять войну, какой еще не приходилось вести Тургеневу. Раньше литературныхъ событій по поводу *Отцовъ и Дѣтей* Тургеневъ долженъ былъ, въ качествѣ помѣщика, пережить эпоху отмѣны крѣпостнаго права.

Мы знаемъ, всѣ лучшія надежды Тургенева были сосредоточены на этой великой реформѣ. Еще съ дѣтства онъ страдалъ страданьями подневольныхъ людей, съ юныхъ лѣтъ въ крѣпостномъ рабствѣ видѣлъ своего *личнаго* врага, поклялся до послѣднихъ силъ бороться съ нимъ. Мы видѣли, какъ одинъ планъ за другимъ возникалъ въ умѣ Тургенева и всѣ въ одномъ и томъ же направленіи. Сначала *Записки охотника* въ художественныхъ образахъ открыли русской публикѣ *человѣка* въ крѣпостномъ му-

---

[145]) *Изъ переписки И. С. Т—ва съ семьею Аксакова. В. Е.* 1894, февр. 497.

[146]) *Письма*, 80, 82—5.

[147]) *Письма*, 94. «Романъ мой подвигается къ концу», пишетъ Тургеневъ Полонскому 14 іюля.

жикѣ, потомъ художникъ неоднократно пытался — путемъ публицистической и общественной дѣятельности—придти на помощь дѣлу освобожденія. Легко представить, съ какимъ нетерпѣніемъ Тургеневъ ждалъ желаннаго дня. Этотъ день наступилъ, и Тургеневъ изъ Парижа умоляетъ друзей—сообщать ему каждую подробность, сопровождающую событіе. Онъ, по его словамъ, весь превратился въ ожиданіе, ни о чемъ другомъ не можетъ писать, болѣе чѣмъ когда-либо разсчитываетъ на дружбу своего давнишняго пріятеля. Онъ не перестаетъ возмущаться враждебнымъ отношеніемъ нѣкоторыхъ дворянъ къ реформѣ, и въ трогательныхъ выраженіяхъ описываетъ сочувствіе другихъ.

Въ мартовскомъ письмѣ изъ Парижа читаемъ: «Здѣсь русскіе бѣсятся: хороши представители нашего народа! Дай Богъ здоровья государю. Судя по тому, что здѣсь говорится — мы бы никогда ничего путнаго не дождались. Бѣшенство безсилія отвратительно, но еще болѣе смѣшно».

Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ Тургеневъ пишетъ: «Здѣсь господа русскіе путешественники очень взолнованы и толкуютъ о томъ, что ихъ ограбили (изъ Положенія рѣшительно не видать, какимъ образомъ ихъ грабятъ!), но принимаютъ мѣры къ устроенію своихъ дѣлъ. Вѣроятно, въ нынѣшнемъ году прекратится въ Россіи барщинная работа. Въ прошлое воскресенье мы затѣяли благодарственный молебенъ въ здѣшней церкви, и священникъ Васильевъ произнесъ намъ очень умную и трогательную рѣчь, отъ которой мы всплакнули. (NB. Много ушло изъ церкви до молебна). Передо мною стоялъ Н. И. Тургеневъ и также утиралъ слезы; для него это было въ родѣ «нынѣ отпущаеши раба твоего». Тутъ же находился старикъ Волконскій (декабристъ). «Дожили мы до этого великаго дня», было на умѣ и на устахъ у каждаго».

Въ концѣ письма Тургеневъ прибавляетъ: «сгораю жаждою быть въ Россіи».

Въ маѣ Тургеневъ былъ въ Спасскомъ и принялся за устройство дѣлъ съ крестьянами. Многочисленныя затрудненія встрѣтили его съ самаго начала. Много предстояло испытаній его доброй волѣ и вѣрѣ въ лучшее будущее свободнаго народа.

Великое событіе вызвало прискорбную смуту въ умахъ крестьянъ,

породило несбыточныя фантастическія надежды у людей, только еще вчера лишенныхъ человѣческой личности. И кому не приходилось считаться съ этимъ разыгравшимся на непривычной свободѣ воображеніемъ! Тургеневу также пришлось бороться съ упорствомъ и съ «задними мыслями», съ наивнымъ, но злобнымъ недовѣріемъ,—со всѣми инстинктами, наболѣвшими въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ гнета и обидъ.

Ничто не можетъ поколебать его сочувствія народу: его старинная Аннибаловская клятва по прежнему руководитъ его отношеніями къ крестьянамъ, ни на одну минуту въ его душу не закрадывается сомнѣніе или негодованіе. Онъ считаетъ своимъ долгомъ вооружиться терпѣніемъ и пойти на всѣ уступки,

За годъ до реформы, крестьянъ нѣкоторыхъ имѣній Тургеневъ перевелъ на оброкъ, хотя этой мѣрѣ всѣми силами противился дядя Ивана Сергѣевича, — его управляющій Н. И. Тургеневъ. Крестьяне до 19 февраля охотно шли на оброкъ, горячо благодарили Тургенева, но оброка ему не платили. Тургеневъ совершенно благодушно сообщаетъ объ этомъ неожиданномъ для него фактѣ [148]).

Настроеніе крестьянъ рѣзко измѣнилось послѣ объявленія воли. Они повсюду стали отказываться отъ оброка. Недоразумѣнія между помѣщиками, крестьянами и вновь учрежденными сельскими властями возникали безпрестанно. Тургеневъ съумѣлъ избѣжать ихъ. Въ маѣ онъ сообщаетъ: «съ моими крестьянами дѣло идетъ пока хорошо, потому что я имъ сдѣлалъ всѣ возможныя уступки». Въ частныхъ затрудненіяхъ Тургеневъ утѣшалъ себя общими соображеніями о благодѣтельности реформы. «Надо вооружиться терпѣніемъ и выжидать», пишетъ онъ. «Все-таки это дѣло громадное—и то, что́ уже сдѣлано и осталось, составляетъ полный переворотъ въ русской жизни, который оцѣнятъ только наши потомки». При выкупѣ Тургеневъ во всѣхъ имѣніяхъ уступилъ крестьянамъ пятую часть и въ главномъ имѣніи не взялъ ничего за усадебную землю [149]).

Но это была только незначительная часть благодѣяній, оказанныхъ Тургеневымъ своимъ бывшимъ крѣпостнымъ.

---

[148]) *Шесть лѣтъ переписки. В. Е.* апр. 1885, 482.

[149]) *Письма,* 91—4, 234.

Очевидецъ свидѣтельствуетъ, что у тургеневскихъ крестьянъ послѣ смерти Ивана Сергѣевича держалась твердая увѣренность, что баринъ завѣщалъ имъ весь господскій лѣсъ [150]). Эта увѣренность была вызвана самимъ Тургеневымъ. Ежегодно, пріѣзжая въ Спасское, онъ дарилъ крестьянамъ десятины по двѣ лѣса, хотя крестьяне во время освобожденія получили прекрасные надѣлы со всѣми угодьями. Раздача земли происходила крайне просто. Тургеневъ не могъ равнодушно видѣть крестьянъ, снимавшихъ шапки въ разговорѣ съ нимъ. Очевидно, ему трудно было въ чемъ-либо отказать просителямъ.

Намъ разсказываютъ одну изъ многочисленныхъ сценъ Тургенева съ крестьянами-просителями. Можетъ быть, разсказъ нѣсколько прикрашенъ, но основа его, во всякомъ случаѣ, достовѣрна. Она подтверждается фактами, не подлежащими сомнѣнію.

Иванъ Сергѣевичъ посѣтилъ одну изъ своихъ деревень и вышелъ къ крестьянамъ. «Красивые и, видимо, зажиточные крестьяне безъ шапокъ окружали крыльцо, на которомъ стоялъ Тургеневъ и, отчасти повернувшись къ стѣнкѣ, царапалъ ее ногтемъ. Какой-то мужикъ ловко подвелъ Ивану Сергѣевичу о недостаткѣ у него тягольной земли и просилъ о прибавкѣ таковой. Не успѣлъ Иванъ Сергѣевичъ обѣщать мужику просимую землю, какъ подобныя настоятельныя нужды явились у всѣхъ, и дѣло кончилось раздачею всей барской земли крестьянамъ».

Но вопросъ этимъ не рѣшался. Н. И. Тургеневъ, державшійся совершенно другихъ взглядовъ, чѣмъ его племянникъ, отклонилъ его распоряженія [151]). Такое вмѣшательство не всегда было возможно, вскорѣ оно должно было совсѣмъ прекратиться,— и крестьяне невозбранно продожали до самой смерти барина получать подарки.

Заботы Тургенева о крестьянахъ шли дальше. Онъ учредилъ школу, богадѣльню, больницу и многое еще намѣренъ былъ сдѣлать: смерть помѣшала его планамъ. Крестьянское горе его глубоко трогало. Очевидецъ разсказываетъ, какъ онъ въ послѣдній

---

[150]) Евг. Гаршинъ. *Воспоминанія о Тургеневѣ. Ист. В.* XIV, 392.
[151]) Фетъ. I, 278.

свой пріѣздъ въ Спасское, за два года до смерти, больной, ночью, рѣшился отправиться на пожаръ, когда ему сказали, что горитъ деревня его крестьянъ [152]). Тургеневъ ежегодно выплачивалъ множество пенсій старымъ слугамъ, стипендій крестьянскимъ парнямъ, высказавшимъ особенные таланты къ наукѣ.

Одинъ изъ нихъ разсказываетъ, съ какимъ вниманіемъ относился Тургеневъ къ нему еще до отмѣны крѣпостнаго права, поощрялъ его успѣхи надеждой на близкое освобожденіе. Оно совершилось, Тургеневъ продолжаетъ высылать деньги своему питомцу и пишетъ ему такія отеческія письма:

«Я всегда съ участіемъ слѣдилъ за ходомъ твоего воспитанія и радовался твоимъ успѣхамъ. Надѣюсь, что теперь, когда ты вступишь на поприще дѣйствительной жизни, ты по прежнему оправдаешь мое довѣріе. Времена, слава Богу, наступили теперь другія, и всякій человѣкъ съ головой и съ поведеніемъ можетъ проложить себѣ дорогу. Будь увѣренъ, что ты найдешь всегда во мнѣ готовность быть тебѣ полезнымъ. Помни, что первые шаги особенно важны и трудны, но они облегчены для тебя тѣми познаніями, которыя ты пріобрѣлъ» [153]).

Здѣсь не видно барина: это пишетъ человѣкъ, очевидно, разсчитывающій на довѣрчивыя свободныя отношенія крестьянина. «Онъ никогда не разыгрывалъ аристократа», «въ обращеніи его не проглядывалъ большой баринъ»—такъ отзываются о Тургеневѣ иностранцы [154]). Крестьяне, несомнѣнно, испытывали такое же впечатлѣніе. Англичанинъ, жившій съ Тургеневымъ въ деревнѣ, восхищался его обращеніемъ съ крестьянами [155]). Другой очевидецъ удивлялся откровенности крестьянъ съ Тургеневымъ,—явленіе, столь рѣдкое у нихъ относительно господъ, вообще людей чуждой имъ среды.

И Тургеневу дорога была эта откровенность. Онъ радовался, что у мужика со времени реформы постепенно стало исчезать раболѣпство: «поклонъ мужицкій сталъ уже далеко не тотъ, какимъ

---

[152]) Полонскій. 516.

[153]) *Воспом. о селѣ Спасскомъ Р. В.* 1. cit. 336.

[154]) Шмидтъ, Крашевскій, *Иностр. критика о Т—вѣ* 12, 216.

[155]) Рольстонъ. *Ib.* 190.

онъ былъ при моей матери», говорилъ Тургеневъ «Сейчасъ видно, что кланяются добровольно—дескать, почтеніе оказываемъ; а тогда отъ каждаго поклона такъ и разило рабскимъ страхомъ и подобострастіемъ. Видно Ѳедотъ—да не тотъ» [156]).

Тургеневъ придавалъ большое значеніе основательному знакомству съ крестьянскимъ бытомъ. Онъ самъ умѣлъ глубоко проникать въ душу сѣраго человѣка, ясно понимать его нравственный міръ и правдиво и художественно рисовать его интересы, его внѣшнюю жизнь. Раньше, до реформы, онъ сѣтовалъ, что крѣпостное право мѣшаетъ сближенію помѣщиковъ съ крестьянами, позже, много лѣтъ спустя, онъ не побоялся сознаться, что его свѣдѣнія о русскихъ крестьянахъ утратили всякую свѣжесть, потому что онъ давно живетъ въ отдаленіи отъ нихъ. Очевидно, для него были цѣнны исключительно свѣдѣнія, почерпнутыя непосредственно изъ самаго источника народной жизни,— и не случайно, мимоходомъ, а въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ пристальнаго изученія. При такомъ взглядѣ Тургеневъ былъ далекъ отъ крайнихъ народническихъ увлеченій. Его приводила въ негодованіе, мысль, что образованные классы должны учиться у народа. Онъ видѣлъ темныя стороны народной жизни, видѣлъ не мало пятенъ и въ ходячей народной морали. Онъ по личному опыту зналъ, сколько жесткости, равнодушія, извращенныхъ представленій воспитано въ народѣ вѣками крѣпостнаго рабства. Онъ не могъ допускать слѣпой, повальной идеализаціи всего, что̀ можно признать продуктомъ народной жизни и народныхъ воззрѣній.

Но это было вопросомъ подробностей и частностей. Въ цѣломъ народъ являлся Тургеневу великой нравственной силой. Ее трудно опредѣлить, разобрать; для Тургенева русскій народъ таинственный незнакомецъ, сфинксъ, но геніальный художникъ чувствовалъ глубокое родство своей природы съ духовнымъ существомъ родного народа, чувствовалъ неразрывную связь своего міросозерцанія съ «народной правдой».

Вы помните блестящую сцену въ романѣ *Дворянское гнѣздо*? Два героя ведутъ споръ: одинъ — представитель чиновническаго

---

[156]) Полонскій. 511, 519.

самонадѣяннаго формализма, человѣкъ, чуждый народу и его жизни, «чужакъ», другой — помѣщикъ, крѣпко сросшійся съ народной почвой, не смотря на свое привиллегированное положеніе. Чиновникъ—радикаленъ, прямолинеенъ и необыкновенно смѣлъ въ своихъ взглядахъ: для него—дѣйствительность — мертвый предметъ для канцелярскихъ опытовъ. Помѣщикъ держится совершенно другого взгляда на преобразованія и передѣлки. И вотъ какъ авторъ описываетъ результатъ спора: изъ описанія ясно, на чьей сторонѣ его сочувствіе.

Лаврецкій, обозванный отсталымъ консерваторомъ, «не разсердился, не возвысилъ голоса, и покойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ».

Это—дѣйствительно *смиренная* рѣчь въ лучшемъ смыслѣ слова, рѣчь, скрывающая въ глубинѣ упреки совѣсти, испытываемые благороднымъ представителемъ привиллегированнаго сословія. Онъ сознаетъ, что не выполнилъ во всей полнотѣ долга предъ своими «меньшими братьями».

Самому автору знакомо это чувство, хотя никто въ мірѣ не согласится, что оно именно здѣсь было законно. Но мы видѣли личное свидѣтельство Тургенева. Писателя всю жизнь преслѣдовало сознаніе наслѣдственной вины предъ народомъ. Онъ стремился, на сколько хватало силъ и средствъ, загладить грѣхи своихъ отцовъ предъ крѣпостными. Онъ многое прощалъ бывшему рабу, вѣчно памятуя его мученическое прошлое. Имъ нерѣдко овладѣвало смущеніе предъ лицомъ этого раба: такъ глубоко жило въ этомъ рыцарскомъ сердцѣ ощущеніе стыда за чужія преступленія! Органическая связь съ народомъ одухотворялась у Тургенева благороднѣйшимъ чувствомъ гуманности и снисхожденія къ униженнымъ и обездоленнымъ. Геній художника и сердце человѣка

вели его прямымъ путемъ къ предмету его безсмертной вѣры,— къ *народной правдѣ*.

Тургеневъ до конца дней сохранилъ за собой добрыя отношенія крестьянъ. Страдая смертельнымъ недугомъ, лишенный возможности пріѣхать на родину, онъ пишетъ крестьянамъ въ отвѣтъ на ихъ привѣтствія:

«Я получилъ ваше письмо и благодарю васъ за добрую память обо мнѣ и за хорошія пожеланія. Мнѣ самому очень жаль, что болѣзнь помѣшала мнѣ въ нынѣшнемъ году побывать въ Спасскомъ. Мое здоровье поправляется и я надѣюсь, что будущее лѣто я проведу въ Спасскомъ».

Письмо оканчивается обычнымъ подаркомъ лѣса [157]). Тонъ письма въ высшей степени простой, сердечный: такъ могъ говорить только человѣкъ, превосходно знакомый съ своими собесѣдниками и ихъ житейскими нуждами. Тургеневъ, оказывается, точно знаетъ, какъ живутъ его крестьяне, что̀ хорошаго и что̀ дурного въ ихъ жизни. И на все онъ умѣетъ сказать простое, дѣльное слово, понятное каждому мужику.

При такихъ условіяхъ, естественно, Тургеневъ одинъ изъ первыхъ среди помѣщиковъ покончилъ дѣло съ освобожденными крестьянами къ общему удовольствію. Это было большимъ успѣхомъ, но въ теченіи того же самаго лѣта Тургеневу пришлось вынести ударъ съ другой стороны,—ударъ, на долго смутившій его нравственный покой, его совѣсть.

Намъ предстоитъ разсказать исторію, о которой часто говорилось въ печати. Мы разскажемъ ее—для полноты достовѣрныхъ фактическихъ данныхъ біографіи Тургенева. И на этотъ разъ, какъ и раньше по поводу того же вопроса, мы не считаемъ себя въ правѣ произносить какой бы то ни было приговоръ, направленный противъ той или другой личности. Недостатокъ исторической точности въ нашемъ разсказѣ, если таковой окажется, будетъ зависѣть исключительно отъ свойствъ нашихъ источниковъ.

Въ концѣ мая 1861 года въ Степановку, имѣніе Фета, пріѣхали погостить Тургеневъ и гр. Толстой. Оба писателя собирались сви-

---

157) *Письма*, 487.

дѣться у общаго пріятеля. Тургеневъ даже написалъ гр. Толстому, чтобы онъ непремѣнно заѣхалъ за нимъ въ Спасское по пути въ Степановку. Гр. Толстой также заявлялъ, что ему «хочется видѣть Ивана Сергѣевича». Ничто, повидимому, не предвѣщало грозныхъ событій.

Они послѣдовали на другой же день по прибытіи гостей въ Степановку.

Предъ нами два разсказа объ этихъ событіяхъ: одинъ принадлежитъ Фету—очевидцу, явно предрасположенному къ одной изъ враждебныхъ сторонъ, къ гр. Толстому, другой—записанъ со словъ Тургенева. Въ этихъ разсказахъ много общаго, и существенный моментъ, какъ сейчасъ увидимъ, и въ той, и въ другой передачѣ тождественъ.

Мы приведемъ оба разсказа.—Фетъ повѣствуетъ:

«Утромъ въ наше обыкновенное время, т.-е. въ 8 часовъ, гости вышли въ столовую, въ которой жена моя занимала верхній конецъ стола за самоваромъ, а я, въ ожиданіи кофе, помѣстился на другомъ концѣ. Тургеневъ сѣлъ по правую руку хозяйки, а Толстой—по лѣвую. Зная важность, которую въ это время Тургеневъ придавалъ воспитанію своей дочери, жена моя спросила его, доволенъ ли онъ своею англійскою гувернанткой. Тургеневъ сталъ изливаться въ похвалахъ гувернанткѣ и, между прочимъ, разсказалъ, что гувернантка съ англійскою пунктуальностью просила Тургенева опредѣлить сумму, которою дочь его можетъ располагать для благотворительныхъ цѣлей. «Теперь», сказалъ Тургеневъ, «англичанка требуетъ, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бѣдняковъ и, собственноручно вычинивъ оную, возвращала по принадлежности.

— И это вы считаете хорошимъ?—спросилъ Толстой.

— Конечно, это сближаетъ благотворительницу съ насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная дѣвушка, держащая на колѣняхъ грязныя и зловонныя лохмотья, играетъ неискреннюю театральную сцену.

— Я васъ прошу этого не говорить!—воскликнулъ Тургеневъ съ раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мнѣ не говорить того, въ чемъ я убѣжденъ?— отвѣчалъ Толстой.

«Не успѣлъ я крикнуть Тургеневу: «перестаньте!», продолжаетъ Фетъ,—какъ блѣдный отъ злобы, онъ сказалъ: «такъ я васъ заставлю молчать оскорбленіемъ». Съ этимъ словомъ онъ вскочилъ изъ-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагалъ въ другую комнату. Черезъ секунду онъ вернулся къ намъ и сказалъ, обращаясь къ женѣ моей: «ради Бога, извините мой безобразный поступокъ, въ которомъ я глубоко раскаиваюсь». Съ этимъ вмѣстѣ онъ снова ушелъ».

Другой разсказъ по существу немногимъ отличается отъ только-что приведеннаго. Но въ немъ есть нѣсколько замѣчаній, приписываемыхъ гр. Толстому: Фетъ о нихъ не упоминаетъ ни единымъ словомъ, а между тѣмъ, именно они должны были вызвать у Тургенева бурное негодованіе.

Бесѣдуя о воспитаніи дочери Ивана Сергѣевича, гр. Толстой спросилъ:

— Вѣдь это ваша незаконная дочь?

— Да. Но только что же изъ этого слѣдуетъ?

— А то, что вы производите experimentum in anima vili.

Иванъ Сергѣевичъ не взвидѣлъ свѣта при этихъ словахъ и успѣлъ только крикнуть».

— Толстой, замолчите, или я въ васъ пущу вилкой.

«Я только увидѣлъ», говорилъ Иванъ Сергѣевичъ, «что какая-то улыбка радости, при мысли, что онъ достигъ своей цѣли, сверкнула въ его глазахъ [158]).

Тургеневъ и гр. Толстой, конечно, немедленно разстались, но на этомъ дѣло не кончилось.

Гр. Толстой послалъ Тургеневу вызовъ, по нѣкоторымъ извѣстіямъ почти одновременно было послано письмо совершенно дру-

158) Фетъ. I, 370. Евг. Гаршинъ. *Ист. В.* XIV, 389. Гаршинъ мѣстомъ ссоры называетъ *Спасское*. Анненковъ отъ себя говоритъ тоже о Спасскомъ, но здѣсь же приводитъ письмо Т—ва, гдѣ читаемъ: «въ этой же деревнѣ (т.-е. у Фета) совершилось непріятное событіе». Несмотря на это указаніе Анненковъ и въ другомъ мѣстѣ настаиваетъ на томъ, что «сцена» произошла въ Спасскомъ. *Шесть лѣтъ переписки В. Е.*, апр, 1885, 488, 486, 491.

гого содержанія: гр. Толстой раскаявался въ своемъ поступкѣ [159]). Въ самый день ссоры Тургеневъ написалъ слѣдующее письмо:

«Милостивый государь Левъ Николаевичъ! Въ отвѣтъ на ваше письмо я могу повторить только то, что я самъ своею обязанностью почелъ объявить вамъ у Фета; увлеченный чувствомъ невольной непріязни, въ причины которой теперь входить не мѣсто, я оскорбилъ васъ безъ всякаго положительнаго повода съ вашей стороны и попросилъ у васъ извиненія. Происшедшее сегодня доказало поутру ясно, что всякая попытка сближенія между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могутъ повести ни къ чему хорошему; и потому тѣмъ охотнѣе исполняю мой долгъ передъ вами, что настоящее письмо есть, вѣроятно, послѣднее проявленіе какихъ бы то ни было отношеній между нами. Отъ души желаю, чтобы оно васъ удовлетворило и заранѣе объявляю свое согласіе на употребленіе, которое вамъ заблагоразсудится сдѣлать изъ него.

«Съ совершеннымъ уваженіемъ имѣю честь оставаться, милостивый государь, вашъ покорнѣйшій слуга [160]).

Ив. Тургеневъ».

Гр. Толстой объявилъ посланному Тургенева, что драться съ Тургеневымъ онъ не намѣренъ: иначе оба они сдѣлаются сказкой русской публики, а питать ее скандалами онъ не имѣетъ ни охоты, ни повода [161]). Извиненія Тургенева на основаніи «противоположности натуръ», гр. Толстой тоже отказался принять, а извинялъ по причинамъ, которыя предоставлялъ понять самому Тургеневу. Одновременно гр. Толстой писалъ Фету, что онъ презираетъ Тургенева и навсегда порываетъ съ нимъ всѣ сношенія [162]). Въ такомъ же смыслѣ было написано письмо къ Тургеневу. Посланный гр. Толстого требовалъ отвѣта, и Тургеневъ отвѣчалъ слѣдующимъ письмомъ:

«Вашъ человѣкъ говоритъ, что вы желаете получить отвѣтъ на ваше письмо; но я не вижу, что бы я могъ прибавить къ то-

---

[159]) Гаршинъ. *Ib.*, 390.
[160]) Фетъ. I, 372.
[161]) Анненковъ. *В. Е.* 1885, апр. 491.
[162]) Фетъ. I, 373.

му, что я написалъ. Развѣ то, что я признаю за вами право потребовать отъ меня удовлетворенія вооруженною рукой: вы предпочли удовольствоваться высказаннымъ и повтореннымъ моимъ извиненіемъ. Это было въ вашей волѣ. Скажу безъ фразы, что охотно бы выдержалъ вашъ огонь, чтобы тѣмъ загладить мое, дѣйствительно, безумное слово. То, что я его высказалъ, такъ далеко отъ привычекъ всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, какъ раздраженію, вызванному крайнимъ и постояннымъ антагонизмомъ нашихъ воззрѣній. Это не извиненіе, я хочу сказать не оправданіе, а объясненіе. И потому, разставаясь съ вами навсегда — подобныя происшествія неизгладимы, невозвратимы—считаю долгомъ повторить еще разъ, что въ этомъ дѣлѣ правы были вы, а виноватъ я. Прибавляю, что тутъ вопросъ не въ храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а въ признаніи за вами права привести меня на поединокъ, разумѣется, въ принятыхъ формахъ (съ секундантами), такъ и права меня извинить. Вы избрали, что вамъ было угодно, и мнѣ остается покориться вашему рѣшенію.

«Снова прошу васъ принять увѣреніе въ моемъ совершенномъ уваженіи.

Ив. Тургеневъ».

Приведенными письмами, очевидно, не ограничилась переписка двухъ враждебныхъ сторонъ. Письма гр. Толстого къ Тургеневу неизвѣстны намъ. Ясно одно: сначала гр. Толстой потребовалъ дуэли, потомъ отказался отъ нея. Ясенъ еще другой, болѣе важный фактъ: искреннее сознаніе Тургенева въ своей винѣ.

Ссора произошла 27-го мая,—Тургеневъ въ тотъ же день призналъ себя виновнымъ и не переставалъ повторять это даже во время сильнѣйшаго раздраженія противъ гр. Толстого въ ноябрѣ того же года.

Тургеневъ предъ самымъ отъѣздомъ изъ Петербурга заграницу узналъ, что по Москвѣ ходятъ списки съ письма гр. Толстого,—письма, крайне оскорбительнаго для Тургенева. Сообщали, будто списки распространяются самимъ гр. Толстымъ, причемъ гр. Толстой называетъ Тургенева трусомъ, не пожелавшимъ драться съ нимъ. Тургеневъ отъѣзда заграницу не отложилъ, но написалъ

гр. Толстому письмо, его поступокъ назвалъ «и оскорбительнымъ, и безчестнымъ», и предупреждалъ, что будущей весной, по возвращеніи въ Россію, потребуетъ удовлетворенія.

«Толстой отвѣчалъ мнѣ», разсказываетъ Тургеневъ, «что это распространеніе списковъ—чистая выдумка, и тутъ же прислалъ мнѣ письмо, въ которомъ, повторивъ, что и какъ я его оскорбилъ—*проситъ у меня извиненія и отказывается отъ вызова»*. Гр. Толстой при этомъ заявлялъ, что всякое новое обращеніе къ нему Тургенева онъ сочтетъ за оскорбленіе, — и Тургеневъ просилъ общаго знакомаго сообщить ему, что онъ также отказывается отъ вызова и считаетъ «все это» похороненнымъ на вѣки [163]).

Тургеневъ былъ искренно радъ такой развязкѣ и горько сѣтовалъ на разныхъ «вѣрныхъ людей», сообщающихъ лживыя вѣсти и досужихъ друзей. Извинительное письмо гр. Толстого Тургеневъ тотчасъ же уничтожилъ [164]).

Таковы фактическія данныя прискорбнаго событія. Люди, близко стоявшіе къ обоихъ писателямъ, отказываются объяснить *психологическіе* мотивы того, что произошло на ихъ глазахъ: они не *понимаютъ* этихъ мотивовъ [165]). Мы, конечно, находимся въ еще менѣе выгодномъ положеніи. Несомнѣнно, разговоръ 27 мая явился только внѣшнимъ поводомъ для взрыва, давно назрѣвшаго, подготовленнаго годами. Ссылка Тургенева на «противоположность натуръ», на «крайній и постоянный антагонизмъ воззрѣній» подтверждается всей исторіей взаимныхъ отношеній Тургенева и гр. Толстого. Были, конечно, и нравственныя, личныя причины, помимо идейныхъ. Выше мы указывали нѣкоторыя изъ нихъ. Выяснить ихъ во всей полнотѣ въ настоящее время еще труднѣе, чѣмъ прослѣдить антагонизмъ воззрѣній [166]).

---

[163]) Фетъ I, 381. Анненковъ. *В. Е. П*. 490.

[164]) Анненковъ. *П*. 492. Фетъ. I, 381.

[165]) Фетъ. I, 372.

[166]) Не лишено извѣстнаго интереса сужденіе Боткина о «вѣстяхъ изъ Степановки». «Сцена, бывшая у него съ Толстымъ», пишетъ Боткинъ Фету, «произвела на меня тяжелое впечатлѣніе. Но знаешь-ли, я думаю. что въ сущности у Толстого страстно любящая душа, и онъ хотѣлъ бы любить Тургенева со всею горячностью, но, къ несчастью, его порывчатое чувство встрѣчаетъ одно кроткое, добродушное равнодушіе. Съ этимъ онъ никакъ не мо-

Необыкновенно ярко этотъ антагонизмъ сказывается по вопросу, самому близкому для того и другого писателя,—по вопросу о литературной дѣятельности.

Тургеневъ придавалъ великое значеніе этой дѣятельности и поэтому горячо интересовался судьбой и вліяніемъ своихъ произведеній среди публики. Не менѣе пристально онъ слѣдилъ за художественнымъ развитіемъ другихъ писателей, поощрялъ ихъ. Для него, какъ и для большинства его просвѣщенныхъ современниковъ, литература была благороднѣйшей силой въ дѣлѣ общественнаго развитія. Тургеневъ до конца жизни не перестаетъ слѣдить за журнальными статьями, за новыми беллетристическими произведеніями, сообщаетъ издалека друзьямъ свои взгляды и впечатлѣнія, жадно ищетъ новыхъ талантовъ и самоотверженно и любовно расчищаетъ имъ пути къ успѣху. «Каждый старѣющійся писатель», писалъ онъ къ одному изъ молодыхъ авторовъ, «съ удовольствіемъ видитъ литературныхъ себѣ наслѣдниковъ» [167]). И Тургеневъ такъ поступалъ всегда и вездѣ, встрѣчая талантливаго юношу, нерѣдко даже производя въ таланты довольно посредственныхъ литераторовъ.

Такое отношеніе вытекало изъ общаго взгляда Тургенева на литературу, на искусство, на художественное творчество. Во времена Тургенева литература была единственнымъ доступнымъ общественнымъ дѣломъ, и мы видѣли стремленія Тургенева—пре-

---

жетъ помириться. А потомъ, къ несчастью, умъ его находится въ какомъ-то хаосѣ представленій, т. е. я хочу сказать, что въ немъ еще не выработалось опредѣленнаго воззрѣнія на жизнь и дѣла міра сего. Отъ этого такъ мѣняются его убѣжденія, такъ падокъ онъ на крайности». Фетъ. I, 378.

Фетъ, разсказавъ это событіе, прибавляетъ слѣдующее сообщеніе, остающееся одинокимъ въ нашихъ источникахъ и не подтверждаемое, по крайней мѣрѣ, по своему внутреннему смыслу—ни письмами Тургенева къ гр. Толстому, ни его отзывами о гр. Толстомъ, и ничѣмъ не связанное съ *мотивами* ссоры. Фетъ пишетъ: «Размышляя впослѣдствіи о случившемся, я поневолѣ вспоминалъ мѣткія слова покойнаго Ник. Ник. Толстого, который, будучи свидѣтелемъ раздражительныхъ споровъ Тургенева съ Львомъ Николаевичемъ, не разъ со смѣхомъ говорилъ: «Тургеневъ никакъ не можетъ помириться съ мыслью, что Левочка растетъ и уходитъ у него изъ-подъ опеки». (Фетъ *Ib.* 372). Мы видѣли, что именно «уходъ изъ-подъ опеки» Тургеневъ и привѣтствовалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ гр. Толстому.

[167]) Гаршинъ. *Ист. В.* XIV, 385.

вратить писателей въ признанныхъ руководителей и просвѣтителей общества и народа. «У Тургенева», пишетъ его современникъ и другъ, «привязанность къ русской литературѣ и искусству составляла органическое чувство, одолѣть которое уже были не въ силахъ никакіе посторонніе соблазны и влеченія. Бѣлинскій высоко цѣнилъ это качество своего друга. Для Тургенева—и многихъ его современниковъ, послѣ народа, ничего болѣе важнаго и болѣе достойнаго вниманія и изученія, чѣмъ русская литература, вовсе и не существовало въ Россіи: ее одну они тамъ и видѣли и на нее возлагали всѣ свои надежды. Для Тургенева и для многихъ другихъ еще за нимъ—слѣдить за русской литературой, значило слѣдить за первенствующимъ (если не единственнымъ) воспитывающимъ и цивилизующимъ элементомъ въ Россіи» [168]).

Тургеневъ называетъ себя «старымъ словесникомъ» [169]) и никто изъ критиковъ не обладалъ бо̀льшимъ чутьемъ къ художественной красотѣ языка, никто не умѣлъ съ бо̀льшей проницательностью оцѣнить форму и разобрать содержаніе литературнаго произведенія, и никто съ болѣе искреннимъ восторгомъ не провозглашалъ безсмертіе искусства и вѣру въ его связующую власть между людьми мысли и чувства [170]).

Совершенно другіе взгляды выражалъ гр. Толстой въ эпоху совмѣстной литературной дѣятельности съ Тургеневымъ.

Гр. Толстой не чувствуетъ никакого интереса къ современной литературѣ: случается, иные годы онъ не получаетъ «ни одного журнала и ни одной газеты» и находитъ, что «это очень полезно» [171]). Онъ не хочетъ даже знать объ успѣхахъ или неудачахъ собственныхъ произведеній. Въ 1863 году Фетъ получаетъ отъ него такое письмо въ отвѣтъ на литературныя извѣстія:

«Я живу въ мірѣ, столь далекомъ отъ литературы и ея критики, что, получая такое письмо, какъ ваше, первое чувство мое—

---

[168]) Анненковъ. *Воспоминанія и очерки.* III, 192.

[169]) *Письма*, 261.

[170]) *Письма*, 102. «Что тамъ ни говори молодежь, а искусство умереть не можетъ, и посильное служеніе ему будетъ всегда тѣсно связывать людей». А. И. Майкову, 18 марта 1862.

[171]) Письмо къ Фету. Фетъ. II, 11, 211.

удивленіе. Да кто же такое написалъ *Казаковъ* и *Поликушку*? Да и что разсуждать о нихъ? Бумага все терпитъ, а редакторъ за все платитъ и печатаетъ. Но это только первое впечатлѣніе, а потомъ вникнешь въ смыслъ рѣчей, покопаешься въ головѣ и найдешь тамъ гдѣ-нибудь въ углу между старымъ забытымъ хламомъ, найдешь что-то такое неопредѣленное, подъ заглавіемъ *художественное*. И, сличая съ тѣмъ, что вы говорите, согласишься, что вы правы и даже удовольствіе найдешь покопаться въ этомъ старомъ хламѣ и въ этомъ когда-то любимомъ запахѣ. И даже писать захочется» [172]).

Въ этихъ признаніяхъ менѣе всего, конечно, можно открыть любовное и почтительное чувство къ литературѣ и искусству. Любопытно сочувственное отношеніе гр. Толстого къ разговорамъ Фета о *художественномъ*. Ниже мы будемъ имѣть случай познакомиться съ общимъ смысломъ этихъ разговоровъ и съ отзывами Тургенева объ эстетикѣ Фета. Окажется,—гр. Толстой и Тургеневъ совершенно различно смотрѣли на эту эстетику и Тургеневъ объяснитъ намъ, почему теорія Фета возбуждала у него нерѣдко глубокое чувство негодованія. Припомнимъ также мнѣнія Фета о литераторахъ и протесты Тургенева. Но со стороны гр. Толстого фетовское міросозерцаніе въ области литературы не встрѣчало ни возраженій, ни протеста.

Много лѣтъ спустя, въ 1874 году, гр. Толстой обнаруживаетъ тоже настроеніе. На похвалы Фета роману *Анна Каренина* и на извѣстія Тургенева о французскомъ переводѣ *Двухъ гусаровъ*, гр. Толстой отвѣчаетъ: «Вы хвалите *Каренину*, мнѣ это очень пріятно, да и какъ я слышу ее хвалятъ; но навѣрное никогда не было писателя, столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я... Отъ Тургенева получилъ переводъ, напечатанный въ «Temps», *Двухъ гусаровъ* и письмо въ третьемъ лицѣ, просящее извѣстить, что я получилъ и что г-жей Віардо и Тургеневымъ переводятся другія повѣсти,—что ни то, ни другое совсѣмъ не нужно было» [173]).

Что касается романовъ Тургенева, гр. Толстой относился къ

---

172) Фетъ. I, 418.
173) Фетъ. II, 289.

нимъ, повидимому, всегда отрицательно. «Единственный человѣкъ, котораго я совершенно отказываюсь удовлетворить когда-нибудь», писалъ Тургеневъ, «Левъ Толстой. Но что дѣлать! Видно, такъ у меня на роду написано» [174]).

Въ этомъ отношеніи любопытенъ отзывъ гр. Толстого о *Накануни*. Въ отзывѣ звучитъ то же чувство къ литературной дѣятельности, какое уже намъ знакомо.

«Прочелъ я *Накануни*», пишетъ гр. Толстой. «Вотъ мое мнѣніе: писать повѣсти вообще напрасно, а еще болѣе такимъ людямъ, которымъ грустно и которые не знаютъ хорошенько, чего они хотятъ отъ жизни. Впрочемъ, *Накануни* много лучше *Дворянскаго гнѣзда*, и есть въ немъ отрицательныя лица превосходныя: художникъ и отецъ. Другіе же не только не типы, но даже замыселъ ихъ, положеніе ихъ не типическое или ужъ они совсѣмъ пошлы. Впрочемъ, это всегдашняя ошибка Тургенева. Дѣвица изъ рукъ вонъ плоха: *Ахъ, какъ я тебя люблю... у нея рѣсницы были длинныя*»... [175]).

Тургеневъ и послѣ ссоры оставался восторженнымъ цѣнителемъ таланта гр. Толстого. Онъ не могъ выносить его «философіи», «резонерства» и «разсудительства», указывалъ недостатки въ нѣкоторыхъ характерахъ въ романѣ *Война и миръ*, въ идеяхъ романа *Анна Каренина*, по поводу философіи повторялъ извѣстное изреченіе В. П. Боткина на счетъ усилій гр. Толстого открыть Средиземное море,—но въ то же время глубоко огорчался дурными вѣстями объ его здоровьѣ и такъ, объяснялъ причину: «Л. Толстой, эта единственная надежда нашей осиротѣвшей литературы, не можетъ и не долженъ такъ же скоро исчезнуть съ лица земли, какъ его предшественники—Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь». Это повторяется неоднократно. «Что вы мнѣ ничего не говорите о Львѣ Толстомъ?» пишетъ Тургеневъ Фету. «Онъ меня «ненавидитъ и презираетъ», а я продолжаю имъ лично интересоваться, какъ самымъ крупнымъ современнымъ талантомъ».

Позже Тургеневъ свидѣтельствуетъ, что онъ «никогда и ни

---

[174]) *Ib.* I, 326.

[175]) *Ib.* I, 317.

[176]) Фетъ. II, 95, 174, 235, 238. *Письма.* 257, 260.

передъ кѣмъ не отзывался о Львѣ Толстомъ иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ къ его таланту и характеру» [177]).

Тургеневъ усердно распространяетъ произведенія гр. Толстого въ то время, когда ссора еще длится, испрашиваетъ у него разрѣшенія, конечно, черезъ третье лицо, на переводъ его повѣстей, дѣятельно пользуется этимъ разрѣшеніемъ и даже благодаритъ за него. Романъ *Война и миръ* переводится подъ надзоромъ Тургенева. Онъ самъ развозитъ французскіе экземпляры парижскимъ критикамъ, убѣждая ихъ прочесть романъ, не смотря на чудовищный для нихъ объемъ [178]).

Авторитетъ Тургенева въ это время высоко цѣнился заграницей и, несомнѣнно, только подъ давленіемъ этого авторитета знаменитый романъ сталъ, наконецъ, извѣстенъ французской публикѣ.

Примиреніе гр. Толстого съ Тургеневымъ произошло весной 1878 года. Графъ Толстой, подъ вліяніемъ своихъ новыхъ нравственныхъ взглядовъ, написалъ Тургеневу; письмо это намъ неизвѣстно, отвѣтъ Тургенева—въ письмѣ отъ 8 мая—слѣдующій:

«Любезный Левъ Николаевичъ, я только сегодня получилъ ваше письмо, которое вы отправили poste restante. Оно меня очень обрадовало и тронуло. Съ величайшей охотой готовъ возобновить нашу прежнюю дружбу и крѣпко жму протянутую мнѣ вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мнѣ враждебныхъ чувствъ къ вамъ; если они и были, то давнымъ-давно исчезли и осталось одно воспоминаніе о васъ, какъ о человѣкѣ, къ которому я былъ искренно привязанъ,—и о писателѣ, первые шаги котораго мнѣ удалось привѣтствовать раньше другихъ, каждое новое произведеніе котораго всегда возбуждало во мнѣ живѣйшій интересъ. Душевно радуюсь прекращенію возникшихъ между нами недоразумѣній.

«Я надѣюсь нынѣшнимъ лѣтомъ попасть въ Орловскую губернію—и тогда мы, конечно, увидимся. А до тѣхъ поръ желаю вамъ всего хорошаго—и еще разъ жму вамъ руку» [179]).

---

[177]) Фетъ, II, 279, 304.

[178]) Фетъ, II, 288. *Русск. Ст.* XL, 211. *И. С. Т—въ въ его разсказахъ.*

[179]) *Письма*, 331. Анненковъ ошибается, говоря, что «полное примиреніе между врагами произошло за годъ или за два до смерти одного изъ нихъ».

Разсказываютъ, что Тургеневу все-таки хотѣлось объясниться съ гр. Толстымъ на счетъ прошлыхъ недоразумѣній. Но гр. Толстой предупредилъ всякія объясненія. Тургеневъ былъ по дѣламъ въ Тулѣ,—гр. Толстой случайно находился въ этомъ же городѣ, онъ совершенно неожиданно пришелъ къ Тургеневу и, войдя къ нему въ комнату, дружески обнялъ его, не давъ начать никакихъ объясненій [180]).

Нечего и говорить, что послѣ прекращенія ссоры забота Тургенева о заграничной популярности сочиненій гр. Толстого не могла ослабѣть. Онъ просматриваетъ англійскіе и французскіе переводы повѣстей гр. Толстого, «заботится о рекламѣ» для *Войны и мира*, сообщаетъ англійскимъ и французскимъ писателямъ «факты изъ литературной и общественной жизни» автора. «Философствованіе графа ему, по прежнему, ненравится, но», пишетъ онъ, «Л. Толстой, какъ большой и живой талантъ, выскочитъ изъ болота, куда онъ залѣзъ—и съ пользой для литературы» [181]).

Восторги Тургенева предъ талантомъ его современника поднимаются, повидимому, съ теченіемъ времени все выше. По крайней мѣрѣ, у насъ есть данныя за послѣдніе три года жизни Тургенева, и всѣ онѣ доказываютъ по истинѣ самоотверженное преклоненіе предъ дарованіемъ опаснѣйшаго соперника.

Лѣто 1881 года Иванъ Сергѣевичъ провелъ въ Спасскомъ. Часто заходила рѣчь о гр. Толстомъ. Однажды Тургеневъ прочелъ одну главу изъ романа *Война и миръ* и обратился къ присутствующимъ: «Выше этого описанія я ничего не знаю ни въ одной изъ европейскихъ литературъ. Вотъ это описаніе! Вотъ какъ должно описывать!..»

«Всѣ невольно согласились съ Иваномъ Сергѣевичемъ», продолжаетъ очевидецъ, «а Тургеневъ—точно какой кладъ нашелъ—все еще радостно доказывалъ намъ, до какой степени хорошо это описаніе» [182]).

В. Е. апр. 1885, 492. Фетъ дѣлаетъ другую ошибку, утверждая, будто «Тургеневъ явился съ повинною въ Ясную Поляну» для примиренія съ гр. Толстымъ. II, 304,

[180]) *Гаршинъ. Ист. В.* Ѣ. 391.

[181]) *Письма,* 339, 348, 336, 347.

[182]) Полонскій, 573—4.

Въ 1882 году, въ письмахъ къ Д. В. Григоровичу, Тургеневъ постоянно вспоминаетъ о гр. Толстомъ. «Это—чудачище, но несомнѣнно геніальный человѣкъ— и добрѣйшій»... «Толстой едва ли не самый замѣчательный человѣкъ современной Россіи». Во время этихъ отзывовъ Тургеневъ уже страдалъ смертельнымъ недугомъ. Но и приближеніе смерти не могло изгладить въ его памяти мысли о любимомъ писателѣ и человѣкѣ.

Въ концѣ іюня 1883 года Тургеневъ обратился къ гр. Толстому съ трогательнымъ письмомъ, которому суждено было остаться завѣщаніемъ геніальнаго художника и великаго человѣка.

Письмо продиктовано, Иванъ Сергѣевичъ уже не могъ писать, и диктовать было для него непосильнымъ трудомъ, но подпись—его.

«Милый и дорогой Левъ Николаевичъ, долго вамъ не писалъ, ибо былъ и есмь, говоря прямо, на смертномъ одрѣ. Выздоровѣть я не могу, и думать объ этомъ нечего. Пишу же я вамъ собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ, и чтобы выразить вамъ мою послѣднюю искреннюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, еслибъ могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подѣйствуетъ!! Я же человѣкъ конченый—доктора даже не знаютъ, какъ назвать мой недугъ, névralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни ѣсть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Другъ, великій писатель русской земли—внемлите моей просьбѣ! Дайте мнѣ знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще разъ крѣпко, крѣпко обнять васъ, вашу жену, всѣхъ вашихъ. Не могу больше... Усталъ!»

Есть извѣстіе, что гр. Толстой отвѣчалъ Тургеневу и что «этотъ отвѣтъ глубоко огорчилъ и потрясъ умирающаго» [183]).

Въ самый разгаръ ссоры съ гр. Толстымъ Тургеневъ дописывалъ романъ *Отцы и дѣти*. Къ 30-му іюля романъ былъ оконченъ [184]). Новое произведеніе должно было принести автору столько огорченій, возбудить столько горячихъ распрей, что всѣ

183) *Р. Ст.* XL, 212.

184) Анненковъ днемъ окончанія романа называетъ 20 іюля (*В. Е.* апр. 1885, 494), Тургеневъ въ ст. объ *Отцахъ и Дѣтяхъ* говоритъ о 30 іюля.

личныя недоразумѣнія Тургенева съ разными писателями совершенно блѣднѣютъ передъ этой ожесточенной войной, длившейся цѣлые годы и донесшей послѣдніе отголоски до нашихъ дней.

VIII.

Настроеніе Тургенева до выхода въ свѣтъ *Отцовъ и Дѣтей* было смутное: то онъ надѣялся, что «участь» романа «будетъ лучше», чѣмъ участь *Наканунѣ*, то опасался разочарованія публики и хотѣлъ возможно дольше удержать у себя свое произведеніе. Любопытно, что авторъ съ самаго начала предчувствовалъ жестокія нападки крайней либеральной печати и въ своемъ дневникѣ, немедленно по окончаніи романа, указалъ на недоразумѣніе, съ которымъ ему предстояло вскорѣ вести энергичную, но большею частью безплодную борьбу. Катковъ настоятельно требовалъ романъ для первыхъ книжекъ *Русскаго Вѣстника* на 1862 годъ [185]).

Конецъ 1861 года проходитъ для Тургенева въ мучительныхъ сомнѣніяхъ, но это только слабое предвѣстіе грядущей бури. Тургеневъ горячо благодаритъ за всякій благопріятный отзывъ о романѣ. Въ октябрѣ такую благодарность получаетъ Анненковъ,— и Тургеневъ прибавляетъ: «довѣріе къ собственному труду было сильно потрясено во мнѣ». Авторъ не останавливается ни предъ какими поправками и измѣненіями. Позже онъ говорилъ, что «работалъ надъ романомъ усердно, долго, добросовѣстно». Всѣ замѣчанія друзей принимаются въ разсчетъ, и безпрестанно посылаются требованія—на счетъ новыхъ замѣчаній [186]). Насъ изумляетъ терпимость, самоотверженный трудъ и покорное вниманіе къ чужимъ мнѣніямъ у зрѣлаго уже прославленнаго художника.

Не мало затрудненій создалъ для Тургенева редакторъ *Русскаго Вѣстника*. «Онъ не восхищался романомъ», разсказываетъ

---

[185]) *В. Е.* апр. 1885, 482. *Письма*, 97. Въ примѣч. къ статьѣ о романѣ И. С. пишетъ: «Позволю себѣ привести слѣдующую выписку изъ моего дневника: «30-го іюля, воскресенье. Часа полтора тому назадъ я кончилъ, наконецъ, свой романъ... Не знаю, каковъ будетъ успѣхъ. *Современникъ*, вѣроятно, обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова и не повѣритъ, что во все время писанія я чувствовалъ къ нему невольное влеченіе...»

[186]) *Шесть лѣтъ переписки. Ib.* 490, 495.

очевидецъ, «а напротивъ, съ первыхъ же словъ замѣтилъ: «какъ не стыдно Тургеневу было спустить флагъ передъ радикаломъ и отдать ему честь, какъ передъ заслуженнымъ воиномъ» [187]).

Катковъ не удовлетворился бесѣдой съ пріятелемъ Тургенева и написалъ Ивану Сергѣевичу письмо. Отрывокъ изъ этого письма, напечатанный Тургеневымъ въ статьѣ *По поводу Отцовъ и Дѣтей*— въ высшей степени любопытенъ. Онъ ясно указываетъ спорный пунктъ, возбудившій многолѣтнюю полемику. Катковъ писалъ:

«Если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ, то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ дѣйствительно подавляетъ все окружающее. Все передъ нимъ или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатлѣнія нужно было желать? Въ повѣсти чувствуется, что авторъ хотѣлъ характеризовать начало, мало ему сочувственное, но какъ будто колебался въ выборѣ тона и безсознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное въ отношеніяхъ автора къ герою повѣсти, какая-то неловкость и принужденность. Авторъ передъ нимъ какъ будто теряется, и не любитъ, а еще пуще боится его!»

Это одинъ взглядъ. Рядомъ съ нимъ Тургеневу приходилось выслушивать совершенно противоположныя мнѣнія. Знакомая семья, очень уважаемая авторомъ, совѣтовала ему предать романъ огню. На такомъ трагическомъ концѣ настаивала особенно хозяйка— умная, развитая дама. Тургеневъ пришелъ въ крайнее безпокойство и сдѣлалъ запросъ другимъ своимъ друзьямъ, что дѣлать съ романомъ. На этотъ разъ автора обвиняли въ отрицательномъ отношеніи къ главному герою, «за анти-либеральный духъ» [188]).

Обѣ партіи шли рука объ руку и преслѣдовали автора за каждую мелочь. Катковъ, напримѣръ, жалѣлъ о томъ, что Тургеневъ не заставилъ Одинцову обращаться съ Базаровымъ иронически [189]). Критики противоположнаго взгляда негодовали на Тургенева

---

[187]) *Ib.* 497.

[188]) Въ письмѣ къ Анненкову Тургеневъ называетъ «Т—выхъ»—безпощадныхъ судей романа. *В. Е.* апр. 1885, 498—9.

[189]) Катковъ уговорилъ Тургенева «выбросить не мало смягчающихъ чертъ». Объ этомъ сообщалъ самъ Т—въ Герцену и прибавлялъ, что онъ очень раскаявается въ своей уступчивости. Письмо относится къ апрѣлю 1862 года.

за то, что онъ заставилъ Базарова проиграть въ карты отцу Алексѣю: «Не знаетъ, молъ, чѣмъ бы только уязвить и унизить его! И въ карты, молъ, не умѣетъ играть».

Тургеневъ подъ вліяніемъ отзывовъ выкидывалъ изъ романа цѣлыя сцены. Напримѣръ, въ свиданіи Аркадія съ Базаровымъ: Базаровъ, разсказывая о дуэли, трунилъ надъ рыцарями, и Аркадій слушалъ его съ тайнымъ ужасомъ. Этихъ насмѣшекъ нѣтъ въ окончательной редакціи. «Я выкинулъ это и теперь сожалѣю», писалъ Тургеневъ Достоевскому: «я вообще много перемарывалъ и передѣлывалъ подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ отзывовъ» [190]).

Упреки Каткова произвели на Тургенева особенно сильное впечатлѣніе. Онъ рѣшилъ остановить печатаніе романа и передѣлать лицо Базарова съ начала до конца, даже писалъ объ этомъ Каткову, но передѣлка, къ счастью, не состоялась [191]).

Ко всѣмъ этимъ спорамъ присоединилось событіе общественнаго характера, неблагопріятное роману. Осенью 1861 года произошли студенческіе безпорядки. Они быстро были прекращены, но заграничные корреспонденты особенно ими заинтересовались, сообщали о нихъ, извращая и преувеличивая факты. Тургеневъ спрашивалъ изъ Парижа совѣта друзей, не лучше ли при современныхъ условіяхъ отложить печатаніе романа? Въ декабрѣ 1861 года вопросъ все еще оставался нерѣшеннымъ. Редакторъ *Русскаго Вѣстника* настойчиво требовалъ романа, Тургеневъ еще не довелъ до конца передѣлокъ. Всѣ эти треволненія должны были жестоко измучить автора. Одиннадцатаго декабря онъ писалъ:

«Судя по охватывающей меня со всѣхъ сторонъ апатіи — это будетъ, вѣроятно, послѣднее произведеніе моего краснорѣчиваго пера. Пора натягивать на себя одѣяло—и спать» [192]).

Несмотря на всѣ препятствія и задержки, романъ появился, наконецъ, въ мартовской книгѣ *Русскаго Вѣстника*.

Впечатлѣніе, произведенное романомъ на публику, было без-

---

[190]) *Письма*, 101.

[191]) Таково сообщеніе Анненкова и оно имѣетъ въ виду, очевидно, болѣе рѣшительныя требованія издателя *Русскаго Вѣстника*, чѣмъ какія удовлетворилъ Тургеневъ смягченіемъ нѣкоторыхъ чертъ. *В. Е.* апр. 1885, 499.

[192]) *В. Е. Ib.* 502.

примѣрное въ русской литературѣ. Предъ нами разсказъ очевидца, крайне враждебно настроеннаго противъ Тургенева, и тѣмъ любопытнѣе подробности разсказа.

«Можно положительно сказать», пишетъ этотъ очевидецъ, «что *Отцы и Дѣти* были прочитаны даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги въ руки». Приводятся слѣдующіе примѣры. Въ одно общество явился генералъ и тотчасъ же заговорилъ о злобѣ дня:

— Признаюсь, я эту дребедень, называемую повѣстями и романами, не читаю, но куда ни придешь—только и разговоровъ что объ этой книжкѣ... стыдятъ, уговариваютъ прочитать... Дѣлать нечего,—прочиталъ...» Дальше слѣдовали восторги по поводу того, что авторъ «ловко ошельмовалъ» молодое поколѣніе, обозвавъ юношей извѣстнаго сорта—«нигилистами».

Это слово, извѣстное въ русской литературѣ задолго до Тургенева [193]), превратилось теперь «въ клеймо позора», по выраженію Тургенева. Оно заключало въ себѣ приговоръ въ нравственной смерти. Нашъ очевидецъ разсказываетъ случай въ одной чиновничьей семьѣ. Глава семьи—старый служака—не поѣхалъ съ праздничными визитами къ знакомымъ, ссылаясь на свой возрастъ. Жена—старуха—пришла въ ужасъ, заподозрила нигилизмъ, обвинила студента-племянника, жившаго въ ея домѣ, будто онъ тлетворно вліяетъ на мужа, и изгнала бѣднаго юношу.

Тотъ же очевидецъ яркими красками описываетъ рознь, будто бы внесенную романомъ во многія семьи: старое и молодое поколѣнія вдругъ оказались въ непримиримо-враждебныхъ отношеніяхъ... Многое, очевидно, здѣсь прикращено фантазіей автора, но сущность факта—потрясающее впечатлѣніе романа на всю грамотную Россію—вполнѣ достовѣрно [194]).

---

[193]) Въ журналѣ *Вѣстникъ Европы* была напечатана *сцена изъ литературнаго балагана* статья Надеждина—*Сонмище нигилистовъ*. (1829 г. Январь). Подъ нигилистами разумѣлись представители новой пушкинской школы, вдохновлявшейся, по мнѣнію критика, слишкомъ ничтожными предметами. «Нашъ литературный *хаосъ*», писалъ Надеждинъ, «осѣняемый мрачною философіею *ничтожества*, разражается *Нулинами*. Множить ли, дѣлить *нули* на *нули*—они всегда останутся *нулями*!»

[194]) Головачева. *Ист. В.* XXXVII, 479.

Тургеневъ въ своей статьѣ говоритъ о «любопытной коллекціи писемъ и прочихъ документовъ», накопившихся у него по поводу романа. «Въ то время», пишетъ онъ, «какъ одни обвиняютъ меня въ оскорбленіи молодого поколѣнія, въ отсталости, въ мракобѣсіи, извѣщаютъ меня, что «съ хохотомъ презрѣнія сжигаютъ мои фотографическія карточки», — другіе, напротивъ, съ негодованіемъ упрекаютъ меня въ низкопоклонствѣ передъ самымъ этимъ молодымъ поколѣніемъ. «Вы ползаете у ногъ Базарова!» восклицаетъ одинъ корреспондентъ: «вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки».

Несомнѣнно, особенный интересъ представляли для Тургенева отзывы писателей-художниковъ. Намъ извѣстно этихъ отзывовъ довольно много, и они, въ свою очередь, доказываютъ, какъ смутно и неопредѣленно было впечатлѣніе лучшихъ читателей-современниковъ.

Прежде всего—Фетъ. Тургеневъ, какъ увидимъ ниже, совершенно не сочувствовалъ художественнымъ взглядамъ этого поэта, но все-таки немедленно по выходѣ романа усердно просилъ его написать свое мнѣніе. Фетъ немедленно исполнилъ желаніе Тургенева. Смыслъ его критики можно видѣть изъ слѣдующаго въ высшей степени любопытнаго письма Тургенева; оно, между прочимъ, касается одного изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ въ области искусства—*тенденціи*.

Тургеневъ пишетъ въ отвѣтъ Фету:

«И такъ, не смотря на всѣ ваши евѳемизмы, *Отцы и Дѣти* вамъ не нравятся. Преклоняю голову, ибо дѣлать тутъ нечего; но хочу сказать нѣсколько словъ въ свою защиту, хотя я знаю, сколь это неблаговидно и напрасно. Вы приписываете всю бѣду *тенденціи*, *рефлексіи*, уму однимъ словомъ. А по настоящему надо просто было сказать — мастерства не хватило. Выходитъ, что я наивнѣе, чѣмъ вы предполагаете. Тенденція! А какая тенденція въ *Отцахъ и Дѣтяхъ*, позвольте спросить? Хотѣлъ ли я обругать Базарова или его превознести? Я *этого самъ не знаю*, ибо не знаю, люблю ли я его или ненавижу! Вотъ тебѣ и тенденція. Катковъ распекалъ меня за то, что Базаровъ у меня вышелъ въ апоѳеозѣ.

Вы упоминаете также о параллелизмѣ; но гдѣ онъ, позвольте спросить, и гдѣ эти *пары*, вѣрующіе и невѣрующіе? Павелъ Петровичъ вѣритъ или не вѣритъ? Я этого не вѣдаю, ибо я въ немъ просто хотѣлъ представить типъ С—ыхъ, Р—овъ и другихъ русскихъ ех-львовъ. Странное дѣло: вы меня упрекаете въ параллелизмѣ, а другіе пишутъ мнѣ: зачѣмъ Анна Сергѣевна не высокая натура, чтобы полнѣе выставить контрастъ ея съ Базаровымъ? Зачѣмъ старики Базаровы не совершенно патріархальны? Зачѣмъ Аркадій пошловатъ и не лучше ли было представить его честнымъ, но мгновенно увлекшимся юношей? Къ чему Ѳеничка и какой можно сдѣлать изъ нея выводъ? Скажу вамъ одно, что я всѣ эти лица рисовалъ, какъ бы я рисовалъ грибы, листья, деревья; намозолили мнѣ глаза, я и принялся чертить. А освобождаться отъ собственныхъ впечатлѣній потому только, что они похожи на тенденціи, было бы странно и смѣшно. Изъ этого я не хочу вывести заключенія, что стало-быть—я молодецъ; напротивъ, то, что можно заключить изъ моихъ словъ, даже обиднѣе для меня: я не то, чтобы перехитрилъ, а не съумѣлъ; но истина прежде всего. А впрочемъ, omnia vanitas» [195]).

Одновременно съ критикой Фета Тургеневъ получилъ такой же неблагопріятный отзывъ отъ Писемскаго: авторъ романа *Тысяча душъ* находилъ, что «лицо Базарова совершенно не удалось».

Но были мнѣнія и другого свойства. Къ защитникамъ романа присоединились Достоевскій и А. Н. Майковъ. Тургеневъ тому и другому отвѣтилъ благодарственными письмами.

Благодаря Достоевскаго, онъ писалъ: «тутъ дѣло не въ удовлетвореніи самолюбія, а въ удостовѣреніи, что ты, стало-быть, не ошибся и не совсѣмъ промахнулся — и трудъ не пропалъ даромъ... Автору трудно почувствовать *тотчасъ*, насколько его мысль воплотилась и вѣрна ли она и овладѣлъ ли онъ ею и т. д. Онъ какъ въ лѣсу въ своемъ собственномъ произведеніи. Вы навѣрное сами испытали это не разъ. И потому еще разъ спасибо».

Письмо къ А. Н. Майкову исполнено горячаго, задушевнаго чувства. Каждая строка свидѣтельствуетъ здѣсь объ искренней радостной признательности.

[195]) Фетъ. I, 395—6.

«Любезнѣйшій Аполлонъ Николаевичъ, скажу вамъ прямо по-мужицки: «Дай вамъ Богъ здоровья за ваше милое и доброе письмо!» Очень вы меня утѣшили. Ни въ одной вещи своей я такъ не сомнѣвался, какъ именно въ этой; отзывы и сужденія людей, которымъ я привыкъ вѣрить, были крайне неблагосклонны; если бы не настоятельныя требованія Каткова — *Отцы и Дѣти* никогда бы не явились. Теперь я могу сказать себѣ, что не могъ же я написать совершенную чепуху, если такіе люди, какъ вы, да Достоевскій, гладятъ меня по головкѣ и говорятъ мнѣ: «хорошо, братецъ, ставимъ тебѣ 4» [196]).

Но такія минуты Тургеневу приходилось рѣдко переживать. Вскорѣ онъ лично испыталъ, какую смуту вызвалъ герой въ умахъ русскихъ читателей. Онъ разсказываетъ о своемъ пріѣздѣ въ Петербургъ по выходѣ романа. Пріѣхалъ онъ въ самый день извѣстныхъ пожаровъ Апраксинскаго двора. Слово *нигилистъ* уже было подхвачено тысячами голосовъ, и первое восклицаніе, вырвавшееся изъ устъ перваго знакомаго, встрѣченнаго Тургеневымъ на Невскомъ, было: «Посмотрите, что *ваши* нигилисты дѣлаютъ! жгутъ Петербургъ!» Немного спустя въ *Кельнской газетѣ* появилась корреспонденція о томъ, что Тургеневъ поджигатель—не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслѣ слова [197]).

Романъ называли памфлетомъ на ненавистныхъ автору критиковъ, между прочимъ, на Добролюбова. Тургеневъ, по его словамъ, получалъ поздравленія, чуть не лобызанія отъ людей противнаго ему лагеря, отъ враговъ. Совѣсть художника оставалась спокойной: онъ «хорошо зналъ», что «честно и не только безъ предубѣжденія, но даже съ сочувствіемъ отнесся къ выведенному типу».

Это сочувствіе для Тургенева безусловный фактъ. Если Фету онъ заявлялъ—о неясности своихъ настроеній относительно Базарова, — это заявленіе слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что авторъ отнюдь не стремился своего отношенія къ Базарову навязывать читателямъ, *какъ человѣкъ* онъ отлично зналъ, любитъ онъ

---

196) *Письма.* 100, 102.

197) *Русск, Ст.* XL, 315.

или ненавидитъ Базарова, *какъ писатель-художникъ*—онъ предоставилъ рѣшеніе вопроса своему таланту и самой публикѣ. Другими словами Тургеневъ-авторъ не зналъ, удалось ли ему вызвать у читателей любовь или ненависть къ его герою. Отсюда постоянныя сознанія Ивана Сергѣевича въ безсиліи своего художественнаго творчества, въ неясности Базарова, какъ типа, какъ общественнаго явленія извѣстной эпохи.

Тургеневу оставалось свой личный взглядъ прямо открыть и разъяснить публикѣ.

Немедленно послѣ выхода въ свѣтъ романа Тургеневу сообщали, какое бурное впечатлѣніе произвели *Отцы и Дѣти* на русскихъ студентовъ въ гейдельбергскомъ университетѣ. Молодежь вообще оказалась на сторонѣ хулителей романа, и преимущественно студенты. Тургеневъ счелъ нужнымъ подробно отвѣтить на упреки гейдельбергскихъ студентовъ; «мнѣніемъ молодежи нельзя не дорожить», писалъ онъ, «я бы очень желалъ, чтобъ не было недоразумѣній на счетъ моихъ намѣреній».

Въ письмѣ отъ 14 апрѣля точно и ясно высказаны основныя идеи романа. На этотъ разъ Тургеневъ открыто становится на сторону новаго героя: «Я хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое—тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до мозга костей». Все это, несомнѣнно, *хорошія* стороны. «*Вся моя повѣсть*», пишетъ авторъ, «*направлена противъ дворянства, какъ передоваго класса*». Вглядитесь въ лица Н. П. (Николая Петровича Кирсанова), П. П., Аркадія. Слабость и вялость или ограниченность». Дуэль, по замыслу автора, должна особенно ярко освѣтить «пустоту элегантно-дворянскаго рыцарства, выставленнаго почти преувеличенно-комически».

Нѣсколько дней спустя Тургеневъ писалъ въ томъ же смыслѣ Герцену, присоединившему свой голосъ къ нападкамъ молодежи на романъ.

«Немедленно отвѣчаю на твое письмо, не для того, чтобы защищаться, а чтобы благодарить тебя и въ тоже время заявить, что при сочиненіи Базарова я не только не сердился на него, но чувствовалъ къ нему «влеченіе, родъ недуга»... Еще бы онъ не подавилъ собою «человѣка съ душистыми усами» и другихъ! Это—

*

торжество демократизма надъ аристократіей. Положа руку на сердце, я не чувствую себя виновнымъ передъ Базаровымъ и не могъ придать ему ненужной сладости. Если его не любятъ, какъ онъ есть, со всѣмъ его безобразіемъ, значитъ я виноватъ и не сумѣлъ сладить съ избраннымъ мною типомъ. Штука была бы не важная представить его идеаломъ; а сдѣлать его волкомъ и все-таки оправдать его,—это было трудно; и въ этомъ я, вѣроятно, не успѣлъ; но я хочу только отклонить нареканіе въ раздраженіи противъ него. Мнѣ, напротивъ, сдается, что противное раздраженію чувство свѣтится во всемъ, въ его смерти и т. д.» [198]).

Тургеневу приходилось объяснять самыя, повидимому, простыя положенія въ романѣ, напримѣръ,—доказывать, что Одинцова одинаково *не влюбляется* ни въ Аркадія, ни въ Базарова. Врядъ ли нынѣшній толковый читатель способенъ впасть въ такія заблужденія, какія на каждомъ шагу обнаруживали современники Тургенева. Одинцова, по словамъ автора, только дополняетъ сатиру на дворянство: «это тоже представительница нашихъ праздныхъ, мечтающихъ, любопытныхъ и холодныхъ барынь-эпикуреекъ, нашихъ дворянокъ».

Молодые люди недовольны были развязкой романа, *случайной*, будто бы, смертью Базарова. По замыслу автора — она «должна была положить послѣднюю черту на его трагическую фигуру».

Письмо отъ 14-го апрѣля оканчивается слѣдующими искренними, энергическими словами:

«Если читатель не *полюбитъ* Базарова со всею его грубостью, безсердечностью, безжалостной сухостью и рѣзкостью—если онъ его не полюбитъ, повторяю я—я виноватъ и не достигъ своей цѣли. Но разсыропиться, говоря его словами, я не хотѣлъ, хотя черезъ это я бы, вѣроятно, тотчасъ имѣлъ молодыхъ людей на моей сторонѣ. Я не хотѣлъ покупаться за популярность такого рода уступками. Лучше проиграть сраженіе (и, кажется, я его проигралъ), чѣмъ выиграть его уловкой. Мнѣ мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная, честная и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-

[198]) Письмо помѣчено—*Парижъ. Rue de Rivoli 210, 28 апр. 1862.*

таки стоитъ еще въ преддверіи будущаго—мнѣ мечтался какой-то страшный pendant съ Пугачевымъ и т. д.,—а мои молодые современники говорятъ мнѣ, качая головами: «ты, братецъ, опростоволосился и даже насъ обидѣлъ; вотъ Аркадій у тебя почище вышелъ—напрасно ты надъ нимъ еще не потрудился». Мнѣ остается сдѣлать какъ въ цыганской пѣснѣ: «снять шапку, да пониже поклониться».

Мы до сихъ поръ приводили только впечатлѣнія и мнѣнія читателей,—обыкновенной публики и журналистовъ, не занимавшихся спеціально литературной критикой. Но эти отзывы съ изумительной точностью предвосхитили основную точку зрѣнія и даже многія идеи профессіональныхъ судей художественнаго творчества.

Эта основная точка въ высшей степени оригинальна и въ русской литературѣ обнаружилась съ такой всепоглощающей силой только въ первый разъ, по поводу тургеневскаго романа. Фактъ какъ нельзя болѣе краснорѣчиво свидѣтельствовалъ объ общественномъ значеніи романа, но въ то же время самого автора ставилъ въ самое мучительное положеніе, такъ какъ критика превращалась въ энергическое слѣдствіе надъ его личностью и совѣстью.

Для Тургенева такой оборотъ былъ не новостью. Но личныя нападки въ эпоху *Рудина* не идутъ ни въ какое сравненіе съ жестокой войной, возбужденной *Отцами и Дѣтьми.*

Что же собственно волновало страсти и вызывало подчасъ самыя странныя соображенія на счетъ авторскихъ цѣлей и идей?

Не романъ, какъ бы талантливо и художественно онъ ни былъ выполненъ, не сама исторія, разсказанная съ великимъ искусствомъ,—однимъ словомъ, не та сторона произведенія, которая навсегда останется лучшимъ достояніемъ русской литературы.

Интересъ читателей и критиковъ сосредоточился исключительно на *одномъ героѣ* романа, на *одной личности.* Ради нея забыли о цѣломъ, забыли о неподражаемомъ творчествѣ автора, забыли о всей его литературной дѣятельности. Одинъ образъ, созданный имъ, поглотилъ все общественное вниманіе.

Были подвергнуты тщательному изслѣдованію мельчайшія подробности, характеризующія героя, взвѣшено каждое его слово, каждое его дѣйствіе. Происходилъ въ полномъ смыслѣ судъ, не-

посредственно отражавшійся на самомъ авторѣ,—судъ безпощадный, часто жестокій и всегда придирчивый.

Читатели и критики во что бы то ни стало рѣшили добиться опредѣленнаго представленія на счетъ *доктрины*, *міросозерцанія* автора. И нескончаемые анатомическіе опыты надъ главнымъ героемъ романа казались самымъ надежнымъ рѣшеніемъ вопроса.

Рѣдко люди съ такимъ пристальнымъ вниманіемъ слѣдили и слѣдятъ за реальной личностью. Созданіе художника силой своего вліянія на умы превзошло всякую дѣйствительность.

И это впечатлѣніе осталось на долгіе годы.

Оно, повидимому, обладаетъ даже свойствомъ по временамъ оживать съ былой свѣжестью и съ былою мощью волновать страсти...

Но уже десятки лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ эпохи, кипѣвшей всевозможными общественными, политическими и нравственными вопросами, создавшей особаго рода литературу — воинственную и горячую, литературу стремительной критики и неутомимыхъ поисковъ нравственной правды и общественнаго блага. Намъ теперь многое чуждо и странно въ этой словесной бурѣ, разыгравшейся изъ-за Базарова. Насъ прежде всего поражаетъ запальчивость враждебныхъ вылазокъ противъ автора, несмотря ни на какія объясненія съ его стороны.

Откройте главнѣйшія журналы за шестидесятые годы, и вы будете поражены явленіемъ, совершенно необыкновеннымъ не только у насъ, но и во всей Европѣ. Громкая борьба романтизма съ классицизмомъ и позже натурализма съ романтизмомъ — простыя семейныя ссоры сравнительно съ критическими статьями объ *Отцахъ и Дѣтяхъ*. Тамъ было, по крайней мѣрѣ, ясно, какой писатель и какой органъ стоятъ за ту или другую литературную школу, т.-е. тамъ были *партіи*, два опредѣленныхъ лагеря. Ничего подобнаго въ русской журналистикѣ. Здѣсь партіей оказался единолично *авторъ*, а *печать* самыхъ разнообразныхъ направленій составила ему оппозицію.

Если *Дворянское гнѣздо* объединило враговъ и друзей Тургенева въ общемъ чувствѣ признательности и даже восторга, *Отцы и Дѣти* оказались мостомъ, гдѣ сошлись *Отечественныя Записки* и *Современникъ* въ единодушномъ натискѣ на творца Базарова.

Трудно сказать, какому журналу отдать пальму первенства за бранчивый азартъ смертнаго приговора тургеневскому роману.

Отечественныя Записки заявляли, что «авторъ лишенъ всякой умственной подготовки въ выполненіи цѣли романа», а цѣль эта, по толкованію критика,—«показать, что философія дѣтей противна человѣческой природѣ и потому не можетъ быть примѣнима къ жизни». Тургеневъ, оказывалось, «не только не имѣетъ никакого понятія о системѣ новой положительной философіи, но и о старыхъ, идеалистическихъ системахъ имѣетъ понятія самыя поверхностныя, ребяческія».

Вся критика изложена въ подобномъ тонѣ, причемъ «сумбурныя разсужденія о молодомъ поколѣніи» — самая мягкая оцѣнка тургеневскихъ діалоговъ, а отрицаніе у автора всякихъ «наблюденій надъ живою дѣйствительностью» — самое милостивое сужденіе. Весь романъ—сплошной вымыселъ и клевета на философію и молодое русское поколѣніе.

Какія же доказательства у критика?

Прежде всего, Тургеневъ критическое отношеніе «ко всему» смѣшалъ съ безпринципностью, съ нигилизмомъ. Базаровъ—клевета на молодежь, потому что онъ отрицаетъ «честность», идетъ противъ «человѣческой природы», между тѣмъ какъ, по наблюденіямъ критика, русская молодежь «не только не отрицаетъ честности, а напротивъ того, шагу не можетъ ступить безъ того, чтобы разъ двадцать не повторить этого слова при всякомъ удобномъ случаѣ».

Очевидно, Тургеневъ вообще противъ «критической точки зрѣнія», вполнѣ на сторонѣ «отцовъ» и въ критикѣ существующаго видитъ одинъ лишь нигилизмъ, т.-е. извращеніе нравственныхъ и естественныхъ основъ человѣческой жизни. Павелъ Петровичъ Кирсановъ—двойникъ автора романа и авторъ статьи въ *Отечественныхъ Запискахъ* громитъ этого господина въ полной увѣренности, что своими ударами уничтожаетъ Тургенева.

Откуда, спросите вы, этотъ авторъ узналъ, будто Тургеневъ говоритъ устами Павла Кирсанова? Всякій, умѣющій читать, отнюдь не увидитъ этого героя на идеальной высотѣ. Напротивъ, добродушная, отчасти сострадательная иронія—выражаетъ истин-

ныя чувства автора къ «a perfect gentleman'y», сраженному на смерть рыцарю «сфинкса» въ лицѣ чужой жены, княгини Р., накрахмаленному ритору на темы — «принсиповъ» и «bien public». «Принсипы» Кирсанова будто Тургеневъ признаетъ самыми совершенными принципами: критикъ въ этомъ убѣжденъ и произноситъ такой приговоръ автору романа: «Вообще, производя нигилизмъ отъ латинскаго слова nihil, т.-е. ничего, гораздо было бы правильнѣе назвать нигилистами людей, у которыхъ нѣтъ въ головѣ ни одной мысли, провѣренной собственной критикой, кромѣ принятыхъ на вѣру кирсановскихъ принциповъ».

Слѣдовательно, авторъ *Записокъ охотника* и *Дворянскаго гнѣзда* рекомендовался публикѣ въ качествѣ слабоумнаго пасквилянта на всякій протестъ, на всякую критическую мысль, обзывался попугаемъ барскихъ тунеядныхъ традицій, авторомъ практически-безсмысленнаго, «апріоричнаго» романа, гдѣ главный герой ведетъ войну противъ честности и какихъ бы то ни было принциповъ, т.-е. является готовымъ нарушителемъ всякихъ божескихъ и человѣческихъ законовъ... И всѣ эти обвиненія изрекались во имя «критической точки зрѣнія», во имя благороднаго молодого поколѣнія, т. е. во имя свободы мысли и общественнаго прогресса.

Трудно повѣрить, чтобы разгнѣванный критикъ *Отечественныхъ Записокъ* отдавалъ себѣ отчетъ въ своихъ словахъ, въ моментъ писанія статьи владѣлъ хотя бы самой поверхностной «критической точкой зрѣнія» на процессъ собственныхъ мыслей. Иначе было бы прямо чудовищнымъ и невѣроятнымъ такое забвеніе общественныхъ и художественныхъ заслугъ писателя, такое легкомысленное и злобное отношеніе къ смыслу его произведенія, взволновавшаго всю грамотную Россію.

Критикъ *Современника* свою статью написалъ раньше критика *Отечественныхъ Записокъ* и имѣлъ полное право — считать себя вдохновителемъ своего коллеги: такъ много общаго въ обѣихъ статьяхъ. То же основное обвиненіе—въ клеветѣ на дѣтей, въ сочувствіи «пустому фату»—Павлу Кирсанову, въ «странныхъ разсужденіяхъ». Новаго для насъ въ статьѣ *Современника* развѣ только—признаніе «таланта» и «прежнихъ заслугъ» Тургенева,—что, впрочемъ, не помѣшало критику признать *Отцовъ и Дѣтей* романомъ,

въ художественномъ отношеніи» «совершенно неудовлетворительными».

И здѣсь, очевидно, смертный приговоръ постигъ автора, какъ художника и какъ публициста. Приговоръ даже усиленный, такъ какъ *Современникъ* къ числу оклеветанныхъ Тургеневымъ «дѣтей» причислилъ «значительную часть современной литературы, такъ называемое ея отрицательное направленіе».

Это замѣчаніе бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на «судороги» критиковъ, какъ выражался *Русскій Вѣстникъ*. Критики-отрицатели усмотрѣли въ романѣ личную сатиру на себя, отождествили себя съ Базаровымъ и потребовали отъ автора полнаго апоѳеоза для этого героя. «Мы не нигилисты,—вопіяли *Современникъ* и *Отечественныя Записки*,—мы только «отрицатели», сторонники «критической точки зрѣнія»,—зачѣмъ же авторъ обвиняетъ насъ въ безпринципности и нечестности?..

Въ настоящее время такой ходъ идей можетъ казаться патологическимъ продуктомъ воспаленнаго мозга и разбитыхъ нервовъ. Но для современниковъ романа достаточно было нѣсколькихъ неясныхъ сомнительныхъ чертъ, чтобы очертя голову броситься въ ту или другую крайность. Это было время публицистики по преимуществу, рѣзкой постановки общественныхъ вопросовъ и еще болѣе рѣзкихъ отвѣтовъ. Для психологическаго анализа разносторонняго художественнаго явленія у журналистовъ не было ни времени, ни охоты, ни силъ.

Великія реформы глубоко взволновали жизнь и мысль,—и всѣ, кому было дорого настоящее и будущее родины, невольно спѣшили рѣшать насущныя задачи личной и общественной дѣятельности. Быстрота рѣшенія рѣдко идетъ рядомъ съ вдумчивостью, осторожностью и терпимостью къ чужимъ воззрѣніямъ. Этимъ объясняется исключительно горячій и категорическій тонъ журнальной литературы шестидесятыхъ годовъ. Русская публицистика переживала своего рода медовый мѣсяцъ, и ея нетерпѣливыя, часто необыкновенно запальчивыя рѣчи, по духу и смыслу, напоминаютъ извѣстныя слова Натана о благородномъ Саладинѣ:

Онъ правды требуетъ, онъ хочетъ правды!
Притомъ наличной, ясной, какъ монета...

Такое требованіе не хочетъ знать ни оговорокъ, ни ограниченій, — и естественно, сложная личность Базарова, богатая одинаково и положительными, и отрицательными чертами, не могла удовлетворить прямолинейной стремительности критиковъ-публицистовъ. Ихъ запросы клонились только къ двумъ отвѣтамъ—*да* или *нѣтъ*, и если Базаровъ представитель молодого поколѣнія — онъ можетъ быть или воплощеннымъ идеаломъ, или отребьемъ человѣческаго рода. Въ первомъ случаѣ автора ожидали вѣнки и восторженные клики, во второмъ—нещадная месть и слѣпая хула.

Всѣ эти соображенія могутъ объяснить заблужденія критиковъ на счетъ положительнаго смысла базаровскаго типа, но трудно объяснить и оправдть забвеніе нѣкоторыми критиками всей предыдущей дѣятельности писателя, сплошное поношеніе его нравственнаго и общественнаго развитія. Врядъ ли какіе «годы» прикроютъ своимъ страстнымъ характеромъ такую вопіющую несправедливость, такое отсутствіе элементарной культурности и гражданскаго чувства.

Указанный нами источникъ опрометчивыхъ сужденій о тургеневскомъ романѣ особенно краснорѣчиво обнаружился въ статьѣ Писарева, выступившаго также застрѣльщикомъ молодого поколѣнія.

Писареву не трудно было избѣжать недоразумѣній своихъ товарищей: для этого требовался только нѣкоторый психологическій анализъ и нѣкоторая критическая чуткость. Но и онъ не могъ отдѣлаться отъ выспренняго идеалистическаго взгляда на Базарова, какъ представителя современной молодежи.

Положительныя, нерѣдко сильныя и даже блестящія черты базаровскаго характера и базаровской роли бросились Писареву съ перваго взгляда. Онъ понялъ тургеневскаго героя почти такъ, какъ его понималъ самъ авторъ. По мнѣнію критика, «смыслъ романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности; но въ самыхъ увлеченіяхъ оказывается свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ даютъ себя знать въ минуту тяжелыхъ испытаній; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержатъ ихъ въ жизни».

Критикъ находитъ, что Тургеневъ лучше всѣхъ молодыхъ реалистовъ понялъ типъ Базарова и заслуживаетъ «глубокой и горячей признательности», какъ «великій художникъ и честный гражданинъ Россіи».

Но для Писарева мало, чтобы Базаровъ съ честью представлялъ молодое поколѣніе, необходимо, чтобы онъ являлся совершенствомъ всюду,—и въ демократической толпѣ, и въ салонномъ обществѣ. На самомъ же дѣлѣ Базаровъ не только не заботится о манерахъ и хорошемъ тонѣ, — напротивъ, при всякомъ случаѣ обнаруживаетъ къ нимъ глубочайшее пренебреженіе. Онъ — mal élévé и mauvais ton.

Это и безпокоитъ Писарева. Онъ хотѣлъ бы видѣть Базарова «совершеннымъ джентльмэномъ», съ утонченной вѣжливостью и въ щегольскомъ костюмѣ. Критикъ даже упрекаетъ Тургенева въ несправедливости къ Базарову...

Легко оцѣнить достоинство подобныхъ упрековъ. Но при всей наивности они краснорѣчиво характеризуютъ направленіе критиковъ шестидесятыхъ годовъ и только принявъ въ разсчетъ эту логику фанатическихъ защитниковъ молодого поколѣнія, можно объяснить драматическую судьбу Базарова именно у самыхъ либеральныхъ судей.

Нѣкоторые взгляды этихъ судей были опровергнуты въ эпоху тѣхъ же шестидесятыхъ годовъ. Врядъ ли многіе могли раздѣлять, напримѣръ, негодованіе критика *Современника* на Базарова, какъ на «ужасное существо, просто дьявола, или, выражаясь болѣе поэтически, Асмодея», одинаково жестокаго и къ своимъ родителямъ, и къ лягушкамъ... Нелѣпость подобныхъ разсужденій могла укрыться только отъ читателей исключительнаго критическаго смысла и художественнаго чувства... Но поставить вопросъ на общественную и психологическую почву оказывалось невозможнымъ даже для сравнительно спокойныхъ судей. Журналъ, напечатавшій романъ, мы видѣли, не могъ спастись отъ *личной* точки зрѣнія на Базарова, хотя и защищалъ художественныя достоинства романа.

Въ настоящее время чувства, волновавшія «отрицательную» и всякую другую литературу шестидесятыхъ годовъ, отошли въ об-

ласть исторіи. Мы можемъ судить о тургеневскихъ герояхъ, не поддаваясь «страсти и гнѣву». Наше сочувствіе или противоположное настроеніе не могутъ увлечь насъ на мелодраматическую высоту, съ которой смотрѣли на Базарова «молодые философы» прошлаго. Мы и останемся исключительно на почвѣ русской общественной исторіи.

IX.

Тургеневскіе романы представляютъ въ сущности полную художественную исторію русскаго общества въ теченіе трехъ поколѣній. Одинъ изъ нихъ называется *Отцы и Дѣти*, явно указывая на смѣну эпохъ. Всѣ произведенія нашего писателя можно бы озаглавить *Дѣды*, *отцы и дѣти*, потому что для всѣхъ *трехъ поколѣній* Тургеневъ представилъ и біографіи и характеристики.

Старшее поколѣніе не требовало особенныхъ усилій таланта. Это крѣпостники, натуры цѣльныя и одностороннія. Европейская культура не вносила разлада въ ихъ душевный міръ и практическую дѣятельность,—все равно, была ли это чувствительность въ духѣ Стерна или либерализмъ по катихизису энциклопедистовъ.

Русскіе «чувствительные путешественники», вродѣ Карамзина, могли свободно воспѣвать «счастливыхъ швейцаровъ», рисовать идиллическіе жанры съ «прекрасными поселянками» и «естественными» поселянами, и въ то же время продавать и промѣнивать «людей» обоего пола. Въ томъ же духѣ и чисто-національная исторія русскаго Мирабо...

Европейская цивилизація не только не смягчала нравы типичныхъ «дѣдовъ», напротивъ, давала имъ лишній поводъ презирать народъ, какъ *canaille misérable*, человѣчество низшей породы, на вѣки лишенное благъ утонченной культуры.

По русской сценѣ прошли дѣтища всякихъ европейскихъ культуръ,—галломаны, англоманы, и всѣ они съ изумительной легкостью французскія идеи и англійскую складку мирили съ вѣковыми завѣтами крѣпостнаго строя. Поэтъ Сумароковъ, серьезно считавшій себя россійскимъ Вольтеромъ, жестоко возмущался гуманными взглядами екатерининскаго наказа на крѣпостныхъ мужи-

ковъ и заявлялъ: «нашъ низкій народъ никакихъ благородныхъ чувствій не имѣетъ».

Сумароковская философія — рѣшающій фактъ въ исторіи русскаго барскаго либерализма. Тургеневъ съ самаго начала своей литературной дѣятельности, представилъ типъ крѣпостника-деспота съ тонкими вкусами, Аркадія Павлыча Пѣночкина. «Невѣжество, mon cher», объяснялъ этотъ господинъ свое варварское управленіе мужиками. Онъ также выписывалъ французскія книги и газеты. Какое значеніе имѣли всѣ эти сокровища для русскихъ «мановъ», Тургеневъ подробно объяснилъ въ романѣ *Дворянское гнѣздо*.

Барскіе помѣщичьи дома кишѣли французскими учителями. Среди нихъ нерѣдко попадался «отставной аббатъ и энциклопедистъ». Понималъ онъ свое дѣло весьма просто. Вотъ, напримѣръ, что произошло съ «дѣдомъ» Лаврецкимъ. «Энциклопедистъ» удовольствовался тѣмъ, что влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника всю мудрость XVIII-го вѣка, и онъ такъ и ходилъ наполненный ею; она пребывала въ немъ, не смѣшавшись съ его кровью, не проникнувъ въ его душу, не сказавшись крѣпкимъ убѣжденіемъ».

Изъ такого вольтерьянца могло выйти все, что угодно: изъ Ивана Петровича вышелъ «англоманъ», горячій сторонникъ «коренныхъ преобразованій», но самодуръ и деспотъ въ самомъ откровенномъ смыслѣ слова, преисполненный презрѣнія къ «согражданамъ», оградившій свою высокоцивилизованную особу цѣлой стѣной хамовъ высшаго ранга — отъ мужиковъ.

Сынъ его долженъ одновременно усвоивать идеи Руссо и изучать геральдику, «для поддержанія рыцарскихъ чувствъ». Этотъ сынъ, въ то же время, замѣчаетъ «разладицу между словами и дѣлами отца, между его широкими либеральными теоріями и черствымъ, мелкимъ деспотизмомъ». Все это не мѣшаетъ «англоману» «вывихивать» свое дѣтище уродливой системой воспитанія и создавать продуктъ, завѣдомо искусственный, неприспособленный ни къ какой осмысленной жизни. «Англоманія» подъ старость разрѣшается ханжествомъ, плаксивыми капризами, слабоуміемъ и тряпичностью,—весьма обычное заключеніе вольтерьянскаго либерализма русскихъ «дѣдовъ». Но чудовищное вліяніе «дѣдовскихъ»

порядковъ должно было въ высшей степени печально отразиться на слѣдующемъ поколѣніи.

Это поколѣніе—тургеневскіе «отцы».

Въ первый разъ оно появляется на сценѣ въ лицѣ Лаврецкаго. Потомъ къ нему присоединяются братья Кирсановы. Въ каждой изъ этихъ личностей можно открыть индивидуальныя особенности. Павелъ Кирсановъ, на первый взглядъ даже, пожалуй, имѣетъ мало общаго съ Лаврецкимъ. Но стоитъ приглядѣтся пристальнѣе, и во всей яркости выступятъ *родовыя черты*, объединяющія всѣхъ названныхъ героевъ въ одинъ типъ.

Прежде всего былая цѣльность крѣпостнической натуры утрачена безвозвратно. «Отцы» уже въ дѣтствѣ замѣчали слабыя стороны теоріи и практики «дѣдовъ», и по самому теченію русской жизни теоріи должны были возобладать надъ практикой.

Сыну Ивана Лаврецкаго оказалось затруднительнымъ энциклопедію мирить съ конюшней и Жанъ-Жака съ бурмистромъ. Отечественная война главнѣйшій моментъ въ исторіи разлада вѣковыхъ преданій съ европейской культурой. Къ этой эпохѣ слѣдуетъ отнести первый горячій взрывъ борьбы поколѣній. Онъ увѣковѣченъ въ грибоѣдовской комедіи и, несомнѣнно, безпрестанно обнаруживался во всѣхъ концахъ нашего отечества, во всѣхъ слояхъ русскаго общества.

Въ то время, когда всѣ «дѣды» изумительно походили другъ на друга,—все равно, воспитывали ихъ отставные энциклопедисты или содержатели нѣмецкихъ пансіоновъ,—среди «отцовъ» обнаружилось большое разнообразіе физіономій. Старинная цѣльность русскаго дворянскаго типа исчезла, и русская натура немедленно проявила самыя разнообразныя нравственныя и психологическія черты.

Намъ извѣстны главнѣйшія изъ этихъ чертъ. Литература воплотила ихъ въ блестящихъ, часто геніальныхъ образахъ. Здѣсь и разочарованная жертва чаши наслажденій, осушенной до дна, въ родѣ Онѣгина, здѣсь и благородный идеалистъ въ родѣ Чацкаго, здѣсь и цѣлая толпа неудавшихся практическихъ дѣятелей, безпомощныхъ «лишнихъ людей», мучениковъ нѣжнаго сердца и гамлетовской рефлексіи.

Отсюда и Тургеневъ взялъ своихъ «отцовъ», и превосходно

воспроизвелъ ихъ внутренній міръ, съ которымъ слѣдующему поколѣнію предстояло вести жесточайшую борьбу.

Базаровъ, одинъ изъ самыхъ сильныхъ «дѣтей», очень любитъ употреблять слово романтизмъ, говоря объ «отцахъ»,—обзываетъ ихъ сплошь «старенькими романтиками». Эти выраженія въ высшей степени мѣтко выражаютъ смыслъ общественнаго явленія.

Крѣпостническій періодъ, по цѣльности и традиціонной устойчивости, справедливо слѣдуетъ признать «классическимъ»,—смѣнившая его полоса «романтична» отъ начала до конца.

Романтизмъ въ базаровскомъ смыслѣ—до болѣзненности развитое воображеніе, тщательно взлелѣянная чувствительность сердца и непроницаемая туманность жизненныхъ воззрѣній и программъ.

Припомните личности и біографіи отцовъ,—всѣ эти свойства воскреснутъ предъ вами въ поразительной полнотѣ.

Прежде всего, «отцы», какъ первые положительные представители европейской культуры на русской почвѣ, усвоили первичные, элементарнѣйшіе признаки цивилизованнаго человѣка—художественныя наклонности и романическія сердечныя страсти. «Дѣды», несомнѣнно, понимали въ комфортѣ и разныхъ искусствахъ, особенно театральномъ, умѣли съ честью провести и любовную интрижку, но все это не захватывало ихъ души, оставалось только предметомъ барской прихоти и барскаго разгула. У «отцовъ» организація несравненно тоньше и нервнѣе. Для нихъ эстетика и любовь—вопросы дѣйствительно внутренней жизни, часто глубокихъ волненій. Они—художники и рыцари въ истинномъ смыслѣ слова.

У каждаго изъ «отцовъ» непремѣнно имѣется интересный романъ, не пошлое приключеніе полноправнаго барина, а исторія съ трогательнымъ, нерѣдко драматическимъ содержаніемъ. Припомните разсказъ о страсти Павла Кирсанова къ г-жѣ Р., повѣсть о сватовствѣ и брачной жизни Николая, его отношенія къ Фенѣ, біографію Лаврецкаго... Всюду женщина на первомъ планѣ и женщина не раба, не игрушка, какъ это было при «дѣдахъ», а настоящая героиня или подруга. Сравните положеніе Маланьи у Ивана Лаврецкаго и роль Фени въ домѣ Кирсанова. Обѣ женщины— крестьянки, крѣпостныя, но въ то время, какъ Маланья для своего мужа, для «дѣда», существо безличное, не мать своего

ребенка, у Фени Кирсановъ цѣлуетъ руку, не думаетъ, конечно, отнимать у нея ея дѣтище и безконечно счастливъ мыслью жениться на ней. Это громадный шагъ по пути гуманности и культуры.

Другая черта—эстетика. У «дѣда» Дидро, Вольтеръ, Жанъ-Жакъ «сидѣли въ одной только головѣ», не проникали «въ его душу», на «отцовъ» литература производитъ потрясающее впечатлѣніе, и не только иностранная. Они съ Шиллеромъ залетаютъ въ небеса, но многіе не разстаются и съ Пушкинымъ. У каждаго изъ «отцовъ» лучшіе и важнѣйшіе моменты жизни непремѣнно сливаются съ художественными впечатлѣніями. Кирсановъ изливаетъ свою меланхолію въ звукахъ віолончели, Лаврецкій преклоняется предъ Мочаловымъ и именно въ театрѣ, охваченный эстетическимъ волненіемъ, влюбляется въ свою будущую жену. Сначала онъ пораженъ силой ея впечатлѣній въ патетическомъ мѣстѣ драмы, потомъ окончательно покоренъ ея «женско-проницательными замѣчаніями на счетъ игры» Мочалова...

А между тѣмъ, это «спартанецъ», топорный человѣкъ, плебейской крови... Какихъ же предѣловъ достигали этетическія волненія у другихъ «отцовъ», менѣе закаленныхъ физически?

Предѣловъ настоящей драмы.

Всѣ «отцы» герои интересныхъ романовъ; но этого мало: они большею частью побѣжденные герои, жертвы своихъ благородныхъ страстей.

Женская любовь имѣетъ для нихъ роковое значеніе. Они, какъ истинные романтики, всецѣло отдаютъ себя такъ называемому «счастью», и если это счастье разбивается злой судьбой, —для нихъ все кончено, дальше жизни нѣтъ.

«Отецъ» можетъ и не облекаться преднамѣренно въ гарольдовъ плащъ, не пугать дѣвицъ мрачными взорами и блѣднымъ лицомъ, но сердце его, все равно, будетъ глодать червь неудовлетвореннаго или обездоленнаго любовнаго чувства.

«Отцу» не справиться съ обидой, онъ обязательно «разочарованный», разъ потерпѣлъ неудачу на поприщѣ романа.

Базаровъ отмѣчаетъ эту черту по поводу Павла Кирсанова:

«Человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до

того, что ни на что не сталъ способенъ, этакій человѣкъ — не мужчина, не самецъ».

Послѣднее выраженіе Базаровъ прибавляетъ по своему пристрастію къ «естественному» языку: смыслъ драмы Павла Петровича ясенъ и безъ «самца». И этотъ смыслъ удѣлъ вообще отцовскихъ исторій.

Романъ Лаврецкаго еще болѣе краснорѣчивый примѣръ.

Тургеневъ съ большими подробностями описалъ муки этого героя послѣ измѣны жены,—и этимъ мукамъ не суждено было прекратиться. Самъ Лаврецкій сознаётъ основную драму своей жизни.

«На женскую любовь ушли мои лучшіе года». И онъ до конца не въ силахъ стряхнуть съ себя нравственный гнетъ, созданный преступленіемъ жены. Варвара Павловна для него своего рода судьба, неотвратимый рокъ, по произволу управляющій его горемъ и радостями. Если она исчезаетъ съ горизонта, Лаврецкій оживаетъ для новой любви, для новаго «неземнаго существа», по выраженію Михалевича. Сердечныя вожделѣнія занимаютъ неизмѣнно первое мѣсто въ жизни Лаврецкаго, и онъ или апатиченъ, или прямо несчастливъ и немощенъ, если нѣтъ пищи его романическому чувству. На эту черту указываетъ тотъ же Михалевичъ.

Естественно, всѣ другія задачи играютъ второстепенную роль. Для «отца», гуманнаго, просвѣщеннаго такихъ задачъ не мало— наука, народъ. Лаврецкій въ самый разгаръ семейнаго счастья погружается въ книги и лекціи. Его не покидаетъ мысль о родинѣ, о крестьянахъ. Онъ, несомнѣнно, преисполненъ всякихъ благихъ намѣреній.

Но если вы спросите, въ чемъ собственно заключаются эти намѣренія, вы сейчасъ же поймете, что значитъ романтическая наука и романтическій интересъ къ народу. Это—благородныя чувства, радостныя ощущенія,—и ни одной ясной, опредѣленной идеи. Это только «порывы», и чѣмъ они стремительнѣе и возвышеннѣе, тѣмъ отъ нихъ дальше до настоящаго сознательнаго дѣла. Это мечты, а не думы.

Авторъ совершенно кстати замѣчаетъ, что Лаврецкій врядъ ли ясно сознавалъ, «въ чемъ собственно состояло дѣло», т. е. не зналъ,

къ чему и какъ примѣнить въ Россіи свои свѣдѣнія по англійскому языку и ирригаціи.

Но этотъ туманъ отнюдь не мѣшаетъ Лаврецкому весьма дѣльно защищать «народную правду» и питать истинно-отеческія чувства къ крѣпостнымъ. Все несчастье заключается въ поэтическомъ характерѣ защиты и чувствъ, въ недостаткѣ положительнаго знанія народной жизни и народной души.

Въ такомъ же положеніи и братья Кирсановы. Величайшая драма Лаврецкаго заключалась въ томъ, что его на всю жизнь загипнотизировала красивая женщина, —величайшимъ заблужденіемъ Кирсановыхъ было убѣжденіе, что эстетика и женщина краеугольные камни цивилизаціи и общественной жизни. Павелъ Кирсановъ съ азартомъ защищаетъ цивилизаторское значеніе тапёра, а Николай убѣжденъ, что у его брата «орлиный взглядъ» и онъ превосходно знаетъ людей только потому, что пережилъ романъ съ таинственной княгиней Р. Легко представить, въ какомъ положеніи оказываются эти орлы предъ лицомъ дѣйствительной жизни, предъ тѣми же «людьми».

Павелъ горячо защищаетъ исконныя добродѣтели русскаго мужика, его бытъ, общину, семью, Николай съ особеннымъ наслажденіемъ толкуетъ объ эмансипаціи, о комитетахъ, о депутатахъ,— и все-таки подлинный мужикъ и подлинная мужицкая жизнь имъ неизвѣстны и совершенно недоступны.

Базаровъ бросаетъ Павлу Кирсанову жесткое, но неопровержимое слово:

«Спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ,— въ васъ или во мнѣ—онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете».

И мы видимъ это на фактахъ, на «случаяхъ фермерской жизни» братьевъ Кирсановыхъ и на отношеніяхъ простыхъ людей къ Базарову.

Таковы основы «отцовъ». Базаровъ опредѣлилъ ихъ, по обыкновенію, кратко и ясно.

«Отецъ у тебя славный малый», говоритъ онъ Аркадію. «Стихи онъ напрасно читаетъ, и въ хозяйствѣ врядъ ли смыслитъ, но онъ добрякъ».

Подъ понятіе стиховъ слѣдуетъ отнести способность «отцовъ» «поставить жизнь на карту женской любви», «развить нервную систему до раздраженія». Подъ рубрику невѣжества въ хозяйствѣ необходимо поставить гуманную мечтательность, полное невѣдѣніе родной земли, наивный патріотическій идеализмъ на счетъ народа.

Все это — данныя, свидѣтельствующія о совершенной неприспособленности «отцовъ» къ практической дѣятельности, объ ихъ безволіи и безпомощности при всякомъ серьезномъ столкновеніи съ реальной, не романтической дѣйствительностью.

Естественно и справедливо подобное покол̂ѣніе должно сойти со сцены, лишь только жизнь предъявитъ настоятельные запросы къ другимъ человѣческимъ способностямъ, помимо чувствительнаго сердца, художественнаго воображенія и сибаритскаго идиллическаго взгляда на земное существованіе.

Тургеневъ написалъ трогательнѣйшее напутствіе «отцамъ», уходящимъ въ даль исторіи, заставилъ одного изъ нихъ привѣтствовать растущія молодыя силы и, привѣтствуя, смиренно встрѣтить конецъ своей «безполезной жизни».

Еще это привѣтствіе не было высказано, новое поколѣніе заявило о себѣ въ высшей степени скромно, но рѣшительно и для «отцовъ» вполнѣ убѣдительно. Протестъ противъ эстетиковъ и романтиковъ послышался сначала изъ женскихъ устъ,—протестъ не во имя какихъ бы то ни было общественныхъ идей, а во имя непогрѣшимаго *нравственнаго сознанія*. Онъ долженъ былъ поколебать «отцовскій» романтизмъ въ области чувства, любовныхъ страстей и драмъ. Именно эта область скорѣе всего могла быть подвергнута сомнѣнію, какъ наиболѣе доступная и непосредственная. Здѣсь для протеста достаточно чуткой совѣсти, строгаго, вдумчиваго отношенія къ личному нравственному міру, достаточно врожденнаго благородства натуры и особенно тонкой впечатлительности.

Эти свойства въ совершенствѣ могутъ воплотиться въ лицѣ женщины,—и тургеневская Лиза одно изъ такихъ воплощеній.

Лиза до такой степени не похожа на своихъ родителей, что ее можно приводить какъ краснорѣчивѣйшее доказательство противъ

всякаго закона наслѣдственности. И между тѣмъ все несходство можно свести къ двумъ чертамъ—*мучительно вдумчивая мысль* и *страстно отзывчивая совѣсть*. И онѣ даны Лизѣ природой, никто не заботился развивать ихъ, впечатлѣнія дѣтства нашли воспріимчивую почву. Она была уже серьезнымъ ребенкомъ раньше, чѣмъ Агафья стала ей разсказывать житія святыхъ. Въ ней рано проснулась восторженная религіозность и еще больше усилила природную чувствительность ко всему ненормальному и ложному въ нравственномъ смыслѣ, довела до крайней степени мучительную жажду душевной и жизненной гармоніи, непреодолимое стремленіе къ подвигу, къ осуществленію таинственнаго, но великаго долга. Въ семьѣ Калитиныхъ одна только религія съ ея подвижниками и мучениками, съ ея призывами въ высшій идеальный міръ, могла удовлетворить смутнымъ, но неотвязнымъ запросамъ мечтательной идеалистки.

Лиза по всей справедливости можетъ сказать о себѣ: «я не отъ міра сего» и ея религіозное рвеніе ничто иное, какъ результатъ инстинктивнаго отвращенія къ «пѣснямъ земли», т.-е. къ нравственнымъ основамъ окружающей дѣйствительности, результатъ тоски по идеалу. Ея пристрастіе къ исторіямъ о чужихъ подвигахъ и страданіяхъ — безсознательная и безмолвная жалоба на свое душевное одиночество среди близкихъ, но совершенно чужихъ людей. Ея наклонность къ одинокимъ думамъ, къ «своимъ мыслямъ» воспитана безпощаднымъ «томленіемъ» въ душномъ воздухѣ будничныхъ мелочей и неправдъ.

Мы невольно о Лизѣ говоримъ Лермонтовскими словами изъ стихотворенія *Ангелъ*. И не напрасно именно Лермонтовъ воспѣлъ душу, долго томившуюся на свѣтѣ, полную «желаньемъ чуднымъ», среди пѣсенъ земли внимавшую «звуки небесъ». На первый взглядъ, что общаго между задумчивой пугливой дѣвушкой и грознымъ мужественнымъ пѣвцомъ *Демона?* А между тѣмъ, Лиза и Лермонтовъ характеризуютъ одно и то же нравственное и общественное явленіе. Они оба воплощенные контрасты своей среды, ея враги во имя нравственной силы, во имя правды и личной свободы. Мотивы ихъ протеста тождественны, много общаго и въ ихъ настроеніяхъ.

Дѣтство геніальнаго поэта переполнено «грезами души». Онъ «съ начала жизни любилъ угрюмое уединеніе», его волновали смутные образы «при свѣтѣ трепетной лампады образной», и эти образы говорили ему о страданіяхъ, о подвигахъ, о мірѣ, совершенно непохожемъ на дѣйствительность. У юнаго поэта развивается страстное чувство религіозности—обычный плодъ ранняго одиночества и идеалистической мечтательности.

Это все черты тургеневской героини. И сходство вполнѣ естественно. Лиза и Лермонтовъ представители одного и того же поколѣнія «дѣтей», осужденныхъ на роковой нравственный разладъ съ отцами. Сущность разлада для обоихъ одна и та же—и форма протеста должна измѣняться сообразно съ характеромъ, темпераментомъ, энергіей протестующаго.

У Лермонтова негодованіе на лживый свѣтъ, на людскую пошлость и эгоизмъ воплотится въ могучихъ демоническихъ образахъ, въ пламенныхъ сарказмахъ, въ «желѣзномъ стихѣ, облитомъ горечью и злостью». Это—активная борьба, захватывающая поэта ежеминутно, не смотря на его тоску по одиночеству, на его стремленіе уйти отъ людей «въ пустыню».

У Лизы нѣтъ демонической натуры, бурнаго генія мужчины, у нея нѣтъ силъ для наступательной войны, но за то она сумѣетъ до конца удержать свое положеніе. Она не будетъ мечтать въ дѣтствѣ о герояхъ-разбойникахъ, ей не являлся «могучій образъ»

Какъ царь нѣмой и гордый,

но и она создала себѣ

Міръ иной
И образовъ иныхъ существованіе

и эти образы также

Не походили на существъ земныхъ...

Для Лермонтова «все было адъ иль небо въ нихъ», для Лизы—только небо и страданія только ради небесъ, наслажденія ихъ радостями.

Никто не знаетъ объ этихъ образахъ. Лиза живетъ *своей*, никому изъ окружающихъ непонятной жизнью. У нея, какъ и у Лермонтова, нѣтъ «родной души», и для нея судьи «лишь Богъ да совѣсть».

Оба судьи извѣстны семьѣ Лизы и вообще большинству «отцовъ» только съ формальной стороны. Марѳа Тимоѳеевна, лучшая въ этомъ обществѣ, старается умѣрить религіозное рвеніе Лизы по весьма характерному соображенію: «не дворянская, молъ, эта замашка». Но религія Лизы не такъ еще страшна для ея «отцовъ», несравненно страшнѣе «совѣсть», т.-е. непреодолимое жгучее желаніе отдавать себѣ строгій отчетъ во всякомъ личномъ поступкѣ и малѣйшемъ ощущеніи, во всѣхъ фактахъ своей и чужой жизни. Это въ полномъ смыслѣ неподкупный судъ, потому что истина его въ самой натурѣ судьи, неопровержимая критика, потому что она одушевлена идеальнымъ представленіемъ о долгѣ, о неотразимой отвѣтственности за всякое нарушеніе нравственнаго порядка.

У «отцовъ» было не мало гуманныхъ чувствъ и благородныхъ настроеній, но все это оказывалось гораздо чаще романтическимъ прекраснодушіемъ, чѣмъ ясно сознанными правилами жизни. Отцы— «добряки», «золотые люди», «душевные малые»: все это результатъ эстетической культуры, развитой чувствительности, но здѣсь нѣтъ, помимо реальнаго знанія жизни, еще энергіи, твердой принципіальной почвы. О нихъ авторъ говоритъ: они не знаютъ, по какому пути идутъ, о Лизѣ мы слышимъ совершенно другое: «вся проникнутая чувствомъ долга».

Это чувство самый вѣрный мотивъ критическихъ воззрѣній на дѣйствительность, и Лиза инстинктивно направляетъ свою критику на тѣ стороны жизни «отцовъ», какія ей доступнѣе, какъ женщинѣ,—на личныя и сердечныя отношенія.

Прежде всего вопросъ о личномъ счастіи.

Лиза на каждомъ шагу видѣла, какъ «отцы» устраивали свое благополучіе въ ущербъ другимъ, какъ часто эгоистичны и слѣпы были ихъ стремленія къ жизненнымъ радостямъ, даже добрая и умная Марѳа Тимоѳеевна являлась патріархальной эгоисткой въ своемъ углѣ. «Отцы» проходили мимо разныхъ мелочей, потому что самые добрые изъ нихъ способны были беззавѣтно отдаться чувству самоудовлетворенія и искренне считать законнымъ личное благо, разъ оно не вызывало бьющихъ въ глаза чужихъ бѣдствій. Базаровъ справедливо замѣчаетъ о Павлѣ Кирсановѣ:— тотъ вообразилъ себя «дѣльнымъ человѣкомъ, потому что чи-

таетъ Галиньяшку и разъ въ мѣсяцъ избавитъ мужика отъ экзекуціи».

«Дѣды» читали Галиньяшку, но экзекуцій не оставляли. У «отцовъ» нервы слишкомъ «развиты», чтобы наслаждаться жизнью на конюшнѣ. Но вѣдь на свѣтѣ бываютъ «экзекуціи» не только въ прямомъ смыслѣ слова; на каждомъ шагу существованіе бѣднаго и слабаго превращается въ сплошное лишеніе и мученичество, въ цѣлую сѣть мелкихъ, но тѣмъ болѣе мучительныхъ униженій. Для нихъ-то глазъ «отцовъ» отнюдь не былъ изощренъ. Добрѣйшій Николай Кирсановъ убѣжденъ, что онъ все возможное совершилъ, «устроивъ крестьянъ» по правиламъ либеральнаго барства и открывъ ферму. Крестьяне для него попрежнему невѣдомые заморскіе звѣри, они, можетъ быть, гораздо хуже чувствуютъ себя при фермѣ, чѣмъ безъ нея, но «отцу» до этого дѣла нѣтъ. Теоретически красивая программа,—если она не принесла плодовъ, виновата не она, а жизнь, отвергшая ее, люди, не оцѣнившіе ея благодѣяній.

За эту романтическую близорукость на каждомъ шагу приходилось платиться «отцамъ», но гораздо болѣе ихъ «подданнымъ» или просто зависимымъ отъ нихъ.

Въ Калитинской семьѣ Лиза первая почувствовала настоящій ужасъ предъ жертвами, какими покупается часто удовлетвореніе сильныхъ. Она сердцемъ проникла въ бездну обидъ и неправдъ, прикрывающихъ «тишь да гладь» будничной жизни. Самая идея личнаго счастья стала внушать ей невольное опасеніе. Рядомъ съ этой идеей ей мерещилось непремѣнно чье-нибудь страданіе, какая-нибудь несправедливость. Подобному чувству естественно развиться среди барской сибаритской культуры, построенной на крѣпостничествѣ. Лиза, «вся проникнутая боязнью оскорбить кого бы то ни было», тщательно вдумывается въ каждое движеніе своей мысли и своего сердца—и шагъ за шагомъ незамѣтно для себя вырабатываетъ въ себѣ рѣзко отрицательные взгляды на принципы и жизнь «отцовъ».

Любовь—столь простое и заурядное явленіе, въ жизни «отцовъ» она играла первенствующую роль. «Отцы» отдавались любви, будто нѣкоему священнодѣйствію, упивались всякимъ пустякомъ, напо-

минающимъ предметъ страсти, возводили въ перлъ созданія каждое свое ощущеніе, на самомъ дѣлѣ менѣе всего возвышенное и идеальное. Имъ показалось бы дикимъ разстраивать себя какими бы то ни было вопросами, разъ въ сердцѣ загорѣлась страсть. Любовь—дѣло момента, и чѣмъ она стремительнѣе, тѣмъ больше въ ней «рыцарства». Мотивы ея или исключительно физіологическіе, или, въ лучшемъ случаѣ, эстетическіе, — отнюдь не нравственные, не человѣческіе въ лучшемъ смыслѣ слова. Павелъ Кирсановъ до самой смерти не можетъ забыть «верхней части лица» княгини Р., Лаврецкій человѣчнѣе *perfect gentleman'a*, но и для него въ высшей степени важно, что Варвара Павловна «сулила чувству тайную роскошь неизвѣданныхъ наслажденій».

И оба эти героя очертя головы бросились въ объятія своихъ сильфидъ.

Для Лизы немыслима подобная оргія чувственности.

Тургеневъ разсказалъ безпримѣрно-глубокую въ психологическомъ смыслѣ исторію любви Лизы къ Лаврецкому. Достаточно было бы этихъ страницъ, чтобы за романистомъ навсегда осталось наименованіе геніальнаго писателя.

Надо съ особеннымъ вниманіемъ вчитаться въ каждое слово, чтобы оцѣнить всю силу авторскаго анализа.

Для Лизы голосъ ея сердца — не блаженство, какъ это было для «отцовъ», напримѣръ, ея сентиментальной матери,—а искусъ, новый поводъ къ безконечной вереницѣ трудно разрѣшимыхъ вопросовъ, сомнѣній, мукъ совѣсти.

Ее прежде всего вообще пугаетъ возможность полюбить: вѣдь это значитъ быть счастливой, — а возможно ли это безъ ущерба кому бы то ни было, безъ нарушенія идеальнаго нравственнаго порядка? И этотъ вопросъ для Лизы тѣмъ мучительнѣе, что ей суждено полюбить человѣка, уже связаннаго съ другой женщиной.

Нужно, слѣдовательно, выяснить свое положеніе относительно этой женщины, возстановить справедливость и всепрощающую гуманность, что для Лизы одно и то же, между Лаврецкимъ и его женой. Ей страшно, что никогда невиданная ею женщина, т.-е. вообще человѣкъ, окажется жертвой искупленія за ея чувство. Вѣдь это значило бы вернуться къ порядкамъ «отцовъ», во что

бы то ни стало завоевывавшихъ себѣ сердечныя радости. Лиза хочетъ чувство любви перенести изъ области романтизма въ область сознательнаго долга, стихійное влеченіе облагородить нравственнымъ идеаломъ.

Отсюда ея безконечныя колебанія, ея просьбы къ Лаврецкому— простить жену,—«тайный упрекъ» за то, что онъ обрадовался ея смерти. Для этой чуткой героини долго не проходитъ безслѣдно ни одна мелочь, чуткость часто граничитъ съ болѣзненной нервностью, хотя Лиза живетъ, повидимому, спокойно и ровно.

Вы припоминаете изумительныя замѣчанія автора по поводу самыхъ незначительныхъ фактовъ. Лаврецкій пожалъ Лизѣ руку,— это заставляетъ ее задуматься. Ей становится хорошо въ его присутствіи, чувство жалости къ нему невольно говоритъ въ ея сердцѣ, но ей «немножко стыдно», потому что она еще не успѣла разобраться въ своихъ ощущеніяхъ, привести ихъ въ согласіе съ своими нравственными понятіями. Отсюда эти вѣчныя «мнѣ кажется»: они свидѣтельствуютъ о напряженной внутренней работѣ, о борьбѣ совѣсти и долга съ влеченіемъ молодости. И упреки совѣсти начинаются у Лизы раньше, чѣмъ она испытала счастье. Ее безпокоитъ мысль даже о *покойной* женѣ Лаврецкаго, она безсильна разобраться въ себѣ самой,—и предъ нами открылась бы истинная драма,если бы у Лизы не было религіи. Только вѣра имѣетъ силу низводить миръ въ ея душу...

И она, подобно геніальному пѣвцу одиночества, въ «минуту жизни трудную» прибѣгаетъ къ молитвѣ.

Легко предугадать, что̀ произойдетъ съ Лизой, когда судьба подтвердитъ ея сомнѣнія, покараетъ ее за несовершенный грѣхъ. Уже раньше мысль о смерти—близка Лизѣ. Эта мысль совершенно естественно сопутствуетъ нравственному одиночеству, религіозному экстазу, недовольству окружающей жизнью. Лиза говорила Лаврецкому о смерти прежде, чѣмъ надъ ними разразился ударъ. Теперь она безъ малѣйшаго сопротивленія отдастъ себя во власть этой идеѣ, ей необходимо искупить нѣсколько минутъ личныхъ радостей. Она въ законности ихъ сомнѣвалась отъ начала до конца, — теперь сама судьба оправдала ея сомнѣнія, доказала грѣховность ея любви, и Лиза навсегда умретъ для мірскихъ ра-

[redacted]

достей. Она уйдетъ отъ людей въ пустыню, другими словами—окончательно отвергнетъ существующія основы общества, его нравственность и его дѣятельность.

И какъ бы Лиза мало ни говорила, какъ бы неопредѣленны ни были ея слова, мы знаемъ, во имя чего она отрекается отъ «отцовъ». Ея отрывочныя, часто недоговоренныя рѣчи мы можемъ дополнить пламенными изліяніями поэта. Здѣсь мы найдемъ всѣ основныя черты страданій и сомнѣній Лизы, не найдемъ только «пустыни», хотя она также и поэту безпрестанно является искомымъ идеаломъ. Но у поэта нашлись силы остаться *среди людей* бойцомъ и героемъ. Лизѣ открытъ только одинъ путь — спасти свой нравственный міръ вдали отъ искушеній и суеты. И уходъ Лизы въ монастырь отнюдь не менѣе краснорѣчивый протестъ, чѣмъ страстныя филиппики Лермонтова противъ «надменнаго, глупаго свѣта», «важнаго шута», «шума земнаго».

Моей души не понялъ міръ,—ему
Души не надо...

могла сказать Лиза, если бы обладала склонностью къ краснорѣчивымъ характеристикамъ своей участи.

Да, «отцы», при всей своей чувствительной гуманности и романтической любви къ прекрасному, не знали человѣческой души, ея высшихъ стремленій, не обладали чуткостью къ ея страданіямъ, не сознавали разлада между своими поэтическими настроеніями и удручающей жестокой дѣйствительностью, между благородными замыслами и вопіющими неправдами окружающей жизни. Они могли уноситься съ Шиллеромъ въ небеса, съ Жанъ-Жакомъ въ миѳическій золотой вѣкъ, устраивать даже фермы, благодѣтельствовать мужикамъ и пребывать въ косномъ невѣдѣніи народной души и народной жизни. И на дѣлахъ и помыслахъ «отцовъ» лежала, кромѣ того, гигантская тѣнь всепоглощающаго, всемогущаго бога любви, бога романическихъ интригъ и трагедій.

Лиза возстала противъ этого идола и первая направила на его волшебныя чары идею долга—предъ ближними и личнымъ человѣческимъ достоинствомъ.

Для Лизы и этой борьбы было вполнѣ достаточно,—отвергнуть

романтизмъ «отцовъ» въ существенныхъ для нихъ вопросахъ любви. Но авторъ указалъ и на другую черту своей героини.

Онъ не могъ приписать Лизѣ какихъ бы то ни было отвлеченныхъ идей о народѣ, но та же нравственная чуткость, та же потребность правды неизбѣжно отразились на отношеніяхъ Лизы къ «простому человѣку».

Эти отношенія совершенно другія, чѣмъ у «отцовъ». Лиза умѣетъ говорить съ народомъ и отлично понимаетъ его.

«Ей было по душѣ съ русскими людьми; русскій складъ ума ее радовалъ; она, не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала со старостой материнскаго имѣнія, когда онъ пріѣзжалъ въ городъ, и бесѣдовала съ нимъ, какъ съ ровней, безъ всякаго барскаго снисхожденія».

Совершенная новость въ обиходѣ «отцовъ». Тѣ при всѣхъ своихъ свѣдѣніяхъ по части комитетовъ и машинъ, не умѣли сойтись съ мужикомъ, послѣ пяти минутъ разговора съ нимъ чувствовали себя дурно или «доводили его до истомы», какъ это дѣлаетъ, напримѣръ, Николай Кирсановъ въ роли мирового посредника.

Очевидно, вмѣстѣ съ Лизой исчезалъ романтизмъ отцовъ не только въ вопросахъ любви, онъ уступалъ мѣсто жизненной правдѣ, истинно-народническому чувству и въ области общественныхъ отношеній. Не Лизѣ было проложить новые пути и въ этомъ направленіи. Но она предвѣщала появленіе другихъ «дѣтей», предназначенныхъ для болѣе широкаго протеста, для болѣе обширной борьбы съ романтическими традиціями «отцовъ».

Одинъ изъ этихъ борцовъ и есть Базаровъ.

X.

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ и неожиданнымъ сопоставленіе воинственной фигуры нигилиста съ мечтательной, религіозно-восторженной, молчаливой дѣвушкой. Но внѣшніе контрасты не должны смущать насъ. Сущность нравственной роли героя и героини тождественны. Оба они воплощенныя отрицанія стараго порядка, только сфера, размахъ и нѣкоторые исходные мотивы ихъ отрицанія неодинаковы. Но они одной семьи, одной общественной

полосы, и если Лиза по своимъ настроеніямъ примыкаетъ къ Лермонтовской поэзіи,—по смыслу своего положенія среди стараго поколѣнія—она прямая предшественница Базарова.

Лиза не объясняетъ намъ въ точности, противъ чего собственно она возстаетъ. У нея нѣтъ ничего общаго съ отцами, никто изъ нихъ не знаетъ ея думъ и настроеній, она до такой степени привыкла къ одиночеству, что ей «стыдно» даже дружескихъ бесѣдъ съ Лаврецкимъ: «точно чужой вошелъ въ ея дѣвическую, чистую комнату». Очевидно, это полнѣйшій разладъ съ «отцами», но смыслъ его мы узнаемъ только изъ поступковъ Лизы и мимолетныхъ замѣчаній автора объ ея впечатлѣніяхъ.

Базаровъ дѣйствуетъ совершенно иначе.

Онъ открыто и ясно опредѣляетъ причины своей войны съ «отцами», и отцы на этотъ разъ отлично понимаютъ, противъ чего идетъ мятежный «сынъ».

Мы указывали на пристрастіе Базарова къ понятію «романтизмъ»: онъ жесточайшій врагъ «романтизма»,—въ этомъ общій смыслъ его отрицанія и здѣсь русскій герой невольно заставляетъ вспомнить явленія европейской мысли, современныя его нигилизму.

На Западѣ, въ половинѣ столѣтія, также возгорѣлась жестокая война положительнаго научнаго міросозерцанія съ теоретическимъ идеализмомъ, и одновременно и въ зависимости отъ этой войны произошла междоусобица натуралистовъ съ романтиками.

На Западѣ также предали поношенію все романтическое, все, что не строгій разумъ и не опытная наука, всѣ идеи, не совпадающія съ фактами.

Въ политической жизни возникновеніе второй имперіи нанесло смертельный ударъ идеалистамъ и пророкамъ общественной просвѣщенной свободы. Въ области научныхъ изслѣдованій развивалась блестящая дѣятельность натуралистовъ, въ родѣ Клода Бернара, Дарвина и германскихъ положительныхъ философовъ. Казалось, наука будто нарочно давала оружіе противъ всякой идеологіи. Наполеоновская власть *фактически* доказывала, по крайней мѣрѣ—для современниковъ декабрьскаго переворота, безплодность самыхъ благородныхъ общественныхъ стремленій. Естествоиспытатели представляли съ своей стороны тьму фактовъ, повидимому,

подрывавшихъ всѣ основы идеальнаго міросозерцанія, именно своимъ отрицательнымъ смысломъ производившихъ громадное впечатлѣніе на большую публику. И если Дарвинъ остерегался сдѣлать рѣшительный выводъ насчетъ происхожденія человѣка, его популяризаторы и читатели не преминули досказать недосказанное и прямо объявили человѣка потомкомъ обезьяны.

Это было скорѣе беллетристическое настроеніе, чѣмъ научная идея, но затѣмъ и существуютъ у геніальныхъ философовъ и ученыхъ преданные и отважные послѣдователи, чтобы быть «болѣе роялистами, чѣмъ самъ король».

Въ результатѣ именно беллетристика завладѣла моднымъ теченіемъ и Золя прямо объявилъ, что его школа ничто иное какъ принципы Клода Бернара въ области искусства,—и, слѣдовательно,— «война науки противъ идеала, противъ невѣдомаго», т.-е., по толкованію самого же Золя, противъ «романтизма».

Это значило — прежнія поэтическія и возвышенныя представленія о человѣкѣ, его чувствахъ и стремленіяхъ свести на почву физіологіи,—и натурализмъ до сихъ поръ съ неослабной энергіей выполняетъ свою задачу.

Мы видимъ, сколько общаго у Базарова съ западными гонителями «идеала» и «невѣдомаго». Онъ можетъ быть названъ русскимъ натуралистомъ, такъ какъ у него тотъ же врагъ и то же оружіе, что у западныхъ литературныхъ учениковъ положительной науки.

Но русскій романтизмъ не вполнѣ совпадаетъ съ европейскимъ. Идеализація чувства любви, наклонность къ выспренней риторикѣ, поэтическая мечтательность—все это одинаково свойственно и русскимъ, и западнымъ романтикамъ. Но есть одна существенная разница: нашъ романтизмъ исключительно аристократическое явленіе. Наши романтики—«совершенные джентльмэны», ихъ эстетика и идеализмъ выросли на крѣпостничествѣ.

Въ то время, когда глава французскаго романизма—Викторъ Гюго — лучшіе плоды своего вдохновенія посвящалъ защитѣ народа и его правъ, выясненію его душевныхъ доблестей и его нравственной энергіи, русскіе риторы и прекраснодушные мечтатели пребывали въ области идиллическаго патріархальнаго насла

жденія своими отеческими чувствами къ интересному незнакомцу— «сѣрому мужичку», «меньшому брату», «кормильцу земли русской». Въ то время, когда французскій романтикъ являлся однимъ изъ самыхъ мужественныхъ гонителей Наполеона III и неустаннымъ поэтомъ «униженныхъ и оскорбленныхъ» — высокія чувства русскихъ романтиковъ вполнѣ удовлетворялись художественными стихами любимаго поэта или шумомъ застольныхъ пріятельскихъ рѣчей.

Война Базарова съ романтиками, слѣдовательно, должна усложниться элементомъ, неизвѣстнымъ западному натурализму. Въ протестѣ Базарова противъ эстетики, любовныхъ чувствительностей, мечтательныхъ восторговъ предъ природой нѣтъ ничего оригинальнаго, типично-русскаго. Всѣ выходки въ этомъ направленіи Базаровъ могъ заимствовать у тѣхъ же нѣмецкихъ естествоиспытателей, которыхъ онъ такъ уважаетъ.

Но протестъ противъ аристократизма—исключительное достояніе Базарова. Тамъ онъ только теоретикъ, ученый, здѣсь онъ представитель извѣстной общественной программы, защитникъ новаго демократическаго строя.

На Западѣ только въ исключительныхъ случаяхъ защитники *идеала, невѣдомаго*, т.-е., по воззрѣніямъ натуралистовъ, «романтики», видѣли своихъ враговъ въ лицѣ демократіи. Такое положеніе занялъ, между прочимъ, Ренанъ, вызвавшій своимъ идеализмомъ жестокій отпоръ со стороны Золя. Прославленный историкъ еврейскаго народа носилъ въ себѣ много существенныхъ психологическихъ чертъ нашихъ «отцовъ»—эстетиковъ и аристократовъ. Это онъ — философъ и ученый — въ ученой книгѣ о Маркѣ Авреліи прославилъ лирической рѣчью женскую красоту и особенно модный костюмъ современнаго парижанина. Это онъ красивую и «художественно» одѣтую женщину провозгласилъ «однимъ изъ лучшихъ проявленій божества», даже если она и лишена «ума, талантовъ и серьезныхъ добродѣтелей». Наконецъ, тотъ же Ренанъ великой исторической эпохой провозгласилъ время, когда женскіе туалеты отличаются особеннымъ изяществомъ.

Развѣ нашъ Павелъ Кирсановъ не подписался бы подъ такою философіей исторіи?

Еще краснорѣчивѣе общественныя идеи Ренана. Онѣ раскрыты

въ драмѣ *Калибанъ*, надѣлавшей, нѣсколько лѣтъ назадъ, много шуму. Главный герой — представитель демократіи и, по замыслу Ренана, долженъ воплощать въ себѣ ни болѣе, ни менѣе, какъ безпощадную вражду противъ всѣхъ высшихъ завоеваній цивилизаціи.

Калибанъ—дикарь въ душѣ, отвратителенъ извнѣ, почти животное. «Проклинать — моя натура», — говоритъ онъ. Музыка и поэзія не производятъ на него никакого впечатлѣнія, театры онъ предаетъ уничтоженію, книги считаетъ зломъ для народа. Онъ—фанатикъ грубой дѣйствительности и насущной пользы. Все идеальное и художественное для него не существуетъ. Преданія старины —пустяки и басни. Онъ признаетъ только то, что можетъ осязать собственными руками и изъ чего можетъ извлечь непосредственную выгоду для своего матеріальнаго существованія. Калибанъ не понимаетъ даже физической красоты...

Вы видите, — если бы потребовалось обозвать *совершеннымъ нигилистомъ* какое-либо созданіе западной мысли и литературы,— ренановскій Калибанъ какъ нельзя болѣе подходилъ бы подъ это наименованіе. Припомните бесѣды Павла Кирсанова съ Базаровымъ, отзывы «совершеннаго джентльмэна» о нигилистѣ и вообще о нигилизмѣ, — предъ вами во всей полнотѣ воскреснетъ образъ французскаго демократа-дикаря, разрушителя,—вплоть до ссылки на «грубую монгольскую силу», рѣшительнѣйшую характеристику нигилизма въ устахъ Кирсанова.

А похвальное слово того же «джентльмэна» въ честь «представителя цивилизаціи», «послѣдняго пачкуна, *un barbouilleur*, тапёра, которому даютъ пять копѣекъ за вечеръ», — это тѣ же рѣчи изъ ренановской драмы о кабинетномъ ученомъ, большомъ искусникѣ устраивать придворныя волшебныя празднества, объ артистѣ — веселомъ музыкантѣ и церемоніймейстерѣ. Наконецъ, княгиня Р, на всю жизнь загипнотизировавшая Павла Кирсанова, навѣрное вполнѣ присоединилась бы къ мнѣнію ренановскихъ героинь: «нравственный долгъ женщины—быть красивою», а самъ Павелъ Кирсановъ душевно одобрилъ бы любимый афоризмъ ихъ кавалеровъ: «много думать—заболитъ голова».

Европейской литературѣ, слѣдовательно, нечужда идея о борьбѣ

демократа-отрицателя съ аристократическимъ старымъ обществомъ. Но у Ренана эта идея воплощена въ фантастическомъ образѣ, преувеличенномъ, даже каррикатурномъ: — необходимое слѣдствіе глубокаго личнаго отвращенія автора къ современной демократіи. *Калибанъ* — скорѣе журнальный партійный памфлетъ на новую общественную и политическую силу, чѣмъ литературное произведеніе историка и мыслителя. Въ такой формѣ Павелъ Кирсановъ могъ бы изобразить Базарова, если бы счелъ возможнымъ снизойти до литературы.

Совершенно иное положеніе русскаго воителя противъ романтиковъ и аристократовъ. И оно объясняется прежде всего отношеніемъ самого автора къ вопросамъ борьбы. А этотъ авторъ, въ статьѣ по поводу «*Отцовъ и Дѣтей*», говоря о своемъ «нигилистѣ», открыто заявилъ: «за исключеніемъ воззрѣній на художество—я раздѣляю почти всѣ его убѣжденія».

Подобное заявленіе на первый взглядъ можетъ показаться въ высшей степени смѣлымъ и во всѣхъ отношеніяхъ рискованнымъ. Такъ прочно утвердился взглядъ на Базарова, какъ на разрушительную монгольскую силу, безпринципную, почти безсмысленную. Стоитъ произнести одно слово,—*нигилистъ*,—и всякій спокойный, безпристрастный разговоръ о Базаровѣ становится немыслимъ. *Слова*, разъ вызвавшія сильное впечатлѣніе, переживаютъ не только сущность понятія, ими выражаемаго, но надолго поддерживаютъ непоколебимо самыя смутныя представленія и самыя ложныя идеи. Слово *нигилистъ* съ самаго начала, мы видѣли, имѣло весьма странную судьбу, превратилось въ своего рода нравственное и общественное клеймо. Подобная участь въ прошломъ вѣкѣ выпала, напримѣръ, на долю *вольтерьянцевъ*. Это были патентованные скептики и атеисты среди современнаго общества, часто судившаго о Вольтерѣ по наслышкѣ, и въ результатѣ даже въ наши дни далеко не для всѣхъ легко усвоить истину, что Вольтеръ отнюдь не безбожникъ и матеріалистъ, и причина—въ традиціонномъ представленіи о русскомъ вольтеріанствѣ.

Та же исторія съ нигилизмомъ Базарова.

По мнѣнію нѣкоторыхъ, это Асмодей и поджигатель, а Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, классическій авторъ русской литературы,

въ недалекомъ будущемъ ожидающій себѣ всероссійскаго памятника, не переставалъ заявлять о своемъ искреннѣйшемъ сочувствіи личности Базарова и «почти всѣмъ его убѣжденіямъ».

Какъ же разрѣшить эту дилемму?

Разрѣшается она совершенно просто: намъ требуется только отрѣшиться отъ предвзятыхъ, такъ сказать, наслѣдственныхъ взглядовъ на вопросъ, а главное, необходима полная свобода отъ воображаемаго ужаса, окутывающаго будто ядовитымъ туманомъ злосчастный эпитетъ—*нигилистъ*.

Мы только что указали *идейныя* родовыя черты базаровскаго типа. Ихъ отнюдь не слѣдуетъ считать исключительнымъ продуктомъ русской почвы. Базаровъ, при всей своей личной и національной оригинальности, одно изъ знаменій двухъ господствующихъ теченій нашего вѣка—*опытной науки* и *демократическаго принципа*, естествознанія и народничества: послѣднее понятіе мы должны принимать здѣсь въ самомъ широкомъ значеніи, не въ смыслѣ извѣстнаго литературнаго направленія. Изъ этихъ двухъ источниковъ берутъ начало всѣ идеи и сочувствія тургеневскаго героя. Но это не значитъ, будто только современныя теоріи и вызвали къ жизни Базарова. Органическая сила типа заключается въ его *натурѣ*, нигилистической *per se*, независимо отъ какихъ бы то ни было внѣшнихъ вліяній. Чисто - теоретическій, искусственно сложившійся нигилистъ—Аркадій. Базаровъ изъ области науки беретъ только *оружіе* для защиты своихъ мыслей и вкусовъ, воспитанныхъ въ немъ всей его жизнью, сросшихся съ его плотью и кровью...

Базаровъ, въ своемъ презрѣніи къ «аристократишкамъ»—своего рода Калибанъ, но у него глубокое уваженіе къ наукѣ сливается съ демократическими чувствами. Это—Калибанъ, вооруженный всѣми средствами современнаго опытнаго знанія, отнюдь не стихійный дикарь—разрушитель.

Такое сліяніе натурализма съ демократизмомъ объясняется личной судьбой и общественнымъ положеніемъ русскаго героя. У него оба протеста — и во имя положительнаго знанія, и во имя демократизма — неотъемлемыя свойства его нравственнаго міра.

Тургеневъ разсказалъ, что онъ встрѣтилъ прототипъ Базарова

въ лицѣ провинціальнаго врача и наблюденія надъ реальной личностью вызвали у него идею романа. Этотъ реализмъ цѣликомъ перешелъ въ романъ.

Если бы Базаровъ и не читалъ нѣмецкихъ книжекъ, онъ навѣрное проявлялъ бы, только безъ научныхъ соображеній, тѣ же нигилистическія наклонности. Онъ презираетъ Пушкина не потому, что такъ велитъ естествознаніе, а потому, что Пушкинъ вообще не входитъ въ его душу, развившуюся внѣ всякихъ эстетическихъ вліяній и созерцаній, среди трудовыхъ прозаическихъ будней. Что касается демократизма, онъ логическое слѣдствіе происхожденія Базарова и всей его жизни.

Мы видимъ, слѣдовательно, въ нигилизмѣ Базарова нѣтъ ничего таинственнаго и двусмысленнаго. Это просто отрицаніе аристократической культуры, это русскій натурализмъ, по самому характеру русскихъ «романтиковъ-отцовъ», переходящій изъ области художественныхъ и научныхъ идей въ область общественныхъ отношеній.

Это *основные принципы* базаровскаго отрицанія.

Но *частности* едва ли не важнѣе основъ.

Базаровъ на каждомъ шагу вынужденъ вести ожесточенную борьбу съ современными порядками. Онъ не даромъ гордится, что самъ проложилъ себѣ дорогу, всѣмъ обязанъ только самому себѣ. Очевидно, пережита школа, необыкновенно серьезная, спартанская, воспитывающая въ человѣкѣ два качества—нравственную силу и непоколебимую самоувѣренность.

Базаровъ все время чувствуетъ себя выше другихъ, и даже не скрываетъ этого. Естественно,—протестъ и самозащита бросаютъ его въ крайности, часто въ высшей степени опрометчивыя и нелѣпыя. Чѣмъ навязчивѣй сопротивленіе, тѣмъ рѣшительнѣе отпоръ, и въ жару полемики Базаровъ, дѣйствительно, можетъ «валять и себя по ногамъ», какъ онъ самъ выражается. Жизненная борьба изъ крѣпкихъ натуръ часто вырабатываетъ деспотовъ,—именно таковъ Базаровъ.

Онъ съ презрѣніемъ смотритъ на все, способное на уступки или на оговорки. Прямолинейность и практическая сила на его взглядъ достойнѣйшія добродѣтели. Онъ и Одинцовой начинаетъ интере-

соваться не только потому, что у нея «богатое тѣло»: онъ не перестаетъ повторять, что она «баба съ мозгомъ», «видала виды», «тертый калачъ». Это все его—базаровскія доблести.

А при такихъ доблестяхъ мыслима только роль героя и побѣдителя. Ничто Базарова такъ сильно не раздражаетъ, какъ малѣйшее отклоненіе его воли съ обычнаго пути. Онъ готовъ тогда сорвать злость на первомъ встрѣчномъ: это по истинѣ демоническая гордость.

И она оказываетъ громадное вліяніе на идеи Базарова, поднимаетъ его нигилизмъ на невѣроятную высоту, толкаетъ отрицателя на такія истины, какія лучше всего можно охарактеризовать его же словами: *противоположныя общія мѣста.*

Въ результатѣ—оба протеста научно-нравственный и общественный переходятъ границы здраваго смысла и превращаютъ величайшаго гонителя романтизма въ самаго фантастическаго романтика, своего рода берсеркера.

Базарову мало быть натуралистомъ въ воззрѣніяхъ на любовь, вообще на человѣческую нравственную жизнь,—онъ отрицаетъ самую возможность любви, обзываетъ ее «белибердой, непростительной дурью», отвергаетъ отвлеченные принципы, честность признаетъ ощущеніемъ, боится на каждомъ шагу впасть въ сыновнее сердечное настроеніе съ своими искреннелюбимыми родителями. Аркадій вполнѣ слѣдуетъ этой системѣ, усиливаясь скрыть свое любовное увлеченіе: «не даромъ же онъ былъ нигилистъ», замѣчаетъ авторъ.

Но эта игра не безусловный признакъ нигилизма, скорѣе болѣзненный придатокъ къ нигилизму, жалкое ослѣпленіе, а часто и насильственное даже мучительное притворство, хотя оно и беретъ начало въ гордости и самоувѣренности. Смыслъ подобнаго нигилизма совершенно ясенъ изъ самого романа.

Базаровъ, напримѣръ, почувствовалъ, что сконфузился предъ Одинцовой... Немедленно гнѣвъ на себя:

«Вотъ тебѣ разъ!—бабы испугался»...

А затѣмъ утрированно-нигилистическая поза: «развалясь въ креслѣ, заговорилъ преувеличенно развязно».

Та же самая искусственная театральная самоувѣренность и не-

брежность въ критическія минуты,—все равно. съ Одинцовой, съ братьями Кирсановыми, съ родителями.

Критикамъ, умѣвшимъ только читать напечатанныя фразы, ничего не стоило увидѣть въ Базаровѣ чудовище, дьявола, но Писаревъ справедливо распозналъ въ этихъ моментахъ трагизмъ базаровской натуры. И этотъ трагизмъ тѣмъ глубже, что Базарову жестоко приходится расплачиваться за свои *противоположныя общія мѣста.* Теоретическій нигилизмъ искупается страстью къ Одинцовой.

Мы видѣли,—это отнюдь не одно физіологическое влеченіе къ красивой особи: Одинцова, какъ человѣкъ, импонируетъ Базаророву—своимъ практическимъ умомъ, энергіей, самообладаніемъ, вообще нравственными силами, необычными у женщины. Одинцова «нашего хлѣба покушала», говоритъ Базаровъ-плебей, и сама Одинцова настаиваетъ на своемъ плебействѣ. Это—*сильная натура*, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе самоувѣренная и закаленная, чѣмъ базаровскій нигилизмъ. Базаровъ *долженъ* полюбить *такую* женщину: здѣсь сила одолѣваетъ силу, эта любовь результатъ борьбы двухъ однородныхъ организацій, и Одинцова сильнѣе Базарова холодомъ своего темперамента, спокойствіемъ своей крови.

Въ лицѣ Одинцовой торжествуетъ собственно не любовь, а нѣчто гораздо большее,—природа, собственная Базаровская природа, та самая «сильная, тяжелая страсть», которая вынесла его на поверхность плебейскаго моря. Сцена Базарова съ Одинцовой не унижаетъ героя, какъ это казалось Писареву, напротивъ, даетъ послѣдній ударъ кисти всей могучей фигурѣ. Безъ этой сцены Базаровъ былъ бы «общее мѣсто» грубости и животной тупости. Исторія съ Одинцовой раскрываетъ въ немъ человѣка, юношу, истомленнаго одиночествомъ, таящаго въ себѣ такое богатство и энергію чувства, какія и не снились подневольному, наряженному нигилисту, Аркадію.

Это одна жертва—за отвлеченный фанатическій нигилизмъ.

И жертва—совершенно законная, справедливая съ самой строгой точки зрѣнія обожаемаго Базаровымъ естествознанія.

Базаровъ на основаніи своей науки дѣлаетъ выводы *менѣе*

всего научные, а такіе же *беллетристическіе*, какіе дѣлалъ какой-нибудь литераторъ-натуралистъ на Западѣ. Это результаты ученическаго популярнаго увлеченія, Базарову, кромѣ того, по натурѣ, особенно свойственны рѣзкіе и крайніе пути,—и онъ незамѣтно для себя съ своимъ *научнымъ отрицаніемъ* превращается въ самаго наивнаго Донъ-Кихота, ведущаго войну съ неизмѣнными законами природы.

По его мнѣнію, природа только мастерская, въ ней нѣтъ ни красоты, ни любви, ни романтизма, ни эстетики, ни тайны, ни идеала. Такъ могъ разсуждать Золя, но настоящій знатокъ природы, въ родѣ, напримѣръ, Дарвина, немедленно представилъ бы самыя убѣдительныя возраженія и, ни на іоту не отступая отъ точныхъ научныхъ наблюденій, развернулъ бы предъ необдуманно «положительными» скептиками необозримую картину художественныхъ красотъ и романтическихъ эпизодовъ. Именно эта дарвиновская картина и бросаетъ истинный свѣтъ на базаровскую исторію съ Одинцовой, столь, повидимому, неожиданную и обидную.

Въ книгахъ Дарвина предъ нами множество настоящихъ художественныхъ произведеній,—драмъ, романовъ, идиллій изъ жизни животныхъ. И какъ задушевны, часто восторженны эти разсказы! Дарвинъ-сынъ передаетъ, какъ онъ и отецъ смѣялись разъ надъ одной страницей въ ученомъ сочиненіи отца. Страница оказалась въ необыкновенно лирическомъ тонѣ, не особенно умѣстномъ въ данномъ случаѣ. Дарвинъ замѣтилъ лиризмъ уже послѣ того, какъ книга была напечатана. Описаніе, очевидно, вылилось у него въ порывѣ искренняго восторга предъ красотой естественныхъ явленій. Геніальный естествоиспытатель въ эту минуту явился истиннымъ художникомъ.

И какъ было не придти въ восторгъ, когда автору приходилось разсказывать такія, напримѣръ, исторіи: птичка, утрачивая свою пару, умираетъ отъ тоски, обезьяна-мать падаетъ подъ выстрѣлами, до конца прикрывая своимъ тѣломъ свое дѣтище, птицы кормятъ своихъ слѣпыхъ стариковъ, обезьяны окружаютъ родильницу, поздравляютъ ее, ласкаютъ ея ребенка... И нѣтъ конца подобнымъ сценамъ!..

Когда одну изъ такихъ исторій услышалъ Гёте — задолго до

книги Дарвина—онъ воскликнулъ: «Кто слышитъ это и не вѣруетъ въ Бога, тому не помогутъ ни Моисей, ни пророки. Вотъ что я зову вездѣсущіемъ Божіимъ. Онъ всюду распространяетъ и насаждаетъ частицы своей безконечной любви, и еще въ животномъ проявляется въ видѣ почки то, что въ благородномъ человѣкѣ распускается какъ цвѣтокъ».

Это—по поводу семейныхъ добродѣтелей.

Не меньше и общественныя. Ученый видѣлъ общину муравьевъ, прямо влюбленныхъ другъ въ друга: они непрерывно подносили другъ другу пищу, ласкали усиками и переносили другъ друга съ мѣста на мѣсто. А въ случаѣ опасности, всѣ эти едва замѣтныя твари превращаются въ героевъ: муравья можно разрѣзать по поламъ, и, тѣмъ не менѣе, обѣ половины не перестанутъ защищать свое отечество. Дарвинъ неоднократно повторялъ исторію обезьяны, самоотверженно спасшей юнаго члена стаи почти изъ пасти собаки.

Это — факты любви, мужества, самопожертвованія. А сколько рядомъ съ ними чувства красоты и поэзіи!

Припомните описаніе гнѣздъ колибри; это—истинныя чудеса эстетическаго вкуса. А магическое дѣйствіе соловьиной пѣсни на птицъ. А этотъ снигирь, выучившій нѣмецкій вальсъ и собирающій вокругъ себя стаю внимательнѣйшихъ слушательницъ—коноплянокъ и канареекъ! Что заставляетъ этихъ созданій увлекаться пѣніемъ до разрыва въ легкихъ и падать мертвыми съ трелью на устахъ? Птицеловамъ извѣстно, какую громадную власть пріобрѣтаютъ птицы надъ своими товарищами искуснымъ пѣніемъ. Въ чемъ таится эта власть?

И такъ, въ самой природѣ заключены источники всего, что̀ признаемъ мы идеальнымъ и прекраснымъ.

Для Базарова этой неопровержимой истины не существуетъ,— и онъ въ порывѣ нигилистическаго правовѣрія могъ бы даже поднять руку на величайшія произведенія дорогой ему естественно-научной мысли, свободной отъ партійнаго фанатизма и полемическихъ стремленій.

Дарвинъ въ своей книгѣ счелъ возможнымъ поставить рядомъ Ньютона и Шекспира, какъ равноправныя свидѣтельства объ изу-

мительной силѣ человѣческаго духа. Базаровъ, столь презирающій Пушкина, несомнѣнно вычеркнулъ бы Шекспира,—и одинъ этотъ фактъ краснорѣчиво указалъ бы на различіе дѣйствительно-научнаго мышленія и нравственной тенденціи на почвѣ науки, естествознанія и натурализма, и опредѣлилъ бы грѣхъ Базарова предъ лицомъ самой *человѣческой природы*.

Но Базаровъ, кромѣ того, *сословный* нигилистъ. И здѣсь онъ не умѣетъ остановиться на границахъ хладнокровнаго разсчета. Павелъ Кирсановъ непрестанно раздражаетъ его плебейскіе инстинкты и вызываетъ его оппозицію. Базаровъ отвергаетъ опрятный туалетъ, вѣжливость въ обращеніи. Въ воинственномъ задорѣ онъ забываетъ, что можно быть и плебеемъ-джентльмэномъ и даже давать уроки джентльмэнства кровнымъ аристократамъ, прежде всего тому же Павлу Кирсанову. Но Базаровъ—боевая натура, и видимъ мы его въ самый разгаръ борьбы и притомъ «одного въ полѣ воина»: при такихъ условіяхъ, чѣмъ шире размахъ, тѣмъ больше утѣшенія герою.

Такъ, принцъ, Гамлетъ пускается на самыя дикія выходки именно въ присутствіи тѣхъ, кто его считаетъ помѣшаннымъ. Базаровъ не только демократъ, но и грубый, надменный плебей съ тѣми, для кого онъ созданіе низшей породы. Съ Одинцовой, напримѣръ, Базаровъ не кичится своимъ демократизмомъ, — за то Павла Кирсанова онъ прямо изводитъ своими пріемами.

Но сплошное математически-прямолинейное отрицаніе всѣхъ предразсудковъ аристократической цивилизаціи также ставитъ Базарова въ траги-комическое положеніе. Ему волей-неволей приходится драться на дуэли. Нельзя, слѣдовательно, смотрѣть на какія бы то ни было общественныя условія, какъ на случайный внѣшній налетъ: подулъ и нѣтъ ничего. Всякое общество такой же продуктъ природы и исторіи, какъ и человѣческій организмъ, — и Базарову одинаково было непозволительно возставать противъ самыхъ естественныхъ явленій личной жизни человѣка въ родѣ любви, и провозглашать *nihil* намѣсто вѣковыхъ преданій, какова бы ни была ихъ нравственная цѣнность.

Здѣсь, снова повторяемъ, нигилизмъ переходилъ въ самый необузданный романтизмъ, въ родѣ фантазій Руссо на счетъ есте-

ственнаго человѣка, упразднялъ идею прогресса, шелъ, слѣдовательно, противъ разумной цѣлесообразной борьбы постепенно развивающейся свободной мысли съ преданіями, утрачивающими жизненный смыслъ. Это грѣхъ противъ *человѣческой исторіи.*

И Базаровъ жестоко расплатился за всѣ свои ослѣпленія.

Конецъ, его, т. е. дни, предшествующіе смерти, носятъ совершенно романтическій характеръ. Базаровъ впадаетъ въ пессимизмъ, разочарованіе, равнодушіе, пускается даже въ резонерство и болтовню, столь ненавистныя ему раньше, болѣе чѣмъ когда-либо сыплетъ противоположными общими мѣстами, имъ безпрестанно овладѣваетъ чувство безпредметной злобы. Ясно, человѣкъ взялъ слишкомъ высокій тонъ и оборвался. Предъ нами въ сущности нравственная агонія, и настоящая смерть постигаетъ героя необыкновенно кстати: онъ буквально не знаетъ, куда дѣвать себя, и не видитъ смысла въ дальнѣйшей жизненной комедіи.

Только пристрастная близорукость могла видѣть тенденціозное вмѣшательство автора въ судьбу Базарова. Каждый моментъ этой судьбы—логическое слѣдствіе основныхъ мотивовъ жизни и личности тургеневскаго героя. Трудно даже указать романъ, столь послѣдовательно обнаруживающій звѣнья единой психологической цѣпи.

Базаровъ сошелъ со сцены, не доживъ до практической общественной дѣятельности. Лиза ушла въ монастырь, едва заглянувъ въ дѣйствительность. Оба они явились на сцену съ отрицаніемъ нравственныхъ основъ, на которыхъ строилось благополучіе «отцовъ». Не смотря на несходство мотивовъ протеста, у героя и героини общія цѣли: остановить стихійное теченіе барской эгоистической жизни, указать мечтательнымъ сибаритамъ и наивнымъ добрякамъ безцѣльность и безсодержательность ихъ существованія, отсутствіе въ ихъ суетнѣ опредѣленныхъ принциповъ и сознанія нравственнаго долга.

Лиза не могла вести активной борьбы: она своей личностью свидѣтельствовала о новыхъ идеалахъ, являлась воплощенной совѣстью для старшаго поколѣнія. Базаровъ, напротивъ, готовъ на какую угодно схватку съ ненавистными романтиками. Но самая

эта готовность и горячность борьбы доказывали, что протестъ противъ русскаго романтизма переживалъ еще свой медовый мѣсяцъ, свой юношескій, также романтическій, періодъ,—и мы должны строго отличить случайныя увлеченія, вспышки, крайности, однимъ словомъ, все *частное* отъ *общаго смысла* базаровскаго разлада съ отцами. Базаровъ отъ начала до конца остается въ пылу сраженія, подобно Чацкому, и, подобно ему, безпрестанно обуревается полемическимъ задоромъ. Въ такіе моменты много говорится, во многое вѣрится, но весьма немногое осуществляется. Да, Базаровъ, при всемъ своемъ нигилизмѣ, одинъ изъ самыхъ вѣрующихъ идеалистовъ въ русскомъ духѣ. Кто какъ не русскій идеалистъ можетъ вообразить, что нѣсколькими крѣпкими словами можно уничтожить сердечныя страсти и смести съ лица земли общественные предразсудки!..

Но какъ ни печальна участь Лизы, какъ ни опрометчивъ нигилизмъ Базарова, положительное значеніе этихъ типовъ совершенно ясно. Даже въ романахъ ихъ появленіе не проходитъ безслѣднымъ. Взвѣсьте, сколько новыхъ чувствъ пробудила Лиза въ сердцѣ Лаврецкаго, какимъ свѣтомъ нравственнаго подвига и глубокаго сочувствія къ грядущимъ поколѣніямъ озарила его послѣдніе годы. А въ другомъ романѣ даже «галки»—Катя и Аркадій пьютъ «въ память Базарова».

Не только тотъ добрый сѣятель, кто сѣетъ сѣмена, но и тотъ, кто разрыхляетъ почву для нихъ. И это дѣло было выполнено нашими героями. Предъ ними блѣднѣли и отступали вспять идеалы старой жизни, другимъ болѣе сильнымъ и болѣе осмотрительнымъ предстояло создать новые. Въ «нигилизмѣ» Базарова *по существу* сказалось самое естественное и неизбѣжное развитіе русской нравственной и общественной мысли: протестъ противъ безплоднаго прекраснодушія и безвольной мечтательности, противъ привиллегированнаго аристократизма и опоэтизированнаго тунеядства. Въ лицѣ Базарова на сцену выступили — личная мысль и личная воля, онъ прямой потомокъ Чацкихъ и—на сколько вопросъ касается тургеневскаго романа и его героя—наименованіе *нигилистъ*, какъ нѣчто ужасное и преступное, такая же безсмыслица, какъ слово *карбонарій*, которымъ Фамусовы обзывали современныхъ имъ «дѣтей».

XI.

Полемика по поводу *Отцовъ и дѣтей* не прекращалась цѣлые годы. Имя Тургенева роковою связью соединили съ именемъ Базарова, и чаще всего удары, разсчитанные на героя, падали на автора, похвалы, расточаемые «дѣтямъ», превращались въ упреки мнимому защитнику «отцовъ».

Легко представить, до какой степени тяжело было Тургеневу выносить всю эту борьбу за свое произведеніе, со всѣхъ сторонъ слышать совершенно незаслуженные, неожиданные навѣты, жить подъ градомъ брани, клеветы, оскорбленій. Отъ него удалялась именно та часть публики, какою онъ больше всего дорожилъ. Надежды, боязливо таившіяся въ его сердцѣ въ теченіи цѣлаго года, когда создавался романъ, исчезали теперь съ каждымъ днемъ. Апатія начинала овладѣвать художникомъ еще до появленія романа. Теперь это чувство должно было окончательно завладѣть его нравственнымъ міромъ.

Въ тяжелыя минуты разочарованій возникаетъ элегія *Довольно*.

Здѣсь мрачныя картины одна за другой возстаютъ въ воображеніи художника, рѣшившаго навсегда отказаться отъ творческихъ стремленій, бросить свою кисть и «велѣть сердцу замолчать». Поэту жизнь кажется мелкой, неинтересной и нищенски-плоской. Такова суть жизни и она страшна именно тѣмъ, что въ ней ничего нѣтъ страшнаго. Въ этой истинѣ не можетъ утѣшить человѣка даже искусство, красота, создаваемая геніями. Нѣтъ! Надъ ихъ благороднѣйшими замыслами и твореньями царитъ неотразимая, все-истребляющая природа. Для нея нѣтъ разницы между Юпитеромъ Фидія и простымъ голышемъ: то и другое она покрываетъ плѣсенью и отдаетъ на съѣденіе моли драгоцѣннѣйшія строки Софокла. Величайшіе творцы—«творцы на часъ».

Если такова судьба геніевъ, что же остается второстепеннымъ труженикамъ искусства?

Здѣсь начинаетъ говорить оскорбленное личное чувство поэта. Нашъ художникъ хочетъ причислить себя къ «труженикамъ»— и въ судьбѣ ихъ видитъ жизненный путь, пройденный имъ самимъ. ...ихъ словахъ мы узнаемъ то же негодованіе, тѣ

же жалобы, какія мы слышали раньше и какія будемъ слышать еще не одинъ разъ.

Тургеневъ въ простой, прозаической рѣчи крайне скромно судитъ о своемъ дарованіи, о своей художественной работѣ. Теперь, говоря о «второстепенныхъ труженикахъ», онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшаетъ вопросъ и о себѣ, какъ писателѣ, раскрываетъ свое настроеніе.

«Чѣмъ заставить ихъ стряхнуть свою нѣмую лѣнь, свое унылое недоумѣніе, чѣмъ привлечь ихъ опять на поле битвы, если только мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась имъ въ голову?.. Изъ чего они станутъ снова подвергаться смѣху «толпы холодной» или «суду глупца»—стараго глупца, который не можетъ простить имъ, что они отвернулись отъ прежнихъ кумировъ,—молодого глупца, который требуетъ, чтобы они тотчасъ вмѣстѣ съ нимъ стали на колѣни, легли плашмя передъ новыми, только что открытыми идолами? Зачѣмъ пойдутъ они опять на этотъ толкучій рынокъ призраковъ, на это торжище, гдѣ и продавецъ, и покупатель, равно обманываютъ другъ друга, гдѣ все такъ шумно, громко—и все такъ бѣдно и дрянно?.. Нѣтъ... нѣтъ... Довольно... довольно... довольно!»

Смыслъ элегіи былъ понятъ читателями и тяжело отозвался въ сердцахъ истинныхъ цѣнителей тургеневскаго таланта. Князь В. Ѳ. Одоевскій написалъ отвѣтъ *Недовольно* [200]). Авторъ протестовалъ противъ рѣшенія художника, жаловался «живымъ людямъ». «Какъ! мы дали художнику право насъ изучать, разлагать наши духовныя силы, высматривать нашу красоту и наше безобразіе, особенности нашего быта; взялъ онъ у насъ родное русское слово, въ своихъ произведеніяхъ пріучилъ насъ читать самихъ себя,—эта привычка намъ дорога и мы нисколько не намѣрены ее покинуть—какъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, художникъ говоритъ: «будетъ съ васъ! довольно!»... Нѣтъ! такъ легко съ нами онъ не раздѣлается! своей умною мыслью, своею изящною рѣчью, онъ закабалилъ себя намъ; намъ принадлежитъ каждая его мысль, каждое чувство, каждое

[200]) Бесѣды Общества любителей рос. словесности. 1865 г., отд. II.

слово; они—наша собственность и мы не намѣрены уступить ее даромъ».

Въ отвѣтѣ развивались другія, болѣе важныя соображенія указывалось на множество золъ, съ которыми нравственно обязанъ бороться всякій гражданинъ, и прежде всего писатель. На немъ лежитъ долгъ—разъяснять великія задачи, поставленныя великимъ преобразователемъ, только-что призвавшимъ свой народъ къ свободной жизни.

Правду и искренность этихъ убѣжденій Тургеневъ, конечно, чувствовалъ глубже, чѣмъ кто-либо. И все-таки, почти на пять лѣтъ его художественная дѣятельность замираетъ. Въ теченіи всего этого времени докончена давно начатая «фантазія»—*Призраки* и разсказъ *Собака*. «Фантазію» авторъ дописываетъ «съ увлеченіемъ»: работа приходится на мартъ 1862 г., когда война по поводу *Отцовъ и Дѣтей* только-что начиналась и еще не успѣла отравить вдохновеніе художника. О *Собакѣ* мы узнаемъ въ концѣ 1864 года; разсказъ, слѣдовательно, писался одновременно съ элегіей *Довольно* и, какъ слѣдовало ожидать, не удался, по мнѣнію самого автора: Тургеневъ принялъ совѣтъ друзей — не печатать разсказа. Рѣшеніе это не осуществилось: разсказъ въ слѣдующемъ году былъ напечатанъ въ газетѣ *С.-Петербургскія Вѣдомости*. Въ 1866 году Тургеневъ переводитъ французскія *Волшебныя сказки*...

Чѣмъ объясняется такой перерывъ? Отчасти, конечно, настроеніемъ, выраженнымъ въ элегіи, но только отчасти. Тургеневъ былъ слишкомъ сильный художникъ, чтобы настроеніе — самое пессимистическое—могло прервать творческую дѣятельность его генія, даже если бы этого онъ самъ желалъ. Всевозможныя обѣщанія и рѣшенія—не писать — оказываются безсильными въ минуты, когда поэтъ чувствуетъ священный призывъ своего бога... Такія минуты извѣстны только истиннымъ поэтамъ. Тургеневъ невольно причислилъ себя къ числу этихъ невольныхъ служителей Аполлона, когда описывалъ непреодолимую силу впечатлѣній, вызвавшихъ образы *Отцовъ и Дѣтей*. Никакая внѣшняя сила не разсѣяла бы этихъ впечатлѣній и не отняла бы у нихъ чарующей власти надъ воображеніемъ и волей художника.

Пятилѣтній перерывъ въ литературной дѣятельности Тургенева объясняется другой причиной. Она скрыта въ глубинѣ творческихъ силъ художника.

Съ 1863 года жизнь Тургенева измѣняется—почти незамѣтно съ внѣшней стороны, но весьма существенно для его литературной дѣятельности. Впослѣдствіи ему неоднократно приходилось отвѣчать на упреки критиковъ, будто онъ не знаетъ Россіи, потому что живетъ заграницей и не видитъ родины. Тургеневъ въ половинѣ семидесятыхъ годовъ отвѣчалъ такъ: «Этотъ упрекъ можетъ относиться только къ тому, что я написалъ *послѣ* 1863 г.: до того времени (т. е. до моего 45-ти-лѣтняго возраста) я почти безвыѣздно жилъ въ Россіи—за исключеніемъ 1848—1850 годовъ, въ теченіе которыхъ я написалъ именно *Записки охотника*, между тѣмъ какъ *Рудинъ*, *Дворянское гнѣздо*, *Наканунѣ* и *Отцы и дѣти* написаны въ Россіи» [201]). Точнѣе—перечисленные романы писались и въ Россіи, и заграницей, но во всякомъ случаѣ Тургеневъ не пропускалъ ни одного года, чтобы не прожить на родинѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, а до 1856 года около шести лѣтъ дѣйствительно жилъ въ Россіи безвыѣздно. Съ 1863 года такой порядокъ мѣняется.

Мы видѣли, Тургеневъ не любилъ Парижа, отрицательно относился къ французамъ и чувствовалъ глубокое презрѣніе къ Наполеону III. Изъ французской столицы онъ постоянно стремился уѣхать при первомъ случаѣ. Чувство Тургенева къ Наполеону раздѣляла семья Віардо, и весной 1863 года—въ самый разгаръ новаго цезаризма—рѣшила окончательно покинуть Парижъ и жить въ Баденъ-Баденѣ [202]). Г-жа Віардо дала послѣдній спектакль, въ *Théâtre Lyrique*, сыграла едва ли не въ сотый разъ *Орфея*, и отъѣздъ изъ Парижа совершился. Недалеко отъ Баденъ-Бадена въ Thiergartenthal былъ купленъ домъ [203]), у подошвы лѣсистаго Зауерберга. Тургеневъ пока жилъ на квартирѣ въ самомъ городѣ.

---

[201]) *Р. Ст.* XL, 223—4.

[202]) Фетъ. I, 415.

[203]) По словамъ Н. Берга, вилла была куплена Тургеневымъ и подарена Віардо. *Восп. о Т—вѣ. Ист. В.* XIV, 375.

Два года спустя и онъ устроилъ себѣ виллу—и началась совершенно новая жизнь, на столько спокойная и сравнительно удовлетворяющая, что Тургеневъ, можетъ быть, первый разъ въ жизни почувствовалъ давно желанныя радости осѣдлаго существованія.

Тургеневъ пріобрѣлъ большой запущенный участокъ земли. Здѣсь росло много фруктовыхъ деревьевъ, протекалъ источникъ ключевой воды, чѣмъ особенно дорожилъ новый владѣлецъ. На этой землѣ парижскій архитекторъ построилъ ему большую виллу, въ видѣ замка, въ стилѣ Людовика XIII и разбилъ вокругъ нея роскошный садъ. Тургеневъ переселился сюда только въ 1867 г.; не долго ему предстояло жить здѣсь, но эти немногіе годы были едва ли не самыми спокойными въ его жизни, спокойными, конечно, относительно.

У насъ есть подробныя свѣдѣнія объ этомъ періодѣ. Пичъ,—нѣмецкій писатель, одинъ изъ восторженныхъ поклонниковъ нашего романиста,—находился съ нимъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, часто гостилъ у Тургенева и написалъ прекрасныя воспоминанія.

Кругомъ виллы Тургенева соединялось все, чѣмъ могъ дорожить поэтъ и культурный человѣкъ. Живописная природа, долины, лѣса и рядомъ избранное общество цѣлой Европы. Поэзія уединенія и всѣ удовольствія цивилизованной жизни, идиллическій покой и шумъ одного изъ оживленнѣйшихъ европейскихъ центровъ во время лѣтняго сезона.

Домъ Віардо сталъ средоточіемъ избраннаго общества. Въ саду было построено нѣчто въ родѣ храма искусства, посвященнаго музыкѣ и живописи. Здѣсь устраивались по воскресеньямъ музыкальныя утра. Самыя высокопоставленныя лица Баденъ-Бадена считали за счастье попасть на эти собранія. Прусскій король Вильгельмъ, впослѣдствіи императоръ, и королева Августа были постоянными гостями, послѣ концерта оставались на чай, принимали живое участіе въ общей бесѣдѣ. Тургеневъ, сообщая объ этомъ пріятелю, шутливо замѣчалъ: «Вотъ въ какихъ мы, батюшка, гонёрахъ» [204]).

[204]) Фетъ. II, 201.

Каждый вечеръ въ семьѣ Віардо посвящался музыкѣ, преимущественно нѣмецкой. Тургеневъ въ эти минуты чувствовалъ себя наверху блаженства, въ особенности, если днемъ ему удавалось поохотиться. Музыка прекращалась не ранѣе двухъ часовъ ночи, и какъ былъ оживленъ, увлекателенъ великій художникъ, осчастливленный любимымъ искусствомъ! Бесѣды длились цѣлыми часами, возобновлялись на слѣдующее утро. О нихъ мы можемъ судить по слѣдующему разсказу собесѣдника Тургенева.

«Въ присутствіи Тургенева и его близкихъ друзей самый требовательный умъ ощущалъ чувство удовлетворенія всѣхъ своихъ желаній и сознанія полнѣйшаго счастья. Какъ ни велико богатство наблюдательности и поэзіи, обнаруженное Тургеневымъ въ его произведеніяхъ, все-таки оно было только частицей того, что выливалось изъ его устъ въ присутствіи его друзей, освѣжая и нѣжа васъ, какъ тотъ ручей, которымъ онъ такъ гордился. Если бы кто-нибудь стенографировалъ всѣ разсказы и анекдоты изъ личной жизни, результаты непрерывнаго наблюденія природы и людей, всѣ глубокія и оригинальныя мысли Тургенева, эти золотыя изреченія, не заключавшія въ себѣ ни одной громкой или вульгарной фразы, эти сужденія—точныя, правдивыя и логичныя, съ неумолимымъ презрѣніемъ клеймящія всякую ложь, даже въ искусствѣ, если бы кто-либо сдѣлалъ это, — подобно Эккерману, записывавшему разговоры Гете, — тотъ собралъ бы неоцѣнимую сокровищницу вѣчной красоты и мудрости... За утреннимъ чаемъ, въ саду, въ маленькомъ открытомъ павильонѣ, около котораго протекалъ упомянутый ручеекъ, за завтракомъ, сидя со мной въ столовой, обитой деревомъ, широкія окна которой выходили на свѣжіе зеленые луга, окаймленные темнымъ лѣсомъ, Тургеневъ выливался весь. Онъ полными пригоршнями расточалъ драгоцѣнныя сокровища своего сердца и ума. Надо было только воспользоваться всѣмъ этимъ, чтобы имѣть на всю жизнь обильный матеріалъ для размышленій».

Г-жа Віардо слыла лучшей учительницей музыки. Къ ней въ Баденъ-Баденъ стекались юные таланты со всѣхъ сторонъ. Артистка желала подвергнуть ихъ испытанію въ небольшихъ роляхъ. Въ виду этого и возникли три фантастическихъ оперетки, три сказки въ

драматической формѣ. Текстъ принадлежалъ Тургеневу. Г-жа Віардо иногда играла роль влюбленнаго принца—альта, Тургеневъ—роль какого-нибудь пожилаго героя—баритона.

Тургеневъ, написалъ не мало стихотвореній на русскомъ языкѣ, г-жа Віардо сочиняла къ нимъ музыку. Тургеневъ для той же цѣли выбиралъ русскія пѣсни, стихотворенія русскихъ поэтовъ...

Это была обаятельная атмосфера эстетическихъ наслажденій, остроумныхъ бесѣдъ, мирныхъ восторговъ чарующими красотами природы.

Можетъ быть, писатель, только что перенесшій столько волненій изъ-за своего лучшаго произведеія, на этотъ разъ чувствовалъ въ душѣ своей покой и, по временамъ, даже тихое счастье. По крайней мѣрѣ, онъ теперь не такъ стремится на родину, онъ даже зимой остается въ своемъ уединеніи, онъ забываетъ жаловаться на одиночество, на недуги наступающей старости, и свѣтъ его душевнаго благополучія льется обильными лучами на всѣхъ его окружающихъ...

Какъ бы ни была покойна и даже счастлива эта жизнь для Тургенева, какъ человѣка,—она приносила несомнѣнный вредъ его творчеству. Цѣлые годы проходили безплодно. Одинъ изъ геніальныхъ художниковъ молчитъ въ то время, когда весь просвѣщенный міръ жадно ждетъ его слова. И самому художнику больно это молчаніе, но оно длится, противъ его воли,—и длится потому, что единственный источникъ вдохновенія—далеко, далеко родина художника, далеко его народъ, его родная природа.

Какое безсмысленное, преступное обвиненіе, будто Тургеневъ не любилъ Россіи, едва ли не презиралъ ея, почти всю жизнь провелъ заграницей, тяготѣя къ западному міру, вмѣсто настоящей русской жизни, подлинныхъ русскихъ людей—сочинялъ какихъ-то международныхъ героевъ!..

Да, слышались и врядъ ли окончательно замолкли и такіе упреки. А между тѣмъ не было еще примѣра, чтобы вымышленные, искусственно-сочиненные образы были долговѣчны, чтобы они вошли въ плоть и кровь народнаго сознанія, чтобы самыя имена ихъ превратились въ типичныя клички.

Русскому писателю, дѣйствительно, суждено было много лѣтъ

провести вдали отъ родины. Но это была въ полномъ смыслѣ разлука съ милой. Та же тоска, та же неутомимая жажда свиданія, то же болѣзненное чувство, когда оно не удается. Письма Тургенева переполнены этими мотивами. Отраду поѣздокъ на родину онъ привозитъ и на чужбину. Каждое такое путешествіе порождаетъ въ его творческомъ духѣ новыя идеи, новые планы. «Никакая печаль», пишетъ иностранецъ, «не могла долго противостоять радостному чувству, испытанному имъ въ отечествѣ—во время пребыванія въ деревнѣ... Онъ увѣрялъ насъ, что нашелъ много прекрасныхъ темъ для будущихъ произведеній и что онъ снова начнетъ писать, не заботясь о томъ, что нарушаетъ данное обѣщаніе».

Каждый годъ Тургеневъ на нѣсколько мѣсяцевъ пріѣзжаетъ домой, и постоянно повторяетъ желаніе — навсегда остаться въ Россіи. Только въ предпослѣдній годъ жизни онъ не въ силахъ совершить обычнаго путешествія. Предсмертный недугъ приковываетъ его къ постели. Больной готовъ помириться со всѣми лишеньями,—но мысль, что онъ не увидитъ родины, угнетаетъ его до послѣдней минуты. Онъ умѣетъ терпѣть и молчать, даже упрашиваетъ друзей—не разспрашивать его о здоровьѣ, свою личную жизнь онъ считаетъ законченной,—но на одну тему онъ неистощимъ...

«Поклонитесь отъ меня дому», пишетъ онъ друзьямъ, «саду, моему молодому дубу—родинѣ поклонитесь, которую я уже, вѣроятно, никогда не увижу».

И такъ безъ конца.

Можно подумать, лирически - настроенный юноша тоскуетъ о своемъ единственномъ утраченномъ счастьѣ. Скажутъ,—это и есть только лиризмъ, поэтическая память сердца. Если бы и такъ, развѣ все это возможно у чужака своей страны, у бѣглеца своего отечества?..

Но здѣсь не одно чувство. Тургеневъ глубже и искреннѣе, чѣмъ всѣ его судьи, сознавалъ вредъ житья заграницей — для своего творчества. Онъ не перестаетъ повторять: «Мое постоянное пребываніе заграницей вредитъ моей литературной дѣятельности, да такъ вредитъ, что, пожалуй, и совсѣмъ ее уничтожитъ». Немного позже та же рѣчь, и еще тоскливѣе:

«Я готовъ допустить, что талантъ, отпущенный мнѣ природою, не умалился, но мнѣ нечего съ нимъ дѣлать. Голосъ остался, да пѣть нечего. Слѣдовательно, лучше замолчать. А пѣть нечего. потому что я живу внѣ Россіи».

За нѣсколько лѣтъ до смерти то же настроеніе: «Чтобы писать, надо жить въ Россіи, — жить я тамъ постоянно не могу, ergo—писать не слѣдуетъ». И Тургеневъ цѣлыми годами не создаетъ ни одного художественнаго произведенія, и приписываетъ это бездѣйствіе заграничной жизни [205]).

Онъ искрененъ съ самимъ собой и съ своими читателями. Только поѣздки въ Россію, жизнь на родинѣ пробуждаютъ его творчество. Онъ это знаетъ и до конца жизни лелѣетъ мечту—навсегда водвориться дома. Чѣмъ ближе конецъ, тѣмъ неохотнѣе покидаетъ онъ Россію, тѣмъ чаще жалобы—на связи съ чужой страной.

И врядъ ли Тургеневу можно было порвать эти связи. Онъ сознавался: «не жить внѣ России по обстоятельствамъ всесильнымъ я не могу»... Онъ утѣшалъ себя, какъ могъ: «Я люблю семейство, семейную жизнь,—но судьба не послала мнѣ собственнаго моего семейства, и я прикрѣпился, вошелъ въ составъ чуждой семьи и случайно выпало, что это семья французская. Съ давнихъ поръ моя жизнь переплелась съ жизнью этой семьи» [206])...

Онъ *прикрѣпился* — и уже не было силъ отстать, хотя въ этихъ прикрѣпахъ не было ни одной нити, исцѣляющей тоску одиночества. Здѣсь глубокая, неизбывная драма; предъ нею должны умолкнуть всякій судъ и осужденіе...

Намъ теперь понятно, почему баденская счастливая жизнь оказалась такой безплодной для литературной дѣятельности Тургенева. Онъ, можетъ быть, испытывалъ временами удовлетвореніе, какъ человѣкъ, но какъ поэтъ—онъ томился жаждой, и его творческія стремленія были скованы. У него пока не было ни впечатлѣній, ни образовъ, а выдумывать онъ считалъ недостойнымъ художника, и былъ не способенъ на фантастическое сочинительство.

---

[205]) *Письма.* 154, 196, 329, 339.

[206]) *Письма.* 196. *Р. Ст.* XL, 207.

Тургеневъ съ совершенной ясностью раскрылъ намъ процессъ своей творческой работы и подтвердилъ общіе выводы фактами.

Онъ не признавалъ, чтобы можно было сочинить при помощи воображенія истинно-художественный образъ, сцену, моментъ. Мастерство художника состоитъ въ томъ, чтобы умѣть «принаблюдать явленіе въ жизни и затѣмъ уже это дѣйствительное явленіе представить въ художественныхъ образахъ».

Въ письмѣ къ одному изъ друзей онъ съ поразительной искренностью объяснилъ свойства своего таланта: «Такъ какъ я въ теченіе моей сочинительской карьеры никогда не отправлялся отъ *идей*, а всегда отъ *образовъ*, — то при болѣе и болѣе оказывающемся недостаткѣ *образовъ* музѣ моей не съ чего будетъ писать свои картинки. Тогда я — кисть подъ замокъ и буду смотрѣть, какъ другіе подвизаются».

Есть извѣстіе, будто Тургеневъ даже точно опредѣлялъ количество дѣйствительныхъ образовъ, необходимыхъ для его творчества: въ теченіе года ему необходимо было сдѣлать пятьдесятъ знакомствъ для изученія типовъ и новыхъ чертъ извѣстнаго характера.

Уже въ концѣ жизни Тургеневъ въ кругу знакомыхъ разсказывалъ, какъ у него создавалось то или другое литературное произведеніе. Онъ прежде всего возставалъ противъ весьма распространеннаго взгляда, будто онъ часто писалъ съ предвзятой мыслью, тенденціозно проводилъ излюбленную идею. Такого рода обвиненія преслѣдовали Тургенева съ перваго его романа до послѣдняго. Тургеневъ на это отвѣчалъ въ высшей степени любопытнымъ объясненіемъ.

«У меня выходитъ литературное произведеніе такъ, какъ растетъ трава.

«Я встрѣчаю, напримѣръ, въ жизни какую-нибудь Өеклу Андреевну, какого-нибудь Петра, какого-нибудь Ивана, и представьте, что вдругъ въ этой Өеклѣ Андреевнѣ, въ этомъ Петрѣ, въ этомъ Иванѣ поражаетъ меня нѣчто особенное—то, чего я не видѣлъ и не слыхалъ отъ другихъ. Я въ него вглядываюсь; на меня онъ или она производитъ особенное впечатлѣніе; вдумываюсь, затѣмъ эта Өекла, этотъ Петръ, этотъ Иванъ удаляются, пропадаютъ

неизвѣстно куда, но впечатлѣніе, ими произведенное, остается, зрѣетъ. Я сопоставляю эти лица съ другими лицами, ввожу ихъ въ сферу различныхъ дѣйствій, и вотъ создается у меня цѣлый особый мірокъ... Затѣмъ, нежданно, негаданно является потребность изобразить этотъ мірокъ, и я удовлетворяю этой потребности съ удовольствіемъ, съ наслажденіемъ.

«Такимъ образомъ никакая *предвзятая тенденція* мною совершенно и никогда не руководитъ» [207]).

Мы не знаемъ, на сколько точно записаны подлинныя слова Тургенева, но только-что приведенное разсужденіе вполнѣ согласно съ прямыми заявленіями Ивана Сергѣевича,—съ его личнымъ разсказомъ, какъ у него создавались извѣстные типы. Разсказъ касается прежде всего *Отцовъ и Дѣтей.*

Въ основаніе главной фигуры, Базарова, болѣе всего возбудившей нареканій на автора, легла поразившая автора личность молодого провинціальнаго врача. Иначе Базарова и не существовало бы, потому что, говоритъ авторъ, «я... никогда не покушался «создавать образъ», если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Не обладая большою долею свободной изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, на которой я бы могъ твердо ступать ногами».

Немало нападали на автора за главу о Ѳомушкѣ и Ѳимушкѣ, но оказалось эта «сѣренькая чета» — личное воспоминаніе автора [208]). Что касается «стариковъ дворянъ», — оригиналовъ для нихъ, какъ мы видѣли, Тургеневъ указывалъ множество. Очевидно, романъ при такихъ условіяхъ выходилъ художественной исторіей дѣйствительности, а не иллюстраціей для какой-либо преднамѣренной идеи. Процессъ творчества свободенъ отъ внѣшнихъ соображеній—и мы знаемъ, съ какимъ постоянствомъ Тургеневъ твердилъ молодымъ писателямъ объ этой свободѣ, считая ее первымъ и основнымъ условіемъ истинно-художественной дѣятельности.

---

[207]) *Ист. В.* XIV, 384. Гаршинъ. *Восп. о Т—вѣ. Письма.* 154. *Р. Ст.* XLII, 395. *И. С. Т—въ въ 1839—82 г.* (записки нѣмца, товарища Т—ва по берлинскому университету). *Р. Ст.* XL, 214.

[208]) *Письма,* 310.

Намъ теперь ясно, почему у Тургенева иные годы бывали такъ «неурожайны». Этотъ фактъ свидѣтельствовалъ не объ усталости и истощеніи таланта, а о недостаткѣ впечатлѣній, встрѣчъ и случаевъ, способныхъ вызвать у автора творческій процессъ. Именно такой періодъ отдѣляетъ романъ *Отцы и Дѣти* отъ романа *Дымъ*.

Дымъ вызвалъ споры и упреки на счетъ тенденціозности, и упреки, даже несравненно болѣе жестокіе, чѣмъ раньше. А между тѣмъ авторъ и при созданіи *сцены* и *героевъ* этого романа не отступилъ отъ прежней программы.

Прежде всего очевидецъ свидѣтельствуетъ, съ какою точностью воспроизведено въ романѣ русское общество, каждое лѣто посѣщающее Баденъ-Баденъ. Даже въ точности описано мѣсто и фонъ дѣйствія [209]). Потомъ самъ авторъ указалъ оригиналы главныхъ героевъ: Губарева, Потугина. Наконецъ, героиня Ирина — имѣла свой прототипъ въ лицѣ нѣкоей la grande mademoiselle [210]).

Всѣхъ этихъ лицъ авторъ видѣлъ и, очевидно, прекрасно изучилъ. Подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній немедленно поднялись творческія силы. Весной 1867 года Тургеневъ пишетъ: «я развиваю ужасающую дѣятельность». Въ это время печатается *Дымъ* въ мартовской книгѣ *Русскаго Вѣстника*.

Романъ, несомнѣнно, весь пропитанъ страстнымъ полемическимъ чувствомъ. Онъ въ этомъ отношеніи единственное произведеніе Тургенева. Спокойное художественное воспроизведеніе дѣйствительности часто прерывается жесткими сатирическими выходками. Эти выходки не противорѣчатъ психологической правдѣ, но уже самый выборъ главнаго героя съ такимъ направленіемъ мысли характеризуетъ настроеніе автора. Бичъ сатиры разитъ двумя концами: однимъ концомъ по аристократической пошлости, другимъ— по тупоумію и самонадѣянности молодежи, нарядившейся въ прогрессивныя идеи. Такая молодежь, какъ увидимъ ниже, до глубины души возмущала Тургенева. Онъ не ограничился сатирой въ романѣ,—въ письмахъ онъ не переставалъ жестоко развѣнчивать

---

[209]) *Иностр. крит.* 169—170. Пичъ.

[210]) *Письма.* 130, 154. *Р. Ст.* XLVII. 508. Тургеневъ объ этой grande mademoiselle упоминаетъ въ письмѣ къ брату отъ 11 н. 1873 года.

глупцовъ и невѣждъ, бьющихъ на эффектъ. Очевидно, многія страницы въ романѣ написаны подъ вліяніемъ страстнаго негодованія на людей, позорящихъ русское имя своими нравственными уродствами.

Но Тургенева приводили въ гнѣвъ не только скудоумныя обезьяны европейскихъ радикальныхъ авторитетовъ. Едва-ли не мучительнѣе для него было другое теченіе русской общественной мысли, китайская самоувѣренность и первобытная національная гордость. Онъ не прощалъ этихъ пороковъ французамъ,—не могъ не указать на нихъ и въ русскомъ обществѣ.

Мы имѣемъ въ виду идеи Потугина на счетъ крайнихъ славянофильскихъ воззрѣній. Переписка Тургенева съ Аксаковыми бросаетъ въ высшей степени любопытный свѣтъ на эти идеи [211]).

Тургеневъ въ пятидесятыхъ годахъ увлекался русскимъ эпосомъ, дѣятельно сообщалъ свои впечатлѣнія С. Аксакову и, случалось, въ русскихъ пѣсняхъ и былинахъ вычитывалъ смыслъ, какого его корреспондентъ и не подозрѣвалъ. Тургеневу это было извѣстно и онъ съ обычной скромностью предоставлялъ послѣднее слово «людямъ знающимъ», т.-е. тому же Аксакову. Тургеневъ въ народномъ творчествѣ черпаетъ матеріалъ для характеристики духа и историческихъ судебъ народа. По его мнѣнію, мало восхищаться красотами пѣсенъ, перечислять ихъ литературныя достоинства,—это значитъ не доканчивать картины. А между тѣмъ она бьетъ въ глаза всякому, кто желаетъ проникнуть въ сущность народнаго міросозерцанія.

Напримѣръ, Тургеневъ говоритъ о любимой славянофильской идеѣ,—о презрѣніи къ Западу, и совѣтуетъ Аксакову почерпнуть истинное поученіе на этотъ счетъ въ былинѣ о Васькѣ Буслаевѣ.

«Мы обращаемся съ Западомъ, какъ Васька Буслаевъ съ мертвой головой», пишетъ онъ Аксакову, «подбрасываемъ его ногой, а сами... Вы помните, Васька Буслаевъ взошелъ на гору, да и сломалъ себѣ въ прыжкѣ шею. Прочтите, пожалуйста, отвѣтъ ему мертвой головы».

Это было писано въ началѣ 1853 года. Четырнадцать лѣтъ спустя Тургеневъ воспроизвелъ ту же самую отповѣдь въ *Дымѣ*.

---

[211]) Письма напечатаны въ *Вѣстникѣ Европы* за 1894 годъ.

Сказаніе о Васькѣ Буслаевѣ, очевидно, глубоко запало въ его память и казалось ему необыкновенно краснорѣчивой исторіей, созданной притомъ самимъ народомъ. Впослѣдствіи онъ писалъ, что авторъ былины о Васькѣ Буслаевѣ въ новый періодъ литературы былъ бы однимъ изъ величайшихъ поэтовъ: столько художественныхъ и національныхъ чертъ въ старинномъ сказаніи!..

Въ романѣ происходитъ бесѣда между Потугинымъ и Литвиновымъ, послѣдняя предъ разлукой. Потугину приходится высказывать въ романѣ не одну задушевную идею автора, но сходство личности писателя съ личностью героя нигдѣ до такой степени не подтверждается *фактически*, какъ въ этой сценѣ.

Потугинъ спрашиваетъ у Литвинова, читалъ ли онъ былину о Васькѣ Буслаевѣ, въ сборникѣ Кирши Данилова, и начинаетъ объяснять своему собесѣднику, что именно онъ, Потугинъ, вычиталъ въ этой книжкѣ.

«Васька Буслаевъ послѣ того, какъ увлекъ своихъ новгородцевъ на богомолье въ Ерусалимъ и тамъ, къ ужасу ихъ, выкупался нагимъ тѣломъ въ святой рѣкѣ Іорданѣ, ибо не вѣрилъ «ни въ чары, ни въ сонъ, ни въ птичій грай»,—этотъ эпическій Васька Буслаевъ взлетаетъ на гору Ѳаворъ, а на вершинѣ той горы лежитъ большой камень, черезъ который всякаго рода люди напрасно пытались перескочить... Васька хочетъ тоже свое счастье извѣдать. И попадается ему на дорогѣ мертвая голова, человѣчья кость; онъ пихаетъ ее ногой. Ну и говоритъ ему голова: «Что ты пихаешься? Умѣлъ я жить, умѣю и въ пыли валяться, — и тебѣ то же будетъ». И точно, Васька прыгаетъ черезъ камень и совсѣмъ-было перескочилъ, да каблукомъ задѣлъ и голову себѣ сломалъ. И тутъ кстати долженъ замѣтить, что друзьямъ моимъ, славянофиламъ, великимъ охотникамъ пихать ногою всякія мертвыя головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься надъ этою былиной».

На этотъ разъ устами Потугина Тургеневъ довелъ толкованіе аллегоріи до конца.

Онъ, очевидно, зналъ, что его ждетъ на родинѣ за такое упорство, чѣмъ встрѣтятъ его искреннюю вѣру въ европейскую цивилизацію. Но, можетъ быть, именно полная увѣренность въ чув-

ствахъ соотечественниковъ и побудила Тургенева вложить столько личной страсти, столько своего гнѣва въ рѣчи героя романа.

За романъ, по словамъ Тургенева, его ругали такъ дружно, какъ никогда и никого. Но авторъ отнюдь не раскаивался въ своей страстности.

«Представьте себѣ,—писалъ онъ Анненкову,—что я нисколько не конфужусь. Я, напротивъ, очень доволенъ появленіемъ моего забитаго Потугина, вѣрующаго единственно въ цивилизацію европейскую въ самый разгаръ этого всеславянскаго фанданго съ кастаньетками, въ числѣ котораго такъ потѣшно кувыркается Погодинъ» [212]).

Но въ глубинѣ негодованія жило безсмертное горячее чувство любви автора къ родинѣ, ежеминутно готовое превратиться въ чувство боли при видѣ тѣней, омрачающихъ достоинство родины, въ чувство ненависти при видѣ соотечественниковъ, унижающихъ имя своей страны, своего народа. Трудно представить съ какою мукой встрѣчалъ Тургеневъ каждый фактъ, недостойный, по его мнѣнію, великаго русскаго народа.

Нѣкоторыя событія турецкой войны въ этомъ смыслѣ являлись для него истиннымъ испытаніемъ. Случайныя неудачи, замедленіе дѣйствій — все до глубины души волновало Тургенева. Одно время онъ пишетъ: «мнѣ хотѣлось бы забиться въ какую-либо нору, чтобы не видѣть никого и ничего не слышать» [213])... Очевидно, здѣсь совершенно естественно могли сливаться два противоположныхъ чувства; о нихъ и говоритъ тургеневскій герой.

Весьма многіе увидѣли только одно чувство—ненависть и не распознали любви. На Тургенева посыпались обвиненія — въ отсутствіи патріотизма, въ преступленіи предъ отечествомъ и русскимъ народомъ.

Во главѣ нападавшихъ оказались два первенствующихъ писателя—Достоевскій и гр. Толстой.

Достоевскій, жившій въ Баденѣ во время выхода въ свѣтъ

---

[212]) Письма къ Анненкову, относящіяся къ этой эпохѣ, въ *В. Евр.* 1887 янв. и февр. и въ *Русск. Обозр.* за 1894 годъ.

[213]) *Письма*, 322.

Дыма, явился къ Тургеневу и заявилъ, что романъ слѣдуетъ сжечь рукой палача, что авторъ романа ненавидитъ Россію, не вѣритъ въ ея будущее. Тургеневъ молча выслушалъ обвинительную рѣчь. Но Достоевскій не удовольствовался ею и написалъ къ издателю *Русскаго Архива* письмо, излагающее преступныя убѣжденія Тургенева. Изложеніе велось отъ лица Тургенева: «я ненавижу Россію» и т. д... Достоевскій просилъ опубликовать письмо не ранѣе 10—15-лѣтняго срока. Издатель журнала написалъ объ этомъ Тургеневу и спрашивалъ, что ему дѣлать съ письмомъ Достоевскаго. Тургеневъ отвѣтилъ, что все это дѣло для него совершенно безразлично... [214]).

Такъ разсказано это происшествіе отчасти въ письмахъ Тургенева, отчасти въ его устныхъ бесѣдахъ. Всѣ ли факты здѣсь вполнѣ точны—трудно ручаться, но несомнѣнно упреки были высказаны Достоевскимъ именно въ такомъ смыслѣ.

Тургеневъ отнесся къ вопросу крайне снисходительно: «это была бы просто-на-просто клевета», писалъ онъ о письмѣ Достоевскаго издателю *Русскаго Архива*, «если бы Достоевскій не былъ сумасшедшимъ, — въ чемъ я нисколько не сомнѣваюсь. Быть можетъ, ему это все померещилось. Но, Боже мой, какія мелкія дрязги».

Но Достоевскій продолжалъ преслѣдованія. Онъ изобразилъ Тургенева, въ романѣ *Бѣсы* въ лицѣ писателя съ предосудительными нравственными качествами и убѣжденіями. Тургеневъ и на этотъ разъ не утратилъ обычнаго спокойнаго и терпимаго взгляда на своихъ враговъ. «Мнѣ сказывали, что Достоевскій «вывелъ» меня», писалъ онъ, «что жъ! пускай забавляется!» Тургеневъ только изумлялся, за что его ненавидитъ авторъ *Бѣдныхъ людей*? «Я ничѣмъ не заслужилъ этой ненависти. Но безпричинныя страсти, говорятъ, самыя сильныя и продолжительныя». Этими объясненіями и ограничился Тургеневъ. У него были письма Достоевскаго, ими онъ могъ подорвать вліяніе его сатиры и даже его авторитетъ. «Вотъ было бы забавно напечатать ихъ!» восклицаетъ Тургеневъ и здѣсь же прибавляетъ: «Но онъ знаетъ, что

---

[214]) *Письма*, 194. *Ист. В.* XIV, 387 (Е. Гаршинъ). *Письма*, 208.

я этого не сдѣлаю. Мнѣ остается сожалѣть, что онъ употребляетъ свой несомнѣнный талантъ на удовлетвореніе такихъ нехорошихъ чувствъ; видно, онъ мало цѣнитъ его, коли унижаетъ до памфлета».

Фигура Кармазинова, изображавшая, по замыслу Достоевскаго, его соперника, дѣйствительно, заставляетъ такой замыселъ признать памфлетомъ, результатомъ глубокой ненависти. Откуда она? Тургеневъ писалъ, будто Достоевскій возненавидѣлъ его еще въ то время, когда они оба были молоды и начинали литературную карьеру.

Въ *Воспоминаніяхъ* г. Григоровича и въ письмахъ Бѣлинскаго разсказано зарожденіе этого чувства. Еще былъ живъ Бѣлинскій и онъ отчасти былъ причиной злобы Достоевскаго на цѣлый кружокъ писателей-сверстниковъ. Бѣлинскій восторженно встрѣтилъ романъ Достоевскаго *Бѣдные люди*, провозгласилъ, что появилось новое свѣтило въ русской литературѣ. Тургеневъ раздѣлялъ восторги своего друга. Но эти восторги быстро охладѣли.

Произведенія, явившіяся послѣ *Бѣдныхъ людей*, повергли Бѣлинскаго въ негодованіе: критикъ горько сѣтовалъ на свое преждевременное увлеченіе. Въ февралѣ 1848 года онъ писалъ Анненкову: «Достоевскій написалъ повѣсть *Хозяйка*—ерунда страшная! Въ ней онъ хотѣлъ помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немного Гоголя. Онъ еще кое-что написалъ послѣ того, но каждое его новое произведеніе—новое паденіе. Въ провинціи его терпѣть не могутъ, въ столицѣ отзываются враждебно даже о *Бѣдныхъ людяхъ*. Я трепещу при мысли перечитать ихъ,—такъ легко читаются они! Надулись же мы, другъ мой, съ Достоевскимъ—геніемъ. О Тургеневѣ не говорю: онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мнѣ, старомъ чортѣ, безъ палки нечего и толковать».

Друзья Бѣлинскаго и на этотъ разъ послѣдовали за нимъ. Это должно было крайне сокрушать Достоевскаго, человѣка крайне впечатлительнаго и самолюбиваго. Необщительный и раньше, онъ теперь весь замкнулся въ себя и сдѣлался раздражительнымъ до послѣдней степени. Писатели, близко стоявшіе къ Бѣлинскому, стали ему ненавистны. Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій писалъ: Достоевскій «глубоко убѣжденъ, что все человѣчество завидуетъ ему и преслѣдуетъ его».

Столкновеніе произошло именно съ Тургеневымъ. По словамъ г. Григоровича, Достоевскій при встрѣчѣ съ другомъ Бѣлинскаго, далъ полную волю накипѣвшему негодованію, сказалъ, что «никто изъ нихъ ему не страшенъ,—дай только время, онъ всѣхъ ихъ въ грязь затопчетъ» [215]).

Послѣ этой встрѣчи послѣдовалъ окончательный разрывъ между кружкомъ Бѣлинскаго и Достоевскимъ. Среди писателей ходило не мало эпиграммъ на самолюбіе и зависть автора *Бѣдныхъ людей*. Все это, конечно, только разжигало раздоръ. Съ теченіемъ времени злобныя чувства, повидимому, улеглись или были подавлены,—по крайней мѣрѣ относительно Тургенева.

Въ періодъ появленія романа *Отцы и Дѣти* происходитъ оживленный обмѣнъ писемъ между Тургеневымъ и Достоевскимъ. Послѣдній приглашаетъ Тургенева въ сотрудники своего журнала—*Время*. Тургеневъ принимаетъ приглашеніе, восхищается *Записками изъ мертваго дома*. Въ свою очередь Достоевскій даетъ благопріятный отзывъ объ *Отцахъ и Дѣтяхъ* и своей характеристикой Базарова приводитъ Тургенева въ восторгъ: по его мнѣнію, этотъ типъ только и поняли два человѣка—Достоевскій и В. Боткинъ. Но согласіе процвѣтало недолго. Причиной новаго взрыва было, можетъ быть, отчасти не особенно усердное выполненіе обѣщаній, какія Тургеневъ много разъ давалъ на счетъ сотрудничества въ журналѣ Достоевскаго, можетъ быть, денежныя отношенія:—Достоевскій одно время состоялъ должникомъ Тургенева, и этому факту придаетъ извѣстное значеніе самъ Тургеневъ... Но главная причина, вѣроятно, безпримѣрный успѣхъ *Отцовъ и Дѣтей*... [216]).

---

[215]) *Анненковъ и его друзья*. 610. Григоровичъ. *Русск. М.* янв. 1883, 13. Достоевскій разсказалъ объ эпизодѣ съ *Бѣдными людьми* въ *Дневникѣ писателя* (Январь 1877), ни словомъ не упоминая о Тургеневѣ. *Бѣсы* были напечатаны въ *Русскомъ Вѣстникѣ* за 1871—1872 годъ, т. е. два года спустя послѣ отказа Т—ва отъ сотрудничества въ этомъ журналѣ и угрозъ Каткова—отомстить ему за отказъ. Достоевскій употребилъ всѣ усилія, чтобы читатели въ его Кармазиновѣ признали Т—ва: до такой степени грубо и въ высшей степени злостно пародируются въ романѣ произведенія Ивана Сергѣевича, его голосъ, его манера говорить, его публичныя чтенія, его «западничество, его отношенія къ современной молодежи.

[216]) *Письма*. 116, 121. *Ист. В.* XIV, 387.

Появился *Дымъ*—и Достоевскому представился удобный случай излить свои чувства. Мы видѣли, какъ Тургеневъ встрѣтилъ критику и пародію Достоевскаго. У него врядъ ли надолго осталось чувство негодованія. Весной 1877 года онъ рѣшается первый писать Достоевскому, рекомендуя ему француза,—составителя монографій о выдающихся представителяхъ русской словесности. Въ этой рекомендаціи читаемъ:

«Я рѣшился написать вамъ это письмо, не смотря на возникшія между нами недоразумѣнія, вслѣдствіе которыхъ наши личныя отношенія прекратились. Вы, я увѣренъ, не сомнѣваетесь въ томъ, что недоразумѣнія эти не могли имѣть никакого вліянія на мое мнѣніе о вашемъ первоклассномъ талантѣ и о томъ высокомъ мѣстѣ, которое вы по праву занимаете въ нашей литературѣ» [217]).

Несомнѣнно, въ талантѣ Достоевскаго были черты, которымъ Тургеневъ не могъ сочувствовать. Онъ не допускалъ въ романѣ слишкомъ подробнаго психологическаго анализа и порицалъ поэтому многія мѣста въ романѣ *Преступленіе и наказаніе*. Тургеневу было ненавистно все, что сколько-нибудь напоминало современный натурализмъ и даже въ художественномъ произведеніи, въ *Наканунѣ*—устами художника Шубина—счелъ умѣстнымъ выразить негодованіе на «новѣйшихъ эстетиковъ», предоставляющихъ художнику «завидное право воплощать въ себѣ всякія мерзости, возводя ихъ въ перлъ созданія». И Тургеневъ, естественно, съ особенной рѣзкостью отзывался о пристрастіи Достоевскаго къ психологическому натурализму, часто столь мучительному для читателей [218]).

Помимо этихъ ограниченій, Тургеневъ не думалъ отрицать таланта у своего сверстника, и пожертвованіе на памятникъ Достоевскаго, при первомъ извѣстіи о смерти писателя, конечно, не свидѣтельствовало о презрѣніи къ дарованію покойнаго.

Съ Достоевскимъ во мнѣніи о *Дымѣ*, въ общихъ чертахъ сошлись другіе два писателя — Фетъ и гр. Толстой. Подлиннаго отзыва Фета мы не знаемъ, но гр. Толстой въ письмѣ къ нему

---

[217]) *Письма*. 315.

[218]) Фетъ. II, 88. *Письма*. 497.

говоритъ о тождествѣ своего взгляда съ фетовскимъ. Оба судятъ на основаніи *ума сердца*—терминъ, изобрѣтенный Фетомъ и вызвавшій благодарность его корреспондента. Въ результатѣ—смертельный приговоръ литературной дѣятельности Тургенева.

Гр. Толстой пишетъ:

«Въ *Дымѣ* нѣтъ ни къ чему почти любви и нѣтъ почти поэзіи. Есть любовь только къ прелюбодѣянію легкому и игривому, и потому поэзія этой повѣсти противна. Вы видите — это то же, что вы пишете. Я боюсь только высказывать это мнѣніе, потому что я не могу трезво смотрѣть на автора, личность котораго не люблю; но, кажется, мое впечатлѣніе общее всѣмъ. Еще одинъ кончилъ. Желаю и надѣюсь, что никогда не придетъ мой чередъ. И о васъ тоже думаю» [219]).

Гр. Толстой отчасти правъ, разсчитывая, что его впечатлѣніе раздѣляли если не всѣ, то очень многіе. Въ петербургскомъ обществѣ большой успѣхъ имѣла слѣдующая эпиграмма:

И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ!—
Намъ вѣкъ минувшій говоритъ.
Вѣкъ нынѣшній и въ солнцѣ ищетъ пятенъ,
И смраднымъ *Дымомъ* онъ отечество коптитъ [220]):

Эта эпиграмма могла быть местью со стороны высшаго свѣта, оскорбленнаго въ лицѣ курортныхъ генераловъ. Извѣстная часть «прогрессивной молодежи» не могла оставаться равнодушной къ другимъ героямъ романа — всѣмъ этимъ Губаревымъ, Ворошиловымъ, Пищалкинымъ. Независимо отъ оскорбленія самолюбій— воинственный тонъ романа долженъ былъ поднять войну, еще болѣе жестокую, чѣмъ спокойно и безпристрастно разсказанная повѣсть объ *Отцахъ и дѣтяхъ*.

И война поднялась.

Въ общемъ противники Тургенева повторяли идеи, уже знакомыя намъ послѣ критическихъ отзывовъ Достоевскаго, Фета, гр. Толстого. Присоединялись, конечно, и личные, часто въ высшей степени недостойные навѣты въ родѣ тѣхъ, какіе были

---

[219]) Фетъ. II, 121.
[220]) *Ист. В.* XLVII, 141. Галаховъ.

вызваны Рудинымъ [221]). Тургеневъ, очевидно, сталъ уже привыкать къ такимъ выходкамъ: по крайней мѣрѣ, онъ не перестаетъ увѣрять своихъ друзей, что онъ вполнѣ равнодушенъ къ суду критики. «Что же касается до критикъ», пишетъ онъ, «то я, грѣшный человѣкъ, питаю къ нимъ довольно большое равнодушіе, и не потому, чтобы я былъ убѣжденъ, что они неправы: напротивъ, я почти всякій разъ соглашаюсь съ моимъ распекателемъ,— но я слишкомъ уже старъ, чтобы передѣлать себя; тѣ, которымъ я по вкусу, должны меня глотать вмѣстѣ съ моими грѣхами» [222]).

Но это равнодушіе, повидимому, не особенно легко дается писателю. Та или другая выходка «молодыхъ критиковъ» по временамъ все-таки раздражаетъ Тургенева, и въ самомъ заявленіи о равнодушіи слышится гнѣвная нота. «А что касается до лая мальчишекъ», пишетъ Тургеневъ, «пускай они потѣшаются... Это только доказываетъ, что мы подвигаемся впередъ. И пятокъ-то они не укусятъ». Пусть какъ угодно его поносятъ, прибавляетъ онъ въ другомъ письмѣ, онъ «и ухомъ не поведетъ, и палецъ о палецъ не ударитъ».—«Все это суета суетствій» [223]).

Наконецъ, Тургеневъ краснорѣчивѣйшимъ образомъ доказываетъ вѣрность своему прежнему взгляду: «мнѣніемъ молодежи нельзя не дорожить». Онъ пишетъ знаменитую статью *по поводу Отцовъ и дѣтей* уже послѣ «Дыма», въ самый разгаръ нападокъ «молодыхъ людей».

Авторъ старается разъяснить недоразумѣнія и опровергнуть несправедливые упреки и, обращаясь къ своимъ юнымъ современникамъ, къ своимъ собратьямъ, заканчиваетъ любовнымъ напутственнымъ словомъ ихъ дѣятельность. Прославленный писатель произносилъ это слово не наставническимъ тономъ—онъ даже не признавалъ за собой права на такой тонъ,—а «тономъ стараго друга». Онъ зачислялъ себя въ число ветерановъ, обязанныхъ очистить путь «новымъ людямъ». «Благо тѣмъ», восклицалъ онъ,

---

[221]) *Письма*. 136: «какой-то баринъ, нисколько не стѣсняясь, увѣряетъ, что я для своего оскорбленнаго самолюбія пожертвовалъ... честью». Такой выводъ Т—въ дѣлаетъ изъ цитаты, сообщенной ему Полонскимъ.

[222]) *Письма*. 133.

[223]) *Р. Ст.* XLVII, 325. *Письма*. 160.

«которые вовремя умѣютъ сами подать въ отставку». Авторъ одного хотѣлъ,—отстоять свое произведеніе, устранить всѣ недоразумѣнія и недомолвки. Цѣль, скромнѣе этой, трудно представить...

И все-таки статью постигла та же участь, какой подверглись романы Тургенева. Самъ авторъ заявляетъ объ этомъ фактѣ: «Оказывается, что всѣ недовольны моей статейкой *по поводу Отцовъ и дѣтей*. Изъ этого я вижу, что не всегда слѣдуетъ говорить правду; ибо каждое слово въ этой статейкѣ—сама истина, въ отношеніи ко мнѣ, разумѣется» [224]).

Съ этого времени Тургеневъ больше не вступаетъ съ публикой въ критическія бесѣды о своей литературной дѣятельности. Имъ на нѣкоторое время овладѣваетъ, дѣйствительно, полное равнодушіе къ общественному мнѣнію. Онъ сторонится отъ полемики и всевозможныхъ пререканій. Ему приходится отъ близкихъ знакомыхъ слышать непріятныя, ложныя мнѣнія, но онъ оставляетъ ихъ безъ энергическаго горячаго протеста, столь обычнаго въ былое время. «Къ сожалѣнію», пишетъ онъ, «я уже попрежнему спорить не могу и не умѣю; флегма одолѣла до того, что нѣсколько разъ въ день приходится съ нѣкоторымъ усиліемъ расклеивать губы, слипшіяся отъ долгаго молчанія» [225]).

Но какъ бы глубока ни была эта флегма, Тургеневъ не можетъ не жить вопросами, завладѣвшими всей его жизнью и мыслью,—вопросами объ искусствѣ, о художественной дѣятельности. Вопросы эти разрѣшаются сообразно съ господствующимъ настроеніемъ и пережитымъ опытомъ. Онъ, кромѣ того, находитъ отвѣты у художника, своего учителя.

Тургеневъ въ теченіе всей своей жизни съ безграничнымъ уваженіемъ относился къ имени и генію Пушкина. «На смертномъ одрѣ», разсказываетъ иностранецъ, «онъ высказалъ своимъ друзьямъ, что желалъ бы лежать возлѣ Пушкина, но что онъ чувствуетъ себя недостойнымъ такой великой чести и что такое желаніе слишкомъ дерзновенно съ его стороны» [226]). Въ торжественныя

---

[224]) *Письма*. 168.

[225]) Фетъ. II, 207.

[226]) Рольстонъ. *Иностр. крит.* 190.

минуты жизни Тургеневъ называлъ себя «ученикомъ Пушкина», и это право — мы видѣли — признали за нимъ даже его противники [227]).

Романиста, конечно, привлекалъ къ великому поэту прежде всего художественный геній. Но и личная жизнь Тургенева представила не мало чертъ и положеній, невольно напоминающихъ біографію Пушкина. Авторъ *Евгенія Онѣгина* также испыталъ, что значитъ произнести «новое слово» среди публики, пока неспособной воспринять его. Онъ не разъ слышалъ и «судъ глупца» и «смѣхъ толпы холодной», и изливалъ свой гнѣвъ въ бурныхъ исполненныхъ презрѣнія рѣчахъ. Его ученикъ переживалъ такія же минуты. Развѣ могъ онъ не вспоминать о своемъ учителѣ— теперь—болѣе чѣмъ когда-либо?..

И онъ вспомнилъ.

Нѣсколько позже того періода, о которомъ говоримъ мы, возникло стихотвореніе въ прозѣ—*Услышишь судъ глупца.* Но время не имѣетъ здѣсь значенія. Стихотвореніе прекрасно характеризуетъ образъ мыслей Тургенева въ концѣ шестидесятыхъ годовъ,— оно даетъ намъ гораздо больше: объясняетъ отношеніе Тургенева къ виновникамъ всѣхъ своихъ огорченій на поприщѣ литературной дѣятельности.

Мы должны вспомнить это стихотвореніе съ буквальной точностью. Здѣсь каждая строка — яркій лучъ свѣта, озаряющій нравственный міръ художника и человѣка.

«Услышишь судъ глупца»... Ты всегда говорилъ правду, великій нашъ пѣвецъ; ты сказалъ ее и на этотъ разъ.

«— Судъ глупца и смѣхъ толпы... Кто не извѣдалъ и того и другого?

«Все это можно—и должно переносить; а кто въ силахъ пусть презираетъ!

«Но есть удары, которые больнѣе бьютъ по самому сердцу... Человѣкъ сдѣлалъ все, что могъ, работалъ усиленно, любовно, честно... И честныя души гадливо отворачиваются отъ него; честныя лица загораются негодованіемъ при его имени. «Удались!

[227]) *Письма.* 346.

Ступай вонъ!»—кричатъ ему честные, молодые голоса.—«Ни ты намъ не нуженъ, ни твой трудъ, ты оскверняешь наше жилище—ты насъ не знаешь и не понимаешь... Ты нашъ врагъ!»

«Что тогда дѣлать этому человѣку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться—и даже не ждать болѣе справедливой оцѣнки.

«Нѣкогда землепашцы проклинали путешественника, принесшаго имъ картофель, замѣну хлѣба, ежедневную пищу бѣдняка... Они выбивали изъ протянутыхъ къ нимъ рукъ драгоцѣнный даръ, бросали его въ грязь, и топтали ногами.

«Теперь они питаются имъ—и даже не вѣдаютъ имени своего благодѣтеля,

«Пускай! На что имъ его имя? онъ и безъимянный спасаетъ ихъ отъ голода.

«Будемъ стараться только о томъ, чтобы приносимое нами было точно полезною пищей.

«Горька неправая укоризна въ устахъ людей, которыхъ любишь... Но перенести можно и это.

«Бей меня! но выслушай!»—говорилъ аѳинскій вождь спартанскому.

«Бей меня, но будь здоровъ и сытъ!»—должны говорить мы.

Въ этомъ стихотвореніи заключается объясненіе художественныхъ и общественныхъ стремленій не одного Тургенева: здѣсь мы читаемъ отвѣтъ на столь обычные упреки, звучавшіе когда-то и до сихъ поръ не замолкшіе окончательно, противъ «учителя», противъ Пушкина. Въ заявленіяхъ поэта, сорвавшихся съ его устъ въ минуты гнѣва, на тупоуміе и равнодушіе толпы, хотѣли видѣть символъ вѣры художника-жреца, идущаго своей дорогой въ сторонѣ отъ людскихъ интересовъ, вдали отъ горя и радостей своихъ соотечественниковъ. Какъ опрометчивы и несправедливы эти упреки! Было бы удивительно, если бы преобразователи—въ какой бы то ни было области духовнаго развитія—не испытывали по временамъ разочарованія, гнѣва на своихъ современниковъ. Именно это настроеніе и свидѣтельствуетъ о томъ, что цѣли и замыслы художника или мыслителя дѣйствительно велики и новы: толпа привѣтствуетъ съ первой же минуты только то,

что уже давно составляетъ ея достояніе, что ей доступно безъ всякихъ усилій мысли, что отдаетъ запахомъ ея будней, ея мертваго инертнаго существованія. «Судъ глупца» и «смѣхъ толпы холодной» часто поражаютъ именно то, чего не въ силахъ понять ни глупецъ, ни толпа. Геній всегда выше своихъ современниковъ, онъ всегда можетъ повторить, въ началѣ своего поприща, гордыя, но справедливыя слова шиллеровскаго идеалиста:

Я—гражданинъ грядущихъ поколѣній!..

Таковъ смыслъ стихотвореній Пушкина о поэтѣ-царѣ и презрѣнной черни. Но идейный практическій выводъ и здѣсь такой же, какъ и въ тождественномъ произведеніи ученика:

«Бей меня—но будь здоровъ и сытъ...»

Эти слова обращаются къ той же толпѣ, и дѣятельность великихъ художниковъ совершается подъ этимъ девизомъ, совершается необходимо, стихійно, въ силу величія художниковъ, сколько бы терній ни встрѣчалось на ихъ пути и какой бы судъ они ни слышали отъ толпы, ими благодѣтельствуемой.

Все это съ поразительной точностью оправдывается жизнью и дѣятельностью Тургенева.

Онъ, утомленный борьбой, не видя успѣха своихъ искреннѣйшихъ усилій — объяснить свои цѣли и идеи — невольно вспоминаетъ драму, когда-то пережитую его учителемъ. «Что касается до литературной дѣятельности вообще», пишетъ онъ другу, «то должно каждому непремѣнно и неуклонно идти своей дорогой спокойно, и, по мѣрѣ возможности, зорко глядя кругомъ. Само дѣло покажетъ, правъ ли ты, а пока перечитывай пушкинскаго *Поэта:* «Поэтъ, не дорожи любовію народной» и т. д.

Позже Тургеневъ разбиралъ отношеніе публики къ его отдѣльнымъ произведеніямъ, и приходилъ въ изумленіе отъ ея неожиданныхъ приговоровъ. Напримѣръ, *Пѣснь торжествующей любви*, написанная, повидимому, не для большинства читателей, имѣла «чуть не огромный успѣхъ». «Выводъ изъ этого такой», разсуждалъ Тургеневъ, «пиши, что тебѣ на душу придетъ, не справляясь заранѣе съ мнѣніями публики. Впрочемъ, я долженъ отдать себѣ справедливость, что я такъ и поступалъ до сихъ поръ. Да и какъ это писать для публики?»

Эти разсужденія находили опору въ непоколебимой увѣренности Тургенева, что дѣйствительно талантливое рано или поздно непремѣнно будутъ признано. Онъ любилъ повторять изреченіе Бѣлинскаго: «каждый рано или поздно попадаетъ на свою полочку». «Въ концѣ концовъ», пишетъ Тургеневъ, «никто не можетъ выдать себя за нѣчто большее, чѣмъ онъ есть въ самомъ дѣлѣ, точно также не бываетъ, чтобъ что-нибудь, дѣйствительно существующее, не было признано... современемъ» [228]).

Очевидно, при такой вѣрѣ Тургеневъ не могъ питать злобнаго чувства противъ молодого поколѣнія. Онъ ждалъ и надѣялся и, какъ увидимъ, дѣйствительно дождался. А пока онъ повторялъ свое:

«Бей меня, но будь здоровъ и сытъ».

Врядъ ли какому-либо предмету, за исключеніемъ развѣ народа, Тургеневъ посвящалъ больше и «тайныхъ думъ», и любовныхъ заботъ, чѣмъ молодежи. Эти думы и заботы стоятъ въ тѣснѣйшей связи съ тѣмъ же Базаровымъ. Ни одинъ герой, ни одно художественное созданіе не причинило автору столько огорченій, сколько этотъ «нигилистъ», и между тѣмъ именно этотъ образъ вызывалъ особенно глубокое чувство у своего творца.

Еще въ половинѣ семидесятыхъ годовъ Тургеневу повторяли старые упреки на счетъ его коварныхъ замысловъ при созданіи Базарова. Упреки часто приводили Тургенева въ страшный гнѣвъ. Одной дамѣ онъ написалъ такую отповѣдь: «Какъ? и вы, вы говорите, что я въ Базаровѣ хотѣлъ представить каррикатуру на молодежь. Вы повторяете этотъ... извините безцеремонность выраженія—безсмысленный упрекъ! Базаровъ, это мое любимое дѣтище, изъ-за котораго я разсорился съ Катковымъ, на котораго я потратилъ всѣ находящіяся въ моемъ распоряженіи краски. Базаровъ — этотъ умница — этотъ герой — каррикатура?!? Но, видно, тутъ ничего не подѣлаешь. Какъ Луи Блана обвиняютъ въ томъ, что онъ завелъ народныя мастерскія (ateliers nationaux), такъ и мнѣ навязываютъ желаніе уязвить молодежь каррикатурой! Я давно уже съ презрѣніемъ отношусь къ этой клеветѣ; не ожидалъ

---

[228]) *Письма.* 131, 399, 134.

я, что мнѣ придется возобновить въ себѣ это чувство, читая ваше письмо» [229]).

Немного спустя ему снова пришлось заговорить о Базаровѣ и коснуться молодого поколѣнія. Онъ снова повторяетъ, что никакой предвзятой мысли, никакой тенденціи у него не было: «Я писалъ наивно, словно самъ дивясь тому, что у меня выходило».—«Скажите по совѣсти», обращается онъ къ Салтыкову, «развѣ кому-нибудь можетъ быть обидно сравненіе съ Базаровымъ? Не сами ли вы замѣчаете, что это самая симпатичная изъ всѣхъ моихъ фигуръ? «Тонкій нѣкій запахъ» присочиненъ читателями».

Вспомнимъ,—Тургеневъ въ статьѣ *По поводу «Отцовъ и дѣтей»* открыто заявлялъ, что онъ раздѣляетъ «почти всѣ убѣжденія Базарова», «за исключеніемъ воззрѣній на художество». Но въ томъ же письмѣ къ Салтыкову онъ готовъ сознаться, что ему, пожалуй, слѣдовало отступить отъ «художественной правды». «Писатель во мнѣ долженъ былъ принести эту жертву гражданину». Въ чемъ должны были заключаться это отступленіе и эта жертва и возможны ли они были у такого художника—трудно судить. Тургеневъ ограничивается общимъ заявленіемъ: онъ «не имѣлъ права давать нашей реакціонной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя». Можно подумать, весь вопросъ состоялъ въ терминѣ «нигилистъ», которымъ—мы видѣли—дѣйствительно многіе съумѣли воспользоваться къ величайшему вреду для автора, его произведенія и его дѣйствительныхъ воззрѣній. Но врядъ ли—устранить кличку значило предотвратить бурю. Молодежь нападала на Тургенева независимо отъ навѣтовъ реакціи и независимо отъ злополучной клички.

Какъ бы то ни было, Тургеневъ готовъ признать справедливыми и отчужденіе отъ него молодежи и всяческія нареканія, но не придаетъ имъ рѣшающаго значенія: «кто знаетъ», пишетъ онъ, «мнѣ, быть можетъ, еще суждено зажечь сердца людей». Эта надежда выражается въ совершенно реальной формѣ: Тургеневъ хочетъ написать большой романъ, и здѣсь разсчитываетъ разъяснить многія недоумѣнія и опредѣлить свое положеніе [230]).

---

[229]) *Р. Ст.* XL, 223.
[230]) *Письма.* 278.

Тургеневъ охотно заводитъ рѣчь о молодомъ поколѣніи, о дѣятеляхъ, только-что выступающихъ на сцену. Его сочувствіе всецѣло на сторонѣ этихъ новичковъ. Онъ готовъ съ восторгомъ привѣтствовать новый талантъ. Онъ многое прощаетъ молодости, потому что вполнѣ понимаетъ ее: самоувѣренность, преувеличеніе, извѣстнаго рода фраза и поза, даже нѣкоторый цинизмъ, рѣзкія мнѣнія и угловатыя формы — все это Тургеневъ считаетъ неизбѣжной принадлежностью молодости и относится къ ея мимолетнымъ недостаткамъ и заблужденіямъ съ отеческою терпимостью. Онъ «шапку ломаетъ» предъ молодыми людьми, если только чувствуетъ въ нихъ дѣйствительное присутствіе силы, таланта, ума. Онъ такого рода будущимъ дѣятелямъ уступаетъ «честь и мѣсто», первый радуется «приливу новыхъ силъ», сопровождаетъ успѣхи юноши горячимъ восклицаніемъ: «Впередъ, молодое поколѣніе!» [231]).

Впрочемъ, всѣ эти рѣчи, всѣ эти привѣтствія давно должна была знать русская молодежь. Еще устами одного изъ раннихъ героевъ—Лаврецкаго—Тургеневъ обратился къ грядущимъ поколѣніямъ съ такимъ напутствіемъ:

«Играйте, веселитесь, ростите, молодыя силы. Жизнь у васъ впереди; вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!.. А вамъ надобно дѣло дѣлать, работать,—и благословеніе нашего брата старика будетъ съ вами»..

«И не было горечи въ его душѣ», замѣчаетъ авторъ.

То же самое онъ могъ сказать и о своихъ думахъ.

Одного только не могъ простить Тургеневъ молодежи: невѣжества, самонадѣянной бездарности, пошлаго самообожанія. А такихъ «новыхъ людей» нарождалось не мало съ каждымъ днемъ. Тургеневу приходилось разсуждать о всякихъ непризнанныхъ геніяхъ, о ничтожностяхъ, взводимыхъ на пьедесталъ въ томъ или другомъ изъ многочисленныхъ отечественныхъ муравейниковъ.

Объ одномъ изъ такихъ «русскихъ Лео» Тургеневъ писалъ: «Это опьяненіе самообожанія рядомъ съ изумительной бездарно-

---

[231]) *Русск. Ст.* XL, 223, 224. *Письма*, 187.

стью!.. Этотъ догматическій тонъ при такомъ невѣжествѣ! все это просится въ каррикатуру. И замѣтьте—меня нисколько не смущаетъ рѣзкость мнѣній; меня изумляетъ эта пустота, воображающая, что она «на 20-мъ году жизни уже разрѣшила всѣ вопросы науки и жизни».., Изъ молодыхъ людей, подобныхъ ***, никогда ничего не выходитъ. Откиньте всѣ его разглагольствованія о собственной особѣ подъ предлогомъ *идеи* и вы удивитесь, какой тамъ останется нуль».

Тургеневъ издѣвается надъ торжественными пріемами бездарнаго риемоплета: онъ сочинилъ двѣнадцать, никуда негодныхъ стишковъ, и съ одной стороны выставляетъ число, когда онъ ихъ задумалъ, а съ другой—число, когда онъ свершилъ это великое дѣло [232]).

Иной образъ новаго дѣятеля рисовался Тургеневу—дѣятеля сознающаго свои силы и наклонности, скромнаго, мужественнаго, готоваго даже на незамѣтное дѣло, лишь бы оно было цѣнно въ общественномъ смыслѣ. Великій писатель въ концѣ своей жизни и многотрудной творческой дѣятельности высказывалъ глубокое убѣжденіе, что стремленія къ *общему* идеалу безплодны,—слѣдуетъ искать идеала *спеціальнаго*, указываемаго человѣку его «прирожденной способностью, талантомъ, говоря прямо, охотой, расположеніемъ къ извѣстному дѣлу». А такого рода *талантъ* есть у всякаго, только не всякій умѣетъ пользоваться имъ. «Многіе либо не стараются сознать его, либо находятъ его слишкомъ мелкимъ или недостойнымъ того, чтобы посвятить ему свою дѣятельность, и въ этомъ заключается большая ошибка. Спеціальный идеалъ не только не противорѣчитъ общему, но оплодотворяется имъ и взаимно даетъ ему жизнь» [233]).

Не легко пылкой, романтически-настроенной молодости помириться съ скромнымъ назначеніемъ въ жизни. А между тѣмъ, это часто единственный полезный и идеальный путь. Тургеневъ неоднократно останавливается на этомъ вопросѣ, и желаетъ новымъ дѣятелямъ «бодрости, спокойствія и терпѣнія», особенно

---

[232]) *Письма*, 416.
[233]) *Р. Ст.* XL, 240—2.

терпѣнія: оно—по мнѣнію Тургенева—нужно особенно въ Россіи и именно молодымъ людямъ.

Терпѣніе—такая незамѣтная, непоэтическая добродѣтель. Здѣсь героизмъ не бросается въ глаза яркимъ блескомъ, здѣсь мало привлекательнаго для юныхъ мечтателей. Но Тургеневъ настаивалъ на самопожертвованіи, на дѣятельности—мирной, будничной, негероической. Въ семидесятыхъ годахъ такой взглядъ овладѣлъ писателемъ окончательно. Онъ вспоминалъ о своемъ любимомъ героѣ—Базаровѣ—какъ о романтическомъ образѣ, давно исчезнувшемъ въ дѣйствительности. Поколѣніе, проходившее предъ глазами писателя, общій строй жизни, наблюдаемый имъ,—все говорило объ иныхъ людяхъ и иныхъ подвигахъ.

Можетъ быть, творецъ блестящихъ, сильныхъ, оригинальныхъ образовъ рисовалъ пути, не особенно лестные для нашего времени, но человѣку, пережившему эпоху шестидесятыхъ годовъ, позднѣйшіе годы могли казаться удручающимъ затишьемъ и новые люди, въ сравненіи съ молодыми дѣятелями прошлаго, производили впечатлѣніе скромное и будничное.

Одна дама писала Тургеневу, что среди современной молодежи нѣтъ такихъ сильно-организованныхъ личностей, какою изображенъ Базаровъ. Она искала Базарова, не въ буквальномъ смыслѣ, не «нигилиста», а просто юношу, на столько же оригинальнаго, откровеннаго, смѣлаго. Тургеневъ отвѣчалъ:

«Времена перемѣнились: теперь Базаровы не нужны. Для предстоящей общественной дѣятельности не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго; нужно трудолюбіе, терпѣніе; нужно умѣть жертвовать собою безъ всякаго блеска и треска; нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы—я беру слово: жизненной — въ смыслѣ простоты, безхитростности, terre à terr'a. Что можетъ быть, напримѣръ, жизненнѣе учить мужика грамотѣ, помогать ему, заводить больницы и т. д. На что тутъ таланты и даже ученость? Нужно одно сердце, способное жертвовать своимъ эгоизмомъ—тутъ даже о призваніи говорить нельзя... Чувство долга, славное чувство патріотизма въ истинномъ смыслѣ этого слова—вотъ все, что нужно».

Тургеневъ, очевидно, увлекся своей идеей и слишкомъ во многомъ отказалъ будущимъ поколѣніямъ. Врядъ ли когда-либо наступаютъ такія эпохи, когда безличные, ординарные люди полезнѣе выдающихся и даровитыхъ, когда даже «не особенно» умные являются образцовыми дѣятелями. Кромѣ того, учить мужика грамотѣ, помогать ему—едва ли возможно *безъ призванія*, если, конечно, и то, и другое будетъ выполняться честно и сознательно. Чувство долга безъ призванія становится источникомъ нравственнаго рабства, недовольства, наконецъ, полнаго равнодушія къ дѣлу. Самъ же Тургеневъ, мы видѣли, говорилъ объ идеалѣ, согласномъ съ наклонностями и способностями человѣка. И этотъ взглядъ справедливъ и законенъ. Дѣятельность, не соотвѣтствующая внутреннимъ влеченіямъ дѣятеля, грозитъ превратиться въ ненавистную, обязательно и насильственно отбываемую повинность.

Но это — подробности: въ общемъ, взглядъ Тургенева на роль и назначеніе молодыхъ поколѣній вполнѣ понятенъ. Совершился рядъ великихъ реформъ, создавшихъ новыя основы народной жизни. Общій планъ грядущаго развитія намѣченъ, путь указанъ, но каждый шагъ на этомъ пути долженъ сопровождаться борьбой стараго съ новымъ. Освобожденному народу необходимы помощники, учителя, люди, способные стать въ уровень съ его жизнью, съ его интересами, сжиться съ его сѣрой дѣйствительностью, исполненной чернаго труда и часто незамѣтныхъ, но на самомъ дѣлѣ глубокихъ страданій. Великое дѣло совершено, могучій тонъ данъ, — остается выполнить множество подробностей, привести въ гармонію диссонансы, безпрестанно возникающіе между идеями и преданіями. Для этихъ подробностей нужны другіе люди, чѣмъ творцы и участники преобразовательнаго движенія. На этомъ пути не требуется блестящаго драматическаго героизма,—требуется выносливость, любовь къ дѣлу, неутомимая муравьиная работа.

Именно въ такомъ смыслѣ писалъ Тургеневъ: «Народная жизнь переживаетъ воспитательный періодъ внутренняго, хороваго развитія, разложенія и сложенія; ей нужны помощники,—не вожаки, и лишь только тогда, когда этотъ періодъ кончится, снова появятся крупныя, оригинальныя личности... Мы вступаемъ въ эпоху

только *полезныхъ* людей... и это будутъ лучшіе люди. Ихъ, вѣроятно, будетъ много; красивыхъ, плѣнительныхъ—очень мало».

Тургеневъ совершенно послѣдовательно возставалъ противъ романтическихъ замысловъ молодого поколѣнія. Онъ требовалъ цѣлесообразной дѣятельности, а не безплодныхъ мечтаній. Онъ смѣялся надъ надеждами юношей «сдвигать горы съ мѣста», совершать крупные, громкіе и красивые подвиги. Болѣе, по его мнѣнію, чѣмъ когда-либо и гдѣ-либо слѣдуетъ у насъ удовлетвориться малымъ, назначать себѣ тѣсный кругъ дѣйствія... [234]).

Здѣсь опять мы слышимъ отголосокъ давнишнихъ идей Лаврецкаго. Этотъ герой—столь близкій сердцу автора — ограничиваетъ «свой кругъ дѣйствій», онъ намѣренъ пахать землю «и стараться какъ можно лучше её пахать». Въ противоположность этимъ честнымъ, практически обдуманнымъ намѣреніямъ, легкомысленный канцеляристъ Паншинъ замышляетъ во мгновеніе ока передѣлать бытъ и исторію цѣлаго народа. И какъ смѣшенъ и жалокъ этотъ пылкій реформаторъ предъ скромнымъ землепашцемъ!.. И, конечно, авторъ, устами Лаврецкаго, «разбиваетъ его на всѣхъ пунктахъ».

Мы видимъ, сколько вниманія удѣлялъ романистъ своимъ юнымъ современникамъ. Вниманіе отнюдь не оставалось платоническимъ. Тургеневъ всегда и вездѣ обнаруживалъ искреннѣйшую готовность помочь молодымъ людямъ совѣтомъ, деньгами, рекомендаціей. Фактовъ безчисленное множество, но имена облагодѣтельствованныхъ лицъ неизвѣстны даже ближайшимъ друзьямъ Тургенева. Онъ творилъ добро по евангельскому правилу: лѣвая рука не знала, что дѣлала правая.

Мы знаемъ, какое участіе Тургеневъ принималъ въ судьбѣ вольнослушателей петербургскаго университета. Студенты всегда оставались предметомъ его попеченія. Въ письмахъ мы читаемъ распоряженія—внести извѣстную сумму денегъ на стипендіи бѣднымъ студентамъ, заграницей въ пользу студентовъ Тургеневъ устраиваетъ концерты, г-жа Віардо поетъ, онъ читаетъ отрывки изъ своихъ произведеній, принимаютъ участіе даже французскіе

---

[234]) *Р. Ст.* XL, 226—7.

писатели, — напримѣръ, Золя. Легко представить успѣхъ такого рода matinées![235]).

Что касается рекомендацій, здѣсь Тургеневъ былъ неутомимъ. Всѣ наши источники переполнены сообщеніями объ изумительной готовности и искусствѣ Ивана Сергѣевича—помочь этимъ путемъ. Нѣкоторыя рекомендаціи его достигали поистинѣ изумительныхъ результатовъ.

Въ Парижѣ очутился юноша безъ всякихъ средствъ, знакомствъ и—что важнѣе всего—безъ всякихъ документовъ, а между тѣмъ юноша мечталъ попасть въ спеціальное учебное заведеніе—въ земледѣльческій институтъ въ Монпелье. Но для полученія аттестата требовалось метрическое свидѣтельство. Директоръ института предложилъ юношѣ представить удостовѣреніе отъ Тургенева въ томъ, что онъ—студентъ, родился тогда-то и тамъ-то. Тургеневъ немедленно исполнилъ просьбу, и юноша успѣшно окончилъ курсъ и сдѣлалъ очень счастливую карьеру.

Мотивъ большинства рекомендацій Тургенева выраженъ кратко и ясно, въ одномъ изъ рекомендательныхъ писемъ къ брату на счетъ нѣкоего юноши: «ѣсть ему нечего—вотъ его главное и очень почтенное право на участіе». Очевидецъ сообщаетъ, что Тургеневъ даже изощрилъ въ себѣ особенный талантъ — писать рекомендательныя письма и добродушно подсмѣивался надъ своимъ краснорѣчіемъ[236]).

Но страсть защищать всякаго, попавшаго въ бѣду, далеко не всегда сопровождалась смѣхотворными пріемами и результатами. Въ 1862 году, т.-е. въ самый разгаръ смуты, вызванной *Отцами и дѣтьми*, Тургеневъ рѣшился ходатайствовать за арестованнаго журналиста Огрызко, уличеннаго въ участіи въ польскомъ возстаніи. Тургеневъ даже не ознакомился съ дѣломъ и въ порывѣ обычнаго чувства состраданія, написалъ Государю письмо и просилъ даже не о снисхожденіи къ виновному, а о полномъ прощеніи. Тургеневъ напоминалъ въ письмѣ, что Государь когда-то оказалъ

---

[235]) *В. Е.* апр. 1885, 501. *Шесть лѣтъ переписки. Р. Ст.* XLII, 397.

[236]) *Письма.* 375, 387. *Отчетъ петерб. библ.* 37—8. *Р. Ст.* XLVII, 328—9; XLII, 401; XL, 272. Полонскій. 595.

покровительство ему самому и этотъ фактъ автору письма давалъ право надѣяться на милосердіе Его Величества. Авторъ съ полной искренностью высказывалъ свой взглядъ на арестъ Огрызко, считалъ этотъ арестъ нарушеніемъ принциповъ всего царствованія, потрясеніемъ надеждъ и довѣрія, возлагаемыхъ русскимъ обществомъ на освободителя крестьянъ...

Письмо не имѣло никакихъ послѣдствій для Тургенева. Онъ разсказывалъ потомъ, что, «встрѣтивъ Государя на улицѣ и поклонившись ему, онъ могъ примѣтить строгое выраженіе на его лицѣ, а въ глазахъ прочесть какъ бы упрекъ: «не мѣшайся въ дѣло, котораго не разумѣешь» [237]).

Въ слѣдующемъ году самъ Тургеневъ подвергся опасности попасть въ число опальныхъ и притомъ въ самый критическій моментъ. Буря по поводу *Отцовъ и Дѣтей* достигла высшаго развитія. Именно, въ это время въ *Кельнской газетѣ* появилось обвиненіе Тургенева въ поджигательствѣ. Тургеневъ въ одномъ и томъ же письмѣ къ брату сообщаетъ и о клеветѣ газеты, и о предстоящемъ противъ него процессѣ въ сенатѣ за сообщенія съ Герценомъ. Тургеневъ немедленно написалъ письмо къ Государю съ просьбой — разрѣшить ему не ѣхать въ Петербургъ, а отвѣчать на пункты обвиненія изъ Парижа. Разрѣшеніе было получено, вопросные пункты высланы Тургеневу черезъ посольство, Тургеневъ тотчасъ же отвѣчалъ на нихъ, и отвѣчать оказалось такъ просто, что, посылая отвѣты, онъ считалъ все дѣло сданнымъ въ архивъ. Такъ это дѣйствительно и вышло [238]).

Послѣ *Дыма* творчество Тургенева на нѣкоторое время приняло направленіе нѣсколько иное, чѣмъ мы видѣли раньше.

И это направленіе, какъ и раньше неоднократно повторявшійся упадокъ творческой энергіи, было вызвано слишкомъ нервной отзывчивостью Тургенева на общественное и журнальное мнѣніе объ его произведеніяхъ.

Писатель сколько угодно могъ готовиться къ публичнымъ нападкамъ, съ какой угодно настойчивостью убѣждать себя, что все

---

[237]) *Шесть лѣтъ переписки. Ib.* 472.

[238]) *Р. Ст.* XLVII, 216—7.

это «въ порядкѣ вещей», что правда возьметъ свое,—онъ не могъ спастись отъ тягостнаго впечатлѣнія при всякомъ новомъ обвиненіи или насмѣшкѣ. Въ натурѣ Тургенева не было энергіи для практической, будничной борьбы, находчивости для быстраго подавляющаго отпора. Среди многочисленныхъ воспоминаній о Тургеневѣ есть разсказы, подтверждающіе замѣчаніе одного изъ заграничныхъ знакомцевъ Тургенева. На Ивана Сергѣевича Тургенева можно было подчасъ даже «накричать»,—и геніальный писатель не находился, какъ отвѣчать первому встрѣчному смѣльчаку.

Любопытно въ этомъ отношеніи письмо Тургенева къ нѣкоему г-ну В. Этотъ господинъ, впослѣдствіи попавшій въ домъ душевнобольныхъ, преслѣдовалъ Ивана Сергѣевича безконечными просьбами о вспомоществованіи, получалъ его, но, наконецъ, написалъ Тургеневу крайне дерзкое письмо немедленно послѣ полученія отъ него денегъ. Иванъ Сергѣевичъ призналъ необходимымъ объяснить странному корреспонденту, что онъ не думалъ оскорблять его и что у него, Тургенева, «тоже есть своего рода гордость». И все вслѣдствіе того только, что Тургеневъ хотѣлъ получить отвѣтъ отъ своего корреспондента о полученіи денегъ...

Послѣ этого вѣроятенъ разсказъ и о встрѣчѣ Ивана Сергѣевича съ Писаревымъ. Пылкій критикъ буквально «накричалъ» на романиста за его намѣреніе печатать *Дымъ* въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Тургеневъ, по словамъ разсказчика, конфузился, блѣднѣлъ и «не могъ отвѣтить ни слова». И не потому, конечно, что чувствовалъ себя виноватымъ или не зналъ, что̀ отвѣчать, а просто по органической неспособности къ боевымъ стычкамъ и воинственнымъ словопреніямъ. Это обычное свойство гуманныхъ, глубококультурныхъ натуръ. Въ этомъ свойствѣ коренится также наклонность Тургенева къ мрачнымъ, даже безнадежнымъ настроеніямъ по поводу слишкомъ страстныхъ выходокъ критиковъ и пріятелей

Мы уже не разъ встрѣчались съ подобнымъ настроеніемъ,—повторилось оно и послѣ *Дыма*.

Тургеневъ въ слѣдующихъ словахъ вспоминаетъ объ этомъ времени:

«*Дымъ* хотя успѣхъ имѣлъ довольно значительный, однако, возбудилъ противъ меня большое негодованіе. Особенно сильны

были упреки въ недостаткѣ патріотизма, въ оскорбленіи родного края и т. п. Опять появились эпиграммы. Самъ Ѳ. И. Тютчевъ, дружбой котораго я всегда гордился и горжусь донынѣ, счелъ нужнымъ написать стихотвореніе, въ которомъ оплакивалъ ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя и съ различныхъ точекъ зрѣнія, оскорбилъ и правую, и лѣвую сторону нашей читающей публики. Я нѣсколько усомнился въ самомъ себѣ и умолкъ на нѣкоторое время».

Но окончательно Тургеневъ замолчать не могъ. Онъ пока только выбралъ болѣе безобидную область литературы. Такъ, можетъ быть, ему казалось.

Мы знаемъ, сколько личнаго опыта и личныхъ воспоминаній вносилъ Тургеневъ въ свои произведенія. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ эта черта усиливается до такой степени, что каждое произведеніе Тургенева ничто иное, какъ точныя воспоминанія о прошломъ. И это—лучшія произведенія за этотъ періодъ. Здѣсь сказалась, можетъ быть, извѣстная усталость творческаго генія, и, можетъ быть, столь обычное стремленіе человѣка—въ извѣстный возрастъ—пережить вновь минувшее.

На слѣдующій годъ послѣ появленія *Дыма* Тургеневъ пишетъ: «Я сижу теперь надъ литературными своими *Воспоминаніями*, и мысленно переживаю давно прошедшее... Иногда грустно становится,—а иногда пріятно... но и пріятность эта не безъ грусти. Кто перевалился за 50 лѣтъ — не выйти тому изъ минорнаго тона» [239]).

Съ особенно теплымъ чувствомъ Тургеневъ вспоминалъ о Бѣлинскомъ. По поводу статьи о великомъ критикѣ онъ писалъ Анненкову:

«Не знаю, какъ она вышла, но я все писалъ старательно, два раза все переписалъ и умилился... пришли и стали воспоминанія... съумѣлъ ли я схватить физіономію нашего покойнаго друга — вы лучше меня можете судить объ этомъ».

Воспоминаніямъ въ критикѣ суждено было раздѣлить участь

---

[239]) Письмо г-ну В. *Письма.* 378 О встрѣчѣ съ Писаревымъ. Мартьяновъ. И. В. XXII, 415. *Письма.* 146.

Дыма, не смотря на очевидный искренній тонъ авторскихъ разсказовъ. Но это было также естественно: такого рода произведенія всегда рискуютъ затронуть множество самолюбій и личныхъ чувствъ.

Въ концѣ 1869 года Тургеневъ писалъ:

«Давать мнѣ en passant плюхи, повидимому, est très bien porté въ нынѣшней литературѣ, въ родѣ тирольскихъ шляпъ: послѣдняя мода!»

И почти въ каждомъ письмѣ онъ сообщаетъ о выходкахъ противъ него въ русскихъ газетахъ и журналахъ. Онъ даже поддается раздраженію и едва не бросается въ полемику.

Одновременно Тургеневъ работаетъ надъ разсказомъ *Несчастная* Онъ былъ оконченъ въ сентябрѣ 1868 года, авторъ выражалъ опасеніе, не слишкомъ ли мрачно вышло новое произведеніе. По обыкновенію, Тургеневъ много передѣлалъ и прибавилъ, согласно съ отзывами друзей, раньше, чѣмъ отдать повѣсть въ печать. Многіе ему заявляли, что *Несчастная* производитъ слишкомъ тяжелое впечатлѣніе—Тургеневъ отвѣчалъ, что разсказъ—эпизодъ изъ его личной жизни и, создавая его, онъ хотѣлъ отдѣлаться отъ мучительныхъ воспоминаній.

Фактъ относится къ студенческой жизни Тургенева. Онъ зналъ героиню, пережилъ вмѣстѣ съ ней трагическіе моменты ея печальной исторіи. «Эта дѣвушка», писалъ онъ, «дѣйствительно сидѣла на окнѣ у меня въ комнатѣ московскаго дома и дѣйствительно царапала ногтемъ льдинки». Иностранецъ разсказываетъ, сколько страданій причиняли Тургеневу эти воспоминанія. Повѣсть приближалась къ развязкѣ,—авторъ въ теченіе цѣлаго дня былъ совершенно боленъ. Глубже невозможно переживать минувшее путемъ художественнаго творчества...

Тургенева, между прочимъ, упрекали за сцену «пира» на кладбищѣ. Авторъ считалъ эту сцену необходимой, потому что онъ раньше—на поминкахъ Грановскаго—далъ себѣ слово—«заклеймить гнусный, безобразный обычай» [240]).

---

[240]) Письма къ Анненкову. *Р. Обозр.* 1894. *Письма.* 141, 152—3. *Русск. Ст.* XLII, 395. Пичъ. *Иностр. крит.* 154.

Повѣсть, какъ бы печальна ни была, отвѣчала настроенію Тургенева въ концѣ шестидесятыхъ годовъ. Друзья замѣчали, что у него все больше стала развиваться наклонность описывать печальныя событія. Онъ жалуется на жизнь и самъ объясняетъ свое настроеніе: его гнететъ старческая тоска. Пятьдесятъ лѣтъ онъ считаетъ кризисомъ жизни. Человѣкъ, перевалившійся за этотъ возрастъ, «живетъ какъ въ крѣпости, которую осаждаетъ смерть и непремѣнно возьметъ». И Тургеневъ будто чувствуетъ надъ собой ледяное дыханье смерти. Лѣтомъ въ 1869 году онъ пишетъ: «темная туча, которая у каждаго человѣка виситъ на горизонтѣ, надвинулась на меня своимъ передовымъ рукавомъ. Дѣлать нечего, но и говорить объ этомъ нечего». Мы слышимъ нерѣдко сожалѣнія о минувшей молодости, но еще чаще самоотверженную рѣшимость — идти покорно путемъ, быстро и неумолимо ведущимъ къ концу. «Холодъ старости», пишетъ Тургеневъ, «съ каждымъ днемъ глубже проникаетъ въ мою душу, сильнѣе охватываетъ ее; равнодушіе ко всему, которое я въ себѣ замѣчаю, меня самого мучаетъ». Однажды въ кругу любимыхъ и близкихъ людей Тургеневъ говорилъ: «Вы знаете, что иногда въ комнатѣ пахнетъ мускусомъ, и отъ этого запаха ничѣмъ не отдѣлаешься. Мнѣ кажется, что у меня есть тоже присущій мнѣ запахъ уничтоженія, разрушенія, смерти» [241]).

Съ такимъ настроеніемъ Тургеневъ вступилъ въ шестой десятокъ своей жизни. Онъ окончательно призналъ себя старикомъ, а «старость и веселость не идутъ другъ къ другу», говорилъ онъ. Душевная тяжесть усиливалась еще отъ другого чувства: мы его уже знаемъ, оно сопровождало Тургенева всю жизнь и, несомнѣнно, становилось мучительнѣе съ приближеніемъ старости: это—чувство одиночества. Тургеневъ безпрестанно говоритъ о немъ, оно для него своего рода прообразъ грядущей смерти, жесточайшій спутникъ преклонныхъ лѣтъ.

Внѣшнія событія именно къ концу шестидесятыхъ годовъ

---

[241]) Фетъ II, 192. Пичъ. *Иностр. кр.* 178. *Письма.* 163, 212—3. *Ист. В.* XIV, 450 (Гонкуръ). *Письма.* 219.

сложились такъ, чтобы муки одиночества сдѣлать для Тургенева еще ядовитѣе и глубже.

Съ самаго переселенія въ Баденъ Тургеневъ принужденъ былъ заняться крайне хлопотливымъ вопросомъ — о бракѣ дочери. Вопросъ этотъ нѣкоторое время находился въ неопредѣленномъ положеніи и сильно волновалъ Тургенева. Въ мартѣ мы узнаемъ отъ Боткина, что бракъ разстроился «вслѣдствіе необыкновенной жажды къ деньгамъ, выказанной претендентомъ». Но почти въ то же самое время Тургеневъ пишетъ брату: «послѣ долгихъ колебаній, кажется, на этотъ разъ дѣло пойдетъ на ладъ съ свадьбой моей дочери; боюсь сглазить и, потому, не называю тебѣ еще имени будущаго жениха». Письмо относится къ началу марта 1863 года. Спустя нѣсколько дней мы узнаемъ о новомъ недоразумѣніи: «свадьба Полиньки разстроилась», пишетъ Тургеневъ, «т.-е. она не захотѣла, et me voilà gros père comme devant!» Только въ самомъ концѣ слѣдующаго года, именно 31-го декабря, Тургеневъ сообщаетъ брату, что дѣло окончательно слажено: свадьба должна совершиться въ Парижѣ, въ концѣ февраля, будущаго зятя зовутъ Gaston Bruère, это — молодой и образованный человѣкъ, находящійся во главѣ значительной стеклянной фабрики. Приданое дочери Тургенева состояло изъ 100.000 франковъ, выданныхъ единовременно, и 50.000 фр. черезъ нѣсколько лѣтъ. Свадьба дѣйствительно состоялась 13 февраля.

Хлопоты Тургенева на этомъ не кончились. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ дѣла его зятя, очевидно, пошатнулись, дочь пишетъ письма, состоящія изъ одного вопля и мольбы о деньгахъ. Тургеневъ удовлетворяетъ эти мольбы, но спустя десять лѣтъ Брюэръ окончательно разоряется, его жена остается безъ всякихъ средствъ и снова, конечно, обращается къ отцу. Тургеневъ вынужденъ распродать свои картины, чтобы помочь дочери. Но на этомъ дѣло не кончается. Г-жа Брюэръ бѣжитъ отъ мужа и скрывается вмѣстѣ съ дѣтьми. Все это глубоко потрясаетъ Тургенева; на этотъ разъ онъ жалуется друзьямъ на свои неожиданныя семейныя дрязги. Жалоба станетъ понятна, если мы вспомнимъ, что исторія происходила весной 1882 года, когда Тур-

геневу уже грозилъ смертельный недугъ и онъ не переставалъ страдать отъ множества другихъ болѣзней... [242]).

Не одна дочь вносила разладъ въ жизнь Тургенева. Другой членъ его семьи причинилъ ему едва ли еще не больше огорченій, это—дядя Н. Н. Тургеневъ.

Онъ управлялъ имѣніями Ивана Сергѣевича съ 1853 года и предъ нами крайне любезное письмо, въ которомъ племянникъ проситъ дядю «взять на руки дѣла». Тургеневу только-что разрѣшили въѣздъ въ столицы послѣ ссылки за статью о Гоголѣ, и съ этого времени Н. Н. становится полноправнымъ хозяиномъ имѣній племянника. Д. В. Григоровичъ видѣлъ его вскорѣ послѣ вступленія въ должность управляющаго и такъ выражается о немъ: «къ завтраку и обѣду являлся всегда дядя Тургенева, человѣкъ старый, но крупный, служившій когда-то въ кавалеріи, большой весельчакъ и жуиръ, взявшій на себя всѣ хлопоты по хозяйству и, какъ оказалось, распоряжавшійся имъ на болѣе широкую ногу, чѣмъ бы слѣдовало; онъ приходилъ обыкновенно съ женою, молодою женщиной, годившейся ему во внучки. Тургеневъ какъ-будто стѣснялъ ихъ своими наѣздами въ деревню».

Недоразумѣнія начались въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Управляющій высылалъ хозяину довольно скудныя средства съ громаднаго имѣнія. Предъ нами подробный разсчетъ Ивана Сергѣевича суммъ, полученныхъ въ теченіе 11½ лѣтъ: ежегодный доходъ среднимъ числомъ достигалъ 5.500 руб. «Я нахожу», замѣчалъ на это Тургеневъ, «что съ имѣнія въ 5.500 десятинъ, изъ коихъ 3.500 совершенно свободны, этотъ доходъ слишкомъ малъ». Кромѣ того, имѣніе приходило въ упадокъ, скотъ исчезалъ, а братъ — Николай Сергѣевичъ — имѣлъ ежегоднаго доходу до 20.000 руб.

Ник. Ник. смотрѣлъ на дѣло иначе: ему, напротивъ, казалось, что племянникъ слишкомъ требователенъ, жаловался на безпрестанныя затрудненія въ хозяйствѣ и пригласилъ Ивана Сергѣевича лично ознакомиться съ дѣлами. Къ веснѣ 1867 года отно-

---

[242]) Фетъ I, 415. *Р. Ст.* XLVII, 317, 319, 323. *Письма*, 122, 188, 402, 405, 410, 113.

шенія окончательно обострились. Тургеневъ рѣшилъ взять новаго управляющаго. Это страшно поразило старика, привыкшаго жить неограниченнымъ бариномъ. Онъ рѣшительно не хотѣлъ признать за племянникомъ права—передать обязанности управляющаго другому лицу и предлагалъ провѣрить счета и книги.

Боткинъ совершенно безпристрастно и даже рѣзко отзывается о практической неопытности Ивана Сергѣевича, но и онъ безусловно оправдываетъ его поведеніе, считаетъ естественнымъ, что онъ рѣшилъ, наконецъ, освободиться отъ нравственной и матеріальной зависимости. Къ тому же, Ник. Николаевичу было уже 76 лѣтъ, и трудно было разсчитывать на него, какъ на хозяина.

Тургеневъ выказалъ обычное благородство въ разсчетахъ съ дядей. Онъ еще раньше выдалъ ему два векселя на 10.000 рублей. Тургеневъ оплачивалъ эти векселя съ процентами, всего 16.500 руб. и объявлялъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* благодарность бывшему управляющему. Но этимъ Ник. Ник. не хотѣлъ удовольствоваться. Надо замѣтить,—эти векселя было выданы Иваномъ Сергѣевичемъ съ единственной цѣлью убѣдить дядю взять управленіе имѣніями. Никакихъ денегъ по этимъ векселямъ онъ не получалъ. Ник. Ник. принялъ самыя крутыя мѣры. Онъ написалъ русскому посланнику въ Парижъ требованіе—описать парижское имущество Ивана Сергѣевича, и кромѣ того грозилъ продать Спасское съ молотка. Пока шло дѣло, Ник. Ник. пользовался всѣмъ, чѣмъ могъ: по словамъ Тургенева, онъ въ одинъ годъ взялъ скотомъ, экипажами, деньгами 36.500 руб., оставивъ долгу 5.000 рублей, множество рабочихъ не разсчиталъ, такъ что въ теченіи перваго лѣта, проведеннаго въ Спасскомъ послѣ выѣзда дяди, Тургеневъ, по его словамъ, «уподоблялся зайцу на угонкахъ». Но все-таки дѣло было, наконецъ, кончено—и это доставляло Тургеневу истинное удовольствіе. На первыхъ порахъ онъ не могъ хладнокровно говорить о поступкѣ дяди; находились и на этотъ разъ люди, порицавшіе Тургенева, между прочимъ, поэтъ Фетъ. — Иванъ Сергѣевичъ отвѣчалъ ему на счетъ Ник. Николаевича: «онъ поступилъ какъ *безчестный человѣкъ*».—«Мнѣ жутко говорить такъ о человѣкѣ, котораго я такъ давно и такъ искренно любилъ и уважалъ, но истина вынуждаетъ меня именно *такъ выразиться*: Ник. Ник. Тургеневъ—безчестный человѣкъ».

Это чувство современемъ улеглось. Тургеневъ, по обыкновенію, не только забылъ «злодѣйство» дяди, даже съумѣлъ вновь почувствовать къ нему прежнее родственное любовное расположеніе. Въ апрѣлѣ 1872 года онъ писалъ брату:

«Картина Н. Тургенева—слѣпаго въ больницѣ, возбудила во мнѣ жалость... Все-таки я глубоко любилъ его—и не могу не дорожить этимъ прошедшимъ. Я непремѣнно посѣщу его, да и ты, братъ, могъ бы то же сдѣлать, вспомнивъ, что мы всѣ люди— жалкія, слабыя, на смерть осужденныя существа. «Сегодня тотъ, завтра—я», какъ же не сострадать къ своему ближнему? И кто изъ насъ безгрѣшенъ? Кто имѣетъ право строго судить другого? Я не сомнѣваюсь, что твое посѣщеніе будетъ для него отрадой въ теперешнемъ горестномъ его положеніи» [243]).

Конецъ шестидесятыхъ годовъ принесъ Тургеневу еще одну ссору, едва ли не самую жестокую изъ всѣхъ его литературныхъ распрей,—ссору съ издателемъ. Мы знаемъ недоразумѣнія, возникшія между Тургеневымъ и Катковымъ по поводу *Отцовъ и дѣтей*. Пока они отошли на второй планъ: для *Русскаго Вѣстника* Тургеневъ былъ слишкомъ выгодный сотрудникъ. Но это затишье постоянно нарушалось мелкими придирками, притомъ журналъ постепенно измѣнялъ свои взгляды и все дальше становился отъ основныхъ убѣжденій Тургенева. Окончательный разрывъ послѣдовалъ въ самомъ концѣ шестидесятыхъ годовъ. *Несчастная*, послѣднее произведеніе Тургенева, появившееся въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, напечатано въ январѣ 1869 года. Тургеневъ перешелъ въ *Вѣстникъ Европы* и оставался сотрудникомъ этого журнала до самой смерти.

Катковъ не могъ помириться съ этимъ фактомъ. Онъ велѣлъ передать Тургеневу, что онъ—Тургеневъ—не знаетъ, что значитъ имѣть его врагомъ. *Русскій Вѣстникъ* и *Московскія Вѣдомости*, дѣйствительно, стали употреблять всѣ усилія, чтобы оправдать эту угрозу. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ журналъ напечаталъ романъ Достоевскаго *Бѣсы*, переполненный жесточайшими навѣ-

---

[243]) *Письма*. 7, Григоровичъ. *Р. М.* февр. 1893, 60. Фетъ. II, 117, 53—4; I, 407; II, 113, 114. *Письма*. 126. *Р. Ст.* XLVII, 326—7.

тами на Тургенева, а по поводу одной изъ статей газеты Тургеневъ писалъ: «Ну ужъ онѣ пересолили—не могу жъ я быть такимъ подлецомъ!» Но впослѣдствіи—мы увидимъ—Тургеневу пришлось серьезнѣе отнестись къ выходкамъ *Московскихъ Вѣдомостей* и снизойти до полемики съ ними.

Въ самомъ началѣ семидесятыхъ годовъ внѣшняя жизнь Тургенева измѣняется. Онъ покидаетъ Баденъ и переселяется въ Парижъ. На этотъ разъ его пребываніе во французской столицѣ не прекращается до самой смерти, прерывается только обычными поѣздками на родину. Оно упрочиваетъ окончательно новыя общественныя отношенія русскаго писателя, придаетъ своеобразную психологическую и культурную окраску его послѣднимъ годамъ.

XII.

Судьба связала Тургенева на всю жизнь съ французской семьей, но эта связь оказалась безсильной воспитать въ его сердцѣ прочное сочувствіе къ французской націи.

Мы уже знакомы съ тяжелыми впечатлѣніями, какія неизмѣнно вызывалъ у Тургенева Парижъ, парижскіе литераторы и въ особенности политическій порядокъ, созданный второй имперіей.

Благородная честная мысль Тургенева не могла помириться съ цезаризмомъ, возникшимъ изъ клятвопреступленія. Личность Наполеона III казалась русскому писателю столь же ничтожною, какъ и величайшему врагу декабрьскаго переворота — Виктору Гюго.

А между тѣмъ, съ этой личностью и новою властью мирилось французское общество, Парижъ еще усерднѣе принялся выполнять свое назначеніе — международнаго увеселителя, среди лучшихъ представителей общественныхъ наукъ и литературы обнаружился упадокъ нравственной энергіи и глубокое разочарованіе въ завѣтныхъ стремленіяхъ дѣятелей сорокъ восьмого года. Историки въ родѣ Тэна предпринимали спеціальныя научныя работы съ цѣлью предостеречь современниковъ отъ идейныхъ увлеченій, съ возможной основательностью развѣнчать героевъ прошлаго и въ человѣческой исторіи выставить на первый планъ бѣшеный разгулъ жи-

вотныхъ инстинктовъ и роковое безсиліе — построить жизнь на основахъ разума или просто даже здраваго смысла.

Тургеневъ не могъ сочувствовать ни подобнымъ философамъ, ни средѣ, ихъ воспитывавшей. Впослѣдствіи, уже послѣ франко-прусской войны онъ такъ опредѣлялъ прославленный историческій талантъ автора *Стараго порядка*.

«Сравненіе мое не изящное, —обращался онъ къ своимъ пріятелямъ французамъ,—но позвольте мнѣ, господа, сравнить Тэна съ бывшей у меня охотничьей собакой: она искала, дѣлала стойку изумительно, вообще все, что дѣлаетъ охотничья собака, — ей только не доставало чутья, и я долженъ былъ продать ее» [244]).

Еще менѣе лестнаго мнѣнія могъ быть Тургеневъ о другомъ современномъ ученомъ--Ренанѣ: этого даже французы обвиняли въ отсутствіи какихъ бы то ни было убѣжденій, и поднимали на смѣхъ его эпикурейскій скептицизмъ, свободно мирившійся съ какими угодно людьми, порядками и принципами.

Вторая имперія давала широкій просторъ такъ-называемому положительному образу мыслей, превращая своихъ подданныхъ въ идолопоклонниковъ предъ фактами по всѣмъ направленіямъ умственной и практической дѣятельности. Историкъ кропотливо собиралъ подробности внѣшней, матеріальной жизни и провозглашалъ исключительную неограниченную власть «пищи» и «почвы» надъ судьбой отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ націй. Философъ встрѣчалъ насмѣшливой улыбкой горячее заявленіе о какомъ бы то ни было принципіальномъ убѣжденіи и жалъ руку всякому, кого волна удачныхъ аферъ выносила на поверхность житейскаго моря. Писатель старался поддѣлаться подъ чувственные вкусы плотоядной публики и, прикрываясь ложнымъ знаменемъ науки, рисовалъ животныхъ вмѣсто людей и съ современной дѣйствительностью производилъ тѣ самые опыты, какимъ историкъ подвергалъ прошлое...

Представьте, всѣ эти «властители думъ» собрались вмѣстѣ, у какого-нибудь пріятеля, или въ кафе: разговоръ ихъ не стѣсняется посторонней публикой, они предоставлены своимъ темпераментамъ и наклонностямъ... О чемъ же пойдетъ бесѣда?

---

[244]) *Journal des Goncourt*. Tome V. Paris 1891. p. 174.

Раскройте *Дневникъ Гонкуровъ* возьмите наугадъ описаніе какого угодно литературнаго собранія въ самый разгаръ наполеоновскаго правленія, въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, и оцѣните «мысли и дѣла» талантливѣйшихъ собесѣдниковъ.

Готье—знаменитый писатель—убѣжденъ, что «развратъ—нормальное состояніе женщины». Сентъ-Бэвъ—еще болѣе знаменитый критикъ — разсказываетъ, какъ онъ ежегодно продаетъ по тому своихъ сочиненій для подарковъ женщинамъ. Здѣсь же мы узнаемъ, что тотъ же Сентъ-Бэвъ совѣтовался обо всѣхъ вопросахъ по испанской литературѣ съ нѣкоей г-жей W. Она убѣдила критика, будто она испанка, и даже снабдила его примѣчаніями къ сочиненіямъ Кальдерона, а послѣ ея смерти оказалось, что она изъ Пикардіи. Авторъ *Дневника*—Гонкуръ—объяснитъ вамъ, что женщина *почти всегда* является причиной безчестія мужа, — въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Именно она, во имя матеріальныхъ нуждъ, толкаетъ его на униженія, подлость, презрѣнныя сдѣлки съ совѣстью. Шестнадцатаго января 1864 г. читаемъ извѣстіе о поразительномъ упадкѣ нравовъ, о необыкновенной дерзости общественнаго разврата. А годомъ раньше узнаемъ: Флоберъ принимаетъ у себя въ гостяхъ студента-медика, совершающаго невѣроятное кощунство надъ великимъ девизомъ старыхъ республиканцевъ: *свобода, равенство, братство.* И студенту нечего стыдиться своего поступка. Въ обществѣ Флобера, Золя, Готье, Гонкура, Сентъ-Бэва онъ не могъ научиться сколько-нибудь приличному отношенію къ политическимъ принципамъ. Вѣчная тема для разговоровъ у этихъ учителей молодежи—*женщина*: они изучаютъ «ея глаза, какъ загадку, какъ сфинкса», и готовы писать цѣлыя страницы наблюденій надъ этой «тайной»... И только развѣ на французскомъ языкѣ Гонкура можно выразить разнообразныя рѣшенія этой задачи, какія приходили въ голову разшалившимся философамъ, критикамъ и романистамъ наполеоновской эпохи... [245]).

Тургеневъ, конечно, превосходно зналъ эту психологію французскихъ знаменитостей,—ему часто приходилось бывать въ Парижѣ при второй имперіи, — и въ его письмахъ мы не нахо-

[245]) *Ib.* Tome II. Paris 1888. pp. 124, 125, 186, 193, 176, 80.

димъ ни одного добраго слова о парижской жизни и парижскомъ обществѣ. Во время войны его сочувствіе скорѣе на сторонѣ нѣмцевъ, такъ какъ побѣда французской арміи была бы побѣдой Наполеона III, и, кромѣ того, русскаго писателя по прежнему раздражаетъ національное фанфаронство французовъ.

Въ концѣ 1870 года, когда результаты войны начинали выясняться, онъ пишетъ слѣдующее письмо изъ Баденъ-Бадена:

«У насъ здѣсь третьяго дня, вечеромъ, былъ ужаснѣйшій ураганъ, который переломалъ чуть не половину Шварцвальда, и, между прочимъ, свалилъ у меня страшнѣйшую трубу, во вкусѣ Людовика XIII, которая паденіемъ своимъ продавила всю крышу и чуть не изуродовала весь мой домъ. Я во время постройки позволилъ себѣ замѣтить моему архитеткору-французу, именемъ Olive, превеличайшей бестіи и скотинѣ, что при здѣшнихъ вѣтрахъ такія трубы опасны. «Monsieur,—отвѣчалъ онъ мнѣ,—ces cheminées sont aussi solides que la France». Во-первыхъ, этотъ отвѣтъ напоминалъ мнѣ отвѣтъ другого француза, петербургскаго куафера, Геліо, который утверждалъ, что его репутація—plus solide que la colonne Alexandre, а кончилъ тѣмъ, что попалъ въ Тулонъ на галеры за отравленіе жены, а во-вторыхъ, съ начала нынѣшней войны ручательство въ солидности Франціи казалось мнѣ сомнительнымъ. Оно такъ и вышло: моя труба была именно aussi solide que la France» [246]).

Тургеневъ могъ, по крайней мѣрѣ, ожидать, что на французовъ благодѣтельно подѣйствуетъ рядъ безпримѣрныхъ военныхъ неудачъ. Но и на этотъ счетъ вѣра Тургенева была не тверда. «Остается вопросъ», писалъ онъ въ августѣ 1870 года, «сумѣютъ-ли они, такъ какъ мы это сдѣлали (послѣ крымской кампаніи), извлечь пользу изъ собственнаго несчастія, и пойдетъ-ли имъ этотъ урокъ въ прокъ? При самомнѣніи французовъ, при ихъ малой любви къ истинѣ—это сомнительно» [247]).

Во всякомъ случаѣ, участь Франціи не могла не тронуть гуманнаго чувства Тургенева. Онъ привѣтствовалъ «паденіе гнусной

---

[246]) Письма къ Анненкову. *Русск. Об.* 1894. *Ср. Иностр. критики*, 173.

[247]) *И. С. Т—въ въ запискахъ и письмахъ къ М. А. и Н. А. Милютинымъ. Рус. Ст.* XLI, 185.

имперіи Наполеона»: «нравственное чувство во мнѣ удовлетворилось—послѣ такого долгаго ожиданія», писалъ онъ, но тутъ-же не скрывалъ своего безпокойства за будущее. Побѣдоносная Германія была слишкомъ воинственно настроена, и вмѣстѣ съ ней, очевидно, торжествовала не міровая цивилизація, а узко-національный задоръ [248]). Роли французовъ и нѣмцевъ перемѣнились, и побѣжденные внушали невольное сочувствіе.

Додэ увѣряетъ, что бѣдствія Франціи въ 1870 году съ особенной силой привязали Тургенева къ Франціи [249]). Это, конечно, преувеличеніе. Иванъ Сергѣевичъ отнюдь не помышлялъ забыть свою родину и «довольствоваться Буживалемъ и берегами Сены». Ему просто было жаль народа, увлеченнаго въ позорную войну «новымъ Геліогабаломъ», а на переселеніе его въ Парижъ вліяла все та же старая *личная* причина.

Семья Віардо немедленно послѣ паденія имперіи рѣшила переѣхать въ Парижъ: мужъ г-жи Віардо до конца оставался убѣжденнымъ республиканцемъ, и возстановленіе республики являлось естественнымъ поводомъ для переѣзда. Что-же касается Тургенева, онъ всего за нѣсколько мѣсяцевъ, путешествуя вмѣстѣ съ Віардо по Германіи, писалъ: «я съ ними не разстанусь», и если семейство Віардо не знало, какъ устроиться въ Парижѣ, то и онъ также «ничего не зналъ» [250]).

Сначала Віардо и Тургеневъ поселились въ Парижѣ на rue de Douai, спустя нѣсколько лѣтъ они купили вмѣстѣ въ Буживалѣ владѣніе *Les Frênes* съ прекраснымъ паркомъ, Тургеневъ построилъ себѣ здѣсь павильонъ, и съ осени 1875 года это владѣніе стало его постоянной дачей.

Тургеневъ и раньше знавалъ главнѣйшихъ французскихъ писателей, — теперь онъ близко сошелся съ ними. Жоржъ Зандъ свела его съ Флоберомъ, и вскорѣ образовалось «общество пятерыхъ» —*société des cinqs*. Въ первый разъ мы слышимъ объ этомъ

---

[248]) *Письма.* 183.
[249]) *Иностр. критика.* 198.
[250]) *Письма.* 179, 190.
[251]) *Иностр. крит.* 173. *Письма.* 263.

обществѣ 14-го апрѣля 1874 года. Гонкуръ пишетъ: «Обѣдъ въ *Café Riche*, съ Флоберомъ, Тургеневымъ, Золя, Альфонсомъ Додэ. Обѣдъ талантливыхъ людей, уважающихъ другъ друга. Такіе обѣды намъ хотѣлось бы устраивать ежемѣсячно, каждую зиму» [252]).

Эта компанія иногда собирается у одного изъ членовъ или предпринимаетъ экскурсіи въ парижскіе рестораны, въ поискахъ за оригинальными и экзотическими блюдами. Центральныя фигуры кружка—Флоберъ и Тургеневъ. Между обоими писателями установилась тѣсная дружба. Тургеневъ давно отдавалъ должное таланту Флобера и еще въ 1864 году *Madame Bovarie* называлъ единственнымъ хорошимъ романомъ во французской литературѣ. Личность Флобера также должна была вызывать искреннюю привязанность Тургенева. Остроумный, неутомимый говорунъ, талантливый разсказчикъ, неистощимый юмористъ и добрый, душевный, человѣкъ — все это какъ нельзя лучше умѣлъ оцѣнить Тургеневъ. Кромѣ того, едва ли не у одного только Флобера Иванъ Сергѣевичъ могъ встрѣтить честное, искреннее отношеніе къ дѣлу писателя, правдивую органическую преданность искусству [253]).

По смерти Флобера Тургеневу пришлось выдержать ожесточенную вражду и укоры своихъ соотечественниковъ за свое неизмѣнное чувство любви и уваженія къ покойному другу. Ивану Сергѣевичу пришла злосчастная мысль обратиться къ русской публикѣ «за нѣсколькими грошами въ пользу памятника Флоберу». Журналисты и читатели возмутились такой заботливостью русскаго писателя о французскомъ романистѣ. Тургеневъ разсказываетъ о «градѣ анонимныхъ писемъ», о «статьяхъ» — исключительно ругательнаго содержанія. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ получаетъ корреспонденцію, поносящую его невѣроятной бранью. Въ одномъ журналѣ его обзываютъ «рьянымъ западникомъ», котораго «обуялъ рабскій духъ», даже дамы заявляютъ въ письмахъ Тургеневу, что онъ «безчестный человѣкъ». Это происходитъ въ концѣ 1880 и началѣ 1881 года. Тургеневъ, конечно, не отвѣчаетъ на упреки и поношенія, но дамѣ, укорившей его въ

---

[252]) *Journal.* V, 118.

[253]) *Иностр. критика.* Пичъ. 175 Додэ. 203.

безчестности и пожелавшей знать мотивы его обращенія къ русской публикѣ, онъ отвѣчалъ съ обычной сдержанностью и искренностью:

«Отчего не отвѣчать на собственный вопросъ такъ: Тургеневъ былъ задушевный пріятель Флобера, высоко цѣнилъ его талантъ, и видя, что денегъ на его памятникъ набирается мало, вздумалъ обратиться къ русскимъ его почитателямъ за недостающею бездѣльной суммой, такъ какъ онъ знаетъ, что въ Россіи находятся люди, которые уважаютъ покойника? Тургеневъ никакъ не воображалъ, что русская публика вломится въ амбицію, будетъ требовать, какъ торгаши, сдачи: «ты молъ прежде для меня что-нибудь сдѣлай, а тамъ посмотримъ» [254]).

Негодованіе соотечественниковъ, разумѣется, не перемѣнило взгляда Тургенева на Флобера, какъ человѣка и писателя. Среди французскихъ литераторовъ-пріятелей у Тургенева это былъ единственный другъ и душевно близкій человѣкъ.

Подобное чувство Иванъ Сергѣевичъ питалъ къ Жоржъ Зандъ, но она не принимала участія въ литературныхъ обѣдахъ и не пользовалась уваженіемъ новыхъ свѣтилъ, вродѣ Золя и Гонкура. Отзывы Тургенева о Жоржъ Зандъ постоянно исполнены трогательнаго и глубокаго почтенія. «На мою долю», пишетъ онъ послѣ смерти писательницы, «выпало счастье личнаго знакомства съ Жоржъ Зандъ—пожалуйста, не примите этого выраженія за обычную фразу: кто могъ видѣть вблизи это рѣдкое существо, тотъ, дѣйствительно, долженъ почесть себя счастливымъ»... Дальше приводится длинное письмо француженки, коротко знавшей покойную: письмо свидѣтельствуетъ о «неистощимой добротѣ» Жоржъ Зандъ, ея «золотомъ сердцѣ», ея изумительной способности привлекать къ себѣ сердца людей—высокопросвѣщенныхъ и простыхъ, крестьянъ...

Тургеневъ, переписавъ это письмо, говоритъ:

«Мнѣ почти нечего прибавлять къ этимъ строкамъ: могу только поручиться за ихъ совершенную правдивость. Когда, лѣтъ восемь

---

[254]) *Ист. Вѣст.* XIV, 453. *Письма.* 368, 370, 372.

[255]) *Письма.* 292.

тому назадъ, я впервые сблизился съ Жоржъ Зандъ, восторженное удивленіе, которое она нѣкогда возбуждала во мнѣ, давно исчезло — я ужъ не поклонялся ей; но невозможно было вступить въ кругъ ея частной жизни — и не сдѣлаться ея поклонникомъ, ея другомъ, быть можетъ, въ лучшемъ смыслѣ. Всякій тотчасъ чувствовалъ, что находится въ присутствіи безконечно щедрой, благоволящей натуры, въ которой все эгоистическое давно и до тла было выжжено неугасимымъ пламенемъ поэтическаго энтузіазма, вѣры въ идеалъ; которой все человѣческое было доступно и дорого, отъ которой такъ и вѣяло помощью и участіемъ. И надо всѣмъ этимъ какой-то безсознательный ореолъ, что-то высокое, свободное, героическое... Повѣрьте мнѣ, Жоржъ Зандъ — одна изъ нашихъ святыхъ»....

Слѣдовательно Флоберъ и Жоржъ Зандъ были несомнѣнно близкими и дорогими друзьями для Ивана Сергѣевича. Но этими двумя писателями и ограничивались сердечныя привязанности Тургенева.

Замѣчательно положеніе Флобера и Жоржъ Зандъ среди соотечественниковъ въ то время, когда процвѣтало «общество пятерыхъ». Относительно Флобера Тургеневъ писалъ по поводу той же исторіи съ подпиской на памятникъ: «Флоберъ совершенно непопуляренъ во Франціи—и ни одинъ французъ мнѣ за мои хлопоты спасибо не скажетъ» [256]). Эти слова слѣдовало понимать въ томъ смыслѣ, что слава Золя и Гонкура далеко оставляла за собой извѣстность Флобера.

Что касается Жоржъ Зандъ—ея личность и писательская дѣятельность играли довольно странную роль у обѣденныхъ собесѣдниковъ Тургенева. Имя писательницы постоянно вызываетъ ироническія замѣчанія, смѣются надъ ея манерой писать по ночамъ и непремѣнно на почтовой бумагѣ, въ каррикатурной формѣ рисуютъ ея жизнь въ замкѣ Ноганѣ. Готье, напримѣръ, прогостивъ у романистки нѣсколько дней, разсказываетъ пріятелямъ забавныя исторіи о непрерывномъ сомнамбулическомъ состояніи Зандъ, о постепенномъ превращеніи ея въ мумію, о полномъ равнодушіи

---

[256]) *Ист. Вѣст.* XIV, 455.

прославленной писательницы и ея окружающихъ къ литературѣ. Вообще, въ глазахъ знаменитостей второй имперіи Жоржъ Зандъ— старушка, впавшая въ дѣтство и воплощающая старческое ребячество женщинъ XVIII вѣка. Единственнымъ цѣнителемъ ея таланта является Ренанъ, но за то онъ постоянно возбуждаетъ гомерическій хохотъ всей застолицы своими похвалами романамъ Жоржъ Зандъ [257]).

Любопытнѣе всего, что веселые и литературные гости Жоржъ Зандъ вынесли изъ Ногана только представленіе о сомнамбулизмѣ хозяйки и не примѣтили одной оригинальной черты въ жизни писательницы. Эта черта достаточно разъясняется въ томъ же письмѣ Тургенева:

«Когда хоронили Жоржъ Зандъ, одинъ изъ крестьянъ окрестностей Ногана приблизился къ могилѣ и, положивъ на нее вѣнокъ, промолвилъ: «Отъ имени крестьянъ Ногана, — не отъ имени бѣдныхъ; по ея милости здѣсь бѣдныхъ не было». А вѣдь сама Жоржъ Зандъ не была богата—и, трудясь до послѣдняго конца жизни, только сводила концы съ концами».

Очевидно, эти свойства, какъ и общественное содержаніе романовъ Жоржъ Зандъ, были совершенно чужды и непонятны питомцамъ наполеоновскихъ порядковъ. Они видѣли только «расплывчатый стиль», «голубыя чернила», «почтовую линованную бумагу», и прочіе курьезы, столь важные для собирателя анекдотовъ или газетнаго репортера.

Мы остановились на отношеніи французскихъ писателей къ Жоржъ Зандъ, потому что это отношеніе прямымъ путемъ приводитъ насъ къ отвѣту на въ высшей степени важный для насъ вопросъ: какъ долженъ былъ чувствовать себя Тургеневъ въ обществѣ Золя, Гонкура, Додэ и Флобера—писателей, ближе всего стоявшихъ къ нему въ теченіе почти десяти лѣтъ?

Обратимся снова къ *Дневнику Гонкуровъ* и посмотримъ, что

---

[257]) *Journal*. II, 145; V, 79; II, 122. Гонкуръ пересказываетъ, между прочимъ, такую сцену:

Renan. M-me Sand, la plus grande artiste de ce temps-ci, et le talent le plus vrai!

La Table. Oh!.. Ah!.. Oh!.. Ah!..

собственно занимало Тургенева во время его бесѣдъ съ французскими пріятелями и чѣмъ они отвѣчали на его интересы?

Эдмондъ Гонкуръ познакомился съ Тургеневымъ 23 февраля 1863 г.—и вотъ его первое впечатлѣніе:

«Это обаятельный великанъ, крѣпкій гигантъ съ бѣлыми волосами; онъ имѣетъ видъ какого-нибудь благодѣтельнаго горнаго или лѣсного генія. Онъ красивъ, величественно красивъ, неизмѣримо красивъ, съ небесной синевой въ глазахъ, съ очаровательной пѣвучестью русскаго говора, съ особенными переливами въ голосѣ, напоминающими не то ребенка, не то негра» [258]).

Описаніе, повидимому, очень лестное, но въ немъ, несомнѣнно, слышится тонъ, какимъ говорятъ о заморской диковинкѣ, обитателѣ антиподовъ, явившемся на всеобщее позорище.

Внѣшность Тургенева—самая популярная тема въ разсказахъ иностранцевъ, — но какая разница во впечатлѣніяхъ Гонкура и, напримѣръ, нѣмца Пича! Того также поразила и очаровала фигура Ивана Сергѣевича, еще въ 1846 году, въ случайной встрѣчѣ, когда Пичъ еще и не подозрѣвалъ имени незнакомца. Но, говоритъ онъ, «никогда мое чувство не подсказывало мнѣ такъ непосредственно и инстинктивно: «это — необыкновенный человѣкъ». Вскорѣ послѣдовала бесѣда, конечно, о самомъ дорогомъ для Тургенева предметѣ,—о русской литературѣ, о русскихъ людяхъ,—и Пичъ прибавляетъ:

«Первое впечатлѣніе, произведенное имъ на меня, меня не обмануло. Русскій гость съ перваго же вечера сталъ центромъ нашего кружка: всѣ его слушали съ благоговѣніемъ, какъ очарованные».

Мы снова вспоминаемъ о разсказѣ Пича, чтобы впечатлѣнія нѣмца сороковыхъ годовъ сопоставить съ обѣдами французскихъ литераторовъ.

Тургеневъ и здѣсь съ перваго же раза заговорилъ о своемъ отечествѣ, о писателяхъ и читателяхъ въ Россіи. Парижскіе слушатели еще менѣе знали объ этихъ диковинкахъ, чѣмъ нѣмцы, и имъ небезъинтересно было слушать повѣствованіе компетент-

---

[258]) *Journal.* II, 95.

нѣйшаго наблюдателя и судьи. Потомъ Тургеневъ передалъ не мало подробностей изъ своей личной жизни, выставляя на первый планъ бытовую и общественную сторону разныхъ эпизодовъ и пережитыхъ впечатлѣній. Разсказалъ о тяжеломъ дѣтствѣ, о томъ, какъ онъ послѣ жестокихъ домашнихъ расправъ плакалъ въ саду, глотая слезы, описывалъ «вкусные часы своей молодости», «des savoureuses heures de sa jeunesse», когда онъ весь уходилъ въ созерцаніе природы, лежа на травѣ прислушивался къ «шуму земли»... И сколько въ этихъ разсказахъ разбросано тончайшихъ психологическихъ замѣчаній, разсыпано искръ мгновеннаго поэтическаго вдохновенія! Разсказъ часто переходилъ на русскій народъ, и Тургеневъ повѣрялъ французамъ свои многолѣтнія наблюденія надъ различными поколѣніями крестьянъ, надъ глубокимъ вліяніемъ освободительной реформы на бытъ и нравственное міросозерцаніе мужика... Легко представить, въ какихъ живыхъ образахъ возставали предъ Гонкуромъ, Золя и Додэ—фигуры «дѣдовъ», старшаго поколѣнія, говорящаго своимъ особымъ языкомъ изъ простонародныхъ односложныхъ выраженій и поговорокъ,—и Тургеневъ при этомъ подражалъ говору стариковъ-крестьянъ, потомъ «отцы» съ своимъ плавнымъ, часто лукавымъ краснорѣчіемъ, наконецъ «дѣти»—поколѣніе сдержанное, дипломатичное, упорное и независимое... На замѣчаніе слушателей, что скучно вести разговоръ съ подобными людьми,—Тургеневъ отвѣчалъ: «Напротивъ, часто приходится кое-чему научиться у этихъ невѣжественныхъ мудрецовъ, вѣчно занятыхъ своими думами въ полномъ отчужденіи отъ культурнаго общества»... И великій писатель передавалъ любопытные эпизоды, характеризующіе часто истинно-шекспировскую простоту и силу чувствъ простого человѣка [259]).

---

[59]) *Ib.* V, 24, 79, 233; VI, 101. Не лишено интереса слѣдующее сообщеніе Гонкура, относительно извѣстнаго эпизода тургеновской біографіи. «Il nous parle du mois de prison, qu'il a fait après la publication des *Memoires d'un chasseur*, de ce mois où il eut pour cellule les archives de la police d'un quartier, dont il compulsait les dossiers secrets. Il nous peint avec des traits de peintre et de romancier le chef de la police qui un jour grisé par lui de champagne, lui dit en lui touchant le coude et élevant son verre en l'air: «A. Robespierre!»...

Все это были новости для французскихъ талантовъ. Но и за предѣлами Россіи, въ цивилизованной Европѣ Гонкуры и Золя являлись почти такими же наивными учениками, какъ и относительно нашего отечества. Тургеневу безпрестанно приходилось знакомить своихъ слушателей съ произведеніями такого поэта, какъ Гёте, и откровенно заявлять имъ въ лицо, что они не имѣютъ представленія объ одномъ изъ величайшихъ геніевъ міровой литературы. Тургеневъ переводитъ имъ отрывки изъ сочиненій Гёте и поражаетъ французовъ смѣлостью и оригинальностью выраженій, открываетъ имъ горизонты, гдѣ совершенно невѣдома верховная власть французской академіи... [260]).

Никто не могъ сравниться съ Тургеневымъ въ искусствѣ разсказывать, вести бесѣду, умѣть выслушать и возразить. Представители трехъ націй ручаются намъ въ этой истинѣ: Пичъ—нѣмецъ, всѣ французы знавшіе Тургенева, а Рольстонъ англичанинъ увѣренъ, что «менѣе скучнаго собесѣдника трудно себѣ представить». Естественно, даже у Гонкура одновременно съ первымъ извѣстіемъ о смертельномъ недугѣ Ивана Сергѣевича невольно срывается прежде всего сожалѣніе о немъ, какъ «оригинальномъ разсказчикѣ» [261]). Очевидно, Тургеневъ всегда встрѣчалъ внимательныхъ слушателей, но, насколько вопросъ касается французовъ — внѣшнимъ вниманіемъ и ограничивались всѣ результаты бесѣдъ. Тургеневъ до конца оставался «интереснымъ варваромъ» для высоко-цивилизованныхъ натуралистовъ и скептиковъ. Его задушевныя воззрѣнія на литературу, нравственность, на любовь и на женщину казались его пріятелямъ забавными пережитками патріархальной старины, признаками низшей культуры.

---

[260]) *Иностр. крит.* Додэ. 202. *Journal.* V, 197. Къ той же эпохѣ относится горячая заботливость Т-ва о судьбахъ русской литературы заграницей. Мы говорили о переводѣ и распространеніи произвесеній гр. Толстого, такія же услуги Т-въ оказывалъ и Писемскому, раздѣляя нерѣдко трудъ французскаго переводчика его романовъ. Письма автора *Тысячи душъ* къ Т-ву переполнены просьбами и благодарностями и—въ письмѣ отъ 19 апрѣля 1877 читаемъ слѣдующее совершенно справедливое обобщеніе многочисленныхъ фактовъ: «Вы рѣшительно радѣтель въ Европѣ нашей бѣдной и заспанной литературы».

[261]) Рольстонъ. *Иностр. крит.* 186. *Journal.* VI, 255.

Мы уже знаемъ, какое безпредѣльное благоговѣніе питалъ Тургеневъ къ Пушкину. Объ этомъ благоговѣніи знали всѣ иностранцы, и Рольстонъ, напримѣръ, ссылается на него, какъ на краснорѣчивое свидѣтельство о благороднѣйшемъ патріотизмѣ Тургенева. Парижскіе писатели слышали слѣдующее заявленіе Ивана Сергѣевича: если ему дѣлалось грустно, онъ чувствовалъ себя дурно настроеннымъ, — двадцать стиховъ Пушкина возвращали ему бодрость, оживотворяли его, вызывали въ немъ такое изумительно нѣжное чувство, какого онъ не испытывалъ предъ самыми великими и благородными поступками. Только одна литература способна разгонять его душевный мракъ, дѣйствуя даже на его физическія ощущенія... [262]).

Это по-истинѣ необыкновенное похвальное слово литературѣ вообще, и въ частности Пушкину, даже если Гонкуръ и не вполнѣ точно передалъ выраженіе Тургенева.

Какъ же французы отвѣчали на подобныя рѣчи?

«C'est plat, mon cher», заявилъ одинъ изъ нихъ, когда Тургеневъ сталъ объяснять ему совершенства пушкинскаго произведенія [263]).

То же самое и относительно другой литературы.

Викторъ Гюго, напримѣръ, не стѣснялся подвергать жестокому порицанію нѣмцевъ, о Гёте выражался, что «ровно ничего не видитъ въ его сочиненіяхъ, и что трагедія *Гёте—Лагерь Валленштейна*—ему, Гюго, вовсе даже не понравилась»... Гюго замѣтили, что *Валленштейна* написалъ не Гёте, а Шиллеръ, онъ немедленно заявилъ, что вообще «никогда не читаетъ этихъ нѣмцевъ» и, не читая, знаетъ, что могъ написать и написалъ Гёте или Шиллеръ, и вообще «это одного поля ягода» [264]).

Золя относится совершенно также ко всему иноземному въ области искусства. Англійская и нѣмецкая литературы, по словамъ Тургенева, ему оставались совершенно неизвѣстными, а русская представляла своего рода миѳъ [265]).

---

262) *Journal.* V, 30.

263) *Ист. Вѣст.* XIV, 376. *Воспом. о Т—вѣ.* Н. Берга.

264) *Р. Ст.* XL, 209. *И. С. Т—въ въ его разсказахъ. Ист. Вѣст.* XIV, 381—2. *Воспоминанія о Т—вѣ.* Евг. Гаршина.

265) *Рус. Ст.* XL, 208.

И это невѣжество было не случайностью, а преднамѣренной системой. Для французскихъ писателей свѣтъ свѣтилъ только во французскомъ, точнѣе—въ парижскомъ окошкѣ. За предѣлами Франціи, для большинства даже за Булонскимъ лѣсомъ лежали «скиѳскія страны», безнадежно дикія и варварскія. Только для той же Жоржъ Зандъ Тургеневъ дѣлалъ исключеніе, признавалъ, что она понимала русскихъ, будто сама родилась русскою, но это потому, оговаривался Иванъ Сергѣевичъ, что «она все понимала» и была «совершенно исключительное созданіе, ни на кого не похожее».

Тургеневъ до конца оставался при такомъ взглядѣ на нежеланіе и неспособность французовъ отдавать должное литературѣ и образованности другихъ народовъ. Эта неспособность соединилась еще съ другими чертами, безусловно и лично ненавистными Тургеневу. Въ одной бесѣдѣ съ заграничнымъ знакомымъ Тургеневъ поставилъ ихъ рядомъ.

На заявленіе собесѣдника, что французы отнеслись бы крайне горячо къ важному факту въ жизни знаменитаго русскаго писателя, Тургеневъ выразилъ энергическій протестъ и прибавилъ:

«Да они ничѣмъ не интересуются, кромѣ себя, и ничего не знаютъ и не понимаютъ въ нашихъ русскихъ дѣлахъ».

Въ подтвержденіе романистъ разсказалъ слѣдующій эпизодъ.

— Да вотъ вамъ образецъ, какъ они насъ понимаютъ. Надняхъ я встрѣтилъ NN. (онъ назвалъ имя одного извѣстнаго французскаго историка); онъ передалъ мнѣ свои впечатлѣнія отъ моей *Нови*. Я, говоритъ, совсѣмъ дезоріентированъ на счетъ вашихъ нигилистовъ. Я столько слышалъ о нихъ дурного,—что они отрицаютъ собственность, семью, мораль... А въ вашихъ романахъ нигилисты—единственные честные люди. Особенно поразило меня ихъ цѣломудріе. Вѣдь ваши Маріанна и Неждановъ даже не поцѣловались другъ съ другомъ ни разу, хотя поселились въ уединеніи рядомъ. У насъ, французовъ, это вещь невозможная. И отчего это у васъ происходитъ? Отъ холодности темперамента?..»

Историкъ затронулъ вопросъ, совершенно различно разъяснявшійся Тургеневымъ и его французскими пріятелями,—вопросъ о женщинахъ и о любви. Здѣсь, по мнѣнію ихъ, съ особенной яркостью сказывалось варварство русскаго романиста.

Послѣ обѣда безпрестанно поднимались разговоры на романическія темы, и Тургеневъ поражалъ пріятелей первобытной наивностью сужденій.

Прежде всего они считали возможнымъ разсуждать о любви, никогда въ дѣйствительности не любивъ—даже по своему, «по натуралистически». Гонкуръ сознается въ этомъ съ истинной наивностью парижскаго благера.

«Во всемъ этомъ (въ бесѣдахъ о любви) одно несчастіе—ни Флоберъ, при всей выспренности своихъ выраженій, ни Золя, ни я—никогда вполнѣ серьезно не любили и оказывались неспособными охарактеризовать чувство любви. Могъ бы это сдѣлать только Тургеневъ, но ему не достаетъ критическаго смысла, который мы примѣнили бы съ своей стороны, если бы любили, какъ любилъ Тургеневъ» [266]).

Но врядъ ли тургеневское чувство вообще было доступно французскимъ романистамъ. Спустя нѣсколько времени мы читаемъ такое заявленіе того же Гонкура:

Понедѣльникъ, *28 января (1878 г.)*. Женщина, любовь: это всегдашній разговоръ въ кругу интеллигентныхъ людей, во время питья и ѣды.

«Разговоръ идетъ сначала въ шаловливомъ направленіи, и Тургеневъ слушаетъ насъ съ какимъ-то *окаменѣлымъ* изумленіемъ варвара, который представляетъ любовь только въ совершенно естественной формѣ» [267]).

За точность этого впечатлѣнія можно поручиться. Его подтверждаетъ самъ Тургеневъ. Онъ однажды разсказалъ своему другу, въ какія траги-комическія положенія попадалъ онъ среди французскихъ писателей—только благодаря своему сердечному и цѣломудренному понятію о любви. Когда онъ сознался, что ему недоступны многіе «натуралистическіе» вопросы, Альфонсъ Додэ сказалъ ему на ухо, полушепотомъ:

---

[266]) *Journal* V, 329.

[267]) «La conversation est d'abort polissonne et Tourgueneff nous écoute avec l'étonnement un peu *méduse* d'un barbare, qui ne fait l'amour que très naturellement». *Ib.* VI, 9.

— Никогда, mon cher, въ этомъ не признавайтесь, иначе вы покажетесь просто смѣшнымъ,—насмѣшите всѣхъ...

Другъ Тургенева совершенно основательно прибавляетъ отъ себя:

«Какъ одинъ этотъ анекдотъ рисуетъ нравы французскаго буржуазнаго общества! По мнѣнію наиобразованнѣйшихъ людей, не знать утонченностей разврата,—значитъ, людей смѣшить» [268]).

Мы знаемъ взглядъ Гонкура на женщину; естественно, этотъ собесѣдникъ Тургенева спѣшитъ въ своемъ *Дневникѣ* отмѣтить еще одну «варварскую черту» русскаго романиста—чувство уваженія къ женщинѣ, невольной благодарности за счастье, которое дается минутами увлеченія... [269]).

Все это французамъ казалось «не то дѣтскимъ, не то негритянскимъ». И разногласіе шло гораздо глубже. У Гонкура и въ воспоминаніяхъ друга Тургенева разсказанъ одинъ и тотъ же фактъ, превосходно изображающій жестокость лицемѣрной формальной законности французовъ и высоко-гуманное нравственное чувство русскаго.

Предъ нами два принципіально и органически враждебныхъ другъ другу міросозерцанія, и основы этой вражды показываютъ, какъ мало могло быть общаго въ *человѣческомъ смыслѣ* между Тургеневымъ и его парижскими друзьями.

Мы приведемъ разсказъ самого Тургенева.

«Разъ въ Парижѣ давали одну пьесу... Я, Флоберъ и другіе изъ числа французскихъ писателей собрались на эту пьесу взглянуть, такъ какъ она не мало надѣлала шума: нравилась она и журналистамъ, и публикѣ. Мы пошли, взяли мѣста рядомъ и помѣстились въ партерѣ.

«Какое же увидѣлъ я дѣйствіе? А вотъ какое. У одного негодяя была жена и двое дѣтей—сынъ и дочь. Негодяй мужъ не только прокутилъ все состояніе жены, но на каждомъ шагу оскорблялъ ее, чуть не билъ. Наконецъ, потребовалъ развода—separation de corps et de biens (что, впрочемъ, нисколько не даетъ

---

268) Полонскій. 537.
269) *Journal.* V, 277.

женѣ права выйти вторично замужъ). Онъ остается въ Парижѣ кутить; она съ дѣтьми, на послѣднія средства, уѣзжаетъ, если не ошибаюсь, въ Швейцарію. Тамъ знакомится она съ однимъ господиномъ, и, полюбивъ его, сходится съ нимъ, и почти-что всю жизнь свою до старости считается его женой.

«Оба счастливы. Онъ трудится и заботится не только о ней, но и о ея дѣтяхъ: онъ ихъ кормитъ, одѣваетъ, обуваетъ, воспитываетъ. Они также смотрятъ на него, какъ на родного отца, и выростаютъ въ той мысли, что они его дѣти. Наконецъ, сынъ становится взрослымъ—юношей, сестра—дѣвушкой-невѣстой. Въ это время состарившійся настоящій мужъ узнаетъ стороной, что жена его получаетъ большое наслѣдство. Провѣдавъ объ этомъ, старый развратникъ, безчестный и подлый во всѣхъ отношеніяхъ, задумываетъ изъ разсчета опять сойтись съ женой и съ этой цѣлью инкогнито пріѣзжаетъ въ тотъ городъ, гдѣ живетъ брошенная имъ мать его дѣтей.

«Прежде всего онъ знакомится съ сыномъ и открываетъ ему, что онъ отецъ его. Сыну же и въ голову не приходитъ спросить: отчего же, если онъ законный отецъ, онъ не жилъ съ его матерью, и если онъ и сестра его—его дѣти, то отчего, въ продолженіе столькихъ лѣтъ, онъ ни разу о нихъ не позаботился? Онъ просто начинаетъ мысленно упрекать свою мать и ненавидѣть того, кто одинъ далъ ей покой и на свои средства воспиталъ его и сестру, какъ родныхъ дѣтей своихъ. И вотъ происходитъ слѣдующая сцена. На сценѣ братъ и сестра. Входитъ воспитавшій ихъ другъ ихъ матери, и, по обыкновенію, здороваясь, какъ всегда, хочетъ прикоснуться губами къ головѣ дѣвушки, на которую съ дѣтства онъ привыкъ смотрѣть, какъ на родную дочь.

«Въ эту минуту молодой человѣкъ хватаетъ его за руку и отбрасываетъ его въ сторону отъ сестры.

«— Не осмѣливайтесь прикасаться къ сестрѣ моей!—выражаетъ его негодующее гнѣвомъ лицо.—Вы не имѣете никакого права такъ фамильярно обходиться съ ней»!

Флоберъ и его друзья, бывшіе съ Тургеневымъ въ театрѣ, пришли въ восторгъ отъ этой сцены. А между тѣмъ Тургеневъ *почувствовалъ* отвращеніе...

Долго онъ потомъ разсуждалъ съ пріятелями и никакъ не могъ убѣдить ихъ, что простое чувство гуманности говорило противъ юнаго героя. Французы стояли за *honneur de la famille* и одновременно смѣялись надъ наивностью русскаго романиста на счетъ разныхъ утонченностей парижской жизни [270]...

Тургеневъ сколько угодно могъ прибѣгать къ общимъ соображеніямъ на счетъ различія нравственныхъ воззрѣній у разныхъ народовъ,—онъ одинаково не въ силахъ былъ помириться ни съ французскимъ понятіемъ о «семейной чести» и «законности», ни съ «цивилизованнымъ» взглядомъ на любовь и женщину.

Что касается литературной дѣятельности, Тургеневъ здѣсь оказывался въ еще болѣе сомнительномъ положеніи. Онъ былъ въ высшей степени популяренъ въ Парижѣ, его считали здѣсь замѣчательнымъ писателемъ, точнѣе, разсказчикомъ—*original conteur*, но ему все-таки далеко было до Золя и даже до Гонкура. Ему, по мнѣнію тѣхъ же обѣденныхъ пріятелей, не доставало смѣлости въ психологіи, широты въ наблюденіяхъ, вообще, собственно писательскій талантъ его не изъ блестящихъ... И это понятно: Тургеневъ не имѣлъ ничего общаго съ французскимъ натурализмомъ, болѣе чѣмъ «смѣлымъ» и «широкимъ», не понималъ также нравственнаго и общественнаго эпикурейства Гонкура и Золя. Въ результатѣ, драгоцѣннѣйшія созданія тургеневскаго таланта въ глазахъ французовъ являлись чаще всего просто недоразумѣніемъ и «варварской» диковинкой, и популярность Тургенева основывалась, главнымъ образомъ, на его личныхъ отношеніяхъ, на его обаяніи, какъ человѣка. Въ виду этого, въ восторженныхъ французскихъ отзывахъ, возникшихъ послѣ смерти романиста, предъ нами неизмѣнно его личность и лишь рѣдкіе намеки на его авторство, за исключеніемъ статьи Вогюэ.

Тургеневъ отлично понималъ свое положеніе и относился къ нему равнодушно и съ своей точки зрѣнія на французскую культурную отзывчивость—совершенно справедливо.

Отцы и дѣти были переведены и объяснены Мериме, а по-

---

[270]) *Journal* V, 265—6. Полонскій. 535—6. Гонкуръ называетъ пьесу—*Madame Coverlet*. Спектакль происходилъ 4-го марта 1876 года.

томъ тотъ же писатель перевелъ *Призраки*. Знаменитый романъ могъ бы, конечно, стать извѣстнымъ французской публикѣ и найти должную оцѣнку. Но въ результатѣ происходитъ слѣдующее: «*Revue des deux mondes*», пишетъ Тургеневъ, «отказалъ въ помѣщенiи *Призраковъ*, какъ гили несуразной» [271]). И около этого же времени Гонкуръ, впервые встрѣтившись съ Тургеневымъ, знаетъ о немъ, какъ объ авторѣ такихъ произведенiй: *Mémoires d'un seigneur Russe* и *Hamlet russe* [272]). И только.

Много лѣтъ спустя вопросъ мало измѣнился. Въ концѣ 1875 г. Тургеневъ по поводу просьбы о литературной рекомендацiи писалъ изъ Парижа: «Я въ глазахъ здѣшней публики не имѣю ровно никакого значенiя. Едва знаютъ мое имя, да и съ чего имъ его знать?!» [273]).

То же самое онъ подтверждалъ Додэ. При первой встрѣчѣ французскiй романистъ заявилъ ему, что читалъ *Записки охотника*.

«Тургеневъ,—разсказываетъ Додэ,—не могъ придти въ себя отъ удивленiя.

«— Правда, вы читали меня?

«И онъ сообщилъ мнѣ разныя подробности о слабомъ сбытѣ его книгъ въ Парижѣ, о неизвѣстности его имени во Францiи. Издатель Гетцель издавалъ его просто изъ милости» [274])...

Въ этихъ словахъ, несомнѣнно, могло быть нѣкоторое преувеличенiе со стороны скромнаго писателя, но сущность—справедлива и вполнѣ естественна. Тургеневъ, какъ художникъ, стоялъ слишкомъ далеко отъ французскихъ собратовъ и по своему мiросозерцанiю, и по литературнымъ прiемамъ.

Романы Золя и Гонкура, въ свою очередь, не могли разсчитывать на сочувствiе Ивана Сергѣевича. Мы знаемъ его впечатлѣнiя въ шестидесятые годы. Они оставались такими же и послѣ его окончательнаго переселенiя въ Парижъ.

Въ концѣ 1875 года онъ пишетъ Салтыкову горячее письмо

---

[271]) Фетъ. II, 78. Письмо къ Фету отъ 10 окт. 1865.

[272]) *Journal*. II, 95. 23 fevrier 1863.

[273]) *Письма*. 275.

[274]) *Иностр. крит*. 197, 198.

по поводу уничтожающихъ отзывовъ сатирика о произведеніяхъ французскихъ натуралистовъ.

«Петръ Великій, говорятъ, когда встрѣчалъ умнаго человѣка, цѣловалъ его въ голову; я хоть и не Петръ, и не Великій — а, прочитавъ ваше письмо—охотно бы облобызалъ васъ, любезнѣйшій Михаилъ Евграфовичъ—до того все, что вы говорите о романахъ Гонкура и Золя — мѣтко и вѣрно. Мнѣ самому все это смутно мерещилось—словно подъ ложечкой сосало; но только теперь я произнесъ: А!—и ясно прозрѣлъ. И не то, чтобы у нихъ не было таланта, особенно у Золя; но идутъ они не по настоящей дорогѣ и ужъ очень сильно сочиняютъ. Литературой воняетъ отъ ихъ литературы: вотъ что худо»... [275]).

Еще менѣе могъ Тургеневъ примириться съ отношеніемъ Золя и Гонкура вообще къ литературной дѣятельности. Гонкуръ неоднократно принимается изображать свой пессимизмъ, свое разочарованіе и въ жизни, и въ людяхъ. «Литература уже не занимаетъ меня», пишетъ онъ, хотя и продолжаетъ издавать свои произведенія. Зачѣмъ же?

Это въ достаточной степени объясняется разсужденіемъ того же Гонкура по поводу Золя. «Никогда», говоритъ онъ, «литераторы не казались болѣе *мертворожденными*, чѣмъ въ наше время, и, однако, никогда они не работали такъ дѣятельно и неутомимо. Золя—хилый и нервный—работаетъ ежедневно отъ девяти часовъ до двѣнадцати, и отъ трехъ до восьми. Именно столько теперь приходится трудиться писателю съ талантомъ, и даже съ именемъ, чтобы заработать себѣ кусокъ хлѣба. «Это необходимо», твердитъ Золя, «и не думайте, что у меня есть воля, я отъ природы слабѣйшее существо и менѣе всего способное увлекаться. Волю замѣняетъ у меня idée fixe, и я заболѣлъ бы, если бы не повиновался ея внушенію» [276]).

Очевидно, въ этихъ рукахъ литература превратилась въ ремесло, въ промышленность и вовсе не для насущнаго заработка: невѣроятно, какъ Гонкуръ въ семидесятыхъ годахъ могъ изобра-

---

[275]) *Письма.* 271.

[276]) *Journal.* II, 201. V, 44.

жать Золя тружеником, бьющимся изъ-за куска хлѣба. «Натуральные» романы просто были ходкимъ товаромъ и доставляли авторамъ цѣлыя состоянія. Тургеневъ неоднократно въ письмахъ жалуется, что *не можетъ писать*, *не въ силахъ принудить себя* и не считаетъ возможнымъ въ такія времена создать что-либо достойное литературы. Подобныхъ затрудненій для французскихъ писателей не существуетъ. *Il le faut*, говорятъ они, у нихъ *l'idée fixe—gagner sa vie*, а вдохновеніе и всякія мысли и настроенія—предметы, совершенно лишніе въ писательствѣ.

Мы видимъ, въ какой чуждой средѣ пришлось жить русскому писателю. Мы не намѣрены доказывать, будто Тургенева, какъ писателя, вообще не умѣли цѣнить во Франціи. Были и здѣсь восторженные поклонники, вродѣ Мериме, — но его Тургеневъ не засталъ въ живыхъ послѣ франко-прусской войны. Остались почитатели и по смерти геніальнаго романиста, напримѣръ, Вогюэ, но это такія же единичныя явленія во французской критикѣ, какимъ Жоржъ Зандъ была, по мнѣнію Тургенева, въ художественной литературѣ. На *обычный* французскій взглядъ Тургеневъ представлялъ нѣчто странное, даже забавное, и какъ писатель, и какъ человѣкъ извѣстныхъ принциповъ. Его несравненно лучше понимали въ Германіи, Англіи, въ Америкѣ. За океаномъ его впервые провозгласили геніемъ: это показалось Тургеневу совершенно неожиданнымъ происшествіемъ. Онъ былъ также глубоко тронутъ, по словамъ очевидца, восхищенъ, когда ньюіоркскій издатель Георгъ Гольтъ прислалъ ему чекъ за переводы его романовъ. Присылка сопровождалась восторженнымъ отзывомъ американца о произведеніяхъ русскаго писателя. Гольтъ свой чекъ называлъ «слабымъ знакомъ признательности» и заявлялъ, что «никогда ни одно изъ издаваемыхъ имъ сочиненій не доставляло ему такого наслажденія, какъ переводы романовъ Тургенева» [277]). Въ Германіи предъ нимъ благоговѣли: по крайней мѣрѣ, никто изъ иностранцевъ не писалъ такихъ гимновъ во славу Тургенева, человѣка и *писателя*, какъ Питчъ и Юліанъ Шмидтъ. Оба единогласно свидѣтельствуютъ,

[277]) Журналъ *Atlantic Monthly Review*. Письмо отъ 21 февр. 1873 года. *Письма*. 213. *Иностр. крит.* Ральстокъ. 185.

какой могучій отголосокъ вызвали въ ихъ душѣ произведенія русскаго писателя. Именно *геній писателя* въ глазахъ нѣмцевъ окружалъ безсмертнымъ ореоломъ *сердце человѣка.* Они ожидали отъ Тургенева «объясненія той загадки, которая называется Россіей» [278]). У французовъ интересъ сосредоточивался на Тургеневѣ, какъ членѣ общества, дружескаго кружка или представителѣ оригинальнаго невѣдомаго «славянскаго типа». Къ новымъ культурнымъ горизонтамъ, какіе открывались въ тургеневскомъ творчествѣ, они, въ громадномъ большинствѣ, или снисходительно-равнодушны, или свѣтски-внимательны, съ оттѣнкомъ изумленія и ироніи.

Англичане ближе къ нѣмцамъ, и для нихъ Тургеневъ одинъ изъ великихъ дѣятелей цивилизаціи.

Оксфордскій университетъ даровалъ Тургеневу степень доктора обычнаго права. Посылая пріятелю послѣ этого эпизода новую фотографію, Тургеневъ писалъ: «Охъ! какъ плохо идетъ ученая шапка къ моей великорусской рожѣ!» Это происходило въ 1879 году, и у Тургенева числилось въ Англіи уже множество друзей и горячихъ почитателей. Два года спустя, по случаю пріѣзда Тургенева въ Англію, они затѣяли банкетъ, но Иванъ Сергѣевичъ рѣшительно возсталъ противъ торжества, считая себя недостойнымъ такой чести и опасаясь кривотолковъ своихъ враговъ. Ограничились обѣдомъ, Тургеневъ, «путаясь и запинаясь, произнесъ маленькій спичъ». Такъ разсказываетъ онъ самъ, но очевидецъ-англичанинъ говоритъ объ увлекательности, о глубокомъ чувствѣ, воодушевлявшихъ рѣчь Тургенева. «Для насъ, англичанъ», прибавляетъ разсказчикъ, «онъ былъ всего интереснѣе, когда говорилъ о вліяніи, оказанномъ англійской литературой не только на него одного, но и на русскую литературу вообще». Обѣдъ остался незабвеннымъ для всѣхъ участниковъ [279]).

Очевидно, это уже не французская болтовня на счетъ женщины и любви, напоминающая сцену изъ мопассановскаго романа: курительная комната, пропитанная сигарнымъ дымомъ и ликернымъ ароматомъ, и мужчины, представляющіе собой человѣчество безъ предразсудковъ...

---

[278]) *Иностр. крит.* Шмидтъ. 12.

[279]) *Письма.* 349, 388. *Иностр. крит.* 187—189.

Слѣдовательно, судьба, связавшая Тургенева съ французской семьей и съ французскимъ обществомъ, и въ томъ, и другомъ случаѣ менѣе всего проявила материнскихъ попеченій о талантѣ и нравственномъ мірѣ русскаго писателя. Мы знаемъ, въ чемъ состояло для Тургенева «семейное счастье» подъ кровлей Віардо; это въ сущности было долголѣтнее *недоразумѣніе*, плодившее въ его душѣ горечь душевнаго одиночества и тоску неудовлетвореннаго чувства. Мы видѣли теперь, какихъ радостей могъ ожидать Тургеневъ отъ парижскихъ товарищей по дѣятельности: дружба съ ними не болѣе, какъ условно-фамильярное, ресторанно-пріятельское компанейство. И на виллѣ *Les Frenes*, и въ *Café Riche* Тургеневъ одинаково былъ чужимъ, хотя и интереснымъ человѣкомъ въ томъ или другомъ отношеніи.

Такое заключеніе какъ нельзя краснорѣчивѣе подтверждается настроеніями Тургенева послѣ переселенія въ Парижъ до самой смерти.

До окончательнаго прикрѣпленія къ французской столицѣ Тургеневъ въ теченіе десяти лѣтъ написалъ пять романовъ и еще нѣсколько разсказовъ и статей. А послѣ *Дыма* также за десять лѣтъ напечатанъ только одинъ романъ *Новь*; среди же разсказовъ преобладаютъ мотивы, неизвѣстные раньше, — сверхестественное, таинственное, душевно-патологическое. Очевидно, творческая энергія писателя падаетъ—особенно съ семидесятыхъ годовъ, и—что еще важнѣе—былой реализмъ вдохновенія уступаетъ мѣсто фантастическому и мечтательному.

Чѣмъ же объясняются эти явленія?

Ихъ прежде всего превосходно понимаетъ самъ Тургеневъ, постоянно говоритъ о нихъ своимъ друзьямъ, и отголоски его разговоровъ слышатся даже въ художественныхъ произведеніяхъ.

Смыслъ объясненій не трудно предугадать. Стоитъ только снова обратиться къ тѣмъ же пяти романамъ. Четыре изъ нихъ быстро слѣдовали одинъ за другимъ, но *Дымъ* уже отдѣленъ отъ *Отцовъ и Дѣтей* промежуткомъ въ пять лѣтъ. Этого мало. Пятый романъ — мы указывали — отличается отъ другихъ авторскимъ настроеніемъ, литературной манерой. Разсказъ часто переходитъ въ явно-личныя изліянія, характеры дѣйствующихъ

лицъ принимаютъ преднамѣренно-рѣзкія формы, а одинъ изъ героевъ до очевидности представляетъ личность самого автора.

Какъ бы ни относиться къ общественному смыслу сатиры и положительнымъ выводамъ романа, самые пріемы автора противорѣчатъ его обычному спокойно-художественному творчеству, и психологъ слишкомъ часто уступаетъ мѣсто публицисту, не въ томъ смыслѣ, что изъ его анализа вытекаютъ совершенно опредѣленныя идеи: это отнюдь не наноситъ ущерба ни произведенію, ни поэтическому таланту, а сообщаетъ только тому и другому истинно-просвѣтительное значеніе. Нѣтъ. Авторъ—*жизненную картину* замѣняетъ отвлеченнымъ діалогомъ, *характеры*—быстро набрасываемыми рисунками, необходимыми для превращенія публицистическаго трактата въ драматическую сцену. Правда, эти рисунки постоянно обличаютъ геніальную кисть яркостью и реализмомъ красокъ, но у художника, очевидно, нѣтъ желанія и воли отдѣлывать ихъ съ былой артистической любовью и тщательностью. Онъ весь во власти нервныхъ ощущеній, и творческое созерцаніе жизни поминутно прерывается жгучимъ воплемъ душевной боли и страстнаго негодованія. И раньше читатели, вродѣ Фета, обвиняли Тургенева въ тенденціи. Но художникъ могъ совершенно искренно отвѣчать, что *идеи* въ его произведеніяхъ результатъ *образовъ*, *общіе выводы* создаются его *впечатлѣніями*, какъ наблюдателя и поэта.

«А освобождаться отъ собственныхъ впечатлѣній, потому только, что они похожи на тенденціи», по мнѣнію Тургенева, «было бы странно и смѣшно» [280]). Очевидно, сама жизнь, прошедшая сквозь душу и творческій геній художника, естественнымъ путемъ приводила и самого автора, и читателей къ извѣстнаго рода заключеніямъ—нравственнаго и общественнаго содержанія. Это—писательская объективность, но соединенная съ особаго рода человѣческой и гражданской отзывчивостью. Одна и та же дѣйствительность у одного наблюдателя могла вызывать только робкое дыханіе и трели соловья, у другого—безсмертные историческіе образы. И весь вопросъ заключался въ духовной ор-

---

280) *Фетъ.* I, 396. Письмо отъ 6 апр. 1862.

ганизаціи того и другого поэта, въ богатствѣ почвы, на которую падали сѣмена жизни, въ благородной силѣ инструмента, который заставляли звучать внѣшніе звуки.

Тургеневъ могъ быть, и на самомъ дѣлѣ былъ, несравненно менѣе тенденціозенъ, чѣмъ Фетъ—фанатическій врагъ ума и разсудка, могъ писать, «какъ трава растетъ», но вся его натура, всѣ его душевные процессы неудержимо органически стремились къ *идеѣ*, къ *значительному смыслу* творчески воспроизводимыхъ явленій. Въ этомъ прирожденномъ свойствѣ и кроется тайна геніальности. Кто самъ не обладаетъ тайной, тому мерещится тенденція, преднамѣренность тамъ, гдѣ совершается вполнѣ естественное преобразованіе образовъ въ идеи.

Истинно-геніальный художникъ *идеенъ по природѣ,* потому что геній есть совершенная гармонія всѣхъ духовныхъ силъ—творчества и разума, чувства и мысли, впечатлѣній и идей. И всѣ толки о «чистомъ» и тенденціозномъ искусствѣ—результатъ недоразумѣнія. Настоящій художникъ, даже тоскуя о «звукахъ сладкихъ и молитвахъ», окажется тенденціознымъ въ глазахъ чистыхъ художниковъ: примѣры Пушкинъ и Гоголь. Ни тотъ, ни другой не задавались публицистическими цѣлями, даже—случалось—открещивались отъ «толпы» и ея насущныхъ нуждъ,—и оба стали во главѣ реальнаго искусства, *стихійно* шли на встрѣчу жизненнымъ запросамъ той же толпы. Для этого имъ стоило только свободно отдаваться влеченіямъ своего генія, и онъ ихъ непремѣнно приводилъ къ общественнымъ образамъ, и, слѣдовательно идеямъ. Все равно, какъ розы сами собой растутъ на розовомъ кусту, а шиповникъ никогда не дастъ розъ, такъ и дѣйствительный художественный талантъ не можетъ приносить однихъ пустоцвѣтовъ, т. е. «звуковъ сладкихъ» безъ внутренняго содержанія. А это содержаніе всегда будетъ дѣтищемъ свѣтлаго разума, гуманнаго чувства, правды и справедливости: иначе—не было бы смысла ни въ жизни человѣчества, ни въ высшихъ по истинѣ божественныхъ дарахъ, выпадающихъ на долю избранныхъ.

Въ такомъ смыслѣ рѣшается основной вопросъ искусства произведеніями Тургенева,—рѣшеніе единственно возможное, когда дѣло идетъ о великомъ художникѣ. Но оно далеко не всегда было

доступно автору *Отцовъ и дѣтей.* И это онъ, какъ и всегда, сознаlъ прежде всего самъ.

«Объективный писатель беретъ на себя большую ношу: нужно, чтобы его мышцы были крѣпки... Прежде я такъ работалъ, и то не всегда; теперь я облѣнился, да и устарѣлъ» [281]). Такъ писалъ Тургеневъ въ іюнѣ 1876 года, т. е. наканунѣ появленія *Нови.* Но слова «и то» и «не всегда» должны быть отнесены къ болѣе раннему времени, именно къ *Дыму*. Авторъ, неизмѣнно проницательный и строгій судья надъ самимъ собой, не могъ не признать особенностей этого романа, не имѣвшихъ ничего общаго съ «объективностью» — *тургеневской объективностью*, а не фетовской и другихъ самозванныхъ «чистыхъ» художниковъ.

Чѣмъ же объясняется такое нарушеніе давнишняго творческаго процесса?

Дымъ—первый романъ, написанный внѣ Россіи и по заграничнымъ наблюденіямъ. Этихъ наблюденій было много, но на чужой почвѣ, среди чужой жизни. Художника поражали случайныя встрѣчи, мимоходомъ услышанные разговоры, отдѣльныя фигуры и разбросанные штрихи, а самый фонъ картины и ея цѣлое были скрыты отъ его глазъ. Сцена дѣйствія Баденъ-Баденъ и герои—русскіе туристы: въ результатѣ романъ часто сбивается на курортныя впечатлѣнія и путевые очерки. Ничего подобнаго не могло бы происходить, если бы сценой по прежнему была Россія, а дѣйствующимъ лицомъ—русское общество въ настоящемъ смыслѣ слова.

Тургеневъ—внѣ своего отечества—такими словами можно совершенно точно выразить настроеніе писателя и охарактеризовать его литературную дѣятельность съ начала семидесятыхъ годовъ. Въ этомъ фактѣ источникъ всѣхъ его нравственныхъ недомоганій и творческихъ неудачъ.

Письма Тургенева съ 1871 года переполнены однимъ мотивомъ: нѣтъ силъ писать, нѣтъ ни къ чему интереса, потому что кругомъ чужая жизнь, чужіе люди — и нѣтъ пищи поэтическому чувству. Въ маѣ 1871 года онъ пишетъ письмо, приведенное нами

---

[281]) *Письма.* 295.

и раньше—о томъ, что «голосъ остался, да пѣть нечего», потому что «по обстоятельствамъ всесильнымъ» авторъ живетъ внѣ Россіи.

Друзья убѣждаютъ его «обратить вниманіе на современность»,— Тургеневъ отвѣчаетъ: «живя за границей, это—трудно» [282]).

Пессимистическое настроеніе часто переходитъ въ чувство безнадежности. Мы и раньше слышали отъ Тургенева жалобы на жизнь, на физическіе недуги, на одиночество, но именно съ семидесятыхъ годовъ эти жалобы становятся какъ бы постояннымъ припѣвомъ въ его письмахъ, и даже въ художественныхъ произведеніяхъ.

Зимой въ 1873 году Тургеневъ пишетъ спокойное, но необыкновенно грустное письмо, увѣряетъ, что его душу все сильнѣе охватываетъ холодъ и равнодушіе ко всему: это даже его пугаетъ. Полтора года спустя то же самое. Ему, кажется,—онъ «скоро думать перестанетъ»; «буду прозябать,—и баста». Переписка съ друзьями, столь его всегда занимавшая, идетъ плохо, потому что ему нечего говорить о себѣ [283]).

На первое время Тургеневъ усиливается создать себѣ интересъ, разжигая свою старинную любовь къ живописи. Онъ усердно посѣщаетъ выставки, покупаетъ картины, становится даже популярнымъ въ Парижѣ, какъ *Gogo russe*, т. е. покупатель, котораго легко надуть, но все это только—«при отсутствіи всякаго другого живого интереса», признается Тургеневъ. Вскорѣ онъ, повидимому, охладѣваетъ и къ картинамъ и распродаетъ ихъ при первой нуждѣ въ деньгахъ. Рѣшаясь на распродажу, онъ пишетъ: «желалъ бы я найти что-нибудь, что бы меня занимало» [284]).

Одновременно съ этимъ общимъ томительнымъ настроеніемъ, Тургеневу приходится сводить счеты съ русскими «пріятелями».

Весной 1871 года Тургеневъ узналъ о разсказанномъ выше поступкѣ Достоевскаго. Полгода спустя *Московскія Вѣдомости* разразились статьей, клеймившей позоромъ нравственную личность Тургенева, Гончаровъ продолжалъ обвинять въ посягательствахъ

---

[282]) *Письма*. 207.

[283]) *Письма*. 264.

[284]) *Иностр. крит*. 176. Фетъ. II, 267. *Письма*. 215, 266.

на его «литературную честь» [285]). Наконецъ, произошелъ окончательный разрывъ съ Фетомъ.

Мы знаемъ, какъ мало общаго было во взглядахъ обоихъ писателей на существенные вопросы литературы и, слѣдовательно, общественной жизни. Тургеневъ держался на почвѣ общей полемики, но Фетъ не пропускалъ случая принять участіе въ личныхъ дѣлахъ Тургенева и непремѣнно во враждебномъ ему смыслѣ. Такъ, мы видѣли, было во время исторіи Ивана Сергѣевича съ дядей-управляющимъ. Поэтъ осыпалъ Тургенева жестокими упреками, явно не понимая дѣла, что ему и доказалъ Боткинъ [286]). Ссора Тургенева съ гр. Толстымъ ободрила Фета на дальнѣйшія рѣшительныя дѣйствія. Тургеневъ все еще продолжаетъ толковать Фету о тенденціозности и намѣренъ возобновить толки при личномъ свиданіи съ поэтомъ, но поэтъ уже начинаетъ дѣлать розыскъ на счетъ личныхъ недостатковъ Ивана Сергѣевича. Вотъ образчикъ этого розыска:

«Что Тургеневъ не чуждался своей дворянской роли, заключаю потому, что видѣлъ его въ Спасскомъ, охорашивающимся передъ зеркаломъ въ только-что полученномъ отъ портного дворянскомъ мундирѣ, въ которомъ, какъ онъ говорилъ, онъ ѣдетъ въ экстренное дворянское собраніе» [287]).

Съ такой основательностью и глубокомысліемъ поэтъ доказываетъ серьезнѣйшія выходки на счетъ своего стариннаго пріятеля!

Потомъ Фетъ увлекается философіей, преимущественно Шопенгауэромъ, встрѣчаетъ горячее сочувствіе гр. Толстого, и тотъ посылаетъ ему, въ августѣ 1869 года, восторженное письмо о «рядѣ духовныхъ наслажденій», о томъ, что «вѣрно ни одинъ студентъ въ свой курсъ не учился такъ много и столь многаго не узналъ, какъ я въ нынѣшнее лѣто», и что Шопенгауэръ «геніальнѣйшій изъ людей» [288]). Одновременно Фетъ дѣлаетъ вылазки противъ литературы и литераторовъ, а гр. Толстой проникается полнымъ равнодушіемъ къ этимъ предметамъ. Тургеневъ не устаетъ воз-

---

[285]) *Письма*. 194, 203, 285.
[286]) Фетъ. II, 119.
[287]) *Ib*. II, 191—2.
[288]) *Ib*. II, 199, 200.

ражать противъ резонерства друзей, преимущественно противъ «разсудительства» гр. Толстого, такъ какъ считаетъ его «единственной надеждой нашей осиротѣлой литературы», самого Фета въ шутливомъ стихотвореніи приглашаетъ бросить Шопенгауэра и пріѣхать лѣтомъ въ Спасское—взглянуть на крестьянское пиршество [289]).

Но Фетъ идетъ своимъ путемъ, свободнымъ отъ всякой тенденціи, и 21 августа 1873 года получаетъ отъ Тургенева такой письмо:

«Рекомендація ваша М. Н. Лонгинову, при его отъѣздѣ изъ Орла, возымѣла свое дѣйствіе: *Вѣстникъ Европы* получилъ второе предостереженіе. То-то вы порадуетесь, когда этотъ честный, умѣренный, монархическій органъ будетъ прекращенъ за революціонерство и радикализмъ».

Немного спустя Катковъ напалъ на трудъ Анненкова о Пушкинѣ, Фетъ присоединился къ редактору *Московскихъ Вѣдомостей* и принялся обвинять Анненкова въ «шаткости» убѣжденій. Тургеневъ впервые замѣтно теряетъ терпѣніе, такъ какъ, помимо личности друга, затрогивается еще имя обожаемаго поэта. Это происходило въ октябрѣ 1874 года, въ ноябрѣ Тургеневъ сообщилъ Фету, что ему стала извѣстна совершенно безсмысленная клевета поэта. Клевета состояла въ томъ, будто Тургеневъ въ разговорѣ съ двумя юношами—сыномъ и родственникомъ своей знакомой—старался «заразить ихъ жаждой идти въ Сибирь»... Тургеневу ничего не оставалось, какъ порвать знакомство съ Фетомъ, но и здѣсь онъ не могъ не выразить сожалѣнія о прошлыхъ отношеніяхъ.

Фетъ оправдывается въ своихъ *Воспоминаніяхъ*, но сущность не въ отдѣльныхъ фразахъ, а въ смыслѣ ихъ. А смыслъ Тургеневу былъ переданъ вѣрно. Но Фетъ и этимъ не удовольствовался; въ отвѣтѣ Тургеневу онъ упрекнулъ его въ оскорбительныхъ выходкахъ противъ гр. Толстого. Тургеневъ счелъ нужнымъ отвѣчать; ему, конечно, ничего не стоило опровергнуть навѣтъ, и онъ даже обращался къ «чувству справедливости» поэта.

---

289) *Ib.* II, 235, 216—7.

Въ *Воспоминаніяхъ* дальше слѣдуетъ настоящій обвинительный актъ о слабоволіи, «самомъ дѣтскомъ самолюбіи безпощаднаго эгоизма» Тургенева, объ его невѣжливомъ отношеніи къ дамамъ, о «прозрачномъ козыряніи» и «позорномъ искательствѣ», о «постыдномъ подлизываніи къ мальчишкамъ», о поступкѣ съ дядей, о «заносчивыхъ выходкахъ съ Толстымъ и съ нимъ—Фетомъ», характѐризующихъ Тургенева, какъ «пѣтушка-королька»... [290]).

Поэтъ, очевидно, отводилъ душу на полной свободѣ...

Спустя четыре года гр. Толстой обратился съ письмомъ къ Тургеневу; это произвело сильное отрезвляющее впечатлѣніе на Фета. Поэтъ сталъ соображать, что въ сущности ему не изъ-за чего ссориться съ Тургеневымъ, что оба они западники — одинъ «безъ всякой подкладки», а другой т. е. самъ Фетъ — «такой же западникъ на русской подкладкѣ изъ ярославской овчины, которую при нашихъ морозахъ покидать жутко».

Въ результатѣ Фетъ послалъ Тургеневу письмо, «очень милое», сообщалъ Тургеневъ, «хоть и не совсѣмъ ясное, съ цитатами изъ Канта» [291]).

Остается только неизвѣстнымъ, какимъ образомъ соображенія о «подкладкахъ» могли заставить поэта забыть объ удручающихъ личныхъ порокахъ и преступленіяхъ Тургенева.

Иванъ Сергѣевичъ не зналъ или не хотѣлъ знать Фетовскихъ уликъ и радостно привѣтствовалъ свое примиреніе съ оригинальнымъ западникомъ [291]).

Все это не могло разсѣять грусти писателя. Въ его личной жизни нѣтъ ни одного просвѣта. Правда, онъ именно въ годъ ссоры съ Фетомъ дѣятельно занятъ бракомъ дочери Віардо, онъ въ восторгѣ отъ ея счастья, устраиваетъ ея судьбу, дѣлится своими радостями съ друзьями. Но, мы уже знаемъ, эти радости чередуются съ тѣмъ же, будто невольнымъ, воплемъ одинокой тоски, и когда хлопоты кончились, мы слышимъ такое признаніе: «...Теперь все снова вошло въ обычную колею — *что лучше всего* (подчеркиваетъ Тургеневъ). О! блаженная прелесть одно-

---

290) *Ib.* II, 279, 290, 300, 302, 307, 308.

291) *Ib.* II, 350. *Письма.* 335.

образія и сходства нынѣшняго дня со вчерашнимъ!.. Этою прелестью я наслаждаюсь вполнѣ» [292]).

Могла ли при такихъ условіяхъ развиваться творческая дѣятельность художника? Ежеминутное сознаніе своей отчужденности отъ родины, холодъ нравственной безпріютности, мелкія житейскія дрязги:—ни новыхъ мотивовъ, ни вдохновенія, ни необходимаго душевнаго свѣта и мира... И Тургеневъ даже счастливъ, что онъ не работаетъ, что забросилъ литературу: ему было бы мучительно считаться съ своей авторской совѣстью, съ невольнымъ безсиліемъ творческихъ порывовъ.

Въ рѣдкіе дни и часы, когда къ нему возвращается воля работать, его не покидаетъ обычное настроеніе и направляетъ его мысль на соотвѣтствующіе образы и сюжеты.

Тургеневу приходилось писать на первое время въ Парижѣ подъ гнетомъ крайне тяжелыхъ впечатлѣній послѣ неудачи съ разсказомъ *Степной король Лиръ*. Находя, что разсказъ имѣлъ только *succès d'estime* и считая это «хуже фіаско», Тургеневъ рѣшилъ, было, остановиться. Но годъ спустя онъ уже сообщаетъ о *Вешнихъ водахъ*, снова не разсчитывая на успѣхъ [293]).

Это на самомъ дѣлѣ лучшее и крупнѣйшее произведеніе за цѣлыя шесть лѣтъ съ переселенія Тургенева въ Парижъ до появленія *Нови*, и именно на немъ прежде всего сказалась мрачная грусть, владѣвшая авторомъ.

«Ясная душа поэта отражала въ себѣ тяжелыя тучи и пасмурныя небеса», говоритъ Вогюэ про этотъ періодъ въ жизни Тургенева. «Въ концѣ *Вешнихъ водъ*, послѣ дивной сцены обольщенія, правдивой, какъ сама жизнь, въ которой такъ вѣрно выразилась слабость мужчины и дьявольское могущество женщины, слѣдуютъ нѣсколько страницъ, полныхъ такой горечи, что чувствуешь жалость къ писателю, который могъ создать ихъ» [294]).

Положеніе Санина, разбившаго свою молодую любовь и загубившаго счастье безволіемъ и заблужденіемъ, будто—отдаленный

---

[292]) *Письма*. 226, 227, 253

[293]) *Ib*. 183, 200. Письма отъ 27 окт. 1870 и отъ 18 дек. 1871.

[294]) *Иностр. крит.* 121.

отголосокъ личной судьбы автора. Для него также не существовало молодости, озаренной прочной, счастливой, любовью, онъ также неоднократно могъ сѣтовать на «всесильныя обстоятельства», ставшія выше его воли, и не давшія ничего взамѣнъ, кромѣ знобящаго холода одинокой старости.

У Санина остается впереди отраженіе чужого счастья, счастья дочери когда-то любимой дѣвушки, и онъ хватается за этотъ свѣтлый призракъ, лишь бы спастись отъ удручающей душевной пустоты...

И снова намъ представляется самъ авторъ, живущій радостями дочери г-жи Віардо, просиживающій ночи у ея постели во время болѣзни, съ замираніемъ сердца привѣтствующій ея перваго ребенка...

Единственныя «старческія» радости, уступленныя великому писателю «всесильными обстоятельствами!»

Но настоящая пѣснь одиночества—это разсказъ *Живыя мощи*.

Крестьянская дѣвушка, неизлѣчимо больная, на всю жизнь прикована къ постели. Кое-кто изрѣдка забредетъ поговорить съ ней. Важныя происшествія въ ея существованіи—воркованіе голубя на крышѣ, появленіе курочки-насѣдки съ цыплятами, воробья или бабочки. Цѣлое событіе—забѣжавшій заяцъ. А безъ этихъ событій трудно одинъ день отличить отъ другого.

Людская жизнь идетъ гдѣ-то далеко, мимо, едва донося свой шумъ до «живыхъ мощей».

Но есть и у Лукерьи минуты, когда предъ ея глазами проходятъ нескончаемыя картины иного чуднаго міра.

Это—ея сны.

«Сплю я точно рѣдко, но всякій разъ сны вижу; хорошіе сны! Никогда я больной себя не вижу; такая я всегда во снѣ здоровая да молодая...»

И дальше исторія изъ невозвратной молодости, изъ беззаботной дѣвичьей жизни. А тамъ—смутныя грезы о близкомъ концѣ всѣхъ страданій.

И здѣсь снова авторъ повѣряетъ намъ свои настроенія.

«Многіе даже изъ ближайшихъ его друзей не знаютъ,—говоритъ Пичъ,—что въ это время, когда Тургеневымъ все болѣе

и болѣе овладѣвала старческая тоска, онъ написалъ много поэтическихъ видѣній, воспоминаній и аллегорій глубоко пессимистическаго содержанія, замѣчательныхъ то грандіозной смѣлостью, то увлекательной граціей рисунка. Онъ называлъ эти произведенія «senilia», сновидѣнія старца. Многія изъ нихъ онъ дѣйствительно видѣлъ во снѣ, какъ, напримѣръ, фантастическій разсказъ *Старуха*, въ которомъ такъ наглядно изображается неизбѣжность смерти...»

Эти слова ближайшаго друга Тургенева и извѣстныя намъ признанія самого писателя—лучшія объясненія творческаго процесса послѣдняго десятилѣтія его жизни. А такіе разсказы, какъ *Живыя мощи*, *Странная исторія*, *Разсказъ отца Алексѣя*, *Сонъ* — подлинные документы къ біографіи автора, вѣрнѣйшія свидѣтельства его личныхъ настроеній и глубокихъ страданій.

Только однажды за всѣ эти годы Тургеневъ снова приблизился къ современной общественной дѣйствительности, приблизился боязливо, будто противъ воли, долго не находя въ себѣ силъ выполнить давно задуманный планъ... Наконецъ, — всѣ колебанія исчезли, какъ бы подъ наитіемъ былого юношескаго вдохновенія, и всего въ три мѣсяца былъ начатъ и оконченъ послѣдній романъ Тургенева—*Новь*.

XIII.

Мы знаемъ, съ какой тщательностью, своего рода священнымъ страхомъ работалъ Тургеневъ надъ своими произведеніями, сколько усилій стоило ему выпустить въ свѣтъ совершенно отдѣланную работу, какъ легко онъ поддавался совѣтамъ друзей и отзывамъ читателей, самымъ неблагосклоннымъ. Небольшихъ усилій стоило заставить Тургенева снова засѣсть за оконченный уже романъ, снова приняться за исправленія и передѣлки, и эти исправленія нерѣдко бывали на столько существенны и, подъ вліяніемъ излишней мнительности автора,—даже опрометчивы, что Тургеневу приходилось позже сѣтовать на свою покладливость.

Новь писалась и вышла въ свѣтъ при нѣсколько иныхъ условіяхъ. Авторъ, несомнѣнно, чувствовалъ себя достаточно закаленнымъ послѣ безпримѣрной войны по поводу каждаго своего

романа и даже *Воспоминаній.* Самый организмъ моіъ устать отъ безпрестанныхъ волненій, и вѣчная смѣна журнальныхъ воззрѣній и приговоровъ на самомъ дѣлѣ могла внушить Тургеневу болѣе спокойное отношеніе къ этой «тѣни, бѣгущей отъ дыма».

Новый романъ былъ написанъ необыкновенно быстро, какъ «ничто изъ моихъ большихъ произведеній», замѣчаетъ Тургеневъ, «съ плеча». Но эта быстрота окончательной работы свидѣтельствовала о продолжительномъ раннемъ процессѣ мысли, сосредоточенномъ на идеѣ романа. Это подтверждаетъ и самъ Тургеневъ. Романъ давно сложился въ головѣ автора,—не наступало только подходящаго момента, чтобы положить на бумагу давно надуманныя мысли и опредѣлившіеся образы.

Но никакія приготовленія не могли спасти Тургенева отъ мучительнаго безпокойства за свой трудъ. Письма, сопровождающія появленіе *Нови*, переполнены нервнымъ чувствомъ невольной боязни. Правда, авторъ спѣшитъ увѣрить себя и своихъ друзей въ полномъ равнодушіи къ мнѣніямъ критики и впечатлѣніямъ публики,— но на самомъ дѣлѣ равнодушія нѣтъ: иначе Тургеневъ не возвращался бы къ тому же вопросу почти въ каждомъ письмѣ, и не предупреждалъ бы Салтыкова на счетъ скромности своихъ ожиданій.

«Не о лаврахъ я мечтаю», писалъ онъ, «а о томъ, чтобы не слишкомъ сильно треснуться физіономіей въ грязь.—А впрочемъ, будь что будетъ» [295]).

Такъ думаетъ Тургеневъ, еще переписывая и исправляя романъ. Когда рукопись готова и уже отправлена предварительно на судъ неизмѣннаго перваго читателя—критика новыхъ произведеній Ивана Сергѣевича—Анненкова, авторъ пишетъ:

«Что изъ него вышло—неизвѣстно; намѣренія были хорошія— но каково исполненіе? Все это я теперь скоро узнаю» [296]).

Мы, конечно, должны ожидать, что Тургеневъ разсчитываетъ на самое худшее. Такова вѣчная психологія нервныхъ мнительныхъ натуръ. И дѣйствительно, немного спустя онъ заявляетъ:

«Никакого нѣтъ сомнѣнія, что если за *Отцовъ и Дѣтей* меня

---

[295]) *Письма,* 301.

[296]) *Ib.* 303.

били палками, за *Новь* меня будутъ лупить бревнами—и точно также съ обѣихъ сторонъ... Думаю, что это все съ меня сойдетъ, какъ съ гуся вода» [297]).

До появленія романа въ печати Тургеневъ, несомнѣнно, слышалъ многочисленные отзывы. Мы, къ сожалѣнію, не знаемъ, какъ эти отзывы отразились на послѣдней редакціи *Нови*. Можемъ указать только на два факта.

Неждановъ, отправляясь въ первый разъ «въ народъ», одѣваетъ мѣщанское платье. Соломину это кажется забавнымъ, молодой дѣятель гнѣвается и быстро обрываетъ сцену:

«Я пойду,—сказалъ онъ,—теперь же; а то это все очень любезно—только слегка на водевиль съ переодѣваніемъ смахиваетъ».

Послѣднія слова, можно думать, вставлены уже послѣ окончанія романа и вставка вызвана отзывомъ одной дамы, обозвавшей *Новь* «водевилемъ съ переодѣваніемъ». Авторъ, естественно, шелъ на встрѣчу такому же впечатлѣнію другихъ читателей и разсчитывалъ отразить его собственнымъ замѣчаніемъ. Можетъ быть, также объясняются и неоднократныя шутки Татьяны на счетъ «маскарада», устраиваемаго молодыми «опростѣлыми» героями.

Другой фактъ, за достовѣрность котораго трудно поручиться,—весьма прискорбнаго свойства. Есть извѣстіе, что уже послѣ напечатанія *Нови* въ *Вѣстникѣ Европы* изъ романа было выпущено нѣсколько сценъ и притомъ чрезвычайно важнаго содержанія. Въ одной сценѣ изображался разговоръ Маркелова съ губернаторомъ послѣ ареста и цѣлая глава, описывавшая «хожденіе въ народъ» Маріанны.

Мы приведемъ буквальныя слова лица, слышавшаго разсказъ объ этомъ отъ самого Тургенева.

«Эта Маріанна, какъ женщина, оказалась болѣе способной подойти къ жизни крестьянъ, и возбудила къ себѣ симпатіи и довѣріе мужиковъ. Правда, они сразу догадались, что это барышня, однако толковали съ нею по душѣ и одинъ старикъ сказалъ ей: «Это все правда, барышня, что ты говоришь о томъ, какъ насъ

[297]) *Ib.* 305.

обижаютъ баре; мы это и сами знаемъ,—да ты научи, какъ намъ избавиться отъ всего этого и т. д...»

Дальше разсказчикъ прибавляетъ, что Тургеневъ самъ предложилъ пожертвовать этой главой и другою сценой, когда представился выборъ между гибелью нѣсколькихъ страницъ его романа или другой журнальной статьи... Мы знаемъ фактъ только изъ одного источника, и слѣдовательно, не можемъ провѣрить его достовѣрность, но онъ совершенно въ характерѣ Ивана Сергѣевича: стоило ему почувствовать «не ловко», какъ онъ самъ выразился своему собесѣднику по поводу даннаго случая, и онъ немедленно шелъ на уступки. Но прискорбнѣе всего, что пропущенныя мѣста Тургеневъ не счелъ нужнымъ и даже возможнымъ возстановить ни въ иностранныхъ переводахъ *Нови*, ни въ отдѣльныхъ русскихъ изданiяхъ.

Безъ всякаго сомнѣнiя, подобныя сокращенiя вредили цѣльности и ясности новаго произведенiя, и Тургеневъ самъ указывалъ, что смыслъ *Нови* пострадалъ отъ выпусковъ. Критика и публика, даже и не подозрѣвавшiе факта, получили только новый поводъ недоумѣвать и подчасъ жестоко упрекать автора, а автору приходилось, скрѣпя сердце, расплачиваться за невольный грѣхъ.

Расплата оказалась необыкновенно тягостной. «Я никогда не подвергался такому единодушному порицанiю въ журналахъ», пишетъ Тургеневъ, вскорѣ послѣ напечатанiя *Нови*. И въ результатѣ мы, конечно, слышимъ старое обѣщанiе больше не писать. Всѣ отзывы о *Нови* онъ считаетъ для себя «дѣломъ прошлымъ», «такъ какъ», увѣряетъ онъ, «я рѣшился болѣе не писать и положить перо, которое служило мнѣ болѣе 30 лѣтъ;—пора въ отставку, къ ветеранамъ» [298]).

На этотъ разъ настроенiе, дѣйствительно, было рѣшительное, почти безнадежное. Его отмѣчаютъ даже иностранцы, сѣтуя на соотечественниковъ генiальнаго художника за безпощадность нападокъ [299]).

Но какъ бы нападки ни были рѣзки, сколько бы огорченiй

---

298) *Письма*, 314.
299) Пичъ. *Иностр. критика*. 179.

онѣ ни причиняли писателю на закатѣ его многотрудной и многострадальной жизни,—романъ, при самомъ хладнокровномъ и снисходительномъ отношеніи, не могъ не вызвать самыхъ страстныхъ сужденій. Мы здѣсь не станемъ разбирать старыхъ приговоровъ: общее настроеніе молодой критики мы уже знаемъ послѣ *Отцовъ и Дѣтей*. Мы подойдемъ къ роману съ исторической и психологической стороны, совершенно миновавъ личныя страсти и злобы минуты прошлаго.

Все произведеніе будто заранѣе было разсчитано на необыкновенно жгучій интересъ публики. Авторъ, прощаясь съ своей писательской дѣятельностью, представлялъ читателямъ настоящую личную исповѣдь въ художественной формѣ и открыто высказывалъ свои взгляды на важнѣйшіе наболѣвшіе вопросы современнаго молодого поколѣнія.

Рѣшеніе этихъ вопросовъ составлялось у Тургенева въ теченіи многихъ лѣтъ. Изъ заграничнаго далека онъ не упускалъ изъ виду ни одного явленія русской жизни и, по исконному своему влеченію, съ особеннымъ вниманіемъ слѣдилъ за нарожденіемъ и развитіемъ новыхъ идейныхъ теченій среди молодежи.

Мы могли по произведеніямъ и нѣкоторымъ чертамъ практической дѣятельности Тургенева видѣть, какое прочное и глубокое сочувствіе лучшіе русскіе люди питали къ народу наканунѣ и послѣ крестьянской реформы. Литература сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ усердно и самоотверженно распространяла въ обществѣ идеи гуманности и человѣческаго достоинства и постепенно воспитала поколѣніе, которое въ эпоху освобожденія сочло своимъ нравственнымъ долгомъ осуществить эти идеи въ жизни, придти на помощь народу на его новомъ трудномъ пути.

Тургеневъ лично поддался этимъ стремленіямъ и мы видѣли его неоднократныя попытки—отдать свои силы и свой талантъ на просвѣщеніе народа. Именно въ просвѣщеніи, въ народной грамотности Тургеневъ и видѣлъ величайшую цѣль высшихъ культурныхъ сословій. Крестьяне должны прежде всего цивилизоваться, стать культурнымъ классомъ страны. Эта идея, мы знаемъ, была принята единодушно въ кружкѣ Станкевича, здѣсь каждый будущій дѣятель считалъ высокимъ назначеніемъ учить народъ,

по просту сдѣлаться учителемъ даже при самыхъ скромныхъ условіяхъ. Подъ вліяніемъ юношескихъ стремленій Тургеневъ впослѣдствіи въ первыхъ своихъ романахъ выводитъ учителей и всегда въ идеальномъ свѣтѣ. Перерожденіе Рудина изъ байронствующаго краснобая въ положительнаго человѣка сороковыхъ годовъ увѣнчивается дѣятельностью въ качествѣ преподавателя гимназіи, восторженнаго наставника и друга подростающаго поколѣнія. Въ *Дворянскомъ гнѣздѣ* ту же атмосферу неисправимаго идеализма, равнодушнаго ко всѣмъ превратностямъ жизни, приноситъ на сцену Михалевичъ. Онъ оканчиваетъ свою кипучую жизнь, неизмѣнно преисполненную благороднѣйшихъ стремленій, должностью старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи. Ее авторъ называетъ его «настоящимъ дѣломъ». Михалевича и Рудина «обожаютъ» воспитанники. Эта сердечная связь—единственная награда идеалистамъ, потерпѣвшимъ безконечный рядъ крушеній въ житейскомъ морѣ...

Очевидно, въ глазахъ Тургенева подобная награда являлась одной изъ самыхъ почетныхъ. Онъ до конца жизни оставался при этомъ убѣжденіи. Интеллигенція—призванный учитель и руководитель народа на одномъ и томъ-же пути общечеловѣческой культуры.

Но требовалась спокойная вдумчивая мысль и не малое самоотверженіе, чтобы ограничиться такой ролью. Крестьянская реформа вызвала преувеличенныя ожиданія, даже у крестьянъ. Среди наиболѣе восторженныхъ образованныхъ юношей, идеалистически мечтавшихъ о новыхъ гражданахъ новаго государства, та же реформа должна была произвести настоящій нравственный и умственный переворотъ. Если крестьяне ждали разныхъ баснословныхъ, часто нелѣпыхъ благодѣяній,—молодые политики пускались въ самыя рѣшительныя предсказанія коренныхъ государственныхъ перемѣнъ, выспренніе планы всевозможныхъ вольностей и небывалаго всенароднаго движенія. Назначались даже точные сроки, когда этимъ планамъ предстояло осуществиться... Но сроки проходили и политическіе мыслители оказывались въ положеніи самозванныхъ пророковъ, предсказывающихъ по временамъ свѣтопреставленіе. Русская революція, повидимому, являлась столь же невѣроятнымъ событіемъ, какъ и всемірная катастрофа.

Тургеневу не требовалось никакихъ выжиданій, чтобы зара-
нѣе рѣшить вопросъ отрицательно. Ему неоднократно приходилось
опровергать слишкомъ горячихъ реформаторовъ, предлагать даже
«какое угодно пари», и дѣйствительность, конечно, оправдывала
писателя, превосходно знавшаго народъ.

Естественно, такое холодное отношеніе къ пламеннымъ надеж-
дамъ извѣстной части молодежи могло только усилить непопуляр-
ность Тургенева. Къ мечтательнымъ юношамъ присоединились даже
нѣкоторые «отцы», и соперничали съ ними въ страшныхъ проро-
чествахъ и грандіозныхъ разсчетахъ на преобразованіе вѣкового
строя Россіи. Относительно этихъ энтузіастовъ насмѣшки Турге-
нева часто становились рѣзкими, безпощадными.

И онъ былъ правъ. На несбыточную игру воображенія не-
производительно уходили лучшія силы и отвлекали ихъ отъ пря-
мого разумнаго дѣла. Если молодежь не могла простить Турге-
неву уступокъ Базарова презрѣнной эстетикѣ и аристократическимъ
предразсудкамъ, еще менѣе она могла позволить писателю насмѣшки
надъ героями народной свободы, законодателями будущаго госу-
дарства. Для Тургенева эти герои были въ лучшемъ случаѣ достойны
состраданія подобно слѣпцамъ и младенцамъ, и онъ, съ обычной
искренностью, не скрывалъ своихъ взглядовъ ни въ письмахъ, ни
въ личныхъ бесѣдахъ, не побоялся, наконецъ, перенести ихъ и въ
свой романъ.

Въ теченіи шестидесятыхъ годовъ Тургеневу приходилось без-
престанно касаться вопроса о народѣ и о роли образованнаго
класса среди народа. Положеніе писателя, ознаменовавшаго свое
раннее творчество *Записками охотника*, было крайне затрудни-
тельно. Интересъ къ народу, въ высшей степени напряженный
до реформы, у многихъ литераторовъ послѣ 19-го февраля быстр
переродился въ безотчетный восторгъ передъ деревенской жизнь
крестьянскими характерами и воззрѣніями. Возникло лирическ
народничество, настроенное на высокій тонъ независимо отъ у
ковъ дѣйствительности подъ вліяніемъ однихъ волшебныхъ з
ковъ—народъ, деревня, община. Крайнія увлеченія всегда о
...конно съ чувствами восторга вызываютъ вражду противъ
...иковъ, сколько-нибудь не похожихъ на пред

фанатическаго поклоненія. Русскіе народники такого противника открыли въ цивилизованной Европѣ, въ Западѣ, т. е. тамъ, гдѣ и старые славянофилы видѣли источники заразы и гнилья.

Народъ освобожденъ, — и горячимъ политикамъ представился вопросъ, какимъ политическимъ путемъ пойдутъ эти новые граждане? Отвѣтъ былъ найденъ *у себя, дома*. Россіи не требуется западно-европейскихъ формъ государственной и общественной жизни. На Западѣ торжествуетъ буржуазія въ ущербъ народу,— въ Россіи народная жизнь создала основу будущаго строя, свободнаго отъ буржуазнаго владычества. Эта основа—крестьянская *община, міръ*. Она должна примирить всѣ противорѣчія, созданныя культурой Запада, и вообще упрочить идеальный порядокъ для народной массы.

Очевидно, Тургеневу приходилось вести тѣ же бесѣды, какія онъ когда-то велъ съ Аксаковыми незадолго до романа *Дворянское гнѣздо*. Взгляды Тургенева на крестьянскую жизнь не измѣнились, онъ также остался прежнихъ убѣжденій и на счетъ Россіи, какъ государства европейскаго.

Противъ Тургенева стояло два противника—такъ называемая «молодая Россія»,—преобразователи изъ самыхъ юныхъ и горячихъ, и его давнишній другъ, Герценъ—когда-то весьма близкій ему по идеямъ, а теперь попавшій въ славянофильскій толкъ.

Главное оружіе Тургенева направлено именно противъ этого друга, въ высшей степени даровитаго публициста и, слѣдовательно, опаснаго для молодой и всякой другой публики.

Прежде всего Тургеневъ, опираясь на свое совершенное знаніе народной жизни, стремился охладить восторги своего друга предъ мужикомъ и доказать опрометчивость его нападокъ на Западъ съ его буржуазнымъ зломъ.

Герценъ возлагалъ особенныя надежды на идейную и нравственную отзывчивость крестьянъ,—Тургеневъ возражалъ:

«Народъ, предъ которымъ вы преклоняетесь, консерваторъ par excellence и даже носитъ въ себѣ зародыши такой буржуазіи въ дубленомъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, съ вѣчно набитымъ до изжоги брюхомъ и отвращеніемъ ко всякой гражданской отвѣтственности и самодѣятельности, что даже оставитъ за собою

всѣ мѣтко-вѣрныя черты, которыми ты изобразилъ западную буржуазію въ своихъ письмахъ. Далеко нечего ходить—посмотри на нашихъ купцовъ» [300]).

Дальше Тургеневъ указывалъ на грозную дилемму, которую неминуемо предстоитъ разрѣшить беззавѣтнымъ поклонникамъ народа. Необходимо, или «низвергаться» предъ нимъ, несмотря на многочисленныя темныя стороны его жизни и характера, воспитанныя многовѣковымъ рабствомъ, или «коверкать его» по теоріи, выработанной вдали отъ дѣйствительности. Придется чуть не одновременно признавать убѣжденія народа «святыми и высокими» и «клеймить ихъ несчастными и безумными».

И примѣръ подобнаго совпаденія Тургеневъ здѣсь же и приводилъ изъ брошюры одного народолюбца.

Ясно, слѣдовательно, народническій энтузіазмъ—непростительное заблужденіе и притомъ гибельное. Оно воспитываетъ безпочвенную національную гордость, укрѣпляетъ варварское чувство самообольщенія и ведетъ къ безчисленнымъ разочарованіямъ, лишь только энтузіастъ принимается за практическую дѣятельность.

Тургеневъ жестоко упрекаетъ своихъ противниковъ въ совращеніи юнцовъ съ пути здравомыслія и вдумчиваго отношенія къ фактамъ.

«Наливъ молодыя головы вашей еще не перебродившей соціально-славянофильской брагой, пускаете ихъ хмѣльными и отуманенными въ міръ, гдѣ имъ предстоитъ споткнуться на первомъ шагу. Что вы все это дѣлаете добросовѣстно, честно, горестно, съ горячимъ и искреннимъ самоотверженіемъ—въ этомъ я не сомнѣваюсь и ты увѣренъ, что я не сомнѣваюсь... но отъ этого не легче»... [301]).

Рѣчь Тургенева становится особенно энергичной, когда онъ начинаетъ указывать на преднамѣренное пренебреженіе новыхъ реформаторовъ къ самымъ убѣдительнымъ даннымъ «исторіи, физіологіи, статистики». Эти науки доказываютъ, что русскіе принадлежатъ «по языку и по породѣ къ европейской семьѣ, genus

[300]) Письмо помѣчено: *Баденъ-Баденъ, 8 октября 1862 г.*

[301]) Письмо помѣчено: *Парижъ, 8 ноября, 1862.*

europaeum», слѣдовательно для нихъ не можетъ быть исключительнаго пути культурнаго развитія. Столь же убѣдительныя данныя показываютъ полнѣйшее несходство вкусовъ и идеаловъ крестьянина и его непризваннаго руководителя - славянофила и обожателя всего народнаго. При настоящихъ условіяхъ мужикъ и политикъ-народникъ прямо не поймутъ другъ друга: это два существа двухъ совершенно различныхъ міровъ, и единственное средство объединить ихъ—просвѣщеніе.

Тургеневъ безпрестанно повторяетъ эту мысль. Ему приходится выслушивать весьма рѣзкія укоризны за свою приверженность къ Европѣ. Онъ отвѣчаетъ спокойно и всегда въ одномъ и томъ же смыслѣ:

«Не изъ эпикуреизма, не отъ усталости и лѣни я удалился, какъ говоритъ Гоголь, подъ *сѣнь струй* европейскихъ принциповъ и учрежденій. Мнѣ было бы 25 лѣтъ—я бы не поступилъ иначе—не столько для собственной пользы, сколько для пользы народа. Роль *образованнаго* класса въ Россіи быть передавателемъ цивилизаціи народу съ тѣмъ, чтобы онъ самъ уже рѣшилъ, что ему отвергать и принимать. Это въ сущности скромная роль, хотя въ ней подвизались Петръ Великій и Ломоносовъ»... [302]).

Въ этой программѣ слышались ясные отголоски стараго западничества Тургенева и тѣхъ самыхъ рѣчей, какими Лаврецкій поражалъ пылкаго канцелярскаго генія—Паншина. Во имя народа Тургеневъ требовалъ цивилизаціи и уваженія къ народной личности, какъ исторической силѣ. Онъ и теперь могъ искренно заговорить о «признаніи народной правды», о «смиреніи предъ нею»,—не въ смыслѣ слѣпаго культа, а неизмѣнно гуманнаго, вдумчиваго отношенія къ вѣковой исторіи народнаго быта и народнаго духа. Всякая ломка, производящая на народъ впечатлѣніе насилія и произвола, казалась Тургеневу одинаково тяжкимъ грѣхомъ и предъ европейской культурой, и предъ народной правдой. Воспитать въ народѣ сознательную потребность гражданственныхъ благъ, изъ стихійной косной массы превратить его въ мыслящее человѣческое общество и достигнуть этого упорнымъ мирнымъ трудомъ, без-

[302]) Письмо отъ 8 октября 1862 года.

граничнымъ терпѣніемъ, незамѣтной, менѣе всего героической работой—таковъ идеалъ Тургенева—и въ то время, когда онъ наканунѣ реформы замышлялъ «Общество для распространенія грамотности и первоначальнаго обученія», и въ самый разгаръ его борьбы съ новымъ революціоннымъ славянофильствомъ и народническимъ идолопоклонствомъ.

Въ основныхъ идеяхъ Тургеневъ рѣзко расходился съ Герценомъ, но нѣкоторые частные вопросы рѣшались ими одинаково. И это особенно важно, потому что здѣсь на первомъ планѣ стоялъ вопросъ все о той же революціи, точнѣе—о революціонной пропагандѣ.

Мы видѣли, Тургеневъ безусловно не вѣрилъ въ подобную пропаганду среди народа, все равно, во имя чего бы она ни велась и какими бы путями ни дѣйствовала. Его другъ не соглашался съ такимъ безусловнымъ отрицаніемъ, но и ему пришлось горячо опровергать цѣлую партію революціонеровъ. И это опроверженіе представляетъ для насъ особенный интересъ — именно въ виду тургеневской *Нови*.

Многимъ представителямъ «молодой Россіи» казалось необыкновенно простымъ дѣломъ — вызвать переворотъ: стоило только заимствовать пути и цѣли европейскихъ революцій и перенести ихъ на русскую почву. Въ результатѣ появились самые хитросплетенные девизы будущаго движенія, воскресла стародавняя реторика французскихъ гражданъ крайняго направленія и русскому народу предстояло вести борьбу за «соціальную и демократическую русскую республику».

Въ глазахъ изобрѣтателей этой республики казались отсталыми и консерваторами всѣ, кто не стремился облечься въ тогу трибуна и появиться среди крестьянъ во всеоружіи республиканскаго краснорѣчія. Въ число отсталыхъ попалъ и другъ Тургенева, чувствовавшій естественное недовѣріе и даже презрѣніе къ безплодной реторикѣ переряженныхъ «римскихъ гражданъ». Ему пришлось тогда повторить почти съ буквальной точностью указанія Тургенева на отвлеченный азартъ юныхъ преобразователей, на ихъ незнаніе русской дѣйствительности и полное непониманіе русскаго народа. Его отзывъ о программѣ «молодой Россіи» еще энергичнѣе, *чѣмъ отповѣдь* Тургенева ему самому:

«Ясно, что люди, писавшіе ее, больше жили въ мірѣ товарищей и книгъ, чѣмъ въ мірѣ фактовъ; больше въ алгебрѣ идей съ ея мелкими и всеобщими формулами и выводами, чѣмъ въ мастерской, гдѣ треніе и температура, дурной закалъ и раковина, мѣняютъ простоту механическаго закона и тормазятъ его быстрый ходъ. Рѣчь ихъ такою и вышла, въ ней нѣтъ той внутренней сдержанности, которую даетъ или свой опытъ, или строй организованной партіи... Каждое дѣло идетъ не по законамъ отвлеченной логики, а сложнымъ процессомъ эмбріогеніи...

«Говорить чужими образами, звать чужимъ кличемъ—это непониманіе ни дѣла, ни народа, это неуваженіе ни къ нему, ни къ народу».

Далѣе авторъ горько смѣется надъ замысловатымъ девизомъ молодыхъ политиковъ, указываетъ, что даже слова этого девиза непонятны русскому народу. Вообще костюмъ европейскаго республиканца на плечахъ русскаго гражданина, проповѣдующаго на русской площади—«сбивается на маскарадное платье», и не только не достигаетъ цѣли, но даже навлекаетъ злѣйшія опасности на переряженныхъ трибуновъ.

Въ доказательство авторъ приводилъ случай изъ дѣйствительной жизни, напоминающій приключеніе тургеневскаго героя—Маркелова—во время его хожденія въ народъ.

«Народъ намъ не вѣритъ», заключаетъ авторъ, «и готовъ побить каменями тѣхъ, которые отдаютъ за него жизнь. Темной ночью, въ которой его воспитали, онъ готовъ, какъ великанъ въ сказкѣ, перебить своихъ дѣтей только потому, что на нихъ чужое платье» [303]).

Подъ этими разсужденіями могъ подписаться и Тургеневъ, но онъ къ послѣднимъ словамъ Герцена прибавилъ бы: «готовъ перебить своихъ дѣтей даже и одѣтыхъ въ русское платье, но говорящихъ съ нимъ не его языкомъ и призывающихъ его на безсмысленный и преступный, по его мнѣнію, путь». «Маскарадъ», по глубокому убѣжденію Тургенева, можно было устроить не только въ костюмѣ европейскаго революціонера, но и въ крестьянскомъ

---

303) Статья относится къ іюлю 1862 года.

армякѣ или мѣщанской чуйкѣ: для народа и то, и другое платье, надѣтое ради революціонной пропаганды, являлось жалкой или дерзкой поддѣлкой подъ его вкусы.

Мало этого. Не только платье и рѣчи, по мнѣнію Тургенева, не могутъ вызвать желательнаго впечатлѣнія въ народной средѣ, даже настоящія дѣла, страданія за народъ, при извѣстныхъ условіяхъ, не возбуждаютъ чувства состраданія у людей изъ народа. Немного позже *Нови* былъ написанъ діалогъ *Чернорабочій и бѣлоручка*. Здѣсь предъ нами роковое взаимное непониманіе различныхъ классовъ общества. На одной сторонѣ искреннія и самоотверженныя стремленія послужить благу народа, принести въ жертву этой цѣли лучшія силы, самую жизнь. На другой—непреодолимое недовѣріе и, что еще трагичнѣе, совершенное непониманіе самыхъ чистыхъ намѣреній «бѣлоручки»... Діалогъ оканчивается страшнымъ мотивомъ, заключающимъ въ себѣ безпощадную насмѣшку темной силы надъ идеализмомъ непризнаннаго борца за счастье чернорабочаго...

Это «стихотвореніе» въ общихъ чертахъ излагаетъ исторію революціонныхъ предпріятій, какъ ее представлялъ Тургеневъ. Всего двѣ черты изъ діалога, и мы невольно вспомнимъ разсужденія въ письмахъ Тургенева и драму его послѣдняго романа.

Рабочій чувствуетъ запахъ желѣза отъ рукъ своего собесѣдника. Оказывается, тотъ шесть лѣтъ носилъ кандалы. Рабочему любопытно знать—за что?

Бѣлоручка. А за то, что я о вашемъ добрѣ заботился, хотѣлъ освободить васъ, сѣрыхъ, темныхъ людей, возставалъ противъ притѣсненій вашихъ, бунтовалъ... ну, меня и засадили.

На эту рѣчь слѣдуетъ краткая и сильная отповѣдь:

«Засадили? Вольно жъ тебѣ было бунтовать!»

И иного отвѣта быть не можетъ при тѣхъ культурныхъ отношеніяхъ, какія существуютъ между нашимъ героемъ и толпой. Бѣлоручка отъ начала до конца шелъ путемъ, совершенно чуждымъ и невѣдомымъ для чернорабочаго. И его страданія и его смерть остались для народа *внѣшними* явленіями и только случайность избавила бѣлоручку отъ самаго горькаго разочарованія: чернорабочіе интересуются веревкой, на которой будутъ вѣшать ихъ

печальника, — они столь же естественно могли сами приготовить для него орудіе казни...

Гдѣ же исходъ?

Отвѣтъ Тургенева ясенъ. Вмѣсто революціи—просвѣщеніе, цивилизація, постепенное нравственное сближеніе народа съ образованными классами. Тогда исчезнетъ двойное недоразумѣніе. Нынѣшніе революціонеры узнаютъ народъ и откажутся отъ несбыточной и пагубной мечты — на вѣковой исторической почвѣ во мгновеніе ока—путемъ зажигательныхъ рѣчей и брошюръ — создать новый идеальный строй жизни. Народъ, въ свою очередь, перестанетъ заявленія «бѣлоручекъ»: «Я вашъ, братцы!»—встрѣчать или равнодушнымъ смѣхомъ, или въ дурной часъ даже злобой и презрѣніемъ. Къ такимъ взглядамъ на самые безпокойные вопросы современнаго общества Тургеневъ пришелъ задолго до того дня, когда онъ рѣшилъ, наконецъ, написать *Новь*. Взгляды въ общихъ чертахъ опредѣлились очень давно, но частности и преимущественно художественные образы, поясняющіе идею, сложились постепенно, за все время спора Тургенева съ Герценомъ и съ представителями «молодой Россіи». Такъ слѣдуетъ понимать выраженіе Тургенева, что идея романа у него «долго вертѣлась въ головѣ». Осуществленіе идеи откладывалось въ теченіе многихъ лѣтъ, авторъ, очевидно, не чувствовалъ въ себѣ достаточно силъ и вдохновенія. Эта невольная отсрочка должна была неизбѣжно приподнять тонъ разсказа, лирическимъ, т.-е. субъективнымъ мѣстамъ романа сообщить особенное воодушевленіе, отмѣтить красными чертами лично-дорогія автору идеи. *Нови*, слѣдовательно, предстояло раздѣлить участь *Дыма*, явиться сатирой, элегіей, отчасти защитительнымъ словомъ и менѣе всего спокойнымъ эпическимъ отраженіемъ дѣйствительности.

Мы знаемъ, въ чемъ могла состоять основная цѣль Тургенева, когда онъ обдумывалъ героевъ и факты своего будущаго произведенія. Письма шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ указываютъ эту цѣль безошибочно: революціонные разсчеты молодежи на русскій народъ—ослѣпленіе и безуміе, «хожденіе въ народъ» — трагикомическій фарсъ, стремленіе къ героической преобразовательной роли—преступленіе предъ духомъ и потребностями вре-

мени: нужна «мелкая, темная и даже жизненная работа», т.-е. самая будничная и незамѣтная, въ родѣ обученія мужика грамотѣ, основанія больницъ...

Все это—подлинныя рѣчи самого Тургенева, и романъ послужилъ только иллюстраціей къ рѣчамъ.

Въ *Нови* два героя сосредоточиваютъ съ перваго взгляда все наше вниманіе: Неждановъ и Соломинъ. Вотъ они-то и должны будутъ въ лицахъ доказать извѣстный намъ общественно-просвѣтительный символъ Тургенева. Неждановъ долженъ представить банкротство революціи, какъ ее понимали политики «молодой Россіи», Соломинъ—блистательно оправдать «жизненную работу». Для автора, выдержавшаго столько сраженій съ представителями «прогрессивной молодежи» и даже съ нѣкоторыми увлекающимися отцами, важнѣе всего, конечно, было доказать безпочвенность прогресса, какъ его объясняли разные реальные Базаровы. Очевидно, Неждановъ долженъ очутиться въ особыхъ условіяхъ, которыя бы облегчили автору путь и совершенно естественно, въ силу логики событій, подсказали требуемый отвѣтъ на давнишній мучительный вопросъ.

Такъ это и происходитъ.

Нежданову предстоитъ идти въ народъ, тамъ его встрѣтитъ закоренѣлое невѣжество, нужда, равнодушіе къ величайшимъ лишеніямъ и, прежде всего, полное отсутствіе внѣшней культуры. Послѣднее обстоятельство, конечно, краснорѣчивѣе всякой умственной темноты и нравственнаго отупѣнія, можетъ показать страшную пропасть между «бѣлоручками» и «чернорабочими», между непризванными реформаторами народной жизни и этой самой жизнью. Потомъ, именно внѣшнія условія будничнаго существованія и праздничнаго веселья мужика скорѣе всего могутъ оттолкнуть просвѣщеннаго горожанина, вызвать у него прямо физическое отвращеніе.

Представьте всѣ эти соображенія въ лицахъ и сценахъ, и вы сравнительно простыми и легкими средствами достигнете крупнаго результата: на большинство читающей публики произведете неотразимое впечатлѣніе, до какой степени безцѣльно и безсмысленно съ современнымъ мужикомъ толковать объ общественномъ переворотѣ.

Именно такое впечатлѣніе и требуется автору, и онъ совершенно послѣдовательно выбираетъ въ герои «хожденія» юношу необыкновенно тонкой художественной организаціи, существо почти женственное, до болѣзненности впечатлительное и, въ заключеніе всего, безнадежно заѣдаемое рефлексіей.

Въ самомъ дѣлѣ, вглядитесь въ судьбу и личность Нежданова, и вы будете поражены откровенностью авторскихъ намѣреній.

Неждановъ—незаконный княжескій сынъ и одинъ изъ самыхъ блестящихъ примѣровъ вліянія наслѣдственности. Онъ отъ природы снабженъ всѣми признаками высшей экзотической культуры, начиная съ внѣшности. Чувство красоты въ немъ развито, какъ у истаго наслѣдника вѣковой эстетики «отцовъ»-романтиковъ. Предъ нимъ даже братья Кирсановы въ этомъ отношеніи созданія первобытныя и малоодаренныя. Тѣ только восхищаются произведеніями чужого поэтическаго генія,—Неждановъ самъ поэтъ и притомъ настоящій, чувствующій по временамъ непреодолимую потребность излить свои ощущенія и думы въ стихахъ. У него хранится завѣтная тетрадка, дневникъ, исторія сильнѣйшихъ моментовъ его жизни. У него, кромѣ того, есть другъ, повѣренный всѣхъ его тайнъ, «замѣчательно чистой души», Владиміръ Силинъ. Къ нему Неждановъ постоянно пишетъ письма, знаменуя ими важныя событія своего внѣшняго и внутренняго міра. Эти письма—другой дневникъ, другой рядъ сердечныхъ изліяній...

Развѣ все это не напоминаетъ нѣчто институтское, немыслимое безъ стихотворнаго альбома и идеальной дружбы? Развѣ этотъ юноша съ нѣжнымъ цвѣтомъ лица и другими признаками «породы»— не герой какой-нибудь романтической идилліи, не прямой духовный потомокъ поколѣнія, много раньше осужденнаго авторомъ на немощное угасаніе среди новой реальной и органически-сильной жизни?

Теперь тотъ же авторъ вызываетъ изъ «царства мертвыхъ» юный образъ исключительно за тѣмъ, чтобы изобразить предъ нами давно извѣстную агонію — физическую и нравственную, точнѣе, чтобы разсказать жизнь, сплошь состоящую изъ одной агоніи.

Если бы Неждановъ родился при вполнѣ благопріятныхъ усло-

віяхъ, т.-е. отъ родителей въ бракѣ, его біографія врядъ ли отличалась бы чѣмъ отъ тысячи другихъ біографій. Самое существенное отличіе состояло бы, вѣроятно, въ поэтическихъ занятіяхъ Нежданова. Воспитавшись въ аристократической обстановкѣ, на лонѣ «высшей культуры», ежедневно вдыхая воздухъ романтизма и эстетики, — онъ, конечно, не считалъ бы своимъ нравственнымъ долгомъ скрывать свои стихотворческія упражненія. Они нисколько не нарушили бы общаго тона его существованія. Напротивъ, онъ могъ бы даже прослыть семейнымъ или салоннымъ геніемъ, и плоды его музы красовались бы не въ одномъ раздушенномъ альбомѣ мечтательной свѣтской красавицы.

Но злосчастная судьба все устроила по-своему. Неждановъ — незаконный сынъ и его даже не ожидали на свѣтъ божій. Прирожденный аристократъ, слѣдовательно, роковымъ образомъ очутился среди паріевъ, жертвой общественныхъ предразсудковъ и юридическихъ ограниченій. Драма въ высшей степени простая и безчисленное число разъ вдохновлявшая гуманныхъ поэтовъ и публицистовъ.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ существовалъ особый жанръ сценическихъ произведеній, посвященныхъ «незаконнымъ дѣтямъ». *Le Fils Naturel* — такой же обычный герой просвѣтительной эпохи, какъ «добрый сеньеръ», «крестьянинъ философъ», «почтенный буржуа». Естественно, незаконныя дѣти постоянно являлись дѣтьми отцовъ изъ высшихъ сословій, и для авторовъ служили краснорѣчивѣйшими застрѣльщиками въ борьбѣ противъ общественнаго неравенства, жестокихъ законовъ, обычаевъ и предразсудковъ. Въ видѣ примѣра, можно припомнить блестящія рѣчи героя Дидро въ знаменитой когда-то драмѣ *Le Fils Naturel*. Въ этихъ монологахъ изображены подробно лишенія и обиды, какія выпадаютъ на долю несчастнымъ отверженцамъ. Въ общихъ чертахъ Дидро написалъ превосходную біографію всѣхъ незаконныхъ дѣтей какой бы то ни было эпохи, въ томъ числѣ и нашего Нежданова. Разница только въ содержаніи протеста. Герой энциклопедиста ратовалъ за просвѣтительныя идеи своей эпохи, присоединялъ свой голосъ къ голосамъ Вольтера и его сподвижниковъ, а Неждановъ засталъ крайній протестъ своихъ сверстниковъ въ формѣ

нигилизма, и немедленно постарался пристать къ нимъ, свою аристократическую натуру вдвинуть въ рамки базаровскаго типа.

Этотъ процессъ *нравственной и внѣшней передѣлки* собственной жизни и личности мы должны прежде всего имѣть въ виду относительно Нежданова. Это—процессъ насильственный, преднамѣренный, мучительный, потому что природа всегда сильнѣе всякихъ ухищреній даже самой сильной воли,—не только неждановской,—дряблой и пугливой воли аристократическаго тепличнаго дѣтища.

Неждановъ попалъ въ нигилисты въ силу случайнаго стеченія обстоятельствъ, исторія его нигилизма—исторія незаконнаго сына на почвѣ русскихъ шестидесятыхъ годовъ.

Почему же Неждановъ сошелся съ нигилистами, а не иначе какъ сталъ мстить людской неправдѣ,—это дѣло автора, и здѣсь еще ничего нѣтъ невѣроятнаго и явно тенденціознаго. Неждановъ могъ самымъ обыкновеннымъ путемъ превратиться въ нигилиста, но преднамѣренный разсчетъ автора въ томъ, что именно *на такомъ нигилистѣ* доказывается общее положеніе, именно Неждановъ долженъ посрамить молодыхъ защитниковъ извѣстнаго политическаго идеала.

До какой степени искусственно построенъ этотъ планъ посрамленія, особенно ясно станетъ, если Нежданова сопоставить съ Базаровымъ.

Мы указывали, какъ органически выросли и послѣдовательно развились отрицательныя идеи Базарова. Сила художественнаго созданія и общественное значеніе типа заключались въ его цѣльности, природной мощи. Базаровъ *не могъ не быть нигилистомъ* по своей натурѣ, по условіямъ всей своей жизни, по ходу своего духовнаго развитія и по многочисленнымъ вліяніямъ своей эпохи. Самыя заблужденія Базарова—логическія слѣдствія основной жизненной идеи, воплощаемой его личностью. Базаровъ—стихія, оригинальная и независимая отъ начала до конца, никому и ничему не подражающая и уступающая только вѣчнымъ законамъ человѣческой природы и исторіи.

Неждановъ рядомъ съ Базаровымъ то же самое, что сценическая декорація лѣса предъ настоящимъ лѣсомъ. У Нежданова все чужое, кромѣ оскорбленнаго самолюбія, кромѣ неизбывныхъ страданій за

свое происхожденіе, стыда за свой неудавшійся аристократизмъ. Онъ болѣзненно чутокъ ко всякому намеку на его «исторію». Это нѣчто «горькое», по выраженію автора, «что онъ всегда носилъ, всегда ощущалъ на днѣ души». Настоящій нигилистъ, Базаровъ, подобныя ощущенія съ глубочайшимъ презрѣніемъ обозвалъ бы романтизмомъ и насчетъ нервной системы повторилъ бы о Неждановѣ рѣчь, сказанную о братьяхъ Кирсановыхъ, «старенькихъ романтикахъ». А для Нежданова мнѣніе перваго встрѣчнаго флигель-адъютанта—источникъ драмы: даже голосъ его начинаетъ звучать «глухо».

Легко представить, какимъ неудобоносимымъ бременемъ окажется для него нигилизмъ.

Прежде всего, по нигилистическому уставу, Неждановъ долженъ отвергать эстетику. Мы знаемъ, чего это стоило даже Базарову—его подражатель прямо изнемогаетъ въ сущности на первой только ступени нигилизма. Первобытному Остродумову легко презирать эстетику, по крайней мѣрѣ, въ формѣ статей или стиховъ. Для Нежданова это своего рода гамлетовскій вопросъ и разрѣшаетъ онъ его столь же безславно, какъ и датскій принцъ мститъ за смерть отца. Украдкой пишутся стихи, лелѣется драгоцѣнная тетрадка, а на публикѣ—суровое лицо по поводу даже намековъ на «литературную жилку», негодованіе на отца, что тотъ пустилъ будущаго нигилиста по «эстетикѣ». Но нигилистъ на каждомъ шагу обязанъ враждовать съ изяществомъ и красотой, и—вотъ судьба Нежданова:

«Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силился быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и то же время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости своей, и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеалами».

Неждановъ, слѣдовательно, нарядился въ маскарадное платье и устроилъ изъ своей жизни «водевиль съ переодѣваніемъ» гораздо раньше своего «хожденія въ народъ». Но несчастіе не въ маскарадѣ собственно: есть много лицедѣевъ по натурѣ, и имъ тѣмъ легче чувствуется, чѣмъ искусственнѣе и эффектнѣе ихъ представленія. Неждановъ же отъ природы человѣкъ правдивый,

искренній, даже наивно-непосредственный. Актерскій нарядъ, все равно изъ какой угодно пьесы, для него жестокое испытаніе. Въ то время, когда для другихъ истинное удовольствіе и даже потребность—притворяться и парадировать въ чужой шкурѣ, для Нежданова всякая ложь, недомолвка, передержка—личное оскорбленіе. Онъ—самый поучительный примѣръ для пословицы «не въ свои сани не садись»: болѣе трагической расплаты за «чужія сани» трудно и представить, чѣмъ участь Нежданова.

Противъ врожденныхъ влеченій иной разъ можно вести борьбу съ великой рѣшительностью и даже наслажденіемъ, если есть сознаніе нравственной необходимости и разумной цѣлесообразности этой борьбы. Тогда борецъ становится героемъ принципа, рыцаремъ убѣжденій. Геній есть трудъ, любилъ говорить Гёте, а трудъ, создающій геніальную работу,—ничто иное, какъ неустанная дисциплина личныхъ силъ ради идеальной цѣли. И Неждановъ могъ бы попасть въ число этихъ настоящихъ героевъ идеи, если бы нигилизмъ для него составлялъ признанную высокую цѣль умственной и практической дѣятельности, если бы «отрицаніе эстетики» и «хожденіе въ народъ» являлись для него незыблемыми основами будущаго общественнаго строя.

Но ничего подобнаго нѣтъ. Неждановъ *не вѣритъ и не можетъ вѣрить* ни въ разумность отрицанія эстетики, ни въ плодотворность революціонныхъ предпріятій. Почему не вѣритъ?

Прежде всего, конечно, потому, что оба символа стихійно враждебны его натурѣ, а у него, какъ слабонервнаго романтика, нѣтъ достаточно нравственной силы—во что бы то ни стало пойти противъ своихъ аристократическихъ вкусовъ, а потомъ—все та же причина: автору требуется невѣрующій нигилистъ-дѣятель,—и, по его мнѣнію, всякій искренній, разумный юноша только подъ вліяніемъ привходящихъ обстоятельствъ, внѣшнихъ вліяній, несчастныхъ случайностей можетъ исповѣдовать эти символы, отнюдь не сливаясь съ ними всѣмъ своимъ нравственнымъ міромъ. Неждановъ именно искренній, разумный, эстетически и нравственно чуткій юноша, слѣдовательно, глубоко симпатичный автору, и онъ осужденъ на жесточайшую драму, какую только можно представить въ человѣческой жизни: защищать и даже приносить жертвы—дѣлу, не внушающему ему ни вѣры, ни одушевленія.

Авторъ, весьма тщательно оттѣняя противорѣчія въ противо-эстетическихъ усиліяхъ Нежданова, еще тщательнѣе подчеркиваетъ отсутствіе принципіальности въ его нигилизмѣ, недостатокъ вѣры вездѣ, гдѣ требуется оправдывать нигилизмъ на дѣлѣ.

Это невѣріе охватываетъ рѣшительно все, сколько-нибудь касающееся главной тяготы — нигилистическаго направленія. Оно простирается даже на любовь Нежданова къ Маріаннѣ, потому что любовь возникла на почвѣ общаго сочувствія революціонной пропагандѣ.

«Во имя дѣла? Да, во имя дѣла?» твердитъ Неждановъ, размышляя о сближеніи съ Маріанной.

И эти слова оказались роковыми, они значили: «во имя того, во что я не вѣрю, что для меня *нравственно* не существуетъ, къ чему я привязалъ себя насильственно»... Во что же должна превратиться любовь, заключенная во имя призрака, въ лучшемъ случаѣ искусственнаго самовнушенія?..

Авторъ необыкновенно ясно разсказываетъ всѣ эти нравственныя треволненія. По поводу революціи читаемъ:

«Онъ вдругъ вообразилъ, что его призваніе—въ дѣлѣ пропаганды—дѣйствовать не живымъ, устнымъ словомъ, а письменнымъ; но задуманныя имъ брошюры не клеились. Все, что онъ пытался выводить на бумагѣ, производило на него самого впечатлѣніе чего-то фальшиваго, натянутаго, невѣрнаго въ тонѣ, въ языкѣ, и онъ раза два—о, ужасъ!—невольно сворачивалъ на стихи или на скептическія личныя изліянія»...

Таково положеніе Нежданова послѣ неудачныхъ попытокъ вообще сблизиться съ мужиками, не говоря уже о пріобщеніи ихъ къ революціоннымъ замысламъ.

Далѣе еще болѣе краснорѣчивое изліяніе—и на этотъ разъ революція идетъ рядомъ съ любовью.

Неждановъ послѣ знакомства съ Соломинымъ, Маркеловымъ, Голушкинымъ, слѣдовательно,—самыми разнообразными типами нигилистическаго толка, погружается въ раздумье:

«Странное было состояніе его души. Въ послѣдніе два дня сколько новыхъ ощущеній, новыхъ лицъ... Онъ въ первый разъ *въ* жизни сошелся съ дѣвушкой, которую по всей вѣроятности—

полюбилъ; онъ присутствовалъ при начинаніяхъ дѣла, которому по всей вѣроятности посвятилъ всѣ свои силы. И что же?—Радовался онъ?—Нѣтъ.—Колебался онъ? Трусилъ? Смущался?—О, конечно, нѣтъ. Такъ чувствовалъ ли по крайней мѣрѣ то напряженіе всего мужества, которое вызывается близостью борьбы?—Тоже нѣтъ. Да вѣритъ ли онъ, наконецъ, въ это дѣло? Вѣритъ ли онъ въ свою любовь?—О, эстетикъ проклятый! Скептикъ! беззвучно шептали его губы.—Отчего эта усталость, это нежеланіе даже говорить, какъ только онъ не кричитъ и не бѣснуется?—Какой внутренній голосъ желаетъ онъ заглушить въ себѣ этимъ крикомъ?..»

Размышленія прерываются такимъ восклицаніемъ:

«О, Гамлетъ, Гамлетъ, датскій принцъ, какъ выйти изъ твоей тѣни? Какъ перестать подражать тебѣ во всемъ, даже въ позорномъ наслажденіи самобичеванія?»

Намъ, кажется, Нежданову не стоило такъ далеко искать своего первообраза, и Паклинъ, появляющійся именно въ эту минуту, будто Мефистофель къ Фаусту, вмѣсто своего восклицанія:

«Алексисъ! Другъ! россійскій Гамлетъ!»—

могъ воспользоваться другимъ, несравненно болѣе точнымъ и совершенно русскимъ:

«Алексѣй! Другъ! тургеневскій Рудинъ!»

Рудинъ—первой части романа, не эпилога:—и Паклинъ оказалъ бы большую услугу своему пріятелю. Ему слѣдовало бы только сдѣлать одну оговорку: «Я тебя, Алексѣй, считаю человѣкомъ честнымъ и прямымъ и не причисляю къ сонмищу байронствующихъ россіянъ». А все остальное самъ Неждановъ воспроизведетъ въ своемъ романѣ, повторитъ и въ мысляхъ, и въ дѣйствіяхъ рудинскую исторію.

Припомните одно изъ разсужденій Пигасова на счетъ особой человѣческой породы. «Куцыми бываютъ люди, говоритъ онъ, и отъ рожденія, и по собственной волѣ. Куцымъ плохо: имъ ничего не удается—они не имѣютъ самоувѣренности».

За этимъ разсужденіемъ слѣдуетъ вспышка Волынцева, направленная противъ Рудина. Герой не посмѣлъ дать отпоръ, и—

«Эге! да и ты куцъ!» подумалъ Пигасовъ.

Въ одномъ изъ писемъ къ Владиміру Силину Неждановъ разсказываетъ свое трагическое положеніе незадолго до самоубійства и прибавляетъ замѣчательныя слова:

«Куда ни кинь, все клинъ! Окургузила меня жизнь, мой Владиміръ»...

Это отнюдь не случайное совпаденіе: кургузый и куцый—это Неждановъ-нигилистъ и Рудинъ-гегельянецъ.

Яснѣе всего это духовное родство обнаруживается въ романическихъ исторіяхъ обоихъ героевъ.

Намъ раньше приходилось рѣшать вопросъ, любитъ ли Рудинъ Наташу и указывать, что самъ герой менѣе всего знаетъ объ этомъ.

Не то же ли самое и съ Неждановымъ? Вы обратили вниманіе на его удивительную мысль: «сошелся съ дѣвушкой, которую—по всей вѣроятности—полюбилъ?» Это—*по всей вѣроятности*—стóитъ цѣлаго психологическаго разсужденія. А потомъ усиліе Нежданова убѣдить себя, что Маріанну онъ полюбилъ дѣйствительно «во имя дѣла! да, во имя дѣла!»—и это немедленно послѣ перваго объясненія... Развѣ предъ нами не рудинское: «Я счастливъ! да, я счастливъ», и замѣчаніе автора: «повторилъ онъ, какъ бы желая убѣдить самого себя», цѣликомъ можно отнести къ рѣчи и настроенію Нежданова.

Дальше—вопросъ поднимается о побѣгѣ, и побѣгъ предлагаетъ Маріанна, все равно какъ Наташа—Рудину. Неждановъ восхищенъ и готовъ «на край свѣта» за героиней. Но эта готовность весьма подозрительнаго свойства...

Неждановъ много моложе Рудина, а у Маріанны нѣтъ мамаши—свѣтской энергичной дамы. Обстоятельства для перваго восторга, слѣдовательно, благопріятны, но за-то и раскаяніе тяжелѣе, чѣмъ у Рудина. Тотъ, вѣроятно, не особенно тосковалъ послѣ разлуки съ Наташей, а Неждановъ не знаетъ куда дѣваться отъ сомнѣній послѣ рѣшенія бѣжать. Предостереженіе Соломина, что молодой герой «долженъ беречь эту дѣвушку», приводитъ его въ отчаяніе:

«Неждановъ постоялъ немного посреди комнаты и, прошептавъ: «ахъ! лучше не думать!», бросился лицомъ въ постель...»

Но больнѣе всего достается Нежданову отъ самой Маріанны.

Она инстинктивно чуетъ его «болѣзнь», понимаетъ, чтò за Гамлетъ передъ ней, и нѣсколько ея простыхъ словъ уничтожаютъ его.

Послѣ побѣга, на фабрикѣ у Соломина происходитъ слѣдующая сцена, изумительная по художественной силѣ и психологической правдѣ. Будто видишь предъ глазами двухъ собесѣдниковъ, улавливаешь выраженія ихъ лицъ, движенія, слышишь едва замѣтные, но полные смысла оттѣнки ихъ голосовъ.

Сначала бесѣда идетъ о безразличныхъ предметахъ, идетъ, ради разговора, Маріанна очень оживлена, Неждановъ, напротивъ, говоритъ вяло, прерывая рѣчь, впадаетъ въ задумчивость. Маріаннѣ приходится нарушать молчаніе.

«— Алеша!—промолвила она.

«— Что?

«— Мнѣ кажется, намъ обоимъ немножко неловко. Молодые—des nouveaux mariés,—пояснила она,—въ первый день своего брачнаго путешествія должны чувствовать нѣчто подобное. Они счастливы... имъ очень хорошо—и немножко неловко.

«Неждановъ улыбнулся принужденной улыбкой.

«— Ты очень хорошо знаешь, Маріанна, что мы не молодые въ твоемъ смыслѣ.

«Маріанна поднялась съ своего мѣста и стала прямо передъ Неждановымъ.

«— Это отъ тебя зависитъ.

«— Какъ?

«— Алеша, ты знаешь, что когда ты мнѣ скажешь, какъ честный человѣкъ—а я тебѣ вѣрю, потому что ты точно честный человѣкъ,—когда ты мнѣ скажешь, что ты меня любишь той любовью, которая даетъ право на жизнь другого, когда ты мнѣ это скажешь—я твоя.

«Неждановъ покраснѣлъ и отвернулся немного.

«— Да, тогда! Но вѣдь ты самъ видишь, ты мнѣ теперь этого не говоришь... О, да! Алеша, ты точно, честный человѣкъ. Ну, и давай толковать о вещахъ болѣе серьезныхъ.

«— Но вѣдь я люблю тебя, Маріанна!

«— Я въ этомъ не сомнѣваюсь... и буду ждать».

Чего же?—спросите вы, разъ любовь уже есть, а вѣдь только

о любви и говоритъ Маріанна. Любовь—но столь же мало похожая на сильное, цѣльное чувство, какъ Неждановъ въ мѣщанскомъ кафтанѣ на народнаго вожака, какъ философствующій Рудинъ на человѣка сороковыхъ годовъ. И оба героя въ минуты искренности признаются, что не стóятъ увлеченныхъ ими дѣвушекъ.

«Она стóитъ не такой любви, какую я къ ней чувствовалъ»,—говоритъ Рудинъ о Наташѣ.

То же и Неждановъ:

«— О, Маріанна,—шепнулъ онъ,—я тебя не стóю!»

Такія же слова и наканунѣ смерти.

И въ этой самой смерти сколько опять рудинскаго!

Неждановъ еще до «хожденія въ народъ» доказалъ свою способность растеряться въ критическій моментъ. Маркеловъ его оскорбилъ еще больнѣе, чѣмъ Волынцевъ Рудина, и онъ не отвѣчалъ на обиду, какъ настоящій «кургузый». Въ обоихъ случаяхъ мотивъ обиды—любовь къ дѣвушкѣ, и отвѣтъ былъ бы защитой этой любви. Но какъ защищать какое бы то ни было чувство, когда нѣтъ настоящей воли жить дорогой идеей или слѣпой страстью? Неждановъ молчаливо разрѣшаетъ этотъ вопросъ скорѣе Рудина, но въ томъ же направленіи до буквальнаго сходства

Въ его письмѣ къ Силину находится будто намѣренное объясненіе рудинской трагедіи:

«Право, мнѣ кажется,—пишетъ онъ,—что если бы гдѣ-нибудь теперь происходила народная война, я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было (освобождать другихъ, когда свои несвободны!!), но чтобы покончить съ собою...»

Но немного раньше Неждановъ находитъ, что смерть при такихъ условіяхъ—«какое-то сложное самоубійство», и предпочитаетъ *просто* покончить съ собой: «по крайней мѣрѣ, буду знать, когда и какъ, и самъ выберу, въ какое мѣсто выпалить».

Ждать приходится недолго. Двойная агонія—жалкаго романическаго героя и непризваннаго нигилиста-революціонера—кончилась. Неждановъ умеръ, заявляя въ предсмертномъ письмѣ, что онъ не вѣрилъ «въ дѣло» и что его жизнь была «ложью».

Ложь—здѣсь неумѣстное понятіе. Неждановъ отъ начала до конца—честный и правдивый человѣкъ. Онъ искренне даже само-

отверженно старается выполнить свою роль. Когда онъ чувствуетъ изнеможеніе подъ страшной тяготой, честность и правдивость вызываютъ у него сердечнѣйшія самопризнанія,—и ихъ мы можемъ принять за истинное изображеніе его личности и судьбы.

Этихъ самопризнаній множество. Недаромъ Неждановъ велъ поэтическій альбомъ и дружескую переписку.

Еще до «хожденія въ народъ» онъ разсуждаетъ:

«Коли ты рефлектёръ и меланхоликъ,—какой же ты къ чорту революціонеръ? Ты пиши стишки, да книги, да возись съ собственными мыслишками и ощущеньицами, да копайся въ разныхъ непрактическихъ соображеніяхъ и тонкостяхъ, а главное — не принимай твоихъ болѣзненныхъ нервическихъ раздраженій и капризовъ за мужественное негодованіе, за честную злобу убѣжденнаго человѣка»...

Нервнымъ людямъ, особенно неудачникамъ свойственно громить самихъ себя жестокими укоризнами, часто несправедливыми и преувеличенными. Но слова Нежданова соотвѣтствуютъ дѣйствительности, потому что его устами самъ авторъ излагаетъ его психологію и характеризуетъ его практическое положеніе, какъ революціонера.

Эти характеристики становятся тѣмъ внушительнѣе, чѣмъ ближе сталкивается съ жизнью нигилизмъ Нежданова. Тогда, какъ бы унизительно ни было самообличеніе юнаго героя, оно всецѣло опирается на факты, иногда даже отстаетъ отъ нихъ. Напримѣръ, послѣ перваго революціонернаго опыта Неждановъ говоритъ о себѣ:

«Охъ, трудно, трудно эстетику соприкасаться съ дѣйствительной жизнью!»

Это слишкомъ много послѣ трагикомическихъ приключеній съ мужиками. Но правда беретъ свое. Дыханіе смерти уже начинаетъ вѣять надъ Неждановымъ. «Онъ хотѣлъ умереть, онъ зналъ, что умретъ скоро».

«Хожденіе» повторяется и исповѣдь Нежданова становится все искреннѣе и страстнѣе, переходитъ минутами въ крикъ отчаянія.

Послѣ двухнедѣльнаго опыта онъ пишетъ Силину:

«О, какъ я проклинаю эту нервность, чуткость, впечатлитель-

ность, брезгливость, все это наслѣдіе моего аристократическаго отца! Какое право имѣлъ онъ втолкнуть меня въ жизнь, снабдивъ меня органами, которые несвойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу — да и пихнулъ ее въ воду? Эстетика да въ грязь! Демократа, народолюбца, въ которомъ одинъ запахъ этой поганой водки — «зеленà вина» — возбуждаетъ тошноту, чуть не рвоту?»...

Драгоцѣннѣйшія слова, — и не потому, что они превосходно изображаютъ неждановскую драму, а потому, что они — лучшая критика на самый романъ. Неждановъ сколько угодно можетъ обижаться на своего естественнаго отца, но главнѣйшая вина: толкнуть птицу въ воду—лежитъ не на совѣсти этого отца. Напротивъ, князь менѣе всего посовѣтовалъ бы своему даже незаконному сыну превратиться въ нигилиста, и онъ существенно облегчилъ для него борьбу за существованіе капиталомъ въ 6.000 руб.,— не то, чтò судьба Базарова,—«пустилъ его по эстетикѣ» съ явнымъ намѣреніемъ создать полную гармонію практической дѣятельности сына съ его природными наклонностями. Гармонію эту разрушилъ самъ Неждановъ въ союзѣ съ авторомъ. Идейный отецъ Нежданова несравненно больше естественнаго виноватъ во всѣхъ противорѣчіяхъ его судьбы.

Авторъ романа взялъ нервнаго аристократа, романтическаго эстетика, брезгливаго барина и стихотворца— и произвелъ надъ нимъ убійственный опытъ: «толкнулъ» его въ самое пекло нигилизма, т. е. царство стихій, безпощадно уничтожающихъ и барство, и эстетику, и романтизмъ. Птица брошенная въ воду... Мы должны быть глубоко благодарны автору, съ обычнымъ художественнымъ талантомъ давшему намъ изумительно-вѣрный образъ, живую иллюстрацію къ своему роману. Всѣ психологическія изслѣдованія могутъ придти только къ такому же результату.

Но — спросите вы — чтò же любопытнаго разсказывать и слушать о птицѣ, попавшей въ воду? Заранѣе вѣдь извѣстно, чѣмъ окончится приключеніе. Птица нѣкоторое время будетъ бороться, трепетать крыльями, въ минуты отдыха изображать изъ себя мокрую курицу, а потомъ все-таки выбьется изъ силъ и утонетъ. Всѣ эти моменты съ великой точностью и полнотой вос-

производитъ біографія Нежданова, и будь поставлено его признаніе Силину эпиграфомъ къ роману, а не заключеніемъ, многіе, можетъ быть, не признали бы нужнымъ ломать копья изъ-за смысла новаго произведенія геніальнаго художника.

Онъ, конечно, воленъ выбирать какихъ угодно героевъ и ставить ихъ въ какія угодно условія, разъ его вымыселъ не противорѣчитъ вѣроятному и возможному. Но онъ обязанъ точно и справедливо опредѣлить предѣлы, въ которыхъ заключенъ *внутренній смыслъ* его произведенія. Въ логикѣ, и вообще по правиламъ здраваго разсужденія считается элементарнѣйшей ошибкой дѣлать заключеніе per enumerationem simplicem, т. е. на основаніи извѣстныхъ единичныхъ фактовъ составлять общее понятіе. Еще, конечно, грубѣе ошибка придавать *общее значеніе* одному, хотя бы и очень краснорѣчивому факту.

А именно такое впечатлѣніе создаетъ *Новь*. Темой романа послужилъ въ сущности анекдотическій случай съ милымъ барченкомъ, въ силу оскорбленнаго самолюбія и разныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ попавшимъ въ нигилисты. Если въ чемъ и можетъ убѣдить насъ подобное приключеніе, то въ единственной истинѣ: аристократическіе потомки «старенькихъ романтиковъ» съ развинченными нервами совершенно не годятся въ послѣдователи направленія, именуемаго нигилизмомъ. Но стóило ли вообще доказывать эту истину? Намъ, напримѣръ, показался бы совершенно безплоднымъ замыселъ — писать романъ на тему слѣдующаго происшествія. Базаровъ, положимъ, подъ вліяніемъ безумной страсти къ какой-нибудь салонной барышнѣ (судьба, вѣдь, иногда забавляется и не такими комбинаціями противоположностей), задумалъ превратиться въ изящнаго кавалера, льстиваго донъ-жуана, вообще рыцаря печальнаго образа. И вотъ авторъ намѣренъ изобразить намъ его неудачи на этомъ поприщѣ. При громадномъ талантѣ, конечно, можно представить не мало любопытныхъ подробностей, даже болѣе забавныхъ, чѣмъ «маскарадъ» Нежданова, но только всѣ эти красоты такъ и останутся матеріаломъ для интереснаго чтенія. *Общественной идеи* такой романъ не выяснитъ. Развѣ только мы лишній разъ можемъ вспомнить старый мотивъ о неограничѐнной власти любовнаго чувства надъ

смертными, а по поводу Нежданова—о широкомъ въ свое время распространеніи нигилистическихъ идей, увлекавшихъ подчасъ даже эстетиковъ и аристократовъ.

Но самъ авторъ далекъ отъ такого скромнаго представленія о смыслѣ своего произведенія. Въ лицѣ Нежданова развѣнчивается извѣстный *принципъ, политическое направленіе.* Личная непригодность героя для принципа, въ глазахъ автора, отступаетъ на заднiй планъ предъ идейной несостоятельностью самого принципа, и чтобы окончательно установить именно это положеніе, авторъ дѣятельность Нежданова обставляетъ эпизодами и личностями, въ конецъ добивающими политическій символъ главнаго героя.

Нежданову авторъ поручаетъ изобразить отношеніе крестьянъ къ пропагандѣ. Изъ разсказовъ Нежданова вытекаетъ давно извѣстное намъ заключеніе: для революціи въ народѣ нѣтъ ришительно никакой почвы. Здѣсь или издѣваются надъ нигилистами, или жестоко расправляются съ ними, или, въ самыхъ счастливыхъ случаяхъ, смотрятъ «нѣтомъ» и умоляютъ — сдѣлать милость— оставить ихъ—крестьянъ—въ покоѣ.

Рядомъ съ Неждановымъ того же революціоннаго толка держатся: Маркеловъ, гдѣ-то въ пространствѣ витающій Кисляковъ и таинственный незнакомецъ, заправила и главарь — Василій Николаевичъ. И всѣ эти лица существуютъ за тѣмъ, чтобы закрѣпить въ читателѣ одно и то же впечатлѣніе. О Кисляковѣ нечего и говорить: это прямо арлекинъ изъ фарса, Петрушка революціоннаго балагана. О Василіи Николаевичѣ отзываются такъ: «призёмистый, грузный, чернявый... Лицо скуластое, калмыцкое... грубое лицо. Только глаза очень живые»... «да не столько говоритъ, сколько командуетъ».

«Отчего же онъ сдѣлался головою?»—спрашиваетъ изумленная такимъ отзывомъ Маріанна.

«— А съ характеромъ человѣкъ. Ни передъ чѣмъ не отступитъ. Если нужно—убьетъ. Ну—его и боятся».

Невольно припоминается Губаревъ изъ *Дыма.* О немъ Потугинъ говоритъ почти буквально то же самое, что мы слышали сейчасъ о Василіи Николаевичѣ:

«У него много воли-съ... Г-нъ Губаревъ захотѣлъ быть начальникомъ и всѣ его начальникомъ признали... Видятъ люди, — большого мнѣнія о себѣ человѣкъ, вѣритъ въ себя, приказываетъ, — главное приказываетъ; стало быть, онъ правъ, и слушаться его надо».

Таковы вожаки революціонной молодежи! Ни дарованій, ни способностей, ни дара слова; у Губарева даже характеръ отрицается и приписывается страсть къ «грязнымъ анекдотамъ».

Въ *Дымѣ* изображена и сама молодежь въ соотвѣтствующемъ свѣтѣ. Вообще, мы уже замѣтили, краски въ этомъ романѣ необычайно густы и смѣлы. Въ *Нови*—тона изящнѣе, сдержаннѣе, — Василій Николаевичъ все-таки не такой пошлякъ и тупица, какъ Губаревъ, и Неждановъ гораздо выше и симпатичнѣе Ворошилова. Но впечатлѣніе по существу одинаковое.

Остается Маркеловъ. Онъ не требуетъ никакихъ поясненій: личность простая, даже первобытная, неудачникъ чистой крови, идеалистъ мужицкаго царства до фанатизма. Изъ этихъ данныхъ и складывается его нигилизмъ — наивный до полной слѣпоты, стремительный до отчаянія, вѣрующій до умиленія. Маркеловъ не страдаетъ рефлексіей, подобно Нежданову, но и для него нигилизмъ своего рода опьяняющій напитокъ въ минуты личнаго горя. Несчастная любовь какъ-то весьма кстати переплетается у него съ рѣшительными дѣйствіями, по части революціи, «душевная усталость» овладѣваетъ имъ послѣ отказа Маріанны именно наканунѣ заключительной пропаганды, и весьма умѣстно въ это же время Маріанна говоритъ о немъ:

«— Несчастный онъ человѣкъ, неудачливый!..»

Очевидно, такой же горе-революціонеръ, какъ и Неждановъ.

Соберите всѣ эти черты, и онѣ поразятъ васъ изумительно-рѣзкой гармоніей красокъ и не оставятъ въ васъ ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ авторскихъ намѣреній.

Къ этимъ намѣреніямъ можно какъ угодно относиться, можно вполнѣ раздѣлять взглядъ Тургенева на извѣстный вопросъ, но нельзя отрицать одного: общій принципіальный выводъ построенъ на искусственныхъ основаніяхъ, значеніе и смыслъ посылокъ несравненно уже сдѣланнаго заключенія, личность и судьба централь-

наго героя—какъ явленія случайныя и исключительныя—обличаютъ преднамѣренность авторскаго творчества.

И для полнаго выясненія этой преднамѣренности снова слѣдуетъ *Новь* сопоставить съ исторіей Рудина. Тамъ—мы видѣли—авторъ въ лицѣ героя казнилъ свои личныя заблужденія, здѣсь—также въ лицѣ героя—казнь совершается надъ «молодой Россіей», надъ извѣстнымъ революціоннымъ направленіемъ. Сравненіе можно распространить дальше. Отдавъ дань самоотверженію, голосу совѣсти и ради этого изобразивъ самозванныхъ гегельянцевъ, авторъ представилъ въ томъ же романѣ и даже въ лицѣ того же, но только обновленнаго героя—настоящаго человѣка сороковыхъ годовъ. Въ *Нови* рядомъ съ заблудшими овцами нигилизма является представитель той самой незамѣтной *жизненной* дѣятельности, *темной подземной работы*, о которой писатель говорилъ въ *Дымѣ* устами Потугина и безпрестанно повторялъ въ личныхъ бесѣдахъ и письмахъ.

Великое значеніе, какое Тургеневъ придаетъ личности Соломина, ясно съ перваго же появленія этого героя на сцену. Это впечатлѣніе—силы и неотразимой привлекательности. Отъ насмѣшника и скептика Паклина до убогой Ѳимушки всѣ чувствуютъ, что предъ ними существо высшей породы. Фабричные искренне любятъ его и глубоко уважаютъ и въ то же время считаютъ своимъ. Его личность до такой степени внушительна и могущественна, что даже сановникъ Сипягинъ и необыкновенно ловкая барыня—его супруга—теряются предъ «этимъ фабричнымъ», а язвительный и примѣрно нахальный Калломѣйцевъ рядомъ съ Соломинымъ напоминаетъ какого-то жалкаго, придавленнаго гада. Самый честный и сердечный человѣкъ въ романѣ—Маріанна—съ первой же минуты безсознательно подчиняется обаянію нравственной мощи, душевной простоты и яснаго спокойнаго ума этого удивительнаго самородка. Нежданову, всегда въ душѣ искреннему и правдивому, ничего не остается, какъ самому же раздѣлять чувства Маріанны къ Соломину, указывать ей на него, какъ на достойнаго спутника ея жизни.

«Честь и мѣсто!» шепчетъ онъ про себя, когда Соломинъ проходитъ въ комнату Маріанны.

Эти слова относятся къ побѣдѣ Соломина надъ Неждановымъ

не только въ *романѣ*, но, что̀ гораздо важнѣе, и въ *революціи*. Неждановъ долженъ отступить «на всѣхъ пунктахъ» и дать мѣсто дѣйствительной нравственной силѣ и настоящему политическому уму.

Романическая роль Соломина не представляетъ психологическаго интереса. Доброе сердце, ясная энергическая мысль, непреодолимая сила воли,—все это основныя черты идеальнаго героя для тургеневской женщины, и Маріанна совершенно естественно идетъ за Соломинымъ, какъ Елена пошла за Инсаровымъ.

Гораздо сложнѣе вопросъ о Соломинѣ, какъ общественномъ дѣятелѣ, какъ о выразителѣ извѣстныхъ общественныхъ политическихъ взглядовъ. На этой сторонѣ прежде всего была сосредоточена творческая работа автора, потому что Соломинъ долженъ воплотить въ своей личности *положительныя стремленія* сильнѣйшей и разумнѣйшей части русской молодежи.

Что именно Соломину, по замыслу автора, предназначена эта роль, ясно изъ самыхъ краснорѣчивыхъ сопоставленій.

Мы знаемъ жестокія нападки Тургенева на геніальничающихъ юношей, на самообожателей-фразеровъ и его напутствія подвижникамъ будничнаго труда. Въ концѣ «Нови» тѣ же рѣчи говорятся по поводу Соломина. Говоритъ ихъ Паклинъ, играющій въ романѣ роль шута въ старинномъ смыслѣ слова, т.-е. высказывающій многіе личные взгляды автора.

Машурина не понимаетъ натуры Соломина, чуждой всякаго внѣшняго эффекта и шума, и Паклинъ горячо протестуетъ. Рѣчь его достойна полнаго вниманія: каждое выраженіе въ ней соотвѣтствуетъ открытымъ личнымъ заявленіямъ самого автора.

«Вы вотъ о Соломинѣ отозвались сухо. А знаете ли, что я вамъ доложу? Такіе, какъ онъ—они-то вотъ и суть настоящіе. Ихъ сразу не раскусишь, а они настоящіе, повѣрьте, и будущее имъ принадлежитъ. Это — не герои; это даже не тѣ «герои труда», о которыхъ какой-то чудакъ, американецъ или англичанинъ, написалъ книгу для назиданія насъ, убогихъ; это — крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно! Вы смотрите на Соломина: уменъ, какъ день, и здоровъ, какъ рыба... Какъ же не чудно! Вѣдь у насъ до сихъ поръ ни души не было: коли ты живой человѣкъ, съ чувствомъ, съ сознаніемъ,

*

такъ непремѣнно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тѣмъ же болѣетъ, чѣмъ и наше, и ненавидитъ онъ то же, что мы ненавидимъ, да нервы у него молчатъ, и все тѣло повинуется; какъ слѣдуетъ... значитъ: молодецъ! Помилуйте: человѣкъ съ идеаломъ—и безъ фразы; образованный—и изъ народа; простой— и себѣ на умѣ... какого вамъ еще надо?..»

Слѣдовательно, Соломинъ идеальная противоположность излюбленныхъ тургеневскихъ отрицательныхъ типовъ изъ образованнаго класса—лишнихъ людей и краснобаевъ на идейныя темы, жертвъ среды и героевъ эффекта.

Практическія стремленія Соломина, дѣйствительно, совершенно другія, чѣмъ русскихъ Гамлетовъ и преобразователей. Мы слышали объ этихъ стремленіяхъ отъ автора задолго до появленія *Нови*: школа, больница, нравственное сближеніе съ народомъ, черная работа культуры, вродѣ расчесыванья волосъ шелудивому мальчику... А то, о чемъ мечтаютъ герои, вызываетъ у Соломина одно лишь чувство состраданія, и здѣсь его рѣчь будто продолженіе рѣчей Потугина.

Соломинъ говоритъ о Маркеловѣ:

«Въ этомъ дѣлѣ, что *онъ* затѣялъ, не только первые и вторые погибнутъ, но и десятые... и двадцатые...»

Потугинъ возводитъ эту мысль въ общій принципъ современной общественной дѣятельности.

«Въ томъ-то и штука,—говоритъ онъ,—что нынѣшняя молодежь ошиблась въ разсчетѣ. Она вообразила, что время прежней темной подземной работы прошло, что хорошо было старичкамъ отцамъ рыться на подобіе кротовъ, а для насъ-де эта роль унизительна, мы на открытомъ воздухѣ дѣйствовать будемъ... Голубчики! и ваши дѣтки еще дѣйствовать не будутъ; и вамъ не угодно ли въ норку, въ норку, опять по слѣдамъ старичковъ».

Старичками, конечно, Потугинъ называетъ людей своего поколѣнія, т. е. дѣятелей, работавшихъ ради великихъ реформъ. Соломинъ идетъ по слѣдамъ этихъ дѣятелей: онъ просвѣщаетъ народъ, облегчаетъ ему условія труда, лечитъ его отъ нравственныхъ и физическихъ недуговъ. Онъ превосходно знаетъ крестьянъ и въ то же время самъ выученикъ европейской цивилизаціи, го-

товъ, гдѣ требуетъ практическая польза и нравственный долгъ, свое дурное замѣнить европейскимъ хорошимъ и разумнымъ.

И этотъ фактъ вполнѣ соотвѣтствуетъ личному идеалу Тургенева. Для него опытъ европейской культуры—неизбѣжная школа русскаго просвѣщеннаго человѣка и всего общества. Народность и цивилизація—два краеугольныхъ тургеневскихъ понятія—въ совершенной гармоніи воплощаются Соломинымъ, и ему «честь и мѣсто»...

Но всѣ наши указанія до сихъ поръ только черты извѣстнаго міросозерцанія, отдѣльные параграфы общественной программы. Для выясненія теоріи этого достаточно, но для героя художественнаго романа безусловно мало: помимо идей, требуется *личность*, плоть и кровь, облекающія отвлеченное содержаніе цѣльной реальной жизнью.

Когда вышла первая часть романа, Тургеневъ писалъ: «въ этой первой части Соломинъ—*главное* лицо, едва очерченъ» [304]). Слѣдовало ожидать, что во второй части будетъ восполненъ пробѣлъ. Но драма Нежданова занимаетъ всю сцену, на долю Соломина остается весьма мало «мѣста», хотя и много «чести»: его всѣ слушаютъ и всѣ предъ нимъ благоговѣютъ. Не за идеи, конечно: Павелъ, Татьяна въ идеяхъ неповинны, Маріанна ихъ пока не знаетъ вполнѣ, Неждановъ съ ними не согласенъ. Слѣдовательно, *личность* Соломина производитъ такое волшебное дѣйствіе, но ея-то мы и не видимъ. Она нѣчто въ родѣ луннаго притяженія. О силѣ его можно судить только по морскимъ проливамъ, т.-е. по *отраженному дѣйствію*, а собственно на луну сколько угодно можно смотрѣть и не подозрѣвать ея могущества у насъ на землѣ. То же самое и Соломинъ.

«Отчего ему люди такъ преданы?»—спрашиваетъ Маріанна у Нежданова, и не получаетъ отвѣта. Не получаемъ и мы — не отъ Нежданова, а отъ самого автора, хотя для насъ дѣло не въ прямомъ, словесномъ отвѣтѣ, а въ *общемъ психологическомъ впечатлѣніи*.

Оно—тревожно, смутно и безжизненно. Соломина мы видимъ

---

[304]) *Письма*, 309.

будто въ перспективѣ, по тѣни, которая падаетъ отъ его мощной личности. И происходитъ это отъ очень простой причины.

Мы не видимъ Соломина живущимъ и дѣйствующимъ, а только говорящимъ—и то крайне мало. Правда, такіе люди неразговорчивы, но отчего бы намъ, напримѣръ, не знать со всѣми подробностями сцены, описанной въ слѣдующихъ лаконическихъ словахъ?

Соломинъ у Маркелова «почти все молчалъ»—«разъ только разсердился не на шутку и такъ ударилъ своимъ могучимъ кулакомъ по столу, что все на немъ подпрыгнуло, не исключая пудовой гирьки, пріютившейся возлѣ чернильницы. Ему разсказали о какой-то несправедливости на судѣ, о притѣсненіи рабочей артели»...

Со стороны человѣка «прохладнаго» этотъ эпизодъ довольно неожиданенъ,—и врывается онъ въ разсказъ какъ-то странно, оставляетъ впечатлѣніе штриха, искусственно придуманнаго «для оживленія картины». И такое впечатлѣніе объясняется тѣмъ, что мы не знаемъ Соломина, авторъ не раскрылъ намъ его души настолько, чтобы мы могли сразу освоиваться съ его дѣйствіями и рѣчами. Въ теченіи всего романа мы только наблюдаемъ, *какъ* проявляется Соломинъ, но *что* именно проявляется въ Соломинѣ—мы не знаемъ до конца, и отзывъ Паклина о немъ читаемъ почти съ тѣмъ же впечатлѣніемъ новизны, съ какимъ встрѣтили впервые самого Соломина. Прошла по нашему горизонту какая-то громадная тѣнь, бросилъ её на насъ человѣкъ будущаго, представитель цѣлой общественной полосы, которой и конца не видно; такъ насъ увѣряетъ авторъ... И могъ ли онъ послѣ этого отдать сцену своего романа другому, заранѣе осужденному на безпомощную гибель, т. е. агоніи и смерти, и человѣка жизни и побѣды показать только въ видѣ контраста жалкому мечтателю?

Это могло произойти отчасти по обстоятельствамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ намѣреніями и творческой силой автора, но, несомнѣнно, есть и другія причины.

Мы только-что указали на сцену, повергающую насъ въ нѣкоторое недоумѣніе. Такихъ сценъ въ романѣ не одна. Напримѣръ, какъ объяснить слѣдующее: Соломинъ—дѣятель съ прямыми *и окон*чательно опредѣлившимися взглядами,—можетъ слушать

«даже съ уваженьемъ» разговоры такихъ глубокомысленныхъ революціонеровъ, какъ Неждановъ и Маркеловъ, и о чемъ же?—«какъ приступить, какъ привести планъ въ дѣйствіе!..» Молчать еще возможно изъ вѣжливости, или — съ совершенно естественной соломинской точки зрѣнія—изъ сострадательнаго пренебреженія, но—чувствовать уваженіе! И это при умѣ Соломина, при его способности въ одно мгновеніе понимать людей и обстоятельства!..

Очевидно, авторъ грѣшитъ въ сторону излишняго добросердечія Соломина, доходя до предѣловъ комической наивности.

Дальше. Соломинъ съ перваго взгляда чувствуетъ «участіе, почти нѣжность» къ Нежданову, отлично знаетъ весь безумный и безцѣльный рискъ его пропаганды, не можетъ не видѣть и своего авторитета надъ нимъ, и все-таки, безъ малѣйшихъ возраженій, совѣтовъ—допускаетъ его продѣлывать водевильные, но по существу трагическіе опыты въ теченіи нѣсколькихъ недѣль. Положимъ, слѣдуетъ дать возможность молодому человѣку поучиться, «понюхать немножко воздуха», но зачѣмъ же изъ науки дѣлать своего рода крестный путь? Маріанну вѣдь убѣждаетъ Соломинъ и съ ней онъ очень «разговорчивъ»—не потому ли, что ее «очень любитъ», а къ Нежданову только чувствуетъ «участіе?» Относительно разговорчивости, впрочемъ, это подтверждаетъ и самъ Соломинъ. Слѣдовательно, выводъ ясенъ: у Соломина отнюдь не такая высокая душа, какъ это кажется большинству героевъ романа и самому автору. На такой выводъ авторъ, конечно, не разсчитывалъ. Не погрѣшилъ ли онъ слишкомъ относительно соломинскаго «уравновѣшеннаго характера», «спокойной крѣпкой силы», довелъ её почти до предѣловъ безчувствія или очень тонкой политики?

Въ самомъ дѣлѣ,—если Тургенева обвиняли за карточныя неудачи Базарова, насколько же естественнѣе можно заподозрить Соломина въ разсчетѣ путемъ невмѣшательства, или, по современному, «непротивленія злу»—отдѣлаться отъ Нежданова и пріобрѣсти себѣ невѣсту въ лицѣ дѣвушки, которую онъ «очень любитъ»?

При нѣкоторомъ желаніи доказать эту мысль, можно набрать не мало фактовъ. Прежде всего Неждановъ прямо говоритъ Маріаннѣ: «Я мѣшаю тебѣ... ему»... Потомъ Соломинъ, едва скончался Неждановъ, немедленно приглашаетъ Маріанну:

«Все готово, Маріанна; поѣдемъ. Надо исполнить его волю»...

И свадьба совершается.

А потомъ такія художественно отмѣченныя авторомъ мелочи какъ, напримѣръ, осмотръ Соломинымъ замка у двери Маріанны и вопросъ: «Запираетъ ли ключъ»,—вопросъ настолько многозначительный, что заставляетъ Маріанну прошептать отвѣтъ и долго не поднимать глазъ...

Все это при обычной сдержанности и джентльменствѣ Соломина выходитъ очень краснорѣчиво и даже эффектно, и искусному адвокату не стоило бы большого труда обвинить Соломина въ трагической участи Нежданова.

Мы отнюдь не имѣемъ въ виду этой цѣли, потому что твердо убѣждены въ идеальной роли Соломина, какъ героя романа, и какъ человѣка, по представленію автора. Мы только хотимъ указать, на какой шаткой почвѣ построена роль, какъ неопредѣленны и часто двусмысленны черты, составляющія замѣчательную личность «*главнаго* героя». Таковъ можетъ быть результатъ двухъ причинъ: или авторъ, всегда творившій на основаніи наблюденій, не имѣлъ предъ глазами достаточно яркаго и совершеннаго прототипа, или не успѣлъ свои наблюденія и идеи слить въ цѣльный живой образъ.

Весь романъ, слѣдовательно, насколько онъ касается современнаго общественнаго вопроса, представляетъ два крупныхъ недостатка. *Отрицательное*, по мнѣнію автора, направленіе молодежи подвергнуто критикѣ въ лицѣ героя, слишкомъ нравственно-ничтожнаго и по своему личному положенію исключительнаго, чтобы служить доказательствомъ общаго принципа. *Положительное* направленіе, теоретически вполнѣ ясное, воплощено въ личности художественно-недорисованной и психологически недостаточно опредѣленной.

Но на эти недостатки только можно указать, обвинять же за нихъ автора, значило бы не понимать ни его литературнаго генія, ни историческаго смысла явленій, избранныхъ имъ для послѣдняго романа.

Геній Тургенева, мы знаемъ, ничто иное, какъ творческое перевоплощеніе дѣйствительности, а явленія *Нови*—самая животрепе-

щущая дѣйствительность, еще находящаяся въ процессѣ развитія. Тургеневъ, вѣрный своему безпримѣрно отзывчивому художественному инстинкту, въ теченіе многихъ лѣтъ наблюдалъ этотъ процессъ: доказательство—его необыкновенно оживленная переписка именно по поводу личностей, идей, фактовъ, которымъ предстояло заполнить сцену *Нови*. Въ одномъ письмѣ онъ даже самъ изумляется своей энергія.

«Экая пошла у меня съ тобой корреспонденція,—пишетъ онъ заграничному другу, главному своему противнику по части народничества.—Можетъ быть, она тебѣ не по вкусу, да такой стихъ на меня нашелъ...»

Часто письма превращаются въ настоящіе трактаты и всегда напоминаютъ горячія публицистическія статьи. Но Тургеневъ не считалъ себя публицистомъ и «политическимъ человѣкомъ», а только писателемъ. Такъ онъ заявлялъ въ оффиціальномъ письмѣ...[a] Естественно отвлеченныя разсужденія неминуемо должны были уступить мѣсто творчеству,—задумана *Новь*. Но время идетъ, а мысль все не переходитъ въ дѣло: очевидно, не легко схватить обликъ и сущность во-очію съ каждымъ днемъ разростающейся жизни...

Наконецъ, романъ начатъ и оконченъ съ лихорадочной быстротой. Ясно, въ немъ будетъ много недомолвокъ, неясностей, даже противорѣчій. Мы бы сравнили его съ фотографіей быстро летящей птицы. Сравненіе, конечно, не вполнѣ соотвѣтствуетъ нашему вопросу, но даетъ понятіе о причинѣ и основѣ недостатковъ *Нови*.

Тамъ, гдѣ предъ глазами автора были явленія законченныя, самою жизнью освобожденныя отъ неясностей и противорѣчій,—его кисть поражаетъ силой правды.

Тургеневъ очень равнодушно и даже пренебрежительно относился къ своему драматическому таланту. И его пьесы, дѣйствительно, обличаютъ первостепеннаго писателя и сравнительно блѣднаго драматурга. Онъ даже счелъ нужнымъ выразить глубокую благодарность Мартынову за то, что тотъ эту «блѣдность» превращалъ въ трогательную жизнь... Но всякій великій психологъ—драматургъ, хотя и не всегда для сцены, гдѣ, кромѣ психологіи, нужна иллюзія внѣшней кипучей жизни. И драматическій талантъ

шанка, знатока народной жизни — это образы,
кера и Гоголя. Только великимъ обличителямъ
скихъ инстинктовъ и лицемѣрія доступно было ст
клеймить презрѣнныхъ креатуръ слѣпой фортуны

Одно только отличіе отъ Гоголя—живое, часто
ство, дышащее въ картинахъ Тургенева. Авторъ
ствуетъ глубокое презрѣніе, даже отвращеніе къ з
сарказма.

Въ *Нови* такой «субъективизмъ» повсюду. Ми
роль Паклина. Этотъ герой часто повторяетъ цѣлы
писемъ Тургенева. Нѣкоторыя сопоставленія въ
важны для характеристики Тургенева, какъ рома

Паклинъ, напримѣръ, ораторствуетъ передъ М

«...Вѣдь мы, русскіе, какой народъ? Мы все
молъ, придетъ что-нибудь, или кто-нибудь, и раз
чить, всѣ наши раны заживитъ, выдернетъ всѣ
какъ больной зубъ. Кто будетъ этотъ чародѣй?
Деревня? Архипъ Перепентьевъ? Заграничная войн
только, батюшка, рви зубъ!! Это все лѣность, вялост

Въ одномъ изъ писемъ по поводу турецкой во

«У насъ на Руси снова проявилась столь ча
черта: ото всѣхъ нашихъ «болѣзней», лѣни, вя

Любопытна еще одна рѣчь Паклина, какъ отраженіе фактовъ изъ личной біографіи Тургенева.

Паклинъ негодуетъ на пріятелей-клеветниковъ и приводитъ такіе примѣры:

«Былъ у меня, напримѣръ, пріятель—и, казалось, хорошій человѣкъ: такъ обо мнѣ заботился, о моей репутаціи! Бывало, смотришь: идетъ ко мнѣ... «Представьте,—кричитъ,—какую о васъ глупую клевету распустили: увѣряютъ, что вы вашего родного дядюшку отравили, что васъ ввели въ одинъ домъ, а вы сейчасъ къ хозяйкѣ сѣли спиной—и такъ весь вечеръ и просидѣли! И ужъ плакала она, плакала отъ обиды! Вѣдь этакая чепуха! Этакая нелѣпица! Какіе дураки могутъ этому повѣрить!» И что же? Годъ спустя, разсорился я съ этимъ самымъ пріятелемъ... И пишетъ онъ мнѣ въ своемъ прощальномъ письмѣ: «Вы, который уморили своего дядю! Вы, который не устыдились оскорбить почтенную даму, сѣвши къ ней спиной!..» и т. д., и т. д. Вотъ каковы пріятели!»

Фетъ лично приписываетъ всѣ эти рѣчи себѣ. Немедленно послѣ ссоры съ Иваномъ Сергѣевичемъ онъ разсказываетъ:

«Однажды въ Петербургѣ я передалъ Тургеневу, что премилая жена племянника Егора Петровича Ковалевскаго проситъ меня привести его къ ней на вечерній чай. Раскланявшись съ хозяйкой, Тургеневъ поставилъ шляпу подъ стулъ, сѣлъ спиною къ хозяйкѣ и, проговоривши съ кѣмъ-то все время помимо хозяйки, къ немалому сокрушенію моему, раскланялся и уѣхалъ. На другой день Егоръ Петровичъ своимъ добродушнымъ тономъ выговаривалъ мнѣ: «ну, какъ же вашему Тургеневу не стыдно такъ обижать молодую бабенку? Она всю ночь проплакала». — И это не единственный примѣръ».. «Его поступокъ съ дядей»... [306]).

Мы уже знаемъ обвиненія Фета: ихъ онъ сообщилъ въ письмѣ къ Тургеневу, и тому для характеристики «пріятелей» оставалось только воспользоваться произведеніемъ обиженнаго поэта.

---

[306]) *Мои воспоминанія.* II. 305—6. Е. П. Ковалевскій, директоръ азіатскаго департамента, предсѣдатель Общества пособія литераторамъ, стоялъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ Тургеневымъ. Письма къ нему Тургенева въ *Русск. Ст.* XLII, 399—402.

Очевидно, Тургеневу далеко было до совершеннаго личнаго безстрастія въ минуты творчества. Онъ и не стремился къ этой добродѣтели. По поводу той же *Нови* онъ писалъ: «Мнѣ иногда потому только досадно на свою лѣнь, не дающую мнѣ окончить начатый мною романъ, что двѣ, три фигуры, ожидающія клейма позора, гуляютъ хотя съ мѣдными, но не выжженными еще лбами. Да авось я еще встряхнусь» [307]).

И дальше открыто называется по имени Маркевичъ, пресловутый гонитель нигилистовъ, безъ всякаго сомнѣнія, «прирожденный клевретъ» Ladislas, «notre bon et cher Ladislas», по отзыву его друга Калломѣйцева.

Здѣсь не одно личное раздраженіе,—Тургеневъ считалъ возможнымъ, съ эстетической точки зрѣнія, слить сатиру на извѣстную личность съ художественнымъ образомъ, находилъ даже, что «художественное воспроизведеніе, *если оно удалось*, злѣе самой злой сатиры» [308]).

Это положеніе въ общемъ справедливо и грибоѣдовская комедія—одно изъ блестящихъ доказательствъ, требуется только обладать великимъ сатирическимъ талантомъ. У Тургенева такого таланта не было и потому его отрицательные типы выходили несравненно болѣе «портретными», чѣмъ у Грибоѣдова. И Тургеневъ, какъ вѣчно-вдумчивый, критикующій себя художникъ, зналъ это раньше своихъ судей и предпочиталъ особенно рѣзкія сатиры влагать просто въ уста дѣйствующихъ лицъ. Можетъ быть, его еще удерживала боязнь впасть въ памфлетъ, заслужить упрекъ, что онъ «вывелъ» такого-то своего недруга, и Тургеневъ предпочиталъ «указать и — пройти мимо». Во всякомъ случаѣ, въ его литературной дѣятельности нѣтъ ни одного факта, похожаго на роль Кармазинова въ повѣсти Достоевскаго.

Новь можетъ считаться послѣднимъ тургеневскимъ художественнымъ произведеніемъ великаго общественнаго и политическаго значенія. Авторъ, по обыкновенію, обѣщалъ больше не писать, и годы, и особенно недуги, дѣйствительно, по временамъ

---

[307]) *Письма*, 250.
[308]) *Ib.* 251.

брали свое и отравляли ему былое наслажденіе писательства [309]. Но вѣдь старая истина—художникъ мыслитъ образами, и для Тургенева внутренняя творческая работа была столь же естественной необходимостью, какъ и мышленіе.

XIV.

Со времени *Отцовъ и Дѣтей* произведенія безъ «соціальнаго, политическаго и современнаго намека» [310] знаменовали у Тургенева періоды отдыха послѣ лѣтописей жгучей дѣйствительности. Начиная съ *Дыма*, эти плоды «досуга» — обыкновенно воспоминанія въ исторической или художественной формѣ. Съ конца шестидесятыхъ годовъ Тургеневъ безпрестанно сообщаетъ о вновь открывающихся недугахъ: о подагрѣ, о болѣзни сердца, о ревматизмахъ, иногда онъ по цѣлымъ недѣлямъ лежитъ въ постели неподвижно, ходитъ съ помощью костылей или палки. Все это заставляетъ его признать себя «старѣющимъ литераторомъ», окрашиваетъ его жизнь въ «желтенькій цвѣтъ», онъ чувствуетъ «холодъ старости», и готовъ за «нѣсколько недѣль молодости—самой глупой, изломанной, исковерканной, но молодости» отдать «не только репутацію, но славу дѣйствительнаго генія»... [311].

При такихъ настроеніяхъ естественно отдаться воспоминаніямъ, и они предъ нами почти въ каждомъ второстепенномъ произведеніи Тургенева. *Несчастная* и *Литературныя и житейскія воспоминанія* открываютъ намъ путь въ прошлое автора, *Отчаянный* и *Клара Миличъ* заключаютъ его [312].

---

[309] Такъ признавался Тургеневъ г. Полонскому. *Op. cit.* 531.

[310] Выраженіе Тургенева по поводу *Вешнихъ водъ*. Письма, 200.

[311] *Письма*, 162, 199, 205, 213.

[312] Разсказъ *Отчаянный* Тургеневъ называетъ очеркомъ изъ *Воспоминаній своихъ и чужихъ*. Повѣсть *Клара Миличъ* сначала носила заглавіе *Послѣ смерти*. Г-жѣ Полонской Тургеневъ писалъ: «Мысль этой повѣсти явилась мнѣ послѣ того, какъ вы мнѣ разсказали о Кадминой». Въ письмѣ къ Л. Бертенсону находится болѣе подробное сообщеніе: «Исторія Кадминой (лично съ которой, т.-е. съ Кадминой, я знакомъ не былъ) послужила мнѣ только толчкомъ къ написанію моей повѣсти. Віографія Клары (Миличъ) мною вымышлена, а также и отношенія ея къ Аратову, типу, сохранившемуся въ моей памяти еще со временъ молодости».—*Письма,* 391, 502, 541.

Но этой струей, по обыкновенію, не исчерпывались авторскіе замыслы Тургенева. Успокоительный интересъ къ прошлому уживался рядомъ все съ той же непреодолимой отзывчивостью на современность. Тургеневъ, несомнѣнно, понималъ недостатки послѣдняго своего романа, неполноту и неясность его содержанія. Прежде всего, Соломинъ и Маріанна, по своему значенію для личнаго міросозерцанія автора и по своей роли въ новомъ общественномъ движеніи Россіи, не могли безслѣдно пропасть въ туманной дали, гдѣ показываетъ ихъ заключительная бесѣда Паклина съ Машуриной. И въ личностяхъ героя, и въ судьбѣ ихъ идей оставалось слишкомъ много недосказаннаго. Авторъ снова долженъ былъ вернуться къ той же темѣ. И онъ имѣлъ это въ виду. У него уже составился планъ и, по примѣру прежнихъ лѣтъ, онъ намѣренъ былъ посвятить новому труду лѣто въ Спасскомъ. Но разсчетъ падалъ на лѣто 1882 года, когда писателю суждено было изнывать въ смертельной болѣзни вдали отъ родины...

Нѣкоторыя свѣдѣнія о романѣ передаетъ одинъ изъ иностранныхъ друзей Тургенева.

«Въ прошедшемъ году», разсказывалъ Рольстонъ, «Тургеневъ предполагалъ вернуться въ Россію весной и провести все лѣто въ Спасскомъ. Я надѣялся посѣтить его въ это время и перевести подъ его руководствомъ романъ, который онъ намѣревался писать и который долженъ былъ иллюстрировать огромную разницу, существующую между соціализмомъ Россіи и соціализмомъ Западной Европы. Планъ романа, какъ онъ объяснялъ мнѣ, былъ, приблизительно, слѣдующій: русская дѣвушка, примкнувшая къ нигилистическимъ идеямъ, покидаетъ родину и поселяется въ Парижѣ. Тамъ она встрѣчаетъ молодого француза-соціалиста и выходитъ за него замужъ. Нѣкоторое время все идетъ какъ слѣдуетъ въ семьѣ, воодушевленной общей ненавистью ко всѣмъ законамъ и всѣмъ обрядамъ. Но, наконецъ, молодая женщина знакомится и разговариваетъ съ однимъ изъ своихъ соотечественниковъ, который разсказываетъ ей, что русскіе соціалисты думаютъ, говорятъ и дѣлаютъ у себя на ея родинѣ. Она узнаетъ съ ужасомъ, что цѣли и стремленія русскихъ революціонеровъ существенно расходятся съ цѣлями французскаго и нѣмецкаго общества соціалистовъ, и что

глубокая пропасть раздѣляетъ ее отъ мужа, съ которымъ она всегда считала себя вполнѣ согласной. Какъ должна была кончиться исторія — не знаю, но легко себѣ представить, съ какой силой и чувствомъ развилъ бы эту идею великій писатель, котораго мы утратили» [313]).

Около этого же времени у Тургенева былъ готовъ и другой сюжетъ, безъ всякой политической окраски, но въ высшей степени любопытный. Вопросъ, поставленный Тургеневымъ, пытался разрѣшить Достоевскій въ повѣсти *Бѣдные люди*, нѣсколько лѣтъ тому назадъ та же тема вдохновила французскаго беллетриста, Маргерита.

Тургеневская повѣсть должна была носить названіе *Старые голубки*. По словамъ автора, она глубоко его занимала, содержаніе ея онъ передавалъ въ слѣдующихъ словахъ:

«У нѣкоего старика, управляющаго имѣніемъ, живетъ пріѣзжій сынъ, молодой человѣкъ; къ нему пріѣхалъ товарищъ его, тоже молодой. Народъ веселый и безшабашный: обо всемъ зря сложились у нихъ понятія, обо всемъ они судятъ и рядятъ, такъ сказать, безапелляціонно; на женщинъ глядятъ легкомысленно и даже нѣсколько цинично. Въ это же время въ усадьбѣ появляется старый помѣщикъ съ женой, оба уже не молодые, хотя жена и моложе. Старикъ только-что женился на той, которую любилъ въ молодости. Молодые люди потѣшаются надъ амурами стариковъ, начинаютъ за ними подсматривать, бьются объ закладъ... Наконецъ, сынъ управляющаго шутя начинаетъ волочиться за пожилой помѣщицей, и что же замѣчаетъ къ своему немалому удивленію?—что любовь этихъ пожилыхъ людей безконечно сильнѣе и глубже, чѣмъ та любовь, которую онъ когда-то зналъ и наблюдалъ въ знакомыхъ ему женщинахъ. Это его озадачиваетъ. Мало-по-малу онъ влюбляется въ пожилую жену стараго помѣщика,—и увы!—безнадежно: съ разбитымъ сердцемъ уѣзжаетъ неосторожный, любопытный юноша. И пари онъ проигралъ, и проигралъ прежній миръ души своей. Любовь уже перестала казаться ему прежней шалостью, или чѣмъ-то въ родѣ веселаго препровожденія времени.

[313]) *Иностр. крит.* 190—1.

Изложенными опытами не ограничивались
Тургенева. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ лю
мнѣнію Гёте, своей дѣятельностью и высокими дос
природы заставляютъ неизбѣжно признавать бе:
этихъ людей физическая организація разрушаетс
они успѣли довести до конца свой жизненный
чѣмъ исчерпали вполнѣ свои духовныя силы; и
многое сказать, передать людямъ множество
вдохновенныхъ образовъ, и смерть настигаетъ и
гаръ новыхъ стремленій. Гёте, переживая прежд
чины своихъ друзей, говорилъ: «Для меня убѣя
жизни вытекаетъ изъ понятія дѣятельности. Есл
работаю до конца, то природа обязана даровать
существованія, когда нынѣшняя моя форма уя
удерживать мой духъ».

Можно сколько угодно спорить противъ подобн
но оно для насъ драгоцѣнно: оно превосходно
нашего писателя. Именно онъ, не колеблясь, не
мѣняя идеаламъ просвѣщенія и общественнаго сс
своего народа, выполнялъ свое назначеніе, извле
природнаго таланта искры божественнаго огня в
няго часа.

Стиховъ Иванъ Сергѣевичъ не писалъ со временъ своей ранней молодости. Но, много лѣтъ спустя, прежній хмѣль по временамъ охватывалъ сѣдѣющую голову романиста, и тогда изъ подъ его пера лились звучныя риѳмы, часто шуточныя, забавныя привѣтствія друзьямъ, эпиграммы на смѣхотворныхъ философовъ и патріотовъ, въ родѣ Фета, но подчасъ тургеневскія строфы, небрежно, случайно брошенныя на бумагу, заставляютъ забыть все «количество ведеръ воды» изъ фетовскаго «потока» [315]).

Напримѣръ, какъ изящно и тепло по тону слѣдующее обращеніе къ Фету:

Въ отвѣтъ на возгласъ соловьиный
(Онъ устарѣлъ, но голосистъ!)
Шлетъ щуръ сѣдой съ полей чужбины
Хоть хриплый, но привѣтный свистъ.
Эхъ! плохи стали птицы обѣ
И ужъ не поюнѣть имъ вновь!
Но движется у каждой въ зобѣ
Все то же сердце, та же кровь...
И знай: едва весна проснется
И заиграетъ жизнь въ лѣсахъ,—
Щуръ отряхнется, встрепенется
И въ гости къ соловью махъ-махъ!

Стихотвореніе, очевидно, плодъ минутнаго вдохновенія, почти экспромтъ. Такъ же былъ написанъ и знаменитый *Крокетъ въ Виндзорѣ*. Въ іюлѣ въ 1876 году, во время пребыванія въ Петербургѣ, Тургеневу не спалось ночью, и онъ набросалъ строфы,

---

[315]) Такъ гр. Толстому, безъ всякаго злого умысла, напротивъ, съ самыми благими намѣреніями, пришлось однажды весьма двусмысленно охарактеризовать поэтическій талантъ своего друга. Эта характеристика находится въ письмѣ, гдѣ гр. Толстой изрекалъ смертный приговоръ Тургеневу, какъ писателю, по поводу *Дыма*. Фетъ, конечно, оказывался неизмѣримо выше погибшаго романиста. «Я свѣжѣе и сильнѣе васъ не знаю человѣка», писалъ гр. Толстой. «Потокъ вашъ все течетъ, давая то же извѣстное количество ведеръ воды— силы. Колесо, на которое онъ падалъ, сломалось, разстроилось, принято прочь, но потокъ всетечетъ, и ежели онъ ушелъ въ землю, онъ гдѣ-нибудь опять выйдетъ и довершитъ другія колеса. Ради Бога не думайте, чтобы я это вамъ говорилъ потому, что долгъ платежомъ красенъ, что вы мнѣ всегда говорите подбадривающія вещи, нѣтъ, я всегда и объ одномъ васъ такъ думаю».—Фетъ, II, 121. Письмо отъ 27 іюня 1867 года.

быстро разошедшіяся потомъ въ многочисленныхъ спискахъ. По обыкновенію, онъ судилъ о своихъ стихахъ пренебрежительно, но читатели были другого мнѣнія [316]).

Невольно вспоминается и стихотвореніе Нежданова—*Сонъ*. Оно, несомнѣнно, выражаетъ одно изъ глубочайшихъ впечатлѣній, какія только Тургеневъ испытывалъ на родинѣ. Соломинъ повторяетъ идею этихъ стиховъ и самъ Тургеневъ, уже послѣ *Нови*, разсказывалъ, какъ онъ, однажды, въ Орлѣ, въ лѣтній день, засталъ рядъ совершенно тѣхъ самыхъ картинъ, какія изображаетъ Неждановъ:

Спитъ... отецъ, спитъ мать, спитъ вся семья...
Всѣ спятъ! Спитъ тотъ кто бьетъ, и тотъ кого колотятъ [317]).

Но всѣ эти элегіи въ риѳмахъ—случайности въ литературной дѣятельности Тургенева. Онъ не признавалъ въ себѣ таланта писать стихи и создалъ для своихъ лирическихъ настроеній особый жанръ—*стихотворенія въ прозѣ*. Имъ авторъ не придавалъ большого значенія, писалъ «для самого себя и для небольшого кружка людей, сочувствующихъ такого рода вещамъ», пришелъ даже въ ужасъ, когда услыхалъ, будто нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній хотятъ читать публично. Отдавая ихъ въ *Вѣстникъ Европы*, Тургеневъ поставилъ-было условіемъ—печатать ихъ безъ гонорара... [318]).

И между тѣмъ, можно только пожалѣть, что этихъ *senilia* слишкомъ мало: тогда бы у насъ была самая поэтическая автобіографія. Отъ нихъ вѣетъ меланхалическимъ чувствомъ; будто предъ нами закатъ солнца и постепенно набѣгающія тѣни вечера. Стихотворенія, дѣйствительно, «вечернія тѣни»: всѣ они написаны Тургеневымъ незадолго до смерти въ теченіи четырехъ съ половиною лѣтъ.

Жизнь, столь богатая «шумомъ житейскимъ», «жертвами Аполлону» и идейной борьбой, должна была превратить писателя въ спокойнаго, мудраго, гуманнаго, иногда глубоко-грустнаго

---

[316]) *Р. Ст.* XL, 217—8; *Письма*, 299.

[317]) Полонскій. 521—2.

[318]) *Письма*, 513, 522. *Изъ воспоминаній о посл. дняхъ И. С. Т—ва* М. С. *В. Евр.*, 1883, окт.

судью человѣческихъ дѣлъ и суетъ. Ледяное дыханіе смерти часто вѣетъ надъ поэтомъ: смерти, безжалостной къ генію, къ силѣ и къ красотѣ. Но еще страшнѣе для него другое столь же таинственное существо—*природа*, вѣчно равнодушная, вѣчно преслѣдующая свои цѣли независимо отъ людскихъ самонадѣянныхъ мечтаній и идеальныхъ надеждъ...

Эти два мотива—не только лирическія дѣтища тургеневской музы: они всю жизнь преслѣдовали писателя, будто страшная *старуха*, во снѣ и на яву: стихотвореніе о *старухѣ*, по разсказамъ друга Тургенева, возникло послѣ сновидѣнія... Тургеневъ отличался крайней мнительностью, боялся всякой заразы и самъ шутилъ надъ своимъ истинно-паническимъ ужасомъ предъ холерой. Но съ годами это чувство утратило рѣзкій субъективный характеръ, превратилось въ философски-элегическое созерцаніе неизбѣжнаго разрушенія, царящаго всюду среди жизни.

Зато другой мотивъ—невольный трепетъ предъ равнодушной неотразимой природой—съ теченіемъ времени—звучитъ все постояннѣе и безнадежнѣе. Это—въ полномъ смыслѣ трагедія, потому что таже природа для Тургенева, какъ художника, неистощимый источникъ наслажденій и поэтическаго восторга. Въ молодости онъ могъ по цѣлымъ часамъ теряться взоромъ въ бездонномъ синемъ небѣ, ловить чуткимъ ухомъ безчисленные таинственные звуки лѣсной жизни,—и въ старости его рѣчь начинала блистать неподражаемыми красками, когда онъ принимался описывать свое любимое божество.

«Въ немногіе хорошіе дни», разсказываетъ его другъ, «когда вѣтеръ подувалъ съ востока, теплый и мягкій, а пестрыя, тупыя, крылья низко пролетавшихъ сорокъ мелькали на солнцѣ, Тургеневъ просыпался рано и уходилъ къ пруду—посидѣть на своей любимой скамеечкѣ. Разъ проснулся онъ до зари и, какъ поэтъ, передавалъ мнѣ свои впечатлѣнія того, что онъ видѣлъ и слышалъ: какія птицы проснулись раньше, до восхода солнца, какіе голоса подавали, какъ перекликались и какъ постепенно всѣ эти птичьи напѣвы сливались въ одинъ хоръ, ни съ чѣмъ несравнимый, непередаваемый никакою человѣческою музыкой... Если бы было возможно повторить слово въ слово то, что говорилъ Турге-

невъ, вы бы прочли одно изъ самыхъ поэтическихъ описаній—такъ глубоко онъ чувствовалъ природу и такъ былъ радъ, что въ кои-то вѣки, на ранней зарѣ, въ чудесную погоду былъ свидѣтелемъ ея пробужденія» [319]).

Но чуткое сердце поэта сосалъ будто червь.

Въ элегіи *Довольно* онъ изобразилъ угнетенное состояніе своего творческаго генія передъ могучей, всеистребляющій властью естественныхъ законовъ. Она не различаетъ величайшихъ созданій человѣческаго духа отъ простыхъ камней, и одинаково топитъ ихъ въ рѣкѣ забвенія. Семь лѣтъ раньше въ поэтическомъ очеркѣ *Поѣздка въ Полѣсье* предъ читателями явилось то же настроеніе, облеченное въ чудную картину лѣса.

Видъ огромнаго, весь небосклонъ обнимающаго бора напоминаетъ поэту видъ моря,—только въ лѣсу человѣкъ чувствуетъ себя еще ничтожнѣе, придавленнѣе.

«Изъ нѣдръ вѣковыхъ лѣсовъ, съ безсмертнаго лона водъ поднимается тотъ же голосъ: «Мнѣ нѣтъ до тебя дѣла,—говоритъ природа человѣку,—я царствую, а ты хлопочи о томъ, какъ бы не умереть». Но лѣсъ однообразнѣе и печальнѣе моря, особенно сосновый лѣсъ, постоянно одинаковый и почти безшумный. Море грозитъ и ласкаетъ, оно играетъ всѣми красками, говоритъ всѣми голосами; оно отражаетъ небо, отъ котораго тоже вѣетъ вѣчностью, но вѣчностью какъ будто намъ нечуждой... Неизмѣнный мрачный боръ угрюмо молчитъ или воетъ глухо—и при видѣ его еще глубже и неотразимѣе проникаетъ въ сердце людское сознаніе нашей ничтожности. Трудно человѣку, существу единаго дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному къ смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взглядъ вѣчной Изиды; не однѣ дерзостныя надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснутъ въ немъ, охваченныя ледянымъ дыханіемъ стихій; нѣтъ—вся душа его нѣмѣетъ и замираетъ; онъ чувствуетъ, что послѣдній изъ его братій можетъ исчезнуть съ лица земли—и ни одна игла не дрогнетъ на этихъ вѣтвяхъ; онъ чувствуетъ свое одиночество, свою слабость, свою случайность—и

---

[319]) Полонскій, 578—9.

[redacted]

съ торопливымъ тайнымъ испугомъ обращается онъ къ мелкимъ заботамъ и трудамъ жизни; ему легче въ этомъ мірѣ, имъ самимъ созданномъ, здѣсь онъ дома, здѣсь онъ смѣетъ еще вѣрить въ свое значеніе и въ свою силу».

Незадолго до смерти то же горькое чувство вызываетъ стихотвореніе *Природа*. Поэтъ ведетъ бесѣду съ величавой богиней, размышляющей о судьбѣ блохи; онъ дерзаетъ напомнить ей, что люди ея «любимыя дѣти», что существуютъ «добро, разумъ, справедливость»...

И въ отвѣтъ раздается желѣзный голосъ:

«— Это человѣческія слова. Я не вѣдаю ни добра, ни зла... Разумъ мнѣ не законъ, и что такое справедливость? Я тебѣ дала жизнь—я ее отниму и дамъ другому, червямъ или людямъ... мнѣ все равно... А ты, пока защищайся и не мѣшай мнѣ!»

Тургеневъ и въ откровенныхъ бесѣдахъ неоднократно возвращался къ той же идеѣ. Трудно повѣрить, чтобы художникъ съ такими силами мысли и чувства могъ поддаваться мрачнымъ пессимистическимъ думамъ. Эти думы не мѣшали ему лучшія минуты своей жизни отдавать именно тѣмъ стремленіямъ и созданіямъ, какія, по его мнѣнію, природа безучастно осуждаетъ на безслѣдное исчезновеніе наравнѣ съ послѣднимъ насѣкомымъ. Пессимизмъ свидѣтельствовалъ о безсмертномъ чувствѣ любви ко всему живому и мучительномъ безпокойствѣ за благороднѣйшія усилія лучшихъ сыновъ человѣчества. Это не шопенгауэровскій пессимизмъ, награждающій удачливаго мудреца чувствомъ самодовольства, сознаніемъ, что постигнута истина, непостижимая для суетно-мятежнаго людского стада и только придающая особый пряный вкусъ жизненному напитку обладателя истины... Тургеневскій пессимизмъ—идеально-человѣческая грусть, та *Sehnsucht,* «желаніе и тоска», въ которой сливается вмѣстѣ и горе о разрушенныхъ идеалахъ, и стремленіе безпрестанно вновь созидать красоту и благо.

Тургеневу совершенно недоступенъ пессимизмъ современной французской литературной школы. Для нея особенное наслажденіе въ подавляющемъ обиліи тѣней всюду, и—среди человѣческаго общества, и въ царствѣ природы. Она, съ отчаяніемъ нравственнаго убожества или жестокостью дѣтскаго легкомыслія, выказываетъ

изнанку каждаго явленія и скорѣе согласится измыслить небывалое зло, чѣмъ признать дѣйствительно существующее благо. Общій выводъ заранѣе установленъ: хлопотать объ идеяхъ, значитъ уподобляться лошади въ циркѣ или мухѣ въ закупоренной бутылкѣ. И то, и другое положеніе недостойно здравомыслящаго человѣка.

Неудивительно, если Тургеневъ производилъ на своихъ парижскихъ пріятелей странное впечатлѣніе, когда, по русской привычкѣ, пускался въ сердечныя изліянія и ни одно изъ нихъ не заключало «натуралистическаго» анекдота на счетъ «славянскаго женскаго типа». Тогда французамъ оставалось только прислушиваться къ пѣвучимъ звукамъ голоса разсказчика, обмѣниваться другъ съ другомъ улыбками, и самые благосклонные дѣлали знаки русскому идеалисту—«не то ребенку, не то негру», чтобы онъ не морилъ со смѣху цивилизованное общество.

Нѣкоторые застольные маленькіе разсказы Тургеневъ превращалъ въ стихотворенія. Таковъ разсказъ *Маша*, изображающій шекспировскій трагизмъ крестьянскаго горя... Для «натуралиста» несчастный извозчикъ, потерявшій жену, забавный оригиналъ, годный въ мелодраму, для Тургенева—незабвенный примѣръ глубочайшихъ движеній сердца. Въ безъисходномъ отчаяніи, среди безпощадной власти внѣшней силы, поэтъ съумѣлъ показать искру человѣческой души и въ бездну стихійнаго мрака бросилъ лучъ безсмертной сознательной мысли. А гдѣ этотъ лучъ, тамъ уже нѣтъ ни смерти, ни отчаянія.

И посмотрите, какъ поэтъ умѣетъ подмѣтить тайны природы-матери, только-что изобразивъ предъ вами природу-силу. Эти тайны не желѣзное, все подавляющее могущество, а нѣчто другое. Его нѣтъ силъ объяснить, но оно именно источникъ и поэзіи, и красоты, и блага.

Прочтите стихотвореніе *Воробей*—одинъ моментъ изъ исторіи птички, съ опасностью жизни защитившей своего птенца, разсказъ о *Голубяхъ*, напомнившихъ поэту его одиночество, послушайте, что̀ распозналъ поэтъ въ глазахъ своей собаки-друга — это одна и та же жизнь, бьющаяся въ двухъ разныхъ существахъ, сближающая ихъ, какъ дѣтей одной и той же творческой силы... Но трогательнѣе всего исторія маленькой обезьяны. Она — един-

ственная, «словно родная» спутница поэта, плывущаго одиноко на кораблѣ съ суровымъ, молчаливымъ капитаномъ. Наконецъ, эта рѣшимость: «Мы еще повоюемъ!..»

Какъ она нужна была поэту въ годы одинокой тоски, на склонѣ жизни, отказавшей въ счастьѣ и безпрестанно обманывавшей даже въ законной славѣ!.. И опять та же птичья семья. Мы проходимъ ежедневно мимо подобныхъ сценъ совершенно равнодушно, немедленно забывая о нихъ, но поэтамъ дана иная способность видѣть и талантъ одухотворять творческой мыслью мельчайшія явленія будничной дѣйствительности.

«Какая ничтожная малость можетъ иногда перестроить всего человѣка!» восклицаетъ Тургеневъ въ началѣ своего стихотворенія, и дальше разсказываетъ совершенно ничтожный, отчасти даже комическій эпизодъ, но въ разсказѣ столько сердечной теплоты, прочувствованной правды, что въ немъ невольно слышится задушевное личное признаніе многолѣтняго подвижника мысли и слова.

«Полный раздумья, шелъ я однажды по большой дорогѣ.

«Тяжкія предчувствія стѣсняли мою грудь; унылость овладѣвала мною.

«Я поднялъ голову... Предо мною, между двухъ рядовъ высокихъ тополей, стрѣлою уходила въ даль дорога.

«И черезъ нее, черезъ эту самую дорогу, въ десяти шагахъ отъ меня, вся раззолоченная яркимъ лѣтнимъ солнцемъ, прошла гуськомъ цѣлая семейка воробьевъ, прошла бойко, забавно, самонадѣянно!

«Особенно одинъ изъ нихъ такъ и подсаживалъ бочкомъ, бочкомъ, выпуча зобъ и дерзко чирикая, словно и чортъ ему не братъ! Завоеватель да и полно!

«А между тѣмъ, высоко на небѣ кружилъ ястребъ, которому, быть можетъ, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

«Я поглядѣлъ, разсмѣялся, встряхнулся—и грустныя думы тотчасъ отлетѣли прочь: отвагу, удаль, охоту къ жизни почувствовалъ я.

«И пускай надо мной кружитъ мой ястребъ...

«Мы еще повоюемъ, чортъ возьми!»

Тургеневу подъ конецъ жизни приходилось переживать тѣ же самыя настроенія и при тѣхъ же условіяхъ, какъ это было въ его дѣтствѣ. Среди окружавшихъ его людей—семьи г-жи Віардо и застольныхъ пріятелей-французовъ не было ни одного настоящаго близкаго сердцемъ друга. Совѣтовъ и утѣшеній невозможно было ожидать отъ людей, смотрѣвшихъ на Ивана Сергѣевича или какъ на драгоцѣнный подарокъ благосклонной судьбы, или созерцавшихъ въ лицѣ его рѣдкостный продуктъ полудикой Скиѳіи. Если бы положеніе знаменитаго писателя въ личномъ отношеніи было иное, мы не слышали бы безпрестанно тоскливыхъ рѣчей, вѣчныхъ жалобъ на холодную, безпріютную старость и его не сопровождало бы до самой могилы желаніе спастись навсегда отъ своего «прекраснаго далека» и отъ «друзей», нравственно и душевно не имѣвшихъ съ нимъ ничего общаго.

Въ дѣтствѣ и ранней молодости Тургеневъ находилъ отраду въ родной природѣ, не знавшей тайнъ для его поэтически-чуткаго взора. То же повторяется и въ старости. «Вкусные часы» и теперь создаются для одинокаго писателя гораздо чаще среди той самой безсознательной могучей жизни, которая столь глубоко поражала его равнодушіемъ къ человѣческимъ стремленіямъ и человѣческому генію,—чѣмъ въ обществѣ до такой степени «сознательномъ» и просвѣщенномъ, что русскому «негру» приходилось стыдиться своей «наивности». Скорѣе забавная сцена бойкихъ воробьевъ, воспоминаніе о маленькой несчастной обезьянѣ, могли внушить «старому словеснику» энергическое нравственное чувство, чѣмъ отважное благѣрство парижскихъ blasés, не вѣрившихъ, по собственному признанію, ни въ жизнь, ни въ литературу...

А энергическое чувство было въ высшей степени необходимо Тургеневу, и восклицаніе: «Мы еще повоюемъ»—звучало настоятельнымъ призывомъ для самого писателя къ дѣйствительной войнѣ.

Нападки на Тургенева послѣ *Нови*, совершенно естественно направленныя съ двухъ сторонъ, не прекращались въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ. Со стороны молодого поколѣнія на этотъ разъ чувство недовольства и многочисленныя недоумѣнія были, конечно, основательнѣе, чѣмъ послѣ *Отцовъ и Дѣтей*. Правда, противопо-

ложная сторона—Сипягины, ихъ друзья и «клевреты» оказывались въ самыхъ низкихъ и презрѣнныхъ роляхъ,—но Неждановъ—неудачникъ и Соломинъ — «постепеновецъ», фигура блѣдная и таинственная, не могли удовлетворить впечатлительной и шумной публики. Именно этотъ шумъ и доказывалъ громадность тургеневскаго авторитета, свидѣтельствовалъ о небывалой силѣ его голоса, даже когда звуки выходили смутными и подчасъ слабыми. Самолюбію молодого писателя такой фактъ доставилъ бы великое удовлетвореніе, но въ старости, при неотвязчивой боязни близкаго конца — нужны совершенно другія впечатлѣнія, успокоительныя и радостныя, какъ несомнѣнное предвѣстіе наступающей безсмертной славы... Эти впечатлѣнія, конечно, не могли отсутствовать совершенно, но слишкомъ часто слышались диссонансы, и они-то съ особенной болѣзненностью должны были отзываться на старѣвшемъ романистѣ.

Тургеневу одновременно съ жалобами на недуги, на могилу, которая «словно торопится проглотить» его, приходится упрашивать своего друга не посвящать ему стихотворенія.

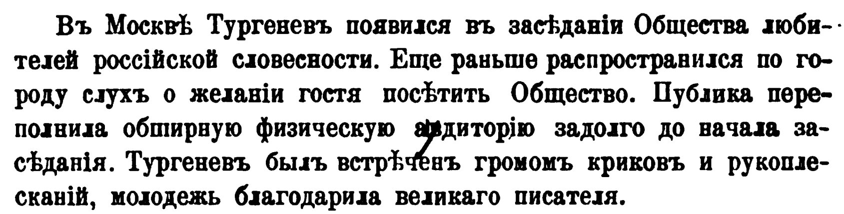
«Умоляю тебя, какъ друга», пишетъ онъ, «не печатать твоего посланія ко мнѣ; уже теперь мое имя не появляется въ печати иначе, какъ сопровожденное нареканіями и насмѣшками— зачѣмъ же давать поводъ всѣмъ моимъ недоброжелателямъ присоединить къ моему имени другое, которое мнѣ гораздо дороже моего собственнаго и дать пищу всякимъ сплетнямъ и грязнымъ намекамъ? Я увѣренъ, что ты меня поймешь и уважишь мою просьбу».

Спустя нѣсколько времени онъ повторяетъ ту же просьбу и даже заявляетъ: «Я былъ бы очень счастливъ, если бы обо мнѣ совсѣмъ перестали упоминать» [320]).

Это писалось вскорѣ послѣ овацій въ Англіи и въ Россіи. Въ началѣ 1879 года Иванъ Сергѣевичъ получилъ отъ Оксфордскаго университета почетную степень доктора обычнаго права, въ февралѣ пріѣхалъ въ Россію и встрѣтилъ восторженный пріемъ у публики обѣихъ столицъ.

---

[320]) Письмо къ Полонскому. *Письма*, 317, 345.



Въ Москвѣ Тургеневъ появился въ засѣданіи Общества любителей россійской словесности. Еще раньше распространился по городу слухъ о желаніи гостя посѣтить Общество. Публика переполнила обширную физическую аудиторію задолго до начала засѣданія. Тургеневъ былъ встрѣченъ громомъ криковъ и рукоплесканій, молодежь благодарила великаго писателя.

Тургеневъ не ожидалъ ни овацій, ни еще менѣе благодарности. Онъ здѣсь же заявилъ объ этомъ, выражая свою глубокую признательность и смущеніе. Оваціи и на публику произвели сильнѣйшее впечатлѣніе: очевидцы говорятъ о нихъ, какъ о настоящемъ событіи московской общественной жизни.

Событію суждено было продлиться. Четвертаго марта состоялся литературный вечеръ въ Благородномъ собраніи. Тургенева публика встрѣтила *стоя*, когда онъ вступилъ на эстраду, молодежь снова привѣтствовала его рѣчью и поднесла ему вѣнокъ. Тургеневъ отвѣчалъ скромными выраженіями благодарности, приписывая права на вѣнокъ своимъ учителямъ—Пушкину и Гоголю. Для вечера имъ былъ прочтенъ разсказъ *Бурмистръ*.

Два дня спустя въ честь Тургенева устроили обѣдъ. Юрьевъ въ застольной рѣчи указалъ на манифестаціи, всюду встрѣчавшія въ Москвѣ знаменитаго писателя, и въ этихъ манифестаціяхъ принимали одинаково горячее участіе люди различныхъ поколѣній. Личность Тургенева объединила представителей самыхъ разнообразныхъ взглядовъ и возрастовъ. Ректоръ университета, Тихонравовъ, указалъ на сознательное отношеніе молодежи къ идеаламъ своихъ наставниковъ, Грановскаго, Бѣлинскаго и Тургенева. Опредѣляя истинный либерализмъ, какъ «протестъ противъ всего темнаго и притѣснительнаго, уваженіе къ наукѣ и образованію, любовь къ поэзіи и художеству и, наконецъ, пуще всего любовь къ народу, Иванъ Сергѣевичъ, провозглашая тостъ за процвѣтаніе московскаго университета и «всестороннее и мощное развитіе нашего молодого поколѣнія—нашей надежды и нашей будущности»—назвалъ свои «московскіе дни»—«лучшей наградой писателя предъ концомъ его поприща».

Тургеневъ уѣхалъ въ Петербургъ и здѣсь возобновились тѣ же *оваціи*, сначала на вечерѣ литературнаго фонда 9-го марта, гдѣ

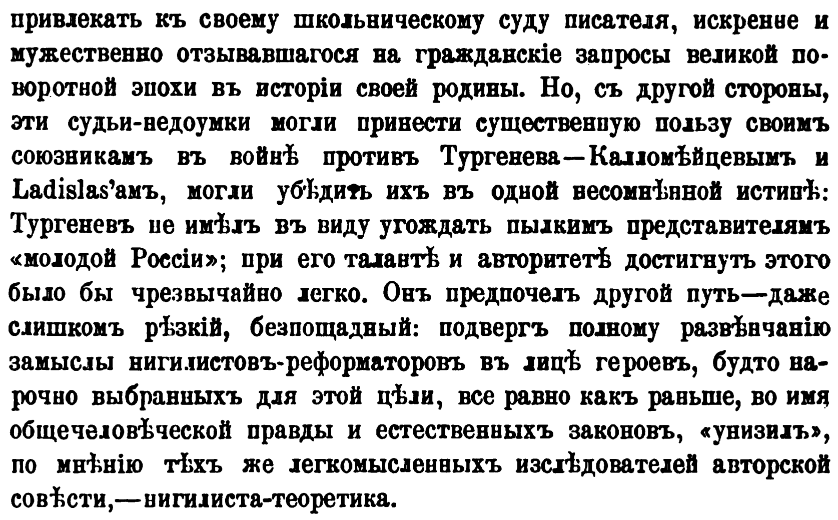
Тургеневъ снова читалъ *Бурмистра*. Въ вечерѣ принимали участіе, кромѣ Тургенева, Салтыковъ, Достоевскій, Потѣхинъ, Плещеевъ, Полонскій, но героемъ вечера оказался Тургеневъ, читавшій послѣднимъ. Его выходъ изъ залы былъ тріумфальнымъ шествіемъ. Тринадцатаго марта состоялся въ честь гостя обѣдъ, соединившій представителей литературы, науки, искусства, театра. Тургеневъ, отвѣчая на многочисленныя привѣтствія, указалъ на совершающееся объединеніе поколѣній, на общія стремленія и надежды, на опредѣленный идеалъ, одинаково дорогой и близкій «отцамъ» и «дѣтямъ». Называя себя человѣкомъ сороковыхъ годовъ, «человѣкомъ старымъ», — Тургеневъ провозгласилъ тостъ «за молодость, за будущее, за счастливое и здравое развитіе его судебъ...»

Всюду, гдѣ ни являлся Тургеневъ, его встрѣчали горячія привѣтствія. На вечерѣ педагогическихъ и высшихъ курсовъ, 15-го марта, Тургеневу поднесли адресъ и вѣнокъ. Представительницы учащихся женщинъ благодарили писателя за «правду» о нихъ. Тургеневъ прочелъ свой разсказъ *Львовъ*; клики и рукоплесканія провожали его до кареты.

На слѣдующій день въ Александринскомъ театрѣ шла пьеса *Мѣсяцъ въ деревнѣ*,—появленіе автора пьесы и здѣсь сопровождалось восторженными привѣтствіями.

Ни одинъ писатель въ Россіи не доживалъ до такого шумнаго, эффектнаго признанія своихъ заслугъ. Русская общественная мысль первые плоды своего самосознанія приносила дѣятелю, которому болѣе всего была обязана своей силой и зрѣлостью. Это былъ логически-послѣдовательный и исторически-справедливый ходъ общественныхъ явленій.

Оваціи ясно доказывали популярность автора *Нови* у читателей, умѣвшихъ среди необыкновенно бурныхъ, крайнихъ сужденій о дѣятельности писателя сохранить ясное представленіе о просвѣтительномъ значеніи его произведеній. Можетъ быть, среди привѣтствовавшихъ не всѣ были согласны съ его «постепеновскими» воззрѣніями, но только безнадежная ограниченность или незрѣлость ума могли не оцѣнить громаднаго воздѣйствія тургеневскихъ романовъ на развитіе русскихъ образованныхъ классовъ, могли



привлекать къ своему школьническому суду писателя, искренне и мужественно отзывавшагося на гражданскіе запросы великой поворотной эпохи въ исторіи своей родины. Но, съ другой стороны, эти судьи-недоумки могли принести существенную пользу своимъ союзникамъ въ войнѣ противъ Тургенева—Калломѣйцевымъ и Ladislas'амъ, могли убѣдить ихъ въ одной несомнѣнной истинѣ: Тургеневъ не имѣлъ въ виду угождать пылкимъ представителямъ «молодой Россіи»; при его талантѣ и авторитетѣ достигнуть этого было бы чрезвычайно легко. Онъ предпочелъ другой путь—даже слишкомъ рѣзкій, безпощадный: подвергъ полному развѣнчанію замыслы нигилистовъ-реформаторовъ въ лицѣ героевъ, будто нарочно выбранныхъ для этой цѣли, все равно какъ раньше, во имя общечеловѣческой правды и естественныхъ законовъ, «унизилъ», по мнѣнію тѣхъ же легкомысленныхъ изслѣдователей авторской совѣсти,—нигилиста-теоретика.

По истинѣ странный путь избралъ геніальный художникъ для угожденія современникамъ и особенно молодежи! Будто преднамѣренно раздражая читателей ироніей разсказа, разочарованіями и безсиліемъ нигилистовъ-романтиковъ, въ тоже время обнаруживая въ высшей степени презрительное и часто неудержимо-гнѣвное чувство къ настоящимъ врагамъ русскаго общественнаго развитія.

Только сами эти враги отлично понимали намѣренія автора и съ накипѣвшей злобой слѣдили за его торжествомъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Они не проронили ни слова объ этомъ торжествѣ; *Московскія Вѣдомости* даже не упомянули о двухнедѣльномъ пребываніи Тургенева въ Москвѣ. Они ждали случая нанести возможно болѣе ядовитый ударъ любимѣйшему писателю Россіи.

Нельзя представлять, чтобы самъ Иванъ Сергѣевичъ являлся лишь безотвѣтной жертвой нападокъ. Мы знаемъ, съ какимъ страстнымъ чувствомъ онъ стремился заклеймить нѣкоторыя позорныя личности и сдѣлалъ это въ *Нови*, не прикрываясь никакими намеками и недомолвками. Легко понять чувства Ladislas'овъ и лицъ, издававшихъ русское *Revue des deux Mondes:* оказывалось, это «самоуважающее» *Revue* «подгуляло» и стало «очень скучно» даже по мнѣнію г-жи Синягиной и Калломѣйцева... Такія замѣчанія на страницахъ популярнѣйшаго романа равнялись цѣлой са-

тирѣ и не могли не раздражить причастныхъ лицъ. Не мало было и въ прошломъ совершенно уважительныхъ причинъ для энергическаго натиска, а самая убѣдительная, несомнѣнно, — слишкомъ самостоятельный и рѣзкій голосъ русскаго писателя противъ признаннаго диктатора московской публицистики.

Случай представился, и весьма удобный... И онъ неизбѣжно долженъ былъ представиться по основнымъ чертамъ тургеневской личности и жизни.

XV.

Тургеневъ, какъ мы уже знаемъ, безпрестанно оказывалъ покровительство своимъ соотечественникамъ, попадавшимъ за границу. Снабдить рекомендаціей, устроить судьбу, дать денегъ, даже ежегодную пенсію и въ особенности провести литературное произведеніе начинающаго, никому невѣдомаго автора, — всѣ эти виды благотворительности занимали Тургенева всю жизнь. Нерѣдко его любезностью пользовались люди, совершенно недостойные, и часто результаты бывали весьма печальные: поступокъ, имѣвшій единственной побудительной причиной, — состраданіе и привычку не отказывать въ помощи, объяснялся совершенно другими мотивами. И объясненія шли съ двухъ противоположныхъ сторонъ, — съ разныхъ точекъ зрѣнія заинтересованныхъ въ извѣстномъ толкованіи поведенія Ивана Сергѣевича.

Авторъ *Отцовъ и Дѣтей* обладалъ громаднымъ нравственнымъ авторитетомъ, стоялъ на виду у всего культурнаго міра, ни одинъ его шагъ не ускользалъ отъ общественнаго вниманія. Этотъ фактъ становился очевиднымъ особенно послѣ московскихъ и петербургскихъ овацій. Естественно, для всѣхъ, кому требовалась крѣпкая внушительная опора для своихъ идей или дѣйствій, Иванъ Сергѣевичъ являлся самымъ вожделѣннымъ покровителемъ.

Навязать ему эту роль не требовалось большого труда, стоило только подѣйствовать на его доброе отзывчивое сердце. Всякій, кто бы ни нуждался въ помощи, находилъ ее у знаменитѣйшаго русскаго писателя. Обыкновеннаго человѣка подобная благотворительность въ худшихъ случаяхъ можетъ вовлечь развѣ

надъ ней.

Тургеневу, при его доступности, высоко-ку
терѣ, въ высшей степени было просто попасть въ
желатели», «единомышленники» перваго встрѣч
вызвать подозрѣніе въ самыхъ сердечныхъ от
дямъ, которымъ онъ могъ только сочувствовать
нужды, вообще—по основаніямъ *чисто личным*
ни наблюдатели со стороны не хотѣли, а часто
счеты не дѣлать столь тонкихъ различій.

Такъ поступали и мнимые единомышленник
дѣйствительные враги.

Писатель, всю жизнь посвятившій увлекате
денію общественной жизни, единственный — с
современниковъ — рѣшившійся безъ партійной
выводить на сценѣ своихъ романовъ вновь на
и идеалы молодыхъ поколѣній, подвергался ис
ности—быть завербованнымъ, даже безъ своег
угодно крайнюю политическую партію. Турген
нуженъ именно такой партіи, онъ—общеприз
историкъ «дѣтей». Неизмѣнный интересъ Тур
его постоянная готовность привѣтствовать н
талантъ, поощрить стремленіе всякаго юноши

ніе совершила головокружительное превращеніе Ивана Сергѣевича въ подстрекателя невинныхъ юношей къ бунту. А между тѣмъ, у Фета дѣйствовало, главнымъ образомъ, личное чувство: тоже превращеніе еще легче было произвести по мотивамъ партійной нетерпимости.

Тотъ же Фетъ открыто укоряетъ Тургенева въ «постыдномъ подлизываніи къ мальчишкамъ» [321]). Обвиненіе весьма нехитрое, если принять во вниманіе вообще популярность автора *Отцовъ и Дѣтей*, и совершенно безсмысленное, если познакомиться съ критическими упражненіями «мальчишекъ» по поводу романовъ Тургенева. Но отъ клеветы всегда что-нибудь остается, и потомъ самая безсмыслица навѣтовъ говоритъ за ихъ достовѣрность.

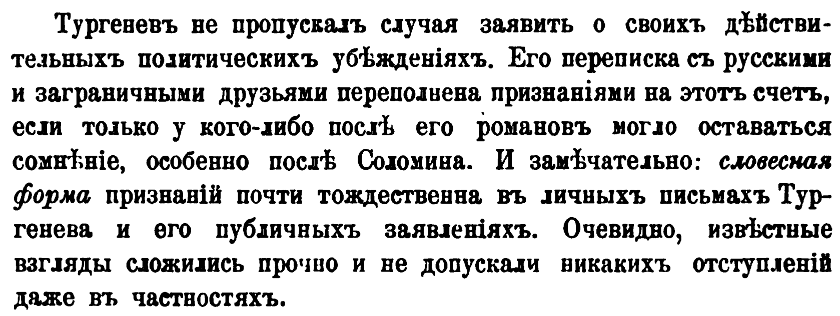
Другой лагерь, повидимому, долженъ бы преслѣдовать одну цѣль, завѣрять Фетовъ, до какой степени они, «мальчишки», мало похожи на тургеневскихъ нигилистовъ, — Базарова и Нежданова. На страницахъ журналовъ такъ это и дѣлалось, но—мы уже объяснили, геніальный писатель являлся слишкомъ соблазнительнымъ искушеніемъ, чтобы съ нимъ можно было покончить разъ навсегда. Пусть Тургеневъ не понялъ настоящей русской молодежи, унизилъ Базарова, наклеветалъ на революціонный нигилизмъ въ лицѣ Нежданова, но онъ—всемірная знаменитость и предъ нимъ преклоняются всѣ, не зараженные тенденціознымъ кривотолкомъ. Въ результатѣ, онъ долженъ быть «нашъ». А если онъ не захочетъ этой чести, онъ трусъ и отступникъ: быть «не нашимъ» онъ не можетъ...

Такимъ путемъ для Тургенева съ теченіемъ времени создалась жестокая дилемма. Въ глазахъ «отцовъ»—не изъ *Дворянскаго гнѣзда*, а отцовъ изъ *Нови*, онъ, кабальный холопъ нигилизма, вѣчный, хотя, можетъ быть, отчасти и невольный данникъ молодежи, такъ какъ она преимущественно создаетъ славу и дѣлаетъ оваціи. По мнѣнію «дѣтей», Тургеневу непремѣнно слѣдовало исповѣдовать програму «молодой Россіи», иначе ему грозило клеймо позора.

Факты съ удручающей послѣдовательностью поддерживали эту дилемму въ продолженіи многихъ лѣтъ.

---

[321]) Это выраженіе Фетомъ приписывается Кетчеру. *Мои восп.* II, 306.



Тургеневъ не пропускалъ случая заявить о своихъ дѣйствительныхъ политическихъ убѣжденіяхъ. Его переписка съ русскими и заграничными друзьями переполнена признаніями на этотъ счетъ, если только у кого-либо послѣ его романовъ могло оставаться сомнѣніе, особенно послѣ Соломина. И замѣчательно: *словесная форма* признаній почти тождественна въ личныхъ письмахъ Тургенева и его публичныхъ заявленіяхъ. Очевидно, извѣстные взгляды сложились прочно и не допускали никакихъ отступленій даже въ частностяхъ.

Въ апрѣлѣ 1879 года, послѣ покушенія на жизнь Императора Александра II, онъ пишетъ:

«Послѣднее безобразное извѣстіе меня сильно смутило: предвижу, какъ будутъ иные люди эксплоатировать это безумное покушеніе во вредъ той партіи, которая, именно, вслѣдствіе своихъ либеральныхъ убѣжденій, больше всего дорожитъ жизнью Государя, такъ какъ только отъ него и ждетъ спасительныхъ реформъ: всякая реформа у насъ, въ Россіи, не сходящая свыше, немыслима... Очень я этимъ взволнованъ и огорченъ... Вотъ двѣ ночи, какъ не сплю: все думаю, думаю—и ни до чего додуматься не могу» [322]).

То же самое Тургеневъ заявлялъ шестнадцать лѣтъ раньше въ оффиціальной бумагѣ, буквально тѣ же слова повторилъ въ открытомъ письмѣ почти за три года до смерти.

Казалось бы, вопросъ окончательно выясненъ: монархистъ, постепеновецъ, врагъ революціи, умѣренный либералъ... Со стороны такого человѣка не могло быть *принципіальнаго* сочувствія какимъ бы то ни было предпринимателямъ, имѣющимъ въ виду переворотъ или реформу — *снизу*, не могло быть сочувствія уже потому, что Тургеневъ, при своемъ постепеновствѣ, совершенно не признавалъ себя «политическимъ человѣкомъ», а только «писателемъ». И вся природа Тургенева, дѣйствительно, не имѣла ничего общаго съ политической пропагандой, стихійно была настроена противъ политической агитаціи въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Все это истины, не подлежащія ни малѣйшему сомнѣнію. Но онѣ не помѣшали заграничнымъ соотечественникамъ Тургенева

---

[322]) *Письмо* къ г. Полонскому. *Письма*, 343—4.

[redacted]

обвинить его въ «отреченіи» отъ *революціоннаго агитатора*, когда французская газета, по обычному легкомыслію и невѣжеству въ дѣлахъ и идеяхъ иностранцевъ, назвала этого агитатора *другомъ* автора *Нови*. Тургеневъ на этотъ разъ расплачивался за одинъ изъ подвиговъ своего добраго сердца и щедрой руки... Заявить истину—значило въ извѣстномъ случаѣ совершить актъ «отреченія»...

Не менѣе краснорѣчивъ и актъ «признанія». Актъ этотъ, по разсказу политика крайней партіи, Тургеневъ совершилъ «въ забытьи», именно ночью во время сильно обострившейся болѣзни «бормоталъ»: «а все-таки террористы—великіе люди»...

Подобные факты не нуждаются въ поясненіяхъ: они показываютъ, что значило быть Тургеневымъ и «на яву» не заявлять ни малѣйшаго сочувствія террористамъ. Очевидно, въ полномъ сознаніи писатель былъ трусъ и становился откровеннымъ и смѣлымъ только въ бреду.

Такъ думали на одномъ полюсѣ русскихъ политическихъ ученій. На другомъ—ходъ мыслей совершенно такой же: крайности вѣдь сходятся. И на этотъ разъ Тургеневъ также оказывался жертвой своей страсти устраивать чужіе интересы по *личной добротѣ*, безъ всякихъ соображеній о крайнихъ, или умѣренныхъ взглядахъ, по давно усвоенному правилу, что голодъ — самое законное право на чужую помощь.

Въ октябрѣ 1879 года, въ газетѣ *le Temps* появилось письмо Тургенева, рекомендовавшее издателю разсказъ молодого русскаго человѣка, по убѣжденіямъ нигилиста. Тургеневъ здѣсь же заявлялъ, что онъ *нисколько* не одобряетъ этихъ убѣжденій, а на разсказъ смотритъ только, какъ на новое свидѣтельство противъ системы одиночнаго заключенія. Тонъ разсказа и самъ авторъ его, по мнѣнію Тургенева, доказывали, что нигилисты «ни черны, ни закоренѣлы, какъ хотятъ ихъ представить» («ne sont ni noirs ni si endurcis qu'on veut bien les représenter»).

Эти слова составляли единственное благосклонное заявленіе по адресу юноши и нигилистовъ вообще. Оно, конечно, при только-что высказанномъ рѣшительномъ отрицаніи нигилистическихъ идей отнюдь не обнаруживало въ авторѣ желанія рекомендовать именно «нигилиста».

Оказывается, Тургеневъ въ Парижѣ, вообще, давно на себя обязанности одного изъ тѣхъ «burc mandation et d'annonces», которыми такъ богатъ « городъ»... Дальше приводятся примѣры, какъ это лонило русскія изданія плохими и въ нравствен крайне неприличными и предосудительными произв

Нигилистъ—одинъ изъ птенцовъ русскаго пис шій изъ Россіи и очутившійся «подъ сѣнью голуби г. Тургенева».

Авторъ путемъ тонкихъ соображеній наводит мысль, что разсказъ вышелъ непремѣнно изъ по Тургенева. «Опытная литературная рука видимо п страницамъ и, распредѣливъ содержащійся въ них ріалъ по всѣмъ правиламъ *сенсаціоннаго* искусства заботливостью изъяла изъ него все, что могло бы о индивидуальность разсказчика, тѣ именно черты принадлежитъ онъ къ извѣстной species современ колѣнія молодежи»... Герой и авторъ разсказа, м «отдается весь передачѣ того, что пришлось ему тюрьмѣ, и исполняетъ это, скажу кстати, съ искус тельствующимъ о близкомъ знакомствѣ писавшаго пошибомъ литературныхъ мастеровъ, какъ напри

вторить замѣчаніе, сдѣланное самимъ авторомъ по поводу одного мѣста *Впечатлѣній.* Брошенъ и еще болѣе тонкій намекъ,—рус скій нигилистъ пишетъ «такъ умѣло и красно по французски». Всѣмъ вѣдь извѣстно, какъ Тургеневъ владѣлъ этимъ языкомъ,—слѣдовательно...

Наконецъ, нигилистъ является въ идеальномъ свѣтѣ: это страдалецъ, заслуживающій сочувствія... Умыселъ ясенъ. Тургеневъ выпустилъ въ свѣтъ апологію нигилизма и сдѣлалъ это по мотивамъ, для «иногороднаго обывателя» совершенно доказаннымъ.

Тургеневу во время «московскаго тріумфа» дали понять, что молодежь ждетъ другихъ *Записокъ Охотника*, но уже не отъ него... Съ Тургеневымъ произошло нѣчто невѣроятное. Онъ такъ воскликнулъ, по словамъ «Обывателя»:

«О ужасъ, о страхъ, Боже сохрани! Вѣдь этакъ можно потерять всю свою популярность! Надо скорѣе поправиться, надо ихъ успокоить, увѣрить, что онъ все тотъ же, что онъ болѣе чѣмъ когда-либо прежде—другъ, наперсникъ, слуга, рабъ, шутъ «этой молодежи», что онъ готовъ плясать на какомъ угодно канатѣ, только бы не лишиться благоволенія этихъ «русскихъ нигилистовъ», въ которыхъ резюмируется для него все представленіе о современной «молодежи» въ Россіи (благодарите, юные соотчичи). Онъ тогда же въ Россіи поспѣшилъ заявить гласно въ заобѣденной рѣчи, что онъ «раздѣляетъ всѣ стремленія молодого поколѣнія», всѣ, рѣшительно *всѣ!*.. Но этого все еще мало; надо заявить чѣмъ-нибудь покрупнѣе свою «либеральную» благонадежность... И вотъ, сама судьба шлетъ ему подъ руку давно желанный случай. Бѣжитъ къ нему съ сѣвера дорогой гость; онъ ссыльный, онъ эксъ-узникъ, pur sang *нигилистъ.* Скорѣе же, скорѣе заявить на всю вселенную, что этотъ «нигилистъ»—не нигилистъ, и что всѣ вообще русскіе нигилисты нисколько не «ярые» и вовсе не «зачерствѣлые люди», какъ «желаетъ это представить» правительство ихъ отечества, «признающее ихъ опасными и подлежащими наказанію»!..

«Эта внутренняя потребность заискиванія и низкопоклонства предъ тѣмъ, кто до сихъ поръ считается г. Тургеневымъ дѣйствительною силой въ «его странѣ», беретъ у него верхъ надъ разумомъ, надъ памятью, надъ всякимъ доступнымъ самому простому

такъ мало отвѣчающій достоинству [illegible]
этимъ вліяніемъ, не въ состояніи дать себѣ ник
значеніи своихъ поступковъ; онъ не понимаетъ,
выданною имъ русскимъ «нигилистамъ», онъ пр
ихъ гнусное дѣло, что они, само собою, смѣются
рожнымъ выгораживаніемъ собственной особы
иначе его распубликованное въ *le Temps* письмо, н
нымъ для себя документомъ, что, поддерживая и
ритетомъ своего имени, онъ этимъ же самымъ п
лазну и всѣхъ тѣхъ колеблющихся, не твердо
гахъ изъ этой русской «молодежи», на спасен
предлагаемой имъ отравы должны бы, кажется,
всѣ усилія, всѣ заботы здравомыслящихъ люде
этого дѣло г. Тургеневу! Каждый горланъ-ма
лохматый шалопай, грозящій лишить его своего
ставляется ему идоломъ Ягернаута, предъ которь
долгомъ своимъ кувыркаться.

«Печальная, по истинѣ, старость! Печальны
утро которой горѣло такими свѣтлыми лучами!..»

Эта статья, важная, конечно, не по своей
«иногородному обывателю», а по своему появле
газетѣ,—одинъ изъ краснорѣчивѣйшихъ документ

былъ полный разгромъ человѣка и дѣятеля, занимавшаго въ теченіи почти сорока лѣтъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ...

И всѣ эти разсчеты могли казаться какъ нельзя болѣе основательными и для избранной жертвы неотразимыми—при безусловномъ вліяніи газеты Каткова.

Тургеневъ рѣшилъ отвѣчать, такъ какъ статья касалась не только его личности, но и заподозрѣвала «убѣжденія, образъ мыслей».

Отвѣтъ очень кратокъ. Относительно убѣжденій Тургеневъ повторяетъ сказанное имъ неоднократно.

«Въ глазахъ нашей молодежи—такъ какъ о ней идетъ рѣчь—въ ея глазахъ, къ какой бы партіи она ни принадлежала, я всегда былъ и до сихъ поръ остался «постепеновцемъ», либераломъ стараго покроя въ англійскомъ, династическомъ смыслѣ, человѣкомъ, ожидающимъ реформъ только свыше, принципіальнымъ противникомъ революцій, не говоря уже о безобразіяхъ послѣдняго времени».

Относительно овацій Тургеневъ заявлялъ, — на это была добрая воля молодого поколѣнія и оваціи особенно дороги ему именно потому, что сама молодежь «шла къ нему» и въ этихъ оваціяхъ онъ видѣлъ сочувствіе своимъ убѣжденіямъ.

Отвѣчая принципіально, Тургеневъ не сдержалъ гнѣва и прибавилъ нѣсколько словъ по поводу «опозоренныхъ сѣдинъ». Слова совершенно законныя и справедливыя, но, можетъ быть, ими не слѣдовало оказывать вниманіе *личности* «иногородняго обывателя» и предоставить рѣшеніе *личнаго* вопроса публикѣ... Но таково счастье литературныхъ геростратовъ и авторовъ «юридическихъ бумагъ»: они непремѣнно попадаютъ въ «храмъ безсмертія» въ свитѣ великихъ людей, снисходящихъ до борьбы съ ними.

Подобную услугу оказалъ и Тургеневъ своему Фрерону — въ русской литературѣ достойному преемнику Булгарина, заявивъ, что имя «иногороднаго обывателя» «стало нарицательнымъ именемъ», какъ «виртуоза въ дѣлѣ низкопоклонства и кувырканія», и что «опозоренныя сѣдины» заставляютъ публику прежде всего обратить взоры на его собственную обывательскую голову.

Письмо заканчивалось словами, исполненными достоинства, и

«опозоренными».

Но московская газета вела свою линію. Катк
роятнымъ», что Тургенева ожидаютъ въ Россіи
эта мысль, очевидно, лишала его сна и аппетита. С
дней послѣ тургеневскаго письма въ *Московскихъ* 1
явились одновременно двѣ статьи: одна — того
подъ названіемъ: *Справка для г. Тургенева,* друг
ная [324]).

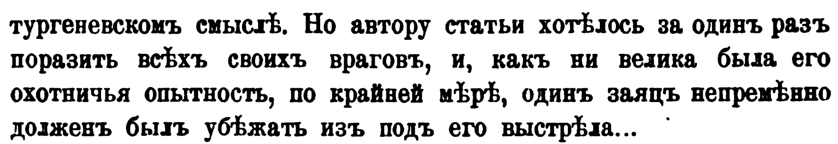
Изъ «справки» оказывалось, что Тургеневъ с
тому назадъ написалъ «Обывателю» письмо, гд
«mon cher ami». Письмо было отвѣтомъ на извѣ
«Обывателя» о «ходатайствахъ, употребляемыхъ
друзьями по поводу грозившаго тогда г. Турге
суда»—за преступныя сношенія съ Герценомъ. П
теля» совершенно точно опредѣленъ самимъ же
только извѣщалъ о томъ, что дѣлаютъ другіе и
гр. А. К. Толстой. Подвигъ—не особенно мужест
ный, стóившій всего, какъ остроумно было замѣч
письмо копѣекъ въ 10 [325]). Тургеневъ, по своему
необыкновенно горячо къ поступку «Обывателя»
его въ такихъ выраженіяхъ, будто тотъ принес
жертвы. Теперь «Обыватель» пользовался благод

назадъ, подвигъ «Обывателя» дѣйствительно стоилъ не дороже 10 копѣекъ...

Но редакціонная статья посмотрѣла на дѣло иначе. Въ отвѣтъ на отповѣдь Тургенева о «сѣдинахъ»—она подтверждала, что Тургеневъ, несомнѣнно, ради популярности среди молодежи «кокетничаетъ» и этимъ поощряетъ язву нигилизма, что Тургеневъ—«своимъ умомъ и сердцемъ» принадлежащій «къ типу *отцовъ*, сибаритовъ-эстетиковъ и *постепеновцевъ* сороковыхъ годовъ», «вышелъ предъ публику съ изъявленіемъ своего истиннаго почтенія и совершенной преданности господину Базарову» послѣ того, какъ «расплодилось нигилистовъ множество». Раньше издатель *Русскаго Вѣстника* спасъ автора *Отцовъ и Дѣтей*, посовѣтовавъ ему внести въ фигуру Базарова «маленькія черточки», и эти «черточки», очевидно, сильно принизили Базарова: безъ нихъ «пустой, озлобленный, огрубѣлый studiosus medicinae вышелъ бы высокимъ идеаломъ для молодого поколѣнія». Но теперь уже у Тургенева нѣтъ благодѣтеля—Аристарха и даже постепеновскія убѣжденія не спасаютъ его отъ нигилизма. Статья оканчивалась такимъ поздравленіемъ по адресу Тургенева и еще кое-кого:

«Мы можемъ порадовать г. Тургенева интересною новостью: къ «постепеновцамъ въ англійскомъ смыслѣ» подошли таинственные вожаки нигилизма. Въ своихъ подметныхъ прокламаціяхъ уничтожители всего оставляютъ намъ жизнь, требуя только либеральной реформы, конечно, также въ видахъ *постепенности*... Какъ бы нашимъ либераламъ не сыграть чужой игры!..»

Очевидно, различіе между нигилистами и либералами исчезало окончательно. Правда, авторъ статьи впадалъ въ нѣкоторое противорѣчіе: если Тургеневъ нигилистъ, даже какъ постепеновецъ, то въ чемъ же тогда его «кокетничанье», неискренность? Требуется только быть либераломъ, чтобы подпасть подъ нигилистическую программу. Ясно, ударъ былъ разсчитанъ по слишкомъ многочисленнымъ направленіямъ и въ самыя разнообразныя цѣли: какую-нибудь изъ нихъ онъ долженъ былъ миновать въ силу логической и естественной необходимости, или—Тургенева, какъ лицемѣрнаго нигилиста, или либераловъ, какъ *по существу* нигилистовъ, или нигилистовъ, какъ новоявленныхъ постепеновцевъ въ



тургеневскомъ смыслѣ. Но автору статьи хотѣлось за одинъ разъ поразить всѣхъ своихъ враговъ, и, какъ ни велика была его охотничья опытность, по крайней мѣрѣ, одинъ заяцъ непремѣнно долженъ былъ убѣжать изъ подъ его выстрѣла...

Самой неудачной частью статьи являлось все-таки защитительное слово въ пользу «Иногороднаго обывателя». Тургеневу, конечно, не слѣдовало дѣлать личныхъ намековъ, потому что вообще противникъ не заслуживалъ личныхъ счетовъ. Авторъ статьи только запуталъ эти намеки для публики, не посвященной въ тайны литературныхъ кружковъ. Оказывалось, «Иногородный обыватель» одно время былъ уволенъ отъ сотрудничества въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и *Московскихъ Вѣдомостяхъ*. За что же? Отвѣтъ: за «неловкость», «ошибку», «легкомысліе», какъ разъяснилось впослѣдствіи. И только. Въ результатѣ публика подвергалась испытанію: вѣрить ли издателю *Московскихъ Вѣдомостей* и его сотруднику *на слово*, или Тургеневу?

Выходъ, несомнѣнно, подсказывался самыми *пріемами* издателя и сотрудника въ полемикѣ съ Тургеневымъ, но это все-таки было рѣшеніемъ своего рода уравненія. И читателямъ оставалось только сожалѣть, что геніальный писатель, имѣвшій всѣ основанія и фактическія данныя положиться на судъ общественнаго мнѣнія, снизошелъ до личной борьбы съ «обывателями». Соломинъ, напримѣръ, держитъ себя съ Калломѣйцевымъ гораздо цѣлесообразнѣе...

Но чувства сожалѣнія и даже, можетъ быть, нѣкоторой обиды на любимаго писателя совершенно замолкли въ минуту, когда обществу пришлось произнести свой приговоръ. Покушенія Геростратовъ на славу и честное имя Тургенева только сослужили службу и его славѣ, и его чести.

Приближались пушкинскіе дни. Открытіе памятника Пушкину являлось для Тургенева *личнымъ* праздникомъ въ полномъ смыслѣ слова. Мы знаемъ, какія сердечныя связи соединяли великаго художника съ памятью обожаемаго учителя, и среди всѣхъ современныхъ писателей, среди всѣхъ искреннѣйшихъ цѣнителей пушкинскаго таланта, Тургеневу принадлежало первое мѣсто у памятника, какъ преданнѣйшему и достойнѣйшему ученику поэта.

Тургенева особенно глубоко занималъ одинъ вопросъ. Онъ хотѣлъ, «чтобы вся литература единодушно сгруппировалась на этомъ пушкинскомъ праздникѣ». Въ эту группу, конечно, не могли войти люди, поставившіе своей задачей—поносить и преслѣдовать даровитѣйшихъ и честнѣйшихъ представителей русскаго слова, и Тургеневъ выражалъ надежду, что «никакая дисгармонія à la Катковъ не нарушитъ торжества во имя общественной мысли и просвѣщенія» [326]).

Надежды Тургенева осуществились не вполнѣ.

Пушкинскіе дни лично для Ивана Сергѣевича должны были оставить воспоминаніе о непрерывныхъ оваціяхъ. Всюду, гдѣ показывался любимый писатель, публика встрѣчала его восторженными привѣтствіями. Всѣ другіе участники празднествъ, за исключеніемъ Достоевскаго, и то лишь на одинъ моментъ, заняли второй планъ. Не только рѣчь самого Тургенева сопровождалась единодушными рукоплесканіями, даже въ рѣчахъ другихъ публика искала предлога выразить Тургеневу свое благодарное чувство. Стоило Достоевскому, въ своей рѣчи, только намекнуть на героиню *Дворянскаго гнѣзда*, — и зала огласилась привѣтствіями. Ораторамъ необходимо было прерывать рѣчи, когда въ залу входилъ Тургеневъ: публика ждала его прихода, встрѣчала и провожала аплодисментами, не смотря ни на чье краснорѣчіе. Клики и киданье шапокъ происходили даже на улицахъ, неизмѣнно скромному писателю приходилось спасаться отъ овацій, уходить изъ залъ собраній другими выходами...

Никогда ничего подобнаго не видѣла русская публика. Тургеневъ вызывалъ шумные восторги даже у такихъ соотечественниковъ, которые чувствовали вообще крайне незначительный интересъ къ литературнымъ событіямъ, никогда въ жизни не посѣщали собраній въ родѣ засѣданій Общества любителей словесности. Такіе слушатели, затаивъ дыханіе, слушали рѣчь Тургенева о Пушкинѣ... Очевидцы единодушно приходятъ къ убѣжденію, что только искренне чтимый и дѣйствительно вліятельный общественный дѣятель могъ удостоиться такого пріема.

---

326) *Письма*, 357, 358.

ности седьмаго іюня.

Въ свое время много писали и говорили о рѣ въ слѣдующемъ засѣданія того же Общества. А *изъ мертваго дома* вызвалъ сильнѣйшій энтузіа нервное потрясеніе у публики, уже въ теченіи нѣ переживавшей небывалыя волненія. Та же самая не оставляетъ и тѣни подобнаго впечатлѣнія; нап мыслью, каждымъ эффектнымъ словомъ возбужд противорѣчія и поражаетъ необыкновенной пестро римой разладицей внутренняго содержанія. Въ о боръ прорицаній, ясновидѣній, выспренне льсти къ «чистой русской душѣ», къ русской женщинѣ, к человѣку», апоѳеозъ русской народности, стремяще ности и всечеловѣчности»... Основа славянофильск ными лирическими украшеніями въ патріотическо считанными на психологію праздничной толпы.

Въ извѣстныя минуты такая поэзія должна сильнѣйшій отголосокъ и она имѣла свою цѣн «стихотвореніе въ прозѣ» одного изъ даровитых сателей. Но по существу подобная рѣчь на к щественномъ праздникѣ представляла отрицатель скаго самосознанія опасное явленіе какъ всякія

[redacted]

была напечатана на столбцахъ *Московскихъ Вѣдомостей*, той самой газеты, которая своими «справками» сѣяла явную смуту въ обществѣ и литературѣ и наносила жесточайшія оскорбленія человѣческой личности и человѣческой мысли въ лицѣ заслуженнѣйшаго писателя. Этотъ фактъ—появленіе «пророческой рѣчи» въ подобномъ органѣ вмѣстѣ съ напечатаніемъ *Бѣсовъ* въ *Русскомъ Вѣстникѣ*—превосходное доказательство до какой степени — самыя выспреннія литераторскія изреченія и пропаганда самыхъ, повидимому, коренныхъ моральныхъ реформъ—мало гарантируютъ общественную и культурную нравственность самого писателя-пророка.

Совершенно другого характера рѣчь Тургенева. Она не изрекала никакихъ пророчествъ, не развертывала упоеннымъ слушателямъ сказочныхъ горизонтовъ въ отдаленномъ будущемъ, а просто и скромно опредѣляла общественную и нравственную силу истиннаго искусства и національное значеніе Пушкина. Говорилъ горячій и глубокій цѣнитель поэзіи, самъ отдавшій всѣ свои силы родной литературѣ, говорилъ въ полномъ сознаніи отвѣтственности за каждое слово похвалы своему учителю и народу, его создавшему. Весьма кстати были указаны дѣйствительно національныя черты пушкинской поэзіи, не имѣющія ничего общаго съ надменными мечтами о всемірности.

Тургеневъ говорилъ:

«Самая сущность, всѣ свойства его поэзіи совпадаютъ со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силѣ и ясности его языка — эта прямодушная правда, отсутствіе лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущеній — всѣ эти хорошія черты хорошихъ русскихъ людей поражаютъ въ твореніяхъ Пушкина не однихъ насъ, его соотечественниковъ, но и тѣхъ изъ иностранцевъ, которымъ онъ сталъ доступенъ».

Въ заключеніе авторъ рѣчи высказывалъ, сравнительно съ пророчествами Достоевскаго, скромныя, но на самомъ дѣлѣ великія надежды, не на завоеваніе цѣлаго міра русскимъ «всечеловѣкомъ», а на распространеніе «освободительныхъ» и «возвышающихъ» идеаловъ пушкинской поэзіи среди русскаго народа, на то будущее,

рить стремленій даровитаго юноши къ знанію и п
ной дѣятельности: теперь тотъ же университетъ
объявилъ Тургенева своимъ почетнымъ членомъ. Это
одновременно и возмездіемъ за прошлыя разочаров
и наградой за истинно-просвѣтительную дѣятельнос

Пушкинскіе праздники, увѣнчавъ Тургенева та
какъ и его учителя, не прошли при совершенно
небѣ. И туча налетѣла все съ той же стороны, отк
мѣсяцевъ тому назадъ, Тургенева осыпали личн
піальными оскорбленіями. Фактъ самъ по себѣ при
рѣзкій характеръ, до болѣзненности взволновалъ с
любія очевидцевъ и вообще современниковъ, и въ на
трудно разобраться въ подробностяхъ, хотя разсказо
огромное количество. Но, въ сущности, намъ и не
робныхъ изслѣдованій, потому что не въ частностя
общемъ смыслѣ. А смыслъ факта совершенно ясе
одинаково всѣми. На обѣдѣ, данномъ московской
камъ пушкинскаго торжества, въ числѣ другихъ о
рилъ издатель *Московскихъ Вѣдомостей* и, совершен
въ разрѣзъ съ своей публицистической дѣятельнос
собравшихся писателей и журналистовъ къ замире

Это—фактъ историческій и не долженъ быть преданъ забвенію: онъ одинъ изъ эпизодовъ общественнаго суда, совершавшагося во время пушкинскихъ дней. Тургеневъ могъ оставить Москву съ радостнымъ сознаніемъ, что праздникъ «на его улицѣ», и врагамъ своимъ предоставить полную свободу наводить какія угодно «справки»: болѣе краснорѣчиваго урока они уже не могли получить при всемъ усердіи.

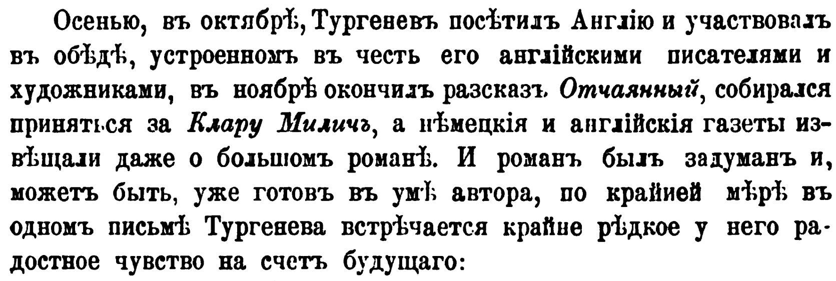
XVI.

Изъ Москвы Тургеневъ уѣхалъ заграницу, лѣто и осень провелъ въ Буживалѣ, зиму въ Парижѣ, а въ декабрѣ и январѣ пережилъ извѣстную намъ исторію по поводу подписки на памятникъ Флобера и въ іюнѣ былъ въ Спасскомъ [329]). Послѣднее лѣто Иванъ Сергѣевичъ проводилъ въ своей любимой деревнѣ: больше ему не суждено было вернуться въ Россію.

Сначала время шло ровно и весело. Тургеневъ писалъ *Пѣснь торжествующей любви*, обдумывалъ планы новыхъ произведеній, гулялъ съ дѣтьми, разсказывалъ имъ сказки, по временамъ въ разговорахъ и общихъ разсужденіяхъ всплывали давнишнія безотрадныя мысли, но родина по прежнему вѣяла свѣжестью и энергіей на истомленную многодумную душу писателя. Только извѣстіе о приключеніи съ г-жей Віардо, укушенной какой-то злокачественной мухой, и о холерѣ въ Брянскѣ, разстроили-было Тургенева. Но безпокойства прошли и до конца лѣта жизнь текла спокойно. Съ августа погода стала мѣняться къ худшему, приходилось думать о путешествіи въ Парижъ, и Тургеневъ, будто предчувствуя недалекую смерть, на этотъ разъ особенно тяжело разставался съ родиной, все чаще принимался мечтать объ окончательномъ переселеніи въ Россію, не сообщалъ при этомъ никакихъ подробностей о своей жизни въ семьѣ Віардо, но не щадилъ французовъ вообще въ своихъ отзывахъ. Въ концѣ августа Тургеневъ уѣхалъ заграницу, обѣщая вернуться въ Россію даже раньше лѣта.

---

[329]) Этому лѣту посвящены воспоминанія Я. П. Полонскаго: *И. С. Тургеневъ у себя.*



Осенью, въ октябрѣ, Тургеневъ посѣтилъ Англію и участвовалъ въ обѣдѣ, устроенномъ въ честь его англійскими писателями и художниками, въ ноябрѣ окончилъ разсказъ *Отчаянный*, собирался приняться за *Клару Миличъ*, а нѣмецкія и англійскія газеты извѣщали даже о большомъ романѣ. И романъ былъ задуманъ и, можетъ быть, уже готовъ въ умѣ автора, по крайней мѣрѣ въ одномъ письмѣ Тургенева встрѣчается крайне рѣдкое у него радостное чувство на счетъ будущаго:

«Неужели изъ стараго, засохшаго дерева пойдутъ новые листья и даже вѣтки? Посмотримъ» [330]).

Съ января слѣдующаго 1882 года начались испытанія. Почти три мѣсяца наполнила исторія дочери Тургенева съ мужемъ, а въ первыхъ числахъ апрѣля Тургеневъ извѣщаетъ о болѣзни—грудной жабѣ, и съ этого времени подобныя извѣстія уже не прекращаются: жизнь писателя превращается въ безпрерывную страшную агонію, его письма — настоящая исторія мученичества и отнюдь не по его жалобамъ, а по простымъ медицинскимъ фактамъ. Тургеневъ менѣе всего былъ склоненъ занимать другихъ своей особой. Въ самые тяжелые періоды болѣзни онъ проситъ друзей не говорить съ нимъ объ его здоровьѣ и въ его письмахъ «обходить сей предметъ молчаніемъ» [331]). Его общіе интересы нисколько не падаютъ. Онъ, по обыкновенію, слѣдитъ за литературой, привѣтствуетъ новые таланты, глубоко волнуется по поводу общественныхъ вопросовъ своей родины, принимаетъ самое горячее участіе въ судьбѣ даже невѣдомыхъ ему людей. Въ этомъ отношеніи любопытенъ фактъ, взволновавшій Тургенева лѣтомъ, въ іюлѣ.

Здоровье его было настолько безнадежно, что онъ заявлялъ друзьямъ о прекращеніи своей *личной* жизни, его существованіе приняло «желтенькій цвѣтъ», писать онъ не въ силахъ, послѣ пятой строчки начинаетъ чувствовать боль и колики въ плечѣ, безъ морфія глазъ закрыть не можетъ... И вотъ въ это время его извѣщаютъ о желѣзнодорожной катастрофѣ недалеко отъ Спасскаго. Тургеневъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на несчастіи.

---

[330]) *Письмо* отъ 9 ноября 1881 г. *Письма*, 390.

[331]) *Письма*, 481.

«Ужасныя слова», пишетъ онъ, «стоны слышались подъ землей до 10 часовъ утра—такъ и засѣли гвоздемъ въ голову. Неужели же не было сейчасъ приступлено къ раскопкѣ?» Въ слѣдующемъ письмѣ: «Какъ меня измучила Бастыевская катастрофа—вы представить не можете. Мнѣ постоянно мерещатся эти несчастные, задохнувшіеся въ тинѣ, и хотя отрытіе ихъ теперь уже, конечно, ничему не поможетъ, но я весь горю негодованіемъ при мысли, что въ теченіи нѣсколькихъ дней ничего не было сдѣлано». Онъ упрашиваетъ друзей, живущихъ въ его деревнѣ, сдѣлать для родственниковъ погибшихъ путешественниковъ «все, что бы онъ сдѣлалъ, еслибъ находился на мѣстѣ» [332]).

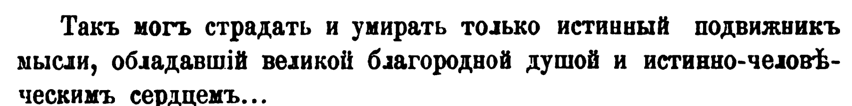
Съ особой силой Тургеневъ говорилъ о Спасскомъ. Оно стало для него теперь еще дороже. Онъ посылаетъ поклоны старымъ слугамъ, любимымъ мѣстамъ, памятнымъ съ дѣтства, дому, саду, молодому дубу. Слезы звучатъ въ его словахъ, когда онъ отчаивается увидѣть родину, и былое доброе чувство къ крестьянамъ вновь вспыхиваетъ въ его письмѣ къ нимъ [333]).

У высшихъ натуръ физическія страданія постоянно усиливаются нравственными муками и волненіями. Тургеневъ—одна изъ такихъ натуръ, до конца не могъ успокоиться и отдаться исключительно заботамъ о своемъ положеніи. Даже совершенно естественный егоизмъ безнадежно больного, умирающаго человѣка не находилъ мѣста въ нравственномъ мірѣ художника. Онъ привѣтствуетъ чужую живучесть и силу, напутствуетъ г. Григоровича «съ Богомъ! въ дальнюю дорогу», когда тотъ задумываетъ новый романъ, жалѣетъ Гончарова именно потому, что самъ страдаетъ и, слѣдовательно, «ближе принимаетъ къ сердцу» чужія страданія, съ смертнаго одра посылаетъ безпримѣрное въ литературной исторіи письмо къ гр. Толстому... [334]).

[332]) *Письма*, 432, 435, 449, 459, 456, 453, 454.

[333]) *Письма*, 437, 487, 474, 475. Въ письмѣ къ старому товарищу по берлинскому университету въ сентябрѣ 1882 г. Тургеневъ вспоминалъ далекое студенческое прошлое, сообщалъ о своей болѣзни и называлъ «величайшей непріятностью» невозможность побывать въ Спасскомъ. *Р. Ст.* XLII, 392.

[334]) *Ib.* 514, 543, 550.



Такъ могъ страдать и умирать только истинный подвижникъ мысли, обладавшій великой благородной душой и истинно-человѣческимъ сердцемъ...

Для *личной жизни* въ это время Тургеневъ находитъ только одно вполнѣ подходящее выраженіе. Ровно за годъ до смерти онъ сравниваетъ себя съ устрицей, приросшей къ скалѣ, потомъ онъ постоянно возвращается къ этому сравненію. Въ срединѣ октября 1882 года онъ пишетъ:

«Оказывается, что можно отлично существовать, не будучи въ состояніи ни стоять, ни ходить, ни ѣздить. Живутъ же такъ устрицы! А у меня есть много развлеченій, недоступныхъ устрицамъ».

Въ концѣ того же мѣсяца:

«Всѣмъ молодецъ—только ни стоять, ни ходить! И представь, я съ этимъ примирился. Сижу или лежу цѣлыхъ 24 часа сряду и—баста! Моллюскъ, такъ моллюскъ. Живутъ же они и даже многіе годы и никакого желанія и перемѣщенія не ощущаютъ» [335]).

Въ такомъ положеніи неоцѣненно общество близкихъ людей. Было ли оно у Тургенева? Нѣкоторымъ друзьямъ казалось,—нѣтъ и они даже предлагали пріѣхать къ нему. До нихъ доходили слухи о заброшенномъ, одинокомъ положеніи Ивана Сергѣевича, о неудобствахъ комнаты, гдѣ ему приходилось лежать, о постоянномъ грохотѣ музыки, о равнодушіи окружающихъ къ его страданіямъ. Эти разсказы шли отъ очевидцевъ, и Тургеневу стоило не малыхъ усилій опровергать ихъ. На счетъ этого онъ неутомимъ. Онъ не въ силахъ допустить, чтобы люди, имъ облагодѣтельствованные, казались другимъ—недостойными благодѣяній.

Это—обычная психологія всѣхъ добрыхъ и сердечныхъ людей. Безупречность ихъ избранниковъ является для нихъ вопросомъ личнаго самолюбія. И Тургеневъ настойчиво отклоняетъ всякое вмѣшательство въ его парижскую жизнь, описываетъ свое помѣщеніе, перечисляетъ комнаты; по поводу своей низкой и тѣсной спальни сообщаетъ, что парижскія спальни вообще таковы, а на счетъ музыки совершенно успокаиваетъ друзей. Вообще, по его словамъ, онъ «какъ сыръ въ маслѣ», а что касается главнаго

---

335) *Ib.* 475, 502.

вопроса объ одиночествѣ, то онъ остается одинъ только тогда, когда самъ этого желаетъ [336]).

Намъ трудно разобраться въ утвержденіяхъ и отрицаніяхъ, какъ бы глубоко ни интересовалъ насъ предметъ. Будущее, несомнѣнно, броситъ истинный свѣтъ и на эту полосу тургеневской жизни. Мы можемъ съ извѣстной достовѣрностью рѣшить послѣдній только-что указанный вопросъ.

Альфонсъ Додэ, искренне вѣровавшій въ счастье Тургенева въ нѣдрахъ французской семьи, посѣщалъ его во время болѣзни и рисуетъ неизмѣнно одну и ту же картину.

Когда бы онъ ни приходилъ къ своему русскому другу, внизу въ роскошныхъ залахъ неумолкаемо звучала музыка и пѣніе, а въ третьемъ этажѣ, въ крохотномъ полутемномъ кабинетѣ лежала на софѣ молчаливая, согбенная фигура больного старика. И подъ аккомпаниментъ этой музыки Тургеневъ разсказывалъ Додэ, какія ощущенія онъ испыталъ во время операціи—извлеченія кисты... Французу казалось, что умирающій чувствовалъ себя счастливымъ среди любимыхъ искусствъ [337]). Никто здѣсь не догадывался, что въ извѣстныя минуты человѣку нужны люди, а не искусства...

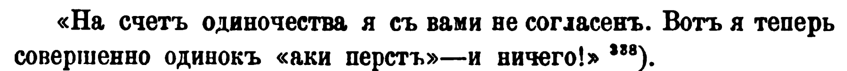
Но не всегда бывали съ Тургеневымъ и любимыя искусства.

По его письмамъ можно подробно прослѣдить его жизнь осенью и зимой 1882 года. Лѣто семья Віардо жила съ нимъ въ Буживалѣ. Въ сентябрѣ предсталъ вопросъ о переселеніи, и Тургеневъ соглашался остаться на дачѣ одинъ, забывая ради этого свой страхъ одиночества. Теперь, когда всѣ Віардо должны уѣхать въ Парижъ, ему «одиночество по вкусу», «и что бы я сталъ дѣлать въ Парижѣ, при невозможности движенія? Здѣсь, по крайней мѣрѣ, не тянетъ никуда». Сначала Віардо испугались-было тифа, свирѣпствовавшаго въ Парижѣ, но скоро все-таки уѣхали, и на жалобы другихъ Тургеневъ пишетъ:

---

[336]) *Ib.* 428, 436, 437. Фетъ такъ же, какъ и друзья Тургенева, гг. Полонскіе, очевидно, вѣрилъ слухамъ. Сообщеніе объ этихъ слухахъ онъ заканчиваетъ слѣдующими словами: «Скажу только, что высказываемая имъ когда-то мечта о женскомъ каблукѣ, нагнетающемъ его затылокъ лицомъ въ грязь, сбылась въ переносномъ значеніи въ самомъ блистательномъ видѣ». *O. cit.* II. 396—7.

[337]) *Иностр. крит.* 209, 210.



«На счетъ одиночества я съ вами не согласенъ. Вотъ я теперь совершенно одинокъ «аки перстъ»—и ничего!» [338]).

Это заявленіе, очевидно, исходило изъ такого же чувства, какъ и довольство жизнью устрицъ и моллюсковъ.

Но, мы видѣли, больной говорилъ о радостяхъ, недоступныхъ устрицамъ. Онъ разумѣлъ печальныя радости, ихъ только съ горечью въ сердцѣ можно было называть развлеченіями. О нихъ поэтъ оставилъ два прелестнѣйшихъ стихотворенія. Темы стихохвореній тождественны, но предметы ихъ совершенно различны. И въ томъ, и въ другомъ рѣчь идетъ о грёзахъ. Одно написано зимой, въ февралѣ 1878 года, другое—весной, въ маѣ того же года. Одно—*Старуха*, исторія о томъ, какъ поэтъ встрѣтилъ въ полѣ маленькую сгорбленную старушку, и какъ она пошла по слѣдамъ его и какъ онъ не могъ уйти отъ нея, какъ отъ своей судьбы... Другое стихотвореніе называется *Посѣщеніе*. Оно разсказываетъ о томъ, что̀ случилось «раннимъ утромъ перваго мая». А случилось то, что̀ происходило съ поэтомъ всю жизнь въ минуты вдохновеннаго творчества.

Въ раскрытое окно влетѣла крылатая маленькая женщина, одѣтая въ тѣсное, длинное, книзу волнистое платье, съ вѣнкомъ изъ ландышей на разбросанныхъ кудряхъ, съ павлиньими перьями надъ красивымъ выпуклымъ лобикомъ, съ цвѣтнымъ «царскимъ жезломъ» въ рукахъ, со смѣхомъ въ огромныхъ черныхъ, свѣтлыхъ глазахъ. Поэтъ узналъ гостью: это была богиня фантазіи!..

Міръ видѣній, живой невольной игры воображенія, былъ другимъ царствомъ поэтическаго духа Тургенева, когда дѣйствительность налегала на него невыносимымъ бременемъ физическихъ и нравственныхъ испытаній. И Тургеневъ покорно отдавался во власть богини фантазіи, до самаго конца прилетавшей къ нему и приносившей вереницу о̀бразовъ и впечатлѣній, никому еще невѣдомыхъ. Очевидецъ, посѣщавшій Тургенева незадолго до смерти, слышалъ отъ него множество чудныхъ фантастическихъ сказокъ, навѣянныхъ грёзами во время болѣзни, и эти сказки напоминали слушателю лучшія «стихотворенія въ прозѣ» [339]). Муза, слѣдова-

[338]) *Письма*, 499.

[339]) *Изъ воспоминаній о послѣднихъ дняхъ* И. С. Тургенева. М. С. *Вѣстн. Евр. октябрь, стр.* 848.

тельно, оставалась неизмѣнно вѣрной подругой своего любимца до самаго конца. Это была муза страданій, безотчетныхъ видѣній, умирающему могли чаще грезиться ỏбразы, похожіе скорѣе на *старуху*, чѣмъ на *богиню фантазіи*, но и надъ самыми мрачными видѣніями носилась эта богиня въ томъ же вѣнкѣ изъ ландышей и съ тѣмъ же жезломъ изъ степного цвѣтка и обвѣвала все той же поэтической красотой и оригинальной прелестью созданія смертельно страждующей, но высшей природы...

Мы не станемъ подробно пересказывать заключительный актъ драмы: онъ для всѣхъ смертныхъ по существу одинаковъ. Мы только напомнимъ одну изъ сценъ этого акта, разсказанную очевидцемъ [340]): такихъ сценъ бываетъ немного не только наканунѣ конца, но и въ самый расцвѣтъ счастливѣйшихъ человѣческихъ существованій.

За нѣсколько дней до смерти Ивана Сергѣевича навѣстили въ Буживалѣ нѣкоторые изъ его соотечественниковъ, проживавшихъ въ то время въ Парижѣ.

Умирающій принялъ гостей съ обычной привѣтливостью, сердечно бесѣдовалъ съ ними и, наконецъ, обратился къ нимъ съ такими словами:

«Въ послѣдній разъ прощайте!..»

Это были страшныя слова. А между тѣмъ блѣдное, изможденное многолѣтними недугами лицо писателя слишкомъ краснорѣчиво свидѣтельствовало, что прощаніе происходитъ дѣйствительно въ послѣдній разъ...

Одинъ изъ присутствовавшихъ наклонился — поцѣловать руку любимаго наставника... Иванъ Сергѣевичъ быстро отдернулъ руку и произнесъ:

«Живите и любите людей, какъ я ихъ всегда любилъ».

Благороднѣйшій завѣтъ, какой только писатель можетъ оста вить своимъ соотечественникамъ.

Двадцать втораго августа, въ понедѣльникъ, въ два часа по полудни, Тургенева не стало.

Г-жа Віардо такъ извѣщала о событіи Пича:

---

[340]) Разсказъ доктора Бѣлоголоваго. *Нива*, 1883.

«За два дня до своей смерти онъ совершенно утратилъ всякое сознаніе. Онъ уже не страдалъ болѣе: жизнь его медленно угасала, и послѣ двухъ всхлипываній, онъ скончался. . Мы всѣ были при немъ. Онъ опять сталъ такъ же красивъ, какъ былъ нѣкогда, въ царственномъ покоѣ смерти... Въ первый день послѣ его смерти замѣчена была еще глубокая морщина между бровями, образовавшаяся подъ вліяніемъ судорожной боли. Это придавало ему строгій и энергичный видъ. На второй день на его лицѣ появилось прежнее доброе, пріятное выраженіе: были моменты, когда можно было ожидать, что онъ улыбнется. О, Боже! какое ужасное горе!..» [341]).

Мы не знаемъ, насколько глубоко и искренне было чувство г-жи Віардо, но то же самое восклицаніе въ самыхъ разнообразныхъ рѣчахъ, статьяхъ, стихотвореніяхъ пронеслось по всему просвѣщенному міру и съ особенной болью отозвалось въ осиротѣвшемъ отечествѣ геніальнаго художника.

Парижане были изумлены громадной толпой русскихъ, собравшихся проводить гробъ Тургенева въ Россію [342]). Знаменитѣйшіе представители французской литературы и науки напутствовали русскаго писателя восторженными рѣчами. Ренанъ говорилъ надъ его гробомъ

«Онъ поистинѣ обладалъ словомъ вѣчной жизни, словомъ мира, справедливости, любви и свободы».

Абу выразилъ идею памятника Тургеневу:

«Кусокъ разбитой цѣпи на бѣлой мраморной плитѣ всего лучше шелъ бы къ вашей славѣ и удовлетворилъ бы, я увѣренъ въ томъ, ваше скромное самолюбіе».

На родинѣ покойнаго ждалъ неслыханный тріумфъ, если только это выраженіе умѣстно въ виду гроба. Но иначе нельзя назвать— единодушный, страстный и вмѣстѣ съ тѣмъ торжественный откликъ общества, науки, литературы, искусства, молодежи и стариковъ— различныхъ націй и сословій—на печальное событіе. Гробъ сопровождали до двухъ сотъ восьмидесяти депутацій, погребальная колесница утопала въ вѣнкахъ, начальныя школы, гимназіи, лицеи, академія наукъ и университеты отдавали послѣднія почести ве-

---

[341]) *Иностр. крит.* 182—3.
[342]) *Journal des Goncourt.* VI, 273.

ликому борцу за просвѣщеніе, крестьяне, женскіе курсы, представители далекихъ провинціальныхъ захолустій несли дань благоговѣнія мужественному защитнику народной свободы, общественной равноправности и культурной гражданственности; періодическія изданія, консерваторіи, театры сошлись на поклонъ къ геніальному подвижнику благороднаго русскаго слова и художественнаго творчества; французы, нѣмцы, евреи, поляки, болгары привѣтствовали прахъ безсмертнаго вождя своего народа по пути національной терпимости и всемірной цивилизаціи...

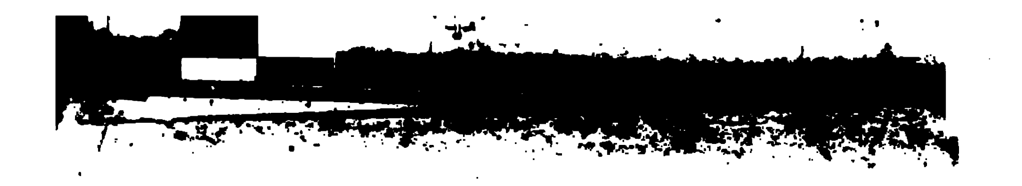
И самое отдаленное будущее не отниметъ у Тургенева правъ на эти привѣтствія, почести и вѣнки. Чѣмъ шире будетъ развиваться самосознаніе русскаго народа, чѣмъ глубже будутъ проникать въ среду русскаго общества идеи умственнаго свѣта и нравственнаго совершенствованія, чѣмъ прочнѣе русскій человѣкъ усвоитъ идеалы гражданина и человѣка,—тѣмъ выше поднимется слава Тургенева, тѣмъ тщательнѣе и благоговѣйнѣе станутъ изучать его жизнь, личность и творчество. Это будетъ только законная дань духовныхъ дѣтей своему отцу, и она, конечно, явится неизмѣримо достойнѣе его генія и подвига, чѣмъ нашъ скромный и неполный трудъ.



СОДЕРЖАНІЕ.

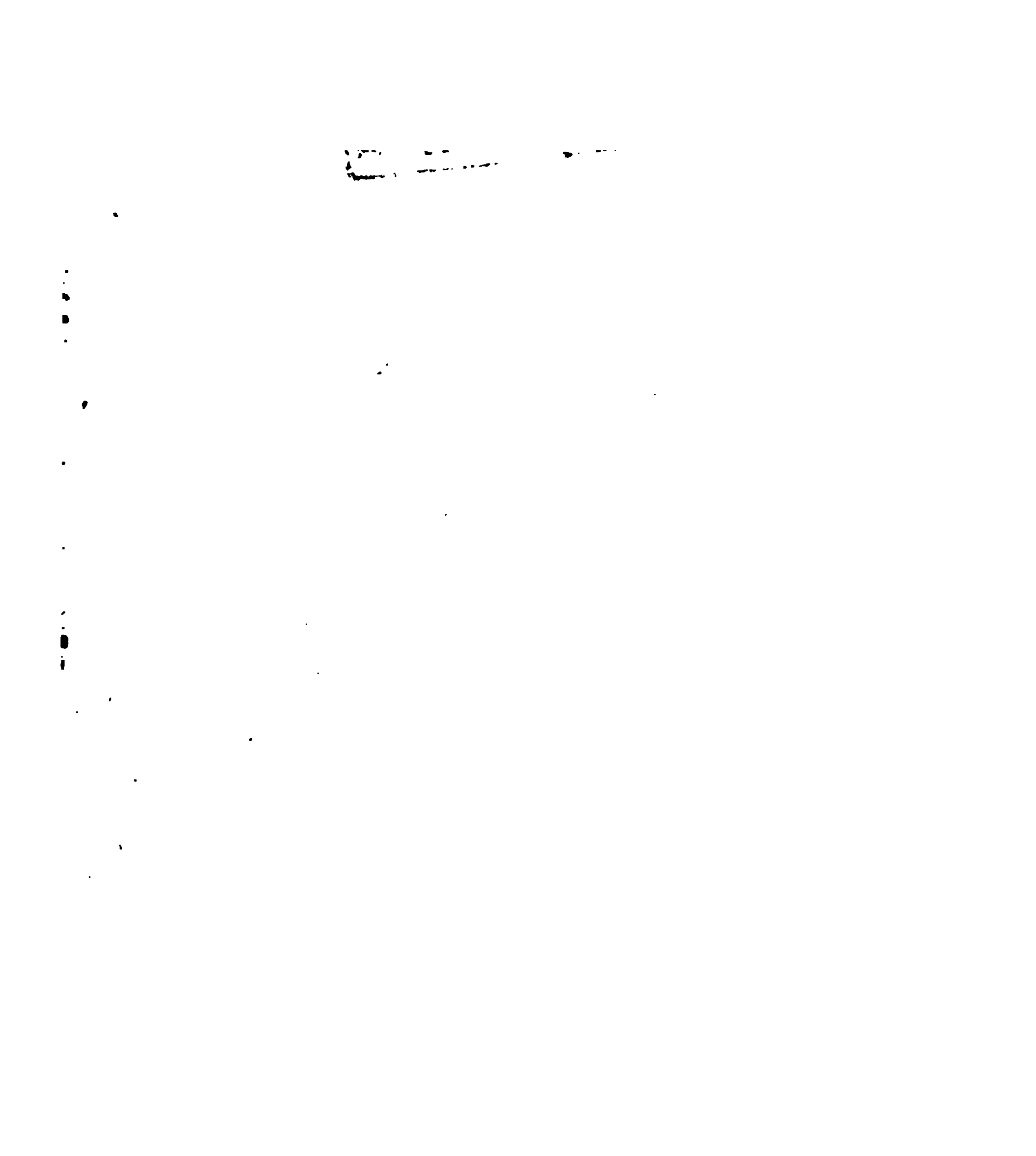
стр.

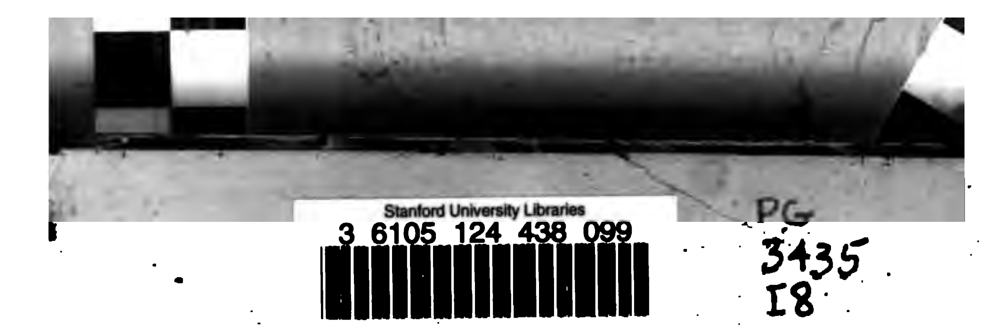
[redacted]



СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА:





Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.